

Мак

ТВЕИ

•
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной
литературы



Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 12 ТОМАХ

Под общей редакцией
А.А. ЕЛИСТРАТОВОЙ
М.О. МЕНДЕЛЬСОНА
А.И. СТАРЦЕВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
•
ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА

Переводы с английского



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 6 0

MARK TWAIN

**THE ADVENTURES OF
HUCKLEBERRY FINN
(TOM SAWYER'S COMRADE)**

1884

**A CONNECTICUT JANKEE
IN KING ARTHUR'S COURT**

1889

Художник

Е. ГАННУШКИН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА

ПЕРЕВОД

Н. ДАРУЗЕС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны.

*По приказу автора
Генерал-губернатором
Начальником артиллерийского
управления*

ОБЪЯСНЕНИЕ

В этой книге использовано несколько диалектов, а именно: негритянский диалект штата Миссури, самая резкая форма захолустного диалекта Пайк-Каунти, а также четыре несколько смягченных разновидности этого последнего. Оттенки говора выбирались не наудачу и не наугад, а, напротив, очень тщательно, под надежным руководством, подкрепленным моим личным знакомством со всеми этими формами речи.

Я даю это объяснение потому, что без него многие читатели предположили бы, что все мои персонажи стараются в говоре подражать один другому и это им не удается.

А В Т О Р

Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего, я еще не видел таких людей, чтобы совсем не врали, кроме тети Полли и вдовы, да разве еще Мэри. Про тетю Полли — это Тому Сойеру она тетья, — про Мэри и про вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке, и там почти все правда, только кое-где приврано, — я уже про это говорил.

А кончается книжка вот чем: мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. Получили мы по шесть тысяч долларов на брата — и все золотом. Такая была куча деньжищ — смотреть страшно! Ну, судья Тэтчер все это взял и положил в банк, и каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли, и так круглый год, — не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать; только мне у нее в доме жилось неважно: уж очень она донимала всякими порядками и приличиями, просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял да и удрал, надел опять свои старые лохмотья, залез опять в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже,

если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо. Ну, я и вернулся.

Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами; но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Опять она одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел, и целый день ходил как связанный. И опять все пошло по-старому. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать — непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду: надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не побормочет немножко над едой, а еда была, в общем, не плохая; одно только плохо — что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куча всяких огрызков и объедков! Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче.

В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея в тростниках, а я просто разрывался от любопытства — до того хотелось узнать, чем дело кончится; как вдруг она проговорила, что этот самый Моисей давным-давно помер, и мне сразу стало неинтересно, — плевать я хотел на покойников.

Скоро мне захотелось курить, и я спросил разрешения у вдовы. Но она не позволила: сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая и мне надо от нее отучаться. Бывают же такие люди! Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже: носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня, — да и вообще кому он нужен, если давным-давно помер, сами понимаете, — а меня ругает за то, что мне нравится курить. А сама небось нюхает табак — это ничего, ей-то можно.

Ее сестра, мисс Уотсон, порядком усохшая старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась, но в конце концов вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучища смертная, и я все вертелся на стуле. А мисс Уотсон все приставала:

«Не клади ноги на стул, Гекльберри», «Не скрипи так, Гекльберри, сиди смирно», «Не зевай и не потягивайся, Гекльберри, води себя как следует!» Потом она стала проповедовать насчет преисподней, а я возьми да и скажи, что хорошо бы туда попасть. Она просто взбеленилась, а я ничего плохого не думал, лишь бы удрать куда-нибудь, до того мне у них надоело, а куда — все равно. Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама нипочем бы так не сказала: она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадет, и решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал — все равно никакого толку не будет, одни неприятности.

Тут она пустилась рассказывать про рай — и пошла, и пошла. Будто бы делать там ничего не надо — знай прогуливайся целый день с арфой да распевай, и так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить я этого опять-таки не стал. Спросил только, как она думает: попадет ли туда Том Сойер? А она говорит: «Нет, ни под каким видом!» Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе.

Мисс Уотсон все ко мне придиралась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться, а после того все легли спать. Я поднялся к себе наверх с огарком свечки и поставил его на стол, сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселом, — только ничего не вышло: такая напала тоска, хоть помирай. Светили звезды, и листья в лесу шелестели так печально; где-то далеко ухал филин — значит, кто-то помер; слышно было, как кричит козодой и воет собака, — значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то, и я никак не мог понять, о чем он шепчет, и от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того как стонет привидение, когда оно хочет рассказать, что у него на душе, и не может добиться, чтобы его поняли, и ему не ложится спокойно в могиле: вот оно скитается по

ночам и тоскует. Мне стало так страшно и тоскливо, так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной... А тут еще паук спустился ко мне на плечо. Я его сбил щелчком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь съежился. Я и сам знал, что это не к добру, хуже не бывает приметы, и здорово перепугался, просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках и каждый раз при этом крестился, потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьм, — и все-таки не успокоился: это помогает, когда найдешь подкову и, вместо того чтобы прибить над дверью, потеряешь ее; только я не слышал, чтоб таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука.

Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку; в доме теперь было тихо, как в гробу, и, значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени; я слышал, как далеко в городе начали бить часы: «бум! бум!» — пробило двенадцать, а после того опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я слышал, как в темноте под деревьями треснула ветка, — что-то там двигалось. Я сидел не шевелясь и прислушивался. И вдруг кто-то мяукнул еле слышно: «Мя-у! Мя-у!» Вот здорово! Я тоже мяукнул еле слышно: «Мяу! Мяу», а потом погасил свечку и вылез через окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. Гляжу — так и есть: Том Соьер меня дожидается.

Глава II

Мы пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветки не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы присели на корточки и затихли. Большой негр мисс Уотсон — его звали Джим — сидел на пороге кухни; мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла свечка. Он вскочил и около минуты прислушивался, вытянув шею; потом говорит:

— Кто там?

Он еще послушал, потом подошел на цыпочках и остановился как раз между нами: можно было до него дотронуться пальцем. Ну, должно быть, времени прошло порядочно, и ничего не было слышно, а мы все были так близко друг от друга. И вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке, а почесать его я боялся; потом зачесалось ухо, потом спина, как раз между лопатками. Думаю, если не почешусь, просто хоть помирай. Я это сколько раз потом замечал: если ты где-нибудь в гостях, или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь — вообще, когда никак нельзя чесаться, — у тебя непременно зачесется во всех местах разом.

Тут Джим и говорит:

— Послушайте, кто это? Где же вы? Ведь я все слышал, свинство какое! Ладно, я знаю, что мне делать: сяду и буду сидеть, пока опять что-нибудь не услышу.

И он уселся на землю, как раз между мной и Томом, прислонился спиной к дереву и вытянул ноги так, что едва не задел мою ногу. У меня зачесался нос. Так зачесался, что слезы выступили на глазах, а почесать я боялся. Потом начало чесаться в носу. Потом зачесалось под носом. Я просто не знал, как усидеть на месте. Такая напасть продолжалась минут шесть или семь, а мне казалось, что много дольше. Теперь у меня чесалось в одиннадцати местах сразу. Я решил, что больше минуты нипочем не вытерплю, но кое-как сдержался: думаю — уж постараюсь. И тут как раз Джим начал громко дышать, потом захрапел, и у меня все сразу прошло.

Том подал мне знак — еле слышно причмокнул губами, — и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли шагов на десять, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джима к дереву. А я сказал: «Лучше не надо, он проснется и поднимет шум, и тогда увидят, что меня нет на месте». Том сказал, что у него маловато свечей, надо бы пробраться в кухню и взять побольше. Я его останавливал, говорил, что Джим может проснуться и войти в кухню. Но Тому

хотелось рискнуть; мы забрались туда, взяли три свечки, и Том оставил на столе пять центов в уплату. Потом мы с ним вышли; мне не терпелось поскорее убраться подальше, а Тому вздумалось подползти на четвереньках к Джиму и сыграть с ним какую-нибудь шутку. Я его дожидался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго, — так было кругом пусто и молчаливо.

Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на самой верхушке горы по ту сторону дома. Том сказал, что стащил шляпу с Джима и повесил ее на сучок как раз над его головой, а Джим немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джим рассказывал, будто ведьмы околдовали его, усыпили и катались на нем по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шляпу на сучок, чтобы сразу видно было, чье это дело. А в другой раз Джим рассказывал, будто они доехали на нем до Нового Орлеана; потом у него с каждым разом получалось все дальше и дальше, так что в конце концов он стал говорить, будто ведьмы объехали на нем вокруг света, замучили его чуть не до смерти, и спина у него была вся стерта, как под седлом. Джим так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Негры приходили за много миль послушать, как Джим будет про это рассказывать, и он стал пользоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повстречав Джима, чужие негры останавливались, разинув рот, и глядели на него, словно на какое-нибудь чудо. Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм; но как только кто-нибудь заведет об этом речь, Джим сейчас же вмешается и скажет: «Гм! Ну что ты можешь знать про ведьм!» И этот негр сразу притихнет и замолчит. Пятицентовую монетку Джим надел на веревочку и всегда носил на шее; он рассказывал, будто этот талисман ему подарил сам черт и сказал, что им можно лечить от всех болезней и вызывать ведьм когда вздумается, стоит только пошептать над монеткой; но Джим никогда не гово-

рил, что он такое шепчет. Негры собирались со всей округи и отдавали Джиму все, что у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку; однако они ни за что на свете не дотронулись бы до нее, потому что монета побывала в руках у черта. Работник он стал теперь никуда не годный — уж очень возгордился, что видел черта и возил на себе ведьм по всему свету.

Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз, на городок, там светилось всего три или четыре огонька — верно, в тех домах, где лежали больные; вверху над нами так ярко сияли звезды, а ниже города текла река в целую милю шириной, этак величественно и плавно. Мы спустились с горы, разыскали Джо Гарпера с Беном Роджерсом и еще двух или трех мальчиков; они прятались на старом кожевенном заводе. Мы отвязали ялик и спустились по реке мили на две с половиной, до большого оползня на гористой стороне, и там высадились на берег.

Когда подошли к кустам, Том Сойер заставил всех нас поклясться, что мы не выдадим тайны, а потом показал ход в пещеру — там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечки и поползли на четвереньках в проход. Проползли мы, должно быть, шагов двести, и тут открылась пещера. Том потолкался по проходам и скоро нырнул под стенку в одном месте, — вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, всю запотевшую и холодную, и тут остановились.

Том сказал:

— Ну вот, мы соберем шайку разбойников и назовем ее «Шайка Тома Сойера». А кто захочет с нами разбойничать, тот должен будет принести клятву и подписаться своей кровью.

Все согласились. И вот Том достал листок бумаги, где у него была написана клятва, и прочел ее. Она призывала всех мальчиков дружно стоять за шайку и никому не выдавать ее тайн; а если кто-нибудь обидит мальчика из нашей шайки, то тот, кому велят убить обидчика и всех его родных, должен не есть и не спать,

пока не убьет их всех и не вырежет у них на груди крест — знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто принадлежит к шайке; а если кто-нибудь поставит, то шайка подаст на него в суд; если же он опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а после того сожгут труп и развеют пепел по ветру, кровью вычеркнут его имя из списка и больше не станут о нем поминать, а проклянут и забудут навсегда.

Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он ее придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов, — у всякой порядочной шайки бывает такая клятва.

Некоторые думали, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том сказал, что это недурная мысль, взял и вписал ее карандашиком.

Тут Бен Роджерс и говорит:

— А вот у Гека Финна никаких родных нет; как с ним быть?

— Ну и что ж, ведь отец у него есть? — говорит Том Сойер.

— Да, отец-то есть, только где ты его теперь разыщешь? Он, бывало, все валялся пьяный на кожевенном заводе, вместе со свиньями, но вот уже больше года его что-то не видно в наших краях.

Посоветовались они между собой и уж совсем собрались меня вычеркнуть, потому что, говорят, у каждого мальчика должны быть родные или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Ну, и никто ничего не мог придумать, все стали в тупик и молчали. Я сперва чуть не заплакал, а потом вдруг придумал выход: взял да и предложил им мисс Уотсон — пускай ее убивают. Все согласились.

— Ну что ж, она годится. Теперь все в порядке. Гека принять можно.

Тут все стали колоть себе пальцы булавкой и расписываться кровью, и я тоже поставил свой значок на бумаге.

— Ну, а чем же эта шайка будет заниматься? — спрашивает Бен Роджерс

— Ничем, только грабежами и убийствами.

— А что же мы будем грабить? Домá, или скотину, или...

— Чепуха! Это не грабеж, если угонять скотину и тому подобное, это воровство, — говорит Том Сойер. — Мы не воры. В воровстве никакого блеску нет. Мы разбойники. Наденем маски и будем останавливать дилижансы и кареты на большой дороге, убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги.

— И непременно надо их убивать?

— Ну еще бы! Это самое лучшее. Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать — кроме тех, кого приведем сюда в пещеру и будем держать, пока не дадут выкупа.

— Выкупа? А что это такое?

— Не знаю. Только так уж полагается. Я про это читал в книжках, и нам, конечно, тоже придется так делать.

— Да как же мы сможем, когда не знаем, что это такое?

— Ну, как-нибудь уж придется. Говорят тебе, во всех книжках так, не слышишь, что ли? Ты что же, хочешь делать все по-своему, не так, как в книжках, чтобы мы совсем запутались?

— Ну да, тебе хорошо говорить, Том Сойер, а как же они станут выкупаться — чтоб им пусто было! — если мы не знаем, как это делается? А ты сам как думаешь, что это такое?

— Ну, уж не знаю. Сказано: надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут.

— Вот это еще на что-нибудь похоже! Это нам подойдет. Чего же ты раньше так не сказал? Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти. И возни, наверно, с ними не оберешься — корми их да гляди, чтобы не удрали.

— Что это ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут удрать, когда при них будет часовой? Он застрелит их, как только они пошевелинутся.

— Часовой? Вот это ловко! Значит, кому-нибудь придется сидеть и всю ночь не спать из-за того только, что их надо стеречь? По-моему, это глупо. А почему же псльзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?

— Потому что в книгах этого нет — по этому по самому. Вот что, Бен Роджерс: хочешь ты делать дело как следует или не хочешь? Ты что же — думаешь, люди, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему полагается? Учить их ты собираешься, что ли? И не мечтай! Нет, сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам.

— Ну и ладно. Мне-то что! Я только говорю: по ду-рачки получается все-таки... Слушай, а женщин мы тоже будем убивать?

— Ну, Бен Роджерс, если бы я был такой неуч, я бы больше молчал. Убивать женщин! С какой же это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Приводишь их в пещеру и обращаешься с ними как можно вежливей, а там они в тебя мало-помалу влюбляются и уж сами больше не хотят домой.

— Ну, если так, тогда я согласен, только смысла в этом не вижу. Скоро у нас в пещере пройти нельзя будет: столько набьется женщин и всякого народу, который дожидается выкупа, что самим разбойникам и деваться будет некуда. Ну что ж, валяй дальше, я ничего не говорю.

Маленький Томми Барнс успел уже заснуть и, когда его разбудили, испугался, заплакал и стал проситься домой к маме, сказал, что больше не хочет быть разбойником.

Все подняли его на смех и стали дразнить плаксой, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдет и выдаст все наши тайны. Но Том дал ему пять цситов, чтобы он молчал, и сказал, что мы все сейчас пойдем домой, а на будущей неделе соберемся и тогда кого-нибудь сграбим и убьем.

Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и нельзя ли пать с будущего воскресенья; но все мальчики ршили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что

об этом не может быть и речи. Мы уговорились встретиться и назначить день как можно скорее, потом выбрали Тома Сойера в атаманы шайки, а Джо Гарпера — в помощники и разошлись по домам.

Я влез на крышу сарая, а оттуда — в окно, уже перед самым рассветом. Мое новое платье было все закапано свечкой и вымазано в глине, и сам я устал как собака.

Глава III

Ну и пробрала же меня утром старая мисс Уотсон за мою одежду! Зато вдова ссеем не ругалась, только отчистила свечное сало и глину и такая была печальная, что я решил вести себя это время получше, если смогу. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала молиться, но ничего не вышло. Она велела мне молиться каждый день — и чего я попрошу, то и дастся мне. Но не тут-то было! Я пробовал. Один раз вымолил себе удочку, только без крючков. А на что она мне сдалась, без крючков-то! Раза три или четыре я пробовал вымолить себе и крючки, но ничего почему-то не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Уотсон помолиться вместо меня, а она обозвала меня дураком и даже не сказала, за что. Так я и не мог понять, в чем дело.

Один раз я долго сидел в лесу, все думал про это. Говорю себе: если человек может вымолить все что угодно, так отчего же дьякон Уинн не вымолил обратно свои деньги, когда проторговался на свинине? Почему вдова не может вымолить серебряную табакерку, которую у нее украли? Почему мисс Уотсон не помолится, чтоб ей потолстеть? Нет, думаю, тут что-то не так. Пошел и спросил у вдовы, а она говорит: можно молиться только о «духовных благах». Этого я никак не мог понять; ну, она мне растолковала: это, значит, я должен помогать другим и делать для них все что могу, заботиться о них постоянно и совсем не думать о себе. И о мисс Уотсон тоже заботиться, — так я понял.

Я пошел в лес и долго раскидывал умом и так и этак и все не мог понять, какая же от этого польза, разве только другим людям; и решил в конце концов не ломать над этим голову, может как-нибудь и так обойдется. Иной раз, бывало, вдова сама возьмется за меня и начнет рассказывать о промысле божием, да так, что прямо слюнки текут; а на другой день, глядишь, мисс Уотсон опять за свое и опять собьет меня с толку. Я уж так и рассудил, что есть два бога: с богом вдовы несчастный грешник еще как-нибудь поладит, а уж если попадется в лапы богу мисс Уотсон, тогда спуску не жди. Все это я обдумал и решил, что лучше пойду под начало к богу вдовы, если я ему го-жусь, хотя никак не мог понять, на что я ему нужен и какая от меня может быть прибыль, когда я совсем ничего не знаю, и веду себя неважно, и роду самого простого.

Моего отца у нас в городе не видали уже больше года, и я совсем успокоился; я его и видеть-то больше не хотел. Трезвый, он, бывало, все меня колотит, попадись только ему под руку; хотя я по большей части удираю от него в лес, как увижу, что он околачивается поблизости. Так вот, в это самое время его выловили из реки, милях в двенадцати выше города, — я слышал это от людей. Во всяком случае, решили, что это он и есть: ростом утопленник был как раз с него, и в лохмотьях, и волосы длинные-предлинные; все это очень на отца похоже, только лица никак нельзя было разобрать: он так долго пробыл в воде, что оно и на лицо не очень было похоже. Говорили, что он плыл по реке лицом вверх. Его выловили из воды и закопали на берегу. Но я недолго радовался, потому что вспомнил одну штуку. Я отлично знал, что мужчина-утопленник должен плыть по реке не вверх лицом, а вниз. Вот потому-то я и догадался, что это был вовсе не отец, а какая-нибудь утопленница в мужской одежде. И я опять стал беспокоиться. Я все ждал, что старик вот-вот заявится, а мне вовсе этого не хотелось.

Почти целый месяц мы играли в разбойников, а потом я бросил. И все мальчишки тоже. Никого мы не огра-

били и не убили — так только, дурака валяли. Выбегали из леса и бросались на погонщиков свиней или на женщин, которые везли на рынок зелень и овощи, но никогда никого не трогали. Том Сойер называл свиней «слитками», а репу и зелень — «драгоценностями», а после, вернувшись в пещеру, мы хвастались тем, что сделали и сколько человек убили и ранили. Но я не видел, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горящей палкой, которую он называл «пароль» (знак для всей шайки собираться вместе), а потом сказал нам, что он получил от своих лазутчиков тайное сообщение, будто завтра около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов, с двумя сотнями слонов, шестью сотнями верблюдов и тысячей вьючных мулов, нагруженных алмазами, а охраняют их всего-навсего четыреста солдат; так что мы устроим засаду, перебьем их всех и захватим добычу. Он велел наточить мечи, вычистить ружья и быть наготове. Он даже на воз с брюквой не мог напасть без того, чтобы не наточить мечи и начистить ружья, хотя какой толк их точить, когда это были простые палки и ручки от щеток, — сколько ни точи, ни на волос лучше не будут. Мне как-то не верилось, что мы можем побить такую массу испанцев и арабов, хотелось только поглядеть на верблюдов и слонов, поэтому на другой день, в субботу, я был тут как тут и сидел вместе с другими в засаде; и как только дали сигнал, мы выскочили из кустов и скатились с горы вниз. Но никаких испанцев и арабов там не было, верблюдов и слонов тоже. Оказалось, что это всего-навсего экскурсия воскресной школы, да и то один первый класс. Мы на них набросились и разогнали ребят по всей долине. Но только никакой добычи нам не досталось, кроме пряников и варенья, да еще Бен Роджерс подобрал тряпичную куклу, а Джо Гарпер — молитвенник и душеспасительную книжонку; а потом за нами погналась учительница, и мы все это побросали — и бежать. Никаких алмазов я не видел, так я и сказал Тому Сойеру. А он уверял, что они все-таки там были, целые горы алмазов, и арабы, и слоны, и много всего. Я спрашиваю: «Почему же тогда мы ни-

чего не видели?» А он говорит: «Если бы ты хоть что-нибудь знал, хоть прочел бы книжку, которая называется «Дон-Кихот», тогда бы не спрашивал. Тут, говорит, все дело в колдовстве». А на самом деле там были сотни солдат, и слоны, и сокровища, и все прочее, только у нас оказались враги — чародеи, как Том их называл, — и все это они превратили в воскресную школу нам назло. Я говорю: «Ладно, тогда нам надо напасть на этих самых чародеев». Том Соьер обозвал меня болваном.

— Да что ты! — говорит. — Ведь чародей может вызвать целое полчище духов, и они тебя вмиг изрубят, не успеешь «мама» выговорить. Ведь они вышиной с дерево, а толщиной с церковь.

— Ну, — говорю, — а если мы тоже вызовем духов себе на помощь, побьем мы тех, других, или нет?

— Как же это ты их вызовешь?

— Не знаю. А те как вызывают?

— Как? Потрут старую жестяную лампу или железное кольцо, и тогда со всех сторон слетаются духи, гром гремит, молния кругом так и сверкает, дым клубится, и все, что духам ни прикажешь, они сейчас же делают. Им ничего не стоит вырвать с корнем дроболитную башню и трахнуть ею по голове директора воскресной школы или вообще кого угодно.

— Для кого же это они так стараются?

— Да для всякого, кто потрет лампу или кольцо. Они повинуются тому, кто трет лампу или кольцо, и должны делать все, что он велит. Если он велит построить дворец в сорок миль длиной из одних брильянтов и наполнить его доверху жевательной резинкой или чем ты захочешь и похитить дочь китайского императора тебе в жены, — они всё это должны сделать, да еще за одну ночь, прежде чем взойдет солнце. Мало того: они должны таскать этот дворец по всей стране, куда только тебе вздумается, понимаешь?

— Вот что, — говорю я, — по-моему, все они просто ослы, если не оставят этот дворец себе, вместо того чтобы валять дурака и упускать такой случай. Мало того: будь я дух, я бы этого, с лампой, послал к черту.

Стану я отрываться от дела и лететь к нему из-за того, что он там потрет какую-то дрянь!

— Придумал тоже, Гек Финн! Да ведь ты должен явиться, когда он потрет лампу, хочешь ты этого или нет.

— Что? Это если я буду ростом с дерево и толщиной с церковь? Ну ладно уж, я к нему явлюсь; только ручаюсь чем хочешь — я его загоню на самое высокое дерево, какое найдется в тех местах.

— А ну тебя, Гек Финн, что толку с тобой разговаривать! Ты уж, кажется, совсем ничего не понимаешь — будто круглый дурак.

Дня два или три я все думал об этом, а потом решил сам посмотреть, есть тут хоть сколько-нибудь правды или нет. Бзял старую жестяную лампу и железное кольцо, пошел в лес и тер и тер, пока не вспотел, как индеец. Думаю себе: выстрою дворец и продам; только ничего не вышло — никакие духи не явились. Так что, по-моему, всю эту чепуху Том Сойер выдумал, как всегда выдумывает. Он-то, кажется, поверил и в арабов и в слонов, ну а я — дело другое: по всему было видеть, что это воскресная школа.

Глава IV

Ну так вот, прошло месяца три или четыре, и зима уж давно наступила. Я почти что каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и писать немножко и выучил таблицу умножения наизусть до шестию семь — тридцать пять, а дальше, я так думаю, мне нипочем не одолеть, хоть до ста лет учись. Да и вообще я математику не очень люблю.

Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать к песенножке. Когда мне, бывало, уж очень надоест, я удеру с уроков, а на следующий день учитель меня выпорет; это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дольше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко всем порядкам у вдовы я тоже мало-помалу привык — как-то притер-

пелся. Всего тяжелей было приучаться жить в доме и спать на кровати; только до наступления холодов я все-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житье мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать, оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я исправляюсь понемножку и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится.

Как-то утром меня угораздило опрокинуть за завтраком солонку. Я поскорей схватил щепотку соли, чтобы перекинуть ее через левое плечо и отвести беду, но тут мисс Уотсон подросла некстати и остановила меня. Говорит: «Убери руки, Гекльберри! Вечно ты насоришь кругом!» Вдова за меня заступилась, только поздно, беду все равно уже нельзя было отвести, это я отлично знал. Я вышел из дому, чувствуя себя очень печально, и все ломал голову, где эта беда надо мной стрясется и какая она будет. В некоторых случаях можно отвести беду, только это был не такой случай, так что я и не пробовал ничего делать, а просто шатался по городу в самом унылом настроении и ждал беды.

Я вышел в сад и перебрался по ступенькам через высокий деревянный забор. На земле было с дюйм только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы: кто-то шел от каменоломни, потоптался немного около забора, потом пошел дальше. Странно было, что он не завернул в сад, простояв столько времени у забора. Я не мог понять, в чем дело. Что-то уж очень чудно... Я хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал, а потом заметил: на левом каблуке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отводить нечистую силу. В одну минуту я кубарем скатился с горы. Время от времени я оглядывался, но никого не было видно. Я побежал к судье Тэтчеру. Он сказал:

— Ну, милый, ты совсем запыхался. Ведь ты пришел за процентами?

— Нет, сэр, — говорю я. — А разве для меня что-нибудь есть?

— Да, вчера вечером я получил за полгода больше ста пятидесяти долларов. Целый капитал для тебя. Я лучше положу их вместе с остальными шестью тысячами, а не то ты истратишь их, если возьмешь.

— Нет, сэр, — говорю, — я не хочу их тратить. Мне их совсем не надо — ни шести тысяч, ничего. Я хочу, чтобы вы их взяли себе — и шесть тысяч и все остальное.

Он, как видно, удивился и не мог понять, в чем дело, потому что спросил:

— Как? Что ты этим хочешь сказать?

— Я говорю: не спрашивайте меня ни о чем, пожалуйста. Возьмите лучше мои деньги... Ведь возьмете?

Он говорит:

— Право, не знаю, что тебе сказать... А что случилось?

— Пожалуйста, возьмите их, — говорю я, — и не спрашивайте меня — тогда мне не придется врать.

Судья задумался, а потом говорит:

— О-о! Кажется, понимаю. Ты хочешь уступить мне свой капитал, а не подарить. Вот это правильно.

Потом написал что-то на бумажке, перечел про себя и говорит:

— Вот видишь, тут сказано: «За вознаграждение». Это значит, что я приобрел у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Распишись теперь.

Я расписался и ушел.

У Джима, негра мисс Уотсон, был большой волосяной шар величиной с кулак; он его вынул из бычьего сычуга и теперь гадал на нем. Джим говорил, что в шаре будто бы сидит дух и этот дух все знает. Вот я и пошел вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь, я видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать и останется здесь или нет. Джим достал шар, что-то пошептал над ним, а потом подбросил и уронил на пол. Шар упал, как камень, и откатился не дальше чем на дюйм. Джим попробовал еще раз и еще раз; получалось все то же самое. Джим стал на колени, приложил ухо к шару и

прислушался. Но толку все равно никакого не было; Джим сказал, что шар не хочет говорить. Бывает иногда, что без денег шар нипочем не станет говорить. У меня нашлась старая фальшивая монета в четверть доллара, которая никуда не годилась, потому что медь просвечивала сквозь серебро; но даже и без этого ее нельзя было сбить с рук — такая она сделалась скользкая, точно сальная на ощупь: сразу видать, в чем дело. (Я решил лучше не говорить про доллар, который мне дал судья.) Я сказал, что монета плохая, но, может, шар ее возьмет, не все ли ему равно. Джим понюхал ее, покусал, потер и обещал сделать так, что шар примет ее за настоящую. Надо разрезать сырую картофелину пополам, положить в нее монету на всю ночь, а наутро меди уже не будет заметно и на ощупь она не будет скользкая, так что ее и в городе кто угодно возьмет с удовольствием, а не то что волосяной шар. А ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это.

Джим сунул монету под шар, лег и опять прислушался. На этот раз все оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валяй», — говорю. Вот шар и стал нашенчивать Джиму, а Джим пересказывал мне. Он сказал:

— Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать. То думает, что уйдет, а другой раз думает, что останется. Всего лучше ни о чем не беспокоиться, пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела. Один весь белый, так и светится, а другой — весь черный. Белый его поучит-поучит добру, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, ну и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете, будете болеть, но все обойдется в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна блондинка, а другая брюнетка. Одна богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды, чтобы чего-нибудь не случилось, по-

тому вам на роду написано, что вы кончите жизнь на виселице.

Когда я вечером зажег свечку и вошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной!

Глава V

Я затворил за собой дверь. Потом повернулся, смотрю — вот он, папаша! Я его всегда боялся — уж очень здорово он меня драл. Мне показалось, будто я и теперь испугался, а потом я понял, что ошибся, то есть сперва-то, конечно, встряска была порядочная, у меня даже дух захватило — так он неожиданно появился, только я сразу же опомнился и увидел, что вовсе не боюсь, даже и говорить не о чем.

Отцу было лет около пятидесяти, и на вид не меньше того. Волосы у него длинные, нечесанные и грязные, висят космами, и только глаза светятся сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы черные, совсем без седины, и длинные свалывшиеся баки, тоже черные. В лице, хоть его почти не видно из-за волос, нет ни кровинки — оно совсем бледное; но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, — как рыбе брюхо или как лягва. А одежда — сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено; сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, и он ими пошевеливал время от времени. Шляпа валялась тут же на полу — старая, черная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом, точно кастрюлька с крышкой.

Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Свечу я поставил на пол. Я заметил, что окно открыто: значит, он забрался сначала на сарай, а оттуда в комнату. Он осмотрел меня с головы до пяток, потом говорит:

— Ишь ты как вырядился — фу-ты ну-ты! Небось думаешь, что ты теперь важная птица, — так, что ли?

— Может, думаю, а может, и нет, — говорю я.

— Ты смотри, нё очень-то груби! — говорит он. —

Понабрался дури, пока меня не было! Я с тобой живо раз-делаюсь, собью с тебя спесь! Тоже, образованный стал — говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметки теперь не годится, раз он неграмотный? Это все я из тебя выколочу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?

— Вдова велела.

— Вдова? Вот оно как! А кто это вдове позволил совать нос не в свое дело?

— Никто не позволял.

— Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят! А ты, смотри, школу свою брось. Слышишь? Я им покажу! Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом, важность на себя напустил какую! Ну, если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня! Твоя мать ни читать, ни писать не умела, так неграмотная и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею, а он, смотри ты, каким франтом вырядился! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю.

Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату.

— Правильно. Читать ты умеешь. А я было тебе не поверил. Ты смотри у меня, брось задаваться, я этого не потерплю! Следить за тобой буду, франт этакий, и ежели только поймаю около этой самой школы, всю шкуру спущу! Всыплю тебе — опомниться не успеешь! Хорош сынок, нечего сказать!

Он взял в руки синюю с желтым картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил:

— Это еще что такое?

— Это мне дали за то, что я хорошо учусь.

Он разодрал картинку и сказал:

— Я тебе тоже дам кое-что: ремня хорошего!

Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос, потом сказал:

— Подумаешь, какой пеженка! И кровать у него, и простыни, и зеркало, и ковер на полу, — а родной отец должен валяться на кожевенном заводе вместе со свиньями! Хорош сынок, нечего сказать! Ну да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь повыбью! Ишь напустил на себя важность — разбогател, говорят! А? Это каким же образом?

— Всё врут — вот каким.

— Слушай, ты как это со мной разговариваешь? Я терпел, терпел, а больше терпеть не намерен, так что ты мне не груби. Два дня я пробыл в городе и только и слышу, что про твое богатство. И ниже по реке я тоже про это слыхал. Потому и приехал. Ты мне эти деньги достань к завтраму — они мне нужны.

— Нет у меня никаких денег.

— Врешь! Они у судьи Тэтчера. Ты их возьми. Они мне нужны.

— Говорят вам, нет у меня никаких денег! Спросите сами у судьи Тэтчера, он вам то же скажет.

— Ладно, я его спрошу; уж я его заставлю сказать! Он у меня раскошелится, а не то ему покажу! Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги.

— Всего один доллар, и тот мне самому нужен...

— Мне какое дело, что он тебе нужен! Давай, и все тут.

Он взял монету и куснул ее — не фальшивая ли, потом сказал, что ему надо в город, купить себе виски, а то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вылез на крышу сарая, но тут опять просунул голову в окно и принялся ругать меня за то, что я набрался всякой дури и знать не хочу родного отца. После этого я уж думал было, что он совсем ушел, а он опять просунул голову в окно и велел мне бросить школу, не то он меня подстережет и вздует как следует.

На другой день отец напился пьян, пошел к судье Тэтчеру, отругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги, но ничего из этого не вышло; тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду.

Вдова с судьей Тэтчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали и кого-нибудь из них назначили в опекуны; только судья был новый, он недавно приехал и еще не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми, а еще ему не хотелось бы отнимать у отца единственного ребенка. Так что вдове с судьей Тэтчером пришлось это дело бросить.

Отец так обрадовался, что унять его не было никакой возможности. Он обещал отодрать меня ремнем до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял три доллара у судьи, а старик их отнял и напился пьян и в пьяном виде шатался по всему городу, орал, безобразничал, ругался и колотил в сковородку чуть ли не до полуночи; его поймали и посадили под замок, а наутро повели в суд и опять засадили на неделю. Но он сказал, что очень доволен: своему сыну он теперь хозяин и покажет ему, где раки зимуют.

После того как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и приличное, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать — можно сказать, принял его как родного. А после ужина он завел разговор насчет трезвости и прочего, да так, что старика слеза прошибла и он сознался, что столько лет вел себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство, и надеется, что судья ему в этом поможет, не отнесется к нему с презрением. Судья сказал, что просто готов обнять его за такие слова, и при этом прослезился; и жена его тоже заплакала; а отец сказал, что никто до сих пор не понимал, какой он человек; и судья ответил, что он этому верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не повезло, нуждается в сочувствии; и судья ответил, что это совершенно верно, и оба они опять прослезились. А перед тем как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку:

— Посмотрите на эту руку, господа и дамы! Возьмите ее и пожмите. Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело: теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше умрет, а уж за старое не возьмется. Попомните мои слова, не забывайте, что я их сказал! Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь!

И все они один за другим, по очереди, пожали ему руку и прослезились. А жена судьи так даже поцеловала ему руку. После этого отец дал зарок не пить и вместо подписи крест поставил. Судья сказал, что это историческая, святая минута... что-то вроде этого. Старика отвели в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить; он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутылку сорокаградусной, влез обратно и давай пировать; и на рассвете опять полез в окно, пьяный как стелька, скатился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замерз насмерть; кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли посмотреть, что делается в комнате для гостей, так пришлось мерить глупину лотом, прежде чем пускаться вплавь.

Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит.

Глава VI

Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэтчера, чтоб он отдал мои деньги, а потом принялся и за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил, только я все равно ходил в школу, а от него все время прятался или убегал куда-нибудь. Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу назло. Суд все откладывали; похоже было, что никогда и не начнут, так что я время от времени занимал у

судьи Тэтчера доллара два-три для старика, чтобы избавиться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался пьян; и всякий раз, напившись, шатался по городу и буянил; и всякий раз, как он набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен: такая жизнь была ему как раз по душе.

Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы, и наконец та ему пригрозила, что, если он этой привычки не бросит, ему придется плохо. Ну и взбеленился же он! Обещал, что покажет, кто Геку Финну хозяин.

И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увез в лодке мили за три вверх по реке, а там переправился на ту сторону в таком месте, где берег был лесистый и жилья совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки в самой чаще леса, так что и найти ее было невозможно, если не знать, где она стоит.

Он меня не отпускал ни на минуту, и удрать не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирал на ночь дверь, а ключ клал себе под голову. У него было ружье — украл, наверно, где-нибудь, — и мы с ним ходили на охоту, удил рыбу; этим и кормились. Частенько он запирал меня на замок и уезжал в лавку мили за три, к перевозу, там менял рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, напивался, пел песни, а потом колотил меня. Вдова все-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала мне на выручку человека, но отец прогнал его, пригрозив ружьем. А в скором времени я и сам привык тут жить, и мне даже нравилось — все, кроме ремня.

Жилось ничего себе — хоть целый день ничего не делай, знай покуривай да лови рыбу; ни тебе книг, ни ученья. Так прошло месяца два, а то и больше, и я весь оборвался, ходил грязный и уже не понимал, как это мне нравилось жить у вдовы в доме, где надо было умываться, и есть с тарелки, и причесываться, и ложиться и вставать вовремя, и вечно корпеть над книжкой, да еще старая мисс Уотсон, бывало, тебя пилит все время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил

было ругаться, потому что вдова этого не любила, а теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говоря, нам в лесу жилось вовсе не плохо.

Но мало-помалу старик распустился, повадился драться палкой, и этого я не стерпел. Я был весь в рубцах. И дома ему больше не сиделось: уедет, бывало, а меня запрет. Один раз он запер меня, а сам уехал и не возвращался три дня. Такая была скучища! Я так и думал, что он потонул и мне никогда отсюда не выбраться. Мне стало страшно, и я решил, что как-никак, а надо будет удрать. Я много раз пробовал выбраться из дома, только все не мог найти лазейки. Окно было такое, что и собаке не пролезть. По трубе я тоже подняться не мог: она оказалась чересчур узка. Дверь была сколочена из толстых и прочных дубовых досок. Отец, когда уезжал, старался никогда не оставлять в хижине ножа и вообще ничего острого; я, должно быть, раз сорок обыскал все кругом и, можно сказать, почти все время только этим и занимался, потому что больше делать все равно было нечего. Однако на этот раз я все-таки нашел кое-что: старую, ржавую пилу без ручки, засунутую между стропилами и кровельной дранкой. Я ее смазал и принялся за работу. В дальнем углу хибарки, за столом, была прибита к стене гвоздями старая попона, чтобы ветер не дул в щели и не гасил свечку. Я залез под стол, приподнял попону и начал отпиливать кусок толстого нижнего бревна — такой, чтобы мне можно было пролезть. Времени это отняло порядочно, но дело уже шло к концу, когда я услышал в лесу отцово ружье. Я поскорей уничтожил все следы моей работы, опустил попону и спрятал пилу, а скоро и отец явился.

Он был сильно не в духе — то есть такой, как всегда. Рассказал, что был в городе и что все там идет черт знает как. Адвокат сказал, что выиграет процесс и получит деньги, если им удастся довести дело до суда, но есть много способов оттянуть разбирательство, и судья Тэтчер сумеет это устроить. А еще ходят слухи, будто бы затевается новый процесс, для того чтобы отобрать меня у отца и отдать под опеку вдове, и

на этот раз надеются его выиграть. Я очень расстроился, потому что мне не хотелось больше жить у вдовы, чтобы меня опять притесняли да воспитывали, как это у них там называется. Тут старик пошел ругаться, и ругал всех и каждого, кто только на язык попадет, а потом еще раз выругал всех подряд для верности, чтоб уж никого не пропустить, а после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени, обозвал как нельзя хуже и пошел себе чертыхаться дальше.

Он орал, что еще посмотрит, как это вдова меня отберет, что будет глядеть в оба, и если только они попробуют устроить ему такую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, милях в шести или семи отсюда, и пускай тогда ищут хоть сто лет — все равно не найдут. Это меня опять-таки расстроило, но ненадолго. Думаю себе: не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезет!

Старик послал меня к ялику перенести вещи, которые он привез: мешок кукурузной муки фунтов на пятьдесят, большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутылъ виски в четыре галлона, а еще старую книжку и две газеты для пыжей, и еще паклю. Я вынес все это на берег, а потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть. Я обдумал все как следует и решил, что, когда убегу из дому, возьму с собой в лес ружье и удочки. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране — лучше по ночам; пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей; и уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут. Я решил выпилить бревно и удрать нынче же ночью, если старик напьется, а уж напьется-то он обязательно! Я так задумался, что не заметил, сколько прошло времени, пока старик не окликнул меня и не спросил, что я там — сплю или утонул.

Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стал готовить ужин, а старик тем временем успел хлебнуть разок-другой из бутылки; духу у него прибавилось, и он опять разошелся. Он выпил еще в городе, провалялся всю ночь в канаве, и теперь

на него просто смотреть было страшно. Ни дать ни взять Адам — сплошная глина. Когда его, бывало, развезет после выпивки, он всегда принимался ругать правительство. И на этот раз тоже:

— А еще называется правительство! Ну на что это похоже, полюбуйте только! Вот так закон! Отбирают у человека сына — родного сына, а ведь человек его растил, заботился, деньги на него тратил! Да! А как только вырастил в конце концов этого сына, думаешь: пора бы и отдохнуть, пускай теперь сын поработает, поможет отцу чем-нибудь, — тут закон его и цап! И это называется правительство! Да еще мало того: закон помогает судье Тэтчеру оттягать у меня капитал. Вот как этот закон поступает: берет человека с капиталом в шесть тысяч долларов, даже больше, нихает его вот в такую старую хибарку, вроде западни, и заставляет носить такие лохмотья, что свинье было бы стыдно. А еще называется правительство! Человек у такого правительства своих прав добиться не может. Да что в самом деле! Иной раз думаешь: вот возьму и уеду из этой страны навсегда. Да, я им так и сказал, прямо в глаза старику Тэтчеру так и сказал! Многие слышали и могут повторить мои слова. Говорю: «Да я ни за грош бросил бы эту проклятую страну и больше в нее даже не заглянул бы! — Вот этими самыми словами. — Взгляните, говорю, на мою шляпу, если, по-вашему, это шляпа. Верх отстает, а все остальное сползает ниже подбородка, так что и на шляпу вовсе непохоже, голова сидит как в печной трубе. Поглядите на нее, говорю: вот какую шляпу приходится носить, а ведь я один из первых богачей в городе, только вот никак не могу добиться своих прав».

Да, замечательное у нас правительство, просто замечательное! Ты только послушай. Там был один вольный негр из Огайо — мулат, почти такой же белый, как белые люди. Рубашка на нем белей снега, шляпа так и блестит, и одет он так хорошо, как никто во всем городе: часы с цепочкой на нем золотые, палка с серебряным набалдашником — просто фу-ты ну-ты, важная персона! И как бы ты думал? Говорят, будто он учитель в каком-то колледже, умеет говорить на

разных языках и все на свете знает. Да еще мало того. Говорят, будто он имеет право голосовать у себя на родине. Ну, этого я уж не стерпел. Думаю, до чего ж мы этак дойдем? Как раз был день выборов, я и сам хотел идти голосовать, если б не хлебнул лишнего, а когда узнал, что есть у нас в Америке такой штат, где этому негру позволяют голосовать, я взял да и не пошел, сказал, что никогда больше голосовать не буду. Так прямо и сказал, и все меня слышали. Да пропади пропадом вся страна — все равно я больше никогда в жизни голосовать не буду! И смотри ты, как этот негр нахально себя ведет: он бы мне и дороги не уступил, если б я его не отпихнул в сторону. Спрашивается, почему этого негра не продадут с аукциона? Вот что я желал бы знать! И как бы ты думал, что мне ответили? «Его, говорят, нельзя продать, пока он не проживет в этом штате полгода, а он еще столько не прожил». Ну, вот тебе и пример. Какое же это правительство, если нельзя продать вольного негра, пока он не прожил в штате шести месяцев? А еще называется правительство, и выдает себя за правительство, и воображает, будто оно правительство, а целые полгода с места не может сдвинуться, чтоб забрать этого жулика, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке и...

Папаша до того разошелся, что уж не замечал, куда его несут ноги, — а они его не больно-то слушались, так что он полетел вверх тормашками, наткнувшись на бочонок со свининой, ободрал себе колени и принялся ругаться на чем свет стоит; больше всего досталось негру и правительству, ну и бочонку тоже, между прочим, влетело порядком. Он довольно долго скакал по комнате, сначала на одной ноге, потом на другой, хватаясь то за одну коленку, то за другую, а потом как двинет изо всех сил левой ногой по бочонку! Только напрасно он это сделал, потому что как раз на этой ноге сапог у него прорвался и два пальца торчали наружу; он так взвыл, что у кого угодно поднялись бы волосы дыбом, повалился и стал кататься по грязному полу, держась за ушибленные пальцы, а ругался он теперь так, что прежняя ругань просто в счет не шла.

После он и сам это говорил. Ему приходилось слышать старика Соуберри Хэгана в его лучшие дни, так будто бы он и его превзошел; но, по-моему, это уж он хватил через край.

После ужина отец взялся за бутыль и сказал, что виски ему хватит на две попойки и одну белую горячку. Это у него была такая поговорка. Я решил, что через какой-нибудь час он напьется вдребезги и уснет, а тогда я украду ключ или выпилю кусок бревна и выберусь паружу; либо то, либо другое. Он все пил и пил, а потом повалился на свое одеяло. Только мне не повезло. Он не уснул крепко, а все ворочался, стонал, мычал и метался во все стороны; и так продолжалось очень долго. Под конец мне так захотелось спать, что глаза сами собой закрывались, и не успел я опомниться, как крепко уснул, а свеча осталась гореть.

Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг раздался страшный крик, и я вскочил на ноги. Отец как сумасшедший метался во все стороны и кричал: «Змеи!» Он жаловался, что змеи ползают у него по ногам, а потом вдруг подскочил да как взвизгнет — говорит, будто одна укусила его в щеку, — но я никаких змей не видел. Он начал бегать по комнате, все кругом, кругом, а сам кричит: «Сними ее! Сними ее! Она кусает меня в шею!» Я не видывал, чтобы у человека были такие дикие глаза. Скоро он выбился из сил, упал на пол, а сам задыхается; потом стал кататься по полу быстро-быстро, расшвыривая вещи во все стороны и молотя по воздуху кулаками, кричал и вопил, что его схватили черти. Мало-помалу он унялся и некоторое время лежал смирно, только стонал, потом совсем затих и ни разу даже не пикнул. Я услышал, как далеко в лесу ухает филин и воют волки, и от этого тишина стала еще страшнее. Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову набок, и говорит едва слышно:

— Топ-топ-топ — это мертвецы... топ-топ-топ... они за мной идут, только я-то с ними не пойду... Ох, вот они! Не троньте меня, не троньте! Руки прочь — они холодные! Пустите... Ох, оставьте меня, несчастного, в покое!..

Потом он стал на четвереньки и пополз, и все просит мертвецов, чтоб они его не трогали; завернулся в одеяло и полез под стол, а сам все просит, потом как заплачет! Даже сквозь одеяло было слышно.

Скоро он сбросил одеяло, вскочил на ноги, как полоумный, увидел меня и давай за мной гоняться. Он гонялся за мной по всей комнате со складным ножом, звал меня Ангелом Смерти, кричал, что он меня убьет, и тогда я уже больше не приду за ним. Я его просил успокоиться, говорил, что это я, Гек; а он только смеялся, да так страшно! И все ругался, орал и бегал за мной. Один раз, когда я извернулся и нырнул ему под руку, он схватил меня сзади за куртку и... я уже думал было, что тут мне и крышка, однако выскочил из куртки с быстротой молнии и этим спасся. Скоро старик совсем выдохся; сел на пол, привалившись спиной к двери, и сказал, что отдохнет минутку, а потом уж убьет меня. Нож он подсунил под себя и сказал, что поспит сначала, наберется сил, а там посмотрит, кто тут есть.

Он очень скоро задремал. Тогда я взял старый стул с провалившимся сиденьем, влез на него как можно осторожнее, чтоб не наделать шума, и снял со стены ружье. Я засунул в него шомпол, чтобы проверить, заряжено оно или нет, потом пристроил ружье на бочонок с репой, а сам улегся за бочонком, нацелился в пзпашу и стал дожидаться, когда он проснется. И до чего же медленно и тоскливо потянулось время!

Глава VII

— Вставай! Чего это ты выдумал?

Я открыл глаза и оглянулся, сплясь понять, где же это я нахожусь. Солнце уже вошло — значит, я спал долго. Надо мной стоял отец; лицо у него было довольно хмурое и к тому же опухшее. Он сказал:

— Что это ты затеял с ружьем?

Я сообразил, что он ничего не помнит из того, что вытворял ночью, и сказал:

— Кто-то к нам ломился, вот я и подстерегал его.

— А почему же ты меня не разбудил?

— Я пробовал, да ничего не вышло: не мог вас растолкать.

— Ну ладно... Да не стой тут без толку, нечего языком чесать! Поди погляди, не попалась ли на удочки рыба к завтраку. Я через минуту приду.

Он отпер дверь, и я побежал к реке. Я заметил, что вниз по течению плывут обломки веток, всякий сор и даже куски коры, — значит, река начала подниматься. Я подумал, что жил бы припеваючи, будь я теперь в городе. В июньское половодье мне всегда везло, потому что, как только оно начнется, вниз по реке плывут дрова и целые звенья плотов, иной раз бревен по двенадцати вместе: только и дела, что ловить их да продавать на дровяные склады и на лесопилку.

Я шел по берегу и одним глазом все высматривал отца, а другим следил, не принесет ли река что-нибудь подходящее. И вдруг, гляжу, плывет челнок, да какой — просто чудо! — футов тринадцать или четырнадцать в длину; несется вовсю, как миленький. Я бросился в воду головой вниз, по-лягушачьи, прямо в одежде, и поплыл к челноку. Я так и ждал, что кто-нибудь в нем лежит, — у нас часто так делают шутки ради, а когда подплывешь почти к самому челноку, вскакивают и поднимают человека на смех. Но на этот раз вышло по-другому. Челнок и в самом деле был пустой, я влез в него и пригнал к берегу. Думаю, вот старик обрадуется, когда увидит: долларов десять такая штука стоит! Но когда я добрался до берега, отца еще не было видно, я завел челнок в устье речки, заросшее ивняком и диким виноградом; и тут мне пришло в голову другое: думаю, спрячу его получше, а потом, вместо того чтоб убежать в лес, спущусь вниз по реке миль на пятьдесят и поживу подольше на одном месте, а то чего ради бедствовать, таскаясь пешком!

От хибарки это было совсем близко, и мне все казалось, будто идет мой старик, но я все-таки спрятал челнок, а потом взял да и выглянул из-за куста; гляжу, отец уж спустился к реке по тропинке и целится из ружья в какую-то птицу. Значит, он ничего не видел.

Когда он подошел, я усердно трудился, вытаскивая лёсу. Он поругал меня немножко за то, что я так копаюсь; но я ему наврал, будто бы свалился в воду, оттого и провозился так долго. Я так и знал — папаша заметит, что я весь мокрый, и начнет распрашивать. Мы сняли с удочек пять сомов и пошли домой.

Оба мы замыслили и легли после завтрака соснуть, и я принялся обдумывать, как бы мне отвадить вдову и отца, чтобы они меня не искали. Это было бы куда верней, чем полагаться на удачу. Разве успеешь убеждать далеко, пока они тебя хватятся, — мало ли что может случиться! Я долго ничего не мог придумать, а потом отец встал на минутку напиться воды и говорит:

— Если кто-нибудь в другой раз будет шататься вокруг дома, разбуди меня, слышишь? Этот человек не с добром сюда приходил. Я его застрелю. Если он еще придет, ты меня разбуди, слышишь?

Он повалился и опять уснул; зато его слова надумили меня, что надо делать. Ну, думаю, теперь я так устрою, что никому и в голову не придет меня разыскивать.

Часам к двенадцати мы встали и пошли на берег. Река быстро поднималась, и по ней плыло много всякого леса. Скоро показалось звено плота — девять бревен, связанных вместе. Мы взяли лодку и подтащили их к берегу. Потом пообедали. Всякий на месте папаша просидел бы на реке весь день, чтобы наловить побольше, но это было не в его обычае. Девяти бревен на один раз для него было довольно; ему загорелось ехать в город продавать. Он меня запер, взял лодку и около половины четвертого потащил плот на буксире в город. Я сообразил, что в эту ночь он домой не вернется, дождал, пока, по моим расчетам, он отъедет подальше, потом вытащил пилу и опять принялся пилить то бревно. Прежде чем отец переправился на другой берег, я уже выбрался на волю; лодка вместе с плотом казалась просто пятнышком на воде где-то далеко-далеко.

Я взял мешок кукурузной муки и отнес его туда, где был спрятан челнок, раздвинул ветви и спустил в

пего муку; потом отнес туда же свиную грудинку, потом бутылъ с виски. Я забрал весь сахар и кофе и сколько нашлось пороху и дроби; забрал пыжи, забрал ведро и флягу из тыквы, забрал ковш и жестяную кружку, свою старую пилу, два одеяла, котелок и кофейник. Я унес и удочки, и спички, и остальные вещи — все, что стоило хотя бы цент. Забрал все дочиста. Мне нужен был топор, только другого топора не нашлось, кроме того, что лежал в дровах, а я уж знал, почему его надо оставить на месте. Я вынес ружье, и теперь все было готово.

Я сильно подрыл стену, когда пролезал в дыру и вытаскивал столько вещей. Следы я хорошенько засыпал сверху землей, чтобы не видно было опилок. Потом вставил выпиленный кусок бревна на старое место, подложил под него два камня, а один камень приткнул сбоку, потому что в этом месте бревно было выгнуто и не совсем доходило до земли. Шагов за пять от стены, если не знать, что кусок бревна выпилен, ни за что пельзя было этого заметить, да еще и стена-то задняя — вряд ли кто-нибудь станет там шататься и разглядывать.

До самого челнока я шел по траве, чтобы не оставлять следов. Я постоял на берегу и посмотрел, что делается на реке. Все спокойно. Тогда я взял ружье и зашел поглубже в лес, хотел подстрелить какую-нибудь птицу; а потом увидел дикого поросенка: в здешних местах свиньи быстро дичают, если случайно забеют сюда с какой-нибудь луговой фермы. Я убил этого поросенка и понес его к хибарке.

Я взял топор и взломал дверь, причем постарался изрубить ее посильнее; принес поросенка, подтащил его поближе к столу, перерубил ему шею топором и положил его на землю, чтобы вытекла кровь (я говорю: «на землю», потому что в хибарке не было дощатого пола, а просто земля — твердая, сильно утопанная). Ну, потом я взял старый мешок, наложил в него больших камней, сколько мог снести, и поволок его от убитого поросенка к дверям, а потом по лесу к реке и бросил в воду; он пошел ко дну и скрылся из виду. Сразу бросалось в глаза, что здесь что-то тащили по

земле. Мне очень хотелось, чтобы тут был Том Сойер: я знал, что таким делом он заинтересуется и сумеет придумать что-нибудь почуднее. В такого рода делах никто не сумел бы развернуться лучше Тома Сойера.

Напоследок я вырвал у себя клоч волос, хорошенько намочил топор в крови, прилепил волосы к лезвию и зашвырнул топор в угол. Потом взял поросенка и понес его, завернув в куртку (чтобы не капала кровь), а когда отошел подальше от дома, вниз по течению реки, то бросил поросенка в реку. Тут мне пришла в голову еще одна штука. Я достал из челнока мешок с мукой и старую пилу и отнес их в дом. Я поставил мешок на старое место и прорвал в нем снизу дыру пилой, потому что ножей и вилок у нас не водилось, — отец, когда стряпал, управлялся одним складным ножом. Потом протащил мешок шагов сто по траве и через ивовые кусты к востоку от дома, где было мелкое озеро миль в пять шириной, все заросшее тростником, — уток там тоже под осень бывало очень много. С другой стороны из озера вытекала заболоченная речка или ручей, который тянулся на много миль — не знаю куда, только не впадал в реку. Мука сеялась всю дорогу, так что получилась тоненькая белая стёжка до самого озера. Я еще бросил там папашин точильный камень, чтобы похоже было, будто бы это случайно. Потом завязал дыру в мешке веревочкой, чтобы мука больше не сыпалась, и отнес мешок вместе с пилой обратно в челнок.

Когда почти совсем стемнело, я спустил челнок вниз по реке до такого места, где ивы нависли над водой, и стал ждать, пока взойдет луна. Я привязал его крепче к иве, потом перекусил малость, а после того улегся на дно выкурить трубочку и обдумать свой план. Думаю себе: они пойдут по следу мешка с камнями до берега, а потом начнут искать мое тело в реке. А там пойдут по мучному следу до озера и по вытекающей из него речке искать преступников, которые убили меня и украли вещи. В реке они ничего искать не станут, кроме моего мертвого тела. Скоро им это надоест, и больше они беспокоиться обо мне не будут. Ну

и отлично, а я смогу жить там, где мне захочется. Остров Джексона мне вполне подходит, я этот остров хорошо знаю, и там никогда никого не бывает. А по ночам можно будет переправляться в город: пошатаюсь там и подтибрю, что мне нужно. Остров Джексона — самое для меня подходящее место.

Я здорово устал и не успел опомниться, как уснул. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Я сел и огляделся по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Река казалась очень широкой, во много миль шириной. Луна светила так ярко, что можно было сосчитать все бревна, которые плыли мимо, черные и с виду неподвижные, очень далеко от берега. Кругом стояла мертвая тишина, но всему было впасть, что поздно, и пахло по-позднему. Вы понимаете, что я хочу сказать... не знаю, как это выразить словами.

Я хорошенько потянулся, зевнул и только хотел было отвязать челнок и пуститься дальше, как вдруг по воде до меня донесся шум. Я прислушался и скоро понял, в чем дело: это был тот глухой ровный стук, такой слышишь, когда весла ворочаются в уключинах тихой ночью. Я поглядел сквозь листву ивы — так и есть: далеко, около того берега, плывет лодка. Я не мог разглядеть, сколько в ней человек. Думаю, уж не отец ли, хоть я его и не ждал. Он спустился ниже меня по течению, а потом подгреб к берегу по тихой воде, причем проплыл так близко от меня, что я мог бы дотронуться до него дулом ружья. И правда, это был отец — да еще трезвый, судя по тому, как он работал веслами.

Я не стал терять времени. В следующую минуту я уже летел вниз по течению, без шума, но быстро, держась в тени берега. Я сделал мили две с половиной, потом выбрался на четверть мили ближе к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань и люди оттуда могли увидеть и окликнуть меня. Я старался держаться среди плывущих бревен, а потом лег на дно челнока, и пустил его по течению. Я лежал, отдыхая и покуривая трубочку, и глядел в небо, — ни облачка на нем. Небо кажется таким глубо-

ким, когда лежишь на спине в лунную ночь; раньше я этого не знал. И как далеко слышно по воде в такую ночь! Я слышал, как люди разговаривают на пристани. Слышал даже все, что они говорят, — все до единого слова. Один сказал, что теперь дни становятся все длинней, а ночи все короче. Другой ответил, что эта ночь, ему думается, не из коротких, — и тут они засмеялись; он повторил свои слова — и они опять засмеялись; потом разбудили третьего и со смехом пересказали ему; только он не засмеялся, — он буркнул что-то отрывистое и сказал, чтоб его оставили в покое. Первый заметил, что он непременно это расскажет своей старухе, — ей, наверно, очень понравится; но это сущие пустяки по сравнению с теми шуточками, какие он отпускал в свое время. Я услышал, как один из них сказал, что сейчас около трех часов и он надеется — рассвет задержится не больше чем на неделю. После этого голоса стали всё удаляться и удаляться, и я уже не мог разобрать слов, слышал только неясный говор да время от времени смех, и то, казалось, очень изда- лека.

Теперь я был много ниже пристани. Я привстал и увидел милях в двух с половиной ниже по течению остров Джексона, весь заросший лесом, — он стоял посредине реки, большой, темный и массивный, словно пароход без огней. Выше острова не видно было и следов отмели — вся она была теперь под водой.

До острова я добрался в два счета. Я стрелой пронесся мимо верхней его части — такое быстрое было течение, — потом вошел в стоячую воду и пристал с той стороны, которая ближе к иллинойсскому берегу. Я направил челнок в глубокую выемку берега, которую знал давно; мне пришлось раздвинуть ветки ивы, чтоб попасть туда; а когда я привязал челнок, снаружи его никто не заметил бы.

Я вышел на берег, сел на бревно в верхней части острова и стал смотреть на широкую реку, на черные плывущие бревна и на город в трех милях отсюда, где еще мерцали три-четыре огонька. Огромный плот плыл по реке: сейчас он был мильей выше острова, и посредине плота горел фонарь. Я смотрел, как он подползает

все ближе, а когда он поравнялся с тем местом, где я стоял, кто-то там крикнул: «Эй, на корме! Бери правей!» Я слышал это так ясно, как будто человек стоял со мной рядом.

Небо стало понемногу светлеть; я пошел в лес и лег соснуть перед завтраком.

Глава VIII

Когда я проснулся, солнце поднялось так высоко, что, наверно, было уже больше восьми часов. Я лежал на траве, в прохладной тени, думая о разных разностях, и чувствовал себя довольно приятно, потому что хорошо отдохнул. В просветы между листвою видно было солнце, но вообще тут росли все больше высокие деревья, и под ними было очень мрачно. Там, где солнечный свет просеивался сквозь листву, на земле лежали пятнышки вроде веснушек, и эти пятнышки слегка двигались, — значит, наверху был ветерок. Две белки уселись на сучке и, глядя на меня, затараторили очень дружелюбно.

Я разленился, мне было очень хорошо и совсем не хотелось вставать и готовить завтрак. Я было опять задремал, как вдруг мне послышалось, что где-то выше по реке раскатилось глухое «бум!» Я проснулся, приподнялся на локте и прислушался; через некоторое время слышу опять то же самое. Я вскочил, побежал на берег и посмотрел сквозь листву; гляжу, по воде расплывается клуб дыма, довольно далеко от меня, почти наравне с пристанью. А вниз по реке идет пароходик, битком набитый народом. Теперь-то я понял, в чем дело! Бум! Смотрю, белый клуб дыма оторвался от парохода. Это они, понимаете ли, стреляли из пушки над водой, чтоб мой труп всплыл наверх.

Я здорово проголодался, только разводить костер мне было никак нельзя, потому что они могли увидеть дым. Я сидел, глядя на пороховой дым, и прислушивался к выстрелам. Река в этом месте доходит до мили в ширину, а в летнее утро смотреть на нее всегда

приятно, так что я проводил бы время очень недурно, глядя, как ловят мой труп, если бы только было чего поесть. И тут я вдруг вспомнил, что при этом всегда наливают ртуть в ковриги хлеба и пускают по воде, потому что хлеб всегда плывет прямехонько туда, где лежит утопленник, и останавливается над ним. Ну, думаю, надо смотреть в оба: как бы не прозевать, если какая-нибудь коврига подплывет ко мне поближе. Я перебрался на иллинойсский край острова; думаю — может, мне и повезет. И не ошибся: гляжу, плывет большая коврига, и я уже было подцепил ее длинной палкой, да поскользнулся, и она проплыла мимо. Конечно, я стал там, где течение ближе всего подходит к берегу, — настолько-то я смыслил. Через некоторое время подплывает другая коврига, и на этот раз я ее не упустил. Я вытащил затычку, вытряхнул небольшой шарик ртути, запустил в ковригу зубы. Хлеб был белый, какой только господа едят, не то что простецкая кукурузная лепешка.

Я выбрал хорошенькое местечко, где листва была погуще, и уселся на бревно, очень довольный, жуя хлеб и поглядывая на пароходик. И вдруг меня осенило. Говорю себе: уж наверно вдова, или пастор, или еще кто-нибудь молился, чтобы этот хлеб меня отыскал. И что же, так оно и вышло. Значит, правильно: молитва доходит, — то есть в том случае, когда молятся такие люди, как вдова или пастор; а моя молитва не действует. И по-моему, она только у праведников и действует.

Я закурил трубочку и довольно долго сидел — курил и смотрел, что делается. Пароходик шел вниз по течению, и я подумал, что, когда он подойдет ближе, можно будет разглядеть, кто там на борту, а пароход должен был подойти совсем близко к берегу, в том месте, куда прибило хлеб.

Как только пароходик подошел поближе, я выколол трубку и побежал туда, где я выловил хлеб, и лег за бревно на берегу, на открытом месте. Бревно было с развилиной, и я стал в нее смотреть.

Скоро пароходик поравнялся с берегом; он шел так близко от острова, что можно было перекинуть сходни

и сойти на берег. На пароходе были почти все, кого я знал: отец, судья Тэтчер, Бекки Тэтчер, Джо Гарпер, Том Сойер со старухой тетей Полли, Сидом и Мэри и еще много других. Все разговаривали про убийство. Но тут вмешался капитан и сказал:

— Теперь смотрите хорошенько! Здесь течение подходит всего ближе к берегу: может, тело выбросило на берег и оно застряло где-нибудь в кустах у самой воды. Во всяком случае, будем надеяться.

Ну, а я надеялся совсем на другое. Все они столпились на борту и, наклонившись над перилами, старались вовсю — глядели чуть ли не в самое лицо мне. Я-то их отлично видел, а они меня нет. Потом капитан скомандовал: «От борта!» — и пушка выпалила прямо в меня, так что я оглох от грохота и чуть не ослеп от дыма; думал — тут мне и конец. Если бы пушка у них была заряжена ядром, то они наверняка получили бы то самое мертвое тело, за которым гонялись. Ну, опомнился — гляжу, ничего мне не сделалось, цел, слава богу. Пароход прошел мимо и скрылся из виду, обогнув мыс. Время от времени я слышал выстрелы, но все дальше и дальше; а после того как прошло около часа, и совсем ничего не стало слышно. Остров был в три мили длиной. Я решил, что они доехали до конца острова и махнули рукой на это дело. Оказалось, однако, что пока еще нет. Они обогнули остров и пошли под парами вверх по миссурийскому рукаву, изредка стреляя из пушки. Я перебрался на ту сторону острова и стал на них смотреть. Поравнявшись с верхним концом острова, пароходик перестал стрелять, повернул к миссурийскому берегу и пошел обратно в город.

Я понял, что теперь могу успокоиться. Больше никто меня искать не станет. Я выбрал свои пожитки из челнока и устроил себе уютное жилье в чаще леса. Из одеял я соорудил что-то вроде палатки, для того чтобы вещи не мочило дождем. Я поймал соменка, распорол ему брюхо пилой, а на закате развел костер и поужинал. Потом закинул удочку, чтобы наловить рыбы к завтраку.

Когда стемнело, я уселся у костра с трубкой и чувствовал себя сначала очень недурно. а когда

соскучился, то пошел на берег и слушал, как плещется река, считал звезды, бревна и плоты, которые плыли мимо, а потом лег спать. Нет лучше способа провести время, когда соскучишься: уснешь, а там, глядишь, куда и скука девалась.

Так прошло три дня и три ночи. Никакого разнообразия — все одно и то же. Зато на четвертый день я обошел кругом весь остров, исследовал его вдоль и поперек. Я был тут хозяин, весь остров принадлежал мне, так сказать, — надо же было узнать о нем побольше, а главное, надо было убить время. Я нашел много земляники, крупной, совсем спелой, зеленый виноград и зеленую малину, а ежевика только-только начала завязываться. «Все это со временем придется очень кстати», — подумал я.

Ну, я пошел шататься по лесу и забрел в самую глубь, наверно к нижнему концу острова. Со мной было ружье, только я ничего не подстрелил: я его взял для защиты, а какую-нибудь дичь решил добыть поближе к дому. И тут я чуть не наступил на здоровенную змею, но она ускользнула от меня, извиваясь среди травы и цветов, а я пустился за ней, стараясь подстрелить ее; пустился бегом — и вдруг наступил прямо на головни костра, который еще дымился.

Сердце у меня заколотилось. Я не стал особенно разглядывать, осторожно спустил курок, повернул и, прячась, побежал со всех ног обратно. Время от времени я останавливался на минуту там, где листва была погуще, и прислушивался, но дышал так громко, что ничего не мог расслышать. Прокрался еще подальше и опять прислушался, а там опять и опять. Если я видел пень, то принимал его за человека; если сучок трещал у меня под ногой, я чувствовал себя так, будто дыхание мне кто-то переломил пополам и у меня осталась короткая половинка.

Когда я добрался до дому, мне было здорово не по себе, душа у меня совсем ушла в пятки. «Однако, — думаю, — сейчас не время валять дурака». Я поскорей собрал свои пожитки и отнес их в челнок, чтобы они не были на виду; загасил огонь и разбросал золу кру-

гом, чтобы костер был похож на прошлогодний, а потом залез на дерево.

Я, должно быть, просидел на этом дереве часа два, но так ничего и не увидел и не услышал, — мне только чудилось, будто я слышу и вижу много всякой всячины. Ну, не сидеть же там целый век! В конце концов я взял да и слез, засел в чаще и все время держался настороже. Поесть мне удалось только ягод да того, что осталось от завтрака.

К тому времени, как стемнело, я здорово проголодался. И вот, когда стало совсем темно, я потихоньку спустился к реке и, пока луна не взошла, переправился на иллинойсский берег — за четверть мили от острова. Там я забрался в лес, сварил себе ужин и совсем было решил остаться на ночь, как вдруг слышу: «цок-цок, цок-цок», — и думаю: это лошади бегут, а потом слышу и голоса. Я поскорее собрал все опять в челнок, а сам, крадучись, пошел по лесу — не узнаю ли чего-нибудь. Отошел я не так далеко и вдруг слышу голос:

— Нам лучше остановиться здесь, если найдем удобное место; лошади совсем выдохлись. Давайте посмотрим...

Я не стал дожидаться, оттолкнулся от берега и тихонько переправился обратно. Челнок я привязал на старом месте и решил, что переночую в нем.

Спал я неважно: почему-то никак не мог уснуть, все думал. И каждый раз, как просыпался, мне все чудилось, будто кто-то схватил меня за шиворот. Так что сон не пошел мне на пользу. В конце концов говорю себе: «Нет, так невозможно! Надо узнать, кто тут есть на острове вместе со мной. Хоть тресну, да узнаю!» И после этого мне сразу стало как-то легче.

Я взял весло, оттолкнулся шага на два и повел челнок вдоль берега, оставаясь все время в тени. Взошла луна; там, где не было тени, было светло, почти как днем. Я греб чуть ли не целый час; везде было тихо, и все спало мертвым сном. За это время я успел добраться до конца острова. Подул прохладный ветерок, поднимая рябь, — значит, ночь была на исходе. Я шевельнул веслом и повернул челнок носом к берегу, потом вылез и, крадучись, пошел к опушке леса.

Там я сел на бревно и стал смотреть сквозь листву. Я увидел, как луна ушла с вахты и реку начало заволакивать тьмой; потом над деревьями забелела светлая полоска, — и я понял, что скоро рассветет. Тогда я взял ружье и, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, пошел к тому месту, где я наступил на золу от костра. Но мне что-то не везло: никак не мог найти то место. Потом, смотрю, так и есть: сквозь деревья мелькает огонек. Я стал подкрадываться, осторожно и не торопясь. Подошел поближе; смотрю — на земле лежит человек. Я чуть не умер со страху. Голова у него была закутана одеялом, и он уткнулся носом чуть не в самый костер. Я сидел за кустами футах в шести от костра и не сводил с него глаз. Теперь уже стало светлеть перед зарей. Скоро человек зевнул, потянулся и сбросил одеяло. Гляжу — а это Джим, негр мисс Уотсон! Ну и обрадовался же я! Говорю ему:

— Здравствуй, Джим! — и вылез из кустов.

Он как подскочит да как вытаращит на меня глаза. Потом бросился на колени, сложил руки и начал упрямиться:

— Не тронь меня, не тронь! Я никогда мертвецов не обижал. Я их всегда любил, все что мог для них делал. Ступай обратно в реку, откуда пришел, оставь в покое старика Джима, он с тобой всегда дружил.

Ну, мне недолго пришлось ему объяснять, что я не мертвец. Уж очень я обрадовался Джиму. Теперь мне было не так тоскливо. Я не боялся, что он станет кому-нибудь рассказывать, где я прячусь, — я так ему и сказал. Я говорил, а он сидел и смотрел на меня, а сам все молчал. Наконец я сказал:

— Теперь уже совсем рассвело. Давай-ка завтракать. Разведи костер получше.

— А какой толк его разводить, когда варить все равно нечего, кроме земляники и всякой дряни! Да ведь у тебя есть ружье, верно? Значит можно раздобыть чего-нибудь и получше земляники.

— Земляника и всякая дрянь... — говорю я. — Этим ты и питался?

— Ничего другого не мог достать, — говорит он.

— Да с каких же пор ты на острове, Джим?

— С тех самых пор, как тебя убили.

— Неужто все время?

— Ну да.

— И ничего не ел, кроме этой дряни?

— Да, сэр, совсем ничего.

— Да ведь ты, верно, с голоду помираешь?

— Просто лошадь съел бы! Верно, съел бы! А ты давно на острове?

— С той ночи, как меня убили.

— Да ну! А что же ты ел? Ах да, ведь у тебя ружье! Да-да, у тебя ружье. Это хорошо. Ты теперь подстрели что-нибудь, а я разведу костер.

Мы с ним пошли туда, где был спрятан челнок, и покуда он разводил костер на поляне под деревьями, я принес муку, грудинку, кофе, кофейник, сковородку, сахар и жестяные кружки, так что Джим прямо остолбенел от изумления: он думал, что все это колдовство. Да еще я поймал порядочного сома, а Джим выпотрошил его своим ножом и поджарил.

Когда завтрак был готов, мы развалились на траве и съели его с пылу горячим. Джим ел так, что за ушами трещало, — уж очень он изголодался. Мы наелись до отвала, а потом легли отдыхать.

Немного погодя Джим начал:

— Послушай-ка, Гек, а кого ж это убили в той хибарке, если не тебя?

Тут я рассказал ему все как есть, а он говорит:

— Ловко! Даже Тому Сойеру лучше не придумать.

Я спросил:

— А ты как сюда попал, Джим, зачем тебя принесло?

Он замялся и, должно быть, около минуты молчал; потом сказал:

— Может, лучше не говорить...

— Почему, Джим?

— Мало ли почему... Только ты про меня никому не говори. Ведь не скажешь, Гек?

— Провалиться мне, если скажу!

— Ну ладно, я тебе верю, Гек. Я... я убежал.

— Джим!

— Смотри же, ты обещал не выдавать, — сам знаешь, что обещал, Гек!

— Да уж ладно. Обещал не выдавать — и не выдам. Честное индейское, не выдам! Пускай все меня назовут подлым аболиционистом, пускай презирают за это — наплевать. Я никому не скажу, да и вообще я туда больше не вернусь. Так что валяй рассказывай.

— Ну так вот, видишь ли, как было дело. Старая хозяйка — то есть мисс Уотсон — все ко мне придиралась, просто жить не давала, а все-таки обещала, что в Орлеан меня ни за что не продаст. Но только я заметил, что последнее время около дома все вертится один работорговец, и стал беспокоиться. Поздно вечером я подкрался к двери, — а дверь-то была не совсем прикрыта, — и слышу: старая хозяйка говорит вдове, что собирается продать меня в Орлеан, на Юг; ей бы не хотелось, но только за меня дают восемьсот долларов, а против такой кучи денег где же устоять! Вдова начала ее уговаривать, чтоб она меня не продавала, только я-то не стал дожидаться, чем у них кончится, взял да и дал тягу.

Спустился я с горы; думаю, стяну лодку где-нибудь на реке выше города. Народ еще не спал, так что я спрятался в старой бочарне на берегу и стал ждать, пока все разойдутся. Так и просидел всю ночь. Все время кто-нибудь шатался поблизости. Часов около шести утра мимо начали проплывать лодки, а в восемь или девять в каждой лодке только про то и говорили, что твой папаша приехал в город и рассказывает, будто тебя убили. В лодках сидели дамы и господа, они ехали осматривать место убийства. Иной раз лодки приставали к берегу для отдыха, прежде чем переправиться на ту сторону; вот из разговоров я и узнал про убийство. Мне было очень жаль, что тебя убили, Гек... Ну, теперь-то, конечно, не жалко.

Я пролежал под стружками целый день. Есть очень хотелось, а бояться я не боялся: я знал, что вдова со старой хозяйкой сразу после завтрака пойдут на молитвенное собрание и там пробудут целый день, а про меня подумают, что я еще на рассвете ушел пасти коров, так что хватятся меня только вечером, как стем-

неет. Остальная прислуга меня тоже не хватится, это я знал: они все улизнули гулять, пока старух дома нету.

Ну ладно... Как только стемнело, я вылез и пошел по берегу против течения; прошел, должно быть, мили две, а то и больше, — там уж и домов никаких не было. Тогда я решил, что мне делать. Понимаешь, если бы я пошел пешком, меня выследили бы собаки; если же украсть лодку и переплыть на ту сторону, лодки хватятся, узнают, где я пристал на той стороне, и найдут мой след. Нет, думаю, для меня самое подходящее дело — плот: он следов не оставляет.

Скоро, вижу, из-за поворота показался огонек. Я бросился в воду и поплыл, а сам толкаю перед собою бревно. Так я заплыл на середину реки, спрятался среди плывущих бревен, а голову держу пониже и гребу против течения — жду, пока плот подойдет. Потом подплыл к корме и уцепился за нее. Тут нашли облака, стало совсем темно, так что я вылез и лег на плоту. Люди там собрались на середине, поближе к фонарю. Река все поднималась, течение было сильное, и я сообразил, что к четырем часам проплыву с ними миль двадцать пять вниз по реке, а там, перед рассветом, слезу в воду, доплыву до берега и уйду в лес на иллинойской стороне.

Только мне не повезло, мы почти что поравнялись с островом; и вдруг, смотрю, на корму идет человек с фонарем. Вижу, дожидаться нечего, прыгнул за борт, да и поплыл к острову. Я думал, что где угодно вылезу, да разве тут вылезешь — берег уж очень крутой. Пришлось мне плыть до нижнего конца острова, пока не нашел подходящего места. Я спрятался в лесу и решил на плоты больше не садиться, раз там расхаживают с фонарями взад и вперед. Трубка, пачка табаку и спички были у меня в шапке, они не промокли, так что все оказалось в порядке.

— Значит, все это время ты не ел ни хлеба, ни мяса? Чего же ты не поймал себе черепаху?

— Как же ее поймаешь? На нее ведь не бросишься и не схватишь, а камнем ее разве убьешь? Да и как же ночью их ловить? А днем я на берег не выходил,

— Да, это верно. Тебе, конечно, пришлось все время сидеть в лесу. Ты слышал, как стреляли из пушки?

— Еще бы! Я знал, что это тебя ищут. Я видел, как они плыли мимо, — глядел на них из-за кустов.

Какие-то птенцы порхнули мимо — пролетят два шага и садут. Джим сказал, что это к дождю. Есть такая примета: если цыплята перепархивают с места на место, значит будет дождь; ну и с птенцами, наверно, то же самое. Я хотел поймать несколько штук, только Джим не позволил. Он сказал, что это к смерти. У него отец был очень болен; кто-то из детей поймал птицу, и старуха бабушка сказала, что отец умрет, — так оно и вышло.

А еще Джим сказал, что не надо пересчитывать, сколько чего готовится к обеду, потому что это не к добру. То же самое, если вытряхивать скатерть после захода солнца. А еще если у человека есть пчелы и этот человек умрет, то пчелам непременно нужно об этом сказать на следующее утро, до того как взойдет солнце, а не то они ослабеют, перестанут работать и передохнут. Джим сказал, будто пчелы не жалят дураков, только я этому не верю: я сам сколько раз пробовал, и они меня не кусали.

Кое-что из этого я слышал и раньше, только не все. Джим знал много примет и сам говорил, что почти все знает. По-моему, выходило, что почти все приметы не к добру, и потому я спросил Джима, не бывает ли счастливых примет. Он сказал:

— Совсем мало, и то от них никакой нет пользы. Зачем тебе знать, что скоро счастье привалит тебе? Чтобы избавиться от него?

А еще он сказал:

— Если у тебя волосатые руки и волосатая грудь — это верная примета, что разбогатеешь. Ну, от такой приметы еще есть какой-то прок, потому что когда-то оно будет! Понимаешь, может ты сначала долго будешь бедный и, может, с горя возьмешь да и повешишься, если не будешь знать, что потом разбогатеешь.

— А у тебя волосатые руки и грудь, Джим?

— Что ж ты спрашиваешь? Не видишь разве сам, что волосатые?

— Ну и что ж, ты богатый?

— Нет. Зато один раз был богатый и еще когданибудь разбогатею. Один раз у меня было четырнадцать долларов, только я стал торговать и разорился.

— Чем же ты торговал, Джим?

— Да сначала скотом.

— Каким скотом?

— Ну известно каким — живым. Купил за десять долларов корову. Но только больше я своими деньгами так бросаться не стану. Корова-то возьми да и сдохни у меня на руках.

— Значит, ты потерял десять долларов?

— Нет, потерял-то я не все. Я потерял около девяти долларов, — шкуру и сало я продал за доллар десять центов.

— Стало быть, у тебя осталось пять долларов десять центов. Ну и что ж, ты опять их пустил в оборот?

— Как же! Знаешь одноногого негра, еще у него хозяин старый мистер Брэдиш? Так вот, он завел банк и сказал, что кто внесет один доллар, через год получит еще четыре доллара. Все негры сделали вклад, только денег у них было мало. У меня одного было много. Вот мне и захотелось получить больше четырех долларов, и я ему сказал, что, если он мне столько не даст, я сам открою банк. Ну, а этому негру, конечно, не хотелось, чтоб я тоже заводил банк, потому что двум банкам у нас делать нечего, — он и сказал, что если я вложу пять долларов, то в конце года он мне выплатит тридцать пять.

Так я и сделал. Думаю: сейчас же пушу и эти тридцать пять долларов в оборот, чтоб деньги зря не лежали. Один негр, которого зовут Боб, поймал большую плоскодонку, а его хозяин про это не знал; я ее купил и сказал, что дам ему в конце года тридцать пять долларов; только плоскодонку украли в ту же ночь, а на другой день одноногий негр объявил нам, что банк лопнул. Так никто из нас и не получил денег.

— А куда же ты девал десять центов, Джим?

— Сначала я хотел их истратить, а потом увидел сон,

и во сне голос сказал мне, чтоб я их отдал одному негру, которого зовут Балаам, а если попросту — Балаамов осел. Он и вправду придурковатый, надо тебе сказать. Зато, говорят, он счастливый, а мне, вижу, все что-то не везет. Голос сказал: «Пускай Балаам пустит десять центов в рост, а прибыль отдаст тебе! Ну, Балаам деньги взял, а потом в церкви услышал от проповедника, что кто дает бедному, тот дает богу, и ему за это воздастся сторицей. Он взял да и отдал деньги нищему, а сам стал ждать, что из этого выйдет.

— Ну, и что же из этого вышло, Джим?

— Да ничего не вышло. Я никак не мог получить деньги обратно, и Балаам тоже не получил. Теперь уж я денег в долг никому не дам, разве только под залог. А проповедник еще говорит, что непременно получишь во сто раз больше! Мне бы хоть свои десять центов получить обратно, я и то был бы рад, и то было бы ладно.

— Ну, Джим, это еще не беда, раз ты все равно когда-нибудь разбогатеешь.

— Да я ведь и теперь богатый, если рассудить. Я ведь сам себе хозяин, а за меня дают восемьсот долларов. Кабы мне эти деньги, я бы и не просил больше.

Глава IX

Мне захотелось еще раз пойти взглянуть на одно место, которое я заметил посредине острова, когда его осматривал; вот мы с Джимом и отправились и скоро туда добрались, потому что остров был всего в три мили длиной и в четверть мили шириной.

Это был довольно длинный и крутой холм, или горка, футов в сорок высотой. Мы еле-еле вскарабкались на вершину — такие там были крутые склоны и непролазные кустарники. Мы исходили и излазили все кругом и в конце концов нашли хорошую, просторную пещеру почти на самом верху, на той стороне, что ближе к Иллинойсу. Пещера была большая, как две-три комнаты вместе, и Джим мог стоять в ней выпря-

жившись. Внутри было прохладно. Джим решил сейчас же перенести туда наши вещи, но я сказал, что незачем все время лазить вверх и вниз.

Джим думал, что если мы спрячем челнок в укромном месте и перетаскаем все пожитки в пещеру, то сможем прятаться здесь, когда кто-нибудь переправится на остров, и без собак нас нипочем не найдут. А кроме того, птенцы недаром предсказывали дождь, так неужели я хочу, чтобы все промокло?

Мы вернулись, взяли челнок, подплыли к самой пещере и перетаскали туда все наши вещи. Потом нашли такое место поблизости, где можно было спрятать челнок под густыми ивами. Мы сняли несколько рыб с крючков, опять закинули удочки и пошли готовить обед.

Вход в пещеру оказался достаточно широк, для того чтобы вкатить в нее бочонок; с одной стороны входа пол немножко приподнимался, и там было ровное место, очень удобное для очага. Мы развели там огонь и сварили обед.

Расстелив одеяла прямо на полу, мы уселись на них и пообедали. Все остальные вещи мы разместили в глубине пещеры так, чтоб они были под рукой. Скоро потемнело, и начала сверкать молния, загремел гром; значит, птицы-то оказались правы. Сейчас же полил и дождик, сильный как из ведра, а такого ветра я еще никогда не видывал. Это была самая настоящая летняя гроза. Стало так темно, что все кругом казалось черно-синим и очень красивым; а дождь хлестал так сильно и так часто, что деревья чуть подальше виднелись смутно и как будто сквозь паутину; а то вдруг налетит вихрь, пригнет деревья и вывернет листья светлой стороной, наизнанку; а после того поднимется такой здоровый ветер, что деревья машут ветвями, как бешеные; а когда тьма сделалась всего черней и гуще, вдруг — фсс! — и стало светло, как днем; стало видно на сотню шагов дальше прежнего, стало видно, как гнутся на ветру верхушки деревьев; а через секунду опять сделалось темно, как в пропасти, и со страшной силой загрохотал гром, а потом раскатился по небу, все ниже, ниже, словно пустые бочки по лестнице, —

знаете, когда лестница длинная, а бочки сильно подсакивают.

— Вот это здорово, Джим! — сказал я. — Я бы никуда отсюда не ушел. Дай-ка мне еще кусок рыбы да горячую кукурузную лепешку.

— Ну вот видишь, а без Джима тебе пришлось бы плохо. Сидел бы ты в лесу без обеда да еще промок бы до костей. Да, да, сынок! Куры уж знают, когда дождик пойдет, и птицы в лесу тоже.

Дней десять или двенадцать подряд вода в реке все поднималась и поднималась и наконец вышла из берегов. В низинах остров залило водой на три-четыре фута, и иллинойсский берег тоже. По эту сторону острова река стала шире на много миль, а миссурийская сторона как была, так и осталась в полмили шириной, потому что миссурийский берег — это сплошная стена утесов.

Днем мы ездили по всему острову на челноке. В глубине леса было очень прохладно и тенисто, даже когда солнце жарило вовсю. Мы пробирались кое-как между деревьями, а местами дикий виноград заплел все так густо, что приходилось подаваться назад и искать другую дорогу. Ну, и на каждом поваленном дереве сидели кролики, змеи и прочая живность; а после того как вода стояла день-другой, они от голода сделались такие смиренные, что подъезжай и прямо хоть руками их бери, кому хочется; только, конечно, не змеи и не черепахи — эти соскакивали в воду. На горе, где была наша пещера, они кишмя кишели. Если бы мы захотели, то могли бы завести себе сколько угодно ручных зверей.

Как-то вечером мы поймали небольшое звено от плота — хорошие сосновые доски. Звено было в двенадцать футов шириной и в пятнадцать — шестнадцать футов длиной, а над водой выдавался дюймов на шесть, на семь прочный ровный настил. Иной раз мы видели днем, как мимо проплывали бревна, только не ловили их: при дневном свете мы носу не показывали из пещеры.

В другой раз, перед самым рассветом, мы причалили к верхнему концу острова — и вдруг видим: с

западной стороны плывет к нам целый дом. Дом был двухэтажный и здорово накренился. Мы подъехали и взобрались на него — влезли в окно верхнего этажа. Но было еще совсем темно, ничего не видно; тогда мы вылезли, привязали челнок и сели дожидаться, когда рассветет.

Не успели мы добраться до нижнего конца острова, как начало светать. Мы заглянули в окно. Мы разглядели кровать, стол, два старых стула, и еще на полу валялось много разных вещей, а на стене висела одежда. В дальнем углу лежало что-то вроде человека. Джим окликнул:

— Эй, ты!

Но тот не пошевелинулся. Тогда и я тоже окликнул его. А потом Джим сказал:

— Он не спит — он мертвый. Ты не ходи, я сам пойду погляжу.

Он влез в окно, подошел к лежащему человеку, нагнулся, поглядел и говорит:

— Это мертвец. Да еще к тому же и голый. Его застрелили сзади. Должно быть, дня два или три, как он умер. Поди сюда, Гек, только не смотри ему в лицо — уж очень страшно.

Я совсем не стал на него смотреть. Джим прикрыл его каким-то старым тряпьем, только это было ни к чему: я и глядеть-то на него не хотел. На полу валялись старые, замасленные карты, пустые бутылки из-под виски и еще две маски из черного сукна, а все стены были сплошь исписаны самыми скверными словами и разрисованы углем. На стене висели два занесенных ситцевых платья, соломенная шляпка, какие-то юбки и рубашки и мужская одежда. Мы много кое-чего снесли в челнок — могло пригодиться. На полу валялась старая соломенная шляпа, какие носят мальчишки; я ее тоже захватил. А еще там лежала бутылка из-под молока, заткнутая тряпкой, чтоб ребенку сосать. Мы бы взяли бутылку, да только она была разбита. Были еще обшарпанный старый сундук и чемодан со сломанными застежками, и тот и другой стояли раскрытые, но ничего стоящего в них не осталось. По тому, как были разбросаны вещи, видно было, что

хозяева убежали второпях и не могли унести с собой все пожитки.

Нам достались: старый жестяной фонарь, большой нож без ручки, новенький карманный ножик фирмы Гарлоу (такой ножик ни в одной лавке не купишь дешевле, чем за полдоллара), много сальных свечей, жестяной подсвечник, фляжка, жестяная кружка, рваное ватное одеяло, дамская сумочка с иголками, булавками, нитками, куском воска, пуговицами и прочей чепухой, топорик и гвозди, удочка потолка моего мизинца, с большущими крючками, свернутая в трубку оленья шкура, собачий ошейник, подкова, пузырьки из-под лекарств, без ярлыков; а когда мы собрались уже уходить, я нашел довольно приличную скребницу, а Джим — старый смычок от скрипки и деревянную ногу. Ремни вот только оторвались, а так совсем хорошая нога, разве только что мне она была длинна, а Джиму коротка. А другую ногу мы так и не нашли, сколько ни искали.

Так что, вообще говоря, улов был неплохой. Когда мы собрались отчаливать от дома, совсем уже рассвело. Мы были на четверть мили ниже острова; я велел Джиму лечь на дно челнока и прикрыл его ватным одеялом, — а то, если б он сидел, издали было бы видно, что это негр. Я стал править к иллинойсскому берегу с таким расчетом, чтобы нас отнесло на полмили вниз по течению, потом держался под самым берегом, в полосе стоячей воды. Мы вернулись на остров без всяких приключений, никого не повстречав.

Глава X

После завтрака мне пришла охота поговорить про мертвеца и про то, как его убили, только Джим не захотел. Он сказал, что этим можно накликать беду, а кроме того, как бы мертвец не повадился к нам таскаться по ночам, — ведь человек, который не похоронен, скорей станет везде шлаться, чем тот, который устроен и лежит себе спокойно на своем месте. Это,

пожалуй, было верно, так что я спорить не стал, только все думал об этом: мне любопытно было знать, кто же это его застрелил и для чего.

Мы хорошенько осмотрели одежду, которая нам досталась, и нашли восемь долларов серебром, зашитые в подкладку старого пальто из попоны. Джим сказал, что эти люди, наверно, украли пальто: ведь если б они знали про зашитые деньги, так не оставили бы его здесь. Я ответил, что, верно, они же убили и хозяина, только Джим не захотел про это разговаривать.

Я ему сказал:

— Вот ты думаешь, что это не к добру, а что ты говорил позавчера, когда я принес змеиную кожу, которую нашел на верху горы? Ты говорил, будто хуже нет приметы, как взять в руки змеиную кожу. А что плохого случилось? Мы вот сколько всего набрали, да еще восемь долларов в придачу! Хотел бы я, чтоб у нас каждый день бывала такая беда, Джим!

— Ничего не значит, сынок, ничего не значит. Ты не очень-то расходишься. Беда еще впереди. Попомни мои слова: она еще впереди.

Так оно и вышло. Этот разговор был у нас во вторник, а в пятницу после обеда мы лежали на травке у обрыва; у нас вышел весь табак, и я пошел в пещеру за табаком и наткнулся там на гремучую змею. Я ее убил, свернул кольцом и положил Джиму на одеяло: думаю, вот будет потеха, когда Джим найдет у себя на постели змею! Но, конечно, к вечеру я про нее совсем позабыл. Джим бросился на одеяло, пока я разводил огонь, а там оказалась подружка убитой змеи и укусила Джима.

Джим вскочил да как заорет! И первое, что мы увидели при свете, была эта гадина: она свернулась кольцом и уже приготовилась опять броситься на Джима. Я ее в одну минуту уколол палкой, а Джим схватил папашину бутылку с водкой и давай хлестать.

Он был босиком, и змея укусила его в пятку. А все оттого, что я, дурак, позабыл: если где-нибудь оставить мертвую змею, подружка обязательно туда приползет и обовьется вокруг нее. Джим велел мне от-

рубить змеиную голову и выбросить, а потом снять со змеи кожу и поджарить кусочек мяса. Я так и сделал. Он съел и сказал, что это его должно вылечить. И еще он велел мне снять с нее кольца и привязать ему к руке. Потом я потихоньку вышел из пещеры и забросил обеих змей подальше в кусты: мне вовсе не хотелось, чтобы Джим узнал, что все это из-за меня вышло.

Джим все потягивал да потягивал из бутылки, и время от времени на него что-то находило: он вдруг начинал вертеться и орать, как полоумный, а потом опомнится — и снова примется за бутыль.

Ступня у него здорово распухла, и вся нога выше ступни тоже; а потом мало-помалу начала действовать водка. Ну, думаю, теперь дело пойдет на поправку. Хотя, по мне, лучше змеиный укус, чем папашина водка.

Джим пролежал четыре дня и четыре ночи. После того опухоль спала, и он выздоровел. Я решил, что ни за какие коврижки больше не дотронусь до змеиной кожи, — ведь вон что из этого получается. Джим сказал, что в следующий раз я ему, надо полагать, поверю: брать в руки змеиную кожу — это уж такая дурная примета, что хуже не бывает; может, это еще и не конец. Он говорил, что во сто крат лучше увидеть молодой месяц через левое плечо, чем дотронуться до змеиной кожи. Ну, я и сам теперь начал так думать, хотя раньше всегда считал, что нет ничего глупей и неосторожней, как глядеть на молодой месяц через левое плечо. Старый Хэнк Банкер один раз поглядел вот так да еще и похвастался. И что же? Не прошло двух лет, как он в пьяном виде свалился с дроболитной башни и расшибся, можно сказать, в лепешку; его всунули между двух дверей вместо гроба и, говорят, так и похоронили; сам я этого не видел, а слышал от отца. Но уж конечно вышло это оттого, что он глядел на месяц через левое плечо, как дурак.

Так вот дни проходили за днями, и река опять спала и вошла в берега. Мы тогда первым делом насадили на большой крючок ободранного кролика, закинули лесу в воду и поймали сома ростом с человека; длиной он

был в шесть футов и два дюйма, а весил фунтов двести. Мы, конечно, даже вытащить его не могли: он бы нас зашвырнул в Иллинойс. Мы просто сидели и смотрели, как он рвался и метался, пока не подох. В желудке у него мы нашли медную пуговицу, круглый шар и много всякой дряни. Мы разрубили шар топором, и в нем оказалась катушка. Джим сказал, что, должно быть, она пролежала у него в желудке очень долго, если успела так обрасти и превратиться в шар. По-моему, крупней этой рыбы никогда не ловили в Миссисипи. Джим сказал, что такого большого сома он еще не видывал. В городе он продал бы его за хорошие деньги. Такую рыбу там на рынке продают на фунты, и многие покупают: мясо у сома белое, как снег, его хорошо жарить.

На другое утро мне что-то стало скучно и захотелось как-нибудь развлечься. Я сказал Джиму, что, пожалуй, переправлюсь за реку и разузнаю, что там делается. Джиму эта мысль пришлась по вкусу; он посоветовал только, чтоб я подождал до темноты, а в городе держал бы ухо остро. Подумав еще немножко, он сказал — не взять ли мне что-нибудь из старья и не переодеться ли девочкой. Это тоже была хорошая мысль. Мы укоротили одно ситцевое платье, я закатал штаны до колен и влез в него. Джим застегнул сзади все крючки, и оно пришлось мне как раз впору. Я надел соломенный капор, завязал ленты под подбородком, и тогда заглянуть мне в лицо стало не так-то просто — все равно что в печную трубу. Джим сказал, что теперь меня вряд ли кто узнает даже днем. Я практиковался целый день, чтобы привыкнуть к женскому платью, и понемножку стал себя чувствовать в нем довольно удобно. Только Джим сказал, что у девочек походка не такая; а еще он сказал, чтоб я бросил привычку задира́ть платье и засовывать руки в карманы. Я послушался, и дело пошло на лад.

Как только стемнело, я поехал в челноке вверх по течению, держась иллинойсского берега.

Я переправился в город немного ниже пристани, и течением меня снесло к окраине. Привязав челнок, я пошел по берегу. В маленькой хибарке, где очень

давно никто не жил, теперь горел свет, и мне захотелось узнать, кто это там поселился. Я подкрался поближе и заглянул в окно. Женщина лет сорока сидела за простым сосновым столом и вязала при свече. Лицо было незнакомое; она, должно быть, недавно сюда приехала, потому что всех городских я знал. На этот раз мне повезло, потому что я уже начинал трусить: зачем, думаю, я пошел? Ведь по голосу могут узнать, кто я такой. А если эта женщина хоть два дня прожила в таком маленьком городишке, она, конечно, сможет рассказать все, что мне нужно. Я постучал в дверь, дав себе слово ни на минуту не забывать, что я девчонка.

Глава XI

— Войдите, — сказала женщина; и я вошел. — Садись на этот стул.

Я сел. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими блестящими глазками и спросила:

— Как же тебя зовут?

— Сара Уильямс.

— А где ты живешь? Здесь где-нибудь поблизости?

— Нет, в Гукервилле, это за семь миль отсюда, вниз по реке. Я всю дорогу шла пешком и очень устала.

— И проголодалась тоже, я думаю. Сейчас поищу чего-нибудь.

— Нет, не надо. Я так проголодалась, что зашла на ферму, в двух милях отсюда, и сейчас мне есть не хочется. Вот почему я так поздно. Моя мать лежит больная, денег у нас нет, и ничего нет; я и пошла к моему дяде, Абнеру Муру. Мать сказала: он живет на том конце города. Я тут никогда еще не бывала. Вы его знаете?

— Нет, я еще не всех знаю. Мы тут и двух недель не прожили. До того конца города не так-то близко. Оставайся у нас ночевать. Да сними шляпу.

— Нет, я лучше немного отдохну, — сказал я, — а потом пойду дальше. Я темноты не боюсь.

Она сказала, что одну меня не отпустит, а вот придет ее муж часика через полтора, тогда он меня проводит. Потом она начала рассказывать про своего мужа, про тех родственников, которые живут вверх по реке, и про тех, которые живут вниз по реке, и что раньше они с мужем жили гораздо лучше, и что напрасно они переехали в наш город, надо было просто не обращать ни на что внимания, и так далее, и так далее; я уж начал думать, не напрасно ли я надеялся у нее разузнать, что делается в нашем городе, но в конце концов дело все-таки дошло до моего отца и до того, как меня убили, — тут уж, думаю, пускай ее болтает. Она рассказала мне и про то, как мы с Томом Соьером нашли двенадцать тысяч (только по ее словам выходило двадцать), про моего папашу, и про то, что он человек пропащий, и что я тоже пропащий, наконец добралась и до того, как меня убили. Я спросил:

— А кто же это сделал? Мы про это убийство слышали в Гукервилле, только вот не знаем, кто убил Гека Финна.

— Ну, по-моему, и у нас тут найдется много таких, которые хотели бы узнать, кто его убил. Некоторые думают, что сам старик Финн убил.

— Да что вы?

— Сначала почти все так думали. А он так и не узнает никогда, что его чуть-чуть не линчевали. Только к ночи передумали и решили, что убил беглый негр по имени Джим.

— Да ведь он...

Я остановился. Решил, что лучше будет помолчать. А она все говорила и говорила и даже не заметила, что я что-то сказал.

— Этот негр сбежал в ту самую ночь, когда убили Гека Финна. Так что за него обещают награду — триста долларов. И за старика Финна тоже назначили награду — двести долларов. Он, видите ли, явился в город утром, рассказал про убийство и вместе со всеми ездил искать тело, а после того взял да и скрылся. Его в тот же вечер собирались линчевать, только он, видите ли, удрал. Ну, а на другой день оказалось, что и негр тоже удрал: его никто не видел после десяти

часов вечера в ту ночь, когда было совершено убийство, — так что стали думать на него. А на другой день, когда весь город только об этом и говорил, вдруг возвращается старый Финн, идет прямо к судье Тэтчеру и поднимает шум: требует, чтобы тот дал денег и устроил облаву на этого негра по всему Иллинойсу. Судья дал немного, и старик в тот же вечер напился пьяный и до полуночи шлялся по улицам с какими-то двумя подозрительными личностями, а потом скрылся вместе с ними. Ну вот, с тех пор он не возвращался, и у нас тут думают, что он и не вернется, пока все это не уляжется. Небось сам убил, а подстроил все так, чтобы думали на бандитов; а там, глядишь, зацапает себе Гековы денежки, и по судам таскаться не надо будет. Люди говорят: «Где ему убить, он даже и на это не годится!» А я думаю: ох, и хитер же! Если он еще год не вернется, то ничего ему за это не будет. Доказать-то ведь, понятное дело, ничего нельзя; все тогда успокоится, и он заберет себе Гековы денежки без всяких хлопот.

— Да, пожалуй. Кто ж ему помешает!.. А теперь уже больше никто не думает, что это негр убил?

— Да нет, думают еще. Многие все-таки считают, что это он убил. Но теперь негра должны скоро поймать, так что, может, и добьются от него правды.

— Как, разве его и сейчас ловят?

— Плохо же ты соображаешь, как я погляжу! Ведь триста долларов на дороге не валяются. Некоторые думают, что негр и сейчас где-нибудь недалеко. Я тоже так думаю, только помалкиваю. На днях я разговаривала со стариком и старухой, что живут рядом, в бревенчатом сарае, и они сказали, между прочим, что никто никогда не бывает на том вон острове, который называется остров Джексона.

— Разве там никто не живет? — спрашиваю я.

— Нет, говорят, никто не живет. Я больше ничего им не сказала, только призадумалась. За день или за два до того я там как будто видела дым, на верхнем конце острова; ну, думаю себе, этот негр скорее всего там прячется; во всяком случае, думаю, стоило бы весь остров обыскать. С тех пор я больше дыма не видела,

так что, может, негр оттуда уже ушел, если это был он. Мой муж съездит и посмотрит вместе с одним соседом. Он уезжал вверх по реке, а сегодня вернулся два часа назад, и я ему все это рассказала.

Мне стало до того не по себе — просто не сиделось на месте. Надо было чем-нибудь занять руки: я взял со стола иголку и начал вдевать в нее нитку. Руки у меня дрожали, и дело не ладилось. Женщина замолчала, и я взглянул на нее: она смотрела на меня как-то странно и слегка улыбалась. Я положил на место иголку с ниткой, будто бы очень заинтересовался ее словами, — да так оно и было, — и сказал:

— Триста долларов — это уйма денег. Хорошо бы, они достались моей матери. А ваш муж поедет туда нынче ночью?

— Ну а как же! Он пошел в город вместе с тем соседом, про которого я говорила, за лодкой и за вторым ружьем, если удастся у кого-нибудь достать. Они поедут после полуночи.

— А может, будет лучше видно, если они подождут до утра?

— Еще бы! И негру тоже будет лучше видно. После полуночи он, наверно, заснет, а они прокрадутся в лес и в темноте сразу увидят костер, если негр его развел.

— Я об этом не подумала.

Женщина все так же странно смотрела на меня, и мне сделалось очень не по себе. Потом она спросила:

— Как, ты сказала, тебя зовут, деточка?

— М-мэри Уильямс.

Кажется, в первый раз я сказал не «Мэри», а как-то по-другому, так что я не смотрел на нее; я, кажется, сказал «Сара». Она меня вроде как приперла к стене, и по глазам это, должно быть, было видно, — вот я и боялся на нее взглянуть. Мне хотелось, чтобы старуха еще что-нибудь сказала: чем дольше она молчала, тем хуже я себя чувствовал.

Тут она и говорит:

— Деточка, по-моему, ты сначала сказала «Сара», когда вошла.

— Да, верно: Сара-Мэри Уильямс. Мое первое имя Сара. Одни зовут меня Сара, а другие Мэри.

— Ах, вот как?

— Да.

Теперь мне стало легче, но все-таки хотелось удрать. Взглянуть на нее я не решался.

Ну, тут она начала говорить, какие нынче тяжелые времена, и как им плохо живется, и что крысы обнаглели и разгуливают по всему дому, словно они тут хозяйева, и еще много рассказывала, так что мне совсем полегчало. Насчет крыс это она верно сказала. Одна то и дело высовывала нос из дыры в углу. Женщина сказала, что она нарочно держит под рукой всякие вещи, чтобы бросать в крыс, когда остается одна, а то они ей покоя не дают. Она показала мне свинцовую полосу, скрученную узлом, заметив, что вообще-то она попадает метко, только вывихнула руку на днях и не знает, попадет ли теперь. Выждав случая, она швырнула этой штукой в крысу, но не попала и охнула — так больно ей было руку. Потом попросила меня инвернуть еще раз, если крыса высунется. Мне хотелось поскорей уйти, пока старик не вернулся, но, конечно, я и виду не подавал. Я взял эту штуку и, как только крыса высунулась, нацелился и швырнул, — и если б крыса сидела на месте, так ей бы не поздоровилось. Старуха сказала, что удар первоклассный, что в следующий раз я непременно попаду. Она встала и принесла обратно свинец, а потом достала моток пряжи и попросила, чтобы я ей помог размотать. Я расставил руки, она надела на них пряжу, а сама все рассказывает про свои дела. Вдруг она прервала рассказ и говорит:

— Ты поглядывай за крысами. Лучше держи свинец на коленях, чтобы был под рукой.

И она тут же бросила мне кусок свинца; я сдвинул колени и поймал его. А она все продолжала разговаривать, но не больше минуты, потом сняла пряжу у меня с рук, поглядела мне прямо в глаза, очень ласково, и говорит:

— Ну, так как же тебя зовут по-настоящему?

— Т-то есть как это?

— Как тебя по-настоящему зовут? Билл, Том, или Боб, или еще как-нибудь?

Я даже весь затрясся и прямо не знал, как мне быть. Однако сказал:

— Пожалуйста, не смейтесь над бедной девочкой! Если я вам мешаю, то...

— Ничего подобного. Сядь на место и сиди. Я тебя не обижу и никому про тебя не скажу. Ты только доверься мне, открой свой секрет. Я тебя не выдам; мало того, я тебе помогу. И мой старик поможет, если надо. Ты ведь, должно быть, беглый подмастерье, только и всего. Это ничего не значит. Что ж тут такого! С тобой обращались плохо, вот ты и решил удрать. Бог с тобой, сынок, я про тебя не скажу никому. Ну, а теперь выкладывай мне все, будь умником.

Тогда я решил, что не стоит больше притворяться, лучше я уж все скажу начистоту, только пускай и она сдержит свое слово. И я рассказал ей, что отец с матерью у меня умерли, а меня отдали на воспитание в деревню к старому скряге фермеру, в тридцати милях от реки. Он обращается со мной так плохо, что я терпел-терпел и не вытерпел: он уехал куда-то дня на два, вот я и воспользовался этим случаем, стащил старое платье у его дочки и удрал и в три ночи прошел эти тридцать миль до реки. Я шел ночью, а днем где-нибудь прятался и отсыпался; с собой у меня был мешок с хлебом и мясом, что я взял из дому, и этого мне за глаза хватило на всю дорогу. Мой дядя, Абнер Мур, позаботится, наверно, обо мне, вот почему я и пришел сюда, в Гошен.

— В Гошен, сынок? Это не Гошен. Это Санкт-Петербург. Гошен стоит десятью милями выше по реке. А кто тебе сказал, что это Гошен?

— Сказал один человек; я его встретил сегодня на рассвете, когда собирался свернуть в лес, чтобы выспаться. Он мне сказал, что от перекрестка надо повернуть направо и через пять миль будет Гошен.

— Пьян был, наверно. Он тебе сказал как раз наоборот.

— Он и вел себя, как пьяный. Ну, да теперь уж все равно. Надо идти. Я буду в Гошене до рассвета,

— Погоди минутку. Я дам тебе поесть, а то ты проголодаешься.

Она накормила меня и спрашивает:

— А ну-ка, скажи мне: если корова лежит, то как она поднимается с земли — передом или задом? Отвечай живей, не раздумывай: передом или задом?

— Задом.

— Так. А лошадь?

— Лошадь передом.

— С какой стороны дерево обрастает мхом?

— С северной стороны.

— Если пятнадцать коров пасутся на косогоре, то сколько из них смотрят в одну сторону?

— Все пятнадцать.

— Ну, кажется, ты действительно жил в деревне. Я думала, может ты опять меня хочешь надуть. Так как же тебя зовут по-настоящему?

— Джордж Питерс, сударыня.

— Так ты не забывай этого, Джордж. А то еще, чего доброго, скажешь мне, что тебя зовут Александер, а потом, когда я тебя поймаю, начнешь вывертываться и говорить, что ты Джордж-Александер. И не показывайся женщинам в этом ситцевом старье. Девочка у тебя получается плохо, но мужчин ты, пожалуй, сумеешь провести. Господь с тобой, сынок, разве так вдевают нитку в иголку? Ты держишь нитку неподвижно и насаживаешь на нее иголку, а надо иголку держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так и делают, а мужчины — всегда наоборот. А когда швыряешь палкой в крысу или еще в кого-нибудь, встань на цыпочки и занеси руку над головой, да постарайся, чтобы это вышло как можно нескладней, и промахнись этак шагов на пять, на шесть. Бросай, вытянув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и локтем, выставив левое плечо вперед, как мальчишки; и запомни: когда девочке бросают что-нибудь на колени, она их расставляет, а не сдвигает вместе, как ты сдвинул, когда ловил свинец. Я ведь заметила, что ты мальчик, еще когда ты вдевал нитку, а все остальное я пустила в ход для проверки. Ну, теперь отправляйся

к своему дяде, Сара-Мэри-Уильямс-Джордж-Александр Питерс, а если попадешь в беду, дай знать миссис Джудит Лофтес — то есть мне, а я уж постараюсь тебя выручить. Все время держись берега реки, а когда в следующий разпустишься в бега, захвати с собой башмаки и носки. Дорога по берегу каменистая, — я думаю, ты все ноги собьешь, пока доберешься до Гошена.

Я прошел по берегу шагов с полсотни, а потом повернул обратно и шмыгнул туда, где стоял мой челнок, — довольно далеко от дома, вниз по реке. Я вскочил в челнок и поскорее поднялся вверх по течению, а когда поравнялся с островом, пустился наперерез. Я снял капор — теперь он был мне ни к чему и только мешал. Когда я выехал на середину реки, то услышал, как начали бить часы; я остановился и прислушался: бой донесся по воде хотя и слабо, но ясно — одиннадцать. Добравшись до верхнего конца острова, я даже не остановился передохнуть, хотя совсем выбился из сил, а побежал в лес, где прежде была моя стоянка, и развел там хороший костер на сухом, высоком месте. Потом прыгнул в челнок и давай изо всех сил грести к нашему месту, мили на полторы вниз по реке. Я причалил к берегу, скорей пробрался сквозь кусты вверх по горе и ввалился в нашу пещеру. Джим лежал на земле и крепко спал. Я разбудил его:

— Вставай скорее и собирайся, Джим! Нельзя терять ни минуты! Нас ищут. За нами погоня!

Джим не стал ни о чем спрашивать, ни слова не сказал, но, по тому, как он работал, видно было, до чего он перепугался. Через полтора часа все наши пожитки были сложены на плоту, и плот можно было вывести из заводи под ивами, где он был у нас спрятан. Первым делом мы потушили костер в пещере и после того даже свечи не зажигали.

Я отъехал от берега на челноке и огляделся по сторонам; но если где-нибудь поблизости и была лодка, то я ее не заметил, потому что в темноте при звездах не много разглядишь. Потом мы вывели плот из заводи и тихо-тихо поплыли в тени берега, огибая нижний конец острова, не говоря ни единого слова.

Было, верно, уже около часа ночи, когда мы в конце концов миновали остров; нам все время казалось, что плот еле-еле движется. Если бы нам навстречу попалась лодка, мы пересели бы в челнок и поплыли бы к иллинойсскому берегу; и хорошо, что ни одна лодка нам не повстречалась, потому что мы позабыли положить в челнок ружье, или удочку, или хоть что-нибудь из съестного. Мы так спешили, что обо всем этом нам и подумать было некогда. А держать геши на плоту, конечно, не очень-то умно.

Если люди поехали искать Джима на остров, как я думал, то, наверное, нашли там разведенный мною костер и всю ночь ждали бы Джима возле него. Во всяком случае, мы никого не видели, и если мой костер их не обманул, то я не виноват. Я изо всех сил старался надуть их.

Как только показались первые проблески дня, мы пристали к косе в начале большой излучины на иллинойсском берегу, нарубили топором зеленых веток и прикрыли ими плот так, чтобы было похоже на заросшую ямку в береговой косе. Коса — это песчаная отмель, заросшая кустами так густо, словно борона зубьями.

По миссурийскому берегу шли горы, а по иллинойсской стороне — высокий лес, и фарватер здесь проходил ближе к миссурийскому берегу, поэтому мы не боялись кого-нибудь повстречать. Мы простояли там весь день, глядя, как плывут по течению мимо миссурийского берега плоты и пароходы и как борются с течением пароходы, идущие вверх по реке. Я передал Джиму свой разговор со старухой, и он сказал, что это ловкая бестия, и если б она сама пустилась за нами в погоню, то не сидела бы всю ночь, глядя на костер, — «нет, сэр, она взяла бы с собой собаку». — «Так почему же тогда, — сказал я, — она не велела мужу захватить собаку?» Джим сказал, что это ей, должно быть, пришло в голову перед тем, как мужчины отправились за реку; вот они, верно, и пошли в город за собакой и

потеряли так много времени, а не то мы не сидели бы тут на отмели, в шестнадцать или семнадцать милях от города, — «нет, не сидели бы, мы опять попали бы в этот самый город». А я сказал: «Не важно, почему им не удалось нас поймать, главное — они нас не поймали».

Как только начало темнеть, мы высунули головы из кустов и поглядели вниз и вверх по реке, а потом на ту сторону, — однако ничего не увидели; тогда Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь и чтобы вещи не промокли. Джим сделал в шалаше и пол, на фут выше всего остального плота, так что теперь одеяла и прочие пожитки не заливало волной, которую разводили пароходы. Посредине шалаша мы положили слой глины дюймов в шесть или семь толщиной и обвели его бортом, чтобы глина держалась покрепче, — это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду: в шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее наш старый фонарь, — потому что полагалось зажигать фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить; а для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажигать фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекастом, — вода в реке стояла еще высоко, берега там, где пониже, были еще под водой, и пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение не так сильно.

В эту вторую ночь мы плыли часов семь, а то и восемь, при скорости течения больше четырех миль в час. Мы удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, глядеть на звезды! Нам не хотелось даже громко разговаривать, да и смеялись мы очень редко, и то потихоньку. Погода в общем стояла хорошая, и с нами

ровно ничего не случилось — ни в эту ночь, ни на другую, ни на третью.

Каждую ночь мы проплывали мимо городов; некоторые из них стояли высоко на темных берегах, только и видна была блестящая грядка огней — ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сент-Луис, над ним стояло целое зарево. У нас в Санкт-Петербурге говорили, будто в Сент-Луисе живет двадцать, а то и тридцать тысяч человек, но я этому не верил, пока сам не увидел в два часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука; все спали.

Каждый вечер, часов около десяти, я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на десять, на пятнадцать муки, копченой грудинки или еще чего-нибудь для еды; а иной раз я захватывал и курицу, которой не сиделось на насесте. Отец всегда говорил: «Если попадетсЯ под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому, а доброе дело никогда не пропадает», — это такая у него была поговорка. Но я ни разу не видывал, чтобы курица не пригодилась самому папаше.

Утром на рассвете я забирался на кукурузное поле и брал взаймы арбуз, или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех брать взаймы, если собираешься отдать когда-нибудь; а от вдовы я слышал, что это то же воровство, только по-другому называется, и ни один порядочный человек так не станет делать. Джим сказал, что отчасти прав папаша, а отчасти вдова, так что нам лучше выбросить какие-нибудь два-три предмета из списка и никогда не брать их взаймы, — тогда, по его мнению, не грех будет заимствовать при случае все остальное. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, плывя по реке, и все старались решить, от чего нам лучше отказаться: от дынь-канталуп, от арбузов или еще от чего-нибудь? Но к рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от лесных яблок и финиковых слив. Прежде мы себя чувствовали как-то не совсем хорошо, а теперь нам стало куда

легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому что лесные яблоки вообще никуда не годятся, а финиковые сливы поспеют еще не скоро — месяца через два, через три.

Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая просыпалась слишком рано утром или отсиживалась на ночлег слишком поздно вечером. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо.

На пятую ночь ниже Сент-Луиса нас захватила сильная гроза с громом, молнией и ливнем как из ведра. Мы забрались в шалаш, а плот предоставили собственной воле. Когда вспыхивала молния, нам видна была широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обеим ее сторонам.

Вдруг я сказал:

— Эй, Джим, погляди-ка вон туда!

Впереди был пароход, который разбился о скалу. Нас несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился; часть верхней палубы торчала над водой, и при каждой новой вспышке как на ладони видно было каждый маленький шпенок возле большого колокола и кресло с повешенной на его спинку старой шляпой.

Ночь была такая глухая и непогожая, и все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому другому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода, который торчал так угрюмо и одиноко посредине реки, захотелось на него забраться и поглядеть, что там такое. Я сказал:

— Давай причалим к нему, Джим.

Джим сначала ни за что не хотел. Он сказал:

— Чего я там не видал, на разбитом пароходе? Нам и тут неплохо; и лучше уж его не трогать, оставить в покое. Да там, наверно, и сторож есть.

— Бабушке бы твоей сторожа! — говорю я. — Там и стеречь-то нечего, кроме лодманской будки да каюты; а неужто ты думаешь, что кто-нибудь станет в такую ночь рисковать жизнью ради лодманской будки и каюты, когда пароход каждую минуту может развалиться и затонуть?

Джим на это ничего сказать не мог, даже и не пробовал.

— А кроме того, — говорю я, — мы могли бы позаимствовать что-нибудь стоящее из капитанской каюты. Сигары небось есть — центов по пять за штуку наличными. Пароходные капитаны всегда богачи, получают шестьдесят долларов в месяц; им наплевать, сколько бы вещь ни стоила, — они все равно купят, если она им понравится... Сунь в карман свечку, Джим: я не успокоюсь, пока мы не обыщем весь пароход. Неужели ты думаешь, что Том Сойер упустил бы такой случай? Да ни за какие коврижки! Он бы это назвал «приключением» — вот как, и хоть помирал бы, да залез на разбитый пароход. И еще проделал бы это с шиком, уж постарался бы придумать что-нибудь этакое... Ты бы подумал, что это сам Христофор Колумб открывает царство небесное. Эх, жалко, что Тома Сойера здесь нету!

Джим поворчал немножко, однако сдался. Он сказал, что говорить надо как можно меньше, и то потихоньку. Молния как раз вовремя показала нам разбитый пароход; мы причалили к подъемной стреле с правого борта и привязали к ней плот.

Палуба тут здорово накренилась и была очень покатая. В темноте мы кое-как перебрались по уклону на левый борт, к капитанской рубке, осторожно нащупывая дорогу ногами и растопыривая руки, чтобы не напороться на тали, потому что впотьмах не было видно ни зги. Скоро мы наткнулись на застекленный люк и полезли дальше; еще один шаг — и мы очутились перед дверью, открытой настежь, и — вот вам самое честное слово! — увидели в глубине салона свет и в ту же минуту слышали голоса.

Джим шепнул мне, что ему что-то не по себе и нам лучше отсюда уйти. Я сказал: «Ладно», и уже хотел было вернуться на плот, как вдруг слышу — кто-то застонал, а потом говорит:

— Ох, не троньте меня, ребята! Я, ей-богу, не донесу.

Другой голос ответил ему очень громко:

— Врешь, Джим Тернер! Это мы и раньше слышали. Тебе всегда надо больше других, и ты всегда получаешь, сколько хочешь, — а то, мол, донесу на вас, если не дадите. Но на этот раз мы тебе не поверим, напрасно ты стараешься. Во всей стране не сыщется предателя и пса подлее тебя.

К этому времени Джим добрался до плота. Я просто разрывался от любопытства; небось, думаю, Том Сойер ни за что не ушел бы теперь, ну так и я тоже останусь — погляжу, что такое тут делается. Я стал на четвереньки в узеньком коридорчике и пополз к корме — и полз до тех пор, пока между мной и салоном не осталась всего одна каюта. Вижу, в салоне лежит на полу человек, связанный по рукам и ногам, а над ним стоят какие-то двое; один из них держит в руке тусклый фонарь, а другой — револьвер, целится в голову человека на полу и говорит:

— Эх, руки чешутся! Да и следовало бы пристрелить тебя, подлеца!

Человек на полу только ежился и все повторял:

— Не надо, Билл, я же не донесу.

И каждый раз человек с фонарем смеялся и отвечал на это:

— Верно, не донесешь! Вот уж это ты правду говоришь, можно ручаться.

А один раз он сказал:

— Смотри ты, как клянчит! А ведь если бы мы его не осилили да не связали, он бы нас обоих убил. А за что? Так, зря. Потому только, что мы своего упускать не хотели, — вот за что! Но теперь, я полагаю, ты никому больше грозить не станешь, Джим Тернер... Убери свой револьвер, Билл!

Билл ответил:

— И не подумаю, Джейк Паккард. Я за то, чтоб его убить. Так ему и надо! Разве он сам не убил старика Хэтфилда?

— Да я-то не хочу его убивать; уж я знаю почему.

— Спасибо тебе за такие слова, Джейк Паккард! Я их не забуду, пока жив, — сказал человек на полу и вроде как бы всхлипнул.

Паккард, не обращая на него внимания, повесил фонарь на стенку и пошел как раз туда, где я лежал в темноте, а сам сделал Биллу знак идти за ним. Я поскорей попятился назад шага на два, только палуба уж очень накренилась, так что я не успел посторониться вовремя и, чтоб они на меня не наткнулись и не поймали, залез в каюту, как раз над тем местом, где они стояли. Тот, другой, двигался ощупью, хватаясь за стенки в темноте, а когда Паккард добрался до моей каюты, сказал ему:

— Сюда, входи сюда.

Он и вошел, а Билл за ним. Но не успели они войти, как я уже забрался на верхнюю койку, забился в самый угол и очень жалел, что я тут. Они стояли совсем рядом, ухватившись руками за край койки, и разговаривали. Я их не видел, но знал, где они стоят, потому что они пили виски и от них пахло. Я порадовался, что ничего не пил, только разница была невелика: они бы меня все равно не учуяли, потому что я даже не дышал. Уж очень я перепугался. Да и кто бы мог дышать, слушая такой разговор? Они говорили тихо и серьезно. Билл хотел убить Тернера. Он сказал:

— Он говорит, что донесет, и обязательно донесет. Даже если мы оба отдадим ему нашу долю, это все равно не поможет, после того как мы поссорились да так здорово его угостили. Он нас выдаст, это уж вернее верного, я тебе говорю. По-моему, лучше его убрать.

— И по-моему тоже, — очень тихо сказал Паккард.

— Прах тебя возьми, а ведь я думал, что ты против! Ну что ж, тогда все в порядке. Идем прикончим его.

— погоди минутку, я еще не все сказал. Выслушай меня. Стрелять хорошо, но можно сделать дело и без шума, если надо. Вот что я тебе скажу: нечего так уж гоняться за веревкой на шею, когда можно сделать то, что ты затеял, по-другому, нисколько не хуже и в то же время ничем не рискуя. Ведь верно?

— Еще бы не верно! А как же это устроить?

— Вот что я думаю: мы пошарим тут по каютам и заберем вещи, какие еще остались, а потом — на берег

и спрячем товар. А после того — подождем. Я вот что говорю: пройдет не больше двух часов, как пароход развалится и затонет. Понял? Тернер тоже утонет, и никто не будет в этом виноват, кроме него самого. По-моему, это куда лучше, чем убивать. К чему убивать человека, когда можно обойтись и без этого? Убивать и грешно и глупо. Ну как, прав я или нет?

— Да, пожалуй ты прав. А вдруг пароход не развалится и не затонет?

— Что ж, мы можем подождать часа два, там видно будет... Так, что ли?

— Ну ладно, пошли.

Они отправились, и я тоже вылез, весь в холодном поту, и пополз к носу. Там было темно, как в погребке, но едва я выговорил хриплым шепотом: «Джим!», как он охнул возле моего локтя, и я сказал ему:

— Скорей, Джим, некогда валять дурака да охать! На пароходе целая шайка убийц, и если мы не отыщем, где у них лодка, и не пустим ее вниз по реке, чтоб они не могли сойти с парохода, одному из шайки придется плохо. А если мы найдем лодку, то им всем крышка — шериф их заберет. Живей поворачивайся! Я обыщу левый борт, а ты правый. Начинай от плота и...

— Ох, господи, господи! От плота? Нету больше плота, он отвязался и уплыл! А мы тут остались!

Глава XIII

У меня дух захватило и ноги подкосились. Остаться на разбитом пароходе с такой шайкой! Однако распускать слюни было некогда. Теперь уж во что бы то ни стало надо было найти эту лодку — нам самим она была нужна. И вот мы стали пробираться по правому борту, а сами трясемся, дрожим, еле-еле добрались до кормы; казалось, что прошло не меньше недели. Никаких и признаков лодки. Джим сказал, что дальше он, кажется, идти не может; он так боится, что у него и сил больше нет, — совсем ослаб. А я сказал: все равно

надо идти, потому что если мы тут останемся, то нам придется плохо, это уж верно. И мы пошли дальше. Мы стали искать кормовую часть рубки, нашли ее, а потом насилу пробрались ощупью к световому люку, цепляясь за выступы, потому что одним краем он был уже в воде. Только мы подобрались вплотную к двери, смотрим — и лодка тут как тут. Я едва разглядел ее в темноте. Ну и обрадовался же я! Еще секунда, и я бы в нее забрался, но тут как раз открылась дверь. Один из бандитов высунул голову в двух шагах от меня; я уж думал, что теперь мне крышка, а он опять убрал голову и говорит:

— Перевесь подальше этот чертов фонарь, Билл, чтоб его не было видно.

Он бросил в лодку мешок с какими-то вещами, влез в нее сам и уселся. Это был Паккард. Потом вышел Билл и тоже сел в лодку. Паккард сказал тихим голосом:

— Готово, отчаливай!

Я едва удержался за выступ — до того вдруг ослабел. Но тут Билл сказал:

— погоди, а его ты обыскал?

— Нет. А ты?

— Тоже нет. Значит, его доля при нем и осталась.

— Ну, так пойдем; какой толк брать барахло, а деньги оставлять!

— Послушай, а он не догадается, что у нас на уме?

— Может, и не догадается. Но надо же нам забрать эти деньги. Идем!

И они вылезли из лодки и пошли обратно в каюту. Дверь за ними захлопнулась, потому что крен был как раз в эту сторону. Через полсекунды я очутился в лодке, и Джим тоже ввалился вслед за мной. Я схватил нож, перерезал веревку, и мы отчалили.

До весел мы и не дотронулись, не промолвили ни слова даже шепотом, боялись даже вздохнуть. Мы быстро скользили вниз по течению, в мертвой тишине, проплыли мимо кожуха и мимо пароходной кормы; еще секунда-другая, и мы очутились шагов за сто от

разбитого парохода, тьма поглотила его, и ничего уже нельзя было разглядеть; теперь мы были в безопасности и сами знали это.

Когда мы отплыли по течению шагов на триста — четыреста, в дверях рубки на секунду сверкнул искоркой фонарь, и мы поняли, что мошенники хватились своей лодки и теперь начинают понимать, что им придется так же плохо, как и Тернеру.

Тут Джим взялся за весла, и мы пустились вдогонку за своим плотом. Только теперь я в первый раз пожалел этих мошенников — раньше мне, должно быть, было некогда. Я подумал, как это страшно, даже для убийц, очутиться в таком безвыходном положении. Думаю: почему знать, может я и сам когда-нибудь буду бандитом, — небось мне такая штука тоже не понравится! И потому я сказал Джиму:

— Как только увидим огонек, то сейчас же и причалим к берегу, повыше или пониже шагов на сто, в таком месте, где можно будет хорошенько спрятать тебя вместе с лодкой, а потом я придумаю что-нибудь: пойду искать людей — пускай заберут эту шайку и спасут их всех, чтобы можно было повесить потом, когда придет их время.

Но это была неудачная мысль. Скоро опять началась гроза, на этот раз пуще прежнего. Дождь так и хлестал, и нигде не видно было ни огонька — должно быть, все спали. Мы неслись вниз по реке и глядели, не покажется ли где огонек или наш плот. Прошло очень много времени; и дождь наконец перестал, но тучи все не расходились, и молния все поблескивала; как вдруг, во время одной такой вспышки, видим — впереди что-то чернеет на воде; мы — скорее туда.

Это был наш плот. До чего же мы обрадовались, когда опять перебрались на него! И вот впереди, на правом берегу, замигал огонек. Я сказал, что сейчас же туда и отправлюсь. Лодка была до половины завалена добром, которое воры награбили на разбитом пароходе. Мы свалили все в кучу на плоту, и я велел Джиму плыть потихоньку дальше и зажечь фонарь, когда он увидит, что уже проплыл мили две, и не га-

сильно огня, пока я не вернусь; потом я взялся за весла и направился туда, где горел свет. Когда я подплыл ближе, показались еще три-четыре огонька повыше, на горе. Это был городок. Я перестал грести немного выше того места, где горел огонь, и меня понесло по течению. Проплывая мимо, я увидел, что это горит фонарь на большом пароме. Я объехал паром вокруг, отыскивая, где же спит сторож; в конце концов я нашел его на битенге: он спал, свесив голову на колени. Я раза два или три толкнул его в плечо и начал рыдать.

Он вскочил как встрепанный, потом видит, что это я, потянулся хорошенько, зевнул и говорит:

— Ну, что там такое? Не плачь, мальчик... Что случилось?

Я говорю:

— Папа, и мама, и сестрица, и... — Тут я опять всхлипнул,

Он говорит:

— Ну, будет тебе, что ты так расплакался? У всех бывают неприятности, обойдется как-нибудь. Что же с ними такое случилось?

— Они... они... Это вы сторож на пароме?

— Да, я, — говорит сторож очень довольным тоном. — Я и капитан, и владелец, и первый помощник, и лоцман, и сторож, и старший матрос; а иной раз бывает, что я же и груз и пассажиры. Я не так богат, как старый Джим Хорнбэк, и не могу швырять деньги направо и налево, каждому встречному и поперечному, как он швыряет; но я ему много раз говорил, что не поменялся бы с ним местами; матросская жизнь как раз по мне, а жить за две мили от города, где нет ничего интересного и не с кем слова сказать, я нипочем не стану, даже за все его миллионы. Я говорю...

Тут я перебил его и сказал:

— Они попали в такую ужасную беду...

— Кто это?

— Да они: папа, мама, сестра и мисс Гукер. И если б вы подъехали туда со своим паромом...

— Куда это «туда»? Где они?

— На разбитом пароходе.

— На каком это?

— Да тут только один и есть.

— Как, неужто на «Вальтере Скотте»?

— Да.

— Господи! Как же это они туда попали, скажи на милость?

— Ну, разумеется, не нарочно.

— Еще бы! Господи ты мой боже, ведь им не быть живыми, если они оттуда не выберутся как можно скорей! Да как же это они туда попали?

— Очень просто. Мисс Гукер была в гостях в городе...

— А, в Бутс-Лендинг! Ну, а потом?

— Она была там в гостях, а к вечеру поехала со своей негритянкой на конском пароме почевать к своей подруге, мисс... как ее... забыл фамилию; они потеряли кормовое весло, и их отнесло течением мили за две, прямо на разбитый пароход, кормой вперед, и паромщик с негритянкой и лошадьми потонули, а мисс Гукер за что-то уцепилась и влезла на этот самый пароход. Через час после захода солнца мы поехали на нашей шаланде, но было уже так темно, что мы не заметили разбитого парохода и тоже налетели на него; только мы все спаслись, кроме Билла Уиппла... такой был хороший мальчик! Лучше бы я утонул вместо него, право...

— Господи боже, я в жизни ничего подобного не слыхивал! А потом что же вы стали делать?

— Ну, мы кричали-кричали, только река там такая широкая — никто нас не слышал. Вот папа и говорит: «Надо кому-нибудь добраться до берега, чтоб нам помогли». Я только один умею плавать, поэтому я бросился в реку и поплыл, а мисс Гукер сказала: если я никого раньше не найду, то здесь у нее есть дядя, так чтоб я его разыскал — он все устроит. Я вылез на берег милей ниже и просил встречных что-нибудь сделать, а они говорят: «Как, в такую темень, и течение такое сильное? Не стоит и пробовать, ступай к парому». Так если вы теперь поедете...

— Я бы и поехал, ей-богу, да и придется, пожалуй.

А кто же, прах возьми, заплатит за это? Как ты думаешь, может твой отец?..

— Не беспокойтесь. Мисс Гукер мне сказала, что ее дядя Хорнбэк...

— Ах ты черт, так он ей дядя? Послушай, ступай вон туда, где горит огонь, а оттуда свернешь к западу — через четверть мили будет харчевня; скажи там, чтобы свели тебя поскорей к Джиму Хорнбэку, он за все заплатит. И не копайся — он захочет узнать, что случилось. Скажи ему, что я его племянницу выручу и доставлю в безопасное место, раньше чем он успеет добраться до города; а я побежал будить нашего механика.

Я пошел на огонек, а как только сторож скрылся за углом, я повернул обратно, сел в лодку, проехал вверх по течению шагов шестьсот около берега, а потом спрятался между дровяными баржами; я успокоился только тогда, когда паром отошел от пристани. Но вообще-то говоря, мне было очень приятно, что я так хлопочу из-за этих бандитов: ведь мало кто стал бы о них заботиться. Мне хотелось, чтобы вдова про это узнала. Она, наверно, гордилась бы тем, что я помогаю таким мерзавцам, потому что вдова и вообще все добрые люди любят помогать всяким мерзавцам да мошенникам.

Ну, в конце концов в тумане стало видно и разбитый пароход — он медленно погружался все глубже и глубже. Меня сначала даже в холодный пот бросило, а потом я стал грести к пароходу. Он почти совсем затонул, и я сразу увидел, что едва ли кто тут остался живой. Я объехал кругом парохода, покричал немного, но никто мне не ответил — все было тихо, как в могиле. Мне стало жалко бандитов, но не очень; я подумал: если они никого не жалели, то и я не буду их жалеть.

Потом показался паром; я отъехал на середину реки, направляясь вкось и вниз по течению; потом, когда решил, что меня уже не видно с парома, перестал грести и оглянулся: вижу, они ездят вокруг парохода, вынюхивают, где тут останки мисс Гукер, а то вдруг дядюшке Хорнбэку они понадобятся! Скоро по-

иски прекратились, и паром направился к берегу, а я налег на весла и стрелой полетел вниз по реке.

Прошло много-много времени, прежде чем показался фонарь на плоту у Джима; а когда показался, то мне все чудилось, будто он от меня миль за тысячу. Когда я доплыл до плота, небо начинало уже светлеть на востоке; мы причалили к острову, спрятали плот, потопили лодку, а потом легли и заснули как убитые.

Глава XIV

Проснувшись, мы пересмотрели все добро, награбленное шайкой на разбитом пароходе; там оказались и сапоги, и одеяла, и платье, и всякие другие вещи, а еще много книг, подозрная труба и три ящика сигар. Такими богачами мы с Джимом еще никогда в жизни не были. Сигары оказались первый сорт. До вечера мы валялись в лесу и разговаривали; я читал книжки; и вообще мы недурно провели время. Я рассказал Джиму обо всем, что произошло на пароходе и на пароме, и сообщил ему кстати, что это и называется приключением; а он ответил, что не желает больше никаких приключений. Джим рассказал, что в ту минуту, когда я залез в рубку, а он прокрался обратно к плоту и увидел, что плота больше нет, он чуть не умер со страха: так и решил, что ему теперь крышка, чем бы дело ни кончилось, потому что если его не спасут, так он утонет; а если кто-нибудь его спасет, так отвезет домой, чтоб получить за него награду, а там мисс Уотсон, наверно, продаст его на Юг. Что ж, он был прав; он почти всегда бывал прав, голова у него работала здорово, — для негра, конечно.

Я долго читал Джиму про королей, про герцогов и про графов, про то, как пышно они одеваются, в какой живут роскоши и как называют друг друга «ваше величество», «ваша светлость» и «ваша милость» вместо «мистера». Джим только глаза таращил — так все это казалось ему любопытно.

— А я и не знал, что их так много. Я даже ни про кого из них и не слыхивал никогда, кроме как про царя Соломона, да еще, пожалуй, видел королей в карточной колоде, если только они идут в счет. А сколько король получает жалованья?

— Сколько получает? — сказал я. — Да хоть тысячу долларов, если ему вздумается. Сколько хочет, столько и получает, — всё его.

— Вот это здорово! А что ему надо делать, Гек?

— Да ничего не надо! Тоже выдумал! Сидит себе на троне, вот и все.

— Нет, верно?

— Еще бы не верно! Просто сидит на троне; ну, может, если война, так поедет на войну. А в остальное время ничего не делает — или охотится, или... Ш-ш! Слышишь? Что это за шум?

Мы вскочили и побежали глядеть, но ничего особенного не было — это за мысом стучало пароходное колесо, — и мы уселись на прежнее место.

— Да, — говорю я, — а в остальное время, если им скучно, они затевают драку с парламентом; а если делают не по-ихнему, так король просто велит рубить всем головы. А то больше прохлаждается в гареме.

— Где прохлаждается?

— В гареме.

— А что это такое — гарем?

— Это такое место, где король держит своих жен. Неужто ты не слыхал про гарем? У Соломона он тоже был; а жен у него было чуть не миллион.

— Да, верно, я и позабыл. Гарем — это что-нибудь вроде пансиона, по-моему. Ну, должно быть, и шум же у них в детской! Да еще, я думаю, эти самые жены все время ругаются, а от этого шуму только больше. А еще говорят, что Соломон был первый мудрец на свете! Я этому ни на грош не верю. И вот почему. Да разве умный человек станет жить в таком кавардаке? Нет, не станет. Умный человек возьмет и построит котельный завод, а захочется ему тишины и покоя — он возьмет да и закроет его.

— А все-таки он был первый мудрец на свете; это я от самой вдовы слыхал.

— Мне все равно, что бы там вдова ни говорила. Не верю я, что он был мудрец. Поступал он иной раз совсем глупо. Помнишь, как он велел разрубить младенца пополам?

— Ну да, мне вдова про это рассказывала.

— Вот-вот! Глупей ничего не придумаешь! Ты только посмотри, что получается: пускай этот пень будет одна женщина, а ты будешь другая женщина, а я — Соломон, а вот этот доллар — младенец. Вы оба говорите, что он ваш. Что же я делаю? Мне бы надо спросить у соседей, чей это доллар, и отдать его настоящему хозяину в целости и сохранности, — умный человек так и сделал бы. Так нет же: я беру доллар и разрубаю его пополам; одну половину отдаю тебе, а другую той женщине. Вот что твой Соломон хотел сделать с ребенком! Я тебя спрашиваю: куда годится половинка доллара? Ведь на нее ничего не купишь. А на что годится половина ребенка? Да я и за миллион половинок ничего не дал бы.

— Ну, Джим, ты совсем не понял, в чем суть, ей-богу не понял.

— Кто? Я? Да ну тебя! Что ты мне толкуешь про твою суть! Когда есть смысл, так я его вижу, а в таком поступке никакого смысла нет. Спорили-то ведь не из-за половинки, а из-за целого младенца; а если человек думает, что он этот спор может уладить одной половинкой, так, значит, в нем ни капли мозгу нет. Ты мне не рассказывай про твоего Соломона, Гек, я его и без тебя знаю.

— Говорят тебе, ты не понял, в чем суть.

— А ну ее, твою суть! Что я знаю, то знаю. Помоему, настоящая суть вовсе не в этом — дальше надо глядеть. Суть в том, какие у этого Соломона привычки. Возьми, например, человека у которого всего один ребенок или два, — неужто такой человек станет детьми бросаться? Нет, не станет, он себе этого не может позволить. Он знает, что детьми надо дорожить. А если у него пять миллионов детей бегают по всему дому, тогда, конечно, дело другое. Ему все равно, что младенца разрубить надвое, что котенка. Все равно много

останется. Одним ребенком больше, одним меньше — для Соломона это все один черт.

Я еще не видывал таких негров. Если взбредет ему что-нибудь в голову, так этого уж ничем оттуда не выбьешь. Ни от одного негра Соломону так не доставалось. Тогда я перевел разговор на других королей, а Соломона оставил в покое. Рассказал ему про Людовика XVI, которому в давние времена отрубили голову во Франции, и про его маленького сына, так называемого дофина, который тоже должен был царствовать, а его взяли да и посадили в тюрьму; говорят, он там и умер.

— Бедняга!

— А другие говорят — он убежал из тюрьмы и спасся. Будто бы уехал в Америку.

— Вот это хорошо! Только ему тут не с кем дружить, королей у нас ведь нет. Правда, Гек?

— Нет.

— Значит, и должности для него у нас нет. Что же он тут будет делать?

— А я почему знаю! Некоторые из них поступают в полицию, а другие учат людей говорить по-французски.

— Что ты, Гек, да разве французы говорят не по-нашему?

— Да, Джим; ты бы ни слова не понял из того, что они говорят, ни единого слова!

— Вот это да! Отчего же это так получается?

— Не знаю отчего, только это так. Я в книжке читал про ихнюю тарабарщину. А вот если подойдет к тебе человек и спросит: «Парлэ ву ффрансе?» — ты что подумаешь?

— Ничего не подумаю, возьму да и тресну его по башке, — то есть если это не белый. Позволю я негру так меня ругать!

— Да что ты, это не ругань. Это просто значит: «Говорите ли вы по-французски?»

— Так почему же он не спросит по-человечески?

— Он так и спрашивает. Только по-французски.

— Смеешься ты, что ли? Я и слушать тебя больше не хочу. Чушь какая-то!

— Слушай, Джим, а кошка умеет говорить по-нашему?

— Нет, не умеет.

— А корова?

— И корова не умеет.

— А кошка говорит по-коровьему или корова по-кошачьему?

— Нет, не говорят.

— Это уж само собой так полагается, что они говорят по-разному, верно ведь?

— Конечно, верно.

— И само собой так полагается, чтобы кошка и корова говорили не по-нашему?

— Ну еще бы, конечно.

— Так почему же и француз не может говорить по-другому, не так, как мы говорим? Вот ты мне что скажи!

— А кошка разве человек?

— Нет, Джим.

— Так зачем же кошке говорить по-человечески? А корова разве человек? Или она кошка?

— Конечно, ни то, ни другое.

— Так зачем же ей говорить по-человечески или по-кошачьи? А француз человек или нет?

— Человек.

— Ну вот видишь! Так почему же, черт его возьми, он не говорит по-человечески? Вот ты что мне скажи!

Тут я понял, что нечего попусту толковать с негром — все равно его ничему путному не выучишь. Взял да и плюнул.

Глава XV

Мы думали, что за три ночи доберемся до Каира, на границе штата Иллинойс, где Огайо впадает в Миссисипи, — только этого мы и хотели. Плут мы продадим, сядем на пароход и поедем вверх по Огайо: там свободные штаты, и бояться нам будет нечего.

Ну а на вторую ночь спустился туман, и мы решили причалить к заросшему кустами островку, — не

ехать же дальше в тумане! А когда я подъехал в челноке к кустам, держа наготове веревку, гляжу — не к чему даже и привязывать плот: торчат одни тоненькие прутики. Я обмотал веревку вокруг одного куста поближе к воде, но течение здесь было такое сильное, что куст вырвало с корнями и плот понесло дальше. Я заметил, что туман становится все гуще и гуще, и мне стало так неприятно и жутко, что я, кажется, с полминуты не мог двинуться с места, да и плота уже не было видно: в двадцати шагах ничего нельзя было разглядеть. Я вскочил в челнок, перебежал на корму, схватил весло и начал отпихиваться. Челнок не поддавался. Я так спешил, что позабыл его отвязать. Поднявшись с места, я начал развязывать веревку, только руки у меня тряслись от волнения, и я долго ничего не мог поделать.

Отчалив, я сейчас же пустился догонять плот, держась вдоль отмели. Все шло хорошо, пока она не кончилась, но в ней не было и шестидесяти шагов в длину, а после того я влетел в густой белый туман и потерял всякое представление о том, где нахожусь.

Грести, думаю, не годится: того гляди налечу на отмель или на берег; буду сидеть смирно, и пускай меня несет по течению; а все-таки неумоготу было сидеть сложа руки. Я крикнул и прислушался. Откуда-то издали донесся едва слышный крик, и мне сразу стало веселей. Я стрелой полетел в ту сторону, а сам прислушиваюсь, не раздастся ли крик снова. Опять слышу крик, и оказывается я еду совсем не туда, а забрал вправо. А в следующий раз, гляжу, я забрал влево и опять недалеко уехал, потому что все кружил то в одну, то в другую сторону, а крик-то был слышен все время прямо передо мной.

Думаю: хоть бы этот дурак догадался бить в сковородку да колотил бы все время; но он так и не догадался, и эти промежутки тишины между криками сбивали меня с толку. А я все греб и греб — и вдруг слышу крик позади себя. Тут уж я совсем запутался. Или это кто-нибудь другой кричит, или я повернул кругом.

Я бросил весло. Слышу, опять кричат, опять позади меня, только в другом месте, и теперь крик не умолкал, только все менял место, а я откликался, пока крик не послышался опять впереди меня; тогда я понял, что лодку повернуло носом вниз по течению и, значит, я еду куда надо, если это Джим кричит, а не какой-нибудь плотовщик. Когда туман, я плохо разбираюсь в голосах, потому что в тумане не видно и не слышно по-настоящему, все кажется другим и звучит по-другому.

Крик все не умолкал, и через какую-нибудь минуту я налетел на крутой берег с большими деревьями, похожими в тумане на клубы дыма; меня отбросило влево и понесло дальше, между корягами, где бурлила вода — такое быстрое там было течение.

Через секунду-другую я снова попал в густой белый туман, кругом стояла тишина. Теперь я сидел неподвижно, слушая, как бьется мое сердце, и, кажется, даже не дышал, пока оно не отстукало сотню ударов.

И вдруг я понял, в чем дело, и махнул на все рукой. Этот крутой берег был остров, и Джим теперь был по другую его сторону. Это вам не отмель, которую можно обогнуть за десять минут. На острове рос настоящий большой лес, как и полагается на таком острове; он был, может, в пять-шесть миль длиной и больше чем в полмили шириной.

Минут, должно быть, пятнадцать я сидел тихо, насторожив уши. Меня, разумеется, уносило вниз по течению со скоростью четыре-пять миль в час, но этого обыкновенно не замечаешь, — напротив, кажется, будто лодка стоит на воде неподвижно; а если мелькнет мимо коряга, то даже дух захватывает, думаешь: вот здорово летит коряга! А что сам летишь, это и в голову не приходит. Если вы думаете, что ночью на реке, в тумане, ничуть не страшно и не одиноко, попробуйте сами хоть разок, тогда узнаете.

Около получаса я все кричал время от времени; наконец слышу, откуда-то издалека доносится отклик; я попробовал плыть на голос, только ничего не вышло:

я тут же попал, должно быть, в целое гнездо островков, потому что смутно видел их по обеим сторонам челнока — то мелькал узкий проток между ними, а то, хоть и не видно было, я знал, что отмель близко, потому что слышно было, как вода плещется о сушняк и всякий мусор, прибитый к берегу. Тут-то, среди отмелей, я сбился и не слышал больше крика; сначала попробовал догнать его, но это было хуже, чем гоняться за блуждающим огоньком. Я еще никогда не видел, чтобы звук так метался и менял место так быстро и так часто.

Я старался держаться подальше от берега, и раз пять-шесть мне пришлось сильно оттолкнуться от него, чтобы не налететь на островки; я подумал, что и плот, должно быть, то и дело наталкивается на берег, а не то он давно уплыл бы вперед и крика не было бы слышно: его несло быстрее челнока.

Немного погода меня как будто опять вынесло на открытое место, только никаких криков я больше нигде не слышал. Я так и подумал, что Джим налетел на корягу и теперь ему крышка. Я здорово устал и решил лечь на дно челнока и больше ни о чем не думать. Засыпать я, конечно, не собирался, только мне так хотелось спать, что глаза сами собой закрывались; ну, говорю себе, вздремну хоть на минутку.

Я, должно быть, задремал не на одну минутку, потому что, когда я проснулся, звезды ярко сияли, туман рассеялся, и меня несло кормой вперед по большой излуине реки. Сначала я никак не мог понять, где я; мне казалось, что все это я вижу во сне; а когда начал что-то припоминать, то смутно, словно прошлую неделю.

Река тут была страшно широкая, и лес по обоим берегам рос густой-прегустой и высокий-превысокий, стена стеной, насколько я мог рассмотреть при звездах. Я поглядел вниз по течению и увидел черное пятно на воде. Я погнался за ним, а когда догнал, то это оказались всего-навсего связанные вместе два бревна. Потом увидел еще пятно и за ним тоже погнался, потом еще одно, — и на этот раз угадал правильно: это был плот.

Когда я добрался до плота, Джим сидел и спал, свесив голову на колени, а правую руку положив на весло. Другое весло было сломано, и весь плот занесло илом, листьями и сучками. Значит, и Джим тоже попал в переделку.

Я привязал челнок, улегся на плоту под самым носом у Джима, пачал зевать, потягиваться, потом говорю:

— Эй, Джим, разве я уснул? Чего ж ты меня не разбудил?

— Господи помилуй! Никак, это ты, Гек? И ты не помер и не утонул — ты опять здесь? Даже не верится, сынок, просто не верится! Дай-ка я погляжу на тебя, сынок, потрогаю. Нет, в самом деле ты не помер! Вернулся живой и здоровый, такой же, как был, все такой же, слава богу!

— Что это с тобой, Джим? Выпил ты, что ли?

— Выпил? Где же я выпил? Когда это я мог выпить?

— Так отчего же ты несешь такую чепуху?

— Как чепуху?

— Как? А чего же ты болтаешь, будто я только что вернулся и будто меня тут не было?

— Гек... Гек Финн, погляди-ка ты мне в глаза, погляди мне в глаза! Разве ты никуда не уходил?

— Я уходил? Да что ты это? Никуда я не уходил. Куда мне ходить?

— Послушай, Гек, тут, ей-ей, что-то не ладно, да-да! Может, я не я? Может, я не тут, а еще где-нибудь? Вот ты что мне скажи!

— По-моему, ты здесь, дело ясное, а вот мозги у тебя набекрень, старый дуралей!

— У кого — у меня? Нет, ты мне ответь: разве ты не ездил в челноке с веревкой привязывать плот к кустам на отмели?

— Нет, не ездил. К каким еще кустам? Никаких кустов я не видал.

— Ты не видал кустов на отмели? Ну как же, ведь веревка сорвалась, плот понесло по реке, а ты остался в челноке и пропал в тумане...

— В каком тумане?

— В каком? В том самом, который был всю ночь. И ты кричал, и я кричал, а потом мы запутались среди островков и один из нас сбился с дороги, а другой все равно что сбился, потому что не знал, где находится, — ведь так было дело? Я же наткнулся на целую кучу этих самых островов и еле оттуда выбрался, чуть-чуть не потонул! Разве не так было дело, сынок, не так разве? Вот что ты мне скажи!

— Ну, Джим, я тут ничего не понимаю. Никакого я не видел тумана, ни островов и вообще никакой пуганности не было — ровно ничего! Мы с тобой сидели всю ночь и разговаривали, и всего-то прошло минут десять, как ты уснул, да, должно быть, и я тоже. Напиться ты за это время не мог, значит тебе все это приснилось.

— Да как же все это могло присниться в десять минут?

— А все-таки приснилось же, раз ничего этого не было.

— Да как же, Гек, ведь я все это так ясно вижу...

— Не все ли равно, ясно или не ясно. Ничего этого не было. Я-то знаю, потому что я тут все время был.

Джим молчал минут пять, должно быть обдумывал. Потом говорит:

— Ну ладно, Гек, может мне это и приснилось, только убей меня бог, если я когда-нибудь видел такой удивительный сон. И никогда я так не уставал во сне, как на этот раз.

— Что ж тут такого! Бывает, что и во сне тоже устаешь. Только это был вещий сон... Ну-ка, расскажи мне все по порядку, Джим.

Джим пустился рассказывать и рассказал все, как было, до самого конца, только здорово прикрасил. Потом сказал, что теперь надо «истолковать» сон, потому что он послан нам в предостережение. Первая отмель — это человек, который хочет нам добра, а течение — это другой человек, который нас от него старается отвести. Крики — это предостережения, которые время от времени посылаются нам свыше, и если мы не постараемся понять их, они нам принесут несчастье, вместо того чтобы избавить от беды. Куча островков — это неприят-

ности, которые грозят нам, если мы свяжемся с нехорошими людьми и вообще со всякой дрянью; но если мы не будем соваться не в свое дело, не будем с ними переругиваться и дразнить их, тогда мы выберемся из тумана на светлую, широкую реку, то есть в свободные штаты, и больше у нас никаких неприятностей не будет.

Когда я перелез на плот, было совсем темно от туч, но теперь небо опять расчистилось.

— Ну, ладно, Джим, это ты все хорошо растолковал, — говорю я, — а вот эта штука что значит?

Я показал ему на сор и листья на плоту и на сломанное весло. Теперь их отлично было видно.

Джим поглядел на сор, потом на меня, потом опять на сор. Вещий сон так крепко засел у него в голове, что он никак не мог выбить его оттуда и сообразить, в чем дело. Но когда Джим сообразил, он поглядел на меня пристально, уже не улыбаясь, и сказал:

— Что эта штука значит? Я тебе скажу. Когда я устал грести и звать тебя и заснул, у меня просто сердце разрывалось: было жалко, что ты пропал, а что будет со мной и с плотом, я даже и не думал. А когда я проснулся и увидел, что ты опять тут, живой и здоровый, я так обрадовался, что чуть не заплакал, готов был стать на колени и ноги тебе целовать. А тебе бы только врать да морочить голову старику Джиму! Это все мусор, дрянь; и дрянь те люди, которые своим друзьям сыплют грязь на голову и поднимают их на смех.

Он встал и поплелся в шалаш, залез туда и больше со мной не разговаривал. Но и этого было довольно. Я почувствовал себя таким подлецом, что готов был целовать ему ноги, лишь бы он взял свои слова обратно.

Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем я переломил себя и пошел унижаться перед негром; однако я пошел и даже ничуть об этом не жалею и никогда не жалел. Больше я его не разыгрывал, да и на этот раз не стал бы морочить ему голову, если бы знал, что он так обидится.

Мы проспали почти целый день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный-длинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронная процессия. На каждом конце плота было по четыре длинных весла, значит плотовщиков должно было быть никак не меньше тридцати человек. Мы насчитали на нем пять больших шалашей, довольно далеко один от другого; посредине горел костер, и на обоих концах стояло по шести с флагом. Выглядел он просто замечательно. Это не шутка — работать плотовщиком на таком плоту!

Нас донесло течением до большой излучины, и тут набежали облака и ночь сделалась душная. Река здесь была очень широкая, и по обоим ее берегам стеной стоял густой лес; не видно было ни одной прогалины, ни одного огонька. Мы разговаривали насчет Каира: узнаем мы его или нет, когда до него доплывем. Я сказал, что, верно, не узнаем; говорят, там всего около десятка домов, а если огни погашены, то как узнать, что проезжаешь мимо города? Джим сказал, что там сливаются вместе две большие реки, вот поэтому и будет видно. А я сказал, что нам может показаться, будто мы проезжаем мимо острова и опять попадаем в ту же самую реку. Это встревожило Джима, и меня тоже. Спрашивается, что же нам делать? По-моему, надо было причалить к берегу, как только покажется огонек, и сказать там, что мой отец остался на шаланде, по реке он плывет первый раз и послал меня узнать, далеко ли до Каира. Джим нашел, что это неплохая мысль, так что мы выкурили по трубочке и стали ждать.

Делать было нечего, только глядеть в оба, когда покажется город, и не прозевать его. Джим сказал, что уж он-то наверно не прозевает: ведь как только он увидит Каир, так в ту же минуту станет свободным человеком; а если прозевает, то опять очутится в рабовладельческих штатах, а там прощай свобода! Чуть ли не каждую минуту он вскакивал и кричал:

— Вот он, Каир!

Но это был все не Каир. То это оказывались блуждающие огоньки, то светляки, и он опять усаживался сторожить Каир. Джим говорил, что его бросает то в жар, то в холод оттого, что он так скоро будет на свободе. И меня тоже, скажу я вам, бросало то в жар, то в холод; я только теперь сообразил, что он и в самом деле скоро будет свободен, а кто в этом виноват? Я, конечно. Совесть у меня была нечиста, и я никак не мог успокоиться. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял и не мог ни на минуту забыть — меня жгло, как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват; ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это не помогало, совесть все твердила и твердила мне: «Ведь ты знал, что он беглый, мог бы добраться в лодке до берега и сказать кому-нибудь». Это было правильно, и отвертеться я никак не мог. Вот в чем была загвоздка! Совесть шептала мне: «Что тебе сделала бедная мисс Уотсон? Ведь ты видел, как удирает ее негр, и никому не сказал ни слова. Что тебе сделала бедная старуха, за что ты ее так обидел? Она тебя учила грамоте, учила, как надо себя вести, была к тебе добра, как умела. Ничего плохого она тебе не сделала».

Мне стало так не по себе и так стыдно, что хоть помереть. Я бегал взад и вперед по плоту и ругал себя, и Джим тоже бегал взад и вперед по плоту мимо меня. Нам не сиделось на месте. Каждый раз, как он подскакивал и кричал: «Вот он, Каир!», меня прошибало насквозь точно пулей, и я думал, что, если это в самом деле окажется Каир, я тут же умру со стыда.

Джим громко разговаривал все время, пока я думал про себя. Он говорил, что в свободных штатах он первым делом начнет копить деньги и ни за что не истратит зря ни единого цента; а когда накопит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы, в тех местах, где жила мисс Уотсон, а потом они вдвоем с ней будут работать и выкупят обоих детей; а если хозяин не захочет их продать, то он подговорит какого-нибудь abolitionиста, чтобы тот их выкрал.

От таких разговоров у меня по спине мурашки бегали. Прежде он никогда не посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменился от одной мысли, что скоро будет свободен! Недаром говорит старая пословица: «Дай негру палец — он заберет всю руку». Вот что, думаю, выходит, если действовать сгоряча, без соображения. Этот самый негр, которому я все равно что помогал бежать, вдруг набрался храбрости и заявляет, что он украдет своих детей, а я даже не знаю их хозяина и никакого худа от него не видал.

Мне было обидно слышать это от Джима — такая с его стороны низость. Совесть начала меня мучить пуще прежнего, пока наконец я не сказал ей: «Да оставь ты меня в покое! Ведь еще не поздно: я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и заявить». Я сразу успокоился и повеселел, и на душе стало куда легче. Все мои огорчения словно рукой сняло. Я стал глядеть, не покажется ли где огонек, и даже что-то напевал про себя. Наконец замигал огонек, и Джим крикнул:

— Мы спасены, Гек, спасены! Скачи и пляши от радости! Это добрый старый Каир, я уж знаю!

Я сказал:

— Я поеду в челноке, погляжу сначала. Знаешь, Джим, это, может, еще и не Каир.

Он вскочил, приготовил челнок, положил на дно свою старую куртку, чтобы было мягче сидеть, подал мне весло, а когда я отчаливал, крикнул вслед:

— Скоро я прямо пойду плясать от радости, буду кричать, что это все из-за Гека! Я теперь свободный человек, а где ж мне было освободиться, если бы не он? Это все Гек сделал! Джим никогда тебя не забудет, Гек! Такого друга у Джима никогда не было, а теперь ты и вовсе единственный друг у старика Джима.

Я греб, старался изо всех сил, спешил донести на него. Но как только он это сказал, у меня и руки опустились. Теперь я греб еле-еле и сам не знал, рад я, что поехал, или не рад. Когда я отъехал шагов на пятьдесят, Джим крикнул:

— Вон он едет, верный старый Гек! Единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима!

Ну, мне просто нехорошо стало. Однако, думаю, надо же это сделать. Нельзя отвиливать. А тут как раз плывет ялик, и в нем два человека с ружьями; они останавливаются, и я тоже. Один из них и спрашивает:

— Что это там такое?

— Плот, — говорю я.

— А ты тоже с этого плота?

— Да, сэр.

— Мужчины на нем есть?

— Всего один, сэр.

— Видишь ли, нынче ночью сбежало пятеро негров, вон оттуда, чуть повыше излучины. У тебя кто там: белый или черный?

Я не сразу ответил. Хотел было, только слова никак не шли с языка. С минуту я силился собраться с духом и все им рассказать, только храбрости не хватило — струсил хуже зайца. Но, вижу, что ничего у меня не выйдет, махнул на все рукой и говорю:

— Белый.

— Ну, мы сами поедem посмотрим.

— Да, уж пожалуйста, — говорю я, — ведь там мой папаша. Помогите мне — возьмите плот на буксир до того места, где фонарь горит на берегу. Он болен, и мама тоже, и Мэри-Энн.

— Ах ты черт возьми! Нам некогда, мальчик... Ну, да я думаю, помочь надо. Цепляйся своим веслом — поедem.

Я прицепился, и они налегли на весла. После того как они сделали два-три взмаха веслами, я сказал:

— Папаша будет вам очень благодарен. Все уезжают, как только попросишь дотянуть плот до берега, а мне самому это не под силу.

— Подлость какая! Нет, все-таки чудно что-то... А скажи-ка, мальчик, что такое с твоим отцом?

— С ним... у него... да нет, ничего особенного.

Они перестали грести. До плота теперь оставалось совсем немного. Первый сказал:

— Мальчик, ты врешь. Что такое у твоего отца? Говори правду, тебе же будет лучше.

— Я скажу, сэр. Честное слово, скажу, только не бросайте нас, ради бога! У него... у него... Вам ведь не надо подъезжать близко к плоту, вы только возьмете нас на буксир... Пожалуйста, я вам брошу веревку.

— Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живее! — говорит один.

Они повернули назад.

— Держись подальше, мальчик, — против ветра. Черт возьми, боюсь, как бы не нанесло заразу ветром. У твоего папы черная оспа — вот что, мальчик, и ты это прекрасно знаешь. Что ж ты нам сразу не сказал? Хочешь, чтобы мы все перезаразились?

— Да, — говорю я, а сам всхлипываю, — я раньше всем так и говорил, а они тогда уезжали и бросали нас.

— Бедняга, а ведь это, пожалуй, правда. Нам тебя очень жалко, только вот такая штука... Понимаешь, нам оспой болеть не хочется. Слушай, я тебе скажу, что делать. Ты сам и не пробуй причалить к берегу, а не то разобьешь все вдребезги. Проплывешь еще миль двадцать вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Тогда будет уже светло; а когда станешь просить, чтобы вам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. Не будь дураком, а то опять догадаются, в чем дело. Мы тебе добра хотим, так что ты уж отъезжай от нас еще миль на двадцать, будь любезен. Туда, где фонарь горит, не стоит ехать — это всего-навсего лесной склад. Слушай, твой отец, наверно, бедный, я уж вижу, что ему не повезло. Вот, смотри, я кладу золотую монету в двадцать долларов на эту доску — возьмешь, когда подплывет поближе. Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять, да ведь и с оспой тоже шутки плохи, сам знаешь.

— погоди, Паркер, — сказал другой, — вот еще двадцать от меня, положи на доску... Прощай, мальчик! Ты так и сделай, как мистер Паркер тебе говорит, тогда все будет в порядке.

— Да, да, мальчик, верно! Ну, прощай, всего хорошего. Если где увидишь беглого негра, зови на помощь и хватай его — тебе за это денег дадут.

— Прощайте, сэр, — говорю я, — а беглых негров я уж постараюсь не упустить.

Они поехали дальше, а я перелез на плот, чувствуя себя очень скверно; ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо; если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак: и надо бы, да он не может, и ничего у него не получится. Потом я подумал с минуту и говорю себе: постой, а если б ты поступил, как надо, и выдал бы Джима, было бы тебе лучше, чем сейчас? Нет, говорю себе, все равно было бы плохо; я так же плохо себя чувствовал бы, как и сейчас. Какой же толк стараться делать все как полагается, когда от этого тебе одно только беспокойство; а когда поступаешь, как не надо, то беспокойства никакого, а награда все равно одна и та же. Я стал в тупик и ответа не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану, а буду всегда действовать, как покажется сподручней. Я заглянул в шалаш. Джима там не было. Я оглядел весь плот — его не было нигде. Я крикнул:

— Джим!

— Я здесь, Гек! Их больше не видно? Говори потише.

Он сидел в реке за кормой, один только нос торчал из воды. Я сказал ему, что их больше не видно, и он влез на плот.

— Я ведь все слышал и скорей соскочил в воду; хотел уже плыть к берегу, если они причалят к плоту. А потом, думаю, опять приплыву, когда они уедут. А здорово ты их надул, Гек! Ловкая вышла штука! Я тебе вот что скажу, сынок: по-моему, только это и спасло старика Джима. Джим никогда этого тебе не забудет, голубчик!

Потом мы стали говорить про деньги. Очень недурно заработали — по двадцати долларов на брата. Джим сказал, что теперь мы можем ехать на пароходе третьим классом и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов и что двадцать миль для плота сущие пустяки, только ему хотелось бы, чтобы мы были уже там.

На рассвете мы причалили к берегу, и Джим все старался спрятать плот получше. Потом он целый день увязывал наши пожитки в узлы и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом.

Вечером, часов около десяти, мы увидели огни какого-то города в излучине на левом берегу.

Я поехал в челноке узнать, что это за город. Очень скоро мне повстречался человек в ялике, который ловил рыбу на дорожку. Я подъехал поближе и спросил:

— Скажите, мистер, это Каир?

— Каир? Нет. Одурел ты, что ли?

— Так какой же это город?

— Если тебе хочется знать, поезжай да спроси. А будешь тут околачиваться да надоедать, так смотри — ты у меня получишь!

Я повернул обратно к плоту. Джим ужасно расстроился, но я ему сказал, что следующий город, наверно, и будет Каир.

Перед рассветом нам попался еще один город, и я опять хотел поехать на разведки, только берег тут был высокий, и я не поехал. Джим сказал, что Каир не на высоком берегу. А я про это позабыл. Для дневной остановки мы выбрали заросший кустами островок, поближе к левому берегу. Я начал кое о чем догадываться. И Джим тоже. Я сказал:

— Может, мы прозевали Каир в тумане тогда ночью?

Джим ответил:

— Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм всегда не везет. Я так и думал, что змеиная кожа еще даст себя знать.

— Лучше бы я ее в глаза не видал, Джим, лучше бы она мне и не попадалась!

— Ты не виноват, Гек: ты не знал. Не ругай себя за это.

Когда совсем рассвело, так оно и оказалось: поближе к берегу текла светлая вода реки Огайо, а дальше к середине начиналась мутная вода — сама Старая Миссисипи! Так что с Каиром все было кончено.

Мы потолковали, как нам быть. На берег нечего было и соваться; вести плот против течения мы тоже не могли. Только и оставалось, дождавшись темноты, отправляться обратно в челноке: будь что будет. Мы проспали весь день в кустах, чтоб набраться сил, а когда после сумерек вышли к плоту, оказалось, что челнок исчез!

Мы долго молчали. Да и говорить-то было нечего. Оба мы отлично знали, что это змеиная кожа действует, да и какой толк может быть от разговоров? Опять, пожалуй, накличешь беду, как будто нам этого мало, а там оно и пойдет одно за другим, пока не научимся держать язык за зубами. Потом мы обсудили, что нам делать, и решили, что ничего другого не остается, как плыть вниз по течению на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и ехать на нем обратно. Отец взял бы челнок взаймы, если б поблизости никого не случилось, но мы этого делать не собирались, чтобы за нами не было погони.

Когда стемнело, мы пустились в путь на плоту. Всякий, кто еще не верит, как опасно брать в руки змеиную кожу, даже после всего, что с нами случилось, обязательно поверит, когда почитает дальше, что она с нами натворила.

Челноки обыкновенно покупают с плотов, стоящих на причале у берега. Но пока что мы таких плотов не видели и ехали себе да ехали — должно быть, больше трех часов подряд. И ночь сделалась какая-то серая, очень густая, а это тоже гадость, не лучше тумана: не разберешь, какие берега у реки, и вдаль тоже ничего не видно. Было уж очень поздно и совсем тихо; вдруг слышим — вверх по реке идет пароход. Мы зажгли фонарь, думали, что с парохода нас заметят. Обыкновенно низовые пароходы проходили далеко от нас; они огибают отмели и, чтобы не бороться с течением, ищут тихой воды под высоким берегом, но в такие ночи они идут прямо по фарватеру против течения.

Мы слышали, как пыхтит пароход, но не видели его, пока он не подошел совсем близко. Он шел прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не задев

его; иногда колесо откусывает конец весла, а потом лодман высовывается и хохочет, хвастается: вот он какой ловкач! Мы так и думали, что пароход постарается пройти поближе, не задев плота, но он шел прямо-хонько на нас. Он был большой и неся быстро, словно черная туча, усеянная рядами светлячков по бокам; и вдруг он навалился на нас, большой и страшный, и длинный ряд открытых топок засверкал, как раскаленные докрасна зубы, а огромный нос и кожухи нависли прямо над нами. Оттуда заорали на нас, зазвонили в колокол, чтобы остановить машину, поднялась ругань, зашипел пар — и не успел Джим спрыгнуть в воду с одной стороны, а я с другой, как пароход с треском прошел прямо по плоту.

Я нырнул — и нырнул как можно глубже, так, чтобы достать до дна, потому что надо мной должно было пройти тридцатифутовое колесо, и я старался оставить ему побольше места. Обыкновенно я мог просидеть под водой минуту, а тут, должно быть, пробыл минуты полторы. Потом скорей вынырнул наверх, и то чуть не задохся. Я выскочил из воды до подмышек, отфыркиваясь и выплевывая воду. Течение здесь, конечно, было ужасно сильное, и, конечно, пароход тронулся секунд через десять после того, как остановился, потому что на плотовщиков они обычно не обращают внимания; теперь он пыхтел где-то выше по реке, и в темноте мне его не было видно, хоть я и слышал пыхтение.

Я раз двадцать окликал Джима, но не мог добиться ответа; тогда я ухватился за первую доску, какая попалась под руку, и поплыл к берегу, толкая эту доску перед собой. Но скоро я разобрал, что течение здесь поворачивает к левому берегу, а это значило, что я попал на перекат; и потому я свернул влево.

Это был один из тех перекатов, которые идут наискосок и тянутся на целых две мили, так что я переправлялся очень долго. Я благополучно доплыл до берега и вылез. Впереди, почти ничего нельзя было разглядеть, но я пошел напрямик, без дороги, и, пройдя около четверти мили, наткнулся впотьмах на большой

старинный бревенчатый дом. Я хотел было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут на меня выскочили собаки, завыли и залаяли; и у меня хватило догадки не двигаться с места.

Глава XVII

Прошло около минуты, и кто-то крикнул из окна, не высовывая головы:

— Тише, вы!.. Кто там?

Я сказал:

— Это я.

— Кто это «я»?

— Джордж Джексон, сэр.

— Что вам нужно?

— Мне ничего не нужно, сэр, я только хочу пройти мимо, а собаки меня не пускают.

— Так чего ради ты шатаешься тут по ночам, а?

— Я не шатался, сэр, а я упал за борт с парохода.

— Ах, вот как, упал? Ну-ка, высеките огонь кто-нибудь. Как, ты сказал, тебя зовут? Повтори.

— Джордж Джексон, сэр. Я еще мальчик.

— Послушай, если ты говоришь правду, то тебе нечего бояться: никто тебя не тронет. Только не шевелись, стой смирно, где стоишь... Разбудите Боба и Тома кто-нибудь и принесите ружья... Джордж Джексон, есть еще кто-нибудь с тобой?

— Никого нет, сэр.

Я услышал, как в доме забегали люди, и увидел свет. Тот же человек крикнул:

— Убери свечу, Бетси, старая ты дура, в уме ли ты? Поставь ее на пол за дверью... Боб, если вы с Томом готовы, займите свои места.

— Мы готовы.

— Ну, Джордж Джексон, знаешь ты Шепердсонов?

— Нет, сэр, никогда про них не слыхал.

— Что ж, ~~может~~ это и правда, а может, и нет. Ну,

все готово. Входи, Джордж Джексон. Да смотри не торопись — иди медленно. Если с тобой кто-нибудь есть, пусть останется позади; если он покажется, его застрелят. Подходи теперь. Подходи медленно, отвори дверь сам — ровно настолько, чтобы пролезть, слышишь?

Я не спешил, да и не мог бы спешить при всем желании. Я осторожно подходил к двери, в полной тишине; только слышно было, как бьется мое сердце, — так мне казалось. Собаки молчали, так же как и люди, но шли за мной по пятам. Дойдя до крыльца с тремя вытесанными из бревен ступеньками, я услышал, как в доме отпирают дверь и отодвигают засов. Я взялся за ручку и тихонько нажал на дверь — еще и еще, пока кто-то не сказал: «Так, теперь довольно, просунь голову в дверь». Просунуть я просунул, а сам думаю: сейчас ее отрубят.

Свеча стояла на полу, и все они собрались вокруг и с четверть минуты глядели на меня, а я на них. Трое взрослых мужчин целились в меня из ружей, так что я даже зажмурился, сказать по правде; самый старый, лет шестидесяти, уже седой, двое других лет по тридцати или больше, — все трое представительные, красивые, а еще очень милая седовласая старушка, и позади нее две молодые женщины, которых я плохо разглядел.

Старик сказал:

— Ну, так... я думаю, все в порядке. Входи.

Как только я вошел, старый джентльмен сам запер дверь, задвинул засов и велел молодым людям с ружьями идти в комнаты; все пошли в большую гостиную с новым лоскутным ковром на полу, собрались в угол, чтобы их не видно было из окон фасада, — в боковой стене окон не было. Свечу подняли повыше, все стали меня разглядывать и говорили: «Нет, он не из Шепердсонов, в нем нет ничего шепердсоновского».

Потом старик сказал, что я, верно, ничего не буду иметь против обыска, — он не хочет меня обидеть, только проверит, нет ли при мне оружия. Он не стал лазить по карманам, а только провел руками поверх платья и сказал, что все в порядке. Он велел мне не

стесняться, быть как дома и рассказать, кто я такой; но тут вмешалась старушка:

— Господь с тобой, Саул! Бедняжка насквозь промок, а может быть, он и голоден. Как ты думаешь?

— Ты права, Рэчел, — я и позабыл.

Тогда старушка сказала:

— Бетси (это негритянке), сбегай и принеси ему, бедняжке, чего-нибудь поесть, поскорей! А вы, девочки, ступайте разбудите Бака и скажите ему... Ах, вот он и сам... Бак, возьми этого чужого мальчика, сними с него мокрое платье и дай ему что-нибудь из своего, сухое.

Баку на вид казалось столько же, сколько и мне, — лет тринадцать — четырнадцать или около того, хотя он был немножко выше меня ростом. Он был в ночной рубашке, весь взлохмаченный. Он вышел, зевая и протирая кулаком глаза, а другою рукой тащил за собою ружье. Он спросил:

— Разве Шепердсонов тут не было?

Ему ответили, что нет, это была ложная тревога.

— Ну, ладно, — сказал он. — А если б сунулись, я бы хоть одного подстрелил.

Все засмеялись, и Боб сказал:

— Где тебе, Бак! Они успели бы снять с нас скальпы, пока ты там раскачивался.

— Конечно, никто меня не позвал, это просто свинство! Всегда меня затирают — так я никогда себя не покажу.

— Ничего, Бак, — сказал старик, — еще успеешь себя показать! Все в свое время, не беспокойся. А теперь ступай, делай что мать тебе велела.

Мы с Баком поднялись наверх в его комнату, он дал мне свою рубашку, куртку и штаны, и я все это надел. Пока я переодевался, он спросил, как меня зовут, но прежде чем я успел ему ответить, он пустился мне рассказывать про сойку и про кролика, которых он поймал в лесу позавчера, а потом спросил, где был Моисей, когда погасла свечка. Я сказал, что не знаю, никогда даже и не слышал про это.

— Ну так угадай, — говорит он.

— Как же я угадаю, — говорю я, — когда я первый раз про это слышу?

— А догадаться ты не можешь? Ведь это совсем просто.

— Какая свечка? — говорю я.

— Не все ли равно какая, — говорит он.

— Не знаю, где он был, — говорю я. — Ну, скажи: где?

— В темноте — вот где!

— А если ты знал, чего же ты меня спрашивал?

— Да ведь это же загадка, неужто не понимаешь?

Скажи, ты у нас долго будешь гостить? Оставайся совсем. Мы с тобой здорово повеселимся, уроков у нас сейчас нет. Есть у тебя собака? У меня есть; бросишь в воду щепку — она лезет и достает. Ты любишь по воскресеньям причесываться и всякие там глупости? Я-то, конечно, не люблю, только мать меня заставляет. Черт бы побрал эти штаны! Пожалуй, надо надеть, только не хочется — уж очень жарко. Ты готов? Ну ладно, пошли, старик.

Холодная кукурузная лепешка, холодная солонина, свежее масло, пахтанье — вот чем они меня угощали внизу, и ничего вкуснее я никогда в жизни не едал. Бак, его мама и все остальные курили коротенькие трубочки, кроме двух молодых девушек и негритянки, которая ушла. Все курили и разговаривали, а я ел и тоже разговаривал. Обе девушки сидели, завернувшись в одеяла, с распущенными волосами. Все они меня расспрашивали, а я им рассказывал, как мы с папашей и со всем семейством жили на маленькой ферме в самой глуши Арканзаса и как сестра Мэри-Энн убежала из дому и вышла замуж и больше мы про нее ничего не слыхали, а Билл поехал ее разыскивать и тоже пропал без вести, а Том и Морт умерли, и больше никого не осталось, кроме нас с отцом, и он так и сошел на нет от забот и горя; а я после его смерти собрал какие остались пожитки, потому что ферма была не наша, и отправился вверх по реке палубным пассажиром, а потом свалился в реку с парохода; вот каким образом я попал сюда. Они мне сказали тогда, что я могу у них жить, сколько захочу. После этого начало светать, и все разошлись по своим спальням, и я тоже пошел спать вместе с Баком; а когда проснулся

поутру, то — поди ж ты! — совсем позабыл, как меня зовут. Я лежал около часа и все припоминал, а когда Бак проснулся, я спросил.

— Ты умеешь писать, Бак?

— Умею, — говорит он.

— А вот мое имя небось не знаешь, как пишется! — говорю я.

— Знаю не хуже твоего, — говорит он.

— Ладно, — говорю я, — валяй.

— Д-ж-о-р-д-ж Ж-е-к-с-о-н — вот тебе! — говорит он.

— Правильно, знаешь, — говорю я, — а я думал, что нет. Это не такое имя, чтобы всякий мог его правильно написать, не выучив наперед.

Я и сам записал его потихоньку: вдруг спросят, как оно пишется, а я и отбарабаню без запинки, будто для меня это дело привычное.

Семья была очень хорошая, и дом тоже был очень хороший. Я еще никогда не видал в деревне такого хорошего дома, с такой приличной обстановкой. Парадная дверь запиралась не на железный засов и не на деревянный с кожаным ремешком, а надо было повертывать медную шишку, все равно как в городских домах. В гостиной не стояло ни одной кровати, ничего похожего на кровать, а ведь даже в городе во многих гостиных стоят кровати. Камин был большой, выложенный внизу кирпичами; а чтобы кирпичи были всегда чистые, их поливали водой и терли другим кирпичом; иногда их покрывали, на городской манер, слоем красной краски, которая называется «испанская коричневая». Таган был медный и такой большой, что и бревно выдержал бы. Посредине каминной доски стояли часы под стеклом, и на нижней половине стекла был нарисован город с кружком вместо солнца, и видно было, как за стеклом ходит маятник. Приятно было слушать, как они тикают; а иногда в дом заходил бродячий часовщик, чистил их и приводил в порядок, и тогда они били раз двести подряд, пока не выбьются из сил. Хозяева не отдали бы этих часов ни за какие деньги.

Справа и слева от часов стояло по большому заморскому попугаю из чего-то вроде мела и самой

пестрой раскраски. Рядом с одним попугаем стояла глиняная кошка, а рядом с другим — глиняная собака, и если их нажать, они пищали; только рот у них не раскрывался и морда была все такая же равнодушная. Они пищали снизу. Сзади всех этих штучек были засунуты два больших развернутых веера из крыльев дикого индюка. На столе посреди комнаты стояла большая корзина с целой грудой яблок, апельсинов, персиков и винограда, гораздо красивей и румяней настоящих, только видно было, что они ненастоящие, потому что местами они облупились и под краской белел гипс или мел — из чего там они были сделаны.

Стол был покрыт красивой клеенкой с нарисованным красной и синей краской орлом и каймой вокруг. Мне сказали, что эту клеенку привезли из самой Филадельфии. По всем четырем углам стола ровными стопками были разложены книги. Одна из них была большая семейная библия с картинками; другая — «Странствие пилигрима»: про одного человека, который бросил свою семью, только там не говорилось почему. Я много раз за нее принимался, в разное время. Написано было интересно, только не очень понятно. Еще там были «Дары дружбы», со всякими интересными рассказами и стихами, только стихов я не читал. Еще были «Речи» Генри Клея и «Домашний лечебник» доктора Ганна; из него можно было узнать, что надо делать, если кто-нибудь заболит или умрет. Был еще молитвенник и разные другие книжки. А еще там стояли красивые плетеные стулья, совсем крепкие — не то чтобы какие-нибудь продавленные или дырявые, вроде старой корзинки.

На стенах у них висели картины — больше все Вашингтоны, да Лафайеты, да всякие битвы, да шотландская королева Мария Стюарт, а одна картина называлась «Подписание Декларации». Были еще такие картинки, которые у них назывались «пастель»; это одна из дочерей сама нарисовала, когда ей было пятнадцать лет; теперь она уже умерла. Таких картинок я еще нигде не видел — уж очень они были черные. На одной была нарисована женщина в узком черном платье, туго подпоясанная под мышками, с руками

вроде капустных кочнов и в большой черной шляпе, вроде совка с черной вуалью, а из-под платья видны были тоненькие белые ножки в черных, узеньких, как долото, туфельках, с черными тесемками крест-накрест. Она стояла под плакучей ивой, задумчиво опираясь правым локтем на могильный памятник, а в левой руке держала белый платок и сумочку, и под картинкой было написано: «Ах, неужели я больше тебя не увижу!» На другой — молодая девушка с волосами, зачесанными на макушку, и с гребнем в прическе, большим, как спинка стула, плакала в платок, держа на ладони мертвую птичку лапками вверх, а под картинкой было написано: «Ах, я никогда больше не услышу твоего веселого щебетанья!» Была и такая картинка, где молодая девица стояла у окна, глядя на луну, а по щекам у нее текли слезы; в одной руке она держала распечатанный конверт с черной печатью, другой рукой прижимала к губам медальон на цепочке, а под картинкой было написано: «Ах, неужели тебя больше нет! Да, увы, тебя больше нет!» Картинки были хорошие, но мне они как-то не очень нравились, потому что если, бывало, взгрустнется немножко, то от них делалось еще хуже. Все очень жалели, что эта девочка умерла, потому что у нее была начата еще не одна такая картинка, и уже по готовым картинкам всякому было видно, как много потеряли ее родные. А по-моему, с ее характером ей, наверное, куда веселей на кладбище. Перед болезнью она начала еще одну картинку — говорят, самую лучшую — и днем и ночью только о том и молилась, чтобы не умереть, пока не кончит ее, но ей не повезло: так и умерла — не кончила.

На этой картинке молодая женщина в длинном белом платье собиралась броситься с моста; волосы у нее были распущены, она глядела на луну, по щекам у нее текли слезы; две руки она сложила на груди, две протянула перед собой, а еще две простирала к луне. Художница хотела сначала посмотреть, что будет лучше, а потом стереть лишние руки, только, как я уже говорил, она умерла, прежде чем успела на чем-нибудь окончательно остановиться, а родные повесили

эту картинку у нее над кроватью и в день ее рождения всегда убирала цветами. А в другое время картинку задергивали маленькой занавесочкой. У молодой женщины на этой картинке было довольно приятное лицо, только рук уж очень много, и от этого она, по-моему, смахивала на паука.

Когда эта девочка была еще жива, она завела себе альбом и наклеивала туда из «Пресвитерианской газеты» объявления о похоронах, заметки о несчастных случаях и долготерпеливых страдальцах и сама сочиняла про них стихи. Стихи были очень хорошие. Вот что она написала про одного мальчика по имени Стивен Даулинг Ботс, который упал в колодец и утонул:

**ОДА НА КОНЧИНУ
СТИВЕНА ДАУЛИНГА БОТСА**

Хворал ли юный Стивен,
И умер ли он от хвори?
И рыдали ль друзья и родные,
Не помня себя от горя?

О нет! Судьба послала
Родным иное горе,
И хоть они рыдали,
Но умер он не от хвори.

Не свинкой его раздуло,
И сыпью не корь покрыла —
Нет, вовсе не корь и не свинка
Бедягу Ботса сгубила;

Несчастною любовью
Не был наш Ботс сражен;
Объевшись сырой морковью,
От колик не умер он.

К судьбе несчастного Ботса
Склоните печальный слух:
Свалившись на дно колодца,
К небесам воспарил его дух.

Достали его, откачали,
Но уже поздно было:
Туда, где нет печали,
Душа его воспарила.

Если Эммелина Грэнджерфорд умела писать такие стихи, когда ей не было еще четырнадцати лет, то что бы могло из нее получиться со временем! Бак говорил, что сочинять стихи для нее было плевое дело. Она даже ни на минуту не задумывалась. Бывало, придумает одну строчку, а если не может подобрать к ней рифму, то зачеркнет, напишет новую строчку и жарит дальше. Она особенно не разбиралась и с удовольствием писала стихи о чем угодно, лишь бы это было что-нибудь грустное. Стоило кому-нибудь умереть, будь это мужчина, женщина или ребенок, покойник еще и остыть не успеет, а она уж тут как тут со своими стихами. Она называла их «данью покойному». Соседи говорили, что первым являлся доктор, потом Эммелина, а потом уже гробовщик; один только раз гробовщик опередил Эммелину, и то она задержалась из-за рифмы к фамилии покойного, а звали его Уистлер. От этого удара она так и не могла оправиться, все чахла да чахла и прожила после этого недолго. Бедняжка, сколько раз я заходил к ней в комнату! И когда ее картинки расстраивали мне нервы и я начинал на нее сердиться, то доставал ее старенький альбом и читал.

Мне вся эта семья нравилась, и покойники и живые, и я вовсе не хотел ни с кем из них ссориться. Когда бедная Эммелина была жива, она сочиняла стихи всем покойникам, и казалось несправедливым, что никто не напишет стихов для нее теперь, когда она умерла; я попробовал сочинить хоть один стишок, только у меня ничего не вышло.

Комнату Эммелины всегда чистенько убирали, и все вещи были расставлены так, как ей нравилось при жизни, и никто никогда там не спал.

Старушка сама наводила порядок в комнате, хотя у них было много негров, часто сидела там с шитьем и библию тоже почти всегда читала там.

Так вот, я уже рассказывал про гостиную; на окнах там висели красивые занавески, белые, с картинками: замки, сплошь обвитые плющом, и стада на водопое. Там стояло еще старенькое пианино, набитое,

по-моему, жестяными сковородками, и для меня первое удовольствие было слушать, как дочери поют «Расстались мы» или играют на нем «Битву под Прагой». Стены во всех комнатах были оштукатурены, на полу почти везде лежали ковры, а снаружи весь дом был выбелен. Он был в два флигеля, а между флигелями были настланы полы и сделана крыша, так что иногда там накрывали стол в середине дня, и место это было самое уютное и прохладное. Ничего не могло быть лучше! Да еще стряпали у них очень вкусно, и еды подавались целые горы!

Глава XVIII

Полковник Грэнджерфорд был, что называется, джентльмен, настоящий джентльмен с головы до пяток, и вся его семья была такая же благородная. Как говорится, в нем была видна порода, а это для человека очень важно, все равно как для лошади; я слышал это от вдовы Дуглас, а что она была из первых аристократок у нас в городе, с этим никто даже и не спорил; и мой папаша тоже всегда так говорил, хотя сам-то он не породистей дворняжки. Полковник был очень высокого роста, худой, смуглый, но бледный, без единой капли румянца; каждое утро он брил начисто все лицо; губы у него были очень тонкие, тонкий нос с горбинкой и густые брови, а глаза черные-пречерные, и сидели они так глубоко, что смотрели на вас как будто из пещеры. Лоб у него был высокий, а волосы седые и длинные, до самых плеч. Руки — худые, с длинными пальцами. И каждый божий день он надевал чистую рубашку и полотняный костюм такой белизны, что смотреть больно. А по воскресеньям одевался в синий фрак с медными пуговицами. Он носил трость красного дерева с серебряным набалдашником. Шутить он не любил, ни-ни, и говорил всегда тихо. А доброты был такой, что и сказать нельзя, — всякий сразу это видел и чувствовал к нему доверие. Улыбался он редко, и улыбка была приятная. Но уж

если, бывало, выпрямится, как майский шест, и начинает метать молнии из-под густых бровей, то сначала хотелось поскорей залезть на дерево, а потом уже узнавать, в чем дело. Ему не приходилось никого одергивать: при нем все вели себя как следует. Все любили его общество, когда он бывал в духе: я хочу сказать, что при нем было хорошо, как при солнышке. Когда он хмурился, как грозовая туча, то гроза продолжалась какие-нибудь полминуты — и этим все кончалось, и потом целую неделю все было спокойно.

Когда он вместе со своей старушкой входил утром в столовую, все дети вставали со стульев, желали им доброго утра и не садились до тех пор, пока не сядут старики. После этого Том с Бобом подходили к буфету, где стоял графин, смешивали с водой стаканчик виски и подавали отцу, а он ждал со стаканом в руках, пока они не нальют себе; потом они кланялись и говорили: «За ваше здоровье, сударь! За ваше здоровье, сударыня!», а старики слегка кивали головой и благодарили, и все трое пили. А потом Боб с Томом наливали ложку воды на сахар и капельку виски или яблочной на дно своих стаканов и давали нам с Баком, и мы тоже пили за здоровье стариков.

Боб был самый старший, а Том — второй, оба высокие, широкоплечие молодцы, загорелые, с длинными черными волосами и черными глазами. Они одевались с головы до ног во все белое, как и полковник, и носили широкополые панамы.

Еще была мисс Шарлотта (лет двадцати пяти), высокая, гордая, величественная, но такая добрая, что и сказать нельзя, если ее не сердили. А когда рассердится, то взглянет, бывало, не хуже отца — просто душа уйдет в пятки. Собой она была красавица.

Ее сестра, мисс София, тоже была красавица, только совсем в другом роде: кроткая и тихая, как голубка; ей было всего двадцать лет.

У каждого из них был свой негр для услуг, и у Бака тоже. Моему негру делать было нечего, потому что я не привык, чтобы мне прислуживали, зато негру Бака не приходилось сидеть сложа руки.

Вот и все, что оставалось теперь от семьи, а прежде было еще три сына — их всех троих убили; и была еще Эммелина, которая умерла.

У старика было много ферм и около сотни негров. Иногда наезжали целой толпой гости верхом, за десять, за пятнадцать миль, гостили пять-шесть дней, пировали, катались по реке, днем устраивали пикники в лесу, а вечером танцевали в доме. По большей части это были всё родственники. Мужчины приезжали в гости с ружьями. Господа все были видные, можно сказать.

В этих местах жил и еще один аристократический род, семей пять или шесть; почти все они были по фамилии Шепердсоны. Это были такие же благородные, воспитанные, богатые и знатные господа, как и Грэнджерфорды. У Шепердсонов и Грэнджерфордов была общая паровозная пристань, двумя милями выше нашего дома, и я, когда бывал с нашими на пристани, частенько видел там Шепердсонов, гарцующих на красивых лошадях.

Как-то днем мы с Баком пошли в лес на охоту и вдруг слышим конский топот. А мы как раз переходили дорогу. Бак закричал:

— Скорей! Беги в лес!

Мы побежали, а потом стали смотреть из-за кустов на дорогу. Скоро показался красивый молодой человек, похожий на военного; он ехал рысью по дороге, отпустив поводья. Поперек седла у него лежало ружье. Я его и раньше видел. Это был молодой Гарни Шепердсон. Вдруг ружье Бака выстрелило над самым моим ухом, и с головы Гарни слетела шляпа. Он схватился за ружье и поскакал прямо к тому месту, где мы прятались. Но мы не стали его дожидаться, а пустились бежать через лес. Лес был не густой, и я то и дело оглядывался, чтоб увернуться от пули; я два раза видел, как Гарни прицелился в Бака из ружья, а потом повернул обратно, в ту сторону, откуда приехал, — должно быть, за своей шляпой; так я думаю, только этого я не видал. Мы не останавливались, пока не добежали до дому. Сначала глаза у старого джентльмена

загорелись — я думаю, от радости, — потом лицо у него как будто разгладилось, и он сказал довольно ласково:

— Мне не нравится эта стрельба из-за куста. Почему ты не вышел на дорогу, мой мальчик?

— Шепердсоны никогда не выходят, отец. Они пользуются всяким преимуществом.

Мисс Шарлотта подняла голову, как королева, слушая рассказ Бака; ноздри у нее раздувались, глаза сверкали. Молодые люди нахмурились, но не сказали ни слова. Мисс Софья побледнела, а когда услышала, что Гарни остался цел, опять порозовела.

Как только мне удалось вызвать Бака к кормушке под деревьями и мы остались с ним вдвоем, я спросил:

— Неужто ты хотел его убить, Бак?

— А то как же!

— Что же он тебе сделал?

— Он? Ничего он мне не сделал.

— Так за что же ты хотел его убить?

— Ни за что — из-за того только, что у нас кровная вражда.

— А что такое кровная вражда?

— Чему же тебя учили? Неужели ты не знаешь, что такое кровная вражда?

— Первый раз слышу. Ну-ка, расскажи.

— Ну вот, — сказал Бак, — кровная вражда — это вот что: бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет да и убьет первого, потом их братья поубивают друг друга, потом за них вступаются двоюродные братья, а когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Только это долгая песня, времени проходит много.

— А ваша вражда давно началась?

— Еще бы не давно! Лет тридцать или около того. Была какая-то ссора, а потом из-за нее судились; и тот, который проиграл процесс, пошел и застрелил того, который выиграл, — да так оно и следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы то же.

— Да из-за чего же вышла ссора, Бак? Из-за земли?

— Я не знаю. Может быть.

— Ну а кто же первый стрелял? Грэнджерфорд или Шепердсон?

— Господи, ну почему я знаю! Ведь это так давно было.

— И никто не знает?

— Нет, папа, я думаю, знает, и еще кое-кто из стариков знает; они только не знают, из-за чего в самый первый раз началась ссора.

— И много было убитых, Бак?

— Да! То и дело кого-нибудь хоронят. Но не всех же убивают. У папы в ноге сидит крупная дробь, только он не обращает внимания, не думает об этом, и все. Боба тоже здорово полоснули ножом, и Том был ранен раза два.

— А в этом году кого-нибудь убили, Бак?

— Да, у нас одного и у них одного. Месяца три назад мой кузен Бад поехал через лес на ту сторону реки, а оружия с собой не захватил — такая глупость! — и вдруг в одном глухом месте слышит за собой топот; смотрит — за ним скачет плешивый Шепердсон с ружьем в руках, скачет, а седые волосы развеваются по ветру. Баду надо бы соскочить с лошади да спрятаться в кусты, а он решил, что старик его не догонит, и так они скакали миль пять во весь дух, а старик все нагонял; наконец Бад видит, что дело плохо, остановил лошадь и повернулся лицом к старику, чтобы пуля попала не в спину, а в грудь, а старик подъехал поближе и убил его наповал. Только недолго ему пришлось радоваться: не прошло и недели, как наши его уложили.

— По-моему, этот старик был трус, Бак.

— А по-моему, нет. Вот уж нет! Среди Шепердсонов нет трусов, ни одного нет! И среди Грэнджерфордов тоже их нет. Один раз этот старик честно дрался с тремя Грэнджерфордами и в полчаса одолел их. Все они были верхом, а он соскочил с лошади и засел за кучей дров, а лошадь поставил перед собой, чтобы загордиться от пуль. Грэнджерфорды с лошадей не слезли, все гарцевали вокруг старика и палили в него, а он палил в них. И он и его лошадь вернулись домой израненные и в крови, зато Грэнджерфордов принесли

домой одного убитым, а другого раненым, он умер на следующий день. Нет, сэр, если кому нужны трусы, так нечего и время тратить искать их у Шепердсонов — там таких не водится!

В следующее воскресенье мы все поехали в церковь, мили за три, и все верхом. Мужчины взяли с собой ружья, — Бак тоже взял, — и держали их между коленями или ставили к стенке, чтобы были под рукой. И Шепердсоны тоже так делали. Проповедь была самая обыкновенная — насчет братской любви и прочего тому подобного, такая все скущища! Говорили, что проповедь хорошая, и когда ехали домой, всё толковали про веру да про добрые дела, про благодать и предопределение и не знаю еще про что, так что мне показалось, будто такого скучного воскресенья у меня еще никогда в жизни не было.

Через час после обеда или около того все задремали, кто в кресле, кто у себя в комнате, и стало еще скучней. Бак со своей собакой улегся на траву и крепко уснул на солнышке. Я пошел в нашу комнату и сам хотел было вздремнуть. Смотрю, тихая мисс Софья стоит на пороге своей комнаты, что рядом с нашей; она позвала меня к себе в комнату, тихонько затворила дверь и спрашивает, люблю ли я ее, а я сказал, что люблю; а потом она спросила, могу ли я исполнить одну ее просьбу и никому об этом не говорить, и я сказал, что могу. Тогда она сказала, что забыла свое евангелие в церкви, оставила его на скамье между двумя другими книгами, так не схожу ли я потихоньку за этой книгой и не принесу ли ее сюда, только никому ничего не говоря. Я сказал, что принесу. И вот я потихоньку выбрался из дому и побежал по дороге; смотрю — в церкви никого уже нет, кроме одной или двух свиней: дверь никогда не запиралась, а свиньи летом любят валяться на тесовом полу, потому что он прохладный. Если вы заметили, большинство людей ходит в церковь только по необходимости, ну а свиньи — дело другое.

Ох, думаю, тут что-то неладно; не может быть, чтобы она так расстроилась из-за евангелия. Я потряс книжку, смотрю — из нее выскочил маленький клочок

бумаги, а на нем написано карандашом: «В половине третьего». Я стал еще искать, но ничего больше не нашел. Я так ничего и не понял, взял и положил бумажку обратно, а когда вернулся домой и поднялся наверх, мисс Софья стояла в дверях своей комнаты и ждала меня. Она втащила меня в комнату и закрыла дверь, потом стала перелистывать евангелие, пока не нашла записку, а когда прочла ее, то очень обрадовалась, и не успел я опомниться, как она схватила меня за плечи, обняла и сказала, что я самый лучший мальчик на свете и чтобы я никому ничего не говорил. Глаза у нее засветились, она вся покраснела и от этого стала очень хорошенькой. Меня сильно разбирало любопытство, и, переведя дух, я сейчас же спросил, о чем была записка; а она спросила, читал я ее или нет, а я сказал, что не читал. Тогда она спросила, умею ли я читать по-писанному, а я сказал, что не умею, разве только если написано печатными буквами, и она тогда сказала, что в записке ничего особенного не было, это просто закладка, и чтобы я шел играть.

Я пошел к реке, раздумывая обо всем этом, и вдруг заметил, что за мной идет мой негр. Когда мы отошли от дома настолько, что нас нельзя было увидеть из окна, он оглянулся по сторонам, а потом подбежал ко мне и говорит:

— Мистер Джордж, не хотите ли пойти со мной на болото? Я вам покажу целую кучу водяных змей.

Думаю, тут что-то дело нечисто, он и вчера то же говорил. Ну кому нужны водяные змеи, чтобы за ними бегать? Не знает он этого, что ли? Интересно, что у него на уме? Говорю ему:

— Ладно, ступай вперед.

Я прошел за ним около полумили, потом он пустился наперерез через болото и еще полмили брел по щиколотку в воде. Скоро мы подошли к небольшому островку сухой земли, густо заросшему деревьями, кустами и плющом, и тут негр сказал:

— Вы ступайте туда, это всего два шага — они там и есть. А я их и раньше видал, на что они мне!

Он повернул обратно, опять зашлепал по болоту и скрылся за деревьями. А я пошел напрямик и скоро

наткнулся на маленькую полянку, с комнату величиной, всю увитую плющом; вдруг вижу — прямо на земле спит человек, и, честное слово, это был мой старик Джим!

Я его разбудил и думал, что он очень удивится, когда меня увидит, но не тут-то было. Он чуть не заплакал — до того мне обрадовался, но ни капли не удивился. Сказал, что в ту ночь он все время плыл позади меня и слышал, как я кричал, только боялся откликаться: не хотел, чтобы его подобрал и опять продали в рабство.

— Я, — говорит, — немножко ушибся и не мог быстро плыть, так что здорово отстал от тебя под конец; а когда ты вылез на берег, я подумал, что на берегу сумею как-нибудь тебя догнать и без крика; а когда увидел тот дом, то перестал спешить и пошел медленнее. Я был еще далеко и не слышал, что они тебе говорят, и собак тоже боялся; а когда все успокоилось, я понял, что ты теперь в доме, и ушел в лес дожидаться, пока рассветет. Рано утром негры проходили мимо на работу в поле, взяли меня с собой и показали мне это место — тут вода, и собаки не могут меня учуять; и каждый вечер они приносят мне чего-нибудь поесть и рассказывают, как ты там живешь.

— Почему же ты не сказал раньше моему Джеку, чтобы он привел меня сюда?

— Зачем же было тебя беспокоить, Гек, пока мы еще ничего не сделали. А теперь у нас все готово. При случае я покупал кастрюльки и сковородки, а по ночам чинил плот...

— Какой плот, Джим?

— Наш старый плот.

— Да разве его не расшибло вдребезги?

— Нет, не расшибло. Его здорово потрепало, это верно, — один конец совсем оторвался. А все-таки беда не так велика, только наши вещи почти все потонули. Если бы нам не пришлось нырять так глубоко и плыть так долго под водой, да еще ночь не была бы такая темная, мы бы увидели плот; мы с тобой перепугались, да и голову потеряли, как говорится. Ну да это

ничего, теперь он опять стал как новый, и вещей у нас много новых, вместо тех, которые потонули.

— А откуда же у тебя взялся плот, Джим? Ты его поймал, что ли?

— Как же я его поймаю тут, в лесу? Нет, негры его нашли — он тут недалеко зацепился за корягу в излучине, — и они его спрятали в речке под ивами, а потом подняли такой крик из-за того, кому он достанется, что и до меня скоро дошло, и я все это сразу прекратил — сказал им, что плот никому из них не достанется, потому что он наш с тобой. Спрашиваю: неужто они хотят захватить имущество у белого джентльмена, чтоб им за это влетело? Потом дал им по десять центов на брата, и они были довольны-предовольны: думают, почаше бы плоты приплывали, чтобы им разбогатеть. Они все ко мне очень добры, и если мне что нужно, то два раза просить не приходится, сынок. Этот Джек — хороший негр, совсем не глупый.

— Да, не дурак. Он ведь мне не говорил, что ты здесь; просто позвал сюда, будто хочет мне показать водяных змей. Если что-нибудь случится, так он ни в чем не замешан: может сказать, что он нас вместе не видал, и это будет правда.

Мне не хочется много рассказывать про следующий день. Постараюсь покороче. Я проснулся на рассвете и хотел было перевернуться на другой бок и опять уснуть, как вдруг обратил внимание, что в доме очень тихо — никого не видно и не слышно. Этого никогда еще не бывало. Потом я заметил, что и Бак уже встал и ушел. Ну, я тоже встал, а сам не знаю, что и думать; иду вниз — никого нет, и везде тихо, как в мышиной норке. То же самое и на дворе. Думаю себе: что бы это могло значить? Около дров встречаю своего Джека и спрашиваю:

— Что такое случилось?

Он говорит:

— А вы разве не знаете, мистер Джордж?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— Мисс София сбежала! Ей-богу, не вру. Сбежала среди ночи, и никто хорошенько не знает когда; сбе-

жала, чтобы обвенчаться, знаете, с молодым Гарни Шепердсоном, — по крайней мере все так думают. Родные-то узнали об этом всего полчаса назад, может немножко больше, и, надо сказать, времени терять не стали. Сейчас же за ружья, да и на лошадей, — мы и оглянуться не успели. Женщины кинулись поднимать родню, а старый хозяин с сыновьями поскакали к реке, чтобы перехватить по дороге молодого человека и убить его, а то как бы он не переправился за реку с мисс Софией. Думаю, что передрыга будет большая.

— Бак ушел и не стал меня будить.

— Ну еще бы! Они не хотели впутывать вас в это дело. Мистер Бак зарядил ружье и говорит: хоть треснет, да застрелит кого-нибудь из Шепердсонов! Ну, я думаю, их там много будет, — уж одного-то наверняка застрелит, если подвернется случай.

Я побежал к реке, не медля ни минуты. Скоро я услышал издалека ружейные выстрелы. Как только я завидел лавчонку у паровой пристани и штабель дров, я стал пробираться под деревьями и кустами, пока не нашел удобное место, а там залез на развилку виргинского тополя, куда не долетали пули, и стал смотреть. Перед тополем, совсем близко, был другой штабель дров, в четыре фута высотой, и я хотел сначала спрятаться за ним, но, пожалуй, лучше сделал, что не спрятался.

На открытом месте перед лавкой, с криком и руганью, гарцевали четверо или пятеро верховых, стараясь попасть в двух молодых Грэнджерфордов, сидевших за поленницей, рядом с паровой пристанью, но им это не удавалось. Каждый раз, как кто-нибудь из верховых выезжал из-за штабеля дров к реке, в него стреляли. Мальчики сидели за дровами спиной к спине, так что им видно было в обе стороны.

Скоро всадники перестали скакать и вопить. Они подъехали ближе к лавке; тогда один из мальчиков встал, прицелился хорошенько из-за штабеля и выбил одного всадника из седла. Верховые соскочили с лошадей, подхватили раненого и понесли его в лавку, и в ту же минуту оба мальчика пустились бежать. Они были

уже на полдороге к тому дереву, на котором я сидел, когда их заметили. Как только мужчины их увидели, они опять вскочили на лошадей и погнались за ними. Они стали их нагонять, только ничего из этого не вышло: мальчики все-таки выбежали намного раньше, успели добраться до того штабеля, который был перед моим деревом, засели за ним, и, значит, у них опять был выигрыш перед Шепердсонами. Один из мальчиков был Бак, а другой, лет девятнадцати, худенький, — его двоюродный брат.

Всадники повернулись тут некоторое время, потом уехали куда-то. Как только они скрылись из виду, я окликнул Бака и рассказал ему все. Сначала он ничего не мог понять, когда услышал мой голос с дерева, и ужасно удивился. Он велел мне смотреть в оба и сказать ему, когда всадники опять покажутся; они, верно, затевают какую-нибудь подлость и уехали ненадолго. Мне захотелось убраться с этого дерева, только я побоялся слезть. Бак начал плакать и браниться и сказал, что они с Джо (это и был другой мальчик, его двоюродный брат) еще отплатят за этот день. Он сказал, что его отец и двое братьев убиты и двое или трое Шепердсонов тоже. Шепердсоны подстерегали их в засаде. Бак сказал, что его отцу и братьям надо было бы подождать других родственников, — Шепердсонов было слишком много. Я спросил его, что стало с молодым Гарни и мисс Софией. Он ответил, что они успели переправиться за реку и теперь в безопасности. Но до чего же Бак выходил из себя, что ему не удалось убить Гарни тот раз в лесу, — я просто ничего подобного не слыхивал!

И вдруг — бах! бах! бах! — раздались три или четыре выстрела: Шепердсоны объехали кругом через лес, спешили и подкрались сзади. Мальчики бросились к реке — оба они были ранены — и поплыли вниз по течению, а Шепердсоны бежали за ними по берегу, стреляли и кричали: «Убейте их, убейте!» Мне сделалось так нехорошо, что я чуть не свалился с дерева. Все я рассказывать не буду, а то, если начну, мне опять станет нехорошо. Уж лучше бы я тогда ночью не вылезал здесь на берег, чем такое видеть. До сих пор все

это стоит у меня перед глазами, даже снилось сколько раз. Я сидел на дереве, пока не стемнело: все боялся слезть. Время от времени я слышал далеко в лесу выстрелы, а два раза маленькие отряды верховых с ружьями проносились мимо лавки; я это видел и понимал, что еще не все кончилось. Я сильно приуныл и решил больше не подходить к этому дому: ведь, по моему, все это из-за меня вышло, как ни верти. Ключок бумажки, должно быть, для того и был вложен, чтобы мисс София где-нибудь встретилась с Гарни в половине третьего и убежала с ним; а мне надо было рассказывать ее отцу про эту бумажку и про то, как странно вела себя мисс София; тогда он, может, посадил бы ее под замок и не случилось бы такого ужасного несчастья.

Я слез с дерева, осторожно прокрался к реке, и скоро нашел в воде у самого берега два мертвых тела; долго возился, пока не вытащил их на песок, потом прикрыл им лица и ушел поскорее. Я даже заплакал, когда прикрывал лицо Бака: ведь он со мной дружил и был ко мне очень добр.

Теперь совсем стемнело. К дому я и близко не подходил, а обошел его лесом и побежал на болото. Джима на островке не было, так что я побрел через болото к речке и пролез через ивняки; мне не терпелось поскорей залезть на плот и выбраться из этого страшного места. Плота не было! Ой, до чего же я испугался! С минуту я даже дышать не мог. Потом как закричу! Голос шагах в двадцати от меня отозвался:

— Господи, это ты, сынок? Только не шуми.

Это был голос Джима — я в жизни не слышал ничего приятней. Я побежал по берегу и перескочил на плот, а Джим схватил меня и давай обнимать — до того он мне обрадовался. Он сказал:

— Слава богу, сынок, а я уж было думал, что ты тоже помер. Джек сюда приходил, сказал, что, должно быть, тебя убили, потому что домой ты не вернулся; я сию минуту собирался спуститься на плоту к устью речки, чтобы быть наготове и отчалить, как только Джек придет опять и скажет, что ты и вправду умер. Господи, до чего я рад, что ты вернулся, сынок!

Я сказал:

— Ну ладно, это очень хорошо. Они меня не найдут и подумают, что меня убили и мой труп уплыл вниз по реке, — там, на берегу, кое-что наведет их на такую мысль. Так смотри же, не теряй времени, Джим, поскорее выводи плот на большую воду!

Я не мог успокоиться до тех пор, пока плот не очутился на середине Миссисипи, двумя милями ниже пристани. Тут мы вывесили наш сигнальный фонарь и решили, что теперь мы опять свободны и в безопасности. Со вчерашнего дня у меня ни крошки во рту не было; Джим достал кукурузные лепешки, пахтанье, свинину с капустой и зелень — ничего нет вкусней, если все это приготовить как следует, — и покуда я ужинал, мы разговаривали, и нам было очень хорошо. Я был рад-радехонек убраться подальше от кровной вражды, а Джим — с болота. Мы так и говорили, что нет лучше дома, чем плот. Везде кажется душно и тесно, а на плоту — нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно.

Глава XIX

Прошло два или три дня и две или три ночи; можно, пожалуй, сказать, что они проплыли, — так спокойно, гладко и приятно они шли. Вот как мы проводили время. Река здесь была необъятной ширины, такая громадина — местами шириной мили в полторы. Мы плыли по ночам, а днем отдыхали и прятались. Бывало, как только ночь подходит к концу, мы останавливаемся и привязываем плот — почти всегда там, где нет течения, под отмелью, потом нарежем ивовых и тополевых веток и спрячем плот под ними. После того закинем удочки и лезем в реку, чтобы освежиться немножко, а потом сядем на песчаное дно, где вода по колено, и посмотрим, как светает. Нигде ни звука, полная тишина, весь мир точно уснул, редко-редко квакает где-нибудь лягушка. Первое, что видишь, если смотреть вдаль над рекой — это темная полоса: лес на

другой стороне реки, а больше сначала ничего не разберешь; потом светлеет край неба, а там светлая полоска расплывается все шире и шире, и река, если смотреть вдаль, уже не черная, а серая; видишь, как далеко-далеко плывут по ней небольшие черные пятна — это шаланды и всякие другие суда, и длинные черные полосы — это плоты; иногда слышится скрип весел в уключинах или неясный говор, — когда так тихо, звук доносится издалека; мало-помалу становится видна и рябь на воде, и по этой ряби узнаешь, что тут быстрое течение разбивается о корягу, оттого в этом месте и рябит; потом видишь, как клубится туман над водой, краснеет небо на востоке, краснеет река, и можно уже разглядеть далеко-далеко, на том берегу, бревенчатый домик на опушке леса, — должно быть, сторожка при лесном складе, а сколочен домик кое-как, щели такие, что кошка пролезет; потом поднимается мягкий ветерок и веет тебе в лицо прохладой и свежестью и запахом леса и цветов, а иногда и кое-чем похуже, потому что на берегу валяетсядохлая рыба и от нее здорово несет тухлятиной; а вот и светлый день, и всё вокруг словно смеется на солнце, и певчие птицы заливаются вовсю!

Теперь уже легкий дымок от костра совсем незаметен, и мы снимаем с удочки рыбу и готовим себе горячий завтрак. А после того отдыхаем и любимся на речной простор; отдыхаем, отдыхаем, а там, глядишь, и заснем. Проснемся после и смотрим — что же нас разбудило? И иной раз видишь — поднимается против течения и пыхтит пароход, далеко у противоположного берега — только и можно разобрать, кормовое у него колесо или боковое; и после того целый час ничего не слышно и не видно: настоящая водная пустыня. Потом видишь, как далеко-далеко по реке тянется плот и какой-нибудь разиня колет на плоту дрова, — они всегда норовят колоть дрова на плоту, — видишь, как сверкает опускающийся топор, но ничего не слышишь; видишь, как опять поднимается топор, и только когда он занесен над головой, слышится: «трах!» — так много времени нужно, чтобы звук долетел по воде. Вот так мы и проводили день, валяясь на травке и прислуши-

ваясь к тишине. Один раз был густой туман, и на плоту и лодках, проходивших мимо, колотили в сковороды, чтобы пароход не наскочил на них. Одна шаланда, а может и плот, проплыла так близко, что мы слышали говор, смех и брань, — хорошо слышали, а видеть не видели, так что мороз по коже подирал: похоже было, будто это духи разговаривают. Джим так и решил, что это духи, а я с ним не согласился:

— Ну нет, духи так не станут говорить: «Черт бы побрал этот проклятый туман!»

Мы отчаливали, как только стемнеет; выведем плот на середину реки, бросим весла, он и плывет по течению как ему вздумается. Потом закурим трубки, спустим ноги в воду и разговариваем обо всем на свете. Мы все время ходили голышом, и днем и ночью, если нас не допекали москиты; в новой одежде, которую подарили мне родные Бака, я чувствовал себя как-то неловко, оттого что она была очень хорошая, да я и вообще не охотник наряжаться.

Случалось, что на всей реке долго-долго не было никого, кроме нас. Вдали, у того берега, виднелись отмели и островки, да кое-где мелькнет иной раз огонек — свеча в окне какой-нибудь хибарки, а иной раз и на воде увидишь искорку-другую — на плоту или на шаланде, или услышишь, как там поют или играют на скрипке. Хорошо нам жилось на плоту! Бывало, все небо над головой усеяно звездами, и мы лежим на спине, глядим на них и спорим: что они — сотворсны или сами собой народились? Джим думал, что сотворены, а я — что сами народились: уж очень много понадобилось бы времени, чтобы наделать столько звезд. Джим сказал, может их луна мечет, как лягушка икру; что ж, это было похоже на правду, я и спорить с ним не стал; я видал, сколько у лягушки бывает икры, так что, разумеется, это вещь возможная. Мы следили и за падучими звездами, как они чертят небо и летят вниз. Джим думал, что это те звезды, которые испортились и выкинуты из гнезда.

Один или два раза в ночь мы видели, как мимо в темноте проходил пароход, время от времени рассыпая из трубы тучи искр; они дождем падали в реку, и это

было очень красиво; потом пароход скрывался за поворотом, огни мигали еще раз и гасли, шум замирал, и на реке опять становилось тихо; потом до нас докатывались и волны — долго спустя после того, как пройдет пароход, — и покачивали плот, а потом бог знает сколько времени ничего не было слышно, кроме кваканья лягушек.

После полуночи жители в домах на берегу укладывались спать, и часа на два или на три становилось совсем темно — в окнах домишек ни огонька. Эти огоньки служили нам вместо часов: как покажется первый огонек, значит утро близко, и мы начинаем искать место, где бы спрятаться и привязать плот.

Как-то утром, перед зарей, я нашел пустой челнок, перебрался через перекат на берег — он был от острова всего в двухстах ярдах — и поднялся вверх по речке среди кипарисового леса на милю или около того — посмотреть, не наберу ли я там ягод. Как раз в том месте, где через речку шел коровий брод, смотрю — по тропе к броду бегут опрометью какие-то двое мужчин. Я так и думал, что мне крышка; бывало, если за кем-нибудь гонятся, мне всегда кажется, что это или за мной, или за Джимом. Я хотел было удрать от них поскорей, да они со мной поравнялись, окликнули меня и стали просить, чтобы я их спас, — говорят, они ничего такого не делали, потому за ними и гонятся с собаками. Они собрались уже прыгнуть ко мне в челнок, только я им сказал:

— Погодите, не прыгайте. Я еще не слышу ни лошадей, ни собак; у вас есть время пробраться сквозь кусты и пройти немножко дальше вверх по речке, — вот тогда лезьте в воду и ступайте вброд ко мне, это собьет собак со следа.

Они так и сделали; и как только они влезли ко мне в челнок, я сейчас же пустился обратно к нашему островку, а минут через пять или десять мы услышали издали крики и собачий лай. Мы слышали, как погоня прискакала к речке, но не видели ее: верховые, должно быть, потоптались на берегу, искали, а потом стало плохо слышно — мы отъезжали все дальше и дальше; а когда лес остался позади и мы выбрались на боль-

шую реку, все было уже тихо; тогда мы подгребли к островку, спрятались в тополевым зарослях, и опасность миновала.

Одному из бродяг было на вид лет семьдесят, а может и больше; он был лысый и с седыми баками. На нем была старая, рваная шляпа, синяя грязная шерстяная рубаша, рваные холщовые штаны, заправленные в высокие сапоги, и подтяжки домашней вязки, — нет, подтяжка у него была всего-навсего одна. На руке старик нес еще долгополую старую хламиду из синей холстины, с медными пуговицами, а кроме того, оба они волокли тяжелые, битком набитые ковровые саквояжи.

Другому бродяге было лет тридцать, и одет он был тоже неважно. После завтрака мы все легли отдохнуть, и из разговора первым делом выяснилось, что оба эти молодчика друг друга совсем не знают.

— Из-за чего у вас вышли неприятности? — спросил лысый у того, что помоложе.

— Да вот, продавал я одно снадобье, для того чтобы счищать винный камень с зубов, — счищать-то оно, положим, счищает, но только и эмаль вместе с ним сходит, — и задержался на один вечер дольше, чем следует; и только-только собрался улизнуть, как повстречал вас на окраине города и вы мне сказали, что за вами погоня, и попросили вам помочь. А я ответил, что у меня тоже неприятности, и предложил удирать вместе. Вот и вся моя история... А у вас что было?

— Я тут около недели проповедовал трезвость, и все женщины мною нахвалиться не могли — и старухи и молоденькие, — потому что пьяницам я таки задал жару, могу вам сказать; я набирал каждый вечер долларов пять, а то и шесть — по десять центов с носа, дети и негры бесплатно, — и дело у меня шло все лучше да лучше, как вдруг вчера вечером кто-то пустил слух, что я и сам потихоньку прикладываюсь к бутылочке. Один негр разбудил меня нынче утром и сказал, что здешний народ собирается потихоньку и скоро они сюда явятся с собаками и лошадьми, дадут мне полча-

са, чтобы я отошел подальше, а там пустятся за мной в погоню; и если поймают, то вымажут в дегте, обваляют в пуху и перьях и прокатят на шесте. Я не стал дожидаться завтрака — что-то аппетит пропал.

— Старина, — сказал молодой человек, — мы с вами, пожалуй, могли бы объединиться и орудовать вместе... Как по-вашему?

— Я не прочь. А вы чем промышляете главным образом?

— По ремеслу я наборщик; случается, торгую патентованными лекарствами, выступаю на сцене, — я, знаете ли, трагик; при случае занимаюсь внушением мыслей, угадываю характер по руке, для разнообразия даю уроки пения и географии; бывает и лекцию прочту, — да мало ли что еще! Берусь за все, что ни подвернется, лишь бы не работать. А вы по какой части?

— В свое время я много занимался врачеванием. Исцелял возложением рук паралич, раковые опухоли и прочее — это мне всего лучше удавалось; могу недурно гадать, если разузнаю от кого-нибудь всю подноготную. Проповедую тоже, обращаю в христианство; ну, и молитвенные собрания по моей части.

Довольно долго они оба молчали, потом молодой человек вздохнул и сказал:

— Увы!

— Это вы насчет чего? — спросил лысый.

— Подумать только, что я довел себя до такой жизни и унизился до такого общества! — И он принялся тереть уголок глаза тряпкой.

— Скажите, пожалуйста, чем же это общество для вас плохо? — спрашивает лысый этак свысока и надувшись.

— Да, для меня оно достаточно хорошо, ничего другого я не заслужил, кто виноват в том, что я пал так низко, когда стоял так высоко! Никто, кроме меня самого. Я вас не виню, господа, вовсе нет; я никого не виню. Я все это заслужил. Пусть равнодушный свет доконает меня; я знаю одно — где-нибудь я найду себе могилу. Пускай свет довершит свое дело, пускай отнимет у меня все — моих близких, мое достоинство, все, все решительно, но этого он отнять не сможет! Когда-

нибудь я лягу в могилу, забуду обо всем, и мое бедное, разбитое сердце наконец успокоится.

А сам все трет глаза тряпкой.

— А, подите вы с вашим разбитым сердцем! — говорит ему лысый. — Чего вы нам тычете под нос ваше разбитое сердце? Мы-то тут при чем?

— Да, я знаю, что вы тут ни при чем. Я не виню вас, господа, я сам так низко пал — да, сам довел себя до этого. Мне и следует страдать — по справедливости следует, я вовсе не жалуясь.

— Откуда же это вы так низко пали? Значит, было откуда падать?

— Вы мне не поверите... люди никогда мне не верят... но довольно об этом... не стоит! Тайна моего рождения...

— Тайна вашего рождения? Это вы про что?

— Господа, — очень торжественно начал молодой, — я вам открою мою тайну, я чувствую к вам доверие! По происхождению я — герцог!

Джим вытаращил глаза, услышав это; да и я, должно быть, тоже. А лысый сказал:

— Да что вы! Быть не может!

— Да, да! Мой прадед, старший сын герцога Бриджуотерского, в конце прошлого века бежал в Америку, чтобы дышать чистым воздухом свободы. Он женился тут и умер, оставив единственного сына; и почти в то же время умер его отец. Второй сын покойного герцога захватил титул и поместье, а малолетний наследник остался в забвении. Я прямой потомок малолетнего герцога, я законный герцог Бриджуотерский, но вот я здесь — одинокий, лишенный сана, гонимый людьми, презираемый холодным светом, в рубище, измученный, с разбитым сердцем, принужден являться с какими-то жуликами на плоту!

Джиму стало очень его жалко, и мне тоже. Мы попробовали его утешить, но он сказал, что это бесполезно, — утешить его невозможно; но если мы согласны признать его за герцога, это будет для него всего дороже и отраднее. Мы сказали, что согласны, пусть только он нас научит, как это сделать. Он сказал, что мы всегда должны обращаться к нему с по-

клоном и называть его «ваша светлость», «милорд» или «ваша милость», но если даже назовем его просто «Бриджуотер», он не обидится, потому что это титул, а не фамилия; и кто-нибудь из нас должен подавать ему кушанье за обедом и вообще оказывать разные услуги, какие потребуются.

Ну, все это было нетрудно, и мы согласились. За обедом Джим прислуживал герцогу стоя и все время спрашивал: «Не хочет ли ваша светлость того или другого?» — и всякий мог сразу заметить, что герцогу это очень нравится.

Зато старик надулся — совсем перестал разговаривать, и заметно было, что вся эта возня с герцогом ему очень не по вкусу. Видно было, что он чем-то расстроен. Вот немного погодя, после обеда, он и говорит:

— Послушайте-ка, герцог, мне, конечно, вас очень жалко, но только не вы один претерпели такие несчастья.

— Да?

— Да, не вы один. Не вас одного судьба жестоко низвергла с высоты.

— Увы!

— Да, не у вас одного имеется тайна рождения.

И старик тоже начинает рыдать, честное слово.

— Пойдите! Что это вы?

— Герцог, можете вы сохранить мою тайну? — говорит старик, а сам все рыдает.

— До самой смерти! — Герцог взял старика за руку, пожал ее и говорит: — Расскажите же мне тайну вашей жизни!

— Ваша светлость, я покойный дофин!

Ну, уж тут мы оба с Джимом вытаращили глаза. А герцог говорит:

— Вы... кто вы такой?

— Да, мой друг, это истинная правда — вы видите перед собой несчастного, без вести пропавшего дофина Людовика Семнадцатого, сына Людовика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты.

— Вы! В ваши-то годы! Да нет! Вы, верно, покойный Карл Великий, вам самое меньшее лет шестьсот — семьсот.

— Все это от несчастий, герцог, все от несчастий! Несчастья породили эти седые волосы и эту преждевременную плешь. Да, джентльмены, вы видите перед собой законного короля Франции, в синей холстине и в нищете, изгнанника, страждущего и презираемого всеми!

И тут он разрыдался, да так, что мы с Джимом прямо не знали, что делать, — до того нам было его жалко. Принялись было утешать его, как раньше утешали герцога, но он сказал, что это ни к чему, одна только смерть положит всему конец и успокоит его, хотя иногда ему все-таки делается как-то легче, если с ним обращаются соответственно его сану: становятся перед ним на одно колено, называют «ваше величество», за столом подают ему первому и не садятся в его присутствии, пока он не позволит.

Ну вот мы с Джимом и начали звать его «величеством», подавали ему то одно, то другое и не садились, пока он сам не велит. Это ему очень помогло — он скоро совсем развеселился и утешился.

Зато герцог обиделся и, как видно, был не очень-то доволен таким оборотом дела; но все-таки король обращался с ним по-дружески и даже рассказал, что его папаша-король был очень хорошего мнения о прадедушке герцога и вообще обо всех герцогах Бриджвотерских и часто приглашал их во дворец; однако герцог долго еще дулся, пока наконец король не сказал ему:

— Похоже, что нам с вами долго придется просидеть на этом плоту, герцог, так что какой вам смысл обижаться? Только хуже будет. Я ведь не виноват, что не родился герцогом, и вы не виноваты, что не родились королем, — зачем же расстраиваться? Надо всегда пользоваться случаем и устраиваться получше — вот я про что говорю, такое у меня правило. Неплохо, что мы с вами сюда попали, — еды тут много, жизнь привольная. Будет вам, герцог, давайте вашу руку и помиримся!

Герцог пожал ему руку, и мы с Джимом очень этому обрадовались. Вся неловкость сразу пропала, и нам стало гораздо легче, потому что нет ничего хуже,

как ссориться на плоту; самое главное, когда плывешь на плоту, — это чтобы все были довольны, не ссорились и не злились друг на друга.

Я довольно скоро сообразил, что эти бродяги никакие не герцог и не король, а просто-напросто обманщики и мошенники самого последнего разбора. Но только я ничего им не сказал, даже и виду не подал, а помалкивал, и все. Это всего лучше — так и врагов не наживешь, и в беду не попадешь. Хотят, чтобы мы их звали королями и герцогами, ну и пускай себе, лишь бы между собой не ссорились; даже и Джиму говорить про это не стоило, так что я ему ничего и не сказал.

Если я не научился от отца ничему хорошему, зато научился ладить с такими, как он: самое разумное — это не мешать им, пускай делают что хотят.

Глава XX

Они стали нам задавать разные вопросы — всё допытывались, для чего мы так укрыли плот и почему стоим днем, вместо того чтобы плыть дальше, — может, Джим беглый? Я им сказал:

— Господь с вами! Да разве беглый негр побежит на Юг?

Они согласились, что не побежит. Мне надо было как-нибудь вывернуться, и я начал рассказывать:

— Мои родные жили в округе Пайк, в штате Миссури, там я и родился, только все они умерли, кроме меня, папаши и брата Айка. Папаша решил все бросить и переехать на житье к дяде Бену; у него маленькая ферма в сорока четырех милях ниже Нового Орлеана. Папаша совсем обеднел, и долгов у него тоже было порядком, так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего шестнадцать долларов да наш негр Джим. С такими деньгами никак нельзя было доехать за тысячу четыреста миль, хотя бы и третьим классом. Ну а когда

река поднялась, папаше вдруг повезло: он поймал вот этот самый плот, и мы решили добраться на нем до Орлеана. Только папашино счастье недолго продержалось — ночью пароход наскочил на передний конец плота, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колеса; мы-то с Джимом ничего — выплыли, а пьяный папаша и братец Айк, которому было всего четыре года, — они оба так и потонули. Ну, следующие дня два у нас было много хлопот, потому что всякие люди подплывали к нам в лодках и хотели забрать у меня Джима, говорили, что он, должно быть, беглый негр. Теперь мы днем все больше стоим, а ночью нас никто не трогает.

Герцог сказал:

— Предоставьте это мне — я найду какой-нибудь способ, чтобы нам плыть днем, если понадобится. Я все обдумаю и решу, как это устроить. На сегодня пускай все останется так, как есть: мы, разумеется, не собираемся плыть днем мимо города — нам от этого может не поздоровиться.

К вечеру нахмурилось: похоже было, что собирается дождь; зарницы то и дело вспыхивали на краю неба и листья затрепетали — сразу было видно, что идет гроза. Герцог и король отправились с ревизией в шалаш — поглядеть, какие у нас там постели. У меня был соломенный тюфяк — лучше, чем у Джима; он спал на маисовом, а в маисовом тюфяке всегда попадают кочерыжки и больно колют бока, а когда перевертываешься, то маисовая солома шуршит, словно катаешься по куче сухих листьев, и шум такой, что поневоле просыпаешься. Так вот, герцог решил, что он возьмет себе мой тюфяк, но король ему не позволил. Он заметил:

— Мне кажется, вы бы сами должны были понять, что мой сан выше и потому мне не подобает спать на маисовом тюфяке. Ваша светлость возьмет себе маисовый тюфяк.

Мы с Джимом опять было испугались, думали — вдруг они снова поссорятся, и очень обрадовались, когда герцог сказал:

— Моя судьба быть втоптанн^{ым} в грязь железной пятой деспотизма. Несчастья сокрушили мой некогда гордый дух: я уступаю и покоряюсь — таков мой жребий. Я один на всем свете и обречен страдать; что ж, я и это перенесу.

Мы двинулись в путь, как только совсем стемнело. Король велел нам держаться поближе к середине реки и не зажигать фонаря, пока мы не проплывем мимо города. Скоро мы увидели маленькую кучку огней — это и был город — и в темноте благополучно проскользнули мимо него. Проплыв еще три четверти мили, мы вывели наш сигнальный фонарь, а часам к десяти поднялся ветер, полил дождь, загредел гром, и молния засверкала всюю; а король велел нам обоим стоять на вахте, пока гроза не пройдет. Потом они с герцогом забрались в шалаш и улеглись спать. Я должен был сторожить после полуночи, только я все равно не лег бы, даже если бы у меня была постель, потому что не каждый день приходится видеть такую грозу.

Господи, как бушевал ветер! И каждую секунду или две вспыхивала такая молния, что становились видны белые гребешки волн на полмили кругом, и острова — словно пыльные сквозь сетку дождя, и деревья, которые гнулись от ветра; а потом как трахнет — бум! бум! бах! тра-та-та-та-та! — гром ударит, раскатится и затихнет, а потом — р-раз! — опять вспыхнет молния, и опять удар грома. Меня несколько раз чуть не смыло волной с плота, но я разделся догола, и теперь мне все было нипочем. Насчет коряг нам беспокоиться тоже не приходилось: молния то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги нам довольно хорошо были видны, и мы всегда успевали повернуть плот в ту или другую сторону и обойти их.

У меня, видите ли, была ночная вахта, но только к этому времени мне здорово захотелось спать, и Джим сказал, что посторожит за меня первую половину ночи; на этот счет он всегда был молодец, говорить нечего. Я заполз в шалаш, но герцог с королем так развалились и раскинули ноги, что мне некуда было деваться; я лег

перед шалашом, — на дождь я не обращал никакого внимания, потому что было тепло и волны теперь были уже не такие высокие. Часов около двух, однако, опять поднялось волнение, и Джим хотел было меня разбудить, а потом передумал: ему показалось, что волны стали ниже и беды от них не будет; но он ошибся, потому что вдруг нахлынула высоченная волна и смыла меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Уж очень он был смешливый, другого такого негра я в жизни не видывал.

Я стал на вахту, а Джим улегся и захрапел; скоро гроза совсем прошла, и как только в домиках на берегу зажегся первый огонек, я разбудил Джима, и мы с ним ввели плот в укромное место на дневную стоянку.

После завтрака король достал старую, замызганную колоду карт, и они с герцогом уселись играть в покер по пяти центов за партию. А когда им надоело играть, они принялись «составлять план кампании», как это у них называлось. Герцог порылся в своем саквояже, вытащил целую кипу маленьких печатных афиш и стал читать нам вслух. В одной афише говорилось, что «знаменитый доктор Арман де Монтальбан из Парижа прочтет лекцию «О науке френологии» — там-то и там-то, такого-то числа, такого-то месяца, вход десять центов, — и будет «составлять определения характера за двадцать пять центов с человека». Герцог сказал, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался «всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес, Гарриком-Младшим» из лондонского театра «Друри-Лэйн». В остальных афишах он под другими фамилиями тоже проделывал разные удивительные вещи: например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прута, снимал заклятия и так далее. В конце концов он сказал:

— А все-таки трагическая муза мне всего милей. Вам не приходилось выступать на сцене, ваше величество?

— Нет, — говорит король.

— Ну, так придется, ваше бывшее величество, и не дальше как через три дня, — говорит герцог. — В пер-

вом же подходящем городе мы снимем зал и представим поединок из «Ричарда Третьего» и сцену на балконе из «Ромео и Джульетты». Как вам это нравится?

— Я, конечно, стою за всякое прибыльное дело, но только, знаете ли, я ведь ничею не смыслю в актерской игре, да и видеть актеров мне почти не приходилось. Когда мой папа приглашал их во дворец, я был еще совсем мальчишкой. А вы думаете, вам удастся меня научить?

— Еще бы! Это легче легкого.

— Ну, тогда ладно. У меня давно уже руки чешутся — хочется попробовать что-нибудь новенькое. Давайте сейчас же и начнем.

Тут герцог рассказал ему все, что полагается: кто такой был Ромео и кто такая Джульетта, и прибавил, что сам он привык играть Ромео, так что королю придется быть Джульеттой.

— Так ведь если Джульетта совсем молоденькая, не покажется ли все-таки странно, что у нее такая лысина и седые баки?

— Ну что вы! Не беспокойтесь — этим деревенским олухам и в голову не придет усомниться. А потом, вы же будете в костюме, это совсем другое дело: Джульетта на балконе, вышла перед сном полюбоваться на луну, она в ночной рубашке и чепчике с оборками. А вот и костюмы для этих ролей.

Он вытащил два-три костюма из занавесочного ситца и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда Третьего и его противника, и еще длинную ночную рубашку из белого коленкора и чепец с оборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым внушительным и торжественным голосом; расхаживая по плоту, он показывал, как это надо играть; потом отдал королю книжку и велел ему выучить роль наизусть.

Милями тремя ниже излучины стоял какой-то маленький городишко, и после обеда герцог сказал, что он придумал одну штуку и теперь мы можем плыть и днем, нисколько не опасаясь за Джима; надо только

съездить в город и все подготовить. Король решил тоже поехать и посмотреть, не подвернется ли что-нибудь подходящее. У нас вышел весь кофе, поэтому Джим сказал, чтоб и я поехал с ними и купил.

Когда мы добрались до города, там все словно вымерло. На улицах было пусто и совсем тихо, будто в воскресенье. Мы разыскали где-то на задворках большого негра, который грелся на солнышке, и узнали от него, что весь город, кроме больных да старых и малых, отправился за две мили в лес, на молитвенное собрание. Король спросил, как туда пройти, и сказал, что постарается выколотить из этого молитвенного собрания все что можно, и мне тоже позволил пойти с ним.

Герцог сказал, что ему нужно в типографию. Мы ее скоро нашли в маленьком помещении над плотничьей мастерской; все плотники и наборщики ушли на молитвенное собрание и даже двери не заперли.

Помещение было грязное, заваленное всяким хламом, на стенах везде были чернильные пятна и объявления насчет беглых негров и продажных лошадей. Герцог снял пиджак и сказал, что больше ему ничего не нужно. Тогда мы с королем отправились на молитвенное собрание.

Мы попали туда часа через полтора, мокрые хоть выжми, потому что день был ужасно жаркий. Там собралось не меньше тысячи человек со всей округи, многие приехали миль за двадцать.

В лесу было полным-полно лошадей, запряженных в повозки и привязанных где придется; они жевали овес из кормушек и били копытами, отгоняя мух. Под навесами, сооруженными из кольев и покрытыми зелеными ветвями, продавались имбирные пряники, лимонад, целые горы арбузов, молодой кукурузы и прочей зелени.

Проповеди слушали под такими же навесами, только они были побольше и битком набиты народом. Скамейки там были сколочены из горбылей, с нижней, круглой, стороны в них провертели дыры и вбили туда палки вместо ножек. Спирок у скамей не было. Для проповедников под каждым навесом устроили высокий помост.

Женщины были в соломенных шляпках, некоторые — в полушерстяных платьях, другие — в бумажных, а кто помоложе — в ситцевых. Кое-кто из молодых людей пришел босиком, а ребятишки бегали в одних холщовых рубашках. Старухи вязали, молодежь потихоньку перемигивалась.

Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал молитву. Прочтет две строчки, и все подхватят их хором, и выходило очень торжественно — столько было народу и все пели с таким воодушевлением; потом проповедник прочтет следующие две строчки, а хор их повторит, и так далее. Молящиеся воодушевлялись все больше и больше и пели все громче и громче, и под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать, и тоже не как-нибудь, а с увлечением: сначала перегнулся на одну сторону помоста, потом на другую, потом наклонился вперед, двигая руками и всем туловищем и выкрикивая каждое слово во все горло. Время от времени он поднимал кверху раскрытую библию и повертывал ее то в одну сторону, то в другую, выкрикивая: «Вот медный змий в пустыне! Воззрите на него и исцелитесь!» И все откликались: «Слава тебе, боже! А-а-минь!»

Потом он стал проповедовать дальше, а слушатели кто рыдал, кто плакал, кто восклицал «аминь».

— Придите на скамью, кающиеся! Придите, омраченные грехом! (Аминь!) Придите, больные и страждущие! (Аминь!) Придите, хромые, слепые и увечные! (Аминь!) Придите, нуждающиеся и обремененные, погрязшие в стыде! (А-аминь!) Придите, все усталые, измученные и обиженные! Придите, падшие духом! Придите, сокрушенные сердцем! Придите в рубище, не омытые от греха! Хлынули воды очищения! Врата райские открылись перед вами! Войдите в них и успокойтесь! (А-аминь! Аллилуия, аллилуия, слава тебе!)

И так далее.

Из-за криков и рыданий уже нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди поднимались со своих мест и изо всех сил старались

пробиться к скамье кающихся, заливаясь слезами; а когда все кающиеся собрались к передним скамейкам, они начали петь, выкликать и бросаться плашмя на солону, как полоумные.

Не успел я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и кричал громче всех, а потом полез на помост. Проповедник попросил его поговорить с народом, и король изъявил согласие. Он рассказал, что был пиратом, тридцать лет был пиратом и плавал в Индийском океане, но этой весной большую часть его шайки перебили в стычке, вот он и приехал на родину набрать новых людей, да, слава богу, его обокрали вчера ночью и высадили с парохода без единого цента в кармане, и он очень этому рад; лучше этого с ним ничего не могло случиться, потому что он стал теперь новым человеком и счастлив первый раз в жизни. Как он ни беден, он постарается опять добраться до Индийского океана и всю свою жизнь положит на то, чтобы обращать пиратов на путь истины; ему это легче, чем кому-либо другому, потому что все пиратские шайки на Индийском океане он знает наперечет; и хотя без денег он доберется туда не скоро, все же он туда попадет непременно и каждый раз, обратив пирата, будет говорить: «Не благодарите меня, я этого не заслужил, все это сделали добрые жители Поквилла, братья и благодетели рода человеческого, и их добрый проповедник, верный друг всякого пирата».

И тут он залился слезами, а вместе с ним заплакали и все прочие. Потом кто-то крикнул:

— Устроим для него сбор, устроим сбор!

Человек десять сорвались было с места, но кто-то сказал:

— Пускай он сам обойдет всех со шляпой!

Все согласились на это, и проповедник тоже.

И вот король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословлял всех, благодарил и расхваливал за то, что они так добры к бедным пиратам в далеких морях; и самые хорошенькие девушки то и дело вставали с места и со слезами на глазах просили позволения поцеловать его — просто так, на память, а

он всегда соглашался и некоторых обнимал и целовал раз пять-шесть подряд; все его приглашали погостить у них в городе еще недельку, звали его пожить к себе в дом и говорили, что сочтут это за честь, но он отвечал, что ничем не может быть полезен, раз сегодня кончается молитвенное собрание, а кроме того, ему не терпится поскорей добраться до Индийского океана и там обращать пиратов на путь истины.

Когда мы вернулись на плот и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал восемьдесят семь долларов семьдесят пять центов. Да еще по дороге прихватил большую бутылку виски в три галлона, которую нашел в лесу под повозкой.

Король сказал, что ежели все это сложить вместе, то за один день он еще никогда столько не добывал проповедью. Он сказал, что тут и разговаривать нечего: язычники просто никуда не годятся по сравнению с пиратами, когда нужно обработать молитвенное собрание.

Пока не явился король, герцогу тоже казалось, что он заработал недурно, но после того он переменял мнение. Он набрал и отпечатал в типографии два маленьких объявления для фермеров — о продаже лошадей — и принял деньги: четыре доллара. Кроме того, он принял еще на десять долларов объявлений для газеты и сказал, что напечатает их за четыре доллара, если ему уплатят вперед, и они согласились. Подписаться на газету стоило два доллара в год, а он взял с трех подписчиков по полдоллара, с тем что они ему заплатят вперед; подписчики хотели заплатить, как всегда, дровами и луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снизил расценки сколько мог, а теперь собирается вести дело за наличный расчет. Он набрал еще стихи, которые сочинил сам из своей головы, — три куплета, очень грустные и трогательные, а начинались они так: «Разбей, холодный свет, мое больное сердце!» — набрал, оставил им набор, готовый для печати, и ничего за это не взял. Так вот, за все это он получил девять с половиной долларов и сказал, что ради этих денег ему пришлось на совесть попотеть целый день.

Потом он показал нам другое маленькое объявление, за которое он тоже ничего не взял, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован беглый негр с узлом на палке через плечо, а внизу было напечатано: «200 долларов награды». Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точка в точку. Там говорилось, что он убежал прошлой зимой с плантации Сент-Жак, в сорока милях от Нового Орлеана, и надо полагать, что бежал на Север, а кто его поймает и доставит обратно, тот получит награду, и расходы ему будут оплачены.

— Ну вот, — сказал герцог, — теперь, если понадобится, мы можем плыть и днем. Как только мы увидим, что кто-нибудь к нам подъезжает, сейчас же свяжем Джима по рукам и по ногам веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и будем говорить, что мы его поймали выше по реке, а на паром денег у нас нет, вот мы и взяли этот плот взаймы, по знакомству, и теперь едем получать награду. Кандалы и цепи были бы на Джиме еще лучше, только это нам не к лицу при нашей бедности, вроде как золото и серебро. А веревки — это как раз то, что требуется: надо выдерживать стиль, как говорится у нас на сцене.

Все мы нашли, что герцог очень ловко придумал: теперь нам без всякой помехи можно будет ехать и днем. За эту ночь мы успеем проехать достаточно, чтобы убраться подальше от шума, который поднимется в этом городке после работы герцога в типографии; а потом нам можно будет и не прятаться, если захотим.

Мы притаились и сидели на одном месте часов до десяти вечера, а потом потихоньку отчалили и выплыли на середину реки, подальше от города, и не вывешивали фонаря, пока город совсем не скрылся из виду.

Когда Джим стал будить меня в четыре часа утра на вахту, он спросил:

— Гек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли по дороге?

— Нет... Думаю, что вряд ли.

— Ну, тогда еще ничего, — говорит он. — Один или два туда-сюда, этого нам за глаза хватит. Наш всегда нын как стелька, да и герцог тоже хорош.

Оказывается, Джим просил герцога сказать что-нибудь по-французски — так только, чтобы послушать, на что это похоже, но тот сказал, что так давно живет в Америке и столько перенес несчастий, что совсем позабыл французский язык.

Глава XXI

Солнце уже взошло, но мы плыли все дальше и не останавливались на привал.

Скоро встали и король с герцогом, кислые и хмурые с похмелья, но после того как они окунулись в воду и выкупались, им стало много легче.

После завтрака король уселся на краю плота, разулся, закатал штаны до колен, опустил ноги в воду прохладения ради и, закулив трубочку, стал учить наизусть «Ромео и Джульетту». После того как он утвердил свою роль, они с герцогом стали репетировать вместе. Герцог учил короля и заставлял его повторять каждую реплику, вздыхать, прикладывать руку к сердцу и в конце концов сказал, что получается недурно. «Только, говорит, напрасно вы ревете, как бык: «Ромео!» — вот этак; вы должны говорить нежно и томно, вот так: «Ро-о-мео!» Ведь Джульетта кроткая, милая девушка, совсем еще ребенок, она не может реветь, как осел».

А потом они вытащили два длинных меча, которые герцог выстрогал из дубовых досок, и начали репетировать поединок; герцог сказал, что он будет Ричард III. И, право, стоило посмотреть, как они топали по плоту ногами и насакивали друг на друга.

Довольно скоро король остушился и упал в воду; после этого они сделали передышку и стали друг другу рассказывать, какие у них бывали в прежнее время приключения на этой самой реке.

После обеда герцог сказал:

— Ну, Капет, представление, знаете ли, у нас должно получиться первоклассное, поэтому надо, я думаю, что-нибудь к нему добавить. Во всяком случае, надо приготовить что-нибудь на «бис».

— А что это значит — на «бис»?

Герцог объяснил ему, а потом говорит:

— Я исполню на «бис» шотландскую или матросскую пляску, а вы... постойте, надо подумать... Ага, вот оно!.. Вы можете прочитать монолог Гамлета.

— Чего это — Гамлета?

— Монолог Гамлета! Ну как же — самое прославленное место из Шекспира! Высокая, высокая вещь! Всегда захватывает зрителей. В книжке у меня его нет — у меня всего один том, — но, пожалуй, я могу восстановить его по памяти. Похожу немножко по плоту, посмотрю, нельзя ли вызвать эти строки из глубин воспоминания...

И он принялся расхаживать по плоту взад и вперед, страшно хмурясь, и то поднимал брови кверху, то прижимал руку ко лбу, отшатываясь назад со стоном, то вздыхал, то ронял слезу.

Смотреть на него было просто занятно.

В конце концов он все вспомнил и позвал нас слушать. Стал в самую величественную позу, одну ногу выдвинул вперед, руки поднял кверху, а голову откинул назад, глядя в небо, и пошел валять: он и зубами скрипел, и завывал, и бил себя в грудь, и декламировал — одним словом, все другие актеры, каких я только видел, и в подметки ему не годились.

Вот этот монолог. Мне ничего не стоило его запомнить — столько времени герцог натаскивал короля:

Быть или не быть? Вот в чем загвоздка!
Терпеть ли бедствия столь долгой жизни,
Пока Бирнамский лес пойдет на Дунсинан,
Иль против моря зол вооружиться?
Макбет зарезал сон, невинный сон,
Вот отчего беда так долговечна!
И мы скорей снесем земное горе,
Чем убежим к неизвестности за гробом.

Дункана ты разбудишь! Что ж, пускай:
Кто б стал терпеть обиды, злобу света,
Тиранов гордость, ~~сильных~~ оскорбленья,
В одеждах траурных, как подобает,
Когда в ночи ~~разверзнутся~~ могилы,
Страна безвестная, откуда нет пришельцев,
И гаснет цвет решимости природной,
Бледнея перед гнетом ~~размышленья~~.
И тучи, что над кровлями нависли,
Уходят, словно ~~конька~~ в поговорке,
Удел живых... Такой исход достоин
Желаний жарких. Умереть — уснуть.
О милая Офелия! О нимфа!
Сомкни ты челюсти, тяжелые, как мрамор,
И в монастырь ступай!

Ну, старику эта штука понравилась, он очень скоро выучил ее наизусть и читал так, что лучше и не надо. Он словно нарочно для этого родился, а когда набил себе руку и разошелся вовсю, ~~то можно~~ было залюбоваться, как у него это ~~получается~~: ~~когда~~ он декламировал, он рвал и метал, просто из кожи лез.

При первом же удобном случае герцог напечатал театральные афиши, и после того у нас на плоту дня два или три была суцая неразбериха — все время только и знали, что сражались на мечах да репетировали, как это называлось у герцога.

Однажды утром, когда мы были уже в самой глубине штата Арканзас, впереди, в излучине реки, вдруг показался какой-то захудалый городишко. Не доезжая до него трех четвертей мили, мы спрятали плот в устье какой-то речки, так густо обросшей кипарисами, что она походила больше на туннель. Все мы, кроме Джима, сели в лодку и отправились в город — поглядеть, нельзя ли тут дать представление.

Нам здорово повезло: нынче днем в городе должен был выступить цирк и из деревень уже начал съезжаться народ — и верхом и на дребезжащих повозках. Цирк должен был уехать к вечеру, так что наше представление пришлось кстати и могло иметь успех. Герцог снял залу суда, и мы пошли расклеивать афиши. Вот что на них было напечатано:

Возрождение Шекспира!!!

Изумительное зрелище!

Только один спектакль!

ЗНАМЕНИТЫЕ ТРАГИКИ

Дэвид Гаррик-Младший из театра Друри-Лэйн в
Лондоне и Эдмунд Кин-Старший из Королевского
театра Уайтчепел,
Пудинг-Лэйн, Пикадилли, Лондон,
и из Королевских театров в Европе
в своем непревзойденном шекспировском театре
под названием

С Ц Е Н А Н А Б А Л К О Н Е

из

«Ромео и Джульетты»!!!

Ромео — мистер Гаррик.

Джульетта — мистер Кин.

При участии всей труппы!

Новые костюмы, новые декорации, новая постановка!

А также

захватывающий, неподражаемый и повергающий в ужас

Поединок на мечах

из

«РИЧАРДА III»!!!

Ричард III — мистер Гаррик.

Ричмонд — мистер Кин.

А также

(По просьбе публики)

БЕССМЕРТНЫЙ МОНОЛОГ ГАМЛЕТА!!!

в исполнении знаменитого К И Н А!

Выдержавший 300 представлений в Париже!

Только один спектакль

По случаю отъезда на гастроли в Европу!

Вход — 25 центов; для детей и прислуги — 10 центов.

Мы пошли шататься по городу. Почти все лавки и дома здесь были старые, рассохшиеся и испокон веку некрашенные; все это едва держалось от ветхости. Дома стояли точно на ходулях, фута на три, на четыре от земли, чтобы река не затопила, когда разольется. При домах были и садики, только в них ничего не росло, кроме дурмана и подсолнуха, да на кучах золы валялись рваные сапоги и башмаки, битые бутылки, тряпье и помятые ржавые жестянки. Заборы, сколоченные из разнокалиберных досок, набитых как попало одна на другую, покривились в разные стороны, и калитки в них держались всего на одной петле — да и та была кожаная. Кое-где они были даже выбелены — видно, в давние времена, может еще при Колумбе, как сказал герцог. Обыкновенно в садиках рылись свиньи, а хозяева их оттуда выгоняли.

Все городские лавки выстроились вдоль одной улицы. Над ними были устроены полотняные навесы на столбиках, и приезжавшие из деревни покупатели привязывали к этим столбикам своих лошадей. Под навесами, на пустых ящиках из-под товара, целыми днями сидели здешние лодыри, строгали палочки карманными ножами фирмы Барлоу, а еще жевали табак, зевали и потягивались, — сказать по правде, все это был препустой народ. Все они ходили в желтых соломенных шляпах, чуть не с зонтик величиной, зато без сюртуков и жилетов, звали друг друга попросту: Билл, Бак, Хэнк, Джо и Энди, говорили лениво и врасстяжку и не могли обойтись без ругани. Почти что каждый столбик подпирали какой-нибудь лодырь, засунув руки в карманы штанов; вынимал он их оттуда только для того, чтобы почесаться или одолжить кому-нибудь жвачку табаку. Все время только и слышно было:

— Одолжи мне табачку, Хэнк!

— Не могу, у самого только на одну жвачку осталось. Попроси у Билла.

Может, Билл ему и даст, а может, совет и скажет, что у него нет. Бывают такие лодыри, что за душою у них нет ни цента, даже табаку ни крошки. Эти только и пробавляются займами, иначе им и табаку никогда не видать. Лодырь обыкновенно говорит приятелю:

— Ты бы мне одолжил табачку, Джек, а то я только что отдал Бену Томпсону последнюю порцию.

И ведь всегда врет; разве только чужак попался бы на эту удочку, но Джек здешний и потому отвечает:

— Ты ему дал табаку? Неужто? Кошкина бабушка ему дала, а не ты. Отдай то, что брал у меня, Лейф Бакнер, тогда, так уж и быть, я тебе одолжу тонны две и расписки с тебя не возьму.

— Да ведь я тебе один раз отдал долг!

— Да, отдал — жвачек шесть. Занимал-то ты хороший табак, покупной, а отдал самосад.

Покупной табак — это прессованный плиточный табак, но эти парни жуют больше простой листовой, скрученный в жгуты. Когда они занимают табак, то не отрывают, как полагается, ножом, а берут всю пачку в зубы и грызут и в то же время рвут ее руками до тех пор, пока пачка не перервется пополам; тогда владелец пачки, глядя с тоской на возвращенный ему остаток, говорит иронически:

— Вот что: дай-ка ты мне жвачку, а себе возьми пачку.

Все улицы и переулки в городе — сплошная грязь; ничего другого там не было и нет, кроме грязи, черной, как деготь, местами глубиной не меньше фута, а уж два-три дюйма наверняка будет везде. Повсюду в ней валяются и хрюкают свиньи. Глядишь, какая-нибудь свинья, вся в грязи, бредет лениво по улице вместе со своими поросятами и плюхается как раз посреди дороги, так что людям надо обходить ее кругом, и лежит, растянувшись во всю длину, зажмурив глаза и поневеливая ушами, а поросята сосут ее, и вид у нее такой довольный, будто ей за это жалование платят. А лодырь уж тут как тут и орет во все горло:

— Эй, пес! Возьми ее, возьми!

Свинья улепетывает с оглушительным визгом, а две-три собаки треплют ее за уши, и сзади ее догоняют еще дюжины три-четыре; тут все лодыри вскакивают с места и смотрят вслед, пока собаки не скроются из виду; им смешно, и вообще они очень довольны, что вышел такой шум. Потом они опять усаживаются и сидят до

тех пор, пока собаки не начнут драться. Ничем нельзя их так расшевелить и порадовать, как собачьей дракой, разве только если смазать бездомную собачонку скини-даром и поджечь ее или навязать ей на хвост жестянку, чтоб она бегала, пока не околеет.

На берегу реки некоторые домишки едва лепились над обрывом, все кривые, кособокие — того и гляди рухнут в воду. Хозяева из них давно выехали. Под другими берег обвалился, и угол дома повис в воздухе. Люди еще жили в этих домах, но это было довольно опасно: иногда вдруг разом сползала полоса земли с дом шириной. Случалось, что начинала оседать полоса берега в целую четверть мили шириной, оседала да оседала понемножку, пока наконец, как-нибудь летом, вся не сваливалась в реку. Таким городам, как вот этот, приходится все время пятиться назад да назад, потому что река их все время подтачивает.

Чем ближе к полудню, тем все больше и больше становилось на улицах подвод и лошадей. Семейные люди привозили с собой обед из деревни и съедали его тут же, на подводе. Виски тоже выпито было порядком, и я видел три драки. Вдруг кто-то закричал:

— Вот идет старик Богс! Он всегда приезжает из деревни раз в месяц, чтобы нализаться как следует. Вот он, ребята!

Все лодыри обрадовались; я подумал, что они, должно быть, привыкли потешаться над этим Богсом. Один из них заметил:

— Интересно, кого он нынче собирает исколотить и стереть в порошок? Если б он расколотил всех тех, кого собирался расколотить за последние двадцать лет, то-то прославился бы!

Другой сказал:

— Хорошо бы, старик Боге мне пригрозил, тогда бы я уж знал, что проживу еще лет тысячу.

Тут этот самый Богс промчался мимо нас верхом на лошади, с криком и воплями, как индеец:

— Прочь с дороги! Я на военной тропе, скоро гробá подорожают!

Он был здорово выпивши и едва держался в седле; на вид ему было за пятьдесят, и лицо у него было очень

красное. Все над ним смеялись, кричали ему что-то и дразнили его, а он отругивался, говорил, что дойдет и до них очередь, тогда он ими займется, а сейчас ему некогда. Он приехал в город для того, чтобы убить полковника Шерборна, и девиз у него такой: «Сперва дело, а пустяки потом».

Увидев меня, он подъехал поближе и спросил:

— Ты откуда, мальчик? К смерти приготовился или нет?

Потом двинулся дальше. Я было испугался, но какой-то человек сказал:

— Это он просто так; когда напьется, он всегда такой. Первый дурак во всем Арканзасе, а вовсе не злой, — мухи не обидит ни пьяный, ни трезвый.

Богс подъехал к самой большой из городских лавок, нагнулся, заглядывая под навес, и крикнул:

— Выходи сюда, Шерборн! Выходи, давай встретимся лицом к лицу, обманщик! Ты мне нужен, собака, и так я не уеду, вот что!

И пошел, и пошел: ругал Шерборна на чем свет стоит, говорил все, что только на ум взбредет, а вся улица слушала и смеялась и подзадоривала его. Из лавки вышел человек лет этак пятидесяти пяти, с гордой осанкой, и одет он был хорошо, лучше всех в городе; толпа расступилась перед ним и дала ему пройти. Он сказал Богсу очень спокойно, с расстановкой:

— Мне это надоело, но я еще потерплю до часу дня. До часу дня — заметьте, но не дольше. Если вы обругаете меня хотя бы один раз после этого, я вас отыщу где угодно.

Потом он повернулся и ушел в лавку. Толпа, видно, сразу протрезвилась: никто не шелохнулся, и смеху больше не было. Богс проехался по улице, все так же ругая Шерборна, но довольно скоро повернул обратно; остановился перед лавкой, а сам все ругается. Вокруг него собрался народ, хотели его унять, но он никак не унимался; ему сказали, что уже без четверти час и лучше ему ехать домой, да поживее. Но толку из этого не вышло. Он все так же ругался, бросил свою шляпу в грязь и проехался по ней, а потом опять поскакал по улице во весь опор, так что развеивалась его седая грива.

Все, кто только мог, старались сманить его с лошади, чтобы посадить под замок для вытрезвления, но ничего не вышло — он все скакал по улице и ругал Шерборна. Наконец кто-то сказал:

— Сходите за его дочерью! Скорей приведите его дочь! Иной раз он ее слушается. Если кто-нибудь может его уговорить, так это только она.

Кто-то пустился бегом. Я прошел немного дальше по улице и остановился. Минут через пять или десять Богс является опять, только уже не на лошади. Он шел по улице шатаясь, с непокрытой головой, а двое приятелей держали его за руки и подталкивали. Он присмирел, и вид у него был встревоженный; он не то чтоб упирался — наоборот, словно сам себя подталкивал. Вдруг кто-то крикнул: «Богс!»

Я обернулся поглядеть, кто это крикнул, а это был тот самый полковник Шерборн. Он стоял неподвижно посреди улицы, и в руках у него был двуствольный пистолет со взведенными курками, — он не целился, а просто так держал его дулом кверху. В ту же минуту я увидел, что к нам бежит молоденькая девушка, а за ней двое мужчин. Богс и его приятели обернулись посмотреть, кто это его зовет, и как только увидели пистолет, оба приятеля отскочили в сторону, а пистолет медленно опустился, так что оба ствола со взведенными курками глядели в цель. Богс вскинул руки кверху и крикнул:

— О господи! Не стреляйте!

Бах! — раздался первый выстрел, и Богс зашатался, хватая руками воздух. Бах! — второй выстрел, и он, раскинув руки, повалился на землю, тяжело и неуклюже. Молодая девушка вскрикнула, бросилась к отцу и упала на его тело, рыдая и крича:

— Он убил его, убил!

Толпа сомкнулась вокруг них; люди толкали и теснили друг друга, вытягивали шею и старались получше все рассмотреть, а стоявшие внутри круга отталкивали и кричали:

— Назад! Назад! Посторонитесь, ему нечем дышать!

Полковник Шерборн бросил пистолет на землю, повернулся и пошел прочь.

Богса понесли в аптеку поблизости; толпа все так же теснилась вокруг, весь город шел за ним, и я протиснулся вперед и занял хорошее местечко под окном, откуда мне было видно Богса. Его положили на пол, подсунули ему под голову толстую библию а другую раскрыли и положили ему на грудь; только сначала расстегнули ему рубашку, так что я видел, куда попала одна пуля. Он вздохнул раз десять, и библия у него на груди поднималась, когда он вдыхал воздух, и опять опускалась, когда выдыхал, а потом он затих — умер. Тогда оторвали от него дочь — она все рыдала и плакала — и увели ее. Она была лет шестнадцати, такая тихая и кроткая, только очень бледная от страха.

Ну, скоро здесь собрался весь город, толкаясь, теснясь и силясь пробраться поближе к окну и взглянуть на тело убитого, но те, кто раньше занял место, не уступали, хотя люди за их спиной твердили все время:

— Слушайте, ведь вы же посмотрели, и будет с вас. Это несправедливо! Право, нехорошо, что вы там стоите все время и не даете другим взглянуть! Другим тоже хочется не меньше вашего!

Они начали переругиваться, а я решил улизнуть; думаю, как бы чего не вышло. На улицах было полно народу, и все, видно, очень встревожились. Все, кто видел, как стрелял полковник, рассказывали, как было дело; вокруг каждого такого рассказчика собралась целая толпа, и все они стояли, вытягивая шею и прислушиваясь. Один долговязый, худой человек с длинными волосами и в белом плюшевом цилиндре, сдвинутом на затылок, отметил на земле палкой с загнутой ручкой то место, где стоял Богс, и то, где стоял полковник, а люди толпой ходили за ним от одного места к другому и следили за всем, что он делает, и кивали головой в знак того, что всё понимают, и даже нагибались, уперев руки в бока, и глядели, как он отмечает эти места палкой. Потом он выпрямился и стал неподвижно на том месте, где стоял Шерборн, нахмурился, надвинул шапку на глаза и крикнул: «Богс!», а потом прицелился палкой: бах! — и пошатнулся, и опять бах! — и упал на спину. Те, которые все видели, говорили, что он

изобразил точка в точку, как было, говорили, что именно так все и произошло. Человек десять вытащили свои бутылки с виски и принялись его угощать.

Ну, тут кто-то крикнул, что Шерборна надо бы линчевать. Через какую-нибудь минуту все повторяли то же, и толпа повалила дальше с ревом и криком, обрывая по дороге веревки для белья, чтобы повесить на них полковника.

Глава XXII

Они повалили к дому Шерборна, вопя и беснуясь, как индейцы, и сбили бы с ног и растоптали в лепешку всякого, кто попался бы на дороге. Мальчишки с визгом мчались впереди, ища случая свернуть в сторону; изо всех окон высовывались женские головы; на всех деревьях сидели негритята; из-за заборов выглядывали кавалеры и девицы, а как только толпа подходила поближе, они очертя голову бросались кто куда. Многие женщины и девушки дрожали и плакали, перепугавшись чуть не до смерти.

Толпа сбилась в кучу перед забором Шерборна, и шум стоял такой, что самого себя нельзя было расслышать. Дворик был небольшой, футов в двадцать. Кто-то крикнул:

— Ломайте забор! Ломайте забор!

Послышались скрип, треск и грохот, ограда рухнула, и передние ряды валом повалили во двор.

Тут Шерборн с двустволкой в руках вышел на крышу маленькой веранды и стал, не говоря ни слова, такой спокойный, решительный. Шум утих, и толпа отхлынула обратно.

Шерборн все еще не говорил ни слова — просто стоял и смотрел вниз. Тишина была очень неприятная, какая-то жуткая. Шерборн обвел толпу взглядом, и, на ком бы этот взгляд ни остановился, все трусливо отводило глаза, ни один не мог его выдержать, сколько ни старался. Тогда Шерборн засмеялся, только не весело, а так, что слышать этот смех было нехорошо, все равно что есть хлеб с песком.

Потом он сказал с расстановкой и презрительно:

— Подумать только, что вы можете кого-то линчевать! Это же курам на смех. С чего это вы вообразили, будто у вас хватит духу линчевать мужчину? Уж не оттого ли, что у вас хватает храбрости вывалить в пуху какую-нибудь несчастную заезжую побродяжку, вы вообразили, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побоится и десяти тысяч таких, как вы, — пока на дворе светло и вы не прячетесь у него за спиной.

Неужели я вас не знаю? Знаю как свои пять пальцев. Я родился и вырос на Юге, жил на Севере, так что среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус. На Севере он позволяет всякому помыкать собой, а потом идет домой и молится богу, чтобы тот послал ему терпения. На Юге один человек, без всякой помощи, среди бела дня остановил дилижанс, полный пассажиров, и ограбил его. Ваши газеты так часто называли вас храбрецами, что вы считаете себя храбрей всех, — а ведь вы такие же трусы, ничуть не лучше. Почему ваши судьи не вешают убийц? Потому что боятся, как бы приятели осужденного не пустили им пулю в спину, — да так оно и бывает. Вот почему они всегда оправдывают убийцу; и тогда настоящий мужчина выходит ночью при поддержке сотни замаскированных трусов и линчует негодяя. Ваша ошибка в том, что вы не захватили с собой настоящего человека, — это одна ошибка, а другая та, что вы пришли днем и без масок. Вы привели с собой полчеловека — вон он, Бак Гаркнес, и если б он вас не подзадоривал, то вы бы пошумели и разошлись.

Вам не хотелось идти. Средний человек не любит хлопот и опасности. Это вы не любите хлопот и опасности. Но если какой-нибудь получеловек вроде Бака Гаркнеса крикнет: «Линчевать его! Линчевать его!» — тогда вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут, как и следует, трусами, и вот вы поднимаете вой, цепляетесь за фалды этого получеловека и, беснуясь, бежите сюда и клянетесь, что совершите великие подвиги.

Самое жалкое, что есть на свете, — это толпа; вот и армия — толпа: идут в бой не оттого, что в них вспыхнула храбрость, — им придает храбрости сознание, что их много и что ими командуют. Но толпа без человека во главе ничего не стоит. Теперь вам остается только поджечь хвост, идти домой и забиться в угол. Если будет настоящее линчевание, то оно состоится ночью, как полагается на Юге; толпа придет в масках и захватит с собой человека. А теперь уходите прочь и заберите вашего полчеловека. — С этими словами он вскинул двустволку и взвел курок.

Толпа сразу отхлынула и бросилась врассыпную, кто куда, и Бак Гаркнес тоже поплелся за другими, причем вид у него был довольно жалкий. Я бы мог там остаться, только мне не захотелось.

Я пошел к цирку и слонялся там на задворках, а когда сторож прошел мимо, я взял да и нырнул под брезент. Со мной была золотая монета в двадцать долларов и еще другие деньги, только я решил их беречь. Почему знать — деньги ведь всегда могут понадобиться так далеко от дома, да еще среди чужих людей. Осторожность не мешает. Я не против того, чтобы тратить деньги на цирк, когда нельзя пройти задаром, а только бросать их зря тоже не приходится.

Цирк оказался первый сорт. Просто загляденье было, когда все артисты выехали на лошадях, пара за парой, господа и дамы бок о бок. Мужчины в кальсонах и нижних рубашках, без сапог и без шпор, подбоченясь, этак легко и свободно, — всего их, должно быть, было человек двадцать; а дамы такие румяные, просто красавицы, ни дать ни взять настоящие королевы, и на всех такие дорогие платья, сплошь усыпанные бриллиантами, — уж верно каждое стоило не дешевле миллиона. Любо-дорого смотреть, а мне так и вообще ничего красивей видеть не приходилось. А потом они вскочили на седла, выпрямились во весь рост и поехали вереницей кругом арены, тихо и плавно покачиваясь; и все мужчины, упираясь на скаку головой чуть не в потолок, казались такими высокими, ловкими и стройными, а у дам платья шуршали и колыхались легко, словно

розовые лепестки, так что каждая дама походила на самый нарядный зонтик.

А потом они поскакали вокруг арены все быстрее и быстрее и отплясывали на седле так ловко: то одна нога в воздухе, то другая; а распорядитель расхаживал посредине, вокруг шеста, щелкая бичом и покрикивая: «Гип, гип!», а клоун за его спиной отпускал шуточки; потом все они бросили поводья, и дамы уперлись пальчиками в бока, мужчины скрестили руки на груди, а лошади у них гарцевали и становились на колени. А потом все они один за другим соскочили на песок, отвесили самый что ни на есть изящный поклон и убежали за кулисы, а публика хлопала в ладоши, кричала, просто бесновалась.

Ну вот, и до самого конца представления они продолжали разные удивительные штуки, а этот клоун все время так смешил, что публика едва жива осталась. Что ему распорядитель ни скажет, он за словом в карман не лезет: не успеешь мигнуть — ответит, и всегда что-нибудь самое смешное; и откуда у него что бралось, да так сразу и так складно, я просто понять не мог. Я бы и в год ничего такого не придумал. А потом какому-то пьяному вздумалось пролезть на арену, — он сказал, что ему хочется прокатиться, а ездить верхом он умеет не хуже всякого другого. Его уговаривали, не пускали на арену, только он и слушать ничего не хотел, так что пришлось сделать перерыв. Тут публика стала на него кричать и насмехаться над ним, а он разозлился и начал скандалить; зрители тогда не вытерпели, вскочили со скамеек и побежали к арене; многие кричали: «Стукните его хорошенько! Вышвырните его вон!», а одна-две женщины взвизгнули. Тут выступил распорядитель и сказал несколько слов насчет того, что он надеется, что беспорядка никакого не будет, — пускай только этот господин обещает вести себя прилично, и ему разрешат прокатиться, если он думает, что удержится на лошади. Все засмеялись и закричали, что согласны, и пьяный влез на лошадь. Только он сел, лошадь начала бить копытами, рваться и становиться на дыбы, а два цирковых служителя повисли на поводьях, стараясь ее удержать; пьяный ухватился за

гриву, и пятки у него взлетали кверху при каждом скачке. Все зрители поднялись с мест, кричали и хохотали до слез. Но в конце концов, сколько цирковые служители ни старались, лошадь у них все-таки вырвалась и помчалась во всю прыть кругом арены, а этот пьяница повалился на лошадь и держится за шею, и то одна нога у него болтается чуть не до земли, то другая, а публика просто с ума сходит. Хотя мне-то вовсе не было смешно: я весь дрожал, боялся, как бы с ним чего не случилось. Однако он побарахтался-побарахтался, сел верхом и ухватился за повод, а сам шатается из стороны в сторону; еще минута — смотрю, он вскочил на ноги, бросил поводья и стал на седле. А лошадь-то мчится во весь опор! Он стоял на седле так спокойно и свободно, словно и пьян вовсе не был; потом, смотрю, начал срывать с себя одежду и швырять ее на песок. Одно за другим, одно за другим — до того быстро, что одежда так и мелькала в воздухе, а всего он сбросил семнадцать костюмов. И стоит стройный и красивый, в самом ярком и нарядном трико, какое можно себе представить. Потом подстегнул лошадь хлыстиком так, что она завертелась по арене, и наконец соскочил на песок, раскланялся и убежал за кулисы, а все зрители просто вой подняли от удовольствия и удивления.

Тут распорядитель увидел, что его провели, и, по моему, здорово разозлился. Оказалось, что это его же акробат! Сам все придумал и никому ничего не сказал. Ну, мне тоже было не особенно приятно, что я так попался, а все-таки не хотел бы я быть на месте этого распорядителя даже за тысячу долларов! Не знаю, может где-нибудь есть цирк и лучше этого, только я что-то ни разу не видал. Во всяком случае, по мне и этот хорош, и где бы я его ни увидел, непременно пойду в этот цирк.

Ну а вечером и у нас тоже было представление, но народу пришло немного, человек двенадцать, — еле-еле хватило оплатить расходы. И они все время смеялись, а герцог злился, просто из себя выходил, а потом они взяли да ушли еще до конца спектакля, все, кроме одного мальчика, который заснул. Герцог сказал, что эти арканзасские олухи еще не доросли до Шекспира, что

им нужна только самая пошлая комедия — даже хуже, чем пошлая комедия, вот что. Он уже знает, что им придется по вкусу. На другое утро он взял большие листы оберточной бумаги и черную краску, намалевал афиши и расклеил их по всему городу. Вот что было в афишах:

В ЗАЛЕ СУДА!

ТОЛЬКО ТРИ СПЕКТАКЛЯ!
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ ТРАГИКИ

ДЭВИД ГАРРИК-МЛАДШИЙ

И

ЭДМУНД КИН-СТАРШИЙ!

Из лондонских и европейских театров
в захватывающей трагедии

«Королевский жираф,

или

Царственное совершенство» !!!

Вход 50 центов.

А внизу стояло самыми крупными буквами:

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

— Ну вот, — сказал он, — если уж этой строчкой их не заманишь, тогда я не знаю Арканзаса!

Глава XXIII

Весь этот день герцог с королем возились не покладая рук: устраивали сцену, вешали занавес, натыкали свечей вместо рамп; а вечером мы и мигнуть не успели, как зал был битком набит мужчинами. Когда больше уже нельзя было втиснуться ни одному человеку, герцог бросил проверять билеты, обошел здание кругом и поднялся на сцену. Там он стал перед занавесом и произнес коротенькую речь: сначала похвалил

трагедию, сказал, будто сна самая что ни на есть занимательная, и пошел дальше распространяться насчет трагедии и Эдмунда Кина-Старшего, который в ней исполняет самую главную роль; а потом, когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый; он был весь кругом размазан разноцветными полосами и сверкал, как радуга. Ну, обо всем остальном и говорить не стоит — сущая чепуха, а все-таки очень было смешно. Публика чуть не надорвалась от смеха; а когда король кончил прыгать и ускакал за кулисы, зрители хлопали, кричали, хохотали и бесновались до тех пор, пока он не вернулся и не проделал всю комедию снова, да и после того его заставили повторить все сначала. Тут и корова не удержалась бы от смеха, глядя, какие штуки откалывает наш старый дурак.

Потом герцог опустил занавес, раскланялся перед публикой и объявил, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза, по случаю неотложных гастролей в Лондоне, где все билеты на предстоящие спектакли в театре Друри-Лэйн уже проданы; потом опять раскланялся и сказал, что если почтеннейшая публика нашла представление занятым и поучительным, то ее покорнейше просят рекомендовать своим знакомым, чтобы и они пошли посмотреть.

Человек двадцать закричали разом:

— Как, да разве уже кончилось? Разве это все?

Герцог сказал, что все. Тут-то и начался скандал. Подняли крик: «Надули!», обозлившись, повскакали с мест и полезли было ломать сцену и бить актеров. Но тут какой-то высокий осанистый господин вскочил на скамейку и закричал:

— Погодите! Только одно слово, джентльмены!

Они остановились послушать.

— Нас с вами надули — здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтоб над нами всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдем отсюда спокойно, будем хвалить представление и обманем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?

— Конечно так! Молодец судья! — закричали все в один голос.

— Ладно, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Ступайте домой и всем советуйте пойти посмотреть представление.

На другой день по всему городу только и было разговоров, что про наш замечательный спектакль. Зал был опять битком набит зрителями, и мы опять так же надули и этих. Вернувшись с королем и герцогом к себе на плот, мы поужинали все вместе, а потом, около полуночи, они велели нам с Джимом вывести плот на середину реки, спуститься мили на две ниже города и там где-нибудь его спрятать.

На третий вечер зал был опять переполнен, и в этот раз пришли не новички, а все те же, которые были на первых двух представлениях. Я стоял в дверях вместе с герцогом и заметил, что у каждого из зрителей оттопыривается карман или под полой что-нибудь спрятано; я сразу понял, что это не какая-нибудь парфюмерия, а совсем даже наоборот. Несло тухлыми яйцами, как будто их тут были сотни, и гнилой капустой; и если только я знаю, как пахнет дохлая кошка, — а я за себя ручаюсь, — то их пронесли мимо меня шестьдесят четыре штуки. Я потолкался минутку в зале, а больше не выдержал, — уж очень там крепко пахло. Когда публики набилось столько, что больше никому нельзя было втиснуться, герцог дал одному молодчику двадцать пять центов и велел ему пока постоять в дверях, а сам пошел кругом, будто бы на сцену, и я за ним; но как только мы повернули за угол и очутились в темноте, он сказал:

— Иди теперь побыстрей, а когда отойдешь подальше от домов, беги к плоту во все лопатки, будто за тобой черти гонятся!

Я так и сделал, и он тоже. Мы прибежали к плоту в одно и то же время и меньше чем через две секунды уже плыли вниз по течению в полной тишине и темноте, правя наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняге королю не поздоровится, а оказалось — ничего подобного: скоро он выполз из шалаша и спросил:

— Ну, герцог, сколько мы загребли на этом деле?.. Он, оказывается, вовсе и не был в городе.

Мы не вывешивали фонаря, пока не отплыли миль на десять от города. Тогда мы зажгли свет и поужинали, а король с герцогом просто надрывались со смеху, вспоминая, как они провели публику. Герцог сказал:

— Простофили, олухи! Я так и знал, что первая партия будет помалкивать, чтобы остальные тоже попали впросак; так я и знал, что в третий раз они нам собираются устроить сюрприз: думают, что теперь их черед. Это верно — черед их; но я бы дорого дал, чтобы узнать, много ли им от этого проку. Хотелось бы все-таки знать, как они воспользовались таким случаем. Могут устроить пикник, если им вздумается: провизии у них с собой довольно.

Эти мошенники собрали в три вечера четыреста шестьдесят пять долларов. Я еще никогда не видел, чтобы деньги загребали такими кучами.

Немного погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джим и говорит:

— Гек, а ты не удивляешься, что короли так себя ведут?

— Нет, — говорю, — не удивляюсь.

— А почему ты не удивляешься, Гек?

— Да потому, что такая уж это порода. Я думаю, они все одинаковы.

— Гек, ведь эти наши короли — сущие мошенники! Вот они что такое — сущие мошенники!

— Ну, а я что тебе говорю: почти что все короли мошенники, дело известное.

— Да что ты!

— А ты почитай про них, вот тогда и узнаешь. Возьми хоть Генриха Восьмого: наш против него прямо учитель воскресной школы. А возьми Карла Второго, Людовика Четырнадцатого, Людовика Пятнадцатого, Иакова Второго, Эдуарда Второго, Ричарда Третьего и еще сорок других; а еще были короли в старые времена — англы, и саксы, и норманны — так они только и занимались, что грабежом да разбоем. Поглядел бы ты на старика Генриха, когда он был во цвете лет. Вот

это был фрукт! Бывало, каждый день женится на новой жене, а наутро велит рубить ей голову. Да еще так равнодушно, будто яичницу заказывает. «Подать сюда Нелл Гвинн!», говорит. Приводят ее. А наутро: «Отрубите ей голову!» И отрубают. «Подать сюда Джейн Шор!», говорит. Она приходит. А наутро: «Отрубите ей голову!» И отрубают. «Позовите прекрасную Розамунду!» Прекрасная Розамунда является на зов. А наутро: «Отрубите ей голову!» И всех своих жен заставлял рассказывать ему каждую ночь по сказке, а когда сказок набралось тысяча и одна штука, он из них составил книжку и назвал ее «Книга Страшного суда», — ничего себе название, очень подходящее! Ты королей не знаешь, Джим, зато я их знаю; этот наш забулдыга все-таки много лучше тех, про кого я читал в истории. Возьми хоть Генриха. Вздумалось ему затеять свару с Америкой. Как же он за это взялся? Предупредил? Дал собраться с силами? Как бы не так! Ни с того ни с сего взял да и пошвырял за борт весь чай в Бостонской гавани, а потом объявил Декларацию независимости — теперь, говорит, воюйте. Всегда такой был, никому не спускал. Были у него подозрения насчет собственного папаша, герцога Веллингтона. Так что же он сделал? Расспросил его хорошенько? Нет, утопил в бочке мальвазии, как котенка. Бывало, зазевается кто-нибудь, оставит деньги на виду — так он что же? Обязательно прикарманит. Обещается что-нибудь сделать и деньги возьмет, а если не сидеть тут же и не глядеть за ним в оба, так обязательно надует и сделает как раз наоборот. Стоит ему, бывало, только рот раскрыть — и если тут же не закроет покрепче, так непременно соврет. Вот какой жук был этот Генрих! И если бы с нами был он вместо наших королей, он бы еще почище обжулил этот город. Я ведь не говорю, что наши какие-нибудь невинные барашки, тоже ничего себе, если разобраться; ну а все-таки им до этого старого греховодника далеко. Я одно скажу: король — он и есть король, что с него возьмешь. А вообще все они дрянь порядочная. Так уж воспитаны.

— Уж очень от нашего спиртным разит, Гек.

— Ну что ж, они все такие, Джим. От всех королей разит, с этим ничего не поделаешь, так и в истории говорится.

— А герцог, пожалуй, еще ничего, довольно приличный человек.

— Да, герцог — другое дело. А все-таки разница невелика. Тоже не первый сорт, хоть он и герцог. Когда напьется, так от короля его не отличишь, ежели ты близорукий.

— Ну их совсем, Гек, мне больше таких не требуется. Я и этих-то едза терплю.

— И я тоже, Джим. Но если они уж сели нам на шею, не надо забывать, кто они такие, и принимать это во внимание. Конечно, все-таки хотелось бы знать, есть ли где-нибудь страна, где короли совсем перевелись.

Какой толк был говорить Джиму, что это не настоящие король и герцог? Ничего хорошего из этого не могло выйти, а кроме того, так оно и было, как я говорил: они ничем не отличались от настоящих.

Я лег спать, и Джим не стал будить меня, когда подошла моя очередь. Он часто так делал. Когда я проснулся на рассвете, он сидел и, опустив голову на колени, стонал и плакал. Обыкновенно я в таких случаях не обращал на него внимания, даже виду не подавал. Я знал, в чем дело. Это он вспоминал про жену и детей и тосковал по дому, потому что никогда в жизни не расставался с семьей; а детей и жену он, по-моему, любил не меньше, чем всякий белый человек. Может, это покажется странным, только так оно и есть. По ночам он часто, бывало, стонал и плакал, когда думал, что я сплю, плакал и приговаривал:

— Бедняжка Лизабет, бедненький Джонни! Ох, какое горе! Верно, не видать мне вас больше, никогда не видать!

Он очень хороший негр, этот Джим!

Но тут я разговорился с ним про его жену и ребятшек, и, между прочим, он сказал:

— Вот отчего мне сейчас так тяжело: я только что слышал, как на берегу что-то шлепнуло или хлопнуло, — от этого мне и вспомнилось, как я обидел один

раз мою маленькую Лизабет. Ей было тогда всего четыре года, она схватила скарлатину и очень тяжело болела, потом поправилась; вот как-то раз стоит она рядом со мной, а я ей и говорю:

— Закрой дверь!

Она не закрывает, стоит себе и стоит, да еще глядит на меня и улыбается. Меня это разозлило; я опять ей говорю, громко так говорю:

— Не слышишь, что ли? Закрой дверь!

А она стоит все так же и улыбается. Я взбесился и прикрикнул:

— Ну, так я же тебя заставлю!

Да как шлепнул ее по голове, так она у меня и полетела на пол. Потом ушел в другую комнату, пробыл там минут десять и прихожу обратно; смотрю, дверь все так же открыта настежь, девочка стоит около самой двери, опустила голову и плачет, слезы так и текут; разозлился я — и к ней, а тут как раз — дверь эта отворялась наружу — налетел ветер и — трах! — захлопнул ее за спиной у девочки, а она и с места не тронулась. Я так и обмер, а уж что я почувствовал, просто и сказать не могу. Подкрался, — а сам весь дрожу, — подкрался на цыпочках, открыл потихоньку дверь у нее за спиной, просунул осторожно голову да как крикну во все горло! Она даже не пошевелинулась! Да, Гек, тут я как заплачу! Схватил ее на руки и говорю:

— Ох ты, моя бедняжка! Прости, господи, старика Джима, а сам он никогда себе не простит!

Ведь она оглохла, Гек, совсем оглохла, а я так ее обидел!

Глава XXIV

На другой день, уже под вечер, мы пристали к заросшему пвняком островку посредине реки, а на том и на другом берегу стояли городишки, и герцог с королем начали раскидывать умом, как бы их обообразь. Джим сказал герцогу, что, он надеется, это не займет много времени, — уж очень ему надоело и трудно лежать по целым дням связанным в шалаше.

Понимаете, нам приходилось все-таки связывать Джима веревкой, когда мы оставляли его одного: ведь если бы кто-нибудь на него наткнулся и увидел, что никого с ним нет и он не связан, так не поверил бы, что он беглый негр. Ну и герцог тоже сказал, что, конечно, нелегко лежать целый день связанным и что он придумает какой-нибудь способ обойтись без этого.

Голова у него работала здорово, у нашего герцога, он живо сообразил, как это устроить. Он одел Джима в костюм короля Лира — длинный халат из занавесочного ситца, седой парик и борода из конского волоса; потом взял свои театральные краски и вымазал Джиму шею, лицо, руки и уши — все сплошь густой синей краской такого тусклого и неживого оттенка, что он стал похож на утопленника, пролежавшего в воде целую неделю. Провалиться мне, но только страшней этого я ничего не видел. Потом герцог взял дощечку и написал на ней:

*Бешеный араб. — Когда в себе, на людей
не бросается —*

и приколотил эту дощечку к палке, а палку поставил перед шалашом, шагах в четырех от него. Джим был доволен. Он сказал, что это куда лучше, чем лежать связанному по целым дням и трястись от страха, как только где-нибудь зашумит. Герцог советовал ему не стесняться и вести себя поразвязнее; а если кто-нибудь вздумает совать нос не в свое дело, пускай Джим выскочит из шалаша и попляшет немножко, пускай взвоет разика два, как дикий зверь, — небось тогда живо уберутся и оставят его в покое. Это он в общем рассудил правильно; но только не всякий стал бы дожидаться, пока Джим завоюет. Если бы еще он был просто похож на покойника, а то куда там — много хуже!

Нашим жуликам хотелось опять пустить в ход «Жипрафа» — уж очень прибыльная была штука, только они побаивались: а вдруг слухи за это время дошли уже и сюда? Больше ничего подходящего им в голову

не приходило, и в конце концов герцог сказал, что по-лежит и подумает часа два, нельзя ли как-нибудь окол-пачить арканзасский городок; а король решил загля-нуть в городок на другом берегу — без всякого плана, просто так, положившись в смысле прибыли на прови-дение, а по-моему — на сатану. Все мы купили новое платье там, где останавливались прошлый раз; и те-перь король сам оделся во все новое и мне тоже велел одеться. Я, конечно, оделся. Король был во всем чер-ном и выглядел очень парадно и торжественно. А я до сих пор и не знал, что платье так меняет человека. Раньше он был похож на самого что ни на есть рас-последнего забулдыгу, а теперь, как снимет новую бе-лую шляпу да раскланяется с этакой улыбкой, — ну будто только что вышел из ковчега: такой на вид важ-ный, благочестивый и добродетельный, ни дать ни взять — сам старик Ной.

Джим вымыл челнок, и я сел в него с веслом наго-тове. У берега, чуть пониже мыса, милях в трех от го-родка, стоял большой пароход; он стоял уже часа два: грузился. Король и говорит:

— Раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше приехать из Сент-Луиса, или Цинциннати, или еще из какого-нибудь большого города. Гребь к пароходу, Гекльберри: мы на нем доедем до городка.

Ему не пришлось повторять, чтобы я поехал катать-ся на пароходе. Я подъехал к берегу в полумиле от го-родка и повел лодку вдоль крутого обрыва по тихой воде. Довольно скоро мы наткнулись на такого слав-ного, простоватого с виду деревенского паренька, кото-рый сидел на бревне, утирая пот с лица, потому что было очень жарко; рядом с ним лежали два ковровых саквояжа.

— Поверни-ка челнок к берегу, — сказал король. (Я повернул.) — Куда это вы направляетесь, молодой человек?

— В Орлеан, жду парохода.

— Садитесь ко мне, — говорит король. — Погодите минутку: мой слуга поможет вам внести вещи... Вылс-зай, помоги джентльмену, Адольфус! (Это, вижу, он мне говорит.)

И помог, потом мы втроем поехали дальше. Молодой человек был очень благодарен, сказал, что ему просто не вмоготу было тащить вещи по такой жаре. Он спросил короля, куда он едет, и тот ему сказал, что ехал вниз по реке, нынче утром высадился у городка на той стороне, а теперь хочет подняться на несколько миль вверх, повидаться там с одним старым знакомым на ферме. Молодой человек сказал:

— Как только я вас увидел, я сразу подумал: это, верно, мистер Уилкс, и запоздал-то он самую малость. И опять-таки думаю: нет, должно быть не он — зачем бы ему ехать вверх по реке? Бы ведь не он, верно?

— Нет, меня зовут Блоджет, Александер Блоджет; кажется, мне следует прибавить: его преподобие Александер Блоджет, — ведь я смиренный служитель божий. Но как бы то ни было, мне все-таки прискорбно слышать, что мистер Уилкс опоздал, если из-за этого он лишился чего-нибудь существенного. Надеюсь, этого не случилось?

— Да нет, капитала он из-за этого не лишился. Наследство он все равно получит, а вот своего брата Питера он в живых не застанет. Ему это, может, и ничего, кто ж его знает, а вот брат все на свете отдал бы, лишь бы повидаться с ним перед смертью: бедняга ни о чем другом говорить не мог последние три недели; они с детства не видались, а брата Уильяма он и вовсе никогда не видел — это глухонемого-то, — Уильяму всего лет тридцать — тридцать пять. Только Питер и Джордж сюда приехали; Джордж был женат, он умер в прошлом году, и жена его тоже. Теперь остались в живых только Гарви с Уильямом, да и то, как я уже говорил, они опоздали приехать.

— А кто-нибудь написал им?

— Ну как же, месяц или два назад, когда Питер только что заболел; он так и говорил, что на этот раз ему не поправиться. Видите ли, он уже совсем состарился, а дочки Джорджа еще молоденькие и ему не компания, кроме разве Мэри-Джейн, — это та, рыженькая; ну и выходит, что, как умерли Джордж и его жена, старику не с кем было слова сказать, да, пожалуй, и жить больше не хотелось. Уж очень он рвался повидать

Гарви, и Уильяма тоже само собой: не охотник он был до завещаний — бывают такие люди. Он оставил Гарви письмо, там сказано, где он спрятал свои деньги и как разделить остальное имущество, чтобы девочки Джорджа не нуждались ни в чем, — сам-то Джордж ничего не оставил. А кроме этого письма, он так-таки ничего и не написал, не могли его заставить.

— Почему же Гарви не приехал вовремя, как вы думаете? Где он живет?

— О, живет-то он в Англии, в Шеффилде, он там проповедник, и в Америке никогда не бывал. Может, не успел собраться, а может, и письма не получил совсем, почему знать!

— Жаль, жаль, что он так и не повидался с братьями перед смертью, бедняга! Так, значит, вы едете в Орлеан?

— Да, но только это еще не все. В среду я уезжаю на пароходе в Рио-де-Жанейро, там у меня дядя живет.

— Долгое, очень долгое путешествие! Зато какое приятное! Я бы и сам с удовольствием поехал. Так Мэри-Джейн старшая? А другим сколько лет?

— Мэри-Джейн девятнадцать лет, Сюзанне — пятнадцать, а Джоанне еще нет четырнадцати — это та, что с заячьей губой и хочет заниматься добрыми делами.

— Бедняжки! Каково им остаться одним на свете!

— Да нет, могло быть и хуже! У старика Питера есть друзья, они не дадут девочек в обиду. Там и Гобсон — баптистский проповедник, и дьякон Лот Хови, и Бен Рэкер, и Эбнер Шеклфорд, и адвокат Леви Белл, и доктор Робинсон, и их жены, и вдова Бартли... и... да много еще, только с этими Питер был всего ближе и писал о них на родину, так что Гарви знает, где ему искать друзей, когда сюда приедет.

А старик все расспрашивал да расспрашивал, пока не вытянул из паренька все дочиستا. Провалиться мне, если он не разузнал всю подноготную про этот самый город и про Уилксов тоже: и чем занимался Питер — он был кожевник, и Джордж — а он был плотник, и Гарви — а он проповедник в какой-то секте, и много еще чего. Потом и говорит:

— А почему это вы шли пешком до самого парохода?

— Потому что это большой орлеанский пароход и я боялся, что он здесь не остановится. Если пароход сидит глубоко, он не останавливается по требованию. Пароходы из Цинциннати останавливаются, а этот идет из Сент-Луиса.

— А что, Питер Уилкс был богатый?

— Да, очень богатый: у него были и дома и земля; говорят, после него остались еще тысячи три-четыре деньгами, спрятанные где-то.

— Когда, вы сказали, он умер?

— Я ничего не говорил, а умер он вчера ночью.

— Похороны, верно, завтра?

— Да, после полудня.

— Гм! Все это очень печально; но что же делать, всем нам придется когда-нибудь умереть. Так что нам остается только готовиться к этому часу: тогда мы можем быть спокойны.

— Да, сэр, это самое лучшее. Мать тоже всегда так говорила.

Когда мы причалили к пароходу, погрузка уже кончилась, и скоро он ушел. Король ничего не говорил насчет того, чтобы подняться на борт; так мне и не удалось прокатиться на пароходе. Когда пароход ушел, король заставил меня грести еще с миллю, а там вылез на берег в пустынном месте и говорит:

— Поезжай живей обратно да доставь сюда герцога и новые чемоданы. А если он поехал на ту сторону, верни его и привези сюда. Да скажи ему, чтоб оделся как можно лучше. Ну, теперь ступай!

Я уже понял, что он затевает, только, само собой, ничего не сказал. Когда я вернулся вместе с герцогом, мы спрятали лодку, а потом они уселись на бревно, и король ему все рассказал — все, что говорил молодой человек, от слова до слова. И все время, пока рассказывал, он старался выговаривать, как настоящий англичанин; получалось очень даже неплохо для такого неуча. У меня так не выйдет, я даже и пробовать не хочу, а у него и вправду получалось очень хорошо. Потом он спросил:

— А как вы насчет глухонемых, ваша светлость?

Герцог сказал, что в этом можно на него положиться: он играл глухонемых на театральных подмостках. И мы стали ждать парохода.

Около середины дня прошли два маленьких парохода, но они были не с верховьев реки, а потом подошел большой, и король с герцогом его остановили. За нами выслали ялик, и мы поднялись на борт; оказалось, что пароход шел из Цинциннати, и когда капитан узнал, что нам нужно проехать всего четыре или пять миль, то просто взбесился и принялся ругать нас на чем свет стоит, грозился даже, что высадит. Но король не растерялся, он сказал:

— Если джентльмены могут заплатить по доллару за милю, с тем чтоб их взяли на пароход и потом доставили на берег в ялике, то почему же пароходу не довезти их, верно?

Тогда капитан успокоился и сказал, что ладно, довезет; а когда мы поравнялись с городом, то спустили ялик и переправили нас туда. Человек двадцать сбежалось на берег, завидев ялик. И когда король спросил: «Не может ли кто-нибудь из вас, джентльмены, показать мне, где живет мистер Питер Уилкс?» — они стали переглядываться и кивать друг другу головой, словно спрашивая: «А что я вам говорил?» Потом один из них сказал очень мягко и деликатно:

— Мне очень жаль, сэр, но мы можем только показать вам, где он жил вчера вечером.

Никто и мигнуть не успел, как негодный старикашка совсем раскис, прислонился к этому человеку, уперся ему подбородком в плечо и давай поливать ему спину слезами, а сам говорит:

— Увы, увy! бедный брат! Он скончался, а мы так и не повидались с ним! О, как это тяжело, как тяжело!

Потом оборачивается, всхлипывая, и делает какие-то идиотские знаки герцогу, показывая ему что-то на пальцах, и тот тоже роняет чемодан и давай плакать, ей-богу! Я таких пройдох еще не видывал, и если они не самые отъявленные жулики, тогда я уж не знаю, кто жулик.

Все собрались вокруг, стали им сочувствовать, утешали их разными ласковыми словами, потащили в гору

их чемоданы, позволяли им цепляться за себя и обливать слезами, а королю рассказывали про последние минуты его брата, и тот все пересказывал на пальцах герцогу, и оба они так горевали о покойном кожевнике, будто потеряли двенадцать апостолов. Да будь я негром, если когда-нибудь видел хоть что-нибудь похожее! Просто делалось стыдно за род человеческий.

Глава XXV

В две минуты новость облетела весь город, и со всех сторон опрометью стали сбегаться люди, а иные даже надевали на бегу сюртуки. Скоро мы оказались в самой гуще толпы, а шум и топот были такие, словно войско идет. Из окон и дверей торчали головы, и каждую минуту кто-нибудь спрашивал, высунувшись из-за забора:

— Это они?

А кто-нибудь из толпы отвечал:

— Они самые.

Когда мы дошли до дома Уилксов, улица перед ним была полным-полна народа, а три девушки стояли в дверях. Мэри-Джейн и вправду была рыженькая, только это ничего не значило: она все-таки была красавица, и лицо и глаза у нее так и сияли от радости, что наконец приехали дядюшки. Король распростер объятия, и Мэри-Джейн бросилась ему на шею, а Заячья Губа бросилась на шею герцогу. И какая тут была радость.

Все — по крайней мере женщины — прослезились оттого, что девочки наконец увиделись с родными и что у них в семье такое радостное событие.

Потом король толкнул потихоньку герцога, — я то это заметил, — оглянулся по сторонам и увидел гроб в углу на двух стульях; и тут они с герцогом, обняв друг друга за плечи, а свободной рукой утирая глаза, медленно и торжественно направились туда, и толпа расступилась, чтобы дать им дорогу; всякий шум и разговоры прекратились, все шипели: «Тс-с-с!», а муж-

чины сняли шляпы и опустили головы; муха пролетит — и то было слышно. А когда они подошли, то наклонились и заглянули в гроб; посмотрели один раз, а потом такой подняли рев, что, должно быть, слышно было в Новом Орлеане; потом обнялись, положили друг другу подбородок на плечо и минуты три, а то и четыре заливались слезами, да как! Я никогда в жизни не видел, чтобы мужчины так ревели. А за ними и все прочие ударились в слезы. Такую развели сырость, что я ничего подобного не видывал! Потом один стал по одну сторону гроба, а другой — по другую, и оба опустились на колени, а лбами уперлись в гроб и начали молиться, только не вслух, а про себя. Ну, тут уж все до того расчувствовались — просто неслыханное дело; никто не мог удержаться от слез, все так прямо и зарыдали во весь голос, и бедные девочки тоже; и чуть ли не каждая женщина подходила к девочкам и, не говоря ни слова, целовала их очень торжественно в лоб, потом, положив руку им на голову, поднимала глаза к небу, а потом разражалась слезами и, рыдая и утираясь платочком, отходила в сторону, чтобы другая могла тоже покрасоваться на ее месте. Я в жизни своей не видел ничего противней.

Немного погодя король поднялся на ноги, выступил вперед и, собравшись с силами, начал мямлить речь, а попросту говоря — молоть всякую слезливую чепуху насчет того, какое это тяжелое испытание для них с братом — потерять покойного, и какое горе не застать его в живых, проехав четыре тысячи миль, но что это испытание им легче перенести, видя такое от всех сочувствие и эти святые слезы, и потому он благодарит их от всей души, от всего сердца и за себя и за брата, потому что словами этого нельзя выразить, все слова слишком холодны и вялы, и дальше нес такой же вздор, так что противно было слушать; потом, захлебываясь слезами, провозгласил самый что ни на есть благочестивый «аминь» и начал так рыдать, будто у него душа с телом расставалась.

И как только он сказал «аминь», кто-то в толпе запел псалом, и все его подхватили громкими голосами, и

сразу сделалось как-то веселей и легче на душе, точно когда выходишь из церкви. Хорошая штука музыка! А после всего этого пустословия мне показалось, что никогда еще она не действовала так освежительно и не звучала так искренне и хорошо.

Потом король снова начал распространяться насчет того, как ему с племянницами будет приятно, если самые главные друзья семейства поужинают с ними нынче вечером и помогут им похоронить останки покойного; и если бы его бедный брат, который лежит в гробу, мог говорить, то известно, кого бы он назвал: это всё такие имена, которые были ему дороги, и он часто поминал их в своих письмах; вот он сейчас назовет их всех по очереди; а именно вот кого: его преподобие мистер Гобсон, дьякон Лот Хови, мистер Бен Рэкер, Эбнер Шеклфорд, Леви Белл, доктор Робинсон, их жены и вдова Бартли.

Его преподобие мистер Гобсон и доктор Робинсон в это время охотились вместе на другом конце города — то есть я хочу сказать, что доктор отправлял больного на тот свет, а пастор показывал ему дорогу. Адвокат Белл уехал в Луисвилл по делам. Зато остальные были тут, поблизости, и все они подходили по очереди и пожимали руку королю, благодарили его и беседовали с ним; потом пожимали руку герцогу; ну, с ним-то они не разговаривали, а только улыбались и мотали головой, как болванчики, а он выделял руками всякие штуки и гугукал все время, точно младенец, который еще не умеет говорить.

А король все болтал да болтал и ухитрился расспросить чуть ли не про всех в городе, до последней собаки, называя каждого по имени и упоминая разные происшествия, какие случались в городе, или в семье Джорджа, или в доме у Питера. Он, между прочим, всегда давал понять, что все это Питер ему писал в письмах, только это было вранье: все это, до последнего словечка, он выудил у молодого дураля, которого мы подвезли к пароходу.

Потом Мэри-Джейн принесла письмо, которое оставил ее дядя, а король прочел его вслух и расплакался. По этому письму жилой дом и три тысячи долларов

золотом доставались девочкам, а кожевенный завод, который давал хороший доход, и другие дома с землей (всего тысяч на семь) и три тысячи долларов золотом — Гарви и Уильямсу; а еще в письме было сказано, что эти шесть тысяч зарыты в погреб.

Оба мошенника сказали, что сейчас же пойдут и достанут эти деньги и поделят все, как полагается, почестному, а мне велели нести свечку. Мы заперлись в погреб, а когда они нашли мешок, то высыпали деньги тут же на пол, и было очень приятно глядеть на такую кучу желтяков. Ох, и разгорелись же глаза у короля! Он хлопнул герцога по плечу и говорит:

— Вот так здорово! Нет, вот это ловко! Небось это будет почище «Жиrafa», как по-вашему?

Герцог согласился, что это будет почище. Они хватали золото руками, пропускали сквозь пальцы, со звоном роняли на пол, а потом король сказал:

— О чем тут разговаривать, раз подошла такая линия! Мы теперь братья умершего богача и представители живых наследников. Вот что значит полагаться всегда на волю божию! Это в конце концов самое лучшее. Я все на свете перепробовал, но лучше этого ничего быть не может.

Всякий другой на их месте был бы доволен такой кучей деньжищ и принял бы на веру, не считая. Так нет же, им непременно понадобилось пересчитать! Стали считать — оказалось, что не хватает четырехсот пятнадцати долларов. Король и говорит:

— Черт бы его побрал! Интересно, куда он мог девать эти четыреста пятнадцать долларов?

Они погоревали-погоревали, потом стали искать, перерыли все кругом. Потом герцог сказал:

— Ну что ж, человек больной, очень может быть, что и ошибся. Самое лучшее — пускай так и останется, и говорить про это не будем. Мы без них как-нибудь обойдемся.

— Чепуха! Конечно, обойдемся! На это мне наплевать, только как теперь быть со счетом — вот я про что думаю! Нам тут нужно вести дело честно и аккуратно, что называется — начистоту. Надо притащить эти самые деньги наверх и пересчитать при всех, чтобы ни-

каких подозрений не было. Но только если покойник сказал, что тут шесть тысяч, нельзя же нам...

— Пойдите! — говорит герцог. — Давайте-ка пополним дефицит, — и начинает выгребать золотые из своего кармана.

— Замечательная мысль, герцог! Ну и голова у вас, право! — говорит король. — А ведь, ей-богу, опять нам «Жираф» помог! — и тоже начинает выгребать золотые и ставить их столбиками.

Это их чуть не разорило, зато все шесть тысяч были налицо, полностью.

— Послушайте, — говорит герцог, — у меня есть еще одна идея. Давайте поднимемся наверх, пересчитаем эти деньги, а потом возьмем да и отдадим их девочкам!

— Нет, ей-богу, герцог, позвольте вас обнять! Очень удачная идея, никто бы до этого не додумался! Замечательная у вас голова, я такую первый раз вижу! О, это штука ловкая, тут и сомневаться нечего. Пускай теперь вздумают нас подозревать — это им заткнет рты.

Как только мы поднялись наверх, все столпились вокруг стола, а король начал считать деньги и ставить их столбиками, по триста долларов в каждом, — двадцать хорошеньких маленьких столбиков. Все глядели на них голодными глазами и облизывались; потом все деньги сгребли в мешок. Вижу — король опять охорашивается, готовится произнести еще речь и говорит:

— Друзья, мой бедный брат, который лежит вои там, во гробе, проявил щедрость к тем, кого покинул в этой земной юдоли. Он проявил щедрость к бедным девочкам, которых при жизни любил и берег и которые остались теперь сиротами, без отца и без матери. Да! И мы, которые знали его, знаем, что он проявил бы к ним еще больше великодушия, если б не боялся обидеть своего дорогого брата Уильяма, а также и меня. Не правда ли? Конечно, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Так вот, какие мы были бы братья, если бы помешали ему в таком деле и в такое время? И какие мы были бы дяди, если б обобрали — да, обобрали! — в такое время бедных, кротких овечек, которых он так любил? Насколько я знаю Уильяма, — а я думаю, что знаю, — оп... Впрочем, я сейчас его спрошу.

Он оборачивается к герцогу и начинает ему делать знаки, что-то показывает на пальцах, а герцог сначала смотрит на него дурак дураком, а потом вдруг бросается к королю, будто бы понял, в чем дело, и гугукает восторг от радости и обнимает его чуть не двадцать раз подряд. Тут король объявил:

— Я так и знал. Мне кажется, всякий может убедиться, какие у него мысли на этот счет. Вот, Мэри-Джейн, Сюзанна, Джоанна, возьмите эти деньги, возьмите все! Это дар того, который лежит вон там во гробе, бесчувственный, но полный радости...

Мэри-Джейн бросилась к нему, Сюзанна и Заячья Губа бросились к герцогу, и опять пошло такое обнимание и целование, какого я никогда не видывал. А все прочие столпились вокруг со слезами на глазах и чуть руки не оторвали этим двум мошенникам — всё пожимали их, а сами приговаривали:

— Ах, какая доброта! Как это прекрасно! Но как же это вы?..

Ну, потом все опять пустились разговаривать про покойника — какой он был добрый, и какая это утрата, и прочее тому подобное, а через некоторое время с улицы в комнату протолкался какой-то высокий человек с квадратной челюстью и стоит слушает; ему никто не сказал ни слова, потому что король говорил и все были заняты тем, что слушали. Король говорил, — с чего он начал, не помню, а это была уже середина:

— ...ведь они близкие друзья покойного. Вот почему их пригласили сюда сегодня вечером; а завтра мы хотим, чтобы пришли все, все до единого: он всех в городе уважал, всех любил, и потому мы желаем, чтобы на его похоронной оргии был весь город.

И пошел плести дальше, потому что всегда любил сам себя слушать, и нет-нет, да и приплетет опять свою «похоронную оргию», так что герцог в конце концов не выдержал, написал на бумажке: «Похоронная церемония, старый вы дурак!» — сложил бумажку, загугукал и протягивает ее королю через головы впереди стоящих гостей. Король прочел, сунул бумажку в карман и говорит:

— Бедный Уильям, как он ни огорчен, а сердце у него всегда болит о других. Просит, чтобы я всех пригласил на похоронную церемонию, — ему хочется, чтобы все пришли. Только напрасно он беспокоится, я и сам собирался всех позвать.

И разливается дальше самым преспокойным образом и нет-нет, да и вставит свою «похоронную оргию», будто так и надо. А как только вклеил ее в третий раз, сейчас же и оговорился:

— Я сказал «оргия» не потому, что так обыкновенно говорят, вовсе нет, — обыкновенно говорят «церемония», — а потому, что «оргия» правильней. В Англии больше не говорят «церемония», это уже не принято. У нас в Англии теперь все говорят «оргия». Оргия даже лучше, потому что вернее обозначает предмет. Это слово состоит из древнегреческого «орго», что значит «наружный», «открытый», и древнееврейского «гизум» — «сажать», «зарывать»; отсюда — «хоронить». Так что, вы видите, похоронная оргия — это открытые похороны, такие, на которых присутствуют все.

Дальше, по-моему, уже и ехать некуда. Тот высокий, с квадратной челюстью, засмеялся прямо ему в лицо. Всем стало очень неловко. Все зашептали:

— Что вы, доктор!

А Эбнер Шеклфорд сказал:

— Что с вами, Робинсон, разве вы не знаете? Ведь это Гарви Уилкс.

Король радостно заулыбался, тычет ему свою лапу и говорит:

— Так это вы и есть дорогой друг и врачеватель моего бедного брата? Я...

— Уберите руки прочь! — говорит доктор. — Это вы-то англичанин? Да это дрянная подделка, хуже я не видывал. Вы брат Питера Уилкса? Мошенник, вот вы кто такой!

Ох, как все переполошились! Окружили доктора, стали его унимать, уговаривать, стали объяснять ему, что Гарви сто раз успел доказать, что он и вправду Гарви, что он всех знает по именам, знает даже клички всех собак в городе, и уж так его упрашивали помолчать, чтобы Гарви не обиделся и чтобы девочки не

сбиделись. Только все равно ничего не вышло: доктор не унимался и говорил, что человек, который выдает себя за англичанина, а сам говорить, как англичанин, не умеет, — просто враль и мошенник. Бедные девочки не отходили от короля и плакали; но тут доктор повернулся к ним и сказал:

— Я был другом вашего отца, и вам я тоже друг, и предупреждаю вас по-дружески, как честный человек, который хочет вам помочь, чтобы вы не попали в беду и не нажили себе хлопот: отвернитесь от этого негодяя, не имейте с ним дела, это бродяга и неуч, даром что он бормочет чепуху по-гречески и по-еврейски! Сразу видно, что это самозванец, — набрал где-то ничего не значащих имен и фактов и явился с ними сюда; а вы все это приняли за доказательства, да еще вас вводят в обман ваши легковверные друзья, хотя им бы следовало быть умнее. Мэри-Джейн Уилкс, вы знаете, что я вам друг, и бескорыстный друг к тому же. Так вот, послушайте меня: гоните вон этого подлого мошенника, прошу вас! Согласны?

Мэри-Джейн выпрямилась во весь рост — и какая же она сделалась красивая! — и говорит:

— Вот мой ответ! — Она взяла мешок с деньгами, передала его из рук в руки королю и сказала: — Возьмите эти шесть тысяч, поместите их для меня и моих сестер куда хотите, и никакой расписки нам не надо.

Потом она обняла короля, а Сюзанна и Заячья Губа подошли к нему с другой стороны и тоже обняли. Все захлопали в ладоши, затопали ногами, поднялась настоящая буря, а король задрал голову кверху и гордо улыбнулся.

Доктор сказал:

— Хорошо, тогда я умываю руки. Но предупреждаю вас всех: придет время, когда вам тошно будет вспомнить про этот день!

И он ушел.

— Хорошо, доктор, — сказал король, как бы пересмеивая его, — уж тогда мы постараемся — уговорим их послать за вами.

Все засмеялись и сказали, что это он ловко поддел доктора.

Когда все разошлись, король спросил Мэри-Джейн, найдутся ли у них свободные комнаты, и она сказала, что одна свободная комната у них есть, она подойдет для дяди Уильяма, а дяде Гарви она уступит свою комнату, которая немножко побольше, а сама она поместится с сестрами и будет спать там на койке; и еще на чердаке есть каморка с соломенным тюфяком. Король сказал, что эта каморка пригодится для его лакея, — это для меня.

Мэри-Джейн повела нас наверх и показала дядюшкам их комнаты, очень простенькие, зато уютные. Она сказала, что уберет из своей комнаты все платья и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарви; но он сказал, что несколько не мешают. Платья висели на стене, под ситцевой занавеской, спускавшейся до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом — футляр с гитарой, и много было разных пустяков и финтифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Король сказал, что с ними комната выглядит гораздо уютней и милей, и не велел их трогать. У герцога комнатка была очень маленькая, зато удобная, и моя каморка тоже.

Вечером у них был званый ужин, и опять пришли те же гости, что и утром, а я стоял за стульями короля и герцога и прислуживал им, а остальным прислуживали негры. Мэри-Джейн сидела на хозяйском месте, рядом с Сюзиной, и говорила всем, что печенье не удалось, а соленья никуда не годятся, и куры попались плохие, очень жесткие, — словом, все те пустяки, которые обыкновенно говорят хозяйки, когда напрашиваются на комплименты; а гости отлично видели, что все удалось как нельзя лучше, и все хвалили, — спрашивали, например: «Как это вам удастся так подрумянить печенье?», или: «Скажите, ради бога, где вы достали такие замечательные пикули?» — и все в таком роде; ну, знаете, как обыкновенно за ужином — переливают из пустого в порожнее.

Когда все это кончилось, мы с Заячьей Губой поужинали в кухне остатками, пока другие помогали

неграм убирать со стола и мыть посуду. Заячья Губа начала меня расспрашивать про Англию, и, ей-богу, я каждую минуту так и думал, что того гляди проврусь. Она спросила:

— Ты когда-нибудь видел короля?

— Какого? Вильгельма Четвертого? Ну а то как же!

Он ходит в нашу церковь.

Я-то знал, что он давно помер, только ей не стал говорить. Вот, после того как я сказал, что он ходит в нашу церковь, она и спрашивает:

— Как? Постоянно ходит?

— Ну да постоянно. Его скамья как раз напротив нашей — по другую сторону кафедры.

— А я думала, он живет в Лондоне.

— Ну да, там он и живет. А где ж ему еще жить?

— Да ведь ты живешь в Шеффилде!

Ну, вижу, я влип. Пришлось для начала прикинуться, будто бы я подавился куриной костью, чтобы выгадать время, — надо же придумать, как мне вывернуться! Потом я сказал:

— То есть он ходит в нашу церковь всегда, когда бывает в Шеффилде. Это же только летом, когда он приезжает брать морские ванны.

— Что ты мелешь, ведь Шеффилд не на море!

— А кто сказал, что он на море?

— Да ты же и сказал.

— И не думал говорить.

— Нет, сказал!

— Нет, не говорил!

— Сказал!

— Ничего подобного не говорил.

— А что же ты говорил?

— Сказал, что он приезжает брать морские ванны — вот что я сказал.

— Так как же он берет морские ванны, если там нет моря?

— Послушай, — говорю я, — ты видала когда-нибудь английский эль?

— Видала.

— А нужно за ним ездить в Англию?

— Нет, не нужно.

— Ну так вот, и Вильгельму Четвертому не надо ездить к морю, чтобы брать морские ванны.

— А откуда же тогда он берет морскую воду?

— Оттуда же, откуда люди берут эль: из бочки. В Шеффильде во дворце есть котлы, и там ему эту воду греют. А в море такую уйму воды не очень-то нагреешь, никаких там приспособлений для этого нет.

— Теперь поняла. Почему же ты сразу не сказал, только время даром тратил.

Ну, тут я понял, что выпутался благополучно, и мне стало много легче и веселей. А она опять пристаёт:

— А ты тоже ходишь в церковь?

— Конечно, постоянно хожу.

— А где ты там сидишь?

— Как где? На нашей скамейке.

— На чьей?

— На нашей, то есть твоего дяди Гарви.

— На его скамье? А зачем ему скамья?

— Затем, чтобы сидеть. А ты думала — зачем?

— Ишь ты, а ведь я думала, что его место на кафедре.

Ох, чтоб ему, я и позабыл, что он проповедник! Ну, вижу, опять я засыпался; пришлось еще раз давиться куриной костью и опять думать. Потом я сказал:

— Что же, по-твоему, в церкви бывает только один проповедник?

— А на что же больше?

— Как! Это чтобы королю проповедовать? Ну, знаешь ли, я таких, как ты, еще не видывал! Да их меньше семнадцати не бывает.

— Семнадцать проповедников! Господи! Да я бы ни за что не высидела столько времени, даже для спасения души. Это их в неделю всех не переслушаешь.

— Пустяки, они не все в один день проповедуют, а по очереди.

— А что же тогда делают остальные?

— Да ничего особенного. Сидят, отдыхают, ходят с кружкой — да мало ли что! А то и совсем ничего не делают.

— Для чего же они тогда нужны?

— Как для чего? Для фасона. Неужто ты этого не знаешь?

— Даже и знать не хочу про такие глупости! А как в Англии обращаются с прислугой? Лучше, чем мы с неграми?

— Какое! Слугу там и за человека не считают. Обращаются хуже, чем с собакой.

— А на праздники разве их не отпускают, как у пас, — на рождество, на Новый год, на Четвертое июля?

— Скажет тоже! Сразу видно, что ты в Англии никогда не была. Да знаешь ли ты, Заяч... знаешь ли, Джоанна, что у них никогда и праздников-то не бывает, их круглый год никуда не пускают: ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган, ну просто никуда!

— И в церковь тоже?

— И в церковь.

— А ведь ты ходишь в церковь?

Ну вот, опять я запутался! Я позабыл, что служу у старика. Но в следующую минуту я уже пустился объяснять ей, что лакей совсем не то, что простой слуга, и обязан ходить в церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается. Только получилось у меня не очень-то складно; кончил я объяснять и вижу, что она мне не верит.

— Скажи, — говорит, — «честное индейское», что ты не наврал мне с три короба.

— Честное индейское, нет, — говорю я.

— Совсем ничего не приврал?

— Ровно ничего. Как есть ни единого словечка, — говорю я.

— Положи руку вот на эту книжку и скажи еще раз.

Я вижу, что это просто-напросто словарь, положил на него руку и сказал. Она как будто поверила и говорит:

— Ну ладно, кое-что тут, может, и верно; только уж извини, никогда этого не будет, чтобы я всему остальному поверила.

— Чему это ты не хочешь верить, Джо? — сказала Мэри-Джейн, входя вместе с Сюзанной. — Нехорошо и невежливо так с ним разговаривать, он здесь чужой и от родных далеко. Тебе ведь не понравилось бы, если бы с тобой так обращались?

— Вот ты всегда так, Мэри, — заступаешься за всех, когда их никто еще и не думал обижать. Ничего я ему не сделала. Он тут мне наврал, по-моему, а я сказала, что не обязана всему верить. Вот и все, больше ничего не говорила. Я думаю, такие-то пустяки он может стерпеть?

— Мне все равно, пустяки это или нет; он гостит у нас в доме, и с твоей стороны нехорошо так говорить. Ведь на его месте тебе было бы стыдно; вот и не надо говорить ничего такого, чтобы человеку было стыдно.

— Да что ты, Мэри, он же сказал...

— Это не важно, что бы он там ни сказал, — не в том дело. Важно, чтобы ты была с ним ласкова и не говорила мальчику ничего такого, а то он вспомнит, что он тут всем чужой и далеко от родины.

А я думаю про себя: «И такую-то девушку я позволяю обворовывать этому старому крокодилу!»

Тут и Сюзанна вмешалась: такую задала гонку Заячьей Губе, что мое почтение!

А я думаю про себя: «И эту тоже я позволяю ему бессовестно обворовывать!»

Тогда Мэри-Джейн заговорила с ней совсем по-другому, кротко и ласково, как она всегда говорила; только после этого бедная Заячья Губа стала тише воды, ниже травы и ударилась в слезы.

— Ну вот и хорошо, — сказали ей сестры, — теперь попроси у него прощенья.

Она и прощенья попросила, да еще как вежливо! Так деликатно, что приятно было слушать; мне даже захотелось еще больше ей наврать, чтобы она еще раз попросила прощенья.

Думаю: «Ведь и эту тоже я позволяю ему обворовывать!» А после того как она попросила прощенья, все они принялись хлопотать и стараться, чтобы я почувствовал себя как дома и понял бы, что я среди друзей. А я чувствовал себя такой дрянью, таким

мерзавцем и негодяем, что решил твердо: украду для них эти деньги, а там будь что будет.

И я ушел — будто бы спать, а сам думаю: погожу еще ложиться. Оставшись один, я стал это дело обмозговывать. Думаю себе: пойти, что ли, к этому доктору да донести на моих мошенников? Нет, это не годится. А вдруг он расскажет, кто ему сказал? Тогда мне от короля с герцогом солоно придется. Сказать потихоньку Мэри-Джейн? Нет, лучше не надо. По ее лицу они, конечно, сразу поймут, в чем дело; мешок с золотом у них — они, недолго думая, возьмут да и удерут с деньгами. А если она позовет кого-нибудь на помощь, меня тоже в это дело запутают, когда-то еще там разберутся! Нет, только и есть одно верное средство: надо мне как-нибудь украсть эти деньги, и украсть так, чтобы на меня никто не подумал. У короля с герцогом тут выгодное дельце, они отсюда не уедут, пока не оберут дочиста и этих сирот и весь город, так что я еще сумею выбрать удобное время. Украду деньги и спрячу, а потом, когда уеду вниз по реке, напишу Мэри-Джейн письмо и расскажу, где я их спрятал. А красть все-таки лучше нынче ночью, потому что доктор, наверное, не все сказал, что знает; как бы он их отсюда не спугнул.

Ну, думаю, пойду-ка обыщу их комнаты. Наверху в коридоре было темно, но я все-таки отыскал комнату герцога и начал там все подряд ощупывать; потом сообразил, что вряд ли король отдаст кому-нибудь эти деньги на сохранение, на него что-то не похоже. Пошел в комнату короля и там тоже начал шарить. Вижу, без свечки ничего не выходит, а зажечь, конечно, боюсь. Тогда я решил сделать по-другому: думаю, подстерегу их и подслушаю. И в это самое время вдруг слышу — они идут.

Только я хотел залезть под кровать — сунулся, а она вовсе не там стоит, где я думал; зато мне под руку попалась занавеска, под которой висели платья Мэри-Джейн; я скорей нырнул под нее, зарылся в платья и стою, не дышу.

Они вошли, закрыли за собой дверь, и первым делом герцог нагнулся и заглянул под кровать. Вот

когда я обрадовался, что не нашел вовремя кровати! А ведь как-то само собой получается, что лезешь под кровать, когда дело у тебя секретное.

Оба они уселись, и король сказал:

— Ну, что у вас? Только покорооче, потому что нам надо скорей идти вниз, рыдать вместе со всеми, а то они там начнут сплетничать на наш счет.

— Вот что, Капет. Я все беспокоюсь: не правится мне этот доктор, не выходит он у меня из головы! Хотелось бы знать, какие у вас планы. У меня есть одна мысль, и как будто она правильная.

— Это какая же, герцог?

— Хорошо бы нам убраться отсюда пораньше, часам к трем утра, да поскорей удрать вниз по реке с тем, что у нас уже есть. Досталось-то оно нам уж очень легко, сами, можно сказать, отдали в руки, а ведь мы думали, что придется красть. Я стою за то, чтобы смазывать удочки и удирать поскорей.

Мне прямо-таки стало нехорошо. Какой-нибудь час или два назад было бы совсем другое дело, но теперь я приуныл. Король выругался и сказал:

— Что? А остальное имущество так и не продадим? Уйдем, как дураки, и оставим на восемь, на девять тысяч добра, которое только того и дожидается, чтобы его прибрали к рукам? Да какой все ходкий товар-то!

Герцог начал ворчать, сказал, что довольно и мешка с золотом, а дальше этого он не пойдет — не хочет отнимать у сирот последнее.

— Что вы это выдумали? — говорит король. — Ничего мы у них не отнимем, кроме этих денег. Пострадают-то покупатели: как только выяснится, что имущество не наше, — а это выяснится очень скоро после того, как мы удерем, — продажа окажется недействительной, и все имущество вернется к владельцам. Вот ваши сироты и получают дом обратно, и довольно с них: они молодые, здоровые, что им стоит заработать себе на кусок хлеба! Нисколько они не пострадают. Господь с вами, им жаловаться не на что.

Король так его заговорил, что в конце концов герцог сдался и сказал, что ладно, только добавил:

— Все-таки глупо оставаться в городе, когда этот самый доктор торчит тут, как бельмо на глазу!

А король сказал:

— Плевать нам на доктора! Какое нам до него дело? Ведь все дураки в городе за нас стоят! А дураков во всяком городе куда больше, чем умных.

И они собрались, опять идти вниз. Герцог сказал:

— Не знаю, хорошо ли мы спрятали деньги! Место ненадежное.

Тут я обрадовался. Я уж начал думать, что так ничего и не узнаю, даже и намека не услышу.

Король спросил:

— Это почему же?

— Потому что Мэри-Джейн будет теперь носить траур; того и гляди она велит негритянке, которая убирает комнаты, уложить все эти тряпки в сундук и спрятать куда-нибудь подальше. А что же вы думаете, неужели негритянка увидит деньги и не позарится на них?

— Да, голова у вас работает здорово, — говорит король и начинает шарить под занавеской, в двух шагах от того места, где я стою.

Я прижался к стене вплотную и замер, а сам весь дрожу: думаю, что-то они скажут, если поймают меня! Надо придумать, что же мне все-таки делать, когда меня поймают. Но не успел я додумать эту мысль и до половины, как король нашел мешок с деньгами; ему даже и в голову не пришло, что я тут стою. Потом они взяли да и засунули мешок с золотом в дыру в соломенном тюфяке, который лежал под периной; запили его поглубже в солому, и решили, что теперь все в порядке, потому что негритянка взбивает одну только перину, а тюфяк переворачивает раза два в год, не чаще, так что теперь деньги в сохранности, никто их не украдет.

Ну а я рассудил по-другому. Не успели король с герцогом спуститься с лестницы, как я вытащил мешок, ощупью добрался до своей каморки и спрятал его там, пока не подвернется случай перепрятать в другое место. Я решил, что лучше всего спрятать мешок где-нибудь во дворе, потому что король с герцогом, как

только хватятся денег, прежде всего обыщут весь дом. Это я отлично знал. Потом я лег не раздеваясь, только заснуть все равно не мог — до того мне не терпелось покончить с этим делом. Скоро, слышу, король с герцогом опять поднимаются по лестнице; я кубарем скатился с постели и залег наверху чердачной лестницы — дожидаться, что будет дальше. Только ничего не было.

Я подождал и, когда все ночные звуки затихли, а утренние еще не начинались, потихоньку спустился в нижний этаж.

Глава XXVII

Я подкрался к дверям и прислушался: оба храпели. Тогда я на цыпочках двинулся дальше и благополучно спустился вниз. Нигде не слышно было ни звука. Я заглянул через дверную щелку в столовую и увидел, что все бодрствовавшие при гробе крепко заснули, сидя на своих стульях. Дверь в гостиную, где лежал покойник, была открыта, и в обеих комнатах горело по свечке. Я прошел мимо открытой двери; вижу — в гостиной никого нет, кроме останков Питера, и я двинулся дальше, но парадная дверь оказалась заперта, а ключ из нее вынут. И тут как раз слышу — кто-то спускается по лестнице за моей спиной. Я скорей в гостиную, оглянулся по сторонам — вижу, мешок спрятать некуда, кроме гроба. Крышка немного сдвинулась, так что видно было лицо покойника, закрытое мокрой тряпкой, и саван. Я сунул мешок с деньгами в гроб под крышку, чуть пониже скрещенных рук, и такие они были холодные, что даже мурашки забегали у меня по спине, а потом выскочил из комнаты и спрятался за дверь.

Это была Мэри-Джейн. Она тихо подошла к гробу, опустилась на колени и стала глядеть на покойника; потом поднесла платок к глазам, и я понял, что она плачет, хотя ничего не было слышно, а стояла она ко мне спиной. Я выбрался из-за двери, а когда проходил

мимо столовой, дай, думаю, погляжу, не видел ли меня кто-нибудь из бодрствующих; заглянул в щелку, но все было спокойно. Они даже и не пошевелинулись.

Я шмыгнул наверх и улегся в кровать, чувствуя себя довольно неважно из-за того, что после всех моих трудов и такого риска вышло совсем не так, как я думал. Ну, говорю себе, если деньги останутся там, где они есть, это еще туда-сюда; как только мы отъедем миль на сто, на двести вниз по реке, я напишу Мэри-Джейн, она откопает покойника и возьмет себе деньги; только так, наверно, не получится, а получится, что деньги найдут, когда станут заворачивать крышку. И выйдет, что деньги опять заберет король, а другого такого случая, пожалуй, и не дождешься, чтобы он дал еще раз их стащить. Мне, само собой, очень хотелось прокрасться вниз и взять их оттуда, только я не посмел: с каждой минутой становилось все светлей, скоро зашевелиятся все эти бодрствующие при гробе и того и гляди поймают меня — поймают с шестью тысячами на руках, а ведь никто меня не просил об этих деньгах заботиться. Нет уж, говорю себе, я вовсе не желаю, чтобы меня припутали к такому делу.

Когда я сошел вниз утром, дверь в гостиную была закрыта и все посторонние ушли. Остались только свои да вдова Бартли и наша компания. Я стал смотреть — может, по лицам замечу, не случилось ли чего-нибудь особенного, — только ничего не мог разобрать.

В середине дня пришел гробовщик со своим помощником; они поставили гроб посреди комнаты на двух стульях, а все остальные стулья расставили рядами, да еще признавали у соседей, так что и в гостиной, и в столовой, и в передней — везде было полно стульев. Я заметил, что крышка гроба лежит так же, как вчера, только не посмел заглянуть под нее, раз кругом был народ.

Потом начали сходиться приглашенные, и оба помощника вместе с девушками уселись в переднем ряду, у изголовья гроба; и целых полчаса люди вереницей медленно проходили мимо гроба и глядели на покойника, а некоторые роняли слезу; и все было очень тихо

и торжественно, только девушки и оба мошенника прикладывали платки к глазам и, опустив голову, потихоньку всхлипывали. Ничего не было слышно, кроме шарканья ног по полу да сморканья, — потому что на похоронах всегда сморкаются чаще, чем где бы то ни было, кроме церкви.

Когда в дом набилось полно народу, гробовщик в черных перчатках, этаким мягкий и обходительный, осмотрел все кругом, двигаясь неслышно, как кошка, и поправляя что-то напоследок, чтобы все было в полном порядке, чинно и благородно. Он ничего не говорил: разводил гостей по местам, втискивал куда-нибудь опоздавших, раздвигал толпу, чтобы дали пройти, и все это кивками и знаками, без единого слова. Потом он стал на свое место у стенки. Я отродясь не видывал такого тихого, незаметного и вкрадчивого человека, а улыбался он не чаще копченого окорока.

Они заняли у кого-то фисгармонию, совсем расстроенную, и, когда все было готово, какая-то молодая женщина села и заиграла на ней; хрипу и визгу было сколько угодно, да еще все запели хором, — так что, по-моему, одному только Питеру и было хорошо. Потом его преподобие мистер Гобсон приступил к делу — медленно и торжественно начал говорить речь; но только он начал, как в подвале поднялся страшнейший визг, просто неслыханный; это была всего-навсего одна собака, но шум она подняла невыносимый и лаяла не умолкая, так что пастору пришлось замолчать и дожидаться, стоя возле гроба, — ничего нельзя было расслышать, даже что ты сам думаешь. Получилось очень неловко, и никто не знал, как тут быть. Однако долговязый гробовщик опомнился первый и закивал пастору, словно говоря: «Не беспокойтесь, я все устрою». Он стал пробираться по стенке к выходу, весь согнувшись, так что над головами собравшихся видны были одни его плечи. А пока он пробирался, шум и лай стали все громче и неистовей; наконец, обойдя комнату, гробовщик скрылся в подвале. Секунды через две мы услышали сильный удар, собака оглушительно взвыла еще раз или два, и все стихло — наступила мертвая тишина, и пастор продолжал свою торже-

ственную речь с того самого места, на котором остановился. Минуту-другую спустя возвращается гробовщик, и опять его плечи пробираются по стенке; он обошел три стороны комнаты, потом выпрямился, прикрыл рот рукой и, вытянув шею, хриплым шепотом сообщил пастору через головы толпы: «Она поймала крысу!» После этого он опять согнулся и по стенке пробрался на свое место. Заметно было, что всем это доставило большое удовольствие — им, само собой, хотелось узнать, в чем дело. Такие пустяки человеку ровно ничего не стоят, зато как раз такими пустяками и приобретается общее уважение и любовь. Никого другого в городе так не любили, как этого самого гробовщика.

Надгробное слово было хорошее, только уж очень длинное и скучное; а там и король полез туда же: выступил с речью и понес, как всегда, чепуху; а потом гробовщик стал подкрадываться к гробу с отверткой. Я сидел как на иголках и смотрел на него во все глаза. А он даже и не заглянул в гроб: просто надвинул крышку без всякого шума и крепко-накрепко завинтил ее. С тем я и остался! Так и не узнал, там ли деньги, или их больше там нет. А что, думаю, если их кто-нибудь спер потихоньку? Почему я знаю — писать теперь Мэри-Джейн или нет? Вдруг она его откопает, а денег не найдет, что она тогда обо мне подумает? Ну его к черту, думаю, а то еще погонятся за мной, да и посадят в тюрьму; лучше уж мне держать язык за зубами и ничего ей не писать; все теперь ужасно запуталось: я хотел сделать лучше, а вышло во сто раз хуже; нечего мне было за это и браться, провались оно совсем!

Питера похоронили, мы вернулись домой; и я опять стал смотреть, не замечу ли чего-нибудь по лицам, — никак не мог удержаться, и успокоиться тоже не мог: по лицам ничего не было заметно.

Вечером король ходил по гостям и всех утешал и ко всем навязывался со своей дружбой, а между прочим давал понять, что его паства там, в Англии, ждет его не дождется, так что ему нужно поторапливаться: уладить все дела с имуществом, да и ехать домой. Он

очень жалел, что приходится так спешить, и всем другим тоже было очень жалко: им хотелось, чтобы он погостил подольше, только они не знали, как это устроить. Он, конечно, говорил, будто бы они с Уильямом собираются взять девочек с собой в Англию; и все этому радовались, потому что девочки будут с родными и хорошо устроены; девочки тоже были довольны и так этому радовались, что совсем позабыли про свои несчастья, — одно только и говорили: пускай король продает все поскорей, а они будут собираться. Бедняжки так были довольны и счастливы, что у меня сердце разрывалось, глядя, как их оплетают и обманывают, но только я не видел никакой возможности вмешаться и что-нибудь в этом деле переменить.

Провалиться мне, если король тут же не назначил и дом и негров к продаже с аукциона — через два дня после похорон! Но кто хотел, тот мог купить и раньше, частным образом. И вот на другой день после похорон, часам к двенадцати, радость девочек в первый раз омрачилась. Явилось двое торговцев неграми, и король продал им негров за хорошую цену, с уплатой по чеку в трехдневный срок, — так это полагалось, — и они увезли двоих сыновей вверх по реке, в Мемфис, а их мать — вниз по реке, в Новый Орлеан. Я думал, что и у бедных девочек и у негров сердце разорвется от горя; они так плакали и так обнимались, что я и сам расстроился, на них глядя. Девочки говорили, что им даже и не снилось, чтобы семью разделили или продали куда-нибудь далеко, не тут же, в городе. Никогда не забуду, как несчастные девочки и эти негры обнимали друг друга и плакали, все это так и стоит у меня перед глазами; я бы наверняка не вытерпел, не стал бы молчать и донес на нашу шайку, если бы не знал, что продажа недействительна и негры через неделю другую вернутся домой.

Эта продажа наделала в городе много шума; большинство было решительно против: говорили, что просто позор — разлучать мать с детьми. Нашим мошенникам это сильно подорвало репутацию, но старый дурак все равно гнул свою линию, что ему ни говорил

герцог, а герцог, по всему было видно, сильно встревожился.

На следующий день был аукцион. Утром, как только совсем рассвело, король с герцогом поднялись ко мне на чердак и разбудили меня; и по одному их виду я сразу понял, что дело неладно. Король спросил:

— Ты был у меня в комнате позавчера вечером?

— Нет, ваше величество. (Я всегда его так называл, если никого чужих не было.)

— А вчера вечером ты там был?

— Нет, ваше величество.

— Только по-честному — не врать!

— По-честному, ваше величество. Я вам правду говорю. Я даже и не подходил к вашей комнате, после того как мисс Мэри-Джейн показывала ее вам и герцогу.

Герцог спросил:

— А ты не видел — входил туда кто-нибудь или нет?

— Нет, ваша светлость, что-то не припомню.

— Так подумай, вспомни!

Я задумался и вижу, что случай подходящий; потом говорю:

— Да, я видел, как негры туда входили, и не один раз.

Оба так и подскочили на месте, и вид у них был сначала такой, будто бы они этого не ожидали, а потом — будто бы ожидали именно этого. Герцог спросил:

— Как? Все сразу?

— Нет, не все сразу... то есть я, кажется, не видел, чтобы они все оттуда выходили, вот только, пожалуй, один раз...

— Ну-ну? Когда же это было?

— В тот день, когда были похороны. Утром. Только не очень рано, потому что я тогда проспал. Я только что хотел сойти вниз по лестнице — и увидел их.

— Ну, дальше, дальше! Что они делали? Как себя держали?

— Ничего не делали. И, по-моему, никак особенно себя не держали. Они вышли оттуда на цыпочках; должно быть, ходили убирать комнату вашего величества или еще зачем-нибудь, — думали, что вы уже встали; а как увидели, что вы еще спите, решили убраться поскорее от греха, чтобы не разбудить вас, не потревожить.

— Ах черт, вот так штука! — сказал король, и оба они с герцогом смотрели растерянно и довольно-таки глупо.

С минуту они стояли в раздумье, почесывая головы, а потом герцог засмеялся таким скрипучим смехом и говорит:

— Нет, вы только подумайте, как эти негры ловко разыграли комедию! Прикинулись, будто им жалко уезжать из этих мест! И я тоже поверил, что им жалко, и вы поверили, да и все остальные. И не говорите мне после этого, что у негров нет актерского таланта! Ведь вот какие комедiantы, просто кого угодно одурачили бы! На мой взгляд, мы их дешево отдали. Будь у меня капитал и свой театр, мне бы и не надо лучших актеров, — а тут мы взяли да и продали их чуть не даром, за какие-то гроши. Да еще и гроши-то пока не наши. Послушайте, а где же эти гроши, где этот самый чек?

— В банке лежит, дожидается срока. А где же ему быть?

— Ну, тогда все в порядке, слава богу.

Я прикинулся, будто бы оробел, а сам спрашиваю:

— Что-нибудь случилось?

Король набросился на меня с руганью:

— Не твое дело! Знай помалкивай и заботься о своих делах, если они у тебя есть! Да смотри помни это, пока ты здесь, в городе, — слышишь? — А потом говорит герцогу: — Ничего не поделаешь, придется стерпеть; будем держать язык за зубами, вот и все.

Они стали спускаться по лестнице, и тут герцог опять засмеялся и говорит:

— Быстро продали, да мало нажили! Выгодное дельце — нечего сказать!

Король огрызнулся на него:

— Я же старался, думал, что лучше будет поскорей их продать! А если прибыли никакой не оказалось и убыток большой, а в итоге — нуль, то я виноват не больше вашего.

— Да, а если бы послушались моего совета, то негры остались бы в доме, а нас бы тут не было.

Король огрызнулся, однако соблюдая осторожность, а потом переменял направление и опять набросился на меня. Он задал мне хорошую трепку: я не доложил ему, что негры вышли из его комнаты на цыпочках, — и сказал, что всякий дурак на моем месте догадался бы, что дело нечисто. А потом стал и себя ругать: будто бы все это оттого и вышло, что он поднялся в то утро ни свет ни заря, даже не отдохнул как следует, и будь он проклят, если когда-нибудь еще встанет рано. И они ушли, переругиваясь; а я очень обрадовался, что удалось это дело свалить на негров, да еще так ловко, что им это нисколько не повредило.

Глава XXVIII

А там, гляжу, пора и вставать. Я спустился с чердака и пошел было вниз; но когда проходил мимо комнаты девочек, то увидел, что дверь в нее открыта, а Мэри-Джейн сидит перед своим раскрытым сундуком и укладывает в него вещи — собирается в Англию. Только в ту минуту она не укладывала, а сидела со сложенным платьем на коленях и плакала, закрыв лицо руками. Я очень расстроился, глядя на нее, да и всякий на моем месте расстроился бы. Я вошел к ней в комнату и говорю:

— Мисс Мэри-Джейн, вы не можете видеть людей в несчастье, и я тоже иной раз не могу. Скажите, что такое случилось?

И она рассказала. Конечно, это было из-за негров, так я и знал. Она говорила, что теперь и поездка в Англию для нее все равно что пропала: как она может там веселиться, когда знает, что мать никогда больше

не увидится со своими детьми! А потом расплакалась пуще прежнего, всплеснула руками и говорит:

— Ах, боже мой, боже! Подумать только, что они больше никогда друг с другом не увидятся!

— Увидятся, еще и двух недель не пройдет, — я-то это знаю! — говорю я.

Вот тебе и на! Сорвалось с языка, я и подумать не успел. И не успел я пошевелинуться, как она бросилась ко мне на шею и говорит:

— Повтори это еще раз, и еще, и еще!

Вижу, я проговорился сгоряча да еще наговорил лишнего, а как выпутаться — не знаю. Я попросил, чтобы она дала мне подумать минутку; а ей не терпится — сидит такая взволнованная, красивая, и такая радостная и довольная, будто ей зуб вырвали. Вот я и принялся раскидывать умом. Думаю: по-моему, человек, который возьмет да и скажет правду, когда его припрут к стенке, здорово рискует; ну, сам я этого не испытал, так что наверняка сказать не могу, но все-таки похоже на то; а тут такой случай, что, ей-богу, лучше сказать правду, да оно и не так опасно, как со-врать. Надо будет запомнить это и обдумать как-нибудь на свободе: что-то уж очень трудно, против всяких правил. Такого мне еще видеть не приходилось. Ну, думаю, была не была: возьму да и скажу на этот раз правду, хотя это все равно что сесть на бочонок с порохом и взорвать его из любопытства — куда полетишь? И я сказал:

— Мисс Мэри-Джейн, нет ли у вас знакомых за городом, куда вы могли бы поехать погостить денька на три, на четыре?

— Да, к мистеру Лотропу. А зачем?

— Пока это не так важно, зачем. А вот если я вам скажу, откуда я узнал, что ваши негры увидятся со своей матерью недели через две здесь, в этом самом доме, и докажу, что я это знаю, — поедете вы гостить к мистеру Лотропу дня на четыре?

— Дня на четыре! — говорит она. — Да я год там прогощу!

— Хорошо, — говорю я, — кроме вашего слова, мне больше ничего не нужно. Другой бы поклялся на

библии — и то я ему не так поверил бы, как одному вашему слову.

Она улыбнулась и очень мило покраснела, а я сказал:

— С вашего позволения, я закрою дверь и запру ее.

Потом я вернулся, опять сел и сказал:

— Только не кричите. Сидите тихо и выслушайте меня, как мужчина. Я должен вам сказать правду, а вам надо взять себя в руки, мисс Мэри, потому что правда эта неприятная и слушать ее будет тяжело, но ничего не поделаешь. Эти ваши дядюшки вовсе не дядюшки, а мошенники, настоящие бродяги. Ну вот, хуже этого ничего не будет, остальное вам уже легко будет вытерпеть.

Само собой, это ее здорово потрясло; только я-то уже снялся с мели и дальше валял напрямик и все дочиста ей выложил, так что у нее только глаза засверкали; все рассказал, начиная с того, как мы повстречали этого молодого дурня, который собирался на пароход, и до того, как она бросилась на шею королю перед своим домом и он поцеловал ее раз двадцать подряд. Тут лицо у нее все вспыхнуло, словно небо на закате, она вскочила да как закричит:

— Ах он скотина! Ну что ж ты? Не трать больше ни минуты, ни секунды — вымазать их смолой, обвалять в перьях и бросить в реку!

Я говорю:

— Ну конечно. Только вы когда хотите это сделать: до того, как вы поедете к мистеру Лотрону, или...

— Ах, — говорит она, — о чем я только думаю! — и опять садится. — Не слушай меня, пожалуйста... не будешь, хорошо? — и кладет свою шелковистую ручку мне на руку, да так ласково, что я растаял и на все согласился. — Я и не подумала, так была взволнована, — говорит она, — а теперь продолжай, я больше не буду. Скажи мне, что делать, и как ты скажешь, так я и поступлю.

— Так вот, — говорю я, — они, конечно, настоящее жулье, оба эти проходимца, только так уж вышло, что мне с ними вместе придется ехать и дальше, хочу я

этого или нет, — а почему, лучше не спрашивайте; а если вы про них расскажете, то меня, конечно, вырвут у них из лап; мне-то будет хорошо, только есть один человек, — вы про него не знаете, — так вот он попадет в большую беду. Нам нужно его спасти, верно? Ну разумеется. Так вот и не будем про них ничего говорить.

И тут мне в голову пришла неплохая мысль. Я сообразил, как мы с Джимом могли бы избавиться от наших мошенников: засадить бы их здесь в тюрьму, а самим убежать. Только мне не хотелось плыть одному на плоту днем, чтобы все ко мне приставали с вопросами, поэтому я решил подождать с этим до вечера, когда совсем стемнеет. Я сказал:

— Мисс Мэри-Джейн, я вам скажу, что мы сделаем, и вам, может быть, не придется так долго гостить у мистера Лотропа. Это далеко отсюда?

— И четырех миль не будет — сейчас же за городом, на этой стороне.

— Ну, это дело подходящее. Вы теперь поезжайте туда и сидите спокойно до девяти вечера или до половины десятого, а потом попросите отвезти вас домой, будто бы забыли что-нибудь. Если вы вернетесь домой до одиннадцати, поставьте свечку вот на это окно, и если я после этого не приду — значит, я благополучно уехал и в безопасности. Тогда вы пойдите и расскажите все, что знаете: пускай этих жуликов засадят в тюрьму.

— Хорошо, — говорит она. — Я так и сделаю.

— А если я все-таки не уеду и меня заберут вместе с ними, то вы возьмите и скажите, что я это все вам уже рассказывал, и заступитесь за меня как следует.

— Заступиться! Конечно я заступлюсь! Тебя и пальцем никто не посмеет тронуть! — говорит она, и, вижу, ноздри у нее раздуваются, а глаза так и сверкают.

— Если меня здесь не будет, — говорю я, — то я не смогу доказать, что эти жулики вам не родня, да если б я и был здесь, то все равно не мог бы. Я могу, конечно, присягнуть, что они мошенники и бродяги, —

вот и все, хотя и это чего-нибудь да стоит. Ну что ж, найдутся и другие, они не то, что я, — это такие люди, которых никто подозревать не будет. Я вам скажу, где их найти. Дайте мне карандаш и клочок бумаги. Вот: «Королевский Жираф» Бриксвилл». Спрячьте эту бумажку, да не потеряйте ее. Когда суду понадобится узнать, кто такие эти двое бродяг, пускай пошлют в Бриксвилл и скажут там, что поймали актеров, которые играли «Королевского Жирафа», и попросят, чтобы прислали свидетелей, — весь город сюда явится, мисс Мэри, не успеете глазом моргнуть. Да еще явятся-то злые-презлые!

Я решил, что теперь мы обо всем договорились как следует, и продолжал:

— Пускай аукцион идет своим порядком, вы не беспокойтесь. Никто не обязан платить за купленные вещи в тот же день, а они не собираются уезжать отсюда, пока не получают денег; но мы всё так устроили, что продажа не будет считаться действительной и никаких денег они не получают. Выйдет так же, как с неграми: продажа недействительна, и негры скоро вернутся домой. Да и за негров они тоже ничего не получают. Вот влопались-то они, мисс Мэри, хуже некуда!

— Ну, хорошо, — говорит она, — я сейчас пойду завтракать, а оттуда уж прямо к мистеру Лотрону.

— Нет, это не дело, мисс Мэри-Джейн, — говорю я, — так ничего не выйдет; поезжайте до завтрака.

— Почему же?

— А как, по-вашему, мисс Мэри, почему я вообще хотел, чтоб вы уехали?

— Я как-то не подумала; да и все равно не знаю. А почему?

— Да потому, что вы не то, что какие-нибудь телстокожие. У вас по лицу все можно прочесть, как по книжке. Всякий сразу разберет, точно крупную печать. И вы думаете, что можете встретиться с вашими дядюшками? Они подойдут пожелать вам доброго утра, поцелуют вас, а вы...

— Довольно, довольно! Ну-ну, не надо! Я уеду до завтрака, с радостью уеду! А как же я оставлю с ними сестер?

— Ничего, не беспокойтесь. Им придется потерпеть еще немножко. А то как бы эти мошенники не пронюхали, в чем дело, если вы все сразу уедете. Надо вам с ними видаться, и с сестрами тоже, да и ни с кем в городе; если соседка спросит, как ваши дядюшки себя чувствуют нынче утром, по вашему лицу все будет видно. Нет, вы уж поезжайте сейчас, мисс Мэри-Джейн, а я тут с ними как-нибудь улажу дело. Я скажу мисс Сюзанне, чтобы она от вас кланялась дядюшкам и передала, что вы уехали ненадолго, отдохнуть и переменить обстановку или повидаться с подругой, а вернетесь к вечеру или завтра утром.

— Повидаться с подругой — это можно, но я не хочу, чтобы им от меня кланялись.

— Ну, не хотите, так и не надо.

Отчего же и не сказать ей этого, ничего плохого тут нет. Такие пустяки сделать нетрудно, и хлопот никаких; а ведь пустяки-то и помогают в жизни больше всего; и Мэри-Джейн будет спокойна, и мне это ничего не стоит. Потом я сказал:

— Есть еще одно дело: этот самый мешок с деньгами.

— Да, он теперь у них, и я ужасно глупо себя чувствую, когда вспоминаю, как он к ним попал.

— Нет, вы ошибаетесь. Мешок не у них.

— Как? А у кого же он?

— Да я теперь и сам не знаю. Был у меня, потому что я его украл у них, чтобы отдать вам; и куда я спрятал мешок, это я тоже знаю, только боюсь, что там его больше нет. Мне ужасно жалко, мисс Мэри-Джейн, просто не могу вам сказать, до чего жалко! Я старался сделать как лучше — честное слово, старался! Меня чуть-чуть не поймали, и пришлось сунуть мешок в первое попавшееся место, а оно совсем не годится.

— Ну, перестань себя винить, это не нужно, и я этого не позволяю; ты же иначе не мог — и, значит, ты не виноват. Куда же ты его спрятал?

Мне не хотелось, чтоб она опять вспоминала про свои несчастья, и язык у меня никак не поворачивался. Думаю, начну рассказывать, и она представит себе

покойника, который лежит в гробу с этим мешком на животе. И я, должно быть, с минуту молчал, а потом сказал ей:

— С вашего позволения, мне бы не хотелось говорить, куда я его девал, мисс Мэри-Джейн. Я вам лучше напишу на бумажке, а вы, если захотите, прочтете мою записку по дороге к мистеру Лотропу. Ну как, согласны?

— Да, согласна.

И я написал: «Я положил его в гроб. Он был там, когда вы плакали возле гроба поздно ночью. Я тогда стоял за дверью, и мне вас было очень жалко, мисс Мэри-Джейн».

Я и сам чуть не заплакал, когда вспомнил, как она плакала у гроба одна, поздней ночью; а эти мерзавцы спят тут же, у нее в доме, и ее же собираются ограбить! Потом сложил записку, отдал ей и вижу — у нее тоже слезы выступили на глазах. Она пожала мне руку крепко-крепко и говорит:

— Всего тебе хорошего! Я все так и сделаю, как ты мне говоришь; а если мы с тобой больше не увидимся, я тебя никогда не забуду, часто-часто буду о тебе думать и молиться за тебя! — И она ушла.

Молиться за меня! Я думаю, если б она меня знала как следует, так взялась бы за что-нибудь полегче, себе по плечу. И все равно, должно быть, она за меня молилась — вот какая это была девушка! У нее хватило бы духу молиться и за Иуду; захочет — так ни перед чем не отступит! Говорите, что хотите, а, я думаю, характера у нее было больше, чем у любой другой девушки; я думаю, по характеру она сущий камень. Это похоже на лесть, только лести тут нет ни капельки. А уж что касается красоты, да и доброты тоже, куда до нее всем прочим! Как она вышла в ту дверь, так я и не видел ее больше, ни разу не видел! Ну а вспоминал про нее много-много раз — миллионы раз! — и про то, как она обещала молиться за меня; а если б я думал, что от моей молитвы ей может быть какой-нибудь прок, то, вот вам крест, стал бы за нее молиться!

Мэри-Джейн вышла, должно быть, с черного хода, потому что никто ее не видал. Как только я наткнулся на Сюзанну и Заячью Губу, я сейчас же спросил их:

— Как фамилия этих ваших знакомых, к которым вы ездите в гости, еще они живут за рекой?

Они говорят:

— У нас там много знакомых, а чаще всего мы ездим к Прокторам.

— Фамилия эта самая, — говорю, — а я чуть ее не забыл. Так вот, мисс Мэри велела вам сказать, что она к ним уехала, и страшно спешила — у них кто-то заболел.

— Кто же это?

— Не знаю, что-то позабыл; но как будто это...

— Господи, уж не Ханна ли?

— Очень жалко вас огорчать, — говорю я, — но только это она самая и есть.

— Боже мой, а ведь только на прошлой неделе она была совсем здорова! И опасно она больна?

— Даже и сказать нельзя — вот как больна! Мисс Мэри-Джейн говорила, что родные сидели около нее всю ночь, — боятся, что она и дня не проживет.

— Подумать только! Что же с ней такое?

Так сразу я не мог придумать ничего подходящего и говорю:

— Свинка.

— У бабушки твоей свинка! Если б свинка, так не стали бы около нее сидеть всю ночь!

— Не стали бы сидеть? Скажет тоже! Нет, знаешь ли, с такой свинкой обязательно сидят. Эта свинка совсем другая. Мисс Мэри-Джейн сказала — какая-то новая.

— То есть как это — новая?

— Да вот так и новая, со всякими осложнениями.

— С какими же это?

— Ну, тут и корь, и коклюш, и рожа, и чахотка, и желтуха, и воспаление мозга, да мало ли еще что!

— Ой, господи! А называется свинка?

— Так мисс Мэри-Джейн сказала.

— Ну а почему же все-таки она называется свинкой?

— Да потому, что это и есть свинка. С нее и начинается.

— Ничего не понимаю, чушь какая-то! Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодезь и сломает себе шею и кто-нибудь придет и спросит, отчего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать: «Оттого, что ушиб себе палец». Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого. И тут тоже никакого смысла нет, просто чушь. А она заразная?

— Заразная? Это все равно как борона: пройдешь мимо в темноте, так непременно зацепишься — не за один зуб, так за другой, ведь верно? И никак не отцепишься от этого зуба, а еще всю борону за собой потащишь, верно? Ну так вот эта свинка, можно сказать, хуже всякой бороны: прицепится, так не скоро отцепишь.

— Это просто ужас что такое! — говорит Заячья Губа. — Я сейчас пойду к дяде Гарви и...

— Ну конечно, — говорю я, — как не пойти! Я бы на твоём месте пошел. Ни минуты не стал бы терять.

— А почему же ты не пошел бы?

— Подумай, может сама сообразишь. Ведь твоим дядюшкам нужно уезжать к себе в Англию как можно скорее. А как же ты думаешь: могут они сделать такую подлость — уехать без вас, чтобы вы потом всю дорогу ехали одни? Ты же знаешь, что они станут вас дожидаться. Теперь дальше. Твой дядя Гарви проповедник. Очень хорошо. Так неужели проповедник станет обманывать пароходного агента? Неужели он станет обманывать судового агента, для того чтобы они пустили мисс Мэри на пароход? Нет, ты знаешь, что не станет. А что же он сделает? Скажет: «Очень жаль, но пускай церковные дела обходятся как-нибудь без меня, потому что моя племянница заразилась этой самой множественной свинкой и теперь мой священный долг — сидеть здесь три месяца и дожидаться, заболит она или нет». Но ты ни на что не обращай внимания, если, по-твоему, надо сказать дяде Гарви...

— Еще чего! А потом будем сидеть тут, как дураки, дожидаться, пока выяснится — заболеет Мэри-Джейн или нет, — вместо того чтобы всем вместе поселиться в Англии. Глупость какую выдумал!

— А все-таки, может сказать кому-нибудь из соседей?

— Скажет тоже! Такого дурака я еще не видывала! Как же ты не понимаешь, что они пойдут и всё выболтают. Одно только и остается — совсем никому не говорить.

— Что ж, может ты и права... да, должно быть, так и надо.

— Только все-таки, по-моему, надо сказать дяде Гарви, что она уехала ненадолго, а то он будет беспокоиться.

— Да, мисс Мэри-Джейн так и хотела, чтобы вы ему сказали. «Передай им, говорит, чтобы кланялись дяде Гарви и Уильяму и поцеловали их от меня и сказали, что я поехала за реку к мистеру... к мистеру...» Как фамилия этих богачей, еще ваш дядя Питер очень их уважал? Я говорю про тех, что...

— Ты, должно быть, говоришь про Апторпов?

— Да, да, верно... Ну их совсем, эти фамилии, никогда их почему-то не вспомнишь вовремя! Так вот, она велела передать, что уехала к Апторпам — попросить их, чтобы они непременно приехали на аукцион и купили этот дом; дядя Питер так и хотел, чтобы дом достался им, а не кому-нибудь другому; она сказала, что не отвяжется от них, пока не согласятся, а после того, если она не устанет, вернется домой; а если устанет, то приедет домой утром. Она не велела ничего говорить насчет Прокторов, а про одних только Апторпов — и это сушая правда, потому что она и туда тоже заедет сказать насчет дома; я-то это знаю, потому что она сама мне так сказала.

— Ну, хорошо, — сказали девочки и побежали скорей ловить своих дядюшек да передавать им поклоны, поцелуи и всякие поручения.

Теперь все было в порядке. Девочки ничего не скажут, потому что им хочется в Англию; а король с герцогом будут очень довольны, что Мэри-Джейн уехала

хлопотать для аукциона, а не осталась тут, под рукой у доктора Робинсона. Я и сам радовался. «Вот, думаю, ловко обделал дельце! Пожалуй, у самого Тома Сойера так не вышло бы. Конечно, он бы еще чего-нибудь прибавил для фасона, да я по этой части не мастак — не получил такого образования».

Ну, к концу дня на городской площади начался аукцион и тянулся долго-долго, а наш старикашка тоже вертелся возле аукционера и то и дело вставлял какое-нибудь благочестивое слово или что-нибудь из писания, и герцог тоже гугукал в знак сочувствия, как умел, и вообще старался всем угодить.

Но время помаленьку шло, аукцион тянулся да тянулся, и в конце концов все было распродано, — все, кроме маленького участка земли на кладбище. Они старались и его сбыть с рук — этому королю хотелось все сразу заглотать, точно какому-нибудь верблюду. Ну а пока они этим занимались, подошел пароход, а минуты через две, смотрю, с пристани валит толпа с ревом, с хохотом, с воем и выкрикивает:

— Вот вам и конкуренты! Вот вам и еще парочка наследников Питера Уилкса! Платите деньги, выбирайте, кто больше нравится!

Глава XXIX

Они вели очень приятного на вид старичка и другого, тоже очень приятного джентльмена, помоложе, с рукой на перевязи. Господи, как же они вопили и хохотали! И вообще потешались ужасно. Я-то в этом ничего смешного не видел, да и королю с герцогом тоже было не до смеха; я, признаться, думал, что они струсят. Однако не тут-то было: несколько они не струсили. Герцог прикинулся, будто бы он знать не знает, что делается, расхаживал себе, веселый и довольный, да гугукал, словно кувшин, в котором болтается пахтанье; а король — тот все глядел и глядел на них с такой скорбью, будто сердце у него обливается кровью при одной мысли, что на свете могут

существовать такие мерзавцы и негодяи. Это у него получалось замечательно. Все, кто поважней, собрались вокруг короля, давая понять, что они на его стороне. Этот старичок, который только что приехал, видно совсем растерялся. Потом он начал говорить, и я сразу же увидел, что он выговаривает, как англичанин, а не так, как король, хотя и у короля тоже для подделки получалось неплохо. Точно передать его слова я не берусь, да у меня так и не выйдет. Он повернулся к толпе и сказал что-то приблизительно в таком роде:

— Я не предвидел такой неожиданности и, признаюсь прямо и откровенно, плохо к ней подготовлен, потому что нам с братом очень не повезло! Он сломал руку, и наш багаж по ошибке выгрузили прошлой ночью в другом городе. Я брат Питера Уилкса — Гарви, а это — его брат Уильям, глухонемой; он не говорит и не слышит, а теперь, когда у него действует только одна рука, не может делать и знаков. Мы — те самые, за кого себя выдаем; и через день-другой, когда мы получим багаж, я сумею доказать это. А до тех пор я ничего больше не скажу, отправлюсь в гостиницу и буду ждать там.

И они вдвоем с этим новым болванчиком ушли; а король как расхохочется и начал издеваться:

— Ах, он сломал себе руку! До чего похоже на правду, верно? И до чего кстати для обманщика, если он не знает азбуки глухонемых. Багаж у них пропал? О-очень хорошо! И очень даже ловко — при таких обстоятельствах!

И король опять засмеялся, и все остальные тоже, кроме троих, четверых, ну, может, пятерых. Один из них был тот самый доктор, а другой — быстроглазый джентльмен со старомодным саквояжем из ковровой материи; он только что сошел с парохода; они тихонько разговаривали с доктором, время от времени поглядывая на короля и кивая друг другу; это был адвокат Леви Белл, который ездил по делам в Лунсвилл; а третий был здоровенный, широкоплечий детина, который подошел поближе и внимательно выслушал все,

что говорил старичок, а теперь слушал, что говорит король.

А когда король замолчал, этот широкоплечий и говорит:

— Послушайте-ка, если вы Гарви Уилкс, когда вы приехали сюда, в город?

— Накануне похорон, друг, — говорит король.

— А в какое время дня?

— Вечером, за час или за два до заката.

— На чем вы приехали?

— Я приехал на «Сьюзен Поэл» из Цинциннати.

— Ну, а как же это вы оказались утром возле мыса в лодке?

— Меня не было утром возле мыса.

— Враки!

Несколько человек подбежали к нему и стали упрашивать, чтобы он был повежливее со старым человеком, с проповедником.

— Какой он к черту проповедник! Он мошенник и все врет! Он был на мысу тогда утром. Я живу там, знаете? Ну вот, я там был, и он тоже там был. Я его видел. Он приехал в лодке с Тимом Коллинсом и еще с каким-то мальчишкой.

Тут доктор вдруг и говорит:

— А вы узнали бы этого мальчика, Хайнс, если бы еще раз его увидели?

— Думаю, что узнал бы, но не совсем уверен. Да вот он стоит, я его сразу узнал, — и он показал на меня.

Доктор говорит:

— Ну, друзья, я не знаю, мошенники новые приезжие или нет, но если эти двое не мошенники, тогда я идиот, вот и все! По-моему, надо за ними приглядывать, чтобы они не сбежали, пока мы в этом деле не разберемся. Идемте, Хайнс, и вы все идите. Отведем этих молодчиков в гостиницу и устроим очную ставку с теми двумя. Я думаю, нам не придется долго разбираться — сразу будет видно, в чем дело.

Для толпы это было настоящее удовольствие, хотя друзья короля, может, и остались не совсем довольны. Время было уже к закату. Доктор вел меня за руку и

был со мной довольно ласков, хотя ни на минуту не выпускал мою руку.

В гостинице мы все вошли в большую комнату, зажгли свечи и позвали этих новых. Прежде всего доктор сказал:

— Я не хочу быть слишком суровым к тем двоим, но все-таки думаю, что они самозванцы и, может быть, у них есть и еще сообщники, которых мы не знаем. А если есть, то разве они не могут удрать, захватив мешок с золотом, который остался после Питера Уилкса? Возможно. А если они не мошенники, то пускай пошлют за этими деньгами и отдадут их нам на сохранение до тех пор, пока не выяснится, кто они такие, верно?

Все с этим согласились. Ну, думаю, взяли они в оборот нашу компанию, да еще как сразу круто повернули дело! Но король только посмотрел на них с грустью и говорит:

— Господа, я был бы очень рад, если бы деньги были тут, потому что я вовсе не желаю препятствовать честному, открытому и основательному расследованию этого прискорбного случая; но, увы, этих денег больше нет: можете послать кого-нибудь проверить, если хотите.

— Где же они тогда?

— Да вот, когда племянница отдала золото мне на сохранение, я взял и сунул его в соломенный тюфяк на своей кровати — не хотелось класть деньги в банк на несколько дней; я думал, что кровать, пока мы здесь, надежное место, потому что мы не привыкли к неграм, — думал, что они честные, такие же, как слуги у нас в Англии. А негры взяли да и украли их в то же утро, после того как я сошел вниз; к тому времени как я продал негров, я еще не успел хватиться этих денег, — они так и уехали с ними. И мой слуга вам то же скажет, джентльмены.

Доктор и еще кое-кто сказали: «Чепуха!» Да и остальные, вижу, не очень-то поверили королю. Один меня спросил, видел ли я, как негры украли золото. Я говорю:

— Нет, не видел, зато видел, как они потихоньку выбрались из комнаты и ушли поскорей; только я ничего такого не думал, а подумал, что они побоялись разбудить моего хозяина и хотели убежать, пока им от него не влетело.

Больше у меня ничего не спрашивали. Тут доктор повернулся ко мне и говорит:

— А ты тоже англичанин?

Я сказал, что да; а он и еще другие засмеялись и говорят:

— Враки!

Ну а потом они взялись за это самое расследование, и тут такая началась канитель! Часы шли за часами, а насчет ужина никто ни слова не говорил — и думать про него забыли. А они всё расследовали да расследовали, и вышла в конце концов такая путаница, что хуже быть не может. Они заставили короля рассказать все по-своему; а потом приезжий старичок рассказал все по-своему; и тут уж всякий, кроме разве самого предубежденного болвана, увидел бы, что приезжий старичок говорит правду, а наш — врет. А потом они велели мне рассказать, что я знаю. Король со злостью покосился на меня, и я сразу сообразил, чего мне надо держаться. Я начал было рассказывать про Шеффильд, и про то, как мы там жили, и про английских Уилксов, и так далее; и еще не очень много успел рассказать, как доктор захохотал, а Леви Белл, адвокат, остановил меня:

— Садись, мальчик; на твоём месте я бы не стал так стараться. Ты, должно быть, не привык врать — что-то у тебя неважно получается, практики, что ли, не хватает. Уж очень ты нескладно врешь.

За такими комплиментами я не гнался, зато был рад-радехонек, что меня наконец оставили в покое. Доктор собрался что-то сказать, повернулся и начал:

— Если бы вы, Леви Белл, были в городе с самого начала...

Но тут король прервал его, протянул руку и сказал:

— Так это и есть старый друг моего бедного брата, о котором он так часто писал?

Они с адвокатом пожали друг другу руку, и адвокат улыбнулся, как будто был очень рад; они поговорили немного, потом отошли в сторону и стали говорить шепотом; а в конце концов адвокат сказал громко:

— Так и сделаем. Я возьму ваш чек и пошлю его вместе с чеком вашего брата, и тогда они будут знать, что все в порядке.

Им принесли бумагу и перо; король уселся за стол, склонил голову набок, пожевал губами и нацарапал что-то; потом перо дали герцогу, и в первый раз за все время он, как видно, растерялся. Но он все-таки взял перо и стал писать. После этого адвокат повернулся к новому старичку и говорит:

— Прошу вас и вашего брата написать одну-две строчки и подписать свою фамилию.

Старичок что-то такое написал, только никто не мог разобрать его почерк. Адвокат, видно, очень удивился и говорит:

— Ничего не понимаю!

Достал из кармана пачку старых писем, разглядывает сначала письма, потом записку этого старичка, а потом опять письма и говорит:

— Вот письма от Гарви Уилкса, а вот обе записки, и всякому видно, что письма написаны другим почерком (король с герцогом поняли, что адвокат их подвел, и вид у них был растерянный и дурацкий), а вот почерк этого джентльмена, и всякий без труда разберет, что и он тоже не писал этих писем, — в сущности, такие каракули даже и почерком назвать нельзя. А вот это письмо от...

Тут новый старичок сказал:

— Позвольте мне объяснить, пожалуйста. Мой почерк никто не может разобрать, кроме моего брата, и он всегда переписывает мои письма. Вы видели его почерк, а не мой.

— Н-да! — говорит адвокат. — Вот так задача! У меня есть письма и от Уильяма; будьте любезны, попросите его черкнуть строчку-другую, мы тогда могли бы сравнить почерк.

— Левой рукой он писать не может, — говорит старичок. — Если бы он владел правой рукой, вы бы увидели, что он писал и свои и мои письма. Взгляните, пожалуйста, на те и на другие — они писаны одной рукой.

Адвокат посмотрел и говорит:

— Я думаю, что это правда; а если нет, то сходства больше, чем мне до сих пор казалось. Я-то думал, что мы уже на верном пути, а мы вместо того опять сбились. Но во всяком случае, одно уже доказано: эти двое — не Уилксы, — и он кивнул головой на короля с герцогом.

И что же вы думаете? Этот старый осел и тут не пожелал сдаться! Так-таки и не пожелал! Сказал, что такая проверка не годится. Что его брат Уильям первый шутник на свете и даже не собирался писать по-настоящему: он-то понял, что Уильям хочет подшутить, как только тот черкнул пером по бумаге. Врал-врал и до того увлекся, что и сам себе начал верить, но тут приезжий старичок прервал его и говорит:

— Мне пришла в голову одна мысль. Нет ли тут кого-нибудь, кто помогал обряжать моего брата... то есть покойного Питера Уилкса?

— Да, — сказал один, — это мы с Эбом Тернером помогали. Мы оба тут.

Тогда старик обращается к королю и говорит:

— Не скажет ли мне этот джентльмен, какая у Питера была татуировка на груди?

Ну, тут королю надо было живей что-нибудь придумать, а то ему такую яму выкопали, что в нее всякий угодил бы! Ну откуда же он мог знать, какая у Питера была татуировка? Он даже побледнел, да и как тут не побледнеть! А в комнате стало тихо-тихо, все так и подались вперед и во все глаза смотрят на короля. А я думаю: ну, теперь он запросит пощады, что толку упираться! И что же вы думаете — попросил? Поверить даже трудно — нет, и не подумал. Он, должно быть, решил держаться, пока не возьмет всех измором; а как все устанут и начнут мало-помалу расходиться, тут-то они с герцогом и удерут. Так или

иначе, он продолжал сидеть молча, а потом заулыбался и говорит:

— Гм! Вопрос, конечно, трудный! Да, сэр, я могу вам сказать, что у него было на груди. Маленькая, тоненькая синяя стрелка, вот что; а если не приглядеться как следует, то ее и не заметишь. Ну, что вы теперь скажете, а?

Нет, я нигде не видывал такой беспримерной наглости, как у этого старого хрыча!

Новый старичок живо повернулся к Эбу Тернеру с приятелем, глаза у него засветились, как будто на этот раз он поймал короля, и он спросил:

— Ну вот, вы слышали, что он сказал? Был такой знак на груди у Питера Уилкса?

Они оба отвечают:

— Мы такого знака не видели.

— Отлично! — говорит старый джентльмен. — А видели вы у него на груди неясное маленькое П. и Б. — Б. он после перестал ставить, — а потом У. и тире между ними, вот так: П. — Б. — У. — И он начертил все это на клочке бумаги. — Скажите, вы такой знак видели?

Оба опять ответили в один голос:

— Нет, мы этого не видели. Мы не заметили никаких знаков.

Ну, тут уж остальные не выдержали и стали кричать:

— Да они все мошенники, все это одна шайка! В реку их! Утопить их! Прокатить на шесте!

Все тут загалдели разом, и такой поднялся шум! Но адвокат вскочил на стол и говорит:

— Джентльмены! Джентльмены! Дайте мне сказать слово, одно только слово, пожалуйста! Есть еще выход — пойдемте выроем тело и посмотрим.

Это всем понравилось.

Все закричали «ура» и хотели было тронуться в путь, но адвокат и доктор остановили их:

— Погодите, погодите! Держите-ка этих четверых и мальчишку — их тоже захватим с собой.

— Так и сделаем! — закричали все. — А если не найдем никаких знаков, то линчуем всю шайку!

Ну и перепугался же я, сказать по правде! А удрать не было никакой возможности, сами понимаете. Они схватили нас всех и повели за собой прямо на кладбище, а оно было миля за полторы от города, вниз по реке; и весь город тоже за нами увязался, потому что шум мы подняли порядочный, а времени было еще немного — всего девять часов вечера.

Когда мы проходили мимо нашего дома, я пожалел, что услал Мэри-Джейн из города, потому что теперь стоило мне только подать ей знак — она выбежала бы и спасла меня и уличила бы наших мошенников.

Мы всей толпой бежали по берегу реки и орали, как дикие коты; небо вдруг потемнело, начала мигать и поблескивать молния, и листья зашумели от ветра, а мороз еще пуще подирал по коже.

Такой страшной беды со мной еще никогда не бывало, и я вроде как одурел, — все вышло не так, как я думал, а совсем по-другому: вместо того чтобы любоваться на всю эту потеху со стороны и удрать когда вздумается, вместо Мэри-Джейн, которая поддерживала бы меня, спасла и освободила бы в решительную минуту, теперь одна татуировка могла спасти меня от смерти. А если знаков не найдут...

Мне даже и думать не хотелось, что тогда будет; и ни о чем другом я тоже почему-то думать не мог. Становилось все темней и темней; самое подходящее было время улизнуть, да только этот здоровенный детина Хайнс держал меня за руку, а от такого Голиафа попробуй-ка улизни! Он тащил меня за собой волоком — до того разъярился; мне, чтобы не отстать, приходилось бежать бегом. Добравшись до места, толпа ворвалась на кладбище и затопила его, как наводнение. А когда добрались до могилы, то оказалось, что лопат у них во сто раз больше, чем требуется, а вот фонаря никто и не подумал захватить. И все-таки они принялись копать при вспышках молнии, а за фонарем послали в ближайший дом, в полумиле от кладбища.

Они копали и копали с остервенением, а тем временем стало страх как темно, полил дождь и ветер бушевал все сильнее и сильнее, а молния сверкала все

чаще и чаще и грохотал гром; но они даже внимания не обращали на это — так все увлеклись делом. Когда вспыхивала молния, видно было решительно все: каждое лицо в этой большой толпе, каждая лопата земли, которая летела кверху из могилы; а в следующую секунду все заволакивала тьма и опять ничего не было видно.

Наконец они вытащили гроб и стали отвинчивать крышку; и тут опять начали так толкаться и напирать, чтобы протиснуться вперед и взглянуть на гроб, — ну немыслимое дело! А в темноте, да еще в такой давке, просто страшно становилось. Хайнс ужасно больно тянул и дергал меня за руку, он, должно быть, совсем позабыл, что я существую на свете; он громко сопел — видеть, здорово разгорячился.

Вдруг молния залила все ярко-белым светом, и кто-то крикнул:

— Ей-богу, вот он, мешок с золотом, у него на груди!

Хайнс завопил вместе со всеми, выпустил мою руку и сильно рванулся вперед, чтобы взглянуть на золото; а уж как я от него удрал и выбрался на дорогу — этого я и сам не знаю.

На дороге не было ни души, и я пустился бежать во все лопатки; кругом было пусто, если не считать густого мрака, ежеминутных вспышек молнии, шума дождя, свиста ветра и раскатов грома; можете быть уверены, что я летел сломя голову!

Добежал я до города, вижу — на улицах никого нет из-за грозы, так что я не стал огибать переулками, а прямо летел вовсю по главной улице; а как стал подбегать к нашему дому, гляжу в ту сторону, глаз не спускаю. Ни одного огонька, дом весь темный; я даже расстроился — до того мне стало грустно, сам даже не знаю почему. Но в конце концов в ту самую минуту, когда я бежал мимо, — раз! — и вспыхнул огонек в окне Мэри-Джейн, и сердце у меня как забьется, чуть-чуть не выскочило; и в ту же секунду и дом и все прочее осталось позади меня в темноте, и я знал, что уж больше никогда ничего этого не увижу. Она была лучше

всех, и характера у нее было куда больше, чем у других девушек.

Как только я очутился за городом и на таком расстоянии от него, что можно было подумать и о переправе на островок, я стал искать, нельзя ли где позаимствовать лодку; и как только молния показала мне одну лодочку не на замке, я прыгнул в нее и оттолкнулся от берега. Это оказался челнок, кое-как привязанный веревкой. Островок был очень не близко, на самой середине реки, но я не стал терять времени; а когда я наконец пристал к плоту, то так выбился из сил, что, будь хоть какая-нибудь возможность, лег бы и отдышался. Но где уж тут лежать! Я перепрыгнул на плот и говорю:

— Скорей, Джим, отвязывай плот! Слава тебе господи, мы от них избавились!

Джим выбежал из шалаша и, расставив руки, полез было ко мне обниматься — так он обрадовался; зато у меня душа ушла в пятки, как только я его увидел при свете молнии; я попятился и свалился с плота в реку, потому что совсем забыл, что Джим изображал в одном лице и короля Лира, и больного араба, и утопленника, и я чуть не помер со страху. Но Джим выловил меня из воды и уж совсем собрался обнимать и благословлять меня, но я ему сказал:

— Не сейчас, Джим; оставь это на завтрак, оставь на завтрак! Скорей отвязывай плот и отпихивайся от берега!

Через две секунды мы уже скользили вниз по реке. До чего хорошо было очутиться опять на свободе, плыть одним посредине широкой реки — так, чтоб никто нас не мог достать! Я даже попрыгал и поплясал немножко на радостях и похлопал пяткой о пятку — никак не мог удержаться; и только стукнул в третий раз, как слышу хорошо знакомый мне звук; затаил дыхание, прислушался и жду; так и есть: вспыхнула над водой молния, гляжу — вон они плывут! Налегают на весла так, что борта трещат! Это были король с герцогом.

Я повалился прямо на плот и едва-едва удержался, чтобы не заплакать.

Как только они ступили на плот, король бросился ко мне, ухватил за шиворот и говорит:

— Хотел удрать от нас, щенок ты этакий?! Компания наша тебе надоела, что ли?

Я говорю:

— Нет, ваше величество, мы не хотели... Пустите, ваше величество!

— Живей тогда говори, что это тебе взбрело в башку, а не то душу из тебя вытрясу!

— Честное слово, я вам все расскажу, как было, ваше величество. Этот, что меня держал, был очень со мной ласков, все говорил, что у него вот такой же сынишка помер в прошлом году и ему просто жалко видеть, что мальчик попал в такую передрагу; а когда все потеряли голову, увидев золото, и бросились к гробу, он выпустил мою руку и шепчет: «Беги скорее, не то тебя повесят!» И я побежал. Мне показалось, что отставаться мало толку: сделать я ничего не могу, а зачем же дожидаться, чтоб меня повесили, когда можно удрать! Так я и не останавливался, все бежал, пока не увидел челнок; а когда добрался до плота, велел Джиму скорей отчаливать, не то они меня догонят и повесят; а еще сказал ему, что вас и герцога, наверно, уже нет в живых, и мне вас было очень жалко, и Джиму тоже, и я очень обрадовался, когда вас увидел. Вот спросите Джима, правду я говорю или нет.

Джим сказал, что так все и было. А король велел ему замолчать и говорит:

— Ну да, как же, ври больше! — И опять встряхнул меня за шиворот и пообещал утопить в реке.

Но герцог сказал:

— Пустите мальчишку, старый дурак! А вы-то сами по-другому, что ли, себя вели? Справлялись разве о нем, когда вырвались на свободу? Я что-то не припомню.

Тогда король выпустил меня и начал ругать и город, и всех его жителей. Но герцог сказал:

— Вы бы лучше себя как следует отругали — ведь вас-то и надо ругать больше всех. Вы с самого начала

ничего толком не сделали, вот разве что не растерялись и выступили довольно кстати с этой вашей синей стрелкой. Это вышло ловко, прямо-таки здорово! Вот эта самая штука нас и спасла. А если б не она, нас заперли бы, пока не пришел бы багаж англичан, а там — в тюрьму, это уж наверняка! А из-за вашей стрелки они потащились на кладбище, а там золото оказалось нам услугу поважней: ведь если бы эти оголтелые дураки не потеряли голову и не бросились все к гробу глядеть на золото, пришлось бы нам сегодня спать в галстуках особой прочности, с ручательством, — много прочнее, чем нам с вами требуется.

Они молчали с минуту — задумались. Потом король и говорит довольно рассеянно:

— Гм! А ведь мы думали, что негры его украли.

Я так и съежился весь.

— Да, — говорит герцог с расстановкой и насмешливо, — мы думали!

Еще через полминуты король говорит этак нараспев:

— По крайней мере я думал.

А герцог ему точно так же:

— Напротив, это я думал.

Король обозлился и говорит:

— Послушайте, ваша светлость, вы на что это намекаете?

Герцог ему отвечает, на этот раз много живей:

— Ну, коли на то пошло, позвольте и вас спросить: на что вы намекали?

— Совсем заврался! — говорит король очень язвительно. — А впрочем, я ведь не знаю — может быть, вы это во сне, сами не понимали, что делаете?

Герцог сразу весь ошетинился и говорит:

— Да брось ты чепуху молоть! За дурака, что ли, ты меня считаешь? Что же, по-твоему, я не знаю, кто спрятал деньги в гроб?

— Да, сударь! Я-то знаю, что вы это знаете, потому что вы же сами и спрятали!

— Это ложь! — И герцог набросился на короля.

Тот кричит:

— Руки прочь! Пустите мое горло! Беру свои слова обратно!

Герцог говорит:

— Ладно, только сознайтесь сначала, что это вы спрятали деньги, хотели потом улизнуть от меня, вернуться, откопать деньги и забрать все себе.

— Погодите минутку, герцог! Ответьте мне на один вопрос честно и благородно: если это не вы спрятали туда деньги — так и скажите. Я вам поверю и все свои слова возьму обратно.

— Ах ты старый жулик! Ничего я не прятал! Сам знаешь, что не я. Вот тебе!

— Ну хорошо, я вам верю. Ответьте мне еще на один вопрос, только не беситесь: а не было ли у вас такой мысли — подцепить денежки и спрятать их?

Герцог сначала долго не отвечал, потом говорит:

— Ну так что ж, если б даже и была? Ведь я же этого все-таки не сделал? А у вас не только мысль была — вы взяли да и подценили!

— Помереть мне на этом самом месте, герцог, только я их не брал, — и это сущая правда! Не скажу, что я не собирался их взять: что было, то было, но только вы... то есть... я хочу сказать: другие... меня опередили.

— Это ложь! Вы сами их украли и должны сознаться, что украли, а не то...

Король начал задыхаться, а потом через силу прохрипел:

— Довольно... сознаюсь!

Я был очень рад это слышать; мне сразу стало много легче. А герцог выпустил его из рук и говорит:

— Если только вы опять вздумаете отпираться, я вас в реке утоплю. Вам и следует сидеть и хныкать, как младенцу, — самое для вас подходящее после такого поведения. Прямо страус какой-то — так и норовит все заглотать! Первый раз такого вижу, а я еще верил ему, как отцу родному! И не стыдно вам?! Стоит и слушает, как всё это дело взвалили на несчастных негров, — и хоть бы словечко сказал, заступился бы за них! Мне теперь на себя смешно: надо же быть дураком, чтобы

поверить такой глупости! Черт вас возьми, теперь-то я понимаю, для чего вам так срочно понадобилось пополнить дефицит! Вы хотели прикарманить и те денежки, что я выручил за «Жиrafa», да и мало ли еще за что, и забрать все разом!

Король сказал робким голосом, все еще продолжая всхлипывать:

— Да что вы, герцог! Это вовсе не я сказал. Это вы сами сказали, что надо пополнить дефицит.

— Молчать! Я больше слышать ничего не хочу! — говорит герцог. — Теперь видите, чего вы этим добились? Они все свои деньги получили обратно да сверх того все наши забрали, кроме доллара или двух. Ступайте спать, и чтоб я больше про это не слыхал, а не то я вам такой дефицит покажу — будете помнить!

Король поплелся в шалаш и приложился к бутылочке утешения ради; а там и герцог тоже взялся за бутылку; и через какие-нибудь полчаса они опять были закадычными друзьями, и чем больше пили, тем любовней обращались друг с другом, а напоследок мирно захрапели, обнявшись. Оба они здорово нализились, но только я заметил, что король хоть и налился, а все-таки ни разу не забылся и не сказал, что это не он украл деньги. А по мне, тем лучше: от этого у меня на душе только сделалось легче и веселей. Само собой, после того как они захрапели, мы с Джимом наговорились всласть, и я ему все рассказал.

Глава XXXI

Много дней подряд мы боялись останавливаться в городах, а все плыли да плыли вниз по реке. Теперь мы были на юге, в теплом климате, и очень далеко от дома. Нам стали попадаться навстречу деревья, обросшие испанским мхом, словно длинной седой бородой. Я в первый раз видел, как он растет, и лес от него казался мрачным и угрюмым. Наши жулики решили, что

теперь им нечего бояться, и опять принялись околпачивать народ в городах.

Для начала они прочли лекцию насчет трезвости, но выручили такие гроши, что даже на выпивку не хватило. Тогда они решили открыть в другом городе школу танцев; а сами танцевали не лучше кенгуру, — и как только они выкинули первое коленце, вся публика набросилась на них и выпроводила вон из города. В другой раз они попробовали обучать народ ораторскому искусству; только недолго разглагольствовали: слушатели не выдержали, разругали их на все корки и велели убираться из города. Пробовали они и проповеди, и внушение мыслей, и врачевание, и гадание — всего понемножку, только им что-то здорово не везло. Так что в конце концов они прожились дочиста и по целым дням валялись на плоту — все думали да думали и друг с другом почти не разговаривали, такие были хмурые и злые.

А потом они вдруг встрепенулись, стали совещаться о чем-то в шалаше, потихоньку от нас, все шепотом и часа по два, по три сряду. Мы с Джимом забеспокоились. Нам это очень не понравилось. Думаем: наверно, затевают какую-нибудь новую чертовщину, еще почище прежних. Мы долго ломали себе голову и так и этак и в конце концов решили, что они хотят обокрасть чей-нибудь дом или лавку, а то, может, собираются делать фальшивые деньги. Тут мы с Джимом здорово струхнули и уговорились так: что мы к этим их делам никакого касательства иметь не будем, а если только встретится хоть какая-нибудь возможность, то мы от них удерем, бросим их, и пускай они одни остаются.

Вот как-то ранним утром мы спрятали плот в укромном месте, двумя милями ниже одного захолустного городишка по прозванию Пайксвилл, и король отправился на берег, а нам велел сидеть смирно и носа не показывать, пока он не побывает в городе и не справится, дошли сюда слухи насчет «Королевского Жирафа» или еще нет. («Небось дом ограбить собираешься! — думаю. — Потом вернешься сюда, а нас с Джимом поминай как звали, — с тем и оставайся».)

А если он к полудню не вернется, то это значит, что все в порядке, и тогда нам с герцогом тоже надо отправляться в город.

И мы остались на плоту. Герцог все время злился и раздражался и вообще был сильно не в духе. Нам за все доставалось, никак мы не могли ему угодить, — он придирался к каждому пустяку. Видим, что-то они затеяли, это уж как пить дать. Настал и полдень, а короля все не было, и я, признаться, очень обрадовался, — думаю: наконец хоть какая-то перемена, а может случиться, что все по-настоящему переменится. Мы с герцогом отправились в городок и стали там разыскивать короля и довольно скоро нашли его в задней комнате распивочной, вдребезги пьяного; какие-то лодыри дразнили его забавы ради; он ругал их на чем свет стоит и грозился, а сам на ногах еле держится и ничего с ними поделать не может. Герцог выругал его за это старым дураком, король тоже в долгу не остался, и как только они сцепились по-настоящему, я и улепетнул — припустился бежать к реке, да так, что только пятки засверкали. Вот он, думаю, случай-то, теперь не скоро они нас с Джимом опять увидят! Добежал я к реке, весь запыхавшись, зато от радости ног под собой не чую и кричу:

— Джим, скорей отвязывай плот, теперь у нас с тобой все в порядке!

Но никто мне не откликнулся, и в шалаше никого не было. Джим пропал! Я крикнул, и в другой раз крикнул, и в третий; бегаю по лесу туда и сюда, зову, аукаю — никакого ответа, пропал старик Джим! Тогда я сел и заплакал — никак не мог удержаться от слез. Только и сидеть я долго не мог. Вышел на дорогу, иду и думаю: что же теперь делать? А навстречу мне какой-то мальчишка; я его и спросил, не видел ли он незнакомого негра, одетого так-то и так-то, а он и говорит:

— Видал.

— А где? — спрашиваю.

— На плантации Сайласа Фелпса, отсюда будет мили две. Это беглый негр, его уже поймали. А ты его ищешь?

— И не думаю! Я на него нарвался в лесу час или два назад, и он сказал, что, если я только крикну, он из меня дух вышибет, — велел мне сидеть смирно и с места не двигаться. Вот я и сидел там, боялся выйти.

— Ну, — говорит мальчишка, — тебе больше нечего бояться, раз его поймали. Он убежал откуда-то издалека, с Юга.

— Это хорошо, что его сцапали.

— Еще бы не хорошо! За него ведь полагается двести долларов награды. Все равно что на дороге найти.

— Ну да, я бы тоже мог получить награду, если бы был постарше: ведь я первый его увидел. А кто же его поймал?

— Один старик, приезжий; только он продал свою долю за сорок долларов, потому что ему надо уезжать вверх по реке, а ждать он не может. Подумать только! Нет, я бы подождал — пускай бы и семь лет пришлось ждать.

— И я тоже, обязательно, — говорю я. — А может, его доля больше и не стоит, раз он продал так дешево? Может, дело-то не совсем чистое?

— Ну, как же не чистое — чище не бывает. Я сам видел объявление. Там про него все написано, точка в точку сходится — лучше всякого портрета, а бежал он из-под Нового Орлеана, с плантации. Нет, уж тут комар носу не подточит, все правильно... Слушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать?

Табак у меня не было, и он пошел дальше. Я вернулся на плот, сел в шалаш и стал думать. Но так ничего и не придумал. Думал до тех пор, пока всю голову не разломило, и все-таки не нашел никакого способа избавиться от беды. Сколько мы плыли по реке, сколько делали для этих мошенников, и все зря! Так все и пропало даром, из-за того что у них хватило духу устроить Джиму такую подлость: опять продать его в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые сорок долларов, да еще чужим людям!

Я даже подумал, что для Джима было бы в тысячу раз лучше оставаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не написать ли мне письмо Тому Сойеру?

Пусть он скажет мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил, и вот почему: а вдруг она рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от нее, и опять продаст его? А если и не продаст, все равно добра не жди: все будут презирать такого неблагодарного негра, — это уж так полагается, — и обязательно дадут Джиму почувствовать, какой он подлец и негодяй. А мое-то положение! Всем будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться; и если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то, верно, со стыда готов буду сапоги ему лизать. Это уж всегда так бывает: сделает человек подлость, а отвечать за нее не хочет, — думает: пока этого никто не знает, так и стыдиться нечего. Вот и со мной так вышло. Чем больше я думал, тем сильнее меня грызла совесть, я чувствовал себя прямо-таки дрянью, последним негодяем и подлецом. И наконец меня осенило: ведь это, думаю, явное дело — рука провидения для того и закатаила мне такую оплеуху, чтобы я понял, что на небесах следят за моим поведением; и там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Вот мне и показали, что есть такое всевидящее око, оно не потерпит нечестивого поведения, а мигом положит ему конец. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я все-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание; думаю: ничему хорошему меня не учили, значит я уж не так виноват; но что-то твердило мне: «На то есть воскресная школа, почему же ты в нее не ходил? Там бы тебя научили, что если кто поможет негру, то за это будет веки вечные гореть в аду».

Меня просто в дрожь бросило. И я уже совсем было решил: давай попробую помолюсь, чтобы мне сделаться не таким, как сейчас, а хорошим мальчиком, исправиться. И стал на колени. Только молитва не шла у меня с языка. Да и как же иначе? Нечего было и стараться скрыть это от бога. И от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня язык не поворачивается молиться. Потому что я кривил душой, не по-честному поступал — вот почему. Притворялся, будто хоч

исправиться, а в самом главном грехе не покаялся. Вслух говорил, будто я хочу поступить как надо, по совести, будто хочу пойти и написать хозяйке этого негра, где он находится, а в глубине души знал, что все вру, и бог это тоже знает. Нельзя врать, когда молишься, — это я понял.

Тут я совсем запутался, хуже некуда, и не знал, что мне делать. Наконец придумал одну штуку; говорю себе: «Пойду напишу это самое письмо, а после того посмотрю, смогу ли я молиться». И удивительное дело: в ту же минуту на душе у меня сделалось легко, легче перышка, и все как-то сразу стало ясно. Я взял бумагу, карандаш и написал:

«Мисс Уотсон, ваш беглый негр Джим находится здесь, в двух милях от Пайксвилла, у мистера Фелпса; он отдаст Джима, если вы пришлете награду.

Гек Финн».

Мне стало так хорошо, и я почувствовал, что первый раз в жизни очистился от греха и что теперь смогу молиться. Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала отложил письмо и долго сидел и думал: вот, думаю, как это хорошо, что так случилось, а то ведь я чуть-чуть не погубил свою душу и не отправился в ад. Потом стал думать дальше. Стал вспоминать про наше путешествие по реке и все время так и видел перед собой Джима, как живого: то днем, то ночью, то при луне, то в грозу, как мы с ним плывем на плоту, и разговариваем, и поем, и смеемся. Но только я почему-то не мог припомнить ничего такого, чтобы настроиться против Джима, а как раз наоборот. То вижу, он стоит вместо меня на вахте, после того как отстоял свою, и не будит меня, чтобы я выспался; то вижу, как он радуется, когда я вернулся на плот во время тумана или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровная вражда; и как он всегда называл меня «голубчиком» и «сыном», и баловал меня, и делал для меня все что мог, и какой он всегда был добрый; а под конец мне вспомнилось, как

я спасал его — рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен и говорил, что лучше меня у него нет друга на свете и что теперь я один у него остался друг.

И тут я нечаянно оглянулся и увидел свое письмо. Оно лежало совсем близко. Я взял его и подержал в руке. Меня даже в дрожь бросило, потому что тут надо было раз навсегда решиться, выбрать что-нибудь одно, — это я понимал. Я подумал с минутку, даже как будто дышать перестал, и говорю себе: «Ну что ж делать, придется гореть в аду». — Взял и разорвал письмо.

Страшно было об этом думать, страшно было говорить такие слова, но я их все-таки сказал. А уж что сказано, то сказано — больше я и не думал о том, чтобы мне исправиться. Просто выкинул все это дело из головы; так и сказал себе, что буду опять грешить по-старому, — все равно, такая уж моя судьба, раз меня ничему хорошему не учили. И для начала не пожалею трудов — опять выкраду Джима из рабства; а если придумаю еще что-нибудь хуже этого, то и хуже сделаю; раз мне все равно пропадать, то пускай уж недаром.

Тогда я стал думать, как взяться за это дело, и перебрал в уме много всяких способов; и наконец остановился на одном, самом подходящем. Я хорошенько заметил положение одного лесистого острова, немного ниже по реке, и, как только совсем стемнело, вывел плот из тайника, переправился к острову и спрятал его там, а сам лег спать. Я проспал всю ночь, поднялся еще до рассвета, позавтракал и надел все новое, купленное в магазине, а остальную одежду и еще кое-какие вещи связал в узелок, сел в челнок и переправился на берег. Я причалил пониже того места, где, по-моему, была плантация Фелпса, спрятал узелок в лесу, налил в челнок воды, набросал в него камней и затопил на четверть мили ниже лесопилки, стоявшей над маленькой речкой, — чтобы мне легко было найти челнок, когда он опять понадобится.

После этого я выбрался на дорогу и, проходя мимо лесопилки, увидел на ней вывеску: «Лесопилка

Фелпса», а когда подошел к усадьбе — она была на двести или триста шагов подальше, — то, сколько ни глядел, все-таки никого не увидел, хотя был уже белый день. Но я не собирался пока ни с кем разговаривать — мне надо было только посмотреть, где у них что находится. По моему плану, мне надо было прийти туда из городка, а не с реки. Так что я только поглядел и двинулся дальше, прямо в город. И что ж вы думаете? Первый человек, на которого я там наткнулся, был герцог. Он наклеивал афишу: «Королевский Жираф», только три представления, — все как в прошлый раз. Ну и нахальство же было у этих жуликов! Я наткнулся на него неожиданно и не успел увильнуть. Он как будто удивился и говорит:

— Эге! Откуда это ты? — Потом как будто даже обрадовался и спрашивает: — А плот где? Хорошо ли ты его спрятал?

— Вот и я вас то же самое хотел спросить, ваша светлость.

Тут он что-то перестал радоваться и говорит:

— Это с какой же стати ты меня вздумал спрашивать?

— Ну, — говорю, — когда я вчера увидел короля в этой распивочной, то подумал: не скоро мы его затащим обратно на плот, когда-то он еще протрезвится; вот я и пошел шататься по городу — надо же было куда-нибудь девать время! А тут один человек пообещал мне десять центов за то, чтобы я помог ему переправиться на лодке за реку и привезти оттуда барана; вот я и пошел с ним; а когда мы стали тащить барана в лодку, этот человек дал мне держать веревку, а сам стал подталкивать его сзади; но только баран оказался мне не по силам: он у меня вырвался и удрал, а мы побежали за ним. Собаки мы с собой не взяли, вот и пришлось гоняться за бараном по берегу, пока он не выбился из сил. Мы гонялись за ним до темноты, потом перевезли его в город, а после того я пошел к плоту. Прихожу — а плота нету. «Ну, — говорю себе, — должно быть, у них вышла какая-нибудь неприятность и они удрали и негра моего с собой увезли! А этот негр у меня один-единственный, а я на чужой стороне,

п никакого имущества у меня больше нет, и заработать на хлеб я тоже не могу». Сел и заплакал. А ночевал я в лесу. Но куда же все-таки девался плот? И Джим где? Бедный Джим!

— Я почему знаю... то есть насчет плота. Этот старый дурак тут кое-что продал и получил сорок долларов, а когда мы отыскиали его в распивочной, у него уже повытянули все деньги, кроме тех, что он истратил на выпивку. А когда я поздно ночью приволок его домой и плота на месте не оказалось, мы с ним так и подумали: «Этот чертенок, должно быть, украл наш плот и бросил нас, уплыл вниз по реке».

— Как же это я бросил бы своего негра? Ведь он у меня один-единственный, одна моя собственность.

— Мы про это совсем забыли. Привыкли думать, что это наш негр, вот в чем дело... ну да, считали его своим; да и то сказать: мало что ли, мы с ним возились? А когда мы увидели, что плот пропал и у нас ничего больше нет, мы решили: не попробовать ли еще разок «Жи́рафа»? Ничего другого не остается. Вот я и стараюсь, с самого утра во рту маковой росинки не было. Где у тебя эти десять центов? Давай их сюда!

Денег у меня было порядочно, так что я дал ему десять центов, только попросил истратить их на еду и мне тоже дать немножко, потому что я со вчерашнего дня ничего не ел. На это герцог ни слова не ответил, а потом повернулся ко мне и говорит:

— Как, по-твоему, негр на нас не донесет? А то мы с него всю шкуру спустим!

— Как же он может донести? Ведь он убежал!

— Да нет! Этот старый болван его продал и со мной даже не поделился, так деньги зря и пропали.

— Продал? — говорю я и начинаю плакать. — Как же так... ведь это мой негр, и деньги тоже мои... Где он? Отдайте моего негра!

— Негра тебе никто не отдаст, и дело с концом, так что перестань хныкать. Послушай-ка, ты уж не думаешь ли донести на нас? Ей-богу, я тебе ни на грош не верю. Смотри, попробуй только!

Он замолчал, а у самого глаза злые, никогда я таких не видел. Хныкать я не перестал, а сам говорю:

— Ни на кого я доносить не собираюсь, да и некогда мне этим заниматься: мне надо идти искать своего негра.

Видно было, что ему это очень не понравилось: стоит, задумался, и афиши трепыхаются у него в руке; потом наморщил лоб и говорит:

— Вот что я тебе скажу. Нам надо здесь пробыть три дня. Если ты обещаешь сам молчать и негру не позволишь на нас донести, я тебя научу, где его искать.

Я пообещал, а он говорит:

— У одного фермера, а зовут его Сайлас Фе... — и вдруг замолчал.

Понимаете, он сначала хотел сказать правду, а когда замолчал и стал соображать да думать, то и передумал. Наверно, так оно и было. Мне он все-таки не верил, вот ему и хотелось убрать меня отсюда на целых три дня, чтобы я им не мешал. Помолчал немножко и говорит:

— Человека, который его купил, зовут Абрам Фостер, Абрам Дж. Фостер, а живет он по дороге в Лафайет — это будет миль сорок в сторону.

— Хорошо, — говорю, — в три дня я туда дойду. Сегодня же днем и отправлюсь.

— Нет, не днем, а ступай сейчас же, да не теряя времени и не болтай зря по дороге! Держи язык за зубами и шагай побыстрей, тогда тебе от нас никаких неприятностей не будет, понял?

Вот этого приказа я и добивался, только это мне и нужно было. Мне надо было развязать себе руки, чтобы приняться за дело.

— Ну, так ступай, — сказал он, — и можешь говорить мистеру Фостеру все что тебе вздумается. Может, он тебе и поверит, что Джим твой негр, — бывают такие идиоты, что не требуют документов; по крайней мере я слыхал, что здесь, на Юге, такие бывают. А как станешь рассказывать про фальшивое объявление и про награду, ты ему объясни, для чего это понадобилось, — может, он тебе поверит. Теперь проваливай и

говори ему что хочешь, да по дороге, смотри, держи язык за зубами, пока до места не доберешься!

Я и пошел, направляясь от реки в сторону, и ни разу не оглянулся; я и так чувствовал, что он за мной следит. Все равно я знал, что ему это скоро надоест. Я прошел по этому направлению целую милю, ни разу не останавливаясь; потом сделал круг по лесу и вернулся к усадьбе Фелпса. Я решил приступить к делу сразу, без всякой канители, потому что надо было, чтобы Джим не проговорился, пока эти молодцы не уберутся подальше. А то еще наживешь хлопот с этой братией. Я на них нагляделся досыта и больше не желал иметь с ними никакого дела.

Глава XXXII

Когда я добрался до усадьбы, кругом было тихо, как в воскресенье, жарко и солнечно; все ушли работать в поле; а в воздухе стояло едва слышное гуденье жуков и мух, от которого делается до того тоскливо, будто все кругом повымерло; да если еще повеет ветерок и зашелестит листвою, то и вовсе душа уходит в пятки: так и кажется, будто это шепчутся привидения, души тех, которые давным-давно померли, и всегда чудится, будто это они про тебя говорят. И вообще от этого всегда хочется самому помереть, думаешь: хоть бы все поскорей кончилось!

Хлопковая плантация Фелпса была из тех маленьких, захудалых плантаций, которые все на одно лицо. Двор акра в два, огороженный жердями; а для того чтобы перелезть через забор и чтоб женщинам было легче садиться на лошадь, к нему подставлены лесенкой обрубки бревен, точно бочонки разной высоты; кое-где во дворе растет тощая травка, но больше голых и вытоптанных плешин, похожих на старую шляпу с вытертым ворсом; для белых большой дом на две половины, из отесанных бревен, щели замазаны глиной или известкой, а сверху побелены, — только видно, что очень давно; кухня из неотесанных бревен соеди-

нена с домом длинным и широким навесом; позади кухни — бревенчатая коптильня; по другую сторону коптильни вытянулись в ряд три низенькие негритянские хижины; одна маленькая хибарка стоит особняком по одну сторону двора, у самого забора, а по другую сторону — разные службы; рядом с хибаркой куча золы и большой котел для варки мыла; возле кухонной двери скамейка с ведром воды и тыквенной флягой; тут же рядом спит на солнышке собака; дальше — еще собаки; в углу двора три тенистых дерева; кусты смородины и крыжовника у забора; за забором огород и арбузная бахча; а дальше плантации хлопка, а за плантациями — лес.

Я обошел кругом и перелез по обрубкам во двор с другой стороны, возле кучи золы. Пройдя несколько шагов, я услышал жалобное гуденье прялки, оно то делалось громче, то совсем замирало; и тут мне уж без всяких шуток захотелось умереть, потому что это самый тоскливый звук, какой только есть на свете.

Я пошел прямо так, наугад, не стал ничего придумывать, а положился на бога — авось с его помощью скажу что-нибудь, когда понадобится; я сколько раз замечал, что бог мне всегда помогал сказать то, что надо, если я ему сам не мешал.

Только я дошел до середины двора, вижу — сначала одна собака встает мне навстречу, потом другая, а я, конечно, остановился и гляжу на них, не трогаюсь с места. Ну и подняли же они лай!

Не прошло и четверти минуты, как я сделался чем-то вроде ступицы в колесе, если можно так выразиться, а собаки окружили меня, как спицы, штук пятнадцать сошлось вокруг меня тесным кольцом, вытянув морды, а там и другие подбежали; гляжу — перескакивают через забор, выбегают из-за углов с лаем и воем, лезут отовсюду.

Из кухни выскочила негритянка со скалкой в руке и закричала: «Пошел прочь, Тигр, пошла, Мушка! Убирайтесь, сэр!» — и стукнула скалкой сначала одну, потом другую; обе собаки с визгом убежали, за ними разбрелись и остальные; а через секунду половина собак опять тут как тут — собрались вокруг меня,

повиливают хвостами и заигрывают со мной. Собака никогда зла не помнит и не обижается.

А за негритянкой выскочили трое негритят — девочка и два мальчика — в одних холщовых рубашонках; они цеплялись за материнскую юбку и застенчиво косились на меня из-за ее спины, как это обыкновенно водится у ребят. А из большого дома, смотрю, бежит белая женщина, лет сорока пяти или пятидесяти, с непокрытой головой и с веретеном в руках; за ней выбежали ее белые детишки, а вели они себя, точь-в-точь, как негритята. Она вся просияла от радости и говорит:

— Так это ты наконец! Неужели приехал?

Не успел я и подумать, как у меня вылетело:

— Да, мэм.

Она схватила меня за плечи, обняла крепко-крепко, а потом взяла за обе руки и давай пожимать, а у самой покатались слезы — так и текут по щекам; она все не выпускает меня, пожимает мне руки, а сама все твердит:

— А ты, оказывается, вовсе не так похож на мать, как я думала... Да что это я, господи! Не все ли равно! До чего же я рада тебя видеть! Ну прямо, кажется, так бы и съела... Дети, ведь это ваш двоюродный брат Том! Пойдите поздоровайтесь с ним.

Но дети опустили голову, засунули палец в рот и спрятались у нее за спиной. А она неслась дальше:

— Лиза, не копайся, подавай ему горячий завтрак!.. А то, может, ты позавтракал на пароходе?

Я сказал, что позавтракал. Тогда она побежала в дом, таща меня за руку, и детишки побежали туда же следом за нами. В доме она усадила меня на стул с продавленным сиденьем, а сама уселась передо мной на низенькую скамеечку, взяла меня за обе руки и говорит:

— Ну вот, теперь я могу хорошенько на тебя наглядеться! Господи ты мой боже, сколько лет я об этом мечтала, и вот наконец ты здесь! Мы тебя уже два дня ждем, даже больше... Отчего ты так опоздал? Пароход сел на мель, что ли?

— Да, мэм, он...

— Не говори «да, мэм», зови меня тетя Салли... Где же это он сел на мель?

Я не знал, что отвечать: ведь неизвестно было, откуда должен идти пароход — сверху или снизу. Но я всегда больше руководствуюсь чутьем; а тут чутье подсказало мне, что пароход должен идти снизу — от Орлеана. Хотя мне это не очень помогло: я ведь не знал, как там, в низовьях, называются мели. Вижу, надо изобрести новую мель или позабыть, как называлась та, на которую мы сели, или... Вдруг меня осенило, и я выпалил:

— Это не из-за мели, там мы совсем ненадолго задержались. У нас взорвалась головка цилиндра.

— Господи помилуй! Кто-нибудь пострадал?

— Нет, мэм. Убило негра.

— Ну, это вам повезло; а то бывает, что и ранит кого-нибудь. В позапрошлом году, на рождество, твой дядя Сайлас ехал из Нового Орлеана на «Лалли Рук», а пароход-то был старый, головка цилиндра взорвалась, и человека изуродовало. Кажется, он потом умер. Баптист один. Твой дядя Сайлас знал одну семью в Батон-Руж, так они знакомы с родными этого старика. Да, теперь припоминаю: он действительно умер. Началась гангрена, и ногу отняли. Только это не помогло. Да, верно, это была гангрена — она самая. Он весь посинел и умер — в надежде на воскресение и жизнь будущего века. Говорят, на него смотреть было страшно... А твой дядя каждый день ездил в город встречать тебя. И сегодня опять поехал, еще и часу не прошло; с минуты на минуту должен вернуться. Ты бы должен был встретить его по дороге... Нет, не встретил? Такой пожилой, с...

— Нет, я никого не видал, тетя Салли. Пароход пришел рано, как раз на рассвете; я и оставил вещи на пристани, а сам пошел поглядеть город и дальше немножко прогулялся, чтобы убить время и прийти к вам не очень рано, так что я не по дороге шел.

— А кому же ты сдал вещи?

— Никому.

— Что ты, деточка, ведь их украдут!

— Нет, я их хорошо спрятал, оттуда не украдут, — говорю я.

— Как же это ты позавтракал так рано на пароходе?

Дело тонкое, как бы, думаю, тут не влопаться, а сам говорю:

— Капитан увидел меня на палубе и сказал, что мне надо поесть, до того как я сойду на берег; повел меня в салон и усадил за свой стол — есть не хочу.

Мне стало до того не по себе, что я даже слушать ее не мог как следует. Я все время держал в уме ребяташек: думаю, как бы это отвести их в сторонку и вывести половчей, кто же я такой. Но не было никакой возможности: миссис Фелпс все тараторила без умолку. Вдруг у меня даже мурашки по спине забегали, потому что она сказала:

— Но что же это я все болтаю, а ты мне еще ни словечка не сказал про сестру и про всех остальных. Теперь я помолчу, а ты рассказывай. Расскажи про них про всех, как они поживают, что поделявают и что велели мне передать, ну и вообще все, что только припомнишь.

Ну, вижу, попался я — да еще как попался-то! До сих пор бог как-то помогал мне, это верно, зато теперь я прочно уселся на мель. Впжу — и пробовать нечего вывернуться, прямо хоть выходи из игры. Думаю: пожалуй, тут опять придется рискнуть — выложить всю правду. Я было раскрыл рот, но она вдруг схватила меня, пихнула за спинку кровати и говорит:

— Вот он едет! Нагни голову пониже, вот так — теперь хорошо. Сиди и не пикни, что ты тут. Я над ним подшучу... Дети, и вы тоже молчите.

Вижу, попал я в переплет. Но беспокоиться все равно не стоило: делать было нечего, только сидеть смирно да дожидаться, пока гром грянет.

Я только мельком увидел старика, когда он вошел в комнату, а потом из-за кровати его стало не видно. Миссис Фелпс бросилась к нему и спрашивает.

— Приехал он?

— Нет, — отвечает муж.

— Гос-споди помилуй! — говорит она. — Что же такое могло с ним случиться?

— Не могу себе представить, — говорит старик. — По правде сказать, я и сам очень беспокоюсь.

— Ты беспокоишься! — говорит она. — А я так просто с ума схожу! Он, должно быть, приехал, а ты его прозевал по дороге. Так оно и есть, я уж это почувствую.

— Да что ты, Салли, я не мог его прозевать, сама знаешь.

— О боже, боже, что теперь сестра скажет! Он, наверно, приехал! А ты его, наверно, прозевал. Он...

— Не расстраивай меня, я и так уже расстроен. Не знаю, что и думать. Просто голова пошла кругом, признаться откровенно. Даже перепугался. И надеяться нечего, что он приехал, потому что прозевать его я никак не мог. Салли, это ужасно, просто ужасно: что-нибудь, наверно, случилось с пароходом!

— Ой, Сайлас! Взгляни-ка туда, на дорогу: кажется, кто-то едет?

Он бросился к окну, а миссис Фелпс только того и нужно было. Она живо нагнулась к спинке кровати, подтолкнула меня, и я вылез; когда старик отвернулся от окна, она уже успела выпрямиться и стояла, вся сияя и улыбаясь, очень довольная; а я смиренно стоял рядом с ней, весь в поту. Старик воззрился на меня и говорит:

— Это кто же такой?

— А по-твоему, кто это?

— Понятия не имею. Кто это?

— Том Сойер — вот кто!

Ей-богу, я чуть не провалился сквозь землю! Но особенно разбираться было некогда; старик схватил меня за руки и давай пожимать, а его жена в это время так и прыгает вокруг нас, и плачет, и смеется; потом оба они засыпали меня вопросами про Сиду, и про Мэри, и вообще про всех родных.

И хоть они очень радовались, но все-таки по сравнению с моей радостью это были сущие пустяки; я точно заново родился — до того был рад узнать, кто

я такой. Они ко мне целых два часа приставали, я весь язык себе отболтал, рассказывая, так что он едва ворочался; и рассказал я им про свою семью — то есть про семью Сойеров — столько, что хватило бы и на целый десяток таких семей. А еще я объяснил им, как это вышло, что у нас взорвался цилиндр в устье Уайт-Ривер, и как мы три дня его чинили. Все это сошло гладко и подействовало отлично, потому что они в этом деле не особенно разбирались и поняли только одно: что на починку ушло три дня. Если б я сказал, что взорвалась головка болта, то и это сошло бы.

Теперь я чувствовал себя довольно прилично, с одной стороны, зато с другой — довольно неважно. Быть Томом Сойером оказалось легко и приятно, и так оно и шло легко и приятно, покуда я не слышал пыхтенье парохода, который шел с верховьев реки. Тут я и подумал: а вдруг Том Сойер едет на этом самом пароходе? А вдруг он сейчас войдет в комнату, да и назовет меня по имени, прежде чем я успею ему подмигнуть?

Этого я допустить никак не мог, это вовсе не годилось. Надо, думаю, выйти на дорогу и подстеречь его. Вот я им и сказал, что хочу съездить в город за своими вещами. Старик тоже собрался было со мной, но я сказал, что мне не хотелось бы его беспокоить, а лошадью я сумею править и сам.

Глава XXXIII

И я отправился в город на тележке; а как проехал половину дороги, вижу — навстречу мне кто-то едет; гляжу — так и есть, Том Сойер! Я, конечно, остановился и подождал, пока он подъедет поближе. Говорю: «Стой!» Тележка остановилась, а Том рот разинул, а закрыть не может; потом глотнул раза два-три, будто в горле у него пересохло, и говорит:

— Я тебе ничего плохого не делал. Сам знаешь. Так для чего же ты явился с того света? Чего тебе от меня надо?

Я говорю:

— Я не с того света, я и не помирал вовсе.

Он услышал мой голос и немножко пришел в себя, по все-таки еще не совсем успокоился и говорит:

— Ты меня не тронь, ведь я же тебя не трогал. А ты правда не с того света, честное индейское?

— Честное индейское, — говорю, — нет.

— Ну что ж... я, конечно... если так, то и говорить нечего. Только я все-таки ничего тут не понимаю, ровно ничего! Как же так, да разве тебя не убили?

— Никто и не думал убивать, я сам все это устроил. Поди сюда, потрогай меня, коли не веришь.

Он потрогал меня и успокоился и до того был рад меня видеть, что от радости не знал, что и делать. Ему тут же захотелось узнать про все, с начала до конца, потому что это было настоящее приключение, да еще загадочное; вот это и задело его за живое. Но я сказал, что пока нам не до этого, велел его кучеру подождать немного; мы в моей тележке отъехали подальше, и я рассказал Тому, в какую попал историю, и спросил, как он думает: что нам теперь делать? Он сказал, чтоб я оставил его на минутку в покое, не приставал бы к нему. Думал он, думал, а потом вдруг и говорит:

— Так, все в порядке, теперь придумал. Возьми мой сундук к себе в тележку и скажи, что это твой; поворачивай обратно да тащись помедленнее, чтобы не попасть домой раньше, чем полагается; а я поверну в город и опять проделаю всю дорогу сначала, чтобы приехать через полчаса после тебя; а ты, смотри, сперва не показывай виду, будто ты меня знаешь.

Я говорю:

— Ладно, только погоди минутку. Есть еще одно дело, и этого никто, кроме меня, не знает: я тут хочу выкрасть одного негра из рабства, а зовут его Джим — это Джим старой мисс Уотсон.

Том говорит:

— Как, да ведь Джим...

Тут он замолчал и призадумался. Я ему говорю:

— Знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что это низость, прямо-таки подлость. Ну так что ж, я

подлец, я его и украду, а ты помалкивай, не выдавай меня. Согласен, что ли?

Глаза у Тома загорелись, и он сказал:

— Я сам помогу тебе его украсть!

Ну, меня так и подкосило на месте! Такую поразительную штуку я в первый раз в жизни слышал; и должен вам сказать: Том Сойер много потерял в моих глазах — я его стал меньше уважать после этого. Только мне все-таки не верилось: Том Сойер — и вдруг крадет негров!

— Будет врать-то, — говорю, — шутишь ты, что ли?

— И не думаю шутить.

— Ну ладно, — говорю, — шутишь или нет, а если услышишь какой-нибудь разговор про беглого негра, так, смотри, помни, что ты про него знать не знаешь, и я тоже про него знать не знаю.

Потом мы взяли сундук, перетащили его ко мне на тележку, и Том поехал в одну сторону, а я в другую. Только, разумеется, я совсем позабыл, что надо плестись шагом, — и от радости и от всяких мыслей, — и вернулся домой уж очень скоро для такого длительного пути. Старик вышел на крыльцо и сказал:

— Ну, это удивительно! Кто бы мог подумать, что моя кобыла на это способна! Надо было бы заметить время. И не вспотела ни на волос — ну ни капельки! Удивительно! Да теперь я ее и за сто долларов не отдам, честное слово, а ведь хотел продать за пятнадцать — думал, она дороже не стоит.

Больше он ничего не сказал. Самой невинной души был старичок и такой добрый, добрей не бывает. Оно и не удивительно: ведь он был не просто фермер, а еще и проповедник; у него была маленькая бревенчатая церковь на задворках плантации (он ее выстроил на свой счет), и церковь и школа вместе, а проповедовал он даром, ничего за это не брал; да сказать по правде — и не за что было. На Юге много таких фермеров-проповедников, и все они проповедуют даром.

Через полчаса, или около того, подкатывает к забору Том в тележке; тетя Салли увидела его из окна, потому что забор был всего шагах в пятидесяти, и говорит:

— Смотрите, еще кто-то приехал! Кто бы это мог быть? По-моему, чужой кто-то... Джимми (это одному из ребятишек), сбегай скажи Лизе, чтобы поставила еще одну тарелку на стол.

Все сломя голову бросились к дверям: и то сказать — ведь не каждый год приезжает кто-нибудь чужой, а если уж он придет, так переполоху наделает больше, чем желтая лихорадка. Том по-обрубкам перебрался через забор и пошел к дому; тележка покатила по дороге обратно в город, а мы все столпились в дверях. Том был в новом костюме, слушатели оказались налицо — больше ему ничего не требовалось, для него это было лучше всяких пряников. В таких случаях он любил задавать фасон — на это он был мастер. Не таковский был мальчик, чтобы топтаться посреди двора, как овца, — нет, он шел вперед важно и спокойно, как баран. Подойдя к нам, он приподнял шляпу, церемонно и не торопясь, будто это крышка от коробки с бабочками и он боится, как бы они не разлетелись, и сказал:

— Мистер Арчибальд Никольс, если не ошибаюсь?

— Нет, мой мальчик, — отвечает ему старик, — к сожалению, возница обманул вас: до усадьбы Никольса еще мили три. Входите же, входите!

Том обернулся, поглядел через плечо и говорит:

— Слишком поздно; его уже не видать.

— Да, он уже уехал, сын мой, а вы входите и пообедайте с нами; потом мы запрежем лошадь и отвезем вас к Никольсам.

— Мне совестно так затруднять вас, как же это можно! Я пойду пешком, для меня три мили ничего не значат.

— Да мы-то вам не позволим, — какое же это будет южное гостеприимство! Входите, и все тут.

— Да, пожалуйста, — говорит тетя Салли, — для нас в этом нет никакого затруднения, ровно никакого! Оставайтесь непременно. Дорога дальняя, и пыль такая — нет, пешком мы вас не пустим! А кроме того, я уже велела поставить еще тарелку на стол, как только увидела, что вы едете; вы уж нас не огорчайте. Входите же и будьте как дома.

Том поблагодарил их в самых изящных выражениях, наконец дал себя уговорить и вошел; уже войдя в дом, он сказал, что он приезжий из Хиксвилла, штат Огайо, а зовут его Уильям Томсон, — и он еще раз поклонился.

Он все болтал да болтал, что только в голову взбредет: и про Хиксвилл, и про всех его жителей; а я уже начинал немного беспокоиться; думаю: каким же образом все это поможет мне выйти из положения? И вдруг, не переставая разговаривать, он привстал да как поцелует тетю Салли прямо в губы! А потом опять уселся на свое место и разговаривает по-прежнему; она вскочила с кресла, вытерла губы рукой и говорит:

— Ах ты дерзкий щенок!

Он как будто обиделся и говорит:

— Вы меня удивляете, сударыня!

— Я его удивляю, скажите пожалуйста! Да за кого вы меня принимаете? Вот возьму сейчас да и... Нет, с чего это вам вздумалось меня целовать?

Он будто бы оробел и говорит:

— Ни с чего, так просто. Я не хотел вас обидеть. Я... я думал — может, вам это понравится.

— Нет, это прямо идиот какой-то! — Она схватила веретено, и похоже было, что не удержится и вот-вот стукнет Тома по голове. — С чего же вы вообразили, что мне это понравится?

— И сам не знаю. Мне... мне говорили, что вам понравится.

— Ах, вам говорили! А если кто и говорил, так, значит, такой же полоумный. Я ничего подобного в жизни не слыхивала! Кто же это сказал?

— Да все. Все они так и говорили.

Тетя Салли едва-едва сдерживалась: глаза у нее так и сверкали, и пальцы шевелились: того и гляди вцепится в Тома.

— Кто это «все»? Живей говори, как их зовут, а не то одним идиотом меньше будет!

Он вскочил, такой с виду расстроенный, мнет в руках шляпу и говорит:

— Простите, я этого не ожидал... Мне так и говорили... Все говорили.... Сказали: поцелуй ее, она будет

очень рада. Все так и говорили, ну все решительно! Простите, я больше не буду... честное слово, не буду!

— Ах, вы больше не будете, вот как? А то, может, попробуете?

— Сударыня, даю вам честное слово: никогда больше вас целовать не буду, пока сами не попросите.

— Пока сама не попрошу! Нет, я никогда ничего подобного не слыхала! Да хоть бы вы до мафусаиловых лет дожили, не бывать этому никогда, очень нужны мне такие олухи!

— Знаете, — говорит Том, — это меня очень удивляет. Ничего не понимаю. Мне говорили, что вам это понравится, да я и сам так думал. Но... — Тут он замолчал и обвел всех взглядом, словно надеясь встретить в ком-нибудь дружеское сочувствие, остановился на старике и спрашивает: — Ведь вы, сэр, тоже думали, что она меня с радостью поцелует?

— Да нет, почему же... нет, я этого не думал.

Том опять так же поискал глазами, нашел меня и говорит:

— Том, а ты разве не думал, что тетя Салли обнимет меня и скажет: «Сид Сойер...»

— Боже мой! — Она не дала Тому договорить и бросилась к нему: — Бессовестный ты щенок, ну можно ли так морочить голову!.. — и хотела уже обнять его, но он отстранил ее и говорит:

— Нет, нет, сначала попросите меня.

Она не стала терять времени и тут же попросила; обняла его и целовала, целовала без конца, а потом подтолкнула к дяде, и он принял в свои объятия то, что осталось. А после того как они сделали маленькую передышку, тетя Салли сказала:

— Ах ты господи, вот уж действительно сюрприз! Мы тебя совсем не ждали. Ждали одного Тома. Сестра даже и не писала мне, что кто-нибудь еще придет.

— Это потому, что никто из нас и не собирался ехать, кроме Тома, — сказал он, — только я попросил хорошенько, и в самую последнюю минуту она и меня

тоже пустила; а мы с Томом, когда ехали на пароходе, подумали, что вот будет сюрприз, если он приедет сюда первый, а я отстану немножко и приеду немного погодя — прикинусь, будто я чужой. Но это мы зря затеяли, тетя Салли! Чужих здесь плохо принимают, тетя Салли.

— Да, Сид, — таких озорников! Надо бы надавать тебе по щекам; даже и не припомню, чтобы я когда-нибудь так сердилась. Ну да все равно, что бы вы ни выделявали, я согласна терпеть всякие ваши фокусы, лишь бы вы были тут. Подумайте, разыграли целое представление! Сказать по правде, я прямо остолбенела, когда ты меня чмокнул.

Мы обедали на широком помосте между кухней и домом; того, что стояло на столе, хватило бы на целый десяток семей, и все подавалось горячее, не то что какое-нибудь там жесткое вчерашнее мясо, которое всю ночь пролежало в сыром погребе, а наутро отдает мертвечиной и есть его впору разве какому-нибудь старому людоеду.

Дядя Сайлас довольно долго читал над всей этой едой молитву, да она того и стояла, но аппетита он ни у кого не отбил; а это бывает, когда очень канителиятся, я сколько раз видел.

После обеда было много всяких разговоров, и нам с Томом приходилось все время быть настороже, и все без толку, потому что ни про какого беглого негра они ни разу не упомянули, а мы боялись даже и намекнуть. Но вечером, за ужином, один из малышей спросил:

— Папа, можно мне пойти с Томом и с Сидом на представление?

— Нет, — говорит старик, — я думаю, никакого представления не будет; да и все равно — вам туда нельзя. Этот беглый негр рассказал нам с Бэртоном, что представление просто возмутительное, и Бэртон хотел предупредить всех; теперь этих наглых проходимцев, должно быть, уже выгнали из города.

Так вот оно как! Но я все-таки не виноват. Мы с Томом должны были спать в одной комнате и на одной кровати; с дороги мы устали и потому, пожелав всем

спокойной ночи, ушли спать сейчас же после ужина; а там вылезли в окно, спустились по громоотводу и побежали в город. Мне не верилось, чтобы кто-нибудь предупредил короля с герцогом; и если я опоздаю и не успею намеркнуть им, что готовится, так они, наверно, попадут впросак.

По дороге Том рассказал мне, как все думали, что я убит, и как мой родитель опять пропал и до сих пор не вернулся, и какой поднялся переполох, когда Джим сбежал; а я рассказал Тому про наших жуликов, и про «Жи́рафа», и про наше путешествие на плоту, сколько успел; а когда мы вошли в город и дошли до середины, — а было не рано, уже около половины девятого, — глядим, навстречу валит толпа с факелами, все беснуются, вопят и орут, колотят в сковородки и дудят в рожки; мы отскочили в сторону, чтобы пропустить их; смотрю, они тащат короля с герцогом верхом на шесте, — то есть это только я узнал короля с герцогом, хотя они были все в смоле и в перьях и даже на людей не похожи, просто два таких громадных комка. Мне неприятно было на это глядеть и даже стало жалко несчастных жуликов; я подумал: никогда больше их злом поминать не буду. Прямо смотреть страшно было. Люди бывают очень жестоки друг к другу.

Видим, мы опоздали — ничем уже помочь нельзя. Стали расспрашивать кое-кого из отставших, и они нам рассказали, что все в городе пошли на представление, будто знать ничего не знают, и сидели помалкивали, пока бедняга король не начал прыгать по сцене; тут кто-то подал знак, публика повскакала с мест и схватила их.

Мы поплелись домой, и на душе у меня было вовсе не так легко, как раньше; напротив, я очень присмирел, как будто был виноват в чем-то, хотя ничего плохого не сделал. Но это всегда так бывает: не важно, виноват ты или нет — совесть с этим не считается и все равно тебя донимает. Будь у меня собака, такая назойливая, как совесть, я бы ее отравил. Места она занимает больше, чем все прочие внутренности, а толку от нее никакого. И Том Сойер то же говорит.

Мы перестали разговаривать и принялись думать. Вдруг Том и говорит:

— Слушай, Гек, какие же мы дураки, что не догадались раньше! Ведь я знаю, где Джим сидит.

— Да что ты? Где?

— В том самом сарайчике, рядом с кучей золы. Сообрази сам. Когда мы обедали, ты разве не видел, как один негр понес туда миски с едой?

— Видел.

— А ты как думал, для кого это?

— Для собаки.

— И я тоже так думал. А это вовсе не для собаки.

— Почему?

— Потому что там был арбуз.

— Верно, был, я заметил. Как же это я не сообразил, что собаки арбуза не едят? Это уж совсем никуда не годится! Вот как бывает: и глядишь, да ничего не видишь.

— Так вот: негр отпер висячий замок, когда вошел туда, и опять его запер, когда вышел. А когда мы вставали из-за стола, он принес дяде ключ — тот самый ключ, наверно. Арбуз — это, значит, человек; ключ — значит, кто-то там заперт; а вряд ли двое сидят под замком на такой маленькой плантации, где народ такой добрый и хороший. Это Джим и сидит. Ладно, я очень рад, что мы до этого сами додумались, как полагается сыщикам; за всякий другой способ я гроша ломаного не дам. Теперь ты пошевели мозгами, придумай план, как выкрасть Джима, и я тоже придумаю свой план, а там мы выберем, который больше понравится.

Ну и голова была у Тома Сойера, хоть бы и взрослому! По мне, лучше иметь такую голову, чем быть герцогом, или капитаном парохода, или клоуном в цирке, или уж не знаю кем. Я придумал кой-что так только, ради очистки совести: я наперед знал, кто придумает настоящий план. Немного погодя Том сказал:

— Готово у тебя?

— Да, — говорю.

— Ну ладно, выкладывай.

— Вот какой мой план, — говорю. — Джим там сидит или кто другой — узнать нетрудно. А завтра ночью мы достанем мой челнок и переправим плот с острова. А там, в первую же темную ночь, вытащим ключ у старика из кармана, когда он ляжет спать, и уплывем вниз по реке вместе с Джимом; днем будем прятаться, а ночью — плыть, как мы с Джимом раньше делали. Годится такой план?

— Годится ли? Почему ж не годится, очень даже годится! Но только уж очень просто, ничего в нем особенного нет. Что это за план, если с ним никакой возни не требуется? Грудной младенец — и тот справится. Не будет ни шума, ни разговоров, все равно что после кражи на мыловаренном заводе.

Я с ним не спорил, потому что ничего другого и не ждал, зато наперед знал, что к своему плану он так придирааться не станет.

И верно, не стал. Он рассказал мне, в чем состоит его план, и я сразу понял, что он раз в пятнадцать лучше моего: Джима-то мы все равно освободим, зато шику будет куда больше, да еще, может, нас и пристрелят, по его-то плану. Мне очень понравилось. «Давай, говорю, так и будем действовать». Какой у него был план, сейчас говорить не стоит: я наперед знал, что будут еще всякие перемены. Я знал, что Том еще двадцать раз будет менять его и так и этак, когда приступим к делу, и вставлять при каждом удобном случае всякие новые штуки. Так оно и вышло.

Одно было верно — Том Сойер не шутя взялся за дело и собирается освобождать негра из рабства. Вот этого я никак не мог понять. Как же так? Мальчик из хорошей семьи, воспитанный, как будто дорожит своей репутацией, и родные у него тоже вряд ли захотят срамиться; малый с головой, не тупица; учился все-таки, не безграмотный какой-нибудь, и добрый, не назло же он это делает, — и вот нате-ка — забыл и про гордость и про самолюбие, лезет в это дело, унижается, срамит и себя и родных на всю Америку! Никак я этого не мог взять в толк. Просто стыдно. И я знал, что надо

взять да и сказать все ему напрямик, а то какой же я ему друг! Пускай сейчас же все это бросит, пока еще не поздно. Я так и хотел ему сказать, начал было, а он оборвал меня и говорит:

— Ты что же — думаешь, я не знаю, чего хочу? Когда это со мной бывало?

— Никогда.

— Разве я не говорил, что помогу тебе украсть этого негра?

— Говорил.

— Ну и ладно.

Больше и он ничего не говорил, и я ничего не говорил. Да и смысла никакого не было разговаривать: уж если он что решил, так поставит на своем. Я только не мог понять, какая ему охота соваться в это дело, но не стал с ним спорить, даже и не поминал про это больше. Сам лезет на рожон, так что ж я тут могу поделать!

Когда мы вернулись, во всем доме было темно и тихо, и мы прошли в конец двора — обследовать хибарку рядом с кучей золы. Мы обошли весь двор кругом, чтобы посмотреть, как будут вести себя собаки. Они нас узнали, и лаяли не больше, чем обыкновенно лают деревенские собаки, заслышав ночью прохожего. Добравшись до хибарки, мы осмотрели ее спереди и с боков — и с того боку, которого я еще не видел, на северной стороне, нашли квадратное окошечко, довольно высоко от земли, забитое одной крепкой доской.

Я сказал:

— Вот и хорошо! Дыра довольно большая, Джим в нее пролезет, надо только оторвать доску.

Том говорит:

— Ну, это так же просто, как дважды два четыре, и так же легко, как не учить уроков. По-моему, мы могли бы придумать способ хоть немножко посложней, Гек Финн.

— Ну ладно, — говорю. — А если выпилить кусок стены, как я сделал в тот раз, когда меня убили?

— Это еще на что-нибудь похоже, — говорит он, — это и таинственно, и возни много, и вообще хорошо, только все-таки можно придумать еще что-нибудь,

чтобы подольше повозиться. Спешить нам некуда, так давай еще посмотрим.

Между сарайчиком и забором, с задней стороны, стояла пристройка, в вышину доходившая до крыши и сбитая из досок. Она была такой же длины, как и сарайчик, только уже — шириной футов в шесть. Дверь была с южной стороны и заперта на висячий замок. Том пошел к котлу для варки мыла, поискал там и принес железную штуку, которой поднимают крышку котла; он взял ее и выломал один пробой у двери. Цепь упала, мы отворили дверь, вошли, зажгли спичку и видим, что это только пристройка к сарайчику, а сообщения между ними нет; и пола в сарае тоже нет, и вообще ничего в нем нет, кроме ржавых, никому не нужных мотыг и лопат да сломанного плуга. Спичка погасла, и мы ушли, воткнув пробой на старое место, и с виду дверь была опять как следует заперта. Том обрадовался и говорит:

— Ну, теперь все хорошо! Мы для него устроим подкоп. Это у нас займет целую неделю.

После этого мы вернулись домой; я вошел в дом с черного хода — они там дверей не запирали, надо было только потянуть за кожаный ремешок; но для Тома Сойлера это было неподходяще: таинственности мало, ему непременно надо было влезать по громоотводу.

Раза три он долезал до половины и каждый раз срывался и напоследок чуть не разбил себе голову. Он уж думал, что придется это дело бросить, а потом отдохнул, решил попробовать еще раз наудачу — и все-таки влез.

Утром мы поднялись чуть свет и пошли к негритянским хижинам, чтобы приучить к себе собак и познакомиться поближе с тем негром, который кормил Джима, — если это действительно Джиму носили еду. Негры как раз позавтракали и собирались в поле, а Джимов негр накладывал в миску хлеба, мяса и всякой еды, и в то время, как остальные уходили, из большого дома ему прислали ключ.

У этого негра было добродушное, глуповатое лицо, а волосы он перевязывал нитками в пучки, для того чтобы отвадить ведьм. Он рассказывал, что ведьмы

ужасно донимают его по ночам; ему мерещатся всякие чудеса, слышатся всякие слова и звуки, и никогда в жизни с ним еще не бывало, чтобы надолго привязалась такая нечисть.

Он разговорился про свои несчастья и до того увлекся, что совсем позабыл про дело. Том и спрашивает:

— А ты кому несешь еду? Собак кормить собираешься?

Негр заулыбался, так что улыбка расплылась у него по всему лицу, вроде как бывает, когда запустишь кирпичом в лужу, и говорит:

— Да, мистер Сид, собаку. И занятная же собачка! Не хотите ли поглядеть?

— Хочу.

Я толкнул Тома и шепчу ему:

— Что ж ты, так и пойдешь к нему днем? Ведь по плану не полагается.

— Тогда не полагалось, а теперь полагается.

Мы пошли — провалиться бы ему! — только мне это очень не понравилось. Входим туда и почти что ничего не видим — такая темнота; зато Джим и вправду там сидел; он-то нас разглядел и обрадовался:

— Да ведь это Гек! Господи помилуй, никак и мистер Том здесь?

Я наперед знал, что так будет, только этого и ждал. Как теперь быть, я понятия не имел, а если б и знал, так ничего не мог бы поделать, потому что этот самый негр вмешался тут и говорит:

— Боже ты мой, да никак он вас знает?

Теперь мы пригляделись и всё хорошо видели. Том посмотрел на негра пристально и как будто с удивлением и спрашивает:

— Кто нас знает?

— Да вот этот самый беглый негр.

— Не думаю, чтобы знал; а с чего это тебе пришло в голову?

— С чего пришло? Да ведь он сию минуту крикнул, что он вас знает.

Том говорит, как будто с недоумением:

— Ну, это что-то очень странно... Кто кричал? Когда кричал? Что же он кричал? — Потом повертывается ко мне и преспокойно спрашивает: — Ты слышал что-нибудь?

Разумеется, на это можно было ответить только одно, и я сказал:

— Нет, я ничего ровно не слышал, никто ничего не говорил.

Тогда Том обращается к Джиму, глядит на него так, будто первый раз в жизни его видит, и спрашивает:

— Ты что-нибудь говорил?

— Нет, сэр, — отвечает Джим, — я ничего не говорил, сэр.

— Ни единого слова?

— Нет, сэр, ни слова не говорил.

— А ты нас раньше видел?

— Нет, сэр, сколько припомню, не видал.

Том повертывается к негру, — а тот даже оторопел и глаза вытаращил, — и говорит строгим голосом:

— Что это с тобой творится такое? С чего тебе вздумалось, будто он кричал?

— Ох, сэр, это всё проклятые ведьмы, мне хоть помереть в ту же пору! Это всё они, сэр, они меня в гроб уложат, всегда напугают до смерти! Не говорите про это никому, сэр, а то старый мистер Сайлас будет ругаться; он говорит, что никаких ведьм нету. Жалко, ей-богу, что его тут не было, — любопытно, что бы он сейчас сказал! Небось на этот раз не отвертелся бы! Да что уж, вот так и всегда бывает: кто повадился пить, тому не протрезвиться; сами ничего не видят и толком разобрать не могут, а ты увидишь да скажешь им, так они еще и не верят.

Том дал ему десять центов и пообещал, что мы никому не скажем; велел ему купить еще ниток, чтобы перевязывать себе волосы, а потом поглядел на Джима и говорит:

— Интересно, повесит дядя Сайлас этого негра или нет? Если бы я поймал такого неблагодарного негра, который посмел убежать, так уж я бы его не отпустил, я бы его повесил!

А пока негр подходил к двери, разглядывал монету и пробовал на зуб, не фальшивая ли, Том шепнул Джиму:

— И виду не подавай, что ты нас знаешь. А если ночью услышишь, что копают, так это мы с Гekom: мы хотим тебя освободить.

Джим только-только успел схватить нас за руки и пожать их, а тут и негр вернулся. Мы сказали, что и еще придем, если он нас возьмет с собой; а негр сказал: отчего же не взять, особенно в темные вечера, — ведьмы больше в темноте к нему привязываются, так это даже и лучше, чтобы побольше было народу.

Глава XXXV

До завтрака оставалось, должно быть, не меньше часа, и мы пошли в лес. Том сказал что копать надо при свете, а от фонаря свет уж очень яркий, как бы с ним не попасться; лучше набрать побольше гнилушек, которые светятся, положить их где-нибудь в темном месте, они и будут светиться понемножку.

Мы притащили целую охапку сухих гнилушек, спрятали в бурьяне, а сами сели отдохнуть. Том недовольно проворчал:

— А ей-богу, все это до того легко и просто, что даже противно делается! Потому и трудно придумать какой-нибудь план поинтересней. Даже сторожа нет, некого поить дурманом, — а ведь сторож обязательно должен быть! Даже собаки нет, чтобы дать ей сонного зелья. Цепь у Джима длиной в десять футов, только на одной ноге, и надета на ножку кровати; всего и дела, что приподнять эту ножку да снять цепь. А дядя Сайлас всякому верит: отдал ключ какому-то безмозглому негру, и никто за этим негром не следит. Джим и раньше мог бы вылезть в окошко, только с десятифутовой цепью далеко не уйдешь. Просто досадно, Гек, ведь глупее ничего быть не может! Самому приходится выдумывать всякие трудности. Что ж, ничего не поде-

лаешь! Придется как-нибудь изворачиваться с тем, что есть под руками. Во всяком случае, один плюс тут есть: для нас больше чести выручать его из разных затруднений и опасностей, когда никто этих опасностей для нас не приготовил и мы сами должны все придумывать из головы, хоть это вовсе не наша обязанность. Взять хотя бы фонарь. Если говорить прямо, приходится делать вид, будто с фонарем опасно. Да тут хоть целую процессию с факелами устраивай, никто и не почешется, я думаю. Кстати, вот что мне пришло в голову: первым делом надо разыскать что-нибудь такое, из чего можно сделать пилу.

— А для чего нам пила?

— Как, для чего нам пила? Ведь нужно же отпилить ножку кровати, чтобы снять с нее цепь!

— Да ведь ты сам сказал, что цепь и так снимается, надо только приподнять ножку.

— Вот это на тебя похоже, Гек Финн! Непременно выберешь самый что ни на есть детский способ. Что же ты, неужели и книг никаких не читал? Ни о бароне Трэнке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини? А Генрих Наваррский? Да мало ли еще знаменитостей! Где ж это слыхано, чтобы заключенных освобождали таким простецким способом? Нет, все авторитеты говорят в один голос, что надо ножку перепилить надвое и так оставить, а опилки проглотить, чтоб никто не заметил, а ножку замазать грязью и салом, чтобы даже самый зоркий тюремщик не мог разглядеть, где пилили, и думал, что ножка совсем целая. Потом, в ту ночь, когда ты совсем подготовишься к побегу, пнешь ее ногой — она и отлетит; снимешь цепь — вот и все. Больше и делать почти нечего: закинешь веревочную лестницу на зубчатую стену, соскользнешь в ров, сломаешь себе ногу, потому что лестница коротка — целых девятнадцати футов не хватает, — а там уж тебя ждут лошади, и верные слуги хватают тебя, кладут поперек седла и везут в твой родной Лангедок, или в Наварру, или еще куда-нибудь. Вот это я понимаю, Гек! Хорошо, если б около этой хибарки был ров! Если будет время, так в ночь побега мы его выкопаем.

Я говорю:

— А на что нам ров, когда мы Джима выкрадем через подкоп?

А он даже и не слушает. Забыл и про меня и про все на свете, схватился рукой за подбородок и думает; потом вздохнул, покачал головой, опять вздохнул и говорит:

— Нет, это ни к чему, никакой надобности нет.

— Это ты про что? — спрашиваю.

— Да отпиливать Джиму ногу.

— Господи помилуй! — говорю. — Ну конечно, какая же в этом надобность? А для чего все-таки тебе вздумалось отпиливать ему ногу?

— Многие авторитеты так делали. Они не могли снять цепь — отрубали себе руку и тогда бежали. А ногу было бы еще лучше. Но придется обойтись без этого. Особой необходимости у нас нет, а кроме того, Джим — негр, и не поймет, для чего это нужно; ему ведь не растолкуешь, что в Европе так принято... Нет, придется это бросить! Ну а веревочную лестницу — это можно: мы разорвем свои простыни и в два счета сделаем Джиму веревочную лестницу. А переслать ее можно будет в пироге, — уж это всегда так делают. И похуже бывают пироги, да приходится есть.

— Что ты это плетешь, Том Соьер? — говорю я. — Не нужно Джиму никаких веревочных лестниц.

— Нет, нужно. Ты лучше скажи, что сам плетешь неизвестно что, и ведь ничего в этом деле не смыслишь! Веревочная лестница ему нужна, у всех она бывает.

— А что он с ней будет делать?

— Что делать будет? Спрячет ее в тюфяк — не сумеет, что ли? Все так делают, значит и ему надо. Гек, ты, кажется, ничего не хочешь делать по правилам — каждый раз что-нибудь новенькое да придумаешь. Если даже эта лестница ему не пригодится, ведь она же останется у него в тюфяке после побега? Ведь это улика? Ты думаешь, улики не понадобятся? Еще как! А ты хочешь, чтобы совсем улик не осталось? Вот это было бы хорошенькое дельце, нечего сказать! Я такого никогда в жизни не слыхал.

— Ну, — говорю, — если уж так полагается по правилам, чтоб у него была лестница, — ладно, пускай будет, я вовсе не хочу идти против правил. Одно только, Том Сойер: если мы порвем простыни, чтобы сделать Джиму лестницу, у нас будут неприятности с тетей Салли, это уж как пить дать. А я так думаю: лестница из ореховой коры ничего не стоит, добро на нее изводить не нужно, а в пирог ее можно запечь не хуже, чем тряпичную, и в тюфяк спрятать тоже. А Джим не очень в этих делах разбирается, ему все равно, какую ни...

— Ну и чушь ты несешь, Гек Финн! Если б я не смыслил ничего, так помалкивал бы! Где это слыхано, чтобы государственный преступник бежал по лестнице из ореховой коры? Да это курам на смех!

— Ну ладно, Том, делай как знаешь; только все-таки, если хочешь послушать моего совета, лучше позаимствовать простыню с веревки.

Он сказал, что это можно. Тут у него явилась еще одна мысль, и он сказал:

— Позаимствуй кстати и рубашку.

— А для чего нам рубашка, Том?

— Для Джима — вести дневник.

— Какой еще дневник? Джим и писать-то не умеет!

— Ну, положим, что не умеет, но ведь он сможет ставить какие-нибудь значки, если мы сделаем ему перо из оловянной ложки или из старого обруча с бочки?

— Да что ты, Том! Можно выдернуть перо у гуся — и лучше и гораздо скорей.

— У узников гуси по камере не бегают, чтобы можно было перья дергать, эх ты, голова! Они всегда делают перья из чего-нибудь самого твердого и неподходящего, вроде обломка медного подсвечника, да и мало ли что подвернется под руку! И на это у них уходит много времени — недели, а то и месяцы, потому что перо они оттачивают об стенку. Гусиным пером они и писать ни за что не станут, хоть бы оно и оказалось под рукой. Это не принято.

— Ну ладно, а из чего же мы ему сделаем чернила?

— Многие делают из ржавчины со слезами; только это кто попроще и женщины, а знаменитости пишут своей кровью. И Джим тоже может; а когда ему понадобится известить весь мир, что он заключен, послать самое простое таинственное сообщение, так он может нацарапать его вилкой на жестяной тарелке и выбросить в окно. Железная Маска всегда так делал, и это тоже очень хороший способ.

— У Джима нет жестяных тарелок. Его кормят из миски.

— Это ничего, мы ему доставим.

— Все равно никто не разберет.

— Это вовсе не важно, Гек Финн. Его дело — написать и выбросить тарелку за окно. А читать ее тебе незачем. Все равно половину разобрать нельзя, что они там пишут на тарелках или еще на чем.

— Тогда какой же смысл тарелки портить?

— Вот еще! Ведь это же не его тарелки!

— Все равно, чьи-нибудь, ведь верно?

— Ну так что ж? Узнику-то какое дело, чьи они...

Он не договорил — мы услышали рожок, который звал к завтраку, и пошли домой.

За это утро мне удалось позаимствовать с веревки простыню и белую рубашку; я разыскал еще старый мешок и положил их туда, а потом мы взяли гнилушки и тоже туда сунули. Я называю это «заимствовать», потому что мой родитель всегда так говорил, но Том сказал, что это не заем, а кража. Он сказал, что мы помогаем узнику, а ему все равно, как добыть вещь, лишь бы добыть, и никто его за это не осудит. Вовсе не преступление, если узник украдет вещь, которая нужна ему для побега, это его право; и для узника мы имеем полное право красть в этом доме все, что нам только понадобится для его освобождения из тюрьмы. Он сказал, что если бы мы были не узники, тогда, конечно, другое дело, и разве только уж самый последний негодяй, дрянь какая-нибудь станет красть, если не сидит в тюрьме. Так что мы решили красть все, что только под руку подвернется. А как-то на днях, уже после этого, он завел целый разговор из-за

пустяков — из-за того, что я стащил арбуз с огорода у негров и съел его. Он меня заставил пойти и отдать неграм десять центов, не объясняя, за что. Сказал, что красть можно только то, что понадобится. «Что же, говорю, значит арбуз мне понадобился». А он говорит, что арбуз мне понадобился вовсе не для того, чтобы бежать из тюрьмы, — вот в чем разница. Говорит: «Вот если бы ты спрятал в нем нож для передачи Джиму, чтобы он мог убить тюремщика, тогда другое дело — все было бы в порядке». Ну, я не стал с ним спорить, хотя не вижу, какой мне интерес стараться для узника, если надо сидеть да раздумывать над всякими тонкостями каждый раз, как подвернется случай стянуть арбуз.

Так вот, я уже говорил, что в это утро мы подождали, пока все разойдутся по своим делам и во дворе никого не будет видно, и только после этого Том отнес мешок в пристройку, а я стоял во дворе — сторожил. Он скоро вышел оттуда, и мы с ним пошли и сели на бревна — поговорить. Он сказал:

— Теперь все готово, кроме инструмента; ну а это легко достать.

— Кроме инструмента?

— Ну да.

— Это для чего же инструмент?

— Как для чего? Чтобы копать. Ведь не зубами же мы землю выгрызать будем?

— А эти старые мотыги и лопаты, что в пристройке, не годятся разве? — спрашиваю.

Он оборачивается ко мне, глядит с таким сожалением, что просто плакать хочется, и говорит:

— Гек Финн, где это ты слышал, чтоб у узников были мотыги и лопаты и всякие новейшие приспособления, для того чтобы вести подкоп? Я тебя спрашиваю, если ты хоть что-нибудь соображаешь: как же он прославится? Уж тогда чего проще — дать ему ключ, и дело с концом. Мотыги, лопаты! Еще чего! Да их и королям не дают.

— Ну ладно, — говорю, — если нам мотыги и лопаты не подходят, тогда что же нам нужно?

— Ножи, как у мясников.

— Это чтобы вести подкоп под хибарку?

— Ну да!

— Да ну тебя, Том Сойер, это просто глупо!

— Все равно, глупо или неглупо, а так полагается — самый правильный способ. И никакого другого способа нет; сколько я ни читал в книжках про это, мне не приходилось слышать, чтобы делали по-другому. Всегда копают ножом, да не землю, заметь себе, — всегда у них там твердая скала. И сколько времени на это уходит, неделя за неделей... а они всё копают, копают! Да вот, например, один узник в замке д'Иф, в Марсельской гавани, рылся-рылся и вышел на волю таким способом. И как ты думаешь, сколько времени он копал?

— Я почему знаю!

— Нет, ты отгадай!

— Ну, не знаю. Месяца полтора?

— Тридцать семь лет! И вышел из-под земли в Китае. Вот как бывает! Жалко, что у нас тут тюрьма стоит не на скале!

— У Джима в Китае никого и знакомых нет.

— А при чем тут знакомые? У того узника тоже не было знакомых. Всегда ты собьешься с толку. Держался бы ближе к делу!

— Ну ладно, мне все равно, где бы он ни вылез, лишь бы выйти на волю; и Джиму тоже, я думаю, все равно. Только вот что: не такой Джим молодой, чтобы его ножом откапывать. Он помрет до тех пор.

— Нет, не помрет. Неужели ты думаешь, что нам понадобится тридцать семь лет? Ведь копать-то мы будем мягкую землю!

— А сколько понадобится, Том?

— Ну, нам ведь нельзя копать столько, сколько полагается, а то как бы дяде Сайласу не написали оттуда, из-под Нового Орлеана. Как бы он не узнал, что Джим вовсе не оттуда. Тогда он тоже что-нибудь напишет — может, объявление про Джима, я почему знаю... Значит, мы не можем рисковать — возиться с подкопом столько, сколько полагается. По правилам надо бы, я думаю, копать два года; но нам этого никак нельзя. Неизвестно, что дальше будет, а потому я

советую сделать так: копать по-настоящему, как можно скорее, а потом взять да и вообразить, будто мы копали тридцать семь лет. Тогда можно будет в два счета его выкрасть и увезти, как только поднимется тревога. Да, я думаю, что это будет самое лучшее.

— Ну, тут еще есть какой-то смысл, — говорю. — Вообразить нам ничего не стоит, и хлопот с этим никаких; если надо, так я могу вообразить, что мы полтора года лет копали. Это мне нетрудно, стоит только привыкнуть. Так я сейчас сбегая достану где-нибудь два ножа.

— Доставай три, — говорит он, — из одного мы сделаем пилу.

— Том, если такое предложение не против правил и не против религии, — говорю я, — так вон там, под навесом позади копильни, есть ржавая пила.

Он посмотрел на меня вроде как бы с досадой и с огорчением и сказал:

— Тебя ничему путному не научишь, Гек, нечего и стараться! Беги доставай ножи — три штуки!

И я побежал.

Глава XXXVI

В ту ночь, как только все уснули, мы спустились во двор по громоотводу, затворились в сарайчике, высыпали на пол кучу гнилушек и принялись за работу. Мы расчистили себе место, футов в пять или шесть, вдоль нижнего бревна. Том сказал, что это будет как раз за кроватью Джима, под нее мы и подведем подкоп, а когда кончим работу, никто даже и не узнает, что там есть дыра, потому что одеяло у Джима висит чуть не до самой земли, и только если его приподнимешь и заглянешь под кровать, тогда будет видно. Мы копали и копали ножами чуть не до полуночи, устали, как собаки, и руки себе натерли до волдырей, а толку было мало. Наконец я говорю:

— Знаешь, Том Сойер, это не на тридцать семь лет работа, а, пожалуй, и на все тридцать восемь.

Он ничего не ответил, только вздохнул, а после того скоро бросил копать. Вижу, задумался и думал довольно долго; потом говорит:

— Не стоит и стараться, Гек: ничего не выйдет. Если бы мы были узники, ну тогда еще так, потому что времени у них сколько угодно, торопиться некуда; да и копать пришлось бы пять минут в день, пока смеют часовых, так что и волдырей на руках не было бы; вот мы и копали бы себе год за годом, и все было бы правильно — так, как полагается. А теперь нам дурака валять некогда, надо поскорей, времени лишнего у нас нет. Если мы еще одну ночь так прокопаем, придется на неделю бросать работу, пока волдыри не пройдут, — раньше, пожалуй, мы и ножа в руки взять не сможем.

— Так что же нам делать, Том?

— Я тебе скажу что. Может, это и неправильно, и нехорошо, и против нравственности, и нас за это осудят, если узнают, но только другого способа все равно нет: будем копать мотыгами, а вообразим, будто это ножи.

— Вот это дело! — говорю. — Ну, Том Сойер, голова у тебя и раньше здорово работала, а теперь еще того лучше. Мотыги — это вещь, а что нехорошо и против нравственности, так мне на это ровным счетом наплевать. Когда мне вздумается украсть негра, или арбуз, или учебник из воскресной школы, я разбираться не стану, как там по правилам полагается делать, лишь бы было сделано. Что мне нужно — так это негр, или арбуз, или учебник; если мотыгой ловчее, так я мотыгой и откопаю этого негра, или там арбуз, или учебник; а твои авторитеты пускай думают что хотят, я за них и дохлой крысы не дам.

— Ну что ж, — говорит, — в таком деле можно и вообразить что-нибудь и мотыгу пустить в ход; а если бы не это, я и сам был бы против, не позволил бы себе нарушать правила: что полагается, то полагается, а что нет — то нет; и если кто знает, как надо, тому нельзя действовать без разбору, как попало. Это тебе можно откапывать Джима мотыгой, просто так, ничего не воображая, потому что ты ровно ничего не смыслишь; а

мне нельзя, потому что я знаю, как полагается. Дай сюда нож!

У него был ножик, но я все-таки подал ему свой. Он швырнул его на землю и говорит:

— Дай сюда нож!

Я сначала не знал, что делать, потом сообразил. Порылся в куче старья, разыскал кирку и подаю ему, а он схватил и давай копать и ни слова мне не говорит.

Он и всегда был такой привередник. Все у него по правилам. Я взял тогда лопату, и мы с ним давай орудовать то киркой, то лопатой, так что только комья летели. Копали мы, должно быть, полчаса — больше не могли, очень устали, и то получилась порядочная дыра. Я поднялся к себе наверх, подошел к окну и вижу: Том старается всю — хочет влезть по громоотводу, только ничего у него не получается с волдырями на руках. В конце концов он сказал:

— Ничего не выходит, никак не могу влезть. Как по-твоему, что мне делать? Может, придумаешь что-нибудь?

— Да, — говорю, — только это, пожалуй, против правил. Ступай по лестнице, а вообрази, будто это громоотвод.

Так он и сделал.

На другой день Том стащил в большом доме оловянную ложку и медный подсвечник, чтобы наделать Джиму перьев, и еще шесть сальных свечей; а я все слонялся вокруг негритянских хижин, поджидая удобного случая, и стащил три жестяные тарелки. Том сказал, что этого мало, а я ответил, что все равно никто этих тарелок не увидит, потому что, когда Джим выбросит их в окно, они упадут в бурьян около собачьей конуры, мы их тогда подберем, — и пускай он опять на них пишет. Том успокоился и сказал:

— Теперь надо подумать, как переправить вещи Джиму.

— Протащим их в дыру, — говорю, — когда кончим копать.

Он только посмотрел на меня с презрением и выразился в таком роде, что будто бы отродясь не слышал про такое идиотство, а потом опять стал думать.

И в конце концов сказал, что наметил два-три способа; только останавливаться на каком-нибудь из них пока нет надобности. Сказал, что сначала надо поговорить с Джимом.

В этот вечер мы спустились по громоотводу в начале одиннадцатого, захватили с собой одну свечку, постояли под окошком у Джима и услышали, что он храпит; тогда мы бросили свечку в окно, но он не проснулся. Мы начали копать киркой и лопатой, и часа через два с половиной вся работа была кончена. Мы влезли под кровать к Джиму, а там и в хибарку, пошарили ощупью, нашли свечку, зажгли ее и сначала постояли около Джима, поглядели, какой он, — оказалось, что крепкий и здоровый с виду, — а потом стали будить его потихоньку. Он так нам обрадовался, что чуть не заплакал, называл нас «голубчиками» и всякими ласковыми именами, потом захотел, чтобы мы сейчас же принесли откуда-нибудь зубило, сняли цепь у него с ноги и убежали бы вместе с ним, не теряя ни минуты. Но Том доказал ему, что это будет не по правилам, сел к нему на кровать и рассказал, какие у нас планы и как мы все это переменим в один миг, если поднимется тревога; и что бояться ему нечего — мы его освободим обязательно.

Тогда Джим согласился и сказал: пускай все так и будет. И мы еще долго с ним сидели; сначала толковали про старые времена, а после Том стал его про все расспрашивать, и когда узнал, что дядя Сайлас приходит чуть не каждый день и молится вместе с ним, а тетя Салли забегает узнать, хорошо ли ему тут и сыт ли он, — добрей и быть нельзя! — то сказал:

— Ну, теперь я знаю, как это устроить. Мы тебе кое-что будем посылать с ними.

Я ему говорю:

— Вот это ты напрасно, про такое идиотство я отроду не слыхал!

Но он даже не обратил внимания на мои слова и продолжал рассказывать дальше. Он и всегда был такой, если что задумает. Он сказал Джиму, что мы доставим ему пирог с лестницей и другие крупные вещи через Ната — того негра, который носит ему еду, а ему

надо только глядеть в оба, ничему не удивляться и только стараться, чтобы Нат не видел, как он их достает. А вещи помельче мы будем класть дяде в карманы, и Джиму надо только будет их оттуда незаметно вытащить; будем также привязывать к тесемкам теткинoго фартука или класть ей в карман, когда подвернется случай. Сказал ему также, какие это будут вещи и для чего они. А еще Том научил его, как вести дневник на рубашке, и всему, чему следует. Все ему рассказал. Джим никак не мог понять, зачем все это надо, но решил, что нам лучше знать, раз мы белые; в общем, он остался доволен и сказал, что так все и сделает, как Том велел.

У Джима было много табаку и трубок из маисовых початков, так что мы очень неплохо провели время; потом вылезли обратно в дыру и пошли спать, только руки у нас были все ободранные. Том очень радовался, говорил, что еще никогда у него не было такой веселой игры и такой богатой пищи для ума; и если бы только он знал, как это сделать, он бы всю жизнь в нее играл, а потом завещал бы нашим детям освободить Джима, потому что Джим, конечно, со временем привыкнет и ему все больше и больше будет здесь нравиться. Он сказал, что это дело можно растянуть лет на восемьдесят и поставить рекорд. И тогда все, кто в нем участвовал, прославятся, и мы тоже прославимся.

Утром мы пошли к поленнице и изрубили подсвечник топором на мелкие части, и Том положил их вместе с ложкой к себе в карман. Потом мы пошли к негритянским хижинам, и, пока я разговорами отводил негру глаза, Том засунул кусок подсвечника в маисовую лепешку, которая лежала в миске для Джима, а после того мы проводили Ната к Джиму, чтобы посмотреть, что получится. И получилось замечательно: Джим откусил кусок лепешки и чуть не обломал все зубы — лучше и быть не могло. Том Сойер сам так сказал. Джим и виду не подал, сказал, что это, должно быть, камешек или еще что-нибудь попало в хлебе — это бывает, знаете ли, — только после этого он никогда ничего не кусал так прямо, а сначала всегда возьмет и потыкает вилкой местах в трех-четырех.

И вот стоим мы в темноте, как вдруг из-под Джимовой кровати выскакивают две собаки, а там еще и еще, пока не набралось штук одиннадцать, так что прямо-таки негде было повернуться. Ей-богу, мы забыли запереть дверь в пристройке! А негр Нат как заорет: «Ведьмы!» — повалился на пол среди собак и стонет, точно помирать собрался. Том распахнул дверь настежь и выкинул на двор кусок мяса из Джимовой миски; собаки бросились за мясом, а Том в одну секунду выбежал, тут же вернулся и захлопнул дверь, — и я понял, что дверь в сарайчик он тоже успел прикрыть, — а потом стал обрабатывать негра — все уговаривал его, утешал и расспрашивал, уж не померещилось ли ему что-нибудь. Негр встал, поморгал глазами и говорит:

— Мистер Сид, вы небось скажете, что я дурак; только помереть мне на этом самом месте, если я своими глазами не видел целый мильон собак, или чертей, или я уж не знаю кого! Ей-богу, видел! Мистер Сид, я их чувствовал — да, сэр! — они по мне ходили, по всему телу. Ну, попадись только мне в руки какая-нибудь ведьма, пускай хоть бы один-единственный разок, — уж я бы ей показал! А лучше оставили бы они меня в покое, больше я ничего не прошу.

Том сказал:

— Ладно, я тебе скажу, что я думаю. Почему они сюда прибегают всякий раз, когда этот беглый негр завтракает? Потому что есть хотят — вот почему. Ты им испеки заколдованный пирог — вот что тебе надо сделать.

— Господи, мистер Сид, да как же я испеку такой пирог? Я и не знаю, как его печь. Даже и не слыхивал отродясь про такие пироги.

— Ну что ж, тогда придется мне самому печь.

— Неужто испечете, голубчик? Испеките, да я вам за это что угодно — в ножки поклонюсь, вот как!

— Ладно уж, испеку, раз это для тебя: ты ведь к нам хорошо относился, беглого негра нам показал. Только уж, смотри, будь поосторожней. Когда мы придем, ты повернись к нам спиной, и боже тебя упаси

глядеть, что мы будем класть в миску! И когда Джим будет вынимать пирог, тоже не гляди — мало ли что может случиться, я почему знаю! А главное, не трогай ничего заколдованного.

— Не трогать? Да господь с вами, мистер Сид! Я и пальцем ни до чего не дотронусь, хоть озолоти меня!

Глава XXXVII

Это дело мы уладили; потом пошли на задний двор, к мусорной куче, где валялись старые сапоги, тряпки, битые бутылки, дырявые кастрюльки и прочий хлам, покопались в нем и разыскали старый жестяной таз, заткнули получше дырки, чтобы испечь в нем пирог, спустились в погреб и насыпали полный таз муки, а оттуда пошли завтракать. По дороге нам попалось два обойных гвоздя, и Том сказал, что они пригодятся узнику — выцарапать ими на стене темницы свое имя и свои злоключения; один гвоздь мы положили в карман фартука тети Салли, который висел на стуле, а другой заткнули за ленту на шляпе дяди Сайласа, что лежала на конторке: от детей мы слышали, что папа с мамой собираются сегодня утром пойти к беглому негру. Потом мы сели за стол, и Том опустил оловянную ложку в дядин карман. Только тети Салли еще не было — пришлось ее дожидаться. А когда она сошла к завтраку, то была вся красная и сердитая и едва дождалась молитвы; одной рукой она разливала кофе, а другой все время стучала наперстком по голове того из ребят, который подвертывался под руку, а потом и говорит:

— Я искала-искала, весь дом перевернула и просто ума не приложу, куда могла деваться твоя другая рубашка!

Сердце у меня упало и запуталось в кишках, и кусок майсовой лепешки стал поперек горла; я закашлялся, кусок у меня выскочил, полетел через стол и угодил в глаз одному из ребятишек, так что он завертелся, как червяк на крючке, и заорал во все горло;

а Том даже весь посинел от страха. И с четверть минуты или около того наше положение было незавидное, и я бы свою долю продал за полцены, если бы нашелся покупатель. Но после этого мы скоро успокоились — это только от неожиданности нас как будто вышибло из колеи. Дядя Сайлас сказал:

— Удивительное дело, я и сам ничего не понимаю. Отлично помню, что я ее снял, потому что...

— Потому что на тебе надета одна рубашка, а не две. Тебя послушай только! Вот я так действительно знаю, что ты ее снял, лучше тебя знаю, потому что вчера она сушилась на веревке — я своими глазами ее видела. А теперь рубашка пропала, вот тебе и все! Будешь теперь носить красную фланелевую фуфайку, пока я не выберу время сшить тебе новую. За два года это уж третью рубашку тебе приходится шить. Горят они на тебе, что ли? Просто не понимаю, что ты с ними делаешь, только и знай — шей тебе рубашки! В твои годы пора бы научиться беречь вещи!

— Знаю, Салли, я уж стараюсь беречь, как только можно. Но тут не я один виноват — ты же знаешь, что я их только и вижу, пока они на мне, а ведь не мог же я сам с себя потерять рубашку!

— Ну, это уж не твоя вина, Сайлас: было бы можно, так ты бы ее потерял, я думаю. Ведь не только эта рубашка пропала. И ложка тоже пропала, да и это еще не всё. Было десять ложек, а теперь стало всего девять. Ну, рубашку, я думаю, теленок сжевал, но ложку-то он не мог проглотить, это уж верно.

— А еще что пропало, Салли?

— Полдюжины свечей пропало — вот что пропало! Может, крысы их съели? Я думаю, что это они; удивительно, как они весь дом еще не изгрызли! Ты все собираешься заделать дыры и никак не можешь справиться; будь они похитрей, так спали бы у тебя на голове, а ты бы ничего не почувствовал. Но ведь не крысы же стащили ложку, уж это-то я знаю!

— Ну, Салли, виноват, сознаюсь, — это моя оплошность. Завтра же обязательно заделаю все дыры!

— Куда так спешить, и в будущем году еще успеется. Матильда-Энджелина-Араминта Фелпс!

Трах! — наперсток стукнул, и девочка вытащила руку из сахарницы и смирно уселась на месте. Вдруг прибегает негритянка и говорит:

— Миссис Салли, у нас простыня пропала!

— Простыня пропала! Ах ты господи!

— Я сегодня же заткну все дыры, — говорит дядя Сайлас, а сам, видно, расстроился.

— Замолчи ты, пожалуйста! Крысы, что ли, стянули простыню! Как же это она пропала, Лиза?

— Ей-богу, не знаю, миссис Салли. Вчера висела на веревке, а теперь пропала: нет ее там.

— Ну, должно быть, светопреставление начинается. Ничего подобного не видывала, сколько живу на свете! Рубашка, простыня, ложка и полдюжины свечей...

— Миссис, — вбегает молодая мулатка, — медный подсвечник куда-то девался!

— Убирайся вон отсюда, дрянь этакая! А то как запушу в тебя кофейником!..

Тетя Салли просто вся кипела. Вижу — надо удирать при первой возможности; улизну, думаю, потихоньку и буду сидеть в лесу, пока гроза не пройдет. А тетя Салли развоевалась, просто удержу нет, зато все остальные притихли и присмирели; и вдруг дядя Сайлас выуживает из кармана эту самую ложку, и вид у него довольно глупый. Тетя Салли всплеснула руками и замолчала, разинув рот, — а мне захотелось убратся куда-нибудь подальше, — но ненадолго, потому что она сейчас же сказала:

— Ну, так я и думала! Значит, она все время была у тебя в кармане; надо полагать, и все остальное тоже там. Как она туда попала?

— Право, не знаю, Салли, — говорит дядя, вроде как бы оправдываясь, — а не то я бы тебе сказал. Перед завтраком я сидел и читал «Деяния апостолов», главу семнадцатую, и, должно быть, нечаянно положил в карман ложку вместо евангелия... наверно, так, потому что евангелия у меня в кармане нет. Сейчас пойду посмотрю: если евангелие там лежит, значит я положил его не в карман, а на стол и взял ложку, а после того...

— Ради бога, замолчи! Дайте мне покой! Убирайтесь отсюда все, все до единого, и не подходите ко мне, пока я не успокоюсь!

Я бы ее услышал, даже если бы она шептала про себя, а не кричала так, и встал бы и послушался, даже если бы лежал мертвый. Когда мы проходили через гостиную, старик взял свою шляпу, и гвоздь упал на пол; тогда он просто подобрал его, положил на каминную полку и вышел — и даже ничего не сказал. Том все это видел, вспомнил про ложку и сказал:

— Нет, с ним никаких вещей посылать нельзя, он ненадежен. — Потом прибавил: — А все-таки он нам здорово помог с этой ложкой, сам того не зная, и мы ему тоже поможем — и опять-таки он знать не будет: давай заткнем эти крысиные норы!

Внизу, в погребе, оказалось пропасть крысиных нор, и мы возились целый час, зато уж все заделали как следует, прочно и аккуратно. Потом слышим на лестнице шаги — мы скорей потушили свечку и спрятались; смотрим — идет наш старик со свечкой в одной руке и с целой охапкой всякой всячины в другой, и такой рассеянный — тычется, как во сне. Сначала сунулся к одной норе, потом к другой — все по очереди обошел. Потом задумался и стоял, должно быть, минут пять, обирая сало со свечки; потом повернулся и побрел к лестнице, еле-еле, будто сонный, а сам говорит: «Хоть убей, не помню, когда я это сделал! Вот надо было бы сказать ей, что зря она из-за крыс меня ругала. Ну да уж ладно, пускай! Все равно никакого толку не выйдет», — и стал подниматься по лестнице, а сам бормочет что-то. А за ним и мы ушли. Очень хороший был старик! Он и сейчас такой!

Том очень беспокоился, как же нам быть с ложкой; сказал, что без ложки нам никак нельзя, и стал думать. Сообразил все как следует, а потом сказал мне, что делать. Вот мы всё и вертелись около корзинки с ложками, пока не увидели, что тетя Салли идет; тогда Том стал пересчитывать ложки и класть их рядом с корзинкой; я спрятал одну в рукав, а Том и говорит:

— Знаете, тетя Салли, а все-таки ложек только девять.

Она говорит:

— Ступай играть и не приставай ко мне! Мне лучше знать, я сама их считала.

— Я тоже два раза пересчитал, тетя, и все-таки получается девять.

Она, видно, из себя выходит, но, конечно, стала считать, да и всякий на ее месте стал бы.

— Бог знает что такое! И правда, всего девять! — говорит она. — А, да пропади они совсем, придется считать еще раз!

Я подсунул ей ту ложку, что была у меня в рукаве, она пересчитала и говорит:

— Вот еще напасть — опять их десять!

А сама и сердится, и не знает, что делать. А Том говорит:

— Нет, тетя, не может быть, чтобы было десять.

— Что ж ты, болван, не видел, как я считала?

— Видел, да только...

— Ну ладно, я еще раз сочту.

Я опять стянул одну, и опять получилось девять, как и в тот раз. Ну, она прямо рвала и метала, даже вся дрожит — до того взбеленилась. А сама все считает и считает и уж до того запуталась, что корзину стала считать вместе с ложками, и оттого три раза у нее получилось правильно, а другие три раза — неправильно. Тут она как схватит корзинку и шварк ее в угол — кошку чуть не убила; потом велела нам убираться и не мешать ей, а если мы до обеда еще раз попадемся ей на глаза, она нас выдерет. Мы взяли эту лишнюю ложку да и сунули ей в карман, пока она нас отчитывала, и Джим получил ложку вместе с гвоздем, все как следует, еще до обеда. Мы остались очень довольны, и Том сказал, что для такого дела стоило потрудиться, потому что ей теперь этих ложек ни за что не сосчитать, хоть убей, — все будет сбиваться; и правильно сочтет, да себе не поверит; а еще денька три посчитает — у нее и совсем голова кругом пойдет, тогда она бросит считать эти ложки да еще пристукнет на месте всякого, кто только попросит их сосчитать.

Вечером мы опять повесили ту простыню на веревку и украли другую, у тети Салли из шкафа, и два

дня подряд только тем и занимались: то повесим, то опять стащим, пока она не сбилась со счета и не сказала, что ей наплевать, сколько у нее простынь, — не губить же из-за них свою душу! Считать она больше ни за что на свете не станет, лучше умрет.

Так что насчет рубашки, простыни, ложки и свечей нам нечего было беспокоиться — обошлось: тут и теленок помог, и крысы, и путаница в счете; ну а с подсвечником тоже как-нибудь дело обойдется, это не важно.

Зато с пирогом была возня: мы с ним просто замучились. Мы его месили в лесу и пекли там же; в конце концов все сделали и довольно прилично, но не в один день; мы извели три полных таза муки, пока его состряпали, обожгли себе все руки, и глаза разъело дымом; нам, понимаете ли, нужна была одна только корка, а она никак не держалась, все проваливалась. Но в конце концов мы все-таки придумали, как надо сделать: положить в пирог лестницу да так и запечь вместе. Вот на другую ночь мы уселись вместе с Джимом, порвали всю простыню на узенькие полоски и свили их вместе, и еще до рассвета получилась у нас замечательная веревка, хоть человека на ней вешай. Мы вообразили, будто делали ее девять месяцев.

А перед обедом мы отнесли ее в лес, но только в пирог она не влезла. Если б понадобилось, этой веревки хватило бы на сорок пирогов, раз мы ее сделали из целой простыни; осталось бы и на суп, и на колбасы, и на что угодно. Целый обед можно было приготовить. Но нам это было ни к чему. Нам было нужно ровно столько, сколько могло влезть в пирог, а остальное мы выбросили. В умывальном тазу мы никаких пирогов не пекли — боялись, что замазка отвалится; зато у дяди Сайласа оказалась замечательная медная грелка с длинной деревянной ручкой, он ею очень дорожил, потому что какой-то там благородный предок привез ее из Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем на «Мейфлауэре» или еще на каком-то из первых кораблей и спрятал на чердаке вместе со всяким старьем и другими ценными вещами; и не то чтобы

они дорого стоили — они вовсе ничего не стоили, а просто были ему дороги как память; так вот мы ее стащили потихоньку и отнесли в лес; но только сначала пироги в ней тоже не удавались — мы не умели их печь, а зато в последний раз здорово получилось. Мы взяли грелку, обмазали ее внутри тестом, поставили на уголья, запахали туда веревку, опять обмазали сверху тестом, накрыли крышкой и засыпали горячими угольями, а сами стояли шагах в пяти и держали ее за длинную ручку, так что было и не жарко и удобно, и через четверть часа испекся пирог, да такой, что одно загляденье. Только тому, кто стал бы есть этот пирог, надо было бы сначала запастись пачек сто зубочисток, да и живот бы у него заболел от этой веревочной лестницы — небось скрючило бы в три погибели! Не скоро запросил бы еды, я-то уж знаю!

Нат не стал смотреть, как мы клали заколдованный пирог Джиму в миску, а в самый низ, под провизию, мы сунули три жестяные тарелки, и Джим все это получил в полном порядке; а как только остался один, разломал пирог и спрятал веревочную лестницу к себе в тюфяк, а потом нацарапал какие-то каракули на тарелке и выбросил ее в окно.

Глава XXXVIII

Делать эти самые перья было сущее мученье, да и пилу тоже; а Джим боялся, что всего трудней будет с надписью, с той самой, которую узник должен выцарапывать на стене. И все-таки надо было, — Том сказал, что без этого нельзя; не было еще ни одного случая, чтобы государственный преступник не оставил на стене надписи и своего герба.

— Возьми хоть леди Джейн Грэй, — сказал он, — или Гилфорда Дадли, или хоть старика Нортумберленда! А что же делать, Гек, если возни с этим много? Как же иначе быть? Ведь без этого не обойдешься! Все равно Джиму придется делать и надпись и герб. Все делают.

Джим говорит:

— Что вы, мистер Том! У меня никакого герба нету, ничего у меня нет, кроме вот этой старой рубахи, а на ней мне надо вести дневник, сами знаете.

— Ты ничего не понимаешь, Джим; герб — это совсем другое.

— А все-таки, — говорю я, — Джим верно сказал, что герба у него нету, потому что откуда же у него герб?

— Мне это тоже известно, — говорит Том, — только герб у него непременно будет, еще до побега, — если бежать, так уж бежать по всем правилам, честь по чести.

И пока мы с Джимом точили перья на кирпиче — Джим медное, а я из оловянной ложки, — Том придумывал ему герб. Наконец он сказал, что ему вспомнилось очень много хороших гербов, так что он даже не знает, который взять; а впрочем, есть один подходящий, на нем он и остановится.

— На рыцарском щите у нас будет золотой пояс; внизу справа — косой червлёный крест и повязка, и на нем лежащая собака — это значит опасность, а под лапой у нее цепь, украшенная зубцами, — это рабство; зелёный шеврон с зарубками в верхней части, три волгнутые линии в лазурном поле, а в середине щита — герб и кругом зазубрины; сверху — беглый негр, черню, с узелком через плечо, на черной полосе с левой стороны, а внизу две червлёные подставки поддерживают щит — это мы с тобой; девиз: «*Maggiore fretta, minore atto*». Это я из книжки взял — значит: «Тише едешь — дальше будешь».

— Здорово! — говорю. — А все остальное-то что значит?

— Нам с этим возиться некогда, — говорит Том, — нам надо кончать поскорее, да и удирать отсюда.

— Ну хоть что-нибудь скажи! Что значит «повязка»?

— Повязка — это... в общем, незачем тебе знать, что это такое. Я ему покажу, как это делается, когда надо будет.

— Как тебе не стыдно, — говорю, — мог бы все-таки сказать человеку! А что такое «черная полоса с левой стороны»?

— Я почему знаю! Только Джиму без нее никак нельзя. У всех вельмож она есть.

Вот он и всегда так. Если не захочет почему-нибудь объяснять, так ни за что не станет. Хотя неделю к нему приставай, все равно толку не будет.

Уладив дело с гербом, он принялся за остальную работу — стал придумывать надпись пожалобнее; сказал, что Джиму без нее никак нельзя, у всех она бывает. Он придумал много разных надписей, написал на бумажке и прочел нам все по порядку:

«1. Здесь разорвалось сердце узника.

2. Здесь бедный пленник, покинутый всем светом и друзьями, влачил свое печальное существование.

3. Здесь разбилось одинокое сердце и усталый дух отошел на покой после тридцати семи лет одиночного заключения.

4. Здесь, без семьи и друзей, после тридцати семи лет горестного заточения погиб благородный незнакомец, побочный сын Людовика Четырнадцатого».

Голос Тома дрожал, когда он читал нам эти надписи, он чуть не плакал. После этого он никак не мог решить, которую надпись выбрать для Джима, — уж очень все они были хороши; и в конце концов решил, чтобы Джим выпарапал на стенке все эти надписи. Джим сказал, что тогда ему целый год придется возиться — выпарапывать столько всякой чепухи гвоздем на бревне, да он еще и буквы-то писать не умеет; но Том ответил, что он сам ему наметит буквы начерно, и тогда ему ничего не надо будет делать — только обвести их, и все. Потом он помолчал немного и сказал:

— Нет, как подумаешь, все-таки бревна не годятся: в тюрьмах не бывает бревенчатых стен. Нам надо выдалбливать надпись на камне. Ну что ж, достанем камень.

Джим сказал, что камень будет еще хуже бревна и уйдет такая пропасть времени, пока все это выдолбишь, что этак он и не освободится никогда. Том ска-

зал, что я ему буду помогать, и подошел посмотреть, как у нас подвигается дело с перьями. Ужасно скучная и противная была работа, такая с ней возня! И руки у меня никак не заживали после волдырей, и дело у нас что-то плохо двигалось, так что Том сказал:

— Я знаю, как это уладить. Нам все равно нужен камень для герба и для скорбных надписей, вот мы и убьем двух зайцев одним камнем. У лесопилки валется здоровый жернов, мы его стащим, выдолбим на нем все, что надо, а заодно будем оттачивать на нем перья и пилу тоже.

Мысль была неплохая, да и жернов тоже был ничего себе, и мы решили, что как-нибудь справимся. Еще не было полуночи, и мы отправились на лесопилку, а Джима усадили работать. Мы стащили этот жернов и покатали его домой; ну и работа же с ним была — просто адская! Как мы ни старались, а он все валился набок, и нас чуть-чуть не придавило. Том сказал, что кого-нибудь одного непременно придавит жерновом, пока мы его докатим до дому. Доволокли мы его до полдороги и сами окончательно выдохлись — обливаемся потом. Видим, что ничего у нас не выходит, взяли да и пошли за Джимом. Он приподнял свою кровать, снял с ножки цепь, обмотал ее вокруг шеи, потом мы пролезли в подкоп и дальше в пристройку, а там мы с Джимом навалились на жернов и покатали его, как перышко, а Том распоряжался. Распоряжаться-то он был мастер, куда до него всем другим мальчишкам! Да он и вообще знал, как что делается.

Дыру мы прокопали большую, но все-таки жернов в нее не пролезал; Джим тогда взял мотыгу и в два счета ее расширил. Том нацарапал на жернове гвоздем эти самые надписи и засадил Джима за работу — с гвоздем вместо зубила и с железным болтом вместо молотка, а нашли мы его среди хлама в пристройке — и велел ему долбить жернов, пока свеча не догорит, а после этого ложиться спать, только сперва велел ему спрятать жернов под матрац и спать на нем. Потом мы ему помогли надеть цепь обратно на ножку кро-

вати и сами тоже решили отправиться ко сну. Вдруг Том что-то вспомнил и говорит:

— Джим, а пауки здесь у тебя есть?

— Нет, сэр! Слава богу, нет, мистер Том.

— Ну ладно, мы тебе достанем.

— Да господь с вами, на что они мне? Я их боюсь до смерти. Уж, по мне, лучше гремучие змеи.

Том задумался на минутку, а потом и говорит:

— Хорошая мысль! И, кажется, так и раньше делали. Ну, само собой делали. Да, просто замечательная мысль! А где ты ее будешь держать?

— Кого это, мистер Том?

— Да гремучую змею.

— Господи ты мой боже, мистер Том! Да если сюда заползет гремучая змея, я убегу или прошибу головой эту самую стенку!

— Да что ты, Джим, ты к ней привыкнешь, а там и бояться перестанешь. Ты ее приручи.

— «Приручи»!

— Ну да, что ж тут трудного? Всякое животное любит, чтобы его приласкали, и даже не подумает кусать человека, который с ним ласково обращается. Во всех книжках про это говорится. Ты попробуй только, больше я тебя ни о чем не прошу, — попробуй дня два или три. Ты ее можешь так приручить, что она тебя скоро полюбит, будет спать с тобой и ни на минуту с тобой не расстанется; будет обертываться вокруг твоей шеи и засовывать голову тебе в рот.

— Ой, не говорите, мистер Том, ради бога! Слышать не могу! Это она мне в рот голову засунет? Подумаешь, одолжила! Очень нужно! Нет, ей долго ждать придется, чтобы я ее попросил. Да и спать с ней я тоже не желаю.

— Джим, не дури! Узнику полагается иметь ручных животных, а если гремучей змеи ни у кого еще не было, тем больше тебе чести, что ты первый ее приручишь, — лучше и не придумаешь способа прославиться.

— Нет, мистер Том, не хочу я такой славы. Укусит меня змея в подбородок, на что тогда и слава! Нет, сэр, ничего этого я не желаю.

— Да ну тебя, неужели хоть попробовать не можешь? Ты только попробуй, а не выйдет, возьмешь и бросишь.

— А пока я буду пробовать, змея меня укусит, тогда уж поздно будет. Мистер Том, я на все согласен; если надо, что хотите сделаю; но только если вы с Гekom притащите гремучую змею, чтобы я ее приручал, я отсюда убегу, верно вам говорю!

— Ну ладно, пускай, раз ты такой упрямый. Мы тебе достанем ужей, а ты навяжи им пуговиц на хвосты, будто бы это гремучки, — сойдет и так, я думаю.

— Ну, это еще туда-сюда, мистер Том, хотя, сказать вам по правде, не больно-то они мне нужны. Вот уж не думал, что такое это хлопотливое дело — быть узником!

— А как же, и всегда так бывает, если все делается по правилам. Крысы тут у тебя есть?

— Нет, сэр, ни одной не видал.

— Ну, мы тебе раздобудем крыс.

— Зачем, мистер Том? Мне крыс не надо! Хуже крыс ничего на свете нет: никакого от них покою, так и бегают по всему телу и за ноги кусают, когда спать хочется, и мало ли еще что! Нет, сэр, уж лучше напустите мне ужей, коли нельзя без этого, а крыс мне никаких не надо — на что они мне, ну их совсем!

— Нет, Джим, без крыс тебе нельзя, у всех они бывают. И, пожалуйста, не упирайся. Узнику без крыс никак не возможно, даже и примеров таких нет. Они их воспитывают, приручают, учат разным фокусам, и крысы к ним привыкают, лезут, как мухи. А тебе надо бы их приманивать музыкой. Ты умеешь играть на чем-нибудь?

— У меня ничего такого нет, разве вот гребенка с бумажкой да еще губная гармошка; им, я думаю, неинтересно будет слушать.

— Отчего же неинтересно! Им все равно, на чем ни играют, была бы только музыка. Для крыс сойдет и губная гармошка. Все животные любят музыку, а в тюрьме так просто жить без нее не могут. Особенно если что-нибудь грустное; а на губной гармошке только

такое и получается. Им это всегда бывает любопытно: они высовываются посматреть, что такое с тобой делается... Ну, теперь у тебя все в порядке, очень хорошо все устроилось. По вечерам, перед сном, ты сиди на кровати и играй, и по утрам тоже. Играй «Навек расстались мы» — это крысам скорей всего должно понравиться. Поиграешь минуты две — сам увидишь, как все крысы, змеи, пауки и другие твари соскучатся и вылезут. Так и начнут по тебе лазить все вместе, кувыркаться... Вот увидишь — им сделается очень весело!

— Да, им-то еще бы не весело, мистер Том, а вот каково мне будет? Не вижу я в этом ничего хорошего. Ну, если надо, что ж, ничего не поделаешь. Уж буду крыс забавлять, только бы нам с вами не поссориться.

Том постоял еще, подумал, не забыл ли он чего-нибудь, а потом и говорит:

— Да, еще одно чуть не забыл. Можешь ты здесь вырастить цветок, как по-твоему?

— Не знаю, может я и вырастил бы, мистер Том, но только уж очень темно тут, да и цветок мне ни к чему — хлопот с ним не оберешься.

— Нет, ты все-таки попробуй. Другие узники выращивали.

— Какой-нибудь репей, этакий длинный, вроде розги, пожалуй вырастет, мистер Том, только стоит ли с ним возиться, радость невелика.

— Ты про это не думай. Мы тебе достанем совсем маленький, ты его посади вон в том углу и выращивай. Да зови его не репей, а «пиччола», — так полагается, если он растет в тюрьме. А поливать будешь своими слезами.

— Да у меня из колодца много воды, мистер Том.

— Вода из колодца тебе ни к чему, тебе надо поливать цветок своими слезами. Уж это всегда так делается.

— Мистер Том, вот увидите, у меня от воды он так будет расти хорошо — другому и со слезами за мной не угнаться!

— Не в том дело. Обязательно надо поливать слезами.

— Он у меня завянет, мистер Том, ей-богу завянет: ведь я и не плачу почти что никогда.

Даже Том не знал, что на это сказать. Он все-таки подумал и ответил, что придется Джиму как-нибудь постараться — луком, что ли, потереть глаза. Он пообещал, что утром потихоньку сбегает к негритянским хижинам и бросит луковицу ему в кофейник. Джим на это сказал, что уж лучше он себе табаку в кофей насыплет, и вообще очень ворчал, ко всему придирался и ничего не желал делать: ни возиться с репейником, ни играть для крыс на гармошке, ни заманивать и приручать змей, пауков и прочих тварей; это кроме всякой другой работы: изготовления перьев, надписей, дневников и всего остального. Он говорил, что быть узником — каторжная работа, хуже всего, что ему до сих пор приходилось делать, да еще и отвечать за все надо. Том даже рассердился на него в конце концов и сказал, что такой замечательной возможности прославиться еще ни у одного узника никогда не было, а он ничего этого не ценит, все только пропадает даром — не в коня корм. Тут Джим раскаялся, сказал, что он больше никогда спорить не будет, и после этого мы с Томом ушли спать.

Глава XXXIX

Утром мы сходили в город и купили проволочную крысоловку, принесли ее домой, откупорили самую большую крысиную нору, и через какой-нибудь час у нас набралось штук пятнадцать крыс, да еще каких — самых здоровенных! Мы взяли и поставили крысоловку в надежное место, под кровать к тете Салли. Но покамест мы ходили за пауками, маленький Томас-Франклин-Бенджамен-Джефферсон-Александр Фелпс нашел ее там и открыл дверцу — посмотреть, вылезут ли крысы; и они, конечно, вылезли; а тут вошла тетя Салли, и когда мы вернулись, она стояла на кровати и визжала во весь голос, а крысы старались, как могли, чтобы ей не было скучно. Она схватила ореховый прут

и отстегала нас обоих так, что пыль летела, а потом мы часа два ловили еще пятнадцать штук — провалиться бы этому мальчишке, везде лезет! — да и крысы-то попались так себе, неважные, потому что самые что ни на есть отборные были в первом улове. Я отродясь не видел таких здоровенных крыс, какие нам попались в первый раз.

Мы наловили самых отборных пауков, лягушек, жуков, гусениц и прочей живности; хотели было захватить с собой осиное гнездо, а потом раздумали: осы были в гнезде. Мы не сразу бросили это дело, а сидели, дожидались, сколько могли вытерпеть: думали, может мы их выживем, а вышло так, что они нас выжили. Мы раздобыли нашатыря, натерли им укусы, и почти что все прошло, только садиться мы все-таки не могли. Потом мы пошли за змеями и наловили десятка два ужей и медяниц, посадили их в мешок и положили в нашей комнате, а к тому времени пора было ужинать; да, мы и поработали в тот день как следует, на совесть, а уж проголодались — и не говорите! А когда мы вернулись, ни одной змеи в мешке не было: моего, должно быть, плохо завязали, и они ухитрились как-то вылезти и все уползли. Только это было не важно, потому что все они остались тут, в комнатах, — и мы так и думали, что опять их переловим. Но еще долго после этого змей в доме было сколько угодно! То и дело они валились с потолка или еще откуда-нибудь и обыкновенно норовили попасть к тебе в тарелку или за шиворот, и всегда не вовремя. Они были такие красивые, полосатые и ничего плохого не делали, но тетя Салли в этом не разбиралась: она терпеть не могла змей, какой бы ни было породы, и совсем не могла к ним привыкнуть, сколько мы ее ни приучали. Каждый раз, как змея на нее сваливалась, тетя Салли бросала работу, чем бы ни была занята, и убегала вон из комнаты. Я такой женщины еще не видывал. А вопила она так, что в Иерихоне слышно было. Никак нельзя было ее заставить дотронуться до змеи даже щипцами. А если она находила змею у себя в постели, то выскакивала оттуда и поднимала такой крик, будто в доме пожар. Она так растревожила старика,

что он сказал, лучше бы господь бог совсем никаких змей не создавал. Ни одной змеи уже не оставалось в доме, и после того прошла целая неделя, а тетя Салли все никак не могла успокоиться. Какое там! Сидит, бывало, задумавшись о чем-нибудь, и только дотронешься перышком ей до шеи, она так и вскочит. Глядеть смешно! Том сказал, что все женщины такие. Он сказал, что так уж они устроены, а почему — кто их знает.

Нас стегали прутом каждый раз, как тете Салли попадалась на глаза какая-нибудь из наших змей, и она грозилась, что еще и не так нас отстегает, если мы опять напустим змей полон дом. Я на нее не обижался, потому что стегала она не больно; обидно только было возиться — опять их ловить. Но мы все-таки наловили и змей и всякой прочей живности, — и то-то веселье начиналось у Джима в хибарке, когда он, бывало, заиграет, а они все так и полезут к нему! Джим не любил пауков, и пауки тоже его недолюбливали, так что ему приходилось от них солоно. И он говорил, что ему даже спать негде из-за всех этих крыс и змей, да еще и жернов тут же в кровати; а если бы даже и было место, все равно не уснешь — такое тут творится; и все время так, потому что все эти твари спят по очереди: когда змеи спят, тогда крысы на палубе; а крысы уснут, так змеи на вахте; и вечно они у него под боком, мешают лечь как следует, а другие скачут по нему, как в цирке; а если он встанет поискать себе другого места, так пауки за него принимаются. Он сказал, что если когда-нибудь выйдет на свободу, так ни за что больше не сядет в тюрьму, даже за большое жалованье.

Так вот, недели через три все у нас отлично наладилось и шло как по маслу. Рубашку мы давно ему доставили, тоже в пироге; и каждый раз, как Джима кусала крыса, он вставал и писал строчку-другую в дневнике, пока чернила еще свежие; перья тоже были готовы, надписи и все прочее было высечено на жернове; ножку кровати мы распилили надвое, а опилки съели, и от этого животы у нас разболелись до невозможности. Так и думали, что помрем, однако не по-

мерли. Ничего хуже этих опилок я еще не пробовал, и Том то же говорит. Я уже сказал, что вся работа у нас была в конце концов сделана, но только мы совсем замучились, особенно Джим. Дядя Сайлас писал раза два на плантацию под Новый Орлеан, чтобы они приехали и забрали своего беглого негра, но ответа не получил, потому что такой плантации вовсе не было; тогда он решил дать объявление про Джима в газетах, в Новом Орлеане и в Сент-Луисе; а когда он помянул про Сент-Луис, у меня даже мурашки забегали по спине; вижу — время терять нечего. Том сказал, что теперь пора писать анонимные письма.

— А это что такое? — спрашиваю.

— Это предостережение людям, если им что-нибудь грозит. Иногда делают так, иногда по-другому. В общем, всегда кто-нибудь следит за преступником и дает знать коменданту крепости. Когда Людовик Шестнадцатый собирался дать тягу из Тюильри, одна служанка его выследила. Очень хороший способ, ну и анонимные письма тоже ничего. Мы будем действовать и так и этак. А то еще бывает — мать узника меняется с ним одеждой: она остается, а он бежит в ее платье. И так тоже можно.

— Послушай-ка, Том, зачем это нам предупреждать их? Пускай сами догадываются, это уж их дело.

— Да, я знаю, только надеяться на них нельзя. С самого начала так пошло — все нам самим приходилось делать. Они такие доверчивые и недогадливые, ровно ничего не замечают. Если мы их не предупредим, нам никто и мешать не станет, и после всех наших трудов и хлопот этот побег пройдет без сучка, без задоринки, и ничего у нас не получится, ничего не будет интересного.

— Вот это мне как раз подошло бы, Том, это мне нравится.

— Да ну тебя! — говорит, а сам надулся.

Тогда я сказал:

— Ну ладно, я жаловаться не собираюсь. Что тебе подходит, то и мне подойдет. А как же нам быть со служанкой?

— Ты и будешь служанка. Прокрадешься среди ночи и стянешь платье у этой мулатки.

— Что ты, Том! Да ведь утром переполох поднимется, у нее, наверно, только одно это платье и есть.

— Я знаю; но тебе оно всего на четверть часа и понадобится, чтобы отнести анонимное письмо и подсунуть его под дверь.

— Ну ладно, я отнесу; только не все ли равно — я бы и в своей одежде отнес.

— Да ведь ты тогда не будешь похож на служанку, верно?

— Ну и не буду, да ведь никто меня все равно не увидит.

— Это к делу не относится. Нам надо только выполнить свой долг, а увидит кто или не увидит, об этом беспокоиться нечего. Что у тебя, совсем никаких принципов нет?

— Ну ладно, я ничего не говорю: пускай я буду служанка. А кто у нас Джимова мать?

— Я буду его мать. Стащу платье у тети Салли.

— Ну что ж, только тебе придется остаться в сарайчике, когда мы с Джимом убежим.

— Еще чего! Я набью платье Джима соломой и уложу на кровати, будто бы это его переодетая мать; а Джим наденет платье с меня, и мы все вместе «проследуем в изгнание». Когда бежит какой-нибудь узник из благородных, то говорится, что он «проследовал в изгнание». Всегда так говорится, когда, например, король убежит. И королевский сын то же самое, — все равно законный сын или противозаконный, это значения не имеет.

Том написал анонимное письмо, а я в ту же ночь стянул у мулатки платье, переоделся в него и подсунул письмо под парадную дверь; все сделал, как Том велел. Письмо было такое:

«Берегитесь. Вам грозит беда. Будьте настороже.

Неизвестный друг».

На следующую ночь мы налепили на парадную дверь картинку, которую Том нарисовал кровью: че-

реп и две скрещенные кости; а на другую ночь еще одну — с гробом — на кухонную дверь. Я еще не видывал, чтобы люди так пугались. Все наши до того перепугались, будто их на каждом шагу и за дверями и под кроватями стерегли привидения и носились в воздухе. Если кто-нибудь хлопал дверью, тетя Салли вздрагивала и охала; если падала какая-нибудь вещь, она тоже вздрагивала и охала; если, бывало, дотронешься до нее как-нибудь незаметно, она тоже охает; куда бы она ни обертывалась лицом, ей все казалось, что кто-нибудь стоит сзади, и она то и дело оглядывалась и охала; и не успеет, бывало, повернуться на три четверти, как опять оглядывается и охает; она боялась и в постель ложиться, и сидеть ей тоже было страшно. Так что письмо подействовало как нельзя лучше, — это Том сказал; он сказал, что лучше даже и быть не может. Из этого видно, говорит, что мы поступали правильно.

А теперь, говорит, пора нанести главный удар! И на другое же утро, едва начало светать, мы написали еще письмо, только не знали, как с ним быть, потому что за ужином наши говорили, что поставят у обеих дверей по негру на всю ночь. Том спустился по громоотводу на разведку; увидел, что негр на черном ходу спит, засунул письмо ему за шиворот и вернулся. В письме говорилось:

«Не выдавайте меня, я ваш друг. Целая шайка самых отчаянных злодеев с индейской территории собирается нынче ночью украсть вашего беглого негра; они вас пугают, чтобы вы сидели дома и не мешали им. Я тоже из шайки, только я уверовал в бога и хочу бросить разбой и стать честным человеком — вот почему я вам выдаю их адский замысел. Они подкрадутся с севера, вдоль забора, ровно в полночь; у них есть поддельный ключ от того сарая, где сидит беглый негр. Если им будет грозить опасность, я должен протрубить в рожок, но вместо этого я буду блеять овцой, когда они заберутся в сарай, а трубить не стану. Пока они будут снимать с него цепи, вы подкрадитесь и

заприте их всех на замок, тогда вы их можете преспокойно убить. Делайте так, как я вам говорю, и больше ничего, а не то они что-нибудь заподозрят и поднимут целый тарарам. Никакой награды я не желаю, с меня довольно и того, что я поступил по-честному.

Неизвестный друг».

Глава XL

После завтрака мы, в самом отличном настроении, взяли мой челнок и поехали за реку ловить рыбу и обед с собой захватили; очень хорошо провели время, осмотрели плот, нашли, что он в полном порядке, и домой вернулись поздно, к самому ужину; смотрим — все ходят такие перепуганные, встревоженные, что совсем ничего не соображают; нам велели, как только мы поужинаем, в ту же минуту идти спать, а почему — не сказали, и про новое письмо — ни слова; да мы и не нуждались, потому что и так все знали не хуже ихнего; а как только мы поднялись на лестницу и тетя Салли повернулась к нам спиной, мы сейчас же юркнули в погреб, к шкафу, нагрузились провизией на целый обед, перенесли все это к себе в комнату и легли, а около половины двенадцатого опять встали; Том надел платье, которое стащил у тети Салли, и хотел было нести провизию, но вдруг говорит:

— А где же масло?

— Я положил кусок на маисовую лепешку, — говорю.

— Значит, там и оставил — масла здесь нет.

— Можем обойтись и без масла, — говорю.

— А с маслом еще лучше, — говорит Том. — Ступай-ка ты в погреб да принеси его. А потом спустись по громоотводу и приходи скорей. Я набью соломой Джимово платье — будто это его переодетая мать, — а как только ты вернешься, я проблею овцой, и мы убежим все вместе.

И он ушел, а я спустился в погреб. Кусок масла примерно с большой кулак лежал там, где я его оста-

вил; я захватил его вместе с лепешкой, задул свечу и стал осторожно подниматься по лестнице. Благополучно добрался доверху, гляжу — идет тетя Салли со свечкой в руке; я скорей сунул масло в шляпу, а шляпу нахлобучил на голову; тут она меня увидала и спрашивает:

— Ты был в погребе?

— Да, тетя.

— Что ты там делал?

— Ничего.

— Как ничего?

— Да так, ничего.

— Что это тебе вздумалось таскаться туда по ночам?

— Не знаю, тетя.

— Не знаешь? Ты мне так не отвечай, Том, мне нужно знать, что ты там делал!

— Ничего я там не делал, тетя Салли, вот ей-богу, ничего не делал!

Ну, думаю, теперь она меня отпустит; да в обыкновенное время и отпустила бы, только уж очень много у нас в доме творилось странного, так что она стала бояться всего мало-мальски подозрительного, даже пу-стяков, и потому очень решительно сказала:

— Ступай сию минуту в гостиную и сиди там, пока я не приду. Ты что-то, кажется, суешь нос куда не следует! Смотри, я тебя выведу на чистую воду, не беспокойся!

Она ушла, а я отворил дверь в гостиную и вошел. Ой, а там полно народу! Пятнадцать фермеров — и все до одного с ружьями.

Мне даже нехорошо сделалось; я плюхнулся на стул и сижу. Они тоже расселись по всей комнате; кое-кто разговаривал потихоньку, и все сидели как на иголках, всем было не по себе, хотя они старались этого не показывать; только я-то видел, потому что они то снимут шляпы, то наденут, то почешут в затылке, и пересаживаются все время с места на место, и перебирают пуговицы... Мне тоже было не по себе, только шляпу я все-таки не снял.

Мне захотелось, чтобы тетя Салли поскорей пришла и разделалась со мной — отколотила бы меня, что ли, если ей вздумается, — и тогда я побегу к Тому и скажу ему, что мы перестарались: такое осиное гнездо растреповили, что мое почтение! И дурака валять больше нечего, надо поживей удирать вместе с Джимом, пока эти молодчики до нас не добрались.

Наконец тетя пришла и давай меня расспрашивать; только я ни на один вопрос не мог ответить как следует, совсем ничего не соображал, потому что фермеры ужасно волновались: одни хотели сейчас же идти на бандитов, говорили, что до полуночи осталось всего несколько минут, а другие уговаривали подождать, пока бандит не заблеет овцой; да еще тут тетя Салли пристала со своими расспросами, а я весь дрожу и едва стою на ногах от страха; а в комнате делалось все жарче и жарче, и масло у меня под шляпой начало таять и потекло по шее и по вискам; и когда один фермер сказал, что «надо сейчас же идти в хибарку, застечь там и сцапать их, как только они явятся», — я чуть не свалился; а тут масло потекло у меня по лбу. Тетя Салли как увидела, побелела вся, точно простыня, и говорит:

— Господи помилуй! Что такое с ребенком! Наверно, воспаление мозгов, вон они уже и текут из него!

Все подошли поглядеть, а она сорвала с меня шляпу, а масло и вывалилось вместе с хлебом; тут она схватила меня, обняла и говорит:

— Ну и напугал же ты меня! Еще слава богу, что не хуже, я и этому рада; последнее время нам что-то не везет — того и жди, что опять беда случится. А я как увидела у тебя эту штуку, ну, думаю, не жилец он у нас: оно по цвету точь-в-точь такое, как должны быть мозги, если... Ах ты господи, ну что же ты мне не сказал, зачем ты ходил в погреб, я бы и не беспокоилась! А теперь ступай спать, и чтобы я тебя до утра не видела!

Я в одну секунду взлетел наверх, в другую — спустился по громоотводу и, спотыкаясь в темноте, помчался к сарайчику. Я даже говорить не мог — до того разволновался, но все-таки одним духом выпалил

Тому, что надо убираться поживей, ни минуты терять нельзя — в доме полно людей, и все с ружьями!

Глаза у него так и засверкали, и он сказал:

— Да что ты! Быть не может! Вот это здорово! Ну, Гек, если бы пришлось опять начинать все сначала, я бы человек двести собрал, не меньше. Эх, если бы можно было отложить немножко!

— Скорей, — говорю, — скорей! Где Джим?

— Да вот же он, рядом; протяни руку — и дотронешься до него. Он уже переодет, и все готово. Теперь давайте выберемся отсюда и заблеем.

Но тут мы услышали топот — фермеры подошли к двери, потом начали гроыхать замком, а один и сказал:

— Я же вам говорил, что рано выходить; их еще нет — сами видите, дверь на замке. Вот что: я запру вас тут, а вы сидите в темноте, подстерегите их и перестреляйте всех, когда явятся; а остальные пускай тут будут: рассыпьтесь кругом и слушайте, не идут ли они.

Несколько человек вошли в хибарку, но только в темноте они нас не увидели и чуть не наступили на нас, когда мы полезли под кровать. Мы благополучно вылезли в подкоп, быстро, но без шума: Джим первый, за ним я, а Том за мной — это он так распорядился. Теперь мы были в пристройке и слышали, как они топают во дворе, совсем рядом. Мы тихонько подкрались к двери, но Том остановил нас и стал глядеть в щелку, только ничего не мог разобрать — очень было темно; Том сказал шепотом, что будет прислушиваться, и как только шаги затихнут, он нас толкнет локтем: тогда пускай Джим выбирается первым, а он выйдет последним. Он приложил ухо к щели и стал слушать — слушал, слушал, а кругом все время шаги, но в конце концов он нас толкнул, мы выскочили из сарая, нагнулись пониже и, затаив дыхание, совсем бесшумно стали красться к забору, один за другим, вереницей, как индейцы; добрались до забора благополучно, и мы с Джимом перелезли, а Том зацепился штаниной за щепку в верхней перекладине и слышит — подходят; он рванулся — щепка отломилась и затрещала, и

когда Том спрыгнул и побежал за нами, кто-то крикнул:

— Кто там? Отвечай, а то стрелять буду!

Но мы ничего не ответили, а принуждены бегом и давай улепетывать вовсю. Они бросились за нами; потом — трах! трах! трах! — и пули просвистели у нас над головой. Слышим — кричат:

— Вот они! К реке побежали! За ними, ребята, спустите собак!

Слышим — гонятся за нами вовсю. Нам-то слышно было, потому что все они в сапогах и орут, а мы были босиком и не орали. Мы побежали к лесопилке, а как только они стали нагонять, мы свернули в кусты и пропустили их мимо себя, а потом опять побежали за ними. Сначала всех собак заперли, чтобы они не спугнули бандитов, а теперь кто-то их выпустил; слышим — они тоже бегут за нами, а лают так, будто их целый миллион. Только собаки-то были свои; мы остановились, подождали их, а когда они увидали, что это мы и ничего тут интересного для них нет, они повиляли хвостами и побежали дальше, туда, где были шум и топот; а мы опять пустились за ними следом, да так и бежали почти до самой лесопилки, а там свернули и пробрались через кусты к тому месту, где был привязан мой челнок, прыгнули в него и давай изо всех сил грести к середине реки, только старались не шуметь. Потом мы повернули не спеша к тому островку, где был спрятан мой плот; и долго еще слышно было, как собаки лают друг на друга и мечутся взад и вперед по берегу; но как только мы отплыли подальше, шум сделался тише, а там и совсем замер. А когда мы влезли на плот, я сказал:

— Ну, Джим, теперь ты опять свободный человек и больше уж никогда рабом не будешь!

— Да еще как хорошо все вышло-то, Гек! И придумано было хорошо, а сделано еще того лучше, никому другому не придумать, чтобы так было хорошо и так заковыристо!

Мы все радовались не знаю как, а больше всех радовался Том Сойер, потому что у него в ноге засела пуля,

Когда мы с Джимом про это услышали, то сразу перестали веселиться. Тому было очень больно, и кровь сильно текла; мы уложили его в шалаше, разорвали рубашку герцога и хотели перевязать ему ногу, но он сказал:

— Дайте-ка сюда тряпки, это я и сам сумею. Не задерживайтесь, дурака валять некогда! Раз побег удался великолепно, то отвязывайте плот и беритесь за весла! Ребята, мы устроили побег замечательно, просто шикарно. Хотелось бы мне, чтобы Людовик Шестнадцатый попал нам в руки, тогда в его биографии не было бы написано: «Потомок Людовика Святого отправляется на небеса!» Нет, сэр, мы бы его переправили через границу, вот что мы сделали бы, да еще как ловко! Беритесь за весла, беритесь за весла!

Но мы с Джимом посоветовались и стали думать. Подумали с минуту, а потом я сказал:

— Говори ты, Джим.

Он сказал:

— Ну вот: по-моему, выходит так. Если б это был мистер Том и мы его освободили, а кого-нибудь из нас подстрелили, разве он сказал бы: «Валяйте спасайте меня, плюньте на всяких там докторов для раненого!» — разве это похоже на мистера Тома? Разве он так скажет? Да никогда в жизни! Ну, а Джим разве скажет так? Нет, сэр, я и с места не двинусь, пока доктора тут не будет, хоть сорок лет просижу!

Я всегда знал, что душа у него хорошая, и так и ждал, что он это самое скажет; теперь все было в порядке, и я объявил Тому, что иду за доктором. Он поднял из-за этого страшный шум, а мы с Джимом стояли на своем и никак не уступали. Он хотел было сам поюзти, отвязывать плот, да мы его не пустили. Тогда он начал ругаться с нами, только это нисколько не помогло.

А когда он увидел, что я отвязываю челнок, то сказал:

— Ну ладно, уж если тебе так хочется ехать, я тебе скажу, что надо делать, когда приедешь в город. Запри дверь, свяжи доктора по рукам и по ногам, надень ему

на глаза повязку, и пусть поклянется молчать как могила, а потом сунь ему в руку кошелек, полный золота, и веди его не прямо, а в темноте, по задворкам; привези его сюда в челноке — опять-таки не прямо, а путайся подольше среди островков; да не забудь обыскать его и отбери мелок, а отдашь после, когда переправишь обратно в город, а то он наставит мелом крестов, чтобы можно было найти наш плот. Всегда так делается.

Я сказал, что все исполню, как он велит, и уехал в челноке, а Джиму велел спрятаться в лесу, как только увидит доктора, и сидеть до тех пор, пока доктор не уедет.

Глава ХLI

Доктор, когда я его разбудил, оказался старичком, таким приятным и добрым с виду. Я рассказал ему, что мы с братом вчера охотились на Испанском острове, нашли там плот и остались на нем ночевать, а около полуночи брат, должно быть, толкнул во сне ружье, оно выстрелило, и пуля попала ему в ногу; так вот мы просим доктора поехать туда и перевязать рану, только ничего никому не говорить, потому что мы хотим вернуться домой нынче вечером, а наши родные еще ничего не знают.

— А кто ваши родные? — спрашивает он.

— Фелпсы, они живут за городом.

— Ах, вот как! — говорит он; потом помолчал немного и спрашивает: — Так как же это, вы говорите, его ранило?

— Ему что-то приснилось, — говорю, — и ружье выстрелило.

— Станный сон, — говорит доктор.

Он зажег фонарь, собрал, что нужно, в сумку, и мы отправились. Только когда доктор увидел мой челнок, он ему не понравился: для одного, говорит, еще туда-сюда, а двоих не выдержит.

Я ему говорю:

— Да вы не бойтесь, сэр, он нас и тропх отлично выдержал.

— Как это — троих?

— Так: меня и Сиды, а еще... а еще ружья, вот я что хотел сказать.

— Ах, так, — говорит он.

Он все-таки поставил ногу на борт, попробовал челнок, а потом покачал головой и сказал, что поставится найти что-нибудь поосновательнее. Только все другие лодки были на цепи и на замке, и он взял мой челнок, а мне велел подождать, пока он не вернется, или поискать другую лодку, а то, если я хочу, пойти домой и приготовить родных к такому сюрпризу. Я сказал, что нет, не хочу, потом объяснил ему, как найти плот, и он уехал.

И тут мне пришла в голову одна мысль. А что, думаю, может ли он вылечить Тома так сразу — как говорится, не успеет овца хвостом махнуть? Вдруг ему на это понадобится дня три-четыре? Как мне тогда быть? Сидеть тут, дожидаться, пока он всем разболтает? Нет, сэр! Я знаю, что сделаю. Подожду его, а если он вернется и скажет, что ему еще раз нужно туда съездить, я тоже с ним отправлюсь — все равно, хотя бы вплавь; а там мы его возьмем да и свяжем, оставим на плоту и поплывем по реке; а когда Тому он будет больше не нужен, дадим ему, сколько это стоит, или все, что у нас есть, и высадим на берег.

Я забрался на бревна — хотел выспаться; а когда проснулся, солнце стояло высоко у меня над головой. Я вскочил и скорей к доктору, но у него дома мне сказали, что он уехал к больному еще ночью и до сих пор не возвращался. Ну, думаю, значит дела Тома плохи, надо поскорей переправляться на остров. Иду от доктора — и только повернул за угол, чуть-чуть не угодил головой в живот дяде Сайласу!

— Том, это ты? Где же ты был все время, негодный мальчишка? — говорит он.

— Нигде я не был, — говорю, — просто мы ловили беглого негра вместе с Сидом.

— А куда же вы все-таки пропали? — говорит он. — Твоя тетка очень беспокоилась.

— Зря она беспокоилась, — говорю, — ничего с нами не случилось. Мы побежали за людьми и за собаками, только они нас обогнали, и мы их потеряли из виду, а потом нам показалось, будто они уже за рекой; мы взяли челнок и переправились на ту сторону, но только никого там не нашли и поехали против течения; сначала все держались около берега, а потом устали и захотели спать; тогда мы привязали челнок и легли и только час назад проснулись и переправились сюда. Сид пошел на почту — узнать, нет ли чего нового, а я вот только разыщу чего-нибудь нам поесть, и потом мы вернемся домой.

Мы вместе с дядей Сайласом зашли на почту «за Сидом», но, как я и полагал, его там не оказалось; старик получил какое-то письмо; потом мы подождали еще немножко, но Сид так и не пришел; тогда старик сказал: «Поедем-ка домой, Сид вернется пешком или на лодке, когда ему надоест шататься, а мы поедем на лошади!» Мне он так и не позволил остаться и подождать Сиды: говорит, это ни к чему, надо скорей домой, пускай тетя Салли увидит, что с нами ничего не случилось.

Когда мы вернулись домой, тетя Салли до того обрадовалась мне — и смеялась, и плакала, и обнимала меня, и даже принималась колотить, только совсем не больно; обещала и Сиду тоже задать, когда он вернется.

А в доме было полным-полно гостей: все фермеры с женами у нас обедали, и такой трескотни я еще никогда не слышал. Хуже всех была старуха Гочкис, язык у нее молот без умолку.

— Ну, — говорит, — сестра Фелпе, видела я этот сарай и думаю, что ваш негр полоумный. Говорю сестре Демрел: «А что я говорила, сестра Демрел? Ведь он полоумный, — так и сказала, этими самыми словами: вы все меня слышали, — он полоумный, говорю, по всему видно. Взять хоть этот самый жернов, — и не говорите мне лучше! Чтобы человек в здравом уме да стал царапать всякую чушь на жернове? С чего бы это? говорю. Здесь такой-то разорвал свое сердце, а здесь

такой-то утомлялся тридцать семь лет и прочее, побочный сын какого-то Людовика... забыла, как его фамилия... ну просто чужь! Совсем рехнулся, говорю. Так с самого начала и сказала, и потом говорила, и сейчас говорю, и всегда буду говорить: этот негр совсем полумный, чистый Навуходоносор», говорю...

— А лестница-то из тряпок, сестра Гочкис! — перебила старуха Демрел. — Ну для чего она ему понадобилась, скажите на милость?

— Вот это самое я и говорила сию минуту сестре Оттербек, она вам может подтвердить. «А веревочная-то лестница?» говорит. А я говорю: «Вот именно, на что она ему?» говорю. А сестра Оттербек и говорит...

— А как же все-таки этот жернов туда попал? И кто прокопал эту самую дыру? И кто...

— Вот это самое я и говорю, брат Пенрод! Я только что сказала... передайте-ка мне блюдце с патокой... только что я сказала сестре Данлеп, вот только сию минуту! «Как же это они ухитрились втащить туда жернов?» говорю. «И ведь без всякой помощи, заметьте, никто не помогал! Вот именно!..» — «Да что вы, говорю, как можно, чтобы без помощи, говорю, кто-нибудь да помогал, говорю, да еще и не один помогал, говорю; этому негру человек двадцать помогало, говорю; доведись до меня, я бы всех негров тут перепорела, до единого, а уж разузнала бы, кто это сделал, говорю; да мало того...»

— Вы говорите — человек двадцать! Да тут и срок не управились бы. Вы только посмотрите: и пилы понаделаны из ножей и всякая штука, а ведь сколько со всем этим возни! Ведь такой пилой ножку у кровати отпилить и то десятерым надо целую неделю возиться. А негра-то на кровати видели? Из соломы сделан. А видели вы...

— И не говорите, брат Хайтауэр! Я вот только что сказала это самое брату Фелпсу. Он говорит: «Ну, что вы думаете, сестра Гочкис?» — «Насчет чего это?» говорю. «Насчет этой самой ножки: как это так ее перепилили?» говорит. «Что думаю? Не сама же она отвалилась, говорю, кто-нибудь ее да отпилит, говорю. Вот

мое мнение, а там думайте что хотите, говорю, а только мое мнение вот такое, а если кто думает по-другому, и пускай его думает, говорю, вот и все». Говорю сестре Данлен: «Вот как, говорю...»

— Да этих самых негров тут, должно быть, полон дом собрался, и не меньше месяца им надо было по ночам работать, чтобы со всем этим управиться, сестра Фелпс. Взять хоть эту рубашку — вся сплошь покрыта тайными африканскими письменами, и все до последнего значка написано кровью! Должно быть, целая шайка тут орудовала, да еще сколько времени! Я бы двух долларов не пожалел, чтобы мне все это разобрали и прочли; а тех негров, которые писали, я бы отстегал как следует...

— Вы говорите — ему помогали, брат Марплз? Еще бы ему не помогали! Пожили бы у нас в доме это время, сами увидели бы. А сколько всего они у нас потаскали, — ну все тащили, что только под руку подвернется! И ведь заметьте себе — мы сторожили все время. Эту самую рубашку стянули прямо с веревки! А ту простыню, из которой у них сделана веревочная лестница, они уж я и не помню сколько раз таскали! А муку, а свечи, а подсвечники, а ложки, а старую сковородку — где же мне теперь все упомянуть! А мое новое ситцевое платье! И ведь мы с Сайласом и Том с Сидом день и ночь за ними следили, я вам уже говорила, да так ничего и не выследили. И вдруг в самую последнюю минуту — нате вам! — проскользнули у нас под носом и провели нас, да и не нас одних, а еще и целую шайку бандитов с индейской территории, и преспокойно удрали с этим самым негром, — а ведь за ними по пятам гнались шестнадцать человек и двадцать две собаки! Разве черти какие-нибудь могли бы так ловко управиться, да и то едва ли. По-моему, это и были черти; ведь вы знаете наших собак — очень хорошие собаки, лучше ни у кого нет, — так они даже и на след напасть не могли ни единого раза! Вот и объясните мне кто-нибудь, в чем тут дело, если можете!

— Да, это, знаете ли...

— Боже ты мой, вот уж никогда...

— Помилуй господи, не хотел бы я быть...

— Домашние воры, а еще и...

— Я бы в таком доме побоялась жить, упаси меня боже!

— Побоялись бы жить! Я и сама боялась — и спать ложиться и вставать боялась, не смела ни сесть, ни лечь, сестра Риджуэй! Как они только не украли... можете себе представить, как меня трясло от страха вчера, когда стало подходить к полуночи! Вот вам бог свидетель, я уже начала бояться, как бы они детей не украли! Вот до чего дошла, последний рассудок потеряла! Сейчас, днем, все это кажется довольно глупо, а тогда думаю: как это мои бедные Том с Сидом спят там наверху одни в комнате? И, господь свидетель, до того растревожилась, что потихоньку пробралась наверх и заперла их на ключ! Взяла да и заперла. И всякий бы на моем месте запер. Потому что, вы знаете, когда вот так боишься — чем дальше, тем хуже, час от часу становится не легче, в голове все путается, — вот и делаешь бог знает какие глупости! Думаешь: а если бы я была мальчиком да оставалась бы там одна в комнате, а дверь не заперта...

Она замолчала и как будто задумалась, а потом медленно повернулась в мою сторону и взглянула на меня — ну, тут я встал и вышел прогуляться. Говорю себе: «Я, пожалуй, лучше сумею объяснить, почему сегодня утром нас не оказалось в комнате, если отойду в сторонку и подумаю, как тут быть». Так я и сделал. Но далеко уйти я не посмел, а то, думаю, еще пошлет кого-нибудь за мной. Потом, попозже, когда гости разошлись, я к ней пришел и говорю, что нас с Сидом разбудили стрельба и шум; нам захотелось поглядеть, что делается, а дверь была заперта, вот мы и спустились по громоотводу, оба ушиблись немножко и больше никогда этого делать не будем. Ну а дальше я ей рассказал все то, что рассказывал дяде Сайласу; а она сказала, что прощает нас, да, может, особенно и прощать нечего — другого от мальчишек ждать не придется, все они озорники порядочные, сколько ей известно; и раз ничего плохого из этого не вышло, то надо не беспокоиться и не сердиться на то, что было и прошло, а благодарить бога за то, что мы живы и

здоровы и никуда не пропали. Она поцеловала меня, погладила по голове, а потом задумалась и стала какая-то скучная — и вдруг как вздрогнет, будто испугалась:

— Господи помилуй, ночь на дворе, а Сиды все еще нету! Куда он мог пропасть?

Видю, случай подходящий, я вскочил и говорю:

— Я сбегу в город, разыщу его.

— Нет уж, пожалуйста, — говорит. — Оставайся, где ты есть. Довольно и того, что один пропал. Если он к ужину не вернется, поедет твой дядя.

Ну, к ужину он, конечно, не вернулся, и дядя уехал в город сейчас же после ужина.

Часам к десяти дядя вернулся, немножко встревоженный — он даже и следов Тома не отыскал. Тетя Салли — та очень встревожилась, а дядя сказал, что пока еще рано горевать: «Мальчишки — они и есть мальчишки; вот увидишь, и этот утром явится живой и здоровый». Пришлось ей на этом успокоиться. Но она сказала, что не будет ложиться, подождет его все-таки и свечу гасить не будет, чтобы ему было видно.

А потом, когда я лег в постель, она тоже пошла со мной и захватила свою свечку, укрыла меня и ухаживала за мной, как родная мать; мне даже совестно стало, я и в глаза ей смотреть не мог; а она села ко мне на кровать и долго со мной разговаривала: все твердила, какой хороший мальчик наш Сид, и никак не могла про него наговориться и то и дело спрашивала меня, как я думаю: не заблудился ли он, не ранен ли, а может, утонул, может быть лежит в эту самую минуту где-нибудь раненый или убитый, а она даже не знает, где он... И тут у нее слезы закапали, а я ей все повторяю, что ничего с Сидом не случилось и к утру он, наверно, вернется домой; а она меня то погладит по руке, а то поцелует, велит повторить это еще раз и еще, потому что ей от этого легче, уж очень она беспокоится. А когда она уходила, то посмотрела мне в глаза так пристально, ласково и говорит:

— Дверь я не стану запираю, Том. Конечно, есть и окно и громоотвод, только ты ведь слушаешься — не уйдешь? Ради меня!

Уж как мне хотелось удрать, посмотреть, что делается с Томом, я так и собирался сделать, но после этого я не мог уйти, даже за полцарства.

Тетя Салли все не шла у меня из головы, и Том тоже, так что я спал очень плохо. Два раза я спускался ночью по громоотводу, обходил дом кругом и видел, что она все сидит у окна, смотрит на дорогу и плачет, а возле нее свечка; мне очень хотелось что-нибудь для нее сделать, только ничего нельзя было; дай, думаю, хоть поклянусь, что никогда больше не буду ее огорчать. А в третий раз я проснулся уже на рассвете, спустился вниз; гляжу — а тетя Салли все сидит там, и свечка у нее догорает, а она уронила свою седую голову на руку — и спит.

Глава XLII

Перед завтраком старик опять ездил в город, но так и не разыскал Тома; и оба они сидели за столом задумавшись и молчали, вид у них был грустный, они ничего не ели, и кофе остывал у них в чашках. И вдруг старик говорит:

— Отдал я тебе письмо или нет?

— Какое письмо?

— Да то, что я получил вчера на почте?

— Нет, ты мне никакого письма не давал.

— Забыл, должно быть.

И начал рыться в карманах, потом вспомнил, куда он его положил, пошел и принес — и отдал ей. А она и говорит:

— Да ведь это из Санкт-Петербурга от сестры!

Я решил, что мне будет полезно опять прогуляться, но не мог двинуться с места. И вдруг... не успела она распечатать письмо, как бросила его и выбежала вон из комнаты — что-то увидела. И я тоже увидел: Тома Сойера на носилках, и старичка доктора, и Джима все в том же в ситцевом платье, со связанными за спиной руками, и еще много народу. Я скорей засунул письмо под первую вещь, какая попалась на глаза, и тоже по-

бежал. Тетя Салли бросилась к Тому, заплакала и говорит:

— Он умер, умер, я знаю, что умер!

А Том повернул немножко голову и что-то бормочет: сразу видать — не в своем уме; а она всплеснула руками и говорит:

— Он жив, слава богу! Пока довольно и этого.

Поцеловала его на ходу и побежала в дом — готовить ему постель, на каждом шагу раздавая всякие приказания и неграм и всем другим, да так быстро, что едва язык успевал поворачиваться.

Я пошел за толпой — поглядеть, что будут делать с Джимом, а старичок доктор и дядя Сайлас пошли за Томом в комнаты. Все эти фермеры ужасно обозлились, а некоторые даже хотели повесить Джима, в пример всем здешним неграм, чтобы им было неповадно бегать, как Джим убежал, устраивать такой переполох и день и ночь держать в страхе целую семью. А другие говорили: не надо его вешать, совсем это ни к чему — негр не наш, того и гляди явится его хозяин и заставит, пожалуй, за него заплатить. Это немножко охладило остальных: ведь как раз тем людям, которым больше всех хочется повесить негра, если он попался, обыкновенно меньше всех хочется платить, когда потеха кончится.

Они долго ругали Джима и раза два-три угостили его хорошей затрепцой, а Джим все молчал и даже виду не подал, что он меня знает; а они отвели его в тот же сарай, переодели в старую одежду и опять приковали на цепь, только уже не к кровати, а к кольцу, которое ввинтили в нижнее бревно в стене, а по рукам тоже сковали, и на обе ноги тоже надели цепи, и велели посадить его на хлеб и на воду, пока не приедет его хозяин, а если не приедет, то до тех пор, пока его не продадут с аукциона, и завалили землей наш подкоп, и велели двум фермерам с ружьями стеречь сарай по ночам, а днем привязывать около двери бульдога; потом, когда они уже покончили со всеми делами, стали ругать Джима просто так, от нечего делать; а тут подошел старичок доктор, послушал и говорит:

— Не обращайтесь с ним строже, чем следует, потому что он неплохой негр. Когда я приехал туда, где лежал этот мальчик, я не мог вынуть пулю без посторонней помощи, а оставить его и поехать за кем-нибудь тоже было нельзя — он чувствовал себя очень плохо; и ему становилось все хуже и хуже, а потом он стал бредить и не подпускал меня к себе, грозил, что убьет меня, если я поставлю мелом крест на плоту, — словом, нес всякий вздор, а я ничего не мог с ним поделать; тут я сказал, что без чьей-нибудь помощи мне не обойтись; и в ту же минуту откуда-то вылезает этот самый негр, говорит, что он мне поможет, — и сделал все, что надо, очень ловко. Я, конечно, так и подумал, что это беглый негр и есть, а ведь мне пришлось там пробыть весь тот день до конца и всю ночь. Вот положение, скажу я вам! У меня в городе осталось два пациента с простудой и, конечно, надо бы их навестить, но я не отважился: а вдруг, думаю, этот негр убежит, тогда меня все за это осудят; а на реке ни одной лодки не видно, и позвать некого. Так и пришлось торчать на острове до сегодняшнего утра; и я никогда не видел, чтобы негр так хорошо ухаживал за больными; а ведь он рисковал из-за этого свободой, да и устал очень тоже, — я по всему видел, что за последнее время ему пришлось делать много тяжелой работы. Мне это очень в нем понравилось. Я вам скажу, джентльмены: за такого негра не жалко заплатить и тысячу долларов и обращаться с ним надо ласково. У меня под руками было все, что нужно, и мальчику там было не хуже, чем дома; может, даже лучше, потому что там было тихо. Но мне-то пришлось из-за них просидеть там до рассвета — ведь оба они были у меня на руках; потом, смотрю, едут какие-то в лодке, и, на их счастье, негр в это время крепко уснул, сидя на тюфяке, и голову опустил на колени; я им тихонько сделал знак, они подкрались к нему, схватили и связали, прежде чем он успел сообразить, в чем дело. А мальчик тоже спал, хотя очень беспокойно; тогда мы обвязали весла тряпками, прицепили плот к челноку и потихоньку двинулись к городу, а негр не сопротивлялся и даже слова не

сказал; он с самого начала вел себя тихо. Он неплохой негр, джентльмены.

Кто-то заметил:

— Да, надо сказать, ничего плохого я тут не вижу, доктор.

Тогда и другие тоже смягчились, а я был очень благодарен доктору за то, что он оказал Джиму такую услугу; я очень обрадовался, что и доктор о нем думает по-моему; я, как только с Джимом познакомился, сразу увидел, что сердце у него доброе и что человек он хороший. Все согласились, что он вел себя очень хорошо и заслужил, чтобы на это обратили внимание и чем-нибудь вознаградили. И все до одного тут же обещали — видно, что от души — не ругать его больше.

Потом они вышли из сарайчика и заперли его на замок. Я думал, они скажут, что надо бы снять с него хоть одну цепь, потому что эти цепи были уж очень тяжелые, или что надо бы ему давать не один хлеб и воду, а еще мясо и овощи, но никому это и в голову не пришло, а я решил, что мне лучше в это дело не соваться, а рассказать тете Салли то, что говорил доктор, как только я миную пороги и мели, то есть объясню ей, почему я забыл сказать, что Сид был ранен, когда мы с ним в челноке гнались за беглым негром.

Времени у меня было еще много. Тетя Салли день и ночь не выходила из комнаты больного, а когда я видел дядю Сайласа, я всякий раз удирал от него.

На другое утро я услышал, что Тому гораздо лучше и что тетя Салли пошла прилечь. Я проскользнул к больному в комнату, — думаю: если он не спит, нам с ним вместе надо бы придумать, как соврать половчее, чтобы сошло для родных. Но он спал, и спал очень спокойно, и лицо у него было бледное, а не такое огненное, как когда его принесли. Я сел и стал дожидаться, пока он проснется. Через каких-нибудь полчаса в комнату неслышно входит тетя Салли, и я опять попался! Она сделала знак, чтобы я сидел тихо, села рядом со мной и начала шепотом говорить, что все мы теперь должны радоваться, потому что симптомы у него первый сорт, и он давно уже спит вот так, и все

становится спокойнее и здоровей с виду, и десять шансов против одного за то, что он проснется в своем уме.

Мы сидели и стерегли его, и скоро он пошевелился, открыл глаза, как обыкновенно, поглядел и говорит:

— Э, да ведь я дома! Как же это так? А плот где?

— Плот в порядке, — говорю я.

— А Джим?

— Тоже, — говорю я, но не так уж твердо.

Он ничего не заметил и говорит:

— Отлично! Великолепно! Теперь все кончилось, и бояться нам нечего! Ты сказал тете?

Я хотел ответить «да», а тут она сама говорит:

— Про что это, Сид?

— Да про то, как мы все это устроили.

— Что «все»?

— Да все; ведь только одно и было: как мы с Томом освободили беглого негра.

— Боже милостивый! Освободили бег... О чем это ты, милый? Господи, опять он заговаривается!

— Нет, не заговариваюсь, я знаю, о чем говорю. Мы его освободили, мы с Томом. Решили так сделать и сделали. Да еще как превосходно!

Он пустился рассказывать, а она его не останавливала, все сидела и слушала и глядела на него круглыми глазами, и я уж видел, что мне в это дело соваться нечего.

— Ну как же, тетя, чего нам это стоило! Работали целыми неделями, час за часом, каждую ночь, пока вы все спали. Нам пришлось красть и свечи, и простыню, и рубашку, и ваше платье, и ложки, и жестяные тарелки, и ножи, и сковородку, и жернов, и муку — да всего и не перечесть! Вы себе представить не можете, чего нам стоило сделать пилу, и перья, и надписи, и все остальное, и как это было весело! А потом надо было еще рисовать гроб и кости, писать анонимные письма от разбойников, вылезать и влезать по громоотводу, вести подкоп, делать веревочную лестницу и запекать ее в пироге, пересылать в вашем кармане ложки для работы...

— Господи помилуй!

— ...напускать в сарайчик змей, крыс, пауков, чтобы Джим не скучал один; а потом вы так долго держали Тома с маслом в шляпе, что едва все дело нам не испортили: мы не успели уйти, и фермеры нас застали еще в сарайчике; мы скорее вылезли и побежали, а они нас услышали и пустились в погоню; тут меня и подстрелили, а потом мы свернули с дороги, дали им пробежать мимо себя; а когда вы спустили собак, то им бежать за нами было неинтересно, они бросились туда, где шум, а мы сели в челнок и благополучно переправились на плот, и Джим теперь свободный человек, и мы все это сами сделали — вот здорово, тетечка!

— Ну, я ничего подобного не слыхала, сколько ни живу на свете! Так это вы, озорники этакие, столько наделали нам хлопот, что у всех голова пошла кругом, и напугали всех чуть не до смерти?! Хочется мне взять сейчас да и выколотить из вас всю дурь, вот сию минуту! Подумать только, а я-то не сплю, сижу ночь за ночью, как... Ну, негодник этакий, вот только выздоровеешь, я уж за тебя примусь, повыбью из вас обоих всякую чертовщину!

Но Том весь сиял от гордости и никак не мог удержаться — все болтал и болтал, а она то и дело перебивала его и все время сердилась и выходила из себя, и оба они вместе орали, как кошки на крыше; а потом она и говорит:

— Ну, хорошо, можешь радоваться сколько тебе угодно, но смотри, если ты еще раз сунешься не в свое дело...

— В какое дело? — говорит Том, а сам больше не улыбается: видно, что удивился.

— Как — в какое? Да с этим беглым негром, конечно. А ты что думал?

Том посмотрел на меня очень сурово и говорит:

— Том, ведь ты мне только что сказал, что Джим в безопасности. Разве он не убежал?

— Кто? — говорит тетя Салли. — Беглый негр? Никуда он не убежал. Его опять поймали, живого и невредимого, и он опять сидит в сарае и будет сидеть на

хлебе и на воде и в цепях; а если хозяин за ним не явится, то его продадут.

Том сразу сел на кровать — глаза у него загорелись, а ноздри задвигались, как жабры, — и кричит:

— Они не имеют никакого права запираить его! Беги! Не теряй ни минуты! Выпустите его, он вовсе не раб, а такой же свободный, как и все люди на земле!

— Что этот ребенок выдумывает!

— Ничего я не выдумываю, тут каждое слово правда, тетя Салли! А если никто не пойдет, я сам туда пойду! Я всю жизнь Джима знаю, и Том его знает тоже. Старая мисс Уотсон умерла два месяца назад. Ей стало стыдно, что она хотела продать Джима в низовья реки, она это сама говорила; вот она и освободила Джима в своем завещании.

— Так для чего же тебе понадобилось его освобождать, если он уже свободный?

— Вот это вопрос, — это как раз похоже на женщин! А как же приключения-то? Да я бы и в крови по колено не побоялся... Ой, господи, тетя Полли!

И провалиться мне на этом месте, если она не стояла тут, в дверях, довольная и кроткая, как ангел.

Тетя Салли бросилась к ней, заплакала и принялась ее обнимать, да так, что чуть не оторвала ей голову; а я сразу понял, что самое подходящее для меня место — под кроватью; похоже было, что над нами собирается гроза. Я выглянул, смотрю — тетя Полли высвободилась и стоит, смотрит на Тома поверх очков — да так, будто с землей сровнять его хочет. А потом и говорит:

— Да, Том, лучше отвернись в сторонку. Я бы на твоём месте тоже отвернулась.

— Боже ты мой! — говорит тетя Салли. — Неужели он так изменился? Ведь это же не Том, это Сид! Он... он... да где же Том? Он только что был тут, сию минуту.

— Ты хочешь сказать, где Гек Финн, — вот что ты хочешь сказать! Я столько лет растила этого озорника Тома, мне ли его не узнать! Вот было бы хорошо! Гек Финн, вылезай из-под кровати сию минуту!

Я и вылез, только совсем оробел.

Тетя Салли до того растерялась, что уж дальше некуда; разве вот один только дядя Сайлас растерялся еще больше, когда приехал из города и все это ему рассказали. Он сделался, можно сказать, вроде пьяного и весь остальной день ничего не соображал и такую сказал проповедь в тот день, что даже первый мудрец на свете и тот ничего в ней не разобрал бы, так что после этого все к нему стали относиться с почтением. А тетя Полли рассказала им, кто я такой и откуда взялся, и мне пришлось говорить, что я не знал, как выйти из положения, когда миссис Фелпс приняла меня за Тома Сойера... (Тут она перебила меня и говорит: «Нет, ты зови меня по-старому: тетя Салли, я теперь к этому привыкла и менять не к чему!»)... когда тетя Салли приняла меня за Тома Сойера, и мне пришлось это терпеть, другого выхода не было, а я знал, что Том не обидится — напротив, будет рад, потому что получается таинственно, у него из этого выйдет целое приключение, и он будет доволен. Так оно и оказалось. Он выдал себя за Сиду и устроил так, что для меня все сошло гладко.

А тетя Полли сказала, что Том говорил правду: старая мисс Уотсон действительно освободила Джима по завещанию; значит верно — Том Сойер столько хлопотал и возился для того, чтобы освободить свободного негра! А я-то никак не мог понять, вплоть до этой самой минуты и до этого разговора, как это он при таком воспитании и вдруг помогает мне освободить негра!

Тетя Полли говорила, что как только тетя Салли написала ей, что Том с Сидом доехали благополучно, она подумала: «Ну, так и есть! Надо было этого ожидать, раз я отпустила его одного и присмотреть за ним некому».

— Вот теперь и тащись такую даль сама, на пароходе, за тысячу сто миль, узнавай, что там еще этот дрянной мальчишка натворил на этот раз, — ведь от тебя я никакого ответа добиться не могла.

— Да ведь и я от тебя никаких писем не получала! — говорит тетя Салли.

— Быть не может! Я тебе два раза писала, спрашивала, почему ты пишешь, что Сид здесь, — что это значит?

— Ну, а я ни одного письма не получала.

Тетя Полли не спеша поворачивается и строго говорит:

— Том?

— Ну что? — отвечает он, надувшись.

— Не «что», озорник ты этакий, а подавай сюда письма!

— Какие письма?

— Такие, те самые! Ну, вижу, придется за тебя взяться...

— Они в сундучке. И никто их не трогал, так и лежат с тех пор, как я их получил на почте. Я так и знал, что они наделают беды; думал, вам все равно спешить некуда...

— Выдрать бы тебя как следует! А ведь я еще одно письмо написала, что выезжаю; он, должно быть, и это письмо...

— Нет, оно только вчера пришло; я его еще не читала, но оно цело, лежит у меня.

Я хотел поспорить на два доллара, что не лежит, а потом подумал, что, может, лучше не спорить. И так ничего и не сказал.

Глава последняя

В первый же раз, как я застал Тома одного, я спросил его, для чего он затеял всю эту историю с побегом, что он намерен был делать, если бы побег ему удался и он ухитрился бы освободить негра, который был давным-давно свободен. А Том на это сказал, что если бы нам удалось благополучно увезти Джима, то мы проехали бы вниз по реке на плоту до самого устья — приключений ради, — он с самого начала так задумал, а после того Том сказал бы Джиму, что он свободен, и мы повезли бы его домой на пароходе, заплатили бы ему за трату времени, послали бы вперед письмо, что-

бы все негры собрались его встречать, и в город бы его проводили с факелами и с музыкой, и после этого он стал бы героем, и мы тоже. А по-моему, и без этого все кончилось неплохо.

Мы в одну минуту освободили Джима от цепей, а когда тетя Салли с дядей Сайласом и тетя Полли узнали, как хорошо он помогал доктору ухаживать за Томом, они стали с ним ужасно носиться: устроили его как можно лучше, есть ему давали все, что он захочет, старались, чтобы он не скучал и ровно ничего не делал. Мы позвали Джима в комнату больного для серьезного разговора; и Том подарил ему сорок долларов за то, что он был узником и все терпел и так хорошо себя вел; а Джим обрадовался и не мог больше молчать:

— Ну вот, Гек, что я тебе говорил? Что я тебе говорил на Джексоновом острове? Говорил, что грудь у меня волосатая и к чему такая примета; а еще говорил, что я уже был один раз богатый и опять разбогатею; вот оно и вышло по-моему! Ну вот! И не говори лучше в другой раз — примета, она и есть примета, помни мое слово! А я все равно знал, что опять разбогатею, это уж как пить дать!

А после этого Том опять принялся за свое и пошел и пошел: давайте, говорит, как-нибудь ночью убежим все втроем, перерядимся и отправимся на поиски приключений к индейцам, на индейскую территорию, недельки на две, па три; а я ему говорю, ладно, это дело подходящее, только денег у меня нет на индейский костюм, а из дому вряд ли я получу, потому что отец, должно быть, уже вернулся, забрал все мои деньги у судьи Тэтчера и пропил их.

— Нет, не пропил, — говорит Том, — они все целы, шесть тысяч, и даже больше; а твой отец так и не возвращался с тех пор. Во всяком случае, когда я уезжал, его еще не было.

А Джим и говорит, да так торжественно:

— Он больше никогда не вернется, Гек!

Я говорю:

— Почему не вернется, Джим?

— Почему бы там ни было, не все ли равно, Гек, а только он больше не вернется.

Но я к нему пристал, и в конце концов он признался:

— Помнишь тот дом, что плыл вниз по реке? Там еще лежал человек, прикрытый одеялом, а я открыл и посмотрел, а тебя не пустил к нему? Ну вот, свои деньги ты получишь, когда понадобится, потому что это и был твой отец...

Том давно поправился и носит свою пулю на цепочке вместо брелока и то и дело лезет поглядеть, который час; а больше писать не о чем, и я этому очень рад, потому что если бы я раньше знал, какая это канитель — писать книжку, то нипочем бы не взялся, и больше уж я писать никогда ничего не буду. Я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уж пробовал.

Конец. С совершенным почтением. *Гек Финн.*

1884

ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА

ПЕРЕВОД
НИКОЛАЯ ЧУКОВСКОГО

Грубые законы и обычаи, о которых говорится в этой повести, исторически вполне достоверны, и эпизоды, их поясняющие, тоже вполне соответствуют тому, что нам рассказывает история. Автор не берется утверждать, что все эти законы и обычаи существовали в Англии именно в шестом веке; нет, он только утверждает, что раз они существовали в Англии и в других странах в более позднее время, то можно предположить, не опасаясь стать клеветником, что они существовали уже и в шестом веке. У нас есть все основания считать, что если описанный здесь закон или обычай не существовал в те отдаленные времена, его с избытком заменял другой закон или обычай, еще более скверный.

Вопрос о том, существует ли в действительности такая вещь, которую называют божественным правом королей, в этой книге не затронут. Он оказался слишком сложным. Очевидно и бесспорно, что главой исполнительной власти в государстве должен быть человек высокой души и выдающихся способностей; столь же очевидно и бесспорно, что один только бог может, не опасаясь ошибиться, избрать такого человека; отсюда с очевидностью и бесспорностью следует, что избрание его нужно предоставить богу; и это размыш-

ление приводит к неизбежному выводу, что главу исполнительной власти всегда избирает бог. Так по крайней мере казалось автору этой книги до тех пор, пока он не натолкнулся на таких представителей исполнительной власти, как мадам Помпадур, леди Кастлмен и прочие в том же роде; их до такой степени трудно было зачислить в разряд божьих избранников, что автор решил эту книгу (которая должна выйти к осени) посвятить другим вопросам, а потом, накопив побольше опыта, приналечь и вопрос о наследственном праве королей разрешить в следующей книге. Вопрос этот должен быть разрешен во что бы то ни стало, а зимой мне, кстати, делать будет нечего.

МАРК ТВЕН

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

С забавным незнакомцем, о котором я собираюсь рассказать, я встретился в Варвикском замке. Он мне понравился тремя своими свойствами: искренним простодушием, изумительным знанием старинного оружия и еще тем, что в его присутствии можно было чувствовать себя совершенно спокойно, так как все время говорил он один. Благодаря своей скромности мы очутились с ним в самом хвосте людского стада, которое водили по замку, и он сразу же стал рассказывать мне в высшей степени любопытные вещи. Его речи, мягкие, приятные, плавные, казалось незаметно уносили из нашего мира и нашего времени в какую-то отдаленную эру, в старую, позабытую страну; он постепенно так околдовал меня, что мне стало чудиться, будто меня окружают возникшие из праха призраки древности и будто я беседую с одним из них! О сэре Бедивере, о

сэре Борсе де Ганисе, о сэре Ланселоте Озерном, о сэре Галахаде и о других славных рыцарях Круглого Стола он говорил совершенно так же, как я говорил бы о своих ближайших личных друзьях, врагах или соседях; и каким старым-престарым, невыразимо старым, и выцветшим, и высохшим, и древним показался мне он сам! Внезапно он повернулся ко мне и сказал так просто, как говорят о погоде и самых обыденных вещах:

— Вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую?

Я ответил, что не случалось. Он не обратил на мой ответ никакого внимания, как будто бы и в самом деле разговор шел о погоде. Наступило молчание, которое сразу же нарушил скучный голос наемного проводника:

— Древняя кольчуга шестого века, времен короля Артура и Круглого Стола, по преданию, принадлежала рыцарю сэру Саграмору Желанному; обратите внимание на круглое отверстие между петлями кольчуги с левой стороны груди; происхождение этого отверстия неизвестно, предполагают, что это след пули. Очевидно, кольчуга была пробита после изобретения огнестрельного оружия. Быть может, в нее выстрелил из озорства какой-нибудь солдат Кромвеля.

Мой знакомый улыбнулся; улыбка у него была какая-то странная, — так, быть может, улыбались много сотен лет назад, — и пробормотал про себя:

— Что скрывать! Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга. — Затем, помолчав, прибавил: — Я сам ее пробил.

Я вздрогнул от изумления, как от электрического тока. Когда я пришел в себя, его уже не было.

Весь вечер я просидел у камина в Варвик-Армсе; за окнами стучал дождь и выл ветер. Время от времени я

заглядывал в старинную очаровательную книгу сэра Томаса Мэлори, полную чудес и приключений, вдыхал ароматы позабытых столетий и опять погружался в думы. Была уже полночь, когда я прочел на сон грядущий еще один рассказ — о том...

...КАК СЭР ЛАНСЕЛОТ УБИЛ ДВУХ ВЕЛИКАНОВ И ОСВОБОДИЛ ЗАМОК

«...Вдруг появились пред ним два огромных великана, закованных в железо до самой шеи, с двумя страшными дубинами в руках. Сэр Ланселот прикрылся щитом, отразил нападение одного из великанов и ударом меча раскроил ему голову. Другой великан, сие увидев и опасаясь страшных ударов меча, кинулся бежать как безумный, а сэр Ланселот помчался за ним во весь дух, ударил его по плечу и разрубил пополам. И сэр Ланселот вступил в замок, и навстречу ему вышли трижды двенадцать дам и дев, и пали пред ним на колени, и возблагодарили господа и его за свое освобождение. «Ибо, сэр, — сказали они, — мы томимся здесь в заточении уже целых семь лет и вышиваем шелками, чтобы снискать себе пропитание, а между тем мы благороднорожденные женщины. И да будет благословен тот час, в который ты, рыцарь, родился, ибо ты более достоин почестей, чем любой другой рыцарь во вселенной, и должен быть прославлен; и мы умоляем тебя назвать свое имя, чтобы мы могли поведать своим друзьям, кто освободил нас из заточения». — «Прелестные девы, — сказал он, — меня зовут сэр Ланселот Озерный». И он покинул их, поручив их богу. И он сел на коня и посетил многие чудесные и дикие страны и проехал через многие воды и доли, но нигде не был он принят подобающим ему образом. Наконец однажды, к вечеру, ему случилось приехать в прекрасную усадьбу, и там его встретила старая женщина благородного происхождения, которая оказала ему должный прием и позаботилась о нем и о его коне. И когда настало время, хозяйка отвела его в красивую башню над воротами, где для него было приготовлено удобное ложе. И сэр Ланселот снял свои латы, положил свое оружие рядом, лег в постель и сразу уснул. И вот вскоре подъехал всадник и стал торопливо стучаться в ворота. И сэр Ланселот, услышав стук, вскочил и глянул в окно и при свете луны увидел невдалеке трех рыцарей, которые, пришпорив коней, догоняли стучавшего в ворота. Приблизившись, они замахнулись на него мечами, а тот повернулся к ним и, как подобает рыцарю, защищался. «Поистине, — сказал сэр Ланселот, — я должен помочь сему рыцарю, который один сражается против трех, ибо, если его убьют, я буду виновен в его смерти и позор падет на меня».

И он надел на себя латы и по простыне спустился из окна к четырем рыцарям и громким голосом прокричал: «Эй, рыцари, сражайтесь со мною и не троньте этого рыцаря!» Тогда они все трое оставили сэра Кэя и набросились на сэра Ланселота, и началась великая битва, ибо рыцари спешили и стали наносить сэру Ланселоту удары со всех сторон. Тогда сэр Кэй вышел вперед, чтобы помочь сэру Ланселоту. «Нет, сэр, — сказал тот, — мне не нужна ваша помощь, вы можете помочь мне только тем, что оставите меня наедине с ними». Сэр Кэй, к удовольствию рыцаря, вынужден был согласиться и отошел в сторону. И сэр Ланселот шестью ударами поверг их на землю.

Тогда они все трое взмолились: «Сэр рыцарь, мы покоряемся тебе, ибо нет тебе равного по силе!» — «Я не нуждаюсь в вашей покорности, — ответил сэр Ланселот, — вы должны покориться не мне, а сэру Кэю, сенешалю. Если вы согласны покориться ему, я дарую вам жизнь; если не согласны, я убью вас». — «Прекрасный рыцарь, — возразили они, — мы не хотим лишаться своей чести, ибо сэра Кэя мы преследовали до самых ворот замка, и мы одолели бы его, если бы не ты; зачем же нам ему покоряться?» — «Как хотите, — сказал сэр Ланселот, — вам предстоит сделать выбор между жизнью и смертью, а покориться вы можете только сэру Кэю». — «Прекрасный рыцарь, — сказали они тогда, — чтобы спасти жизнь, мы поступим так, как ты нам повелеваешь». — «В ближайший троицын день, — сказал сэр Ланселот, — вы должны явиться ко двору короля Артура, изъявить свою покорность королеве Гиневре, препоручить себя ее милосердию и сказать ей, что вас прислал к ней сэр Кэй и повелел вам стать ее пленниками». Наутро сэр Ланселот проснулся рано, а сэр Кэй еще спал; и сэр Ланселот взял латы сэра Кэя, и его щит, и его оружие, пошел в конюшню, сел на его коня и, протившись с хозяйкой, уехал. Вскоре проснулся сэр Кэй и не нашел сэра Ланселота, и заметил, что тот унес его оружие и увел его коня. «Клянусь, многим из рыцарей короля Артура придется испытать немало горя, ибо, введенные в заблуждение моими доспехами, они будут храбро нападать на сэра Ланселота, принимая его за меня. Я же, надев его латы и прикрываясь его щитом, доеду в полной безопасности». И, поблагодарив хозяйку, сэр Кэй отправился в путь...

Не успел я отложить книгу, как в дверь постучали, и вошел мой давешний незнакомец. Я предложил ему трубку и кресло и принял его как мог любезнее. Я налил ему стакан горячего шотландского виски, налил ему еще стакан, потом еще, надеясь услышать его историю. После четвертого стакана он заговорил сам, просто и естественно.

Я американец. Родился я и вырос в Хартфорде, в штате Коннектикут, сразу за рекой, в пригороде. Я янки из янки и, как подобает настоящему янки, человек практичный; всякой чувствительности, говоря иначе — поэзии, я чужд. Отец мой был кузнец, мой дядя — ветеринар, и сам я в юности был и кузнецом и ветеринаром. Потом я поступил на оружейный завод и изучил мое теперешнее ремесло; изучил его в совершенстве: научился делать все — ружья, револьверы, пушки, паровые котлы, паровозы, станки. Я умел сделать все, что только может понадобиться, любую вещь на свете; если не существовало новейшего способа изготовить какую-нибудь вещь быстро, я сам изобретал такой способ, и это мне ровно ничего не стоило. В конце концов меня назначили старшим мастером: две тысячи человек работало под моим надзором.

На такой должности надо быть человеком боевым — это само собой понятно. Если под вашим надзором две тысячи головорезов, развлечений у вас будет немало. У меня, во всяком случае, их было достаточно. И в конце концов я нарвался и получил то, что мне причиталось. Вышло у меня недоразумение с одним молодцом, которого мы прозвали Геркулесом. Он так хватил меня по голове, что череп затрещал, а все швы на нем разошлись и перепутались. Весь мир заволокла тьма, и я долго ничего не сознавал и не чувствовал.

Когда я очнулся, я сидел под дубом на траве, в прелестной местности, совершенно один. Впрочем, не совсем так: рядом находился еще какой-то молодец, он сидел верхом на лошади и смотрел на меня сверху вниз, — таких я видывал только в книжках с картинками. Весь он с головы до пят был покрыт старинной железной броней; голова его находилась внутри шлема, похожего

на железный бочонок с прорезями; он держал щит, меч и длинное копьё; лошадь его тоже была в броне, на лбу у нее торчал стальной рог, и пышная, красная с зеленым, шелковая попона свисала, как одеяло, почти до земли.

— Прекрасный сэр, вы готовы? — спросил этот дегтина.

— Готов? К чему готов?

— Готовы сразиться со мной из-за поместий, или из-за дамы, или...

— Что вы ко мне пристаёте? — сказал я. — Убирайтесь к себе в цирк, а не то я отправлю вас в полицию.

Что же он тогда, по-вашему, сделал? Он отъехал ярдов на двести и поскакал во весь опор прямо на меня, склонив свой железный бочонок к шее лошади и выставив свое длинное копьё вперед. Я увидел, что он не шутит, и когда он доскакал до меня, я был уже на дереве.

Тогда он объявил, что я его собственность, пленник его копья. Доводы его показались мне весьма убедительными, и так как на его стороне были все преимущества, я решил не возражать ему. Мы заключили соглашение: я пойду с ним, куда он прикажет, а он не будет меня обижать. Я слез с дерева, и мы отправились в путь; я шагал рядом с его конем. Мы двигались с ним, не торонясь, через поля и ручьи, и я очень удивлялся, что никогда прежде этих полей и ручьев не видал; сколько я ни вглядывался, никакого цирка я так и не увидел. Наконец я перестал думать о цирке и решил, что незнакомец сбежал из сумасшедшего дома. Но и сумасшедшего дома не было видно, и я стал в тупик. Я спросил его, далеко ли мы от Хартфорда. Он ответил, что никогда не слышал такого названия; я решил, что он врет, но пререкаться с ним не хотел. Через час мы заметили вдали город, лежавший в долине, на берегу извилистой реки, а над городом, на холме, стояла

большая серая крепость с башнями и бастионами, — впервые в жизни я увидел такую крепость наяву.

— Бриджпорт? — спросил я, указав рукой на город.

— Камелот, — сказал он.

.

Моему незнакомцу, видимо, очень хотелось спать. Он сам несколько раз ловил себя на том, что клюет носом, и наконец, улыбнувшись своей трогательной старомодной улыбкой, сказал:

— Я больше не в силах рассказывать. Идемте ко мне, у меня все записано; я дам вам свои записи — если хотите, можете прочесть их.

Когда мы вошли к нему в комнату, он проговорил:

— Вначале я вел дневник, а потом много лет спустя переработал его в книгу. О, как давно это было!

Он вручил мне рукопись и указал место, с которого я должен был начать чтение.

— Начните отсюда, — все, что случилось прежде, я вам уже рассказал.

Он совсем засыпал. Направляясь к двери, я услышал, как он сонно пробормотал:

— Доброй ночи, прекрасный сэр.

Я сел у камина и принялся разглядывать свое сокровище. Первая и большая часть записей была сделана на пергаменте, пожелтевшем от времени. Я тщательно изучил один листок и убедился, что это палимпсест. Из-под неразборчивых древних строк, написанных историком-янки, выступали следы других строк, еще менее разборчивых и еще более древних, — латинские слова и фразы, вероятно отрывки древних монашеских сказаний. Я перелистал рукопись до места, указанного мне незнакомцем, и стал читать...

Вот что я прочел:

ПОВЕСТЬ О ПРОПАВШЕЙ СТРАНЕ

Глава I

КАМЕЛОТ

— Камелот... Камелот... — говорил я себе. — Нет, никогда не слышал я такого названия. Вероятно, так называется сумасшедший дом.

Местность вокруг нас, спокойная и мирная, была прелестна, как мечта, и совершенно пустынна. Воздух был полон аромата цветов, жужжанья насекомых, пения птиц, но нигде не было видно ни людей, ни повозок. Дорога, по которой мы двигались, была, в сущности, узкой извилистой тропкой с отпечатками копыт и кое-где по бокам со следами колес на примятой траве, — колес с ободьями шириной в ладонь.

Внезапно мы повстречали хорошенькую девочку лет десяти, с золотыми волосами, струившимися по плечам. На голове у нее был венок из огненно-красных маков. Приятно было на нее поглядеть, так шел к ней этот венок. Она брела не торопясь, и на невинном ее личике отражалось спокойствие души. Мой спутник не обратил на нее никакого внимания, наверно даже не заметил ее. А она? Она нисколько не удивилась его фантастическому наряду, словно ежедневно встречала людей в латах. Она прошла мимо него так же равнодушно, как прошла бы мимо коровы. Но что стало с ней, когда она увидела меня! Она подняла руки и окаменела от удивления, рот ее раскрылся, глаза испуганно расширились; вся она была воплощением любопытства, сме-

шанного со страхом. Так она и стояла, глядя на меня, словно прикованная, пока мы не скрылись за поворотом лесной дороги. И я никак не мог понять, почему ее поразил я, а не мой спутник. И почему именно меня она считала необычайным зрелищем, а не себя, и почему глазела на меня с таким отсутствием великодушия, удивительным в существе столь юном. Тут было над чем призадуматься. Я шел как во сне.

Чем ближе мы подходили к городу, тем оживленней становилось вокруг. Мы проходили то мимо какой-нибудь ветхой лачуги с соломенной крышей, то мимо небольших полей или садов, очень дурно возделанных. Попадались нам и люди — похожие на рабочий скот здоровяки с длинными жесткими нечесаными волосами, падавшими им прямо на лицо. И мужчины и женщины были одеты в домотканые рубахи, спускавшиеся ниже колен, на ногах у них была грубая обувь, похожая на сандалии. У многих я видел на шее железный ошейник. Маленькие мальчики и девочки ходили совсем голые; но никто, казалось, этого не замечал. И все эти люди глазели на меня, говорили обо мне, кидались со всех ног в лачуги и вызывали оттуда родных — посмотреть на меня. Вид же моего спутника нисколько их не удивлял; они ему смиренно кланялись, но он не отвечал на их поклоны.

В городе среди разбросанных в беспорядке лачуг с соломенными крышами стояло несколько больших каменных домов без окон; вместо улиц были кривые немощенные дорожки; полчища псов и голых ребятишек шумно играли на солнцепеке; свиньи рылись повсюду, — одна из них, вся облепленная грязью, разлеглась в огромной вонючей луже посреди главной улицы и кормила своих поросят. Внезапно издали донеслись звуки военной музыки. Звуки приближались, становились все громче, и я увидел кавалькаду всадников, которая казалась необычайно пышной благодаря султанам на шлемах, и сверканию лат, и колыханью знамен, и богатству одежд, и конским попонам, и золоченым остриям копий. Кавалькада торжественно двигалась по грязи среди свиней, голых ребятишек, веселых псов, ободранных лачуг, и мы последовали за нею. Мы

шли в гору, все выше и выше, миновали одну грязную уличку, потом другую, пока наконец не вообразились на вершину холма, где было очень ветрено и где стоял огромный замок. Протрубил рог; в замке тоже в ответ протрубил рог; начались переговоры; нам отвечали со стен, где под колышущимися знаменами с грубыми изображениями драконов расхаживали воины в шишаках и панцирях, с алебардами на плечах. Затем распахнулись огромные ворота, опустился подъемный мост, и предводитель кавалькады двинулся вперед, под суровые своды; и мы, следуя за ним, оказались на просторном мощеном дворе, огороженном башнями и башенками, со всех четырех сторон поднимавшимися в голубизну небес; вокруг нас раздавались учтивые приветствия, всадники слезали с коней, шла веселая суета, полная пестроты, беготни, веселой неразберихи и шума.

Глава II

ДВОР КОРОЛЯ АРТУРА

Улучив минуту, я ускользнул в сторонку, толкнул в плечо одного старичка, попроще на вид, и шепнул ему:

— Сделайте мне, друг, одолжение. Скажите, вы служите в этом сумасшедшем доме или просто пришли навестить кого-нибудь из родных?

Он тупо поглядел на меня и сказал:

— Прекрасный сэр...

— Довольно, — сказал я. — Вы, я вижу, тоже пациент.

Я отошел и, призадумавшись, стал поглядывать, не замечу ли где случайно прохожего в здравом уме, который мог бы что-нибудь мне объяснить. Наконец мне показалось, что я нашел такого. Я подошел к нему и шепнул ему на ухо:

— Как бы мне на минутку повидать старшего смотрителя? Только на одну минутку...

— Не препятствуй мне...

— Как вы сказали?

— Не мешай, если тебе это слово понятней.

Он объяснил, что он помощник повара и что у него сейчас нет времени на болтовню; потом он охотно со мной поболтает, так как ему до смерти хочется узнать, где я достал свою одежду. Тут он ткнул куда-то пальцем, сказав, что вот более подходящий для меня собеседник — у него много свободного времени, и к тому же он, без сомнения, меня ищет. Передо мною стоял тоненький мальчик в ярко-красных штанах, которые придавали ему сходство с раздвоенной на конце морковкой; верхняя его одежда была сшита из голубого шелка и кружев; на его длинных светлых кудрях сидела розовая атласная шапочка с пером, кокетливо сдвинутая на ухо. Судя по лицу, он был добряк, судя по походке — весьма доволен собой. Хорошенький мальчик — хоть вставляй в рамку!

Он подошел ко мне, улыбнулся и, осмотрев меня с нескрываемым любопытством, сказал, что послан за мною и что он глава пажей.

— Какая ты глава, ты одна строчка! — сказал я ему.

Было это грубовато, но я рассердился. Впрочем, это не остановило его; он, кажется, даже не заметил, что я его обидел. Идя со мною рядом, он болтал и смеялся легкомысленно, радостно, по-мальчишески, и мы с ним сразу подружились; он задавал мне множество вопросов и обо мне и о моей одежде, но ответов не дожидался, а продолжал болтать напропалую, забыв о том, что только что спрашивал; так он болтал до тех пор, пока нечаянно не выболтал, что родился в начале 513 года.

Я вздрогнул, остановился и спросил слабым голосом:

— Я, кажется, ослышался. Повтори... повтори медленно, раздельно... В каком году ты родился?

— В пятьсот тринадцатом.

— В пятьсот тринадцатом! Глядя на тебя, этого не скажешь! Послушай, мой мальчик, я здесь чужой, друзей у меня нет; будь со мною честен и правдив. Ты в своем уме?

Он ответил, что он в своем уме,

— И все эти люди тоже в своем уме?

Он ответил, что они тоже в своем уме.

— А разве здесь не сумасшедший дом? Я имею в виду заведение, где лечат сумасшедших.

Он ответил, что здесь не сумасшедший дом.

— Значит, — сказал я, — либо я сам сошел с ума, либо случилось что-то ужасное. Скажи мне честно и правдиво, где я нахожусь?

— *При дворе короля Артура.*

Я помолчал минуту, чтобы вполне усвоить смысл этих слов, затем спросил:

— Какой же, по-твоему, теперь год?

— Пятьсот двадцать восьмой, девятнадцатое июня.

У меня заныло сердце, и я пробормотал:

— Никогда больше не увижу я моих друзей, никогда, никогда. Им суждено родиться через тринадцать столетий с лишним.

Я почему-то поверил, что мальчик сказал мне правду, — сам не знаю почему. Я поверил ему сердцем, но разум мой верить отказывался. Мой разум восставал, и вполне естественно. Я не знал, как справиться со своим разумом; свидетельства других людей не могли бы мне помочь, — мой разум объявил бы этих людей безумными и не принял бы их доводов во внимание. И вдруг, по какому-то наитию, мне в голову пришла замечательная идея. Я знал, что единственное полное солнечное затмение в первой половине шестого века произошло 21 июня 528 года, и началось оно ровно в три минуты после полудня. Знал я также, что астрономы не ожидали полного солнечного затмения в том году, который я считал текущим, то есть в 1879. Следовательно, если тревога и любопытство не сокрушат окончательно моего сердца за ближайшие сорок восемь часов, я буду иметь возможность с достоверностью установить, правда ли то, что сказал мне мальчик, или нет.

А потому, будучи практичным коннектикутцем, я отложил разрешение всей этой загадки до намеченного дня и часа, перестал об этом думать и сосредоточил все свое внимание на обстоятельствах данной минуты, чтобы использовать их по возможности выгоднее. «При-

берегай козыри!» — вот мой девиз, но уж ходить так ходить, хотя бы у тебя на руках ничего, кроме двоек и валета, не было. Я принял два решения: если сейчас все-таки девятнадцатый век, и я нахожусь среди сумасшедших, и мне отсюда не выбраться, — я не я буду, если не стану хозяином этого сумасшедшего дома; если же, напротив, сейчас действительно шестой век, так тем лучше, — я через три месяца буду хозяином всей страны: ведь я самый образованный человек во всем королевстве, так как родился на тринадцать веков позже их всех. Я не из тех людей, которые, приняв решение, теряют время; и я сказал пажу:

— Послушай, Кларенс, мой мальчик, если я верно угадал твое имя, введи меня, пожалуйста, в курс дела. Как зовут того, который привел меня сюда?

— Моего и твоего господина? Это славный рыцарь и благородный лорд сэр Кэй, сенешаль, молочный брат нашего повелителя, короля.

— Хорошо, продолжай, расскажи мне все, что ты о нем знаешь.

Он рассказывал долго. Но вот что в его рассказе касалось меня непосредственно. По его словам, я был пленником сэра Кэя, и, согласно обычаю, меня заточат в темницу и будут держать там на воде и хлебе до тех пор, пока мои друзья не выкупят меня, если я сам прежде не сдохну. Я видел, что у меня гораздо больше шансов сдохнуть, чем быть выкупленным, но не стал расстраиваться, чтобы не терять даром драгоценного времени. Паж сказал далее, что обед в большом зале уже подходит к концу и что, чуть только начнется беседа и попойка, сэр Кэй повелит позвать меня, покажет королю Артуру и его славным рыцарям, сидящим за Круглым Столом, и начнет хвастать подвигом, который он совершил, захватив меня в плен; при этом он, по всей вероятности, будет немножко преувеличивать, но мне не следует поправлять его: это неучтиво, да и небезопасно; а когда на меня вдоволь насмотрятся — марш в темницу; но он, Кларенс, непременно найдет способ навещать меня время от времени и постарается передать весточку моим друзьям.

Передать весточку моим друзьям! Я поблагодарил его: мне ничего другого не оставалось. Тут к нам подошел лакей и сказал, что меня зовут; Кларенс ввел меня в замок, усадил и сам сел рядом со мной.

Я увидел зрелище забавное и прелюбопытное. Огромный зал с почти голыми стенами, в котором все было полно кричащих противоречий. Он был очень, очень высок, этот зал, так высок, что в сумраке, ступавшемся наверху, едва можно было различить знамена, свешивавшиеся со сводчатых балок и брусьев потолка; по обоим концам зала были высокие галереи, огороженные каменными перилами, — на одной сидели музыканты, а на другой женщины, разодетые с ослепительной яркостью. Пол был вымощен большими каменными плитами, истоптанными, щербатыми и нуждавшимися в замене. Украшений, говоря по правде, не было никаких; впрочем, по стенам висели большие ковры, которые, вероятно, считались произведениями искусства; на них были изображены битвы, но кони напоминали тех, которых лепят из пряничного теста или которых дети вырезают из бумаги, а люди были покрыты чешуйчатой броней, причем чешуйки заменялись круглыми дырочками, так что казалось, будто по всей кольчуге прошла вилка, которой накалывают печенье. В зале был камин, такой огромный, что в нем мог расположиться целый лагерь; обрамленный колоннами из резного камня, он был похож на ворота собора. Вдоль стен стояли воины в панцирях и шишаках; они держали в руках алебарды, никакого другого оружия у них не было; они стояли так неподвижно, что их можно было принять за статуи.

Посреди этой крытой и мощеной рыночной площади стоял дубовый стол, который называли Круглым Столом. Он был обширен, как цирковая арена; вокруг него сидело множество мужчин в таких пестрых и ярких одеждах, что глазам было больно смотреть на них. На головах у них были шляпы с перьями; они приподнимали эти шляпы только тогда, когда обращались к самому королю.

Большинство было занято выпивкой, — они пили из цельных бычьих рогов; некоторые жевали хлеб или

глодали бычьи кости. На каждого человека приходилось не менее двух псов; псы сидели выжидая, и когда кто-нибудь швырял им кость, разом кидались к ней целыми бригадами и дивизиями; начинался бой — голы, туловища, мелькающие хвосты смешивались в беспорядочную кучу, поднимался такой неистовый вой и лай, что всякий разговор приходилось прекращать; но на это никто не жаловался, потому что собачьи драки были интереснее любого разговора; мужчины порой вскакивали, чтобы лучше видеть, и бились об заклад, которая собака победит, а дамы и музыканты перегибались через перила; и со всех сторон раздавались восторженные восклицания. В конце концов пес-победитель удобно вытягивался на полу рядом с полсотней других победителей, держа в лапах кость, и с ворчанием грыз ее, пачкая пол, а придворные принимались за прежние свои занятия и развлечения.

В общем, речи и манеры этих людей были изящны и учтивы; и, насколько я мог заметить, они в промежутках между собачьими драками выслушивали своих собеседников дружелюбно и внимательно. Притом они были по-детски простодушны; каждый из них чудовищно врал, с обезоруживающей наивностью, и охотно слушал, как врут другие, всему веря. Представление о жестоком и страшном не вязалось с ними; а между тем они с таким искренним упоением рассказывали о крови и муках, что я даже перестал содрогаться.

Я был не единственным пленником в зале. Кроме меня, было еще человек двадцать, а может быть и больше. Многие из этих несчастных были изувечены, исцарапаны, изранены самым страшным образом; их волосы, их лица, их одежда были выпачканы засохшей черной кровью. Они, безусловно, очень страдали от усталости, голода и жажды; и никто не дал им умыться, никто не позаботился из простого милосердия об их ранах; однако сколько бы вы ни слушали, вы не услышали бы от них ни одного стога, сколько бы вы ни смотрели, вы не заметили бы никакого беспокойства, никакого желания пожаловаться. И я невольно подумал: «Они, как видно, сами в свое время так же обращались с другими; и теперь, когда настала их оче-

редь, они ничего лучшего не ждут. Следовательно, их философское смирение вовсе не результат мысли, самовладения, силы ума; они терпеливы, как животные; они попросту белые индейцы».

Глава III

РЫЦАРИ КРУГЛОГО СТОЛА

Беседы за Круглым Столом были, в сущности, монологами. Рыцари рассказывали друг другу, как они захватывали пленных, убивали их друзей и сторонников и завладевали их конями и оружием. Насколько я мог судить, эти убийства совершались не из мести за обиду, не из старой вражды, не из-за внезапных ссор; нет, это по большей части были поединки между незнакомыми людьми, между людьми, которые не были даже представлены друг другу и не сделали друг другу ничего дурного. Не раз случалось мне видеть, как два мальчика, незнакомые и случайно встретившиеся, говорили в один голос: «Вот я тебе задам!» — и принимались драться; но до сих пор я полагал, что так поступают только дети и что это свойственно исключительно детскому возрасту; однако эти большие дети поступали точно так же и гордились своими поступками, несмотря на свой почтенный возраст. И все-таки в этих больших простодушных существах было что-то милое и привлекательное. Правда, мозгов в этой огромной детской не хватило бы и на то, чтобы насадить их на рыболовный крючок для приманки; но мозги в подобном обществе и не нужны, — напротив, они только мешали бы и всех стесняли, лишили бы это общество его законченности, и, пожалуй, сделали бы невозможным самое его существование.

Почти у всех были приятные и мужественные лица; многие из этих рыцарей держались с таким достоинством и такой учтивостью, что всякая критика несколько должна была бы умолкнуть. Особенной добротой и чистотой дышало лицо того, кого они называли

сэром Галахадом, и лицо короля; а в огромном теле и в горделивой осанке сэра Ланселота Озерного было много настоящего величия.

Внезапно случилось происшествие, которое привлекло к сэру Ланселоту всеобщее внимание. По знаку какого-то человека, по-видимому церемониймейстера, шесть или восемь пленников выступили вперед, упали на колени, подняли руки к галерее, на которой сидели дамы, и принялись просить о позволении молвить слово королеве. Дама, сидевшая на самом видном месте в этом цветнике женской красоты и изысканности, наклонила голову в знак согласия. Тогда один из пленников от лица всех заявил, что он предает себя и всех своих товарищей в руки королевы, предоставляя ей право помиловать их, или потребовать за них выкуп, или заточить их в темницу, или предать их смерти, — как она пожелает; далее он заявил, что обращается к ней по повелению сэра Кэя, сенешаля, который всех их взял в плен, победив в честном бою.

Изумление появилось на всех лицах; благодарная улыбка исчезла с лица королевы, — услышав имя сэра Кэя, она была явно разочарована; и паж с язвительнейшей насмешкой шепнул мне на ухо:

— Сэр Кэй, как же! Так я и поверю! Можете называть меня девчонкой, милые мои, или морской крысой! Людям придется две тысячи лет ломать себе головы, чтобы придумать еще одну такую же чудовищную выдумку.

Все глаза испытующе и строго устремились на сэра Кэя. Но он оказался на высоте положения. Он встал и величаво взмахнул рукой. Он объявил, что сейчас расскажет все, как было, придерживаясь только фактов; он расскажет истинную правду, без всяких добавлений.

— И тогда, — сказал он, — вы воздадите честь и хвалу сидящему здесь могущественнейшему из героев, когда-либо носивших щит и сражавшихся мечом в рядах христианских воинств!

И он указал рукой на сэра Ланселота. Это было здорово придумано, он поразил всех. Затем он рассказал, как сэр Ланселот в поисках приключений убил семерых великанов одним взмахом своего меча и осво-

бодил сто сорок томившихся в плену дев; как он двинулся дальше, навстречу новым приключениям, и увидел его (сэра Кэя) в неравном бою с девятью иноземными рыцарями; как сэр Ланселот один вызвал их на бой и победил всех девятерых; как следующей ночью сэр Ланселот встал потихоньку, надел латы сэра Кэя, взял коня сэра Кэя и поехал на том коне в дальние страны и в одном бою победил шестнадцать рыцарей, а в другом бою — тридцать четыре; и как всех побежденных, и этих и прежних, он заставил поклясться, что в троицын день они явятся ко двору Артура и предадут себя в руки королевы Гиневры, назвав себя пленниками сэра Кэя, сенешаля, и добычей его рыцарской доблести; и вот полдюжины уже явилось, а остальные явятся, чуть только излечатся от своих жестоких ран.

Трогательно было видеть, как улыбалась и краснела королева, как смущена и счастлива была она и как бросала украдкой на сэра Ланселота такие взгляды, что, будь это в Арканзасе, его сразу бы застрелили.

Все восхваляли доблесть и великодушие сэра Ланселота; а я дивился тому, каким образом один человек может победить и взять в плен столько опытных воинов. Я высказал свое недоумение Кларенсу, но этот ветреный насмешник ответил:

— Если бы сэр Кэй успел влить в себя еще один мех кислого вина, побежденных было бы вдвое больше.

Внезапно по лицу мальчика пробежало облако такого глубокого уныния, что мне стало жаль его. Яглянул туда, куда глядел он, и заметил очень старого белобородого человека в развевающемся черном одеянии, который, стоя перед столом на нетвердых ногах и слабо покачивая дряхлой головой, обводил присутствующих мутным, блуждающим взором. На всех лицах появилось то же страдальческое выражение, что и на лице пажа, — предчувствие мучений, на которые нельзя даже пожаловаться.

— Господи, опять! — вздохнул мальчик. — Опять он теми же самыми словами расскажет ту же самую древнюю скучную историю, которую он уже так часто рассказывал и которую он будет рассказывать до самой

смерти всякий раз, когда от кружки вина у него работает воображение. Почему я не умер и дожил до этого дня!

— Кто он?

— Мерлин, могущественный чародей и великий лжец. Пропади он пропадом! Он так надоел нам своей единственной сказкой! Все боятся его, потому что он повелевает бурям и молниям и дьяволы ада послушны ему, — а то мы давно выпустили бы ему кишки, чтобы покончить с его сказкой. Он всегда рассказывает ее в третьем лице, чтобы сделать вид, будто он так скромн, что не хочет прославлять самого себя. Да будь он проклят! Да разразит его гром! Разбудите меня, пожалуйста, когда он кончит.

Мальчик опустил голову ко мне на плечо и притворился спящим. Старик начал свой рассказ; и сразу же мальчик заснул по-настоящему; заснули псы, заснули придворные, заснули лакеи и воины. Однообразно звучал скучный голос, со всех сторон доносился мерный храп, словно приглушенный аккомпанемент духовых инструментов. Кто сидел опустив голову на руки; кто откинулся назад и храпел, широко раскрыв рот; мухи жужжали и кусались — их перестали отгонять; из сотен нор вылезли крысы и бегали повсюду, чувствуя себя как дома; одна из них, словно белка, взобралась на голову короля; в лапках она держала кусочек сыру и грызла его, с простодушным бесстыдством посыпая лицо короля крошками. Это была мирная сцена, успокоительная для усталого взора и измученной души.

Вот что рассказывал старик:

— ...Итак, король и Мерлин отправились в путь и приехали к отшельнику, который был добрым человеком и великим знахарем. Отшельник осмотрел раны короля и дал ему славные снадобья; и король прожил там три дня, и раны его исцелились; и они двинулись в путь. И в пути Артур сказал: «У меня нет меча». — «Не беда, — сказал Мерлин, — я добуду тебе меч». Они доехали до большого, глубокого озера; и видит Артур: из озера, на самой его середине, поднялась рука в белом парчовом рукаве, и в руке той — меч. «Вот, — сказал Мерлин, — тот меч, о котором я говорил тебе». Они

увидели деву, которая шла по берегу озера. «Что это за дева?» — спросил Артур. «Это владычица озера, — сказал Мерлин. — Посреди озера есть скала, на которой стоит замок — самый прекрасный замок на всей земле; сейчас эта дева приблизится к тебе, и, если ты будешь говорить с ней учтиво, она даст тебе тот меч». И дева подошла к Артуру и приветствовала его, и он ее тоже. «Дева, — сказал Артур, — чей это меч держит рука над водою? Я хотел бы, чтобы он стал моим, ибо у меня нет меча». — «Сэр Артур, король, — сказала дева, — это мой меч, и если ты дашь мне в дар то, что я у тебя попрошу, этот меч станет твоим». — «Клянусь, — сказал Артур, — я подарю тебе все, что ты попросишь». — «Хорошо, — сказала дева, — садись в ту лодку, греби к мечу и возьми его вместе с ножнами, а я явлюсь к тебе за обещанным даром, когда придет время». Сэр Артур и Мерлин слезли с коней, привязали их к двум деревьям, сели в лодку и поплыли к руке, державшей меч; и сэр Артур схватил меч за рукоять и вырвал его. И рука скрылась под водой, а они вернулись на сушу и поехали дальше. И сэр Артур увидел роскошный шатер. «Чей это шатер?» — «Это шатер сэра Пеллинора, — сказал Мерлин, — рыцаря, с которым ты недавно сражался, но сейчас его нет в этом шатре; он отправился сражаться с твоим рыцарем, славным Эгглемом, и они бились долго, и Эгглем бежал, спасаясь от неминуемой смерти, и сэр Пеллинор гнал его до самого Карлиона, и мы сейчас встретимся с ним на большой дороге». — «Я рад этому, — сказал Артур, — теперь у меня есть меч, я вступлю в бой с этим рыцарем и отомщу ему». — «Сэр, ты не должен вступать с ним в бой, — сказал Мерлин, — ибо этот рыцарь сейчас утомлен битвой и долгой погоней и мало чести сразиться с ним; кроме того, этот рыцарь таков, что нет ему равного на свете; и вот тебе мой совет: не трогай его, дай ему проехать мимо, ибо вскоре он сослужит тебе хорошую службу, а когда он умрет, тебе будут служить его сыновья. Настанет день, когда ты будешь счастлив выдать за него свою сестру». — «Увидев его, я поступлю так, как ты мне советуешь», — сказал Артур. Сэр Артур осмотрел свой меч и остался

им доволен. «Что тебе больше нравится, — сказал Мерлин, — меч или ножны?» — «Мне больше нравится меч», — сказал Артур. «Не мудр твой ответ, — сказал Мерлин, — ибо эти ножны в десять раз драгоценней меча; до тех пор пока на тебе эти ножны, тебя никто не ранит и ты не потеряешь ни капли крови; никогда не расставайся с этими ножнами». Возле Карлиона они встретили сэра Пеллинора; однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил Артура и проехал мимо, не сказав ни слова. «Удивляюсь, — проговорил Артур, — отчего этот рыцарь ничего не сказал?» — «Сэр, — ответил Мерлин, — он не видел тебя; ибо если бы он тебя видел, вы расстались бы не так легко». И они прибыли в Карлион, где веселились рыцари Артура. Слушая рассказ о приключениях своего короля, рыцари дивились тому, что король так охотно подвергает опасности свою королевскую жизнь. Но прославленнейшие из них заявили, что приятно служить королю, который, подобно простым бедным рыцарям, странствует и ищет приключений.

Глава IV

СЭР ДАЙНАДЭН-ШУТНИК

На мой взгляд, эта странная небылица была рассказана просто и прелестно; но я слушал ее впервые, а это совсем другое дело; она и остальным, без сомнения, понравилась, пока не надоела.

Сэр Дайнадэн-Шутник проснулся первым и разбудил остальных шуткой, которую нельзя было назвать слишком остроумной. Он привязал большой кувшин к хвосту пса и отпустил его; пес, обезумев от страха, широкими кругами помчался по комнате; остальные псы с воем и лаем устремились за ним, опрокидывая и ломая все, что попадалось, подняв невообразимый шум и грохот. Мужчины и женщины хохотали так, что слезы капали из глаз; многие попадали со стульев и в восторге катались по полу. Совсем как дети. Сэр Дайнадэн был столь горд своей выдумкой, что не мог удержаться

жаться и без конца надоедливо рассказывал, как пришла ему в голову эта бессмертная мысль; и, подобно всем шутникам такого сорта, он продолжал смеяться, когда кругом уже никто не смеялся. Он был так доволен собой, что решил произнести речь, разумеется шуточную. Никогда в своей жизни я не слышал столько избитых шуток. Он острил хуже любого эстрадника, хуже любого циркового клоуна. Как грустно было сидеть тут за тринадцать сотен лет до своего рождения и снова слушать жалкие, плоские, изъеденные червями остроты, от которых меня уже корбило тринадцать столетий спустя, когда я был маленьким мальчиком. Я почти пришел к убеждению, что новую остроту выдумать невозможно. Все смеялись этим древним шуткам, — но что поделаешь, древним шуткам смеются всегда и везде, я уже заметил это много столетий спустя. Однако настоящий насмешник не смеялся, — я говорю о мальчике. Нет, он подтрунивал над шутником, — он всегда и над всем подтрунивал. Он говорил, что большинство шуток сэра Дайнадэна просто глупы, а остальные — настоящие окаменелости. Я сказал ему, что слово «окаменелость» в применении к остротам мне очень нравится; я убежден, что древние остроты следует классифицировать по геологическим периодам. Но мальчик не совсем понял мою шутку, потому что в те времена геология еще не была изобретена. Однако я записал это удачное сравнение в свою записную книжку, надеясь осчастливить им общество, если мне когда-нибудь удастся вернуться в девятнадцатый век. Не бросать же хороший товар только оттого, что рынок еще не созрел для него.

Снова поднялся сэр Кэй, и снова заработала его фабрика вранья, но на этот раз топливом был я. Тут уж мне стало не до шуток. Сэр Кэй рассказал, как он встретился со мною в далекой стране варваров, облаченных в такие же смешные одеяния, как мое, одеяния, созданные волшебством и обладающие свойством делать тех, кто их носит, неуязвимыми. Однако он уничтожил силу волшебства молитвой и в битве, длившейся три часа, убил тринадцать моих рыцарей, а меня самого взял в плен, пощадив мою жизнь, чтобы пока-

зять меня, как достойное удивления чудо, королю и его двору. При этом он все время лестно именовал меня то «громадным великаном», то «подпирающим небеса чудовищем», то «клыкастым и когтистым людоедом»; и все простодушно верили этой чепухе, и никто не смеялся, никто даже не замечал, сколь не соответствуют эти невероятные преувеличения моей скромной особе. Он говорил, что, пытаясь удрать от него, я вскочил на вершину дерева в двести локтей вышины, но он сбил меня оттуда камнем величиной с корову, причем переломал мне все кости, и затем взял с меня клятву, что я явлюсь ко двору короля Артура на суд. Кончил он тем, что приговорил меня к смерти. Казнь мою он назначил на полдень 21-го числа; при этом он был так равнодушен к моей участи, что даже зевнул, прежде чем назвал дату.

Я пришел в такое отчаянье, что даже не мог внимательно следить за спором о том, каким именно способом меня казнить; впрочем, многие вообще выражали сомнение, что меня удастся убить, ибо на мне заколдованная одежда. А между тем на мне был самый обыкновенный костюм, купленный за пятнадцать долларов в лавчонке готового платья. При всем своем отчаянии я все-таки заметил одну подробность: эти знатнейшие в стране господа и дамы, собравшись вместе, произносили невзначай такие словечки, которые заставили бы покраснеть и дикого команча. Сказать, что они выражались неделикатно, было бы слишком мягко. Однако я читал «Тома Джонса», и «Родерика Рэндома», и другие книжки в том же роде и знал, что знатнейшие леди и джентльмены Англии еще столетие назад были столь же непристойны как в своих беседах, так и в своем поведении; только в нашем, девятнадцатом веке появились в Англии, — да, пожалуй, и в Европе, — первые настоящие леди и джентльмены. Что было бы, если бы сэр Вальтер Скотт, вместо того чтобы вкладывать свои собственные слова в уста своих героев, позволил им разговаривать так, как они разговаривали в действительности? Ревекка, и Айвенго, и нежная леди Ровена заговорили бы так, что смутили бы любого бродягу нашего времени. Впрочем, бессозна-

тельная грубость — не грубость. Приближенные короля Артура не сознавали, что они невоспитанны, а я был настолько тактичен, что не дал им этого заметить.

Моя заколдованная одежда так беспокоила их, что они почувствовали большое облегчение, когда старый Мерлин дал им совет, полный здравого смысла. Он спросил их, почему они, тупицы этакие, не хотят раздеть меня. Через полминуты я был гол, как кочерга! О боже, в этом обществе я оказался единственным человеком, которого смутила моя нагота. Все разглядывали и обсуждали меня с такой бесцеремонностью, словно я был кочан капусты. Королева Гиневра смотрела на меня с тем же простодушным любопытством, как и все остальные, и даже сказала, что никогда в жизни не видела таких ног, как у меня. Это был единственный комплимент, которого я удостоился, если подобное замечание можно назвать комплиментом.

В конце концов меня потащили в одну сторону, а мою заколдованную одежду — в другую. Я был брошен в темную и тесную камеру темницы, где должен был довольствоваться какими-то жалкими объедками вместо обеда, охапкой гнилой соломы вместо постели и множеством крыс вместо общества.

Глава V

ВДОХНОВЕНИЕ

Я был так утомлен, что, несмотря на страх и тревогу, сейчас же крепко заснул.

Проснулся я с ощущением, что проспал очень долго. И прежде всего подумал: «Какой удивительный я видел сон! Не проснись я сейчас, меня повесили бы, или утопили, или сожгли, или... Подремлю еще до гудка, а там пойду на оружейный завод и посчитаюсь с Геркулесом».

Но тут загремели ржавые цепи и петли, свет хлынул мне в глаза, и передо мною возник этот мотылек Кларенс! Я разинул рот и чуть не задохнулся от изумления.

— Что! — сказал я. — Ты еще здесь? Сон кончился, а ты остался? Пропади!

Но он, со свойственным ему легкомыслием, только рассмеялся и принялся потешаться над моим печальным положением.

— Ну что же, — сказал я, сдаваясь. — Пусть сон продолжается. Я не тороплюсь.

— Какой сон?

— Как какой? Мне снится, что я нахожусь при дворе короля Артура, которого никогда не было, и что я разговариваю с тобой, хотя ты тоже всего только плод моего воображения...

— Ах, вот как! А то, что тебя завтра сожгут, — это тоже сон? Хо-хо! Ну-ка, что ты мне на это скажешь?

Эти слова заставили меня содрогнуться. Я начал понимать, что, сон это или не сон, положение мое крайне серьезно; ибо я по опыту знал, что сны порой бывают яркие, как настоящая жизнь, и быть сожженным, хотя бы и во сне, далеко не шутка, и нужно во что бы то ни стало попытаться всеми правдами и неправдами избежать этого. И я начал умолять пажа:

— Ах, Кларенс, милый мальчик, мой единственный друг... ведь ты мне друг, не правда ли?.. Не покинь меня. Помоги мне бежать отсюда!

— Да ты понимаешь, о чем ты говоришь? Удрать? Да тут во всех проходах стоят воины.

— Верно, верно. Но сколько их, Кларенс? Неужели их много?

— Человек двадцать. На побег нет никакой надежды.

Помолчав, он нерешительно добавил:

— Побег невозможен и по другим причинам, более важным.

— По другим причинам? По каким же?

— Говорят... Нет, я не смею!.. Не смею!..

— Мой бедный мальчик, в чем дело? Отчего ты побледнел? Отчего ты так дрожишь?

— Ох, как мне не дрожать! Я бы все рассказал тебе, но...

— Полно, полно, будь отважен, будь мужчиной! Расскажи мне все, мой славный мальчик!

Он колебался между желанием рассказать и страхом; затем он подкрался к двери, выглянул, прислушался, наконец подошел ко мне вплотную, нагнулся к самому моему уху и сообщил мне ужасную тайну; он ежился от страха, словно говорил о вещах, одно упоминание о которых грозит смертью.

— Мерлин, полный злобы, оплел чарами эту темницу, и теперь во всем королевстве не найти столь отчаянного человека, который согласился бы перешагнуть ее порог вместе с тобою! Ну вот, я все тебе сказал, и да спасет меня господь! Ах, будь добр ко мне, будь милосерд к несчастному мальчику, который пожелал тебе блага; ибо если ты выдашь меня, я пропал!

Давно уже я так от души не смеялся. Я закричал:

— Мерлин оплел чарами темницу! Мерлин, вот оно что! Этот дешевый старый обманщик, этот болтливый старый осел! Вздор, чистейший вздор, глупейший вздор на свете! По-моему, из всех ребяческих идиотских, дурацких и трусливых суеверий это самое... Да ну его к черту, этого Мерлина!

Не успел я кончить, как Кларенс уже стоял передо мной на коленях; он, казалось, обезумел от страха.

— О, берегись! Твои слова ужасны! Если ты будешь так говорить, эти стены могут обрушиться и задавить нас. О, отрекись от своих слов, пока еще не поздно!

Этот странный испуг навел меня на размышления и внушил мне хорошую мысль. Если здесь все столь же честно и добросовестно, как Кларенс, верят в жульнические проделки Мерлина и так его боятся, так почему бы умному человеку вроде меня не воспользоваться своими преимуществами? Я стал размышлять и выработал план действий. Затем сказал:

— Встань. Возьми себя в руки. Посмотри мне в глаза. Ты знаешь, отчего я смеюсь?

— Нет, не знаю, но, ради пресвятой богородицы, не смейся больше.

— Я скажу тебе, отчего я смеюсь. Оттого, что я сам чародей!

— Ты?!

Пораженный мальчик отпрянул от меня и затаил дыхание -- этого он не ожидал! Он сразу же проникся

ко мне необычайным уважением. Я это заметил; по-видимому, в этом сумасшедшем доме от обманщика не требуют никаких доказательств, все готовы и без доказательств поверить ему на слово. Я продолжал:

— Я знаю Мерлина уже семьсот лет. Он...

— Семьсот...

— Не перебивай меня. Он тринадцать раз умирал и тринадцать раз воскресал под новыми псевдонимами: Смит, Джонс, Робинсон, Джексон, Питерс, Хаскинс, Мерлин, — каждый раз у него новый псевдоним. Триста лет тому назад я встречался с ним в Египте; я встречался с ним в Индии пятьсот лет назад; всюду он становился мне поперек дороги, и это мне в конце концов надоело. Колдун он ерундовый: знает несколько старых трюков, никогда не шел он дальше самого начала — и никогда не пойдет. В провинции он еще может сойти — «только один раз, проездом»... Но выдавать себя за знатока, да еще в присутствии настоящего мастера, — это уже нахальство. Слушай, Кларенс, я всегда буду твоим другом, и ты тоже должен поступать со мной по-дружески. Сделай мне одолжение. Скажи королю, что я сам чародей, великий Эй-Ты-Плюхни-В-Грязь, вождь всех чародеев, и втихомолку подготавливаю для них такое бедствие, что от них перья полетят, — пусть только посмеют послушаться сэра Кэя. Ты согласен передать это от меня королю?

Несчастный мальчик находился в таком состоянии, что с трудом отвечал мне. Он был до того напуган, растерян, сбит с толку, что жатко было смотреть на него. Однако он все обещал, а от меня потребовал только клятвы, что я навсегда останусь его другом и никогда не обращу против него свое чародейство. Затем он ушел, держась рукой за стену, словно у него кружилась голова.

Внезапно я сообразил, что поступил очень неосторожно. Успокоившись, мальчик, конечно, удивится тому, что я, такой могущественный чародей, прошу его, ребенка, помочь мне выбраться из темницы; он попытается связать одно с другим, все сопоставит и сразу поймет, что я обманщик.

Целый час я сетовал о своем промахе и ругал себя всякими словами. Но вдруг мне пришло в голову, что эти глупцы не рассуждают, что они никогда не связывают одно с другим, ничего не сопоставляют, что все их разговоры доказывают полную неспособность замечать противоречия. И я успокоился.

Но так уж устроено на свете, что человек, перестав беспокоиться об одном, начинает беспокоиться о другом. Я вдруг сообразил, что сделал еще одну ошибку: послал мальчика к его повелителю с какими-то страшными угрозами; он наговорит, что я, сидя здесь, в уединении, собираюсь наслать на них какую-то беду, — а ведь люди, столь жадно верящие в чудеса, несомненно столь же жадны и до самих чудес. Что будет, если меня попросят сотворить какое-нибудь чудо? Предположим, меня спросят, какое именно бедствие я готовлю? Да, я сделал ошибку, нужно было сперва придумать это бедствие. Что сделать? Что сказать им, чтобы оттянуть время? Я снова волновался, отчаянно волновался... Шаги! Идут. На размышление у меня только одна минута... Готово! Придумал. Все в порядке.

Меня спасет затмение. Я внезапно вспомнил, как не то Колумб, не то Кортес, не то кто-то другой в этом роде, находясь среди дикарей, воспользовался затмением как лучшим козырем для своего спасения, и в душе моей проснулась надежда. Этот козырь выручит и меня: я могу воспользоваться им, не боясь упрека в подражании, потому что я применю его почти на тысячу лет раньше, чем они.

Вошел Кларенс, покорный, подавленный, и сказал:

— Я поспешил передать твои слова нашему повелителю королю, и он тотчас же вызвал меня к себе. Он до смерти перепугался и хотел уже отдать приказ немедленно тебя освободить, нарядить в роскошные одеяния и поселить с подобающими тебе удобствами; но тут вошел Мерлин и испортил все: он стал убеждать короля, что ты безумец и сам не понимаешь того, что говоришь; он заявил, что твоя угроза — глупость и пустая похвальба. Они долго спорили, но в конце кон-

цов Мерлип насмешливо сказал: «Почему он не назвал того бедствия, которое он нам готовит? Потому, что он не может его назвать». Этим он заткнул рот королю, и король ничего не мог ему возразить; но, поневоле вынужденный поступить с тобой неучтиво, он умоляет тебя войти в его положение и назвать бедствие, которым ты угрожаешь, — что это за бедствие и когда оно произойдет? О, прошу тебя, не медли; всякое промедление удвоит и утроит опасности, собравшиеся над твоей головой. О, будь благоразумен, назови то бедствие, которое ты собираешься нам ниспослать.

Я долго молчал, чтобы ответ мой прозвучал внушительнее, и затем проговорил.

— Сколько времени я сижу в этой яме?

— Тебя бросили сюда вчера под вечер. Сейчас девять часов утра.

— Ага! Значит, я прекрасно выспался. Сейчас девять часов утра! А тут темно, как в полночь. Итак, сегодня двадцатое?

— Да, двадцатое.

— А завтра меня сожгут живьем?

Мальчик содрогнулся.

— В котором часу?

— Ровно в полдень.

— Ну ладно, я тебе скажу, что передать королю.

Я умолк и целую минуту простоял перед мальчиком в зловещем молчании, затем заговорил глубоким, размеренным, роковым голосом, — и голос мой постепенно нарастал и нарастал, пока не стал громовым; и я торжественно и величаво провозгласил свою волю, — никогда в жизни я не говорил с таким благородным подъемом:

— Ступай к королю и скажи ему, что завтра в полдень я покрою весь мир мертвой тьмой полночи; я потушу солнце, и оно никогда уже больше не будет сиять; земные плоды погибнут от недостатка света и тепла, и люди на земле, все, до последнего человека, умрут с голода!

Я сам вынес мальчика за порог, так как от страха он потерял сознание. Я передал его солдатам и вернулся в камеру.

В тишине и мраке воображение мое заработало. Само по себе знание факта бледно; но когда вы начинаете представлять себе этот факт, он обретает яркие краски. Совсем разные вещи: услышать о том, что человека пырнули ножом в сердце, и самому увидеть это. В тишине и мраке сознание того, что я нахожусь в смертельной опасности, становилось все глубже и глубже; понимание этой опасности вершок за вершком проникало в мои жилы и леденило в них кровь.

Но благословенная природа устроила так, что ртуть в термометре человеческой души, упав ниже определенной точки, снова начинает подниматься. Возникает надежда, а вместе с надеждой и бодрость, и человек снова получает способность помогать самому себе, если еще возможно помочь. Я скоро воспрянул духом; я сказал себе, что затмение неизбежно спасет меня и сделает меня самым могущественным человеком во всем королевстве; и ртуть в моем термометре сразу же прыгнула кверху, и все мои тревоги рассеялись. Я стал счастливейшим человеком на свете. Теперь я даже с нетерпением ждал завтрашнего дня, я жаждал насладиться своим великим торжеством, насладиться удивлением и благоговением всего народа. Кроме того, я сознавал, что с чисто деловой точки зрения это принесет мне немало выгод.

Тем временем в глубине моей души возникла новая догадка. Я почти пришел к уверенности, что, когда этим суеверным людям сообщат, каким бедствием я им угрожаю, они испугаются и пойдут на компромисс. И, услышав приближающиеся шаги, я сказал себе: «Вот он, компромисс. Ну что ж, если он будет выгоден, я соглашусь на него; если же он будет невыгоден, я настаю на своем и доведу игру до конца».

Дверь распахнулась, и в темницу вошли воины. Их предводитель сказал:

— Костер готов. Идем!

Костер?! Силы покинули меня, и я чуть не упал. В такие минуты трудно совладать с дыханием: спазмы сжимают горло. Однако, едва я настолько овладел собой, что мог говорить, я сказал:

— Это ошибка, казнь назначена на завтра.

— Приказ изменен: казнь перенесена на сегодня. Торопись!

Я погиб. Ничто мне уже не поможет. Я был ошеломлен, растерян; я потерял власть над собой; я метался из угла в угол, как помешанный; солдаты схватили меня, вытащили из камеры, поволокли по длинным подземным коридорам и вытолкнули наверх, на яркий дневной свет. Очутившись на просторном огороженном дворе замка, я вздрогнул, ибо прежде всего я увидел столб, торчавший посреди двора, а возле него кучу хвороста и монаха. Со всех четырех сторон двора высились ярусами скамьи, на которых ряд за рядом сидели зрители, сверкая пестротой одежд. Король и королева восседали на своих тронах, — их сразу можно было узнать в толпе.

Все это я разглядел в первое же мгновение. А во второе мгновение возле меня очутился, вынырнув откуда-то, Кларенс и, смотря на меня блескующими торжеством и счастьем глазами, зашептал мне на ухо:

— Это я их заставил перенести казнь на сегодня! Ну и пришлось же мне поработать! Едва я сообщил им, какое бедствие ты готовишь, и увидел, как они струсили, я понял, что удар нужно нанести немедленно. И я сразу же стал шептать одному, и другому, и третьему, что твоя власть над солнцем достигнет своей полной силы только завтра и что, если хотят спасти солнце и вселенную, тебя нужно убить сегодня, пока твои чары еще не успели созреть. Клянусь честью, все это только ложь, случайная выдумка, но, замученные страхом, они так ухватились за эту выдумку, словно само небо ниспослало ее, чтобы спасти их; я сначала посмеивался про себя, а потом возблагодарил господа за то, что он сделал ничтожнейшее из своих созданий орудием твоего спасения. Ах, как счастливо все сложилось! Тебе незачем гасить солнце навсегда, — смотри, не забудь об этом! Заклинаю тебя, напусти немножко

темноты, самую малость, — а потом дай ему сиять по-прежнему. Этого будет вполне достаточно. Они увидят, что я их обманул, — невольно, конечно, — и, чуть начнет темнеть, сойдут с ума от страха; они освободят тебя и возвеличат! Ступай же навстречу своему торжеству! Но помни... ах, милый друг, не забудь моей просьбы и не причиняй вреда благословенному солнцу! Ради меня, твоего вернейшего друга!

Угнетенный своим горем, я невинтно пообещал пощадить солнце; и в глазах мальчика заблестела такая глубокая и влюбленная благодарность, что у меня не хватило духу выругать его за добросердечную глупость, которая погубила меня и обрекла на смерть

Когда солдаты вели меня через двор, стояла такая тишина, что, будь у меня завязаны глаза, я мог бы вообразить, будто вокруг меня безмолвная пустыня, а не толпа в четыре тысячи человек. Все это огромное скопление народа было неподвижно; люди с побледневшими лицами застыли, как каменные изваяния; в глазах у них был ужас. Это безмолвие длилось, пока меня приковывали цепями к столбу; оно длилось, пока обкладывали хворостом мои щиколотки, мои колени, мои бедра, мое туловище. И оно стало еще глубже, это молчание, когда к ногам моим склонился человек с пылающим факелом в руке; толпа, вглядываясь, потянулась вперед; все невольно привстали со своих скамеек; монах простер руки над моей головой, воздел глаза к голубому небу и что-то забормотал по-латыни; он бормотал довольно долго и вдруг умолк. Я прождал несколько мгновений, затем взглянул на него: монах окаменел. Вся толпа, охваченная одним порывом, поднялась на ноги и смотрела в небо. Я тоже глянул в небо: черт возьми, затмение начинается! Я воспрянул духом, я ожил! Черный ободок все глубже входил в диск солнца, и мое сердце билось сильнее и сильнее; толпа и священнослужитель, застыв, не сводили глаз с неба. Я знал, что сейчас все они глянут на меня. И когда они на меня глянули, я был готов. Я придал своей осанке величавость и устремил руку к солнцу. Эффект получился потрясающий! Дрожь волной пробежала по

всей толпе. И тут прозвучали два голоса, один сразу после другого:

— Зажигай!

— Зажигать запрещаю!

Первый голос был Мерлина, второй — голос короля. Мерлин вскочил со своего места — вероятно, он хотел сам зажечь костер. Я сказал:

— Не двигайтесь! Того, кто двинется без моего разрешения, будь он сам король, я поражу громом и испепелю молниями!

Как я и ожидал, вся толпа покорно опустила на скамьи. Один только Мерлин несколько мгновений колебался; я с трепетом следил за ним. Но наконец сел и он, и я облегченно вздохнул, — теперь я был господином положения. Король сказал:

— Будь милосерд, прекрасный сэр, останови это страшное дело, предотврати беду. Нам сказали, что твое могущество достигнет полной силы только завтра, но...

— Вы, ваше величество, хотите сказать, что вам солгали? Вы правы.

Это произвело необычайный эффект. Все простерли руки к королю, пламенно умоляя его откупиться от меня любой ценой, лишь бы я прекратил бедствие. Король охотно согласился. Он сказал:

— Назови свои условия, почтенный сэр! Можешь потребовать у меня хоть половину моего королевства, но положи конец этому бедствию, пощади солнце!

Удача мне была уже обеспечена. Мы, конечно, сторговались бы сразу, но я не в состоянии был остановить затмение: об этом не могло быть и речи. Я попросил, чтобы мне дали время на размышление. Король сказал:

— Долго ли ты будешь размышлять, добрейший сэр? Будь милосерд, погляди, с каждым мгновением становится все темнее. Прошу тебя, ответь, сколько времени нужно тебе на размышление?

— Немного. Полчаса, быть может — час.

Раздались тысячи страстных возражений, но я не мог сократить срок, так как не помнил, сколько времени длится затмение. Да и вообще я не все понимал

и хотел поразмыслить над своим положением. С затмением вышло что-то неладное, и это меня очень смущало. Если это не то затмение, на которое я рассчитывал, как мне узнать, действительно ли я перенесен в шестой век, или это мне только снится? Господи, как бы я хотел убедиться, что это сон! Во мне пробудилась надежда. Если мальчик не перепутал чисел и сегодня действительно двадцатое, значит я не в шестом веке. Я взволнованно схватил монаха за рукав и спросил его, какое сегодня число.

Черт побери! Он ответил, что сегодня *двадцать первое*! Когда я услышал ответ, меня охватил озноб. Я спросил его, не ошибся ли он; но он нисколько не сомневался, он знал наверняка, что сегодня двадцать первое. Итак, этот пустоголовый мальчишка опять все перепутал. Затмение началось как раз в тот самый час, когда должно было начаться; я сам это видел по стоявшим неподалеку солнечным часам. Да, я действительно нахожусь при дворе короля Артура и должен приложить все усилия, чтобы извлечь из этого положения как можно больше выгод.

Тьма все сгущалась, и горе охватило народ. Тогда я сказал:

— Я все обдумал, государь. Чтобы вас проучить, я не буду мешать тьме распространяться, — пусть ночь охватит весь мир; от вас самих будет зависеть, верну ли я солнце, или погашу его навсегда. Вот каковы мои условия: вы остаетесь королем над всеми своими владениями, и вам оказывают все почести, подобающие королевскому достоинству, но вы назначаете меня своим бессменным министром, обладающим всей полнотой исполнительной власти, и платите мне за мою службу один процент с того излишка доходов, который я надеюсь создать для государства. Если этого мне не хватит, я не стану просить прибавки. Подходят вам мои условия?

Раздался гром аплодисментов, и я услышал голос короля:

— Снимите с него узы, освободите его! Все, кто здесь есть, знатные и незнатные, богатые и бедные, воздайте ему почести, ибо отныне он будет правой ру-

кой короля, он будет обладать всей полнотою власти и восседать на самой верхней ступени трона! Так рассея же эту надвигающуюся ночь, возврати нам свет и веселье, и весь мир благословит тебя!

Но я сказал:

— Если перед народом посрамлен обыкновенный человек, это еще не беда; но бесчестие пало бы и на самого короля, если бы те, кто видел его министра нагим, не увидели его вознагражденным за срам. Принесите мне мою одежду...

— Нет, не такой одежды достоин ты теперь! — перебил король. — Принесите ему другое одеяние; оденьте его, как принца!

Мой замысел уже приносил плоды. Мне нужно было как-нибудь оттянуть время до полного затмения, не то они опять стали бы меня умолять рассеять тьму, а я, понятно, не мог этого сделать. Посылка за одеждой была отсрочкой, но недостаточной. И я придумал новую отговорку. Я сказал, что опасаюсь, как бы король, поразмыслив, не передумал и не отменил впоследствии решения, принятого под влиянием внезапного порыва; поэтому я заставляю тьму еще немного сгуститься, и если король тем временем не изменит своих решений, я ее рассею. Это условие не понравилось ни королю, ни зрителям, но я был непреклонен.

Пока я мучился, натягивая на себя ужасные одежды шестого века, становилось все темней и темней, черней и черней. Наконец стало темно, как в шахте, и вся толпа завывала от ужаса, почувствовав дуновение холодного, таинственного ночного ветра и увидев в небе мерцающие звезды. Вот оно, полное затмение! Я один радовался ему, все остальные пришли в отчаянье, что, впрочем, вполне естественно. Я сказал:

— Король своим молчанием подтверждает все, что он обещал.

Затем я воздел руки к небу, простоял так несколько мгновений и возгласил как мог торжественнее:

— Да рассеются чары, да сгинут они без вреда!

Меня окружала глубокая тьма, и ответом мне была мертвая тишина. Но когда из тьмы вынырнул серебря-

ный ободок солнца, весь двор огласился громкими криками и меня прямо захлестнул потоп благословений и благодарностей; среди благословляющих и благодарящих Кларенс был, конечно, не последним.

Глава VII

БАШНЯ МЕРЛИНА

Я стал вторым лицом в королевстве, получив в свои руки всю полноту государственной власти, и отношение ко мне было отличное! Я одевался только в шелк, бархат и золотую парчу — то есть очень пышно и очень неудобно. Впрочем, я знал, что со временем привыкну к своему одеянию. Если не считать тех апартаментов, в которых жил сам король, я занимал лучшие комнаты в замке. Стены их были обиты пестрыми шелками, но на каменных полах вместо ковров лежали циновки самой грубой ручной работы, да к тому же какие-то косые и кривые. Удобств, по правде сказать, не было никаких. Я говорю о мелких удобствах, о тех мелких удобствах, которые собственно и делают жизнь приятной. Огромные дубовые кресла, украшенные грубой резьбой, были, правда, недурны, но ведь одними креслами не обойдешься. Не было ни мыла, ни спичек, ни зеркала, кроме одного металлического, в котором так же трудно себя увидеть, как в ведре с водой. И ни одной цветной рекламы страховой компании на стене. За много лет я так привык к цветным рекламам, что страсть к искусству проникла в мою кровь и стала частью меня самого, хотя я о том и не догадывался. При виде этих чванливых, пышных, но бездушных стен меня охватывала тоска по родине, и я вспоминал наш домик в Восточном Хартфорде, где, несмотря на всю его незатейливость, в каждой комнате висит цветное объявление о страховании или по крайней мере напечатанный в три краски девиз: «Благословение дому сему!»; а в гостиной у нас девять цветных объявлений. Здесь же, даже на стенах моей министерской парадной

залы, не было ни одной картинки, если не считать какой-то штуки величиной с одеяло, не то вытканной, не то вышитой (в некоторых местах она была заштопана), на которой все изображенные предметы поражали неправильностью раскраски и формы; а уж велики они были так, что и сам Рафаэль, даже после того как он поработал над теми кошмарами, которые именуются его «знаменитыми хэмптонкортскими картинками», не мог бы намалевать их крупнее. Рафаэль — важная птица. У нас было несколько его картинок; на одной изображена «чудесная ловля рыбы», где он сам умудрился совершить чудо: усадил трех мужчин в такой челнок, который опрокинулся бы, даже если бы в него посадили одну собаку. Я всегда с восхищением изучал произведения Рафаэля, они так свежи и безыскусственны.

Во всем замке не было ни звонка, ни телефона. Слуг мне дали множество; те из них, которые дежурили, толкались в прихожей, но когда мне нужно было позвать их, я принужден был сам идти за ними. Не было ни газа, ни свечей; бронзовая чаша, до половины наполненная тем маслом, которое подают к столу в мебелированных комнатах, и плавающая в масле зажженная тряпка — вот что там называлось освещением. Множество таких чаш висело по стенам, чуть рассеивая тьму, которая от этого казалась только еще мрачней. Если вы вечером выходили со двора, слуги несли перед вами факелы. Не было ни книг, ни перьев, ни бумаги, ни чернил, ни стекол в тех отверстиях, которые там именовались окнами. Казалось бы, пустяковая вещь — стекло, но когда его нет, оно перестает быть пустяком. Однако хуже всего было отсутствие сахара, кофе, чая и табака. Я был похож на Робинзона Крузо, попавшего на необитаемый остров, — подобно ему, мне приходилось довольствоваться обществом домашних животных, и, чтобы сделать жизнь хоть сколько-нибудь сносной, я должен был поступать, как он: изобретать, придумывать, создавать, изменять то, что уже существует; я должен был беспрестанно работать мозгами и руками. Что ж, это как раз в моем вкусе.

Одно тревожило меня вначале — то необыкновенное любопытство, с которым относились ко мне все. Казалось, весь народ хотел на меня поглядеть. Вскоре стало известно, что затмение перепугало всю Британию до смерти, что, пока оно длилось, вся страна от края и до края была охвачена безграничным ужасом и все церкви, обители и монастыри были переполнены молящимися и плачущими людьми, уверенными, что настал конец света. Затем все узнали, что эту страшную беду наслал иностранец, могущественный волшебник, живущий при дворе короля Артура, что он мог потушить солнце, как свечку, и собирался это сделать, но его упростили рассеять чары, и что теперь его следует почитать, как человека, который своим могуществом спас вселенную от разрушения, а народы — от гибели. Если вы примете в расчет, что этому поверил каждый, и не только поверил, но даже ничуть не усомнился, вы поймете, что во всей Британии не было ни одного жителя, который не прошел бы охотно пятидесяти миль пешком, чтобы взглянуть на меня. Естественно, только обо мне и было разговору, ни о ком другом не говорили; даже к королю стали относиться равнодушно и без всякого любопытства. Через двадцать четыре часа начали прибывать делегации, и прибывали в течение целых двух недель. Все окрестные деревни были переполнены народом. По двенадцать раз в сутки мне приходилось показываться почтительным и благоговейным толпам. Конечно, это было очень утомительно и отнимало много времени, но, с другой стороны, разумеется, приятно чувствовать себя знаменитым и окруженным таким поклонением. Старикашка Мерлин зеленел от злости, и это доставляло мне большое удовлетворение. Но была одна вещь, которой я не мог понять: никто не просил у меня автографа. Я упомянул об этом при Кларенсе. Черт побери, мне пришлось объяснять ему, что такое автограф! Он сказал, что во всей стране никто не умеет ни читать, ни писать, кроме нескольких десятков попов. Ну и страна!

Было еще одно обстоятельство, которое меня несколько тревожило. Все эти толпы жаждали нового чуда. Дело понятное. Хорошо, вернувшись домой из

дальнего странствия, похвастать, что ты собственными глазами видел человека, которому повинуются солнце в небе, и тем возвеличить себя в глазах соседей, но еще лучше иметь возможность сказать, что ты собственными глазами видел, как он творил чудеса. Тут уж люди станут приходить издалека, чтобы посмотреть на тебя самого. На меня здорово наседали. Предстояло лунное затмение, и я знал число и час, когда оно должно совершиться, но до него было еще слишком далеко. Два года. Я много бы дал за возможность приблизить это событие и использовать его теперь же, когда на рынке стоял такой большой спрос на затмения. Жаль, что оно пропадет зря и совершится тогда, когда никому не принесет никакой пользы.

Если бы оно было назначено, предположим, через месяц, я бы заранее продал его, так сказать на корню, но при данном положении толку от него никакого не было, и я даже думать о нем перестал. А тут Кларенс обнаружил, что старый Мерлин тайком мутит народ. Он распространял слухи, что я мошенник и что я не делаю никаких чудес только оттого, что не умею. Что-то нужно было предпринять. И я тут же изобрел план действий.

Воспользовавшись своею властью, я заточил Мерлина в темницу, в ту камеру, где сидел прежде сам. Затем я с помощью герольдов и глашатаев известил народ, что в течение ближайших двух недель я буду занят государственными делами, когда же две недели пройдут, улучу свободную минутку и уничтожу пламенем, сошедшим с небес, каменную башню Мерлина; а пока лица, распускающие обо мне злостные сплетни, кто бы они ни были, пусть поостерегутся. Далее я предупредил, что чудо, которое я собираюсь совершить, будет последним. Но если и это чудо кого-нибудь не удовлетворит и сплетни будут продолжаться, я превращу сплетников в лошадей и заставлю их возить телеги. Спокойствие было восстановлено.

Я отчасти доверился Кларенсу, и мы потихоньку принялись за работу. Я сказал Кларенсу, что мое чудо требует некоторых приготовлений и что всякий, кто начнет болтать об этих приготовлениях, будет мгно-

венно поражен смертью. Это заткнуло ему рот. Мы тайком изготовили несколько бушелей первосортного пороха, а оружейники под моим руководством смастерили громоотвод и провода. Старая каменная башня была очень прочна, хотя уже понемногу разрушалась, так как построили ее еще римляне лет четыреста назад. Да, она была красива своеобразной грубой красотой, и всю ее от основания до верхушки, словно чешуйчатая кольчуга, обвивал плющ. Стояла она одиноко на холме, в полумиле от дворца и была хорошо видна из его окон.

Работая по ночам, мы начинили башню порохом, вытащили из стен, имевших пятнадцать футов толщины у основания, несколько камней и насыпали пороху в дыры. Таких зарядов мы заложили не меньше дюжины. Нашего пороха хватило бы и на то, чтобы взорвать лондонский Тауэр. На тринадцатую ночь мы водрузили на верхушке громоотвод, опустив его нижний конец в один из зарядов, а остальные заряды соединили с ним проводами. Все и так обходили башню с тех пор, как я издал свое воззвание к народу, но утром четырнадцатого дня я все же объявил через герольдов, что никто не должен к ней подходить ближе чем на четверть мили. А затем прибавил, что чудо я совершу в ближайшие двадцать четыре часа, но когда именно — еще не знаю, и потому своевременно подам условный знак: если будет день, то выставлю на башнях замка флаги, если будет ночь, то расставлю там факелы.

Грозы за последнее время были часты, и я не особенно опасался неудачи; в крайнем случае чудо можно отложить на денек-другой: я отговорюсь тем, что занят государственными делами, и народу придется подождать.

Разумеется, день выдался яркий, солнечный, — чуть ли не первый безоблачный день за три недели; так бывает всегда. Я заперся у себя и следил за погодой. Время от времени ко мне забегал Кларенс и сообщал, что волнение в народе все растет и что через бойницы видно, как прибывают все новые и новые толпы людей. Наконец, когда уже начало смеркаться,

появилась туча, и как раз там, где надо. Я подождал еще немного, следя, как эта дальняя туча росла и темнела, и наконец решил, что пора начинать. Я приказал зажечь факелы, освободить Мерлина и прислать его ко мне. Четверть часа спустя я вышел на балкон; там уже находился король и весь его двор, — вглядываясь в сумрак, они не спускали глаз с башни Мерлина. Тьма уже так сгустилась, что вдали ничего нельзя было разглядеть; эти людские сборища и эти старые башни над ними, частью окутанные мраком, а частью ярко озаренные пламенем факелов, были необычайно живописны.

Появился Мерлин, в весьма скверном настроении. Я сказал:

— Ты собирался заживо сжечь меня, хотя я не сделал тебе ничего дурного, а потом ты пытался замарать мою профессиональную репутацию. За это я низведу с небес огонь и уничтожу твою башню; однако ради справедливости я и тебе дам возможность показать свое могущество: если в твоей власти рассеять мои чары и воспротивиться небесному пламени, бей по мячу — твой ход!

— Я могу рассеять твои чары, прекрасный сэр, и я их рассею. Не сомневайся, — заявил Мерлин.

Он начертил на каменных плитах воображаемый круг и зажег внутри этого круга щепотку порошка; над порошком взвилось крошечное облачко благовонного дыма, и все отшатнулись, испуганно крестясь. Затем он начал что-то бормотать и размахивать руками. Мало-помалу он привел себя в состояние полного испуга, и руки его завертелись, как крылья ветряной мельницы. Тем временем гроза подошла совсем близко; порывы ветра раздували пламя факелов и раскачивали тени; упали первые крупные капли дождя, кругом стояла непроглядная тьма, иногда вспыхивала молния. Мой громоотвод, несомненно, сейчас начнет работать. Медлить больше нельзя. И я сказал:

— Ты уже достаточно повозился. Я предоставил тебе полную возможность колдовать, я не мешал тебе. Всем уже ясно, что твое колдовство никуда не годится. А теперь мой черед.

Я трижды взмахнул руками, и раздался оглушительный грохот; произошло нечто вроде извержения вулкана: обломки старой башни взлетели к небу, охваченные столь ярким пламенем, что ночь превратилась в день и стало видно, как кругом на огромном пространстве многотысячные толпы людей в ужасе попадали на землю. Да что говорить, потом целую неделю шел дождь из песка и щебня. Таковы были слухи, быть может несколько преувеличенные.

Чудо произвело огромное впечатление. Нашествие любопытных сразу прекратилось. Утром на грязи видно было много тысяч следов, но все они вели прочь. Если бы я объявил, что собираюсь совершить новое чудо, мне не удалось бы собрать зрителей даже с помощью полиции.

Карта Мерлина была бита. Король не хотел больше платить ему жалованье; он даже собирался изгнать его из страны, но тут вмешался я. Я сказал, что Мерлин может заниматься погодой и тому подобными мелочами, а если из его маленьких, жалких салонных фокусов ничего не будет выходить, я ему немного помогу. От башни его не осталось даже камня, но я заставил правительство выстроить ее для него заново и посоветовал ему сдавать ее жильцам; однако он был слишком чванлив для этого и благодарности ко мне не чувствовал никакой, даже спасибо не сказал. Кремень был старикашка, что там ни говори; впрочем, трудно ждать от человека, чтоб он был ласков с вами, когда вы так оттеснили его.

Глава VIII

ХОЗЯИН

Обладать беспредельной властью очень приятно, но еще приятнее сознавать, что все твоей властью довольны. История с башней укрепила мою власть и сделала ее непоколебимой. Все относившиеся ко мне завистливо и критически сразу смирились. Теперь во

всем королевстве не было ни одного человека, который считал бы благоразумным вмешаться в мои дела.

Я быстро приспособился к своему положению и ко всему, что меня окружало. Первое время, просыпаясь по утрам, я смеялся над своим «сном» и ждал заводского гудка; но постепенно это прошло, и я окончательно понял, что живу в шестом веке при дворе короля Артура, а не в лечебнице для умалишенных. И скоро я уже чувствовал себя в этом веке совсем как дома, не хуже, чем в любом другом; и если бы мне предоставили выбор, я не променял бы его даже на двадцатый. Вдумайтесь, какие возможности предоставляет шестой век знающему, умному, деятельному человеку для продвижения вперед, для роста вместе со всей страной. Широчайшее поле деятельности, и к тому же полностью отданное мне одному, — ни одного конкурента, ни одного человека, который по знаниям и способностям не был бы в сравнении со мной младенцем. А что досталось бы на мою долю в двадцатом веке? В лучшем случае я был бы мастером на заводе, не больше, и на любой улице среди прохожих можно было выудить без труда людей, куда более достойных, чем я.

Как высоко я забрался! Я не мог не думать об этом, я любовался своим успехом, как человек, из земли которого брызнула нефть, любителю своим нефтяным фонтаном. Я искал в прошлом примеров для сравнения и не находил ничего, кроме разве истории с Иосифом, однако даже судьба Иосифа, хотя и напоминала мою, не могла с ней сравниться. Ибо не надо забывать, что блестящие финансовые способности Иосифа не принесли пользы никому, кроме фараона, и, следовательно, широкая публика имела полное право относиться к нему с неприязнью, тогда как я, пощадив солнце, облагодетельствовал всех и потому пользовался всеобщей любовью.

Я не был тенью короля: я был сущностью; король сам был тенью. Моя власть была огромна; и не только по званию, как часто бывает, а по-настоящему. Я стоял у самого истока второго великого периода мировой истории и мог наблюдать, как узенький ручеек истории становится все глубже, все шире и катит свои мощные струи в отдаленные века; я видел под сенью

бесчисленных тронов таких же авантюристов, как я: де Монфоров, Гэвстонов, Мортимеров, Вильерсов; видел ведущих войны и предводительствующих походами французских фаворитов и правящих страной любовниц Карла Второго, но равного себе я среди них не находил. Я был Единственным; и мне отрадно было сознавать, что в течение тринадцати с половиной веков этот факт никому не удастся ни утаить, ни опровергнуть.

Да, могуществом я был равен королю. Но в государстве существовала еще одна власть, которая была могущественнее и меня и короля вместе взятых. То была власть церкви. Я не хочу скрывать этот факт. Я не мог бы его скрыть, даже если бы захотел. Но не стоит говорить о нем сейчас; я расскажу об этом в свое время и в своем месте. Вначале церковь не причиняла мне никаких сколько-нибудь заметных неприятностей.

Какая это была забавная и любопытная страна! И какой народ! Милый, простодушный и доверчивый — ну просто кролики! Человеку, родившемуся в атмосфере свободы, горько было слушать, как искренне и смиренно клялись они в своей верности королю, церкви и знати; а между тем у них было не больше оснований любить и почитать короля, церковь и знать, чем у раба любить и почитать кнут или у собаки любить и почитать прохожего, который бьет ее! Ей-богу, любая монархия, даже самая умеренная, и любая аристократия, даже самая скромная, оскорбительны; но если вы родились и выросли под властью монархии и аристократии, вы никогда сами не догадаетесь об оскорбительности своего положения и не поверите, если кто-нибудь вам об этом скажет. Становится стыдно за свой народ, когда подумаешь, какие мыльные пузыри постоянно восседали на его тронах без всякого права и основания и какие третьесортные людишки считались его аристократией; если бы всех этих монархов и вельмож предоставить самим себе, как предоставлены себе куда более достойные люди, они никогда не выбились бы из нищеты и неизвестности.

Большая часть британского народа при короле Артуре состояла из рабов, самых настоящих; они так

рабами и назывались и в знак рабства носили железные ошейники; остальные тоже, в сущности, были рабы, хотя не назывались рабами; они воображали себя свободными людьми, и их именовали: «свободные люди». По правде говоря, вся нация в целом существовала только для того, чтобы пресмыкаться перед королем, церковью и знатью, чтобы рабски служить им, чтобы проливать за них кровь, чтобы, умирая с голоду, кормить их, чтобы, работая, предоставить им возможность забавляться, чтобы, терпя нужду и горе, делать их счастливыми, чтобы, ходя голыми, дать им возможность носить шелка и драгоценные камни, чтобы, платя налоги, избавить их от необходимости платить, чтобы, слыша от них только брань в течение всей своей жизни, позволять знатым кичиться и чувствовать себя земными богами. И в благодарность получать только побои и презрение; впрочем, они так привыкли к своей приниженности, что даже такое проявление внимания принимали за честь.

Унаследованные идеи — забавная штука, и очень любопытно наблюдать их и изучать. У меня были свои унаследованные идеи, у короля и его народа — свои. И те и другие текли в глубоких руслах, вырытых временем и привычкой; и тому, кто захотел бы изменить их течение доводами разума, пришлось бы долго трудиться. Например, этот народ унаследовал убеждение, что все люди, не обладающие титулом и длинной родословной, как бы щедро ни наградила их природа, ничуть не выше животных, клопов, насекомых; в то время как я унаследовал убеждение, что человекоподобные вороны, рядящиеся в павлиньи перья наследственных достоинств и незаслуженных титулов, годны только на то, чтобы над ними посмеяться. И вполне естественно, что ко мне там относились несколько странно. Примерно так, как хозяин зверинца и публика относятся к слону. Они восхищаются его ростом и его необычайной силой, они с гордостью говорят о том, что он может сделать много такого, чего сами они сделать не в состоянии, с такой же гордостью они рассказывают, что, рассердясь, он может обратить в бегство тысячу человек. Но разве из-за этого они считают

слона равным себе? Нет! Подобная мысль рассмешила бы даже самого жалкого оборванца. Да она никогда ему и в голову не пришла бы; он не мог бы даже допустить существования подобной мысли. И вот для короля, для знати, для всего народа, вплоть до последнего раба и нищего, я был всего только таким слоном. Мною восхищались — и меня боялись; но восхищались мной, как животным, и боялись меня, как животного. Перед животным не благоговейт, — не благоговели и передо мной; меня даже не уважали. У меня не было ни родословной, ни унаследованного титула, и потому в глазах короля и знати я был просто пылью под ногами, а народ взирал на меня с изумлением и страхом, но без всякого почтения: согласно своим унаследованным идеям, он не чувствовал почтения ни к чему, кроме знатности и родословной. В этом сказывалось влияние могущественной и страшной римско-католической церкви. За каких-нибудь два-три столетия она превратила нацию людей в нацию червей. До того как церковь утвердила свою власть над миром, люди были людьми, высоко носили головы, обладали человеческим достоинством, силой духа и любовью к независимости; величия и высокого положения они добивались своими заслугами, а не происхождением. Но затем появилась церковь и принялась за работу; она была мудра, ловка и знала много способов, как сдирать шкуру с кошки — то ест с народа; она изобрела «божественное право королей» и окружила его десятью заповедями, как кирпичами, вынув эти кирпичи из доброго здания, чтобы укрепить ими дурное; она проповедовала (простонародью) смирение, послушание начальству, прелесть самопожертвования; она проповедовала (простонародью) непотивление злу; проповедовала (простонародью, одному только простонародью) терпение, нищету духа, покорность угнетателям; она ввела наследственные должности и титулы и научила все христианское население земли поклоняться им и почитать их. Эта отравяющая продержалась в крови христианского мира вплоть до моего родного века, когда лучшие представители английского простонародья продолжали мириться с тем, что люди, во

много раз менее их достойные, сохранили за собой ряд званий, вроде звания лорда и короля, на которые нелепый закон их страны не дает права им, достойнейшим, претендовать; англичанин не только мирится с этим странным положением вещей, но даже убеждает самого себя, что гордится им. Человек способен примириться с любой несправедливостью, если он при ней родился и вырос. Разумеется, эта зараза благоговения перед званием и титулом жила когда-то в крови и у нас, американцев; но к тому времени, когда я покинул Америку, она уже исчезла. Жалкие остатки ее сохранили еще некоторые франты и франтихи. Но когда эпидемия снижается до такого уровня, можно считать, что ее уже нет.

Но вернемся к моему неестественному положению в королевстве короля Артура. Я чувствовал себя великаном среди карликов, взрослым среди детей, мыслителем среди умственных кротов; как там ни рассуждай, а я был *единственным* действительно великим человеком во всем британском мире; и тем не менее, как и в далекой Англии моей родной эпохи, какой-нибудь граф с бараньими мозгами, который мог доказать, что происходит от любовницы короля, раздобытой из вторых рук в лондонских трущобах, пользовался большим почетом, чем я. Такого человека в царствование Артура уважали все, хотя бы его внешность была столь же убога, как его ум, а его нравственность столь же низменна, как его происхождение. Были случаи, когда ему разрешалось сидеть в присутствии короля, а мне не разрешалось. Я без труда мог бы добиться титула, и это возвысило бы меня в глазах всех, даже в глазах короля, хотя он сам дал бы мне этот титул. Но я титула не просил; я отклонил его, когда мне его предложили. Человеку с моими убеждениями титул не может доставить радости; кроме того, я получил бы его незаконно, так как, насколько мне известно, моему роду никогда не везло по части знатности. Я был бы доволен и гордился бы только таким титулом, который мне пожаловал бы сам народ, единственный законный источник власти; такой титул я надеялся заслужить; я действительно в конце концов заслужил его долгими

годами добросовестной, честной работы и стал носить его с высокой и чистой гордостью. Этот титул, сорвавшийся однажды с губ деревенского кузнеца, был подхвачен всеми как счастливая выдумка и с одобрительным смехом передавался из уст в уста; в десять дней он обошел все королевство, и к нему привыкли, как к имени короля. В дальнейшем и в народных толках и в королевском совете при спорах о делах государственной важности меня называли только так. Этот титул в переводе на современный язык означает — Хозяин. Он мне нравился, так как я получил его от народа. Это был очень высокий титул — и единственный в своем роде. Когда говорили о герцоге, о графе, о епископе, нельзя было угадать, о ком именно идет речь. Разве мало герцогов, графов и епископов? Но совсем другое дело, когда говорили о короле, или о королеве, или о Хозяине.

Король мне нравился, и как короля я его уважал, уважал его звание, уважал по крайней мере настолько, насколько вообще был способен уважать любой незаслуженный чин; но как на человека я на него и на его вельмож смотрел сверху вниз, — втайне, конечно. Я тоже нравился и королю и вельможам, и они уважали меня как государственного деятеля, но так как я был человек безродный и незнатный, они в свою очередь смотрели на меня сверху вниз, — и далеко не втайне! Я не навязывал им своего мнения о них, а они не навязывали мне своего мнения о моей персоне. В итоге мы были квиты, баланс наших отношений был уравновешен, и обе стороны были довольны.

Глава IX

ТУРНИР

В Камелоте постоянно устраивались большие турниры; эти человеческие бои быков были очень азартны, живописны и заняты, но несколько надоедливы для деятеля с практическим складом ума. Тем не менее

я всегда присутствовал на них по двум причинам: во-первых, потому, что человек, желающий нравиться, и особенно человек государственный, не должен избегать того, что дорого его друзьям и тому обществу, в котором он вращается; и во-вторых — потому, что, как делец и как государственный деятель, я стремился изучить турниры, чтобы понять, не могу ли я их как-нибудь усовершенствовать. Я забыл сообщить, что первое мое государственное мероприятие, проведенное мною в первый день моего вступления в должность, заключалось в том, что я основал бюро патентов, ибо я знал, что страна без бюро патентов и без твердых законов, защищающих права изобретателей, подобна раку, который может двигаться только вбок или назад.

Турниры устраивались почти каждую неделю, и время от времени наши молодцы. — я имею в виду сэра Ханселота и остальных, — уговаривали меня принять в них участие. Я обещал, но все откладывал, говорил, что спешить некуда и что сейчас я очень занят смазыванием государственной машины, которую необходимо поскорей наладить и пустить в ход.

Как-то раз у нас устроили турнир, который продолжался день за днем больше недели и в котором приняли участие пятьсот рыцарей, начиная с самых знаменитых и кончая всякой мелкотой. Они прибывали в течение нескольких недель. Они приезжали верхом отовсюду: из самых дальних уголков страны и даже из-за моря; многие привозили с собой дам, и все привозили оруженосцев и целые армии слуг. Разнузданная веселость, простодушная непристойность речей и счастливое безразличие ко всякой нравственности этого пышного и чванливого сборища разряженных людей были очень характерны для той страны и той эпохи. Каждый день они либо дрались, либо смотрели на драки; и каждую ночь они пели, играли, плясали и пьянствовали. Все это считалось у них благороднейшим времяпрепровождением. Никогда мне не приходилось встречать таких странных людей. На скамьях восседали прекрасные дамы, сияя варварским великолепием одежд, и смотрели, как сбрасывают с коня рыцаря, проколов его насквозь копьем толщиною в ло-

дыжку, как из него хлещет кровь, и не только не падали в обморок, а хлопали в ладоши и лезли друг на дружку, чтобы лучше видеть; лишь по временам какая-нибудь из них прикрывала лицо платком всем напоказ и принимала опечаленный вид, — тогда вы могли поставить два против одного, что тут не без любовной истории и она боится, как бы публика не оставила этого без внимания.

Я терпеть не могу, когда шумят по ночам, но при данных обстоятельствах я был даже рад ночному шуму, потому что он заглушал визг пил, которыми шарлатаны лекаря отпиливали руки и ноги у изувеченных за день. Они затупили мою на редкость хорошую старую пилу и даже отломили ее рукоятку, но я оставил это без последствий. Однако я решил, что если хирурги возьмут у меня и топор, я попрошусь в другое столетие.

Я не только следил изо дня в день за этим турниром, но еще разыскал у себя в Департаменте общественной нравственности и земледелия попа потолковее и поручил ему составить отчет об этом турнире, ибо я собирался со временем, когда мне удастся несколько цивилизовать свой народ, основать газету. Попад в новую страну, вы прежде всего должны основать бюро патентов, затем создать школьную сеть, а вслед за этим открывайте газету. У газеты есть свои недостатки, и их немало, но тем не менее она способна поднять из гроба мертвую нацию, и никогда не следует забывать об этом. Без газеты вам мертвой нации не воскресить: иного средства нет. И вот я хотел сделать опыт и посмотреть, какого сорта репортерские заметки я смогу получить в шестом веке, если они мне понадобятся.

Что ж, мой поп работал, в сущности, недурно. Все, что он описывал, он описывал очень подробно, а для отдела местной хроники только это и нужно. Он, видите ли, когда был помоложе, вел похоронные записи в своей церкви, а в похоронном деле от подробностей главный доход — чем больше подробностей, тем больше денег; носильщики, факельщики, свечи, молитвы — все вписывается в счет; если родственники покойного за-

казывают мало молитв, вам стоит только удвоить число свечей, и снова ваш счет в порядке. Кроме того, он умел то тут, то там вставить лестное замечание о рыцаре, который мог бы дать выгодное объявление... нет, я хочу сказать: который имел влияние при дворе; да и вообще он обладал даром преувеличения, так как одно время служил привратником у благочестивого отшельника, жившего в хлеву и творившего чудеса.

Разумеется, в отчете этого новичка недоставало треска, шума, устрашающих слов — следовало бы подбавить звона, но зато его старинный слог был причудлив, мил, простодушен, полон благоухания своего времени, и эти достоинства до известной степени смягчали его крупные недостатки. Вот выдержка из этого отчета.

«...Тогда сэр Брайэн де-лез-Айлс и Груммор Грумморсум, придворные рыцари, съехались с сэром Эгловалом и сэром Тором, и сэр Тор сбросил сэра Груммора Грумморсума на землю. Тут выехали сэр Карадос из Печальной Башни и сэр Торквин, придворные рыцари, и съехались с сэром Персивалом де Галис и сэром Ламораком де Галис, двумя братьями; сэр Персивал бился с сэром Карадосом, и оба сломали свои копыя, а сэр Торквин бился с сэром Ламораком, и оба рухнули на землю вместе с конями, но им пришли на помощь и снова усадили их в седла. Сэр Арноль и сэр Гогер, придворные рыцари, съехались с сэром Брэндайлсом и сэром Кэем; эти четыре рыцаря бились яростно и вышибли копыя друг у друга из рук. Затем выехал сэр Пертолоп, придворный рыцарь, и с ним съехался сэр Лайонел; и сэр Пертолоп, зеленый рыцарь, сбросил с коня сэра Лайонела, брата сэра Ланселота. Благородные герольды объявили его победителем и восславили его имя. Затем сэр Блербарис преломил свое копые о сэра Гарета, но сам не выдержал силы своего удара и рухнул наземь. Увидев это, сэр Галиходин бросил вызов сэру Гарету, но сэр Гарет и его поверг наземь. Тогда сэр Галихад поднял копые, чтобы отомстить за своего брата, но сэр Гарет поверг и его, и сэра Дайнадэна, и его брата ля Кот-Мэл-Тэла, и сэра Саграмона Желанного, и сэра Додинаса Свирепого; он всех их поразил одним копыем. Глядя на сэра Гарета, король Эгвизэнс Ирландский не переставал дивиться: только что этот рыцарь был зеленым, а сейчас вдруг стал голубым. Перед каждым следующим поединком сэр Гарет одевался в другие цвета, и ни король, ни рыцари не могли сразу узнать его. И вот сэр Эгвизэнс, король Ирландии, съехался с сэром Гаретом, и сэр Гарет сбросил его с коня вместе с седлом. Тогда на бой выехал король Карадос Шотландский, и сэр Гарет поверг наземь и его самого и его коня. Так же он поступил и с королем Уриэнсом из Страны

Гор. Тогда выехал сэр Багдемагус, и сэр Гарет поверг наземь и его самого и его коня. Затем Мелиганус, сын Багдемагуса, отважно и рыцарственно сломал свое копьё о сэра Гарета. И тогда сэр Галахолт, благородный принц, громко возгласил: «Многоцветный рыцарь, ты сражаешься хорошо, но приготовься, ибо я собираюсь сразиться с тобой!» Услыхав это, сэр Гарет сменил свое копьё на более длинное, и они стали съезжаться, и принц направил на него копьё, но сэр Гарет с такой силой ударил его по левой стороне шлема, что он покачнулся и упал бы, если бы его не поддерживали служители. «Воистину, — сказал король Аргур, — этот рыцарь многих цветов — славный рыцарь». И король позвал к себе сэра Ланселота и попросил его сразиться с этим рыцарем. «Сэр, — сказал Ланселот, — мое сердце подсказывает мне, что сегодня я должен воздержаться от боя с этим рыцарем, ибо этот рыцарь сегодня довольно потрудился, а когда славный рыцарь совершил за один день столько подвигов, не подобает другому славному рыцарю отнимать у него заслуженную честь, особенно после стольких трудов, понесенных им, ибо, быть может, здесь, среди рыцарей, находится его соперник, и, быть может, дама, которую он любит, предпочитает этого соперника, и, быть может, он собрал последние силы, чтобы совершить эти великие подвиги; и вот почему, — продолжал сэр Ланселот, — я желаю, чтобы сегодня вся честь досталась ему, и я не стану лишать его чести, хотя и мог бы это сделать».

В этот день произошло пренеприятное событие, описание которого я, руководствуясь государственными соображениями, вычеркнул из отчета моего попа. Как вы безусловно заметили, в этом побоище больше всех сражался Гарри. Говоря: Гарри, я имею в виду сэра Гарета. Я называл его просто Гарри, и это, верно, наводит вас на мысль, что я к нему очень хорошо относился, — что ж, так оно и было. Впрочем, это ласковое уменьшительное прозвище я никогда не произносил в присутствии посторонних и тем более его самого; он был вельможа и ни за что не стерпел бы от меня подобной фамильярности. Итак, продолжаю. Я сидел в отдельной ложе, предоставленной мне как королевскому министру. Сэр Дайнадэн, ожидавший своей очереди выступать, зашел ко мне, присел и принялся болтать; он всегда льнул ко мне, так как я был человек новый, а ему нужен был новый рынок для сбыта своих острот, до того затасканных, что после них смеялся один рассказчик, а всех остальных тошнило. И все же я старался относиться к нему как можно лучше, — я

обращался с ним ласково только потому, что он никогда не рассказывал мне тот анекдот, который я в своей жизни слышал чаще всего и который я больше всего проклинал и ненавидел, несмотря на то, что анекдот этот, по несчастью, был ему известен. Анекдот этот приписывают каждому остряку, когда-либо стоявшему на американской земле — от Колумба до Артимеса Уорда. В нем говорится о лекторе-юмористе, который целый час угощал невежественных слушателей остроумнейшими шутками и не добился ни одного смешка, а когда он уже уходил, несколько седовласых простаков с благодарностью пожали ему руку, сказав, что никогда ничего смешнее они не слышали и что «в течение всего богослужения они с трудом удерживались от смеха». Никогда еще этот анекдот не был рассказан кстати, и тем не менее мне приходилось в моей жизни выслушивать его сотни, и тысячи, и миллионы, и миллиарды раз, и плакать, слушая, и проклипать все на свете. Теперь вам нетрудно понять, что почувствовал я, когда этот бронированный осел принялся рассказывать его мне в мрачных сумерках седой старины, на заре истории, когда даже Лактанция могли называть «недавно почившим Лактанцием», а до рождения крестоносцев оставалось целых пять столетий. Едва он кончил, вошел мальчишка звать его на турнир. С дьявольским смехом, грохоча и звякая, как корзина с железным ломом, он вышел из ложи, и я потерял сознание. Я очнулся через несколько минут и открыл глаза как раз в то мгновение, когда сэр Гарет нанес ему ужасающий удар; и я невольно произнес: «Господи, хоть бы его убили!» Но, к несчастью, прежде чем я успел договорить эти слова, сэр Гарет обрушился на сэра Саграмора Желанного и нанес ему такой удар, что тот рухнул с лошади; падая, сэр Саграмор услышал мое восклицание и принял его на свой счет.

А уж если эти люди заберут себе что-нибудь в голову, их не переубедишь. Я это знал и не пытался объясняться. Поправившись, сэр Саграмор заявил мне, что нам с ним нужно свести кое-какие счета, и назначил день — через три или четыре года, и место для

поединка — то самое ристалище, где ему была нанесена обида. Я сказал, что буду ждать его возвращения. Дело в том, что он отправлялся на поиски святого Грааля. Все наши ребята время от времени отправлялись к святому Граалю. Это путешествие занимало несколько лет. Уехав, они долго блуждали, плутая самым добросовестным образом, так как ни один из них не имел ни малейшего представления о том, где находился этот святой Грааль. Мне думается, они в глубине души и не надеялись найти его и, если бы наткнулись на него случайно, не знали бы, что с ним делать. Видите ли, это было нечто вроде наших поисков Северо-Западного прохода, только и всего. Каждый год отправлялись экспедиции святограальщиков, а в следующий год отправлялись новые экспедиции на поиски прошлыходних. В этих походах можно было заработать славу, но не деньги. А они еще и меня тащили с собой! Я только посмеивался.

Глава X

ПЕРВЫЕ РОСТКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

За Круглым Столом скоро прослышали об этом вызове на поединок. Пошли всякие толки и пересуды, так как наши ребята чрезвычайно интересовались такими вещами. Король считал, что мне теперь следует отправиться на поиски приключений, чтобы стяжать себе славу и через несколько лет стать достойным встречи с сэром Саграмором. Я извинился и заявил, что мне потребуется еще три-четыре года, чтобы все наладить и пустить в ход, и тогда я готов отправиться куда угодно; вероятнее всего, сэр Саграмор к тому сроку все еще будет граалить, и я вполне успею стяжать себе славу, не теряя драгоценного времени; с начала моего вступления в должность пройдет уже шесть-семь лет, и государственная машина, я убежден, будет уже настолько налажена, что мне удастся взять отпуск без всякого вреда для дела.

Я был вполне удовлетворен всем тем, что мне уже удалось совершить. В разных тихих уголках страны я исподволь успел насадить ростки различных отраслей промышленности — зародыши будущих огромных заводов, железных и стальных миссионеров моей грядущей цивилизации. Там я собирал способнейших молодых людей, и агенты мои рыскали по всей стране, подыскивая все новых и новых. Я превратил множество невежд в специалистов, в знатоков разных ремесел и наук. В этих моих питомниках, спрятанных в глухих уголках страны, обучение шло спокойно и гладко, и никто нам не мешал, так как никто не мог проникнуть туда без разрешения, — я опасался больше всего церкви.

Я прежде всего основал учительский институт и множество воскресных школ. В результате в этих потайных местах выросла превосходная единая система народного образования, а также целая сеть протестантских конгрегаций, процветавших и разраставшихся. Каждому предоставлялось выбрать себе любую христианскую секту: в религиозных вопросах я поддерживал полнейшую свободу. Однако я ограничил преподавание закона божия церквами и воскресными школами, в другие же мои учебные заведения религии не допускал. Я, конечно, мог бы предоставить привилегии моей собственной секте и всех без труда обратить в пресвитерианство, но это значило бы совершить насилие над человеческой природой; духовные запросы и влечения людей не менее разнообразны, чем их телесные потребности, чем цвет их кожи, чем черты их лица, и человек нравственно чувствует себя только тогда хорошо, когда он облачен в одежду той религии, которая по цвету, фасону и разуму лучше всего соответствует его духовному складу; кроме того, я боялся создания единой церкви: такая церковь — власть могущественная, могущественнее всякой другой; обычно церковную власть прибирают к рукам корыстные люди, и она постепенно убивает человеческую свободу и парализует человеческую мысль.

Все рудники считались собственностью короля, и было их множество. Разрабатывались они до меня

по-дикарски: в земле рыли ямы и выносили оттуда руду в мешках из шкур, по тонне в день; но я постарался как можно скорее поставить разработку рудников на научную основу.

Да, многого успел я добиться к тому времени, когда на меня обрушился вызов сэра Саграмора.

Прошло всего четыре года — а сколько сделано! Вы и представить себе не можете. Неограниченная власть — превосходная штука, когда она находится в надежных руках. Небесное самодержавие — самый лучший образ правления. Земное самодержавие тоже было бы самым лучшим образом правления, если бы самодержец был лучшим человеком на земле и если бы его жизнь продолжалась вечно. Но так как даже совершеннейший человек на земле должен умереть и оставить свою власть далеко не столь совершенному преемнику, земное самодержавие не только плохой образ правления, но даже самый худший из всех возможных.

Своими трудами я показал, чего может добиться самодержец, распоряжаясь всеми богатствами королевства. Темная страна и не подозревала, что я насадил цивилизацию девятнадцатого века под самым ее носом! Цивилизация эта была скрыта от взоров толпы, но она существовала — факт огромный и неопровержимый, — и о ней еще услышат, если только я не умру и счастье не отвернется от меня. Она существовала столь же несомненно и столь же скрыто, как существует рвущееся наружу адское пламя в недрах потухшего вулкана, невинно возносящего свою бездымную вершину в голубое небо. Мои школы и церкви четыре года назад находились еще в младенчестве; теперь они стали взрослыми; мои мастерские превратились в обширные фабрики; на месте каждой дюжины обученных рабочих теперь работала тысяча; на месте одного отличного специалиста теперь я имел пятьдесят. Я, так сказать, держал руку на выключателе, готовый в любое мгновение залить ночной мир потоками света. Впрочем, я не собирался включать свет внезапно. Внезапность — не моя политика. Народ не вынес бы внезапности; к тому же на меня тот-

час насела бы господствующая римско-католическая церковь.

Нет, я действовал осторожно. Я рассылал по всей стране доверенных агентов, которым поручено было незаметно подкапываться под рыцарство и расшатывать понемногу то одно, то другое суеверие, тем самым подготавливая постепенно страну к лучшему строю. Я, так сказать, включал свой свет сначала только яркостью в одну свечу и намеревался постепенно усиливать его.

Школы специального назначения я тайно разбросал по всему королевству, и они превосходно работали. Я собирался развивать это дело все шире и шире, если никто меня не спугнет. Наибольшей тайной окружил я свой Вест-Пойнт — свою Военную академию. Я ревниво оберегал ее от посторонних взоров; не менее ревниво оберегал я свою Морскую академию, основанную мною в отдаленном морском порту. Обе академии процветали, к полному моему удовлетворению.

Кларенсу исполнилось уже двадцать два года, и он стал главным исполнителем моих предначертаний, моей правой рукой. Он был чудесный малый: все ему удавалось, он был мастер на все руки. За последнее время я обучил его журналистике, так как мне казалось, что пора уже приниматься за газетное дело. Я собирался начать не с большой газеты, а с маленького еженедельного листка, который хотел пустить в обращение в виде пробы в моих питомниках цивилизации. Кларенс чувствовал себя в этом деле как рыба в воде: в нем безусловно сидел настоящий газетчик. Он как бы раздвоился — говорил на языке шестого века, а писал на языке девятнадцатого. Его журналистский слог упорно мужал и развивался. Он уже достиг уровня газет, выходящих в захолустных городишках Алабамы, и его передовицы не уступали тамошним ни по содержанию, ни по стилю.

У нас на руках было еще одно большое дело: телеграф и телефон. И в этой области были уже некоторые достижения. Первыми нашими линиями пользовались только мы сами и до поры до времени держали их в тайне. Проводила их особая партия рабочих,

работавших главным образом по ночам. Провода прокладывали под землей: столбов мы не ставили, опасаясь привлечь лишнее внимание. Подземные провода были незаметны и отлично работали, так как их покрывали изоляцией моего собственного изобретения, оказавшейся превосходной. Моим рабочим было приказано прокладывать провода напрямик, избегая дорог, устанавливая связь между всеми значительными городами, находя их по огням, и всюду оставлять специалистов для надзора за линиями. Во всем королевстве никто не мог вам объяснить, как попасть в то или иное место, так как никто никуда с заранее обдуманым намерением не ездил, но лишь случайно забредал во время своих скитаний в какой-нибудь город или селение, причем ему и в голову не приходило спросить, куда именно он попал. Несколько раз мы рассылали топографические экспедиции, чтобы составить карту королевства, но тут постоянно вмешивались попы и чинили препятствия. И мы решили пока это оставить; было бы глупо восстанавливать против себя церковь.

Страна в общем оставалась в том же положении, в каком я застал ее. Кое-что я изменил, но перемены, по необходимости, были незначительны и малозаметны. Я пока не коснулся даже налогов, кроме тех, которые поступали непосредственно в казну короля. Я привел эти налоги в порядок и построил их на деловой и справедливой основе. В результате доходы почти учетверились, но так как тяжесть налогов была распределена теперь более равномерно, все королевство вздохнуло с облегчением, и повсюду мое управление восхвалялось от всего сердца.

Теперь я уже и сам решил взять отпуск, так как более удобное время выбрать было трудно. Раньше я не мог уехать потому, что слишком тревожился бы в пути о состоянии своих дел, но теперь все находилось в надежных руках и шло как по маслу. Король уже много раз напоминал мне, что четырехлетняя отсрочка, которую я себе выпросил, истекает. Это был намек, что я должен отправиться на поиски приключений и добыть себе славу, чтобы стать достойным скрестить

оружие с сэром Саграмором; хотя он все еще граалил, но за ним уже было послано несколько спасательных экспедиций, и его вот-вот могли найти. Как видите, я вполне подготовился к тому, чтобы уйти в отпуск, и не дал застать себя врасплох.

Глава XI

ЯНКИ В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Никогда ни в одной стране на свете не было такого множества бродячих лгунов: тут лгали все, и мужчины и женщины. По крайней мере раз в месяц к нам являлся какой-нибудь бродяга с басней о принцессе или знатной даме, заточенной бесстыжим негодяем, обыкновенно великаном, в отдаленный замок и ждущей освободителя. Вы, конечно, думаете, что король, выслушав такую сказку из уст совершенно незнакомого человека, требовал от рассказчика удостоверения личности, а также хоть каких-нибудь указаний, где расположен этот замок и как до него добраться. Нет, такие простые и здравые вещи никому не приходили в голову. Тут проглатывали любую небылицу, не задавая никаких вопросов. И вот однажды, когда я куда-то отлучился, явилась одна из таких особ — на этот раз женщина — и рассказала обычную сказку. Ее госпожа заточена в огромном и мрачном замке вместе с сорока четырьмя другими юными и прекрасными девами, большинство из которых — принцессы; уже двадцать шесть лет они томятся в жестокой неволе; замок принадлежит трем братьям-великанам, у каждого из которых четыре руки и один глаз посередине лба, огромный, как плод; какой именно плод, она не сказала, — обычное пренебрежение к точности.

Поверите ли? Король и все рыцари Круглого Стола пришли в восхищение от этого нелепого предложения отправиться на поиски приключений. Все рыцари ухватились за эту возможность, и каждый стал просить, чтобы отправили именно его, но, к их возмущению и

горю, король остановил свой выбор на мне, хотя я все и не добивался этой чести.

Не без труда сдержал я свои чувства, когда Кларенс сообщил мне об этом решении. Но он... он своих чувств сдержать не мог. Он был в восторге от моей удачи и полон благодарности к королю за то, что король так великолепно выказал свое благоволение ко мне. Ноги у него так и ходили, он не мог устоять на месте и в упоении от счастья, приплясывая, летал по всей комнате.

Я, конечно, проклял это королевское благоволение, но из дипломатических соображений скрыл свой гнев и старался казаться довольным. Да, я сказал, что я доволен. Я был доволен, как человек, с которого сняли скальп.

Ну что ж, любое положение надо стараться улучшить и, не тратя времени на бесполезную досаду, посмотреть, вникнув в дело, что из него можно извлечь. В любой лжи есть крупица правды; эту крупицу я должен найти. Я послал за девушкой, она явилась. Она оказалась приятной на вид, милой и скромной, но точность ее показаний можно было сравнить только с точностью дамских часов.

Я сказал:

— Вас, милая, моя, расспрашивали о подробностях?

Она ответила, что не расспрашивали.

— Я в этом не сомневался. Я хочу задать вам несколько вопросов, чтобы проверить вас; так уж я приучен. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, что я вас немного задержу, — это необходимо, потому что мы ведь не знаем вас. Весьма возможно, что вы говорите правду, я охотно это допускаю, но в делах ничего нельзя принимать на веру. Вы должны сами с этим согласиться. Я вынужден задать вам несколько вопросов; отвечайте прямо и ничего не бойтесь. Где вы жили до того, как попали в плен к великанам?

— В стране Модер, благородный сэр.

— В стране Модер? Никогда не слышал я о такой стране. Ваши родители живы?

— Не знаю, живы ли они еще, — я ведь столько лет была заточена в замке.

— А как вас зовут?

— С вашего разрешения, меня зовут Алисандой ля Картелуаз.

— Может ли здесь кто-нибудь удостоверить вашу личность?

— Вряд ли, благородный лорд, ибо я никогда прежде здесь не бывала.

— Нет ли у вас каких-нибудь писем, каких-нибудь документов, каких-нибудь доказательств, что вы заслуживаете доверия?

— Конечно нет; у меня есть язык, и я могу сама все о себе рассказать.

— Но одно дело, когда вы сами о себе говорите, и другое дело, когда кто-нибудь другой о вас говорит.

— В чем же разница? Боюсь, я не понимаю вас.

— Не понимаете? Проклятая страна... Видите ли... ну, видите ли... Черт побери, неужели вы не можете понять такой простой вещи? Неужели вы не можете понять разницу между... Почему у вас такой невинно-идиотский вид?

— У меня? Не знаю. На то воля божья.

— Да, да, вы правы, на то божья воля. Вам, верно, кажется, что я немного сержусь, но не обижайтесь, я совсем не сержусь. Поговорим о другом. Итак, этот замок трех людоедов, в котором заключены сорок пять принцесс... Где он находится, этот гарем?

— Гарем?

— Ну замок, ведь вы же меня понимаете; где находится этот замок?

— Ах, вот что. Этот замок огромен, неприступен, красив и стоит в отдаленной стране. До него отсюда много лиг.

— Сколько же именно?

— Ах, благородный сэр, очень трудно сказать, сколько их, потому что их так много, и потому, что они налезают одна на другую, и еще потому, что они одного вида и одного цвета и невозможно отличить одну лигу от другой; да и кто ж их сочтет, когда

считать пришлось бы каждую отдельно, а такая работа по силам только богу, но не человеку, ибо, как вы сами поймете...

— Довольно, довольно, бог с ним, с расстоянием! В какой стороне находится замок? В каком направлении отсюда?

— Ах, прошу прощения, сэр, он не находится ни в каком направлении, ибо дорога к нему идет не прямо, а все время заворачивает, поэтому направление дороги понять нельзя; она идет то под одним небом, то под другим; вы думаете, что движетесь на восток, и вдруг замечаете, что, описав полукруг, оказались на западе; это чудо повторяется опять и опять, и снова, и много раз, и наконец вы начинаете понимать тщету человеческого разума, возмнившего пойти наперекор воле того, кто, если захочет, укажет вам, в каком направлении находится замок, а не захочет, так уничтожит все замки и все направления на земле и оставит одно пустое место, чтобы доказать своим тварям, что когда он хочет — он хочет, а когда не хочет — он...

— Все это верно, верно, но дайте мне передохнуть. Не нужно направления, черт с ним, с направлением! Простите, ради бога, простите, я сегодня не совсем здоров. Не обращайтесь внимания, когда я говорю сам с собой, это просто старая привычка, скверная старая привычка, и трудно от нее избавиться человеку, расстроившему себе здоровье пищей, приготовленной бог знает за сколько лет до того, как он родился. Не мудрено испортить себе желудок, если ешь цыплят, которым тринадцать столетий от роду. Но продолжайте... не обращайтесь на меня внимания, продолжайте... Нет ли у вас карты этого района? Хорошая карта...

— Вы, должно быть, говорите про ту штуку, которую неверные недавно привезли из-за больших морей и которую нужно варить в масле с луком и солью, и...

— Варить карту? О чем вы говорите? Вы знаете, что такое карта? Ну, ну, не важно, я не стану объяснять, я терпеть не могу объяснений: они только все запутывают, и потом ничего не поймешь. Ступайте, дорогая, до свиданья. Проводи ее, Кларенс!

Ну, теперь мне было ясно, почему эти ослы не требуют от лгунов никаких подробностей. Быть может, эта девчонка и знала какие-нибудь подлинные факты, но извлечь их из нее нельзя было даже насосом, даже порохом, а разве только динамитом. Она была настоящая дура, а король и его рыцари внимали ей, словно она была страницей из священного писания. Как это для них характерно! И подумайте, какая простота придворных нравов: эта бродяжка вошла к королю во дворец с такой же легкостью, с какою в моей стране и в мое время она могла бы войти в ночлежный дом. И король был рад принять ее, рад выслушать ее болтовню; она со своим рассказом о нелепых похождениях была для него такой же радостной находкой, как труп для следователя.

Едва я кончил размышлять, вернулся Кларенс. Я сказал ему, что от этой девушки мне ничего не удалось добиться; она не дала мне ни одного указания, которое могло бы облегчить мне поиски замка. Юноша, по-видимому, был несколько озадачен и признался, что он все время дивился про себя, зачем я ее расспрашивал.

— Черт возьми, — сказал я, — мне ведь нужно отыскать замок! А как же иначе мне до него добраться?

— Ну, ваша милость, на этот вопрос ответить нетрудно. Она поедет с вами. Так всегда делается. Она поедет с вами.

— Поедет со мной? Вздор!

— Конечно поедет. Она поедет с вами. Вот увидите.

— Что? Она будет рыскать со мной по горам и лесам, наедине, хотя я почти помолвлен с другой? Да ведь это неприлично! Подумай, что скажут люди!

Ах, какое милое личико возникло перед моими глазами! А Кларенс стал пылко расспрашивать меня о моих сердечных делах. Я взял с него клятву, что он будет молчать, и прошептал ее имя: «Пусс Фланган». Он был разочарован и сказал, что не помнит такой графини. Для него, молодого придворного, было

так естественно тотчас же наградить ее титулом. Он спросил меня, где она живет.

— В восточной части Хар... — начал я и осекся, смущенный; затем сказал: — Сейчас не стоит говорить об этом. Когда-нибудь я тебе расскажу.

А может он ее повидать? Позволю я ему когда-нибудь посмотреть на нее?

Мне было нетрудно дать ему обещание: тринадцать столетий — такие пустяки; и я сказал: «да». Но я вздохнул при этом, я не мог удержать вздоха. То был бессмысленный вздох, — ведь она еще не родилась. Но так уж мы устроены... в наплыве чувств мы не рассуждаем, мы просто чувствуем.

Весь день и всю ночь только и было разговору, что о моем предстоящем отъезде, и все наши ребята наперебой старались услужить мне и всячески за мной ухаживали, позабыв свою досаду, и так волновались, удастся ли мне одолеть тех людоедов и освободить тех перезрелых девиц, словно им самим предстояло выполнить этот подвиг. Славные это были дети — но всего только дети. Они без конца давали мне советы, как выследить великанов и как напасть на них, и учили меня заклинаниям, уничтожающим чары, и давали мне всякие зелья и прочую дрянь для прикладывания к ранам. И ни одному из них не приходило в голову, что, если я действительно такой удивительный чародей, каким я им казался, мне не нужны ни зелья, ни советы, ни заклинания от чар, ни тем более оружие и латы, — даже если бы мне предстояло сразиться с огнедышащими драконами или дьяволами ада, а не только с какими-то заурыдными людоедами из захолустья.

Мне надо было рано позавтракать и выехать на рассвете — таков обычай, но я дьявольски долго провозился с моими латами, и это несколько меня задержало. В них очень трудно влезать и очень трудно запомнить все мелочи. Прежде всего необходимо все тело обернуть одеялом и создать нечто вроде прокладки, предохраняющей от холодного железа, потом надеть на себя кольчугу — нечто вроде рубашки с рукавами, сделанной из переплетенных мелких стальных колец, —

такую гибкую, что если вы бросите ее на пол, она упадет кучкой, подобно большой намокшей рыболовной сети; она очень тяжела, и вообще для ночной рубашки более неудобного материала не придумаешь; однако ею пользуются очень многие — сборщики налогов, реформаторы, короли, у которых нет ничего, кроме одного коня да сомнительного титула, и тому подобная публика. Потом нужно натянуть сапоги с прокладкой из стальных полос и нацепить неуклюжие шпоры. Затем нужно надеть на голени ножные латы, а на бедра набедренники; затем наступает очередь грудных лат и спинных, и вы начинаете чувствовать, что на вас надето слишком много. Затем к грудным латам нужно прикрепить короткую юбку из широких стальных полос, которая спереди закрывает верхнюю часть ног, а сзади имеет широкий вырез, чтобы можно было сесть, — эта юбка похожа на перевернутый угольный ящик и так же мало годна для того, чтобы надевать ее на себя, как и для того, чтобы вытирать об нее руки; затем нужно опоясаться мечом; на руки нужно надеть печные трубы, называемые нарукавниками, и прикрепить к ним железные рукавицы, а на голову — железную мышеловку со стальной сеткой сзади, прикрывающей затылок, — и вот наконец вы запакованы, как свеча, лежащая в форме. В таком наряде не потанцуешь. Человек, этак упакованный, похож на орех, который не стоит раскусывать, — так ничтожно его ядро по сравнению с его скорлупой.

Ребята помогли мне одеться, — без их помощи я не оделся бы никогда. Едва меня одели, вошел сэр Бедивер, и, взглянув на него, я понял, что выбрал далеко не самый удобный наряд для долгого путешествия. Сэр Бедивер был величав в своем наряде: и высок, и широк, и статен. На голове у него была коническая стальная каска, опускавшаяся только до ушей, а на лице вместо забрала — узкая стальная полоса, доходившая лишь до верхней губы и предохранявшая его нос; все его тело от шеи до пят было покрыто гибкой кольчужой, состоявшей из рубахи и штанов. Поверх всего этого он носил плащ, тоже из кольчуги, свисавший с плеч до лодыжек; от середины до самого низа плащ

этот был и спереди и сзади раздвоен, — когда сэр Бедивер сидел верхом, полы плаща прикрывали бока коня. Он отправлялся граалить, и его одежда была отлично приспособлена для путешествия. Я много бы дал за такую куртку, как у него, но уже нельзя было терять времени. Взошло солнце, и король вместе со всем своим двором ждал меня, чтобы пожелать мне удачи; если бы я опоздал, я нарушил бы этикет. Вам самому ни за что не влезть на коня; если вы попытаетесь, вас ждет разочарование. Вас волокут на двор, как волокут в аптеку человека, пораженного солнечным ударом; вас втаскивают на коня, вас усаживают, суют ваши ноги в стремяна, а вы в это время кажетесь себе нестерпимо громоздким — каким-то другим человеком, который или только что нечаянно женился, или ослеплен молнией и до сих пор глух, нем и не может прийти в себя. Затем в подставку возле моей левой ноги вставили мачту, которую называют копьём, и я ухватился за нее рукой; наконец на шею мне повесили щит; и вот — я готов, могу поднять якорь и выйти в море. Все были безмерно благожелательны ко мне, а одна фрейлина даже собственноручно поднесла мне прощальный кубок. Теперь оставалось только посадить на круп коня ту девицу; усевшись, она обхватила меня руками, чтобы не упасть.

И мы двинулись в путь. Все желали нам удачи, махали нам платками и шлемами. А когда мы спускались с холма и проезжали через деревню, все встречные почтительно кланялись, кроме оборванных мальчишек из предместья. Мальчишки кричали:

— Чучело! Чучело! — и швыряли в нас комьями земли.

Я по опыту знаю, что мальчишки во все века одинаковы. Они ничего не уважают, никем и ничем не дорожат. Они кричали: «Проваливай, плешивый!» — про року, который, в глубокой древности, никого не трогая, шел своей дорогой; они дразнили меня в священном сумраке средневековья; так же они поступали и во время президентства Бьюкенена; это я хорошо помню, потому что сам был тогда мальчишкой и хулиганил

вместе с ними. У пророка были медведи, и они разделились с тогдашними мальчишками; я хотел слезть с коня и разделаться с теперешними, но это было неисполнимо, потому что я не мог бы влезть обратно. Паршивая страна, где нет подъемных кранов!

Глава XII

МЕДЛЕННАЯ ПЫТКА

Мы сразу выехали за город. Как хороши, как прекрасны были эти безлюдные леса прохладным утром ранней осени! С вершин холмов видели мы внизу под собой очаровательные зеленые долины, по которым, извиваясь, текли ручьи, видели раскиданные там и здесь кущи дерев, видели одинокие огромные дубы и вокруг них темные пятна густой тени; за долинами мы видели волнистые гряды холмов, окутанных голубоватой дымкой и тянувшихся до самого горизонта; на их вершинах, далеко друг от друга, иногда замечали мы то белое, то серое пятнышко и знали: там замок. Мы пересекали широкие луга, сверкавшие росой, мы двигались неслышно, словно духи, — почва была так мягка, что мой конь ступал беззвучно; как во сне ехали мы по лесным тропинкам, озаренным зеленоватым светом, проникавшим сквозь пронизанную солнцем лиственную кровлю над нашими головами, а у копыт моего коня бежали, журча по камешкам, ручейки, прозрачайшие, прохладнейшие, и шепот их ласкал слух, словно музыка; по временам мы, оставив простор полей, углублялись в торжественную чащу, и нас окружал лесной сумрак, где шныряли, шурша, какие-то загадочные дикие зверьки, убегавшие так быстро, что мы не успевали даже уловить, откуда донесся шорох, где проснулись только самые ранние из птиц и сразу принялись за песни и ссоры, где слышно таинственное гуденье и жужжанье насекомых, облепивших какой-нибудь древесный ствол в непроходимой лесной глуши. Затем мало-помалу мы снова выбирались на солнечный свет.

Выбираться на солнечный свет из чащи в четвертый, в пятый раз, часа через два после восхода солнца было уже не так приятно, как вначале. Становилось жарко. Солнце заметно припекало. А тут, как назло, нам пришлось долго ехать по открытой местности без всякой тени. Любопытно наблюдать, как маленькие неудобства, возникнув, постепенно превращаются в большие и умножаются. Начинаешь замечать то, на что прежде не обращал внимания, и чем дальше — тем больше. В первые десять — пятнадцать раз, когда мне понадобился носовой платок, я не обратил на это внимания; я говорил себе: обойдусь, ехал дальше и тотчас же забывал о нем. Но теперь другое дело: теперь он все время был мне нужен, мысль о платке меня долбила, долбила, долбила без конца, я никак не мог о нем позабыть и наконец вышел из себя и проклял человека, который, изготовляя латы, не приделал к ним карманов. Видите ли, мой носовой платок лежал в шлеме вместе с некоторыми другими мелочами, а шлем у меня был такой, что его нельзя было снять без посторонней помощи. Когда я клал туда платок, мне не пришло это в голову, — по правде говоря, я даже не знал этого. Я думал, что как раз удобнее всего положить его именно туда. И теперь меня особенно раздражала мысль, что платок тут, рядом, под руками, а достать его нельзя. Да, нам всегда хочется именно того, чего достать нельзя, — это замечал каждый. Я ни о чем другом не мог думать; я думал только о своем шлеме; я проезжал милю за милей, воображая себе носовой платок, рисуя себе носовой платок; соленый пот со лба затекал мне в глаза, а я не мог вытереть его, и как это было обидно! Читать об этом легко, а вот попробуйте вытерпеть такую муку на самом деле. Если бы мука была не настоящая, я не стал бы о ней и поминать. Я дал себе слово, что в следующий раз захвачу с собой в дорогу дамскую сумочку, и пусть обо мне говорят и думают что хотят. Конечно, железные болваны Круглого Стола найдут это непристойным и поднимут меня на смех, но мне все равно, для меня всегда удобство важнее внешнего вида. Так мы тряслись, подвигаясь вперед и взды-

мая облака пыли, которая залезала в нос, заставляя меня чихать и плакать; и, конечно, я произносил слова, которые не следует произносить, — я этого не отрицаю: я ведь не лучше других.

Казалось, в этой пустынной Британии никого невозможно встретить, даже людоеда, а в том состоянии духа, в каком я находился, я был бы рад даже людоеду, — конечно, людоеду с носовым платком. Другие рыцари, встретясь с людоедом, думали бы лишь о том, как бы завладеть его оружием; я же стремился завладеть только его тряпицей для сморкания, а весь его железный лом с удовольствием оставил бы ему.

Тем временем становилось все жарче и жарче. Солнце, видите ли, поднималось все выше и все сильнее и сильнее нагревало на мне железо. Если вам жарко, вам досаждают всякая мелочь. Когда я ехал рысью, я звякал, как корзина с посудой, и это меня раздражало; щит хлопал и шелкал меня то по груди, то по спине, и я выходил из себя; а когда я принимался ехать шагом, все суставы мои начинали скрипеть и визжать, как колесо тачки, да вдобавок пропал обвевавший меня ветерок, и я жарился, как в печи; к тому же чем медленнее вы едете, тем тяжелее кажется надетое на вас железо, — оно словно прибавляет в весе по несколько тонн ежеминутно. Вдобавок вам приходится беспрестанно менять руку, держащую копье, и переставлять его с одной ноги на другую, так как держать его все время одной рукой слишком утомительно.

Как вам известно, когда пот течет ручьями, все тело начинает, извините за выражение, свербеть и чесаться. Вы внутри, а ваши руки снаружи; между руками и телом — железо. Нелегкое положение, что там ни говори. Сначала зачесется в одном месте, потом в другом, потом в третьем; зуд распространяется во все стороны и наконец оккупирует всю территорию, и невозможно себе даже представить, до чего это неприятно. И когда стало уже так плохо, что я едва терпел, под забрало залезла муха и уселась у меня на носу; а забрало мое поднималось туго, и поднять его я не умел; я только тряс головой, и муха, — вам, конечно, известно, как ведет себя муха, уверенная в своей безо-

пасности, — муха перелетела с носа на губу, с губы на ухо и жужжала, жужжала и так кусалась, что я, и без того измученный, окончательно потерял терпение. Не выдержав, я велел Алисанде снять с меня шлем и освободить от мухи. Девушка вынула из шлема все, что в нем было, зачерпнула им воды и дала мне пить, а когда я напился, она выплеснула оставшуюся воду мне под кольчугу. Трудно себе представить, как это меня освежило! Она таскала воду и лила мне за шиворот до тех пор, пока я, промокнув насквозь, не почувствовал себя вполне хорошо.

Как приятен покой и отдых! Но полного покоя, полного счастья в нашей жизни никогда не бывает. Незадолго до отъезда я сделал себе трубку и изготовил недурной табак, не настоящий табак, а вроде того, который курят индейцы: из высушенной ивовой коры. Трубка и табак лежали в шлеме; теперь я снова мог ими распоряжаться, но у меня не было спичек.

С течением времени выяснился еще один неприятный факт: мы находились в полной зависимости от случая. Закованный в латы новичок не может влезть на коня без посторонней помощи. Сил одной Сэнди было недостаточно, по крайней мере для меня. Приходилось ждать, не подойдет ли еще кто-нибудь. Я охотно согласился бы ждать в тишине, так как мне было над чем поразмыслить. Я хотел поразмыслить над тем, как могло случиться, что умные или хотя бы полоумные люди выучились носить это железное одеяние, несмотря на все его неудобства, и как им удалось придерживаться этой моды в течение многих поколений, несмотря на то, что муки, которые я испытал, им приходилось испытывать ежедневно всю жизнь. Мне хотелось над этим поразмыслить; мало того, мне хотелось поразмыслить над тем, как исправить это зло и заставить людей отказаться от столь глупой моды, — но размышлять не было никакой возможности: нельзя размышлять, если рядом с вами Сэнди.

Она была послушная девушка, с добрым сердцем, но болтала без устали, молола, словно мельница, пока у вас не начинала болеть голова, как от стука городских пролетов и телег. Она стала бы совсем милой

девушкой, если бы ей можно было заткнуть рот пробкой. Но таким рот никак не заткнешь, пробка для таких — смерть. Она трещала весь день, и под конец вы начинали опасаться, как бы в ней что-нибудь не испортилось, — но нет, такие никогда не портятся. И никогда ей не приходилось подыскивать слова. Она могла молоть, и гудеть, и трещать, и бубнить целыми неделями, и ее не нужно было ни смазывать, ни продувать. А в результате всей этой работы только ветер подымался. У нее не было никаких мыслей — один туман. Она была настоящая болтунья: болтала, болтала, болтала, молола, молола, молола, трещала, трещала, трещала; но в общем она могла быть и хуже. Утром я не обращал внимания на ее мельницу, так как у меня было достаточно других неприятностей, но после полудня я не раз ей говорил:

— Помолчи, дитя; если ты и дальше будешь так расходовать здешний воздух — королевству придется ввозить его из-за границы, а казна и без того пуста.

Глава XIII

СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ

Да, недолго, до странности недолго человек может чувствовать себя довольным. Еще совсем недавно, когда я ехал и мучился, каким раем показалось бы мне это спокойствие, это отдохновение, отрадное безмолвие этого уединенного тенистого уголка на берегу бурливого ручья, где время от времени я освежал себя, плеща воду под кольчугу. А я уже был недоволен: отчасти оттого, что я не мог разжечь свою трубку, — я давно уже построил спичечную фабрику, но захватить с собой спички забыл, — а отчасти оттого, что нам нечего было есть. Вот еще пример детской непредусмотрительности этого века и этого народа. Воин, отправляясь в поход, не брал с собой еды и полагался на случай; он возмущался бы, если бы ему посоветовали привесить к коню корзинку с бутербродами. Любой рыцарь Круглого

Стола предпочел бы умереть с голоду, чем показаться с такой штукой на древке своего копья. А казалось бы, что может быть благоразумнее? Я собирался сунуть пару бутербродов к себе в шлем, но меня на этом поймали; мне пришлось извиниться, бросить их, и они достались собаке.

Надвигалась ночь и с нею гроза. Быстро темнело. Нужно было готовиться к ночлегу. Я уложил девушку под одной скалой, а сам устроился поодаль, под другой. Но спать мне пришлось в доспехах, так как я не мог снять их сам и не мог позволить Алисанде помочь мне, — неловко раздеваться в присутствии посторонних. Под доспехами у меня, правда, была моя обычная одежда, но от предрассудков, привитых воспитанием, сразу не освободинься, и я знал, что, когда придется снимать мою короткую железную юбку, я буду очень смущен.

Гроза принесла с собой перемену погоды; чем сильнее дул ветер, чем яростнее хлестал дождь, тем становилось холоднее. Жуки, муравьи и червяки, не желавшие мокнуть, со всех сторон полезли ко мне под кольчугу, чтобы согреться. Некоторые из них вели себя хорошо и, забравшись в складки белья, лежали там спокойно, но беспокойных и непоседливых было больше, и они все время ползали то туда, то сюда, сами не зная зачем. В особенности докучали мне муравьи, устраивавшие на мне утомительные шествия из одного конца в другой и все время меня щекотавшие; не хотел бы я еще раз ночевать с муравьями. Людям, попавшим в мое положение, я могу посоветовать не кататься по земле, не колотить себя, так как это только привлекает внимание всяких живых тварей, находящихся поблизости; каждая из них захочет пойти посмотреть, что случилось, и положение ваше станет еще хуже, и ругаться вы будете еще неистовее, если только это возможно. Однако, если вы не будете кататься по земле, не будете колотить себя, вы умрете; следовательно, вы можете поступить, как вам угодно, — выбора, в сущности, нет. Даже промерзнув насквозь, я ощущал это щекотание и вздрагивал от него, как труп от электрического тока. Я дал слово, что, вернувшись из путешествия, я никогда больше не надену лат.

В течение всех этих мучительных часов, когда я одновременно мерз и горел на медленном огне от щекотки и зуда, один и тот же вопрос без конца вертелся в моей утомленной голове — вопрос, на который не было ответа: как люди могут носить эти злополучные доспехи? Как они терпят их в течение стольких поколений? Как могут они спать по ночам, не страшась пыток, предстоящих им на следующий день?

Когда наконец наступило утро, я был совсем плох: разбитый, вялый, кислый от желания спать, усталый от ночного избиения самого себя, ослабевший от голода, мечтающий умыться и истребить насекомых, скрюченный от ревматизма. А как себя чувствовала благороднорожденная, титулованная аристократка, девица Алисанда ля Картелуаз? О, она была свежа и прыгала, как белка! Ночь проспала она словно мертвая. Умываться она, — как и другие знатные люди страны, — не привыкла и потому ничего не потеряла, оставшись без умывания. С современной точки зрения, все тогдашние люди были, в сущности, дикари. Сопровождавшая меня благородная дама ни проявляла ни малейшего желания поскорей позавтракать, — и это тоже была в ней дикарская черта. Путешествуя, британцы тех времен привыкли к долгим постам и умели переносить их. Перед отъездом они наедались на несколько дней вперед, как делают индейцы и удавы. И можете быть уверены, Сэнди наелась по крайней мере на три дня.

Мы тронулись в путь перед восходом солнца; Сэнди ехала верхом, а я ковылял позади. Через полчаса мы наткнулись на нескольких жалких оборванцев, починявших то, что носило название дороги. Они встретили меня униженно, как животные; и когда я предложил им разделить со мною их завтрак, они были так ошеломлены моей снисходительностью, что даже не сразу поверили. Моя дама презрительно надула губы и отъехала в сторону; она громко заявила, что не собирается есть вместе со всякими скотами, причем эти ее слова несколько не обидели несчастных, а только испугали. А между тем то были не рабы, не крепостные. Как бы в насмешку, они назывались «свободными людьми».

К сословию «свободных людей» принадлежало семь десятых незакрепощенного населения страны: мелкие «независимые» фермеры, ремесленники и т. д.; иными словами, именно это и был народ, подлинная нация; это сословие включало в себя все то, что было в нации полезного и достойного уважения; исключите его из нации, и у вас останутся лишь подонки и отбросы, вроде короля, знати и дворянства, — ленивые, бесполезные, умеющие только разрушать и не представляющие никакой ценности для разумно устроенного общества. А между тем благодаря своим хитрым козням это позолоченное меньшинство, вместо того чтобы плестись в хвосте, где было его настоящее место, шествовало впереди с развевающимися знаменами; оно только себя считало нацией, и бесчисленные труженики терпели это безобразие до тех пор, пока сами в него не уверовали; они уверовали, что такое положение справедливо и что так и должно быть. Попы говорили их отцам и им самим, что это издевательство изобретено богом; и они, не подумав, что богу вряд ли свойственно развлекаться шутками, да еще такими жалкими и глупыми, верили попам и вели себя почтительно и смиренно.

Для того, кто еще недавно был американцем девятнадцатого века, странными казались речи этих покорных людей. Они считались свободными, но не могли уйти из поместья своего лорда или своего епископа без позволения; они не имели права сами молоть свое зерно и печь для себя хлеб, они обязаны были отвозить все свое зерно на мельницу лорда, всю свою муку в пекарню лорда и за все это хорошенько платить. Они не могли продать ни клочка своей земли, не уплатив лорду изрядного процента с вырученных денег, а покупая чужую землю, они платили лорду за позволение совершить покупку; они должны были даром убирать его хлеб и являться по первому его зову, бросая свой собственный урожай в добычу надвигающейся буре; они обязаны были разрешать ему сажать фруктовые деревья на их полях и сдерживать свой гнев, когда сборщики плодов по небрежности вытаптывали хлеб вокруг деревьев; они должны были подавлять свое негодова-

ние, когда лорд с гостями во время охоты скакал по их полям, уничтожая все, достигнутое терпеливым трудом; они не имели права держать голубей, если же стаи голубей из голубятни милорда слетались пожирать их урожай, они не смели, рассердясь, убить ни одной птицы, так как за это полагалась тяжкая кара; когда же наконец им удавалось собрать жатву, сразу налетала банда хищников, каждый за своею долей: сначала церковь взимала жирную десятину, затем королевский сборщик — двадцатую часть, затем люди милорда отрывали изрядный кусок от того, что оставалось; и только тогда ограбленный свободный человек мог отвезти свой урожай к себе в житницу, если только его еще стоило везти; а потом — налоги, налоги, налоги, и снова налоги, и налоги опять, налоги, которые должен платить только он, свободный и независимый нищий, но ни господин его — барон, ни епископ, ни расточительная знать, ни всепожирающая церковь; если барону не спалось, свободный человек после трудового дня должен был сидеть всю ночь напролет у пруда и стегать по воде прутом, чтобы лягушки не квакали; если дочь свободного человека... Впрочем, эта последняя низость монархического образа правления совсем непечатного свойства; и, наконец, если свободный человек, доведенный этими муками до отчаянья, хотел прекратить свою невыносимую жизнь и покончить с собой, ища прибежища и милосердия у смерти, кроткая церковь обрекала его на вечные муки ада, кроткий закон хоронил его в полночь на перекрестке дорог, вогнав ему кол в спину, а его господин — барон или епископ — забирал себе его имущество и выгонял его вдову с сиротами на улицу.

И вот эти свободные люди собрались здесь чуть свет, чтобы чинить дорогу господина своего, епископа, даром; каждый глава семьи и каждый сын его должны были работать три дня даром, а их батраки — на один день больше. Казалось, будто я читаю о Франции и о французах до их навеки памятной и благословенной революции, которая одной кровавой волной смыла тысячелетие подобных мерзостей и взыскала древний долг — полкапли крови за каждую бочку ее, выжатую

медленными пытками из народа в течение тысячелетия неправды, позора и мук, каких не сыскать и в аду. Нужно помнить и не забывать, что было два «царства террора»; во время одного — убийства совершались в горячке страстей, во время другого — хладнокровно и обдуманно; одно длилось несколько месяцев, другое — тысячу лет; одно стоило жизни десятку тысяч человек, другое — сотне миллионов. Но нас почему-то ужасает первый, наименьший, так сказать минутный террор; а между тем что такое ужас мгновенной смерти под топором по сравнению с медленным умиранием в течение всей жизни от голода, холода, оскорблений, жестокости и сердечной муки? Что такое мгновенная смерть от молнии по сравнению с медленной смертью на костре? Все жертвы того красного террора, по поводу которых нас так усердно учили проливать слезы и ужасаться, могли бы поместиться на одном городском кладбище; но вся Франция не могла бы вместить жертв того древнего и подлинного террора, несказанно более горького и страшного; однако никто никогда не учил нас понимать весь ужас его и трепетать от жалости к его жертвам.

Эти бедные мнимо свободные люди, разделившие со мной завтрак и беседу, столь смиренно чтили короля, церковь и знать, что худшего не мог бы пожелать им и их злейший враг. Мне было смешно и грустно смотреть на них. Я спросил их, могут ли они представить себе народ, который, обладая правом свободного выбора, выбрал бы в правители одну семью, с тем чтобы ее потомки во веки веков властвовали над ним, независимо от того, будут ли они даровитыми людьми или болванами, и с тем, чтобы никакая другая семья, в том числе и семья избирателя, никогда не могла бы уже достичь такого могущества; а также выбрал бы несколько сотен семейств с тем, чтобы вознести их на головокружительную высоту и украсить оскорбительными для других, передающимися по наследству почестями и привилегиями, и с тем, чтобы все остальные семьи в стране, в том числе и семья избирателя, этих почестей и привилегий были лишены?

Они выслушали меня равнодушно и ответили, что ничего этого не знают, что никогда об этом не думали и что они не могут себе вообразить страну, в которой народ имеет право высказывать свое мнение о делах государственных. Я ответил, что видел один такой народ и что он не потеряет своих прав до тех пор, пока не введет у себя единую господствующую церковь. Они опять выслушали меня равнодушно. Но вдруг один из них посмотрел мне в лицо и попросил повторить то, что я сказал, повторить медленно, чтобы он мог понять. Я повторил. Он скоро понял меня, стукнул кулаком и заявил, что, по его мнению, народ, имеющий право выбора, никогда добровольно не опустится в такую грязь и что ограбить народ, отняв у него право выбора, — тягчайшее из всех преступлений.

Я сказал себе:

— Вот это человек. Будь у меня побольше таких, я добился бы благоденствия этой страны и доказал бы свою верность ей, коренным образом изменив всю систему правления.

Видите ли, я понимаю верность как верность родине, а не ее учреждениям и правителям. Родина — это истинное, прочное, вечное; родину нужно беречь, надо любить ее, нужно быть ей верным; учреждения же — нечто внешнее, вроде одежды, а одежда может изнашиваться, порваться, сделаться неудобной, перестать защищать тело от зимы, болезней и смерти. Быть верным тряпкам, прославлять тряпки, преклоняться перед тряпками, умирать за тряпки — это глупая верность, животная верность, монархическая, монархиями изобретенная; пусть она и останется при монархиях. А я родом из Коннектикута, в конституции которого сказано, что «вся политическая власть принадлежит народу и все свободные правительства учреждаются для блага народа и держатся его авторитетом; и народ имеет неоспоримое и неотъемлемое право во всякое время изменять форму правления, как найдет нужным».

С этой точки зрения, гражданин, который видит, что политические одежды его страны изнашивались, и в то же время молчит, не агитирует за создание новых

одежд, не является верным родине гражданином, — он изменник. Его не может извинить даже то, что он, быть может, единственный во всей стране видит изношенность ее одежд. Его долг — агитировать, несмотря ни на что, а долг остальных — голосовать против него, если они с ним не согласны.

И вот я попал в страну, где право высказывать свой взгляд на управление государством принадлежало всего лишь шести человекам из каждой тысячи. Если бы остальные девятьсот девяносто четыре человека выразили свое недовольство образом правления и предложили изменить его, эти шесть «избранных» содрогнулись бы от возмущения — какая низость, какая бесчестность, какая черная измена! Иными словами, я был акционером компании, девятьсот девяносто четыре участника которой вкладывают все деньги и делают всю работу, а остальные шестеро, избрав себя несменяемыми членами правления, получают все дивиденды. Мне казалось, что девятьсот девяносто четыре, оставшиеся в дураках, должны перетасовать карты и снова сдать их. Меня подмывало сложить с себя высокий сан Хозяина, поднять восстание и превратить его в революцию, но я знал, что если какой-нибудь Джек Кэд или Уот Тайлер попытается начать революцию, не подготовив предварительно своих сподвижников, он непременно будет обречен на неудачу. А я не привык к неудачам. Поэтому «перетасовка карт», которую я задумал, была совсем не кэд-тайлеровского сорта.

И не о крови, не о восстании говорил я с тем человеком, который сидел против меня в толпе угнетенных и невежественных двуногих баранов, жуя черный хлеб, — нет, я отвел его в сторону и поговорил с ним совсем о другом. Когда я кончил, я попросил его одолжить мне немного чернил из его вен; этими чернилами я написал прутиком на куске коры:

«Отправь его на Фабрику Людей», — и отдал ему, сказав:

— Отнеси это во дворец в Камелоте и отдай в собственные руки Амиасу ле Пулету, которого я называю Кларенсом, и он все поймет.

— Значит, он поп, — сказал человек, и на лице его уже не было прежнего восторга.

— Как поп? Разве я не говорил тебе, что на мою Фабрику не пускают ни рабов церкви, ни прислужников ее — попов и епископов? Разве я не говорил тебе, что и ты сам можешь быть принят только при условии, что твоя религия, какова бы она ни была, останется твоим личным делом?

— Говорить-то говорили, и я был рад вас слушать, но теперь я начинаю сомневаться, мне не нравится, что там этот поп.

— Уверяю тебя, он вовсе не поп.

Но собеседник мой явно не верил мне. Он сказал:

— Как же не поп, если он умеет читать.

— Вот так: не поп, а умеет читать и даже писать. Я сам научил его. — Тут лицо моего собеседника прояснилось. — И тебя на Фабрике прежде всего научат читать...

— Меня? Да я готов отдать всю мою кровь, чтобы научиться этому искусству. Я стану вашим рабом, вашим...

— Нет, этого не нужно, ты не будешь ничьим рабом. Забирай свою семью и отправляйся в путь. Господин твой, епископ, захватит твое ничтожное имущество, но ты об этом не жалеешь — Кларене вознаградит тебя.

Глава XIV

«ЗАЩИЩАЙСЯ, ЛОРД!»

За свой завтрак я заплатил три пенни, и то была чрезвычайно щедрая плата, так как за эти деньги можно было накормить двенадцать человек; но к этому времени я отдохнул и прекрасно себя чувствовал, а кроме того, у меня издавна была склонность сорить деньгами; к тому же эти люди готовы были даром разделить со мной свои скудные запасы, и мне доставило удовольствие выразить свое благоволение и свою искреннюю благодарность щедрым денежным подар-

ком, — тем более что деньги эти, находясь у них, могли принести гораздо больше пользы, чем болтаясь в моем шлеме, ибо надо помнить, что пенни в те времена изготавливались из железа, и мелочь на полдоллара, которую я захватил с собой, были весьма тяжелой ношей. Признаться, в те дни я вообще был слишком расточителен; но отчасти это объяснялось тем, что, хотя я уже довольно долго жил в Британии, я все еще никак не мог приспособиться к положению вещей и не отдавал себе отчета, что на одно пенни в королевстве Артура можно купить примерно столько же, сколько на пару долларов в Коннектикуте, — совершенно одинаковая покупательная способность у этих денег. Если бы я выехал из Камелота на несколько дней позже, я мог бы заплатить этим людям красивыми новенькими монетами моей собственной чеканки, что было бы, конечно, гораздо приятнее и для меня, и для них. Я принял за основу американскую монетную систему. Через неделю или через две центы, десятицентовики, четверти долларов, полудоллары, а также золотые волютятся тонкими, но неиссякаемыми потоками во все торговые артерии королевства, и я уже заранее представлял себе, как эта новая кровь освежит всю жизнь.

Фермеры во что бы то ни стало хотели отплатить мне за мою щедрость; пришлось позволить им подарить мне кремень и огниво; и как только они усадили меня и Сэнди на коня, я закурил свою трубку. Едва первый клуб дыма вырвался из решетки моего забрала, все фермеры помчались в лес, а Сэнди грохнулась с лошади. Они приняли меня за одного из тех огнедышащих драконов, о которых так много слышали от рыцарей и прочих профессиональных лгунов. Мне стоило немалого труда убедить их подойти на такое расстояние, чтобы я мог объяснить им, в чем дело. Я сказал им, что это пустяковое колдовство не опасно ни для кого, кроме моих врагов. И, положив руку на сердце, дал обещание, что всякий, кто без вражды подойдет ко мне, увидит, как те, которые откажутся подойти, умрут на месте. Все со всех ног кинулись ко мне. Несчастных случаев не было, так как ни у кого не хва-

тило любознательности остаться на месте и посмотреть, что из этого выйдет.

Я потерял довольно много времени, ибо эти взрослые дети, избавившись от страха, пришли в такой восторг от моего умения дышать огнем и дымом, что не отпускали меня, пока я не выкурил еще две трубки. Впрочем, задержка оказалась бесполезной: Сэнди успела несколько привыкнуть к трубке, а это в совместном путешествии было необходимо. Кроме того, она временно приостановила свою говорильную мельницу, а это тоже немалый выигрыш. Но всего важнее было то, что теперь я кое-чему научился и был готов к встрече с любым великаном или людоедом.

Мы переночевали у святого отшельника, а на следующий день в полдень мне представился случай воспользоваться своим опытом. Мы ехали по обширной поляне, и я так глубоко ушел в свои мысли, что ничего не видел и не слышал; и вдруг Сэнди, прервав на полуслове свой рассказ, который начала еще утром, крикнула:

— Защищайся, лорд! Твоя жизнь в опасности!

Она соскользнула с коня, отбежала в сторону и остановилась. Я оглянулся и увидел вдали под деревом полдюжины рыцарей с оруженосцами; они всполошились и принялись торопливо подтягивать подпруги у своих коней, чтобы вскочить в седла. Трубка моя была набита, и я давно бы закурил ее, если бы не задумался о том, как освободить эту страну от гнета и, по возможности никого не обижая, вернуть народу его похищенные права. Я сразу зажег трубку, набрал в рот дыму и стал ждать нападения. Рыцари поскакали ко мне все вместе, совсем не по-рыцарски; напрасно пишут про них в книгах, будто нападение обычно совершает один какой-нибудь учтивый мерзавец, а остальные стоят в стороне и следят за тем, чтобы поединок происходил по всем правилам. Нет, они неслись ко мне все разом, неслись, как вихрь, неслись, как пушечные ядра, неслись, опустив свои головы с развевающимися перьями и выставив вперед свои копья. Это было красивое зрелище, прекрасное зрелище — если любоваться им с верхушки дерева. Я оставил свое

копье в покое и с бьющимся сердцем ждал приближения этой железной волны; затем выпустил столб белого дыма сквозь решетку моего забрала. Железная волна расплескалась на мелкие брызги и отхлынула. Это зрелище было еще красивее прежнего.

Однако они остановились в трех сотнях ярдов от меня, и я стал беспокоиться. Радость моя сменилась страхом; я решил, что погиб. Но Сэнди сияла; ей хотелось поговорить, но я перебил ее, объяснив, что колдовство мое почему-то не удалось и что она должна сесть на коня, так как нам нужно удирать. Нет, удирать она не собиралась. Она уверяла, что мое колдовство лишило тех рыцарей силы; они не уезжают только оттого, что не могут уехать; если немного подождать, они свалятся со своих коней, и нам достанутся и кони и доспехи. Мне не хотелось пользоваться ее простодушной доверчивостью, и я сказал ей, что она ошибается, что когда вырывающееся из меня пламя убивает, оно убивает мгновенно, а раз эти люди еще живы, значит в моей машине что-то испортилось, и я сам не знаю что; мы должны удирать как можно скорее, так как через минуту эти люди снова нападут на нас. Сэнди рассмеялась и сказала:

— Вот уж нет, сэр, они не из той породы! Сэр Ланселот, тот стал бы сражаться с драконами: он нападал бы на драконов снова и снова, до тех пор пока не победил бы их и не уничтожил; быть может, так поступил бы и сэр Пеллинор, и сэр Эгловэл, и сэр Кардос, и еще некоторые, но остальные ни за что не отважатся на такое дело, сколько бы они ни хвастались. Неужели вы думаете, что этим низким негодяям мало того, что они получили, и они захотят еще?

— Чего же они в таком случае ждут? Отчего они не уезжают? Их никто не держит. Я вовсе не собираюсь сводить с ними счеты.

— Вы хотите отпустить их? Ну нет, это вам не удастся. Они об этом даже и мечтать не смеют. Они хотят вам поклониться.

— Правда? Чего ж они медлят?

— Если бы вы знали, как здесь чтут драконов, вы не стали бы их обвинять. Они боятся к вам приблизиться.

— Ну что ж, я сам приближусь к ним и...

— Нет, нет, они умрут от страха, если вы двинетесь с места. Я пойду к ним сама.

И пошла. С ней было удобно путешествовать. Я бы, пожалуй, побоялся взять на себя такое поручение. Немного погодя я увидел, что рыцари скачут прочь, а Сэнди возвращается. Я облегченно вздохнул. Я решил, что у нее ничего не вышло и что разговор оборвался с первых же слов; иначе он не был бы так короток. Но оказалось, что ей удалось добиться полнейшего успеха. Как только она сказала им, что я Хозяин, они были сражены наповал! «Они потеряли рассудок от ужаса», — объяснила она мне, и готовы были исполнить все, чего бы она ни потребовала. Тогда она заставила их поклясться, что они через два дня явятся ко двору короля Артура и сдадутся в плен вместе с конями и и оружием и отныне во всем будут мне подвластны и послушны. Она сделала все гораздо лучше, чем сделал бы я сам! Чудесная девчонка!

Глава XV

РАССКАЗ СЭНДИ

— Итак, я владеец нескольких рыцарей, — сказал я, когда мы тронулись в путь. — Вот никогда не думал, что мне придется копить такое добро. Не знаю, что мне с ними делать; разве разыграть их в лотерею? Сколько их, Сэнди?

— Семеро, с вашего позволения, сэр, не считая оруженосцев.

— Недурной улов. Кто они такие? Откуда они свалились?

— Откуда они свалились?

— Ну да, где они живут?

— Ах, я не поняла вас. Сейчас я дам вам ответ.

И, в глубокой задумчивости, она заговорила, мягко и выразительно произнося слова:

— Свалились... свалились... откуда свалились?.. откуда они свалились? Верно, верно — откуда они свалились? Какая изящная фраза, какое изысканное сочетание слов! Я буду повторять эти слова до тех пор, пока не выучу их наизусть. Откуда они свалились? Правильно! Теперь эти слова так и катятся с языка, и когда...

— Не забудь, что ты хотела мне рассказать про этих ковбоев, Сэнди.

— Про ковбоев?

— Ну, про рыцарей. Ты собиралась мне про них рассказать. Говоря в переносном смысле, ты уже сделала первый ход.

— Первый ход?..

— Да! да! да! Бей по мячу. Я хочу сказать: начинай свой рассказ и не трать так много спичек на растопку. Расскажи мне об этих рыцарях.

— Я расскажу, я сейчас начну. Итак, они вдвоем пустились в путь и въехали в огромный лес. И...

— Черт побери!

Я, видите ли, сразу понял свою ошибку. Я открыл плюзы красноречия Сэнди, я сам был виноват! Теперь пройдет целый месяц, прежде чем она доберется до фактов. Начинала она всегда без предисловия и кончала без вывода. Если вы ее перебьете, она либо не обратит на вас никакого внимания, либо ответит вам двумя словами, вернется назад и повторит всю фразу сначала. Следовательно, перебивать ее — значило ухудшать положение, однако я перебивал ее, и перебивал часто, ради спасения собственной жизни, ибо, слушая целый день ее однообразное журчание, можно было умереть.

— Черт побери! — сказал я в отчаянии.

Она тотчас же вернулась назад и повторила:

— Итак, они вдвоем пустились в путь и въехали в огромный лес. И...

— Ктo они?

— Сэр Гоуэн и сэр Уэн. И приехали они в монашескую обитель, и приняли их там радушно. И наутро,

прослушав обедню, они снова пустились в путь и въехали в огромный лес; и вдруг в долине, возле башни, сэр Гоуэн узрел двенадцать прекрасных дев, а с ними двух рыцарей на огромных конях; девы гуляли возле какого-то дерева. И сэр Гоуэн узрел, что на дереве висит белый щит и что девы, проходя мимо этого щита, плюют в него и швыряют в него грязью.

— Я не поверил бы тебе, Сэнди, если бы сам не видел в здешней стране таких же выходов. Но я видел, и живо представляю себе, как эти девы шествуют перед щитом и плюют в него. Женщины ведут себя здесь как одержимые. Я имею в виду даже самых лучших женщин из самого избранного общества. Самая заурядная телефонная барышня, обслуживающая провод в десять тысяч миль, могла бы научить вежливости, терпению, скромности и хорошим манерам знатнейшую герцогиню в стране короля Артура.

— Телефонная барышня?

— Да. И не проси у меня объяснений; это девушка нового склада, таких здесь не бывает; иногда человек грубо с нею поговорит, хотя она несколько не виновата, а потом стыдится этого и жалеет об этом тринадцать сотен лет, так как грубить подло, особенно если грубость твоя ничем не вызвана; ни один настоящий джентльмен не станет грубить телефонной барышне... хотя я... да, я сам, признаться..

— Быть может, она...

— Бог с ней, оставь ее в покое; все равно ты ничего в ней не поймешь, сколько бы я ни объяснял.

— Пусть будет так, если вам угодно. И вот сэр Гоуэн и сэр Уэн приблизились к ним, поздоровались с ними и спросили их, за что они так презирают этот щит. «Милорды, — сказали девы, — мы вам ответим. Этот белый щит принадлежит одному рыцарю, живущему в нашей стране; он отважный рыцарь, однако он ненавидит всех дам и знатных женщин, живущих в нашей стране, и потому мы позорим его щит». — «Не подобает, — сказал сэр Гоуэн, — славному рыцарю ненавидеть дам и знатных женщин, но, быть может, у него есть к тому причины, быть может он любит дам и

знатных женщин какой-нибудь другой страны? И если он так доблестен, как вы утверждаете...»

— Доблестен... Да, женщины ценят только доблесть, Сэнди. Ум для них — ничто. Том Сэйерс, Джон Хинэн, Джон Л. Сэлливан, как жаль, что вас здесь нет. Через двадцать четыре часа вы добились бы права держать ноги под Круглым Столом и носить титул «сэр»; а еще через двадцать четыре часа вы перетасовали бы заново всех замужних принцесс и герцогинь двора. Здешний двор напоминает двор команчей, где каждая индианка готова променять мужа на любого здорового молодца, лишь бы у него за поясом было побольше скальпов.

— ...«Если он так доблестен, как вы утверждаете, — сказал сэр Гоуэн, — назовите мне его имя». — «Сэр, — сказали они, — его зовут Мархауз, он королевский сын Ирландии».

— Надо говорить — сын короля Ирландии; ты говоришь неправильно. А теперь держись крепче, мы сейчас перепрыгнем через этот овраг... Вот так! Наша лошадь годится для цирка; она родилась преждевременно.

— ...«Этот рыцарь мне хорошо знаком, — сказал сэр Уэн, — он не хуже любого из обитающих ныне».

— *Обитающих ныне.* У тебя есть всего один недостаток, Сэнди, — твоя речь несколько архаична. Но это не важно.

— «Я видел, как он на турнире сражался со многими рыцарями, и ни один не мог победить его». — «Ах, девы, — сказал Гоуэн, — мне думается, вы поступаете неосторожно, ибо тот, кто повесил здесь свой щит, скоро вернется, и тогда вы увидите, могут ли с ним сравниться те два рыцаря, и узнаете, что этот щит более достоин вашего поклонения, чем поругания; я же не хочу больше оставаться здесь и смотреть на посрамление рыцарского щита». Сэр Уэн и сэр Гоуэн отъехали в сторону и вдруг увидели сэра Мархауза, который скакал прямо к ним на огромном коне. Заметив сэра Мархауза, двенадцать дев со всех ног кинулись в башню и так спешили, что некоторые даже упали. Тогда один из рыцарей башни поднял свой щит и заносчиво крикнул: «Сэр Мархауз, защищайся!» И они съехались, и рыцарь сломал об Мархауза свое копьё, а сэр Мархауз скинул

его на землю, и тот, падая, сломал шею себе и спину своему коню...

— Какой скверный обычай! Сколько лошадей гибнет зря.

— ...Это увидел второй рыцарь башни и бросился на Мархауза, и они сшиблись так яростно, что рыцарь башни рухнул на землю вместе с конем, оба мертвые.

— Еще одна лошадь погибла; говорю тебе, этот обычай надо уничтожить. Не понимаю, как умные люди могут терпеть такие обычаи и восхищаться ими.

— ...И вот, эти два рыцаря яростно кинулись друг на друга...

Я, видимо, задремал и пропустил целую главу, но ничего не сказал об этом Сэнди. Я предположил, что ирландский рыцарь за это время успел подраться с приежжими, и так оно и оказалось.

— ...Сэр Уэн с такой силой ударил сэра Мархауза, что сломал свое копьё об его щит, и сэр Мархауз с такой силой ударил сэра Уэна, что свалил его вместе с конем на землю и пронзил ему левый бок...

— Сказать по правде, Алисанда, все эти ваши старинные повести слишком просты; запас слов у вас очень мал, и потому описания страдают отсутствием разнообразия; в них одни только факты, голые, как Сахара, и совсем нет никаких живописных подробностей, это придает им монотонность; ведь все сражения, в сущности, одинаковы: двое яростно бросаются друг на друга; «яростно» — хорошее слово, но есть слова ничуть не хуже, например: «бешено», или «пламенно», или «хищно», и сотни других; а то, черт возьми, что получается: они яростно кидаются друг на друга, ломают копыя, затем один разбивает щит другого, и тот падает вместе с конем или перелетает через круп коня и ломает себе шею; затем на оставшегося в живых яростно кидается новый кандидат и ломает свое копьё, и ему разбивают щит, и он падает вместе с конем или перелетает через круп коня и ломает себе шею; потом еще кто-нибудь яростно кидается, потом еще и еще, пока не будет из-

расходован весь материал; и если вы захотите подвести итог, вам не удастся ни отличить один поединок от другого, ни понять, кто победил, и вместо живой картины боя, полной бешенства и рева, у вас получается нечто бледное и беззвучное — будто какие-то призраки сражались в тумане. Боже, как бы вы стали описывать при таком скудном запасе слов какое-нибудь происшествие позначительнее — например, сожжение Рима Нероном! Вы сказали бы: «Город сгорел; страховая премия уплачена не будет; мальчик разбил окно; пожарный сломал себе шею!» Нет, это не изображение пожара!

Я прочел ей целую лекцию, но на Сэнди она не произвела ни малейшего впечатления; пары ее словоизвержения снова вырвались наружу, чуть только я приоткрыл крышку.

— ...Тогда сэр Мархауз повернул коня и помчался к Гоуэну, направив на него копьё. Заметив это, сэр Гоуэн поднял свой щит, и они оба, выставив копья вперед, понеслись друг на друга во всю прыть своих коней и ударили друг друга в щиты, но копьё сэра Гоуэна сломалось...

— Я знал это заранее.

— ...а у сэра Мархауза не сломалось; и сэр Гоуэн вместе с конем рухнул на землю...

— Ну конечно... и сломал себе спину...

— ...однако сэр Гоуэн с легкостью вскочил на ноги, выхватил свой меч и пеший бросился на сэра Мархауза, и тот тоже спешил, и стали они биться мечами с такой яростью, что их щиты разлетелись в куски, их шлемы и панцири раскололись, и оба они были ранены. Уже пробило девять часов, они дрались уже три часа, и с каждым часом сэр Гоуэн становился все сильней и сильней, и силы его утроились. Сэр Мархауз это заметил и очень дивился, почему сила его противника растёт, хотя они оба ранены; и когда наконец наступил полдень...

Звук ее заунывного голоса напомнил мне звуки, которые я так часто слышал в детстве:

«Нью-у-у Хэйвен! Десять минут остановки... За две минуты до отправления кондуктор ударит в колокол...

Пассажиров, отправляющихся по Приморской дороге, просят пересест в задний вагон... Этот вагон дальше не пойдет... Яблоки, апельсины, бананы, бутерброды, конфеты!»

— ...и прошел полдень, и день стал клониться к вечеру. И сила сэра Гоуэна стала иссякать, и он ослабел и не мог больше биться, а сэр Мархауз становился все огромное и огромное...

— Ему сделалось тесно в его латах; но разве эти люди способны обратить внимание на подобные мелочи.

— ...«Сэр, — сказал сэр Мархауз, — я вижу, что вы доблестный рыцарь и что вы человек необычайной силы, но сила ваша начинает покидать вас, а так как важных причин для нашей ссоры нет, мне было бы жаль убить вас теперь, когда вы совсем ослабели». — «Ах, — сказал сэр Гоуэн, — благородный рыцарь, вы произнесли слова, которые я произнес бы сам на вашем месте»; и они сняли шлемы, и поцеловались, и поклялись любить друг друга, как братья...

Но тут я потерял нить и задремал, размышляя над тем, как жаль, что люди, обладающие такой необычайной силой — силой, дающей им возможность, закуполив себя в нестерпимо тяжелый железный панцирь и обливаясь потом, рубить, и колоть, и молотить друг друга шесть часов подряд, — не родились в такое время, когда их сила могла бы пригодиться на что-нибудь полезное. Возьмите, например, осла: осел обладает как раз такою силой, но употребляет эту силу на пользу, и потому весь мир ценит его за то, что он осел; а дворянина никто не станет ценить за то, что он осел. Из сочетания дворянина с ослом ничего путного выйти не может, и дворянин никогда не должен выдвигать на первое место ослиную силу. Но ничего не поделаешь — раз вы начали с ошибки, беды не исправите, и никто вам не скажет, чем вы кончите.

Проснувшись, я заметил, что опять пропустил целую главу и что Алисанда уже увела своих героев очень далеко.

— ...Они ехали, ехали и въехали в глубокий овраг, полный камней, по дну которого бежал прозрачный

ручеек; этот ручеек вытекал из фонтана, а у фонтана сидели три девы. «С тех пор как этот край принял христианство, — сказал сэр Мархауз, — со всяким рыцарем, заезжавшим сюда, непременно случались странные приключения...»

— Ты неправильно передаешь его речь, Алисанда. Сэр Мархауз, сын ирландского короля, говорит у тебя, как все остальные; ты должна придать ему ирландский акцент или по крайней мере какие-нибудь характерные словечки, чтобы его сразу можно было узнать, как только он заговорит, и чтобы отпала необходимость всякий раз называть его имя. Это общеупотребительный литературный прием всех крупных писателей. Пусть он скажет: «С тех пор как этот край принял христианство, проткни его насквозь, со всяким рыцарем, заезжавшим сюда, непременно случались странные приключения, проткни его насквозь». Видишь, насколько лучше это звучит.

— ...«со всяким рыцарем, заезжавшим сюда, непременно случались странные приключения, проткни его насквозь». И вправду, благородный лорд, так гораздо лучше; мне трудно это выговорить, но со временем я привыкну. И они подъехали к девам и обменялись с ними приветствиями, и на голове у старшей девы сиял золотой венец, а от роду ей было три раза по двадцать зим и даже больше...

— Деве?

— Да, дорогой лорд, и под венцом у нее были белые волосы...

— И зубы у нее, можно поручиться, были из целлулоида, по девяти долларов за челюсть, те самые, которые при еде прыгают вверх и вниз, как шторы, а при смехе вываливаются изо рта.

— У второй девы, тридцати зим от роду, на голове был маленький золотой венчик. А третьей деве было всего пятнадцать лет...

Поток воспоминаний хлынул мне в душу и заглушил голос Сэнди.

Пятнадцать лет... О сердце мое, разбейся! О милая моя, утраченная навеки! Пятнадцать лет было ей, та-

кой нежной, такой прелестной, той, которую я любил больше всего на свете и которую никогда уже не увижу! И сразу при мысли о ней память перенесла меня в то далекое счастливое время, много-много столетий спустя, когда я, бывало, просыпался теплым летним утром, оторвавшись от милых снов о ней, и говорил: «Алло, центральная!» — только для того, чтобы услышать в ответ слова: «Алло, Хэнк!», казавшиеся моему очарованному слуху музыкой сфер. Она зарабатывала три доллара в неделю и была вполне их достойна.

Я так и не понял из дальнейших объяснений Алисанды, кто были плененные нами рыцари, — она, впрочем, и не пыталась мне это объяснить. Любопытство мое угасло, мысли мои были печальны и витали далеко. По случайным обрывкам ее рассказа я смутно догадался, что каждый из этих трех рыцарей посадил одну из трех дев на круп своего коня и что они разъехались в разные стороны — один на север, другой на восток, третий на юг — в поисках приключений, с тем чтобы встретиться через год и один день и лгать о своих похождениях. Уехали на год и один день — и без всякого багажа. Вот еще один пример простоватости здешних жителей.

Солнце уже садилось. Свой рассказ о том, кто такие плененные нами ковбои, Алисанда начала в три часа пополудни, но, если принять во внимание обычную пространность ее речей, она, как видите, все же довольно далеко продвинулась в своем повествовании. Без сомнения, она когда-нибудь довела бы его до конца, — поропить таких, как она, невозможно.

Мы подъехали к замку, стоявшему на холме; это было обширное, могучее древнее строение с серыми башнями, восхитительно окутанными плющом. Вся его величавая громада тонула в сиянии заходящего солнца. Это был самый большой замок из всех встреченных нами на пути, и я подумал: не тот ли это самый, который мы ищем? Но Сэнди сказала: «Нет». Она не знала, кому принадлежит этот замок. Во время ее путешествия в Камелот она проехала мимо него не останавливаясь.

Если верить странствующим рыцарям, не во всяком замке стоит искать гостеприимства. Странствующие рыцари, конечно, не те люди, которым следует верить, — если подходить к их рассказам с точки зрения наших современных взглядов на правдивость; однако если подходить к ним с точки зрения их эпохи и сбавлять, сколько нужно, можно выделить правду. Это очень просто: отбросьте девяносто семь процентов, остальное — факт. Сделав такое вычисление, я пришел к выводу, что, прежде чем позвонить у дверей замка, — вернее, прежде чем позвать стражу, — следует узнать, что это за замок. И я очень обрадовался, увидев вдали всадника, который скакал нам навстречу по извилистой дороге, ведущей от замка.

Когда расстояние между нами уменьшилось, я заметил, что на голове у всадника шлем с перьями, что одет он в стальные латы, но поверх лат у него забавное добавление: квадратные доски с объявлением на груди и спине. Я подъехал поближе и вдруг рассмеялся над своею забывчивостью — на досках было написано:

МЫЛО ПЕРСИММОНСА'

*Все примадонны жуются
этим мылом!*

Это была моя собственная выдумка; цель ее — продвинуть народ по пути цивилизации. Во-первых, это был тайный удар из-за угла по этой нелепице — странствующему рыцарству, — удар, о котором никто не подозревал, кроме меня. Я разослал в разные стороны уже немало таких завербованных мною доблестных рыцарей, зажав их, как бутерброды, между двумя досками, на которых написано какое-нибудь объявление. Я рассчитывал на то, что со временем, когда их станет много, они не будут казаться смешными, напротив — любой закованный в сталь осел без доски будет чувствовать себя смешным, так как он одет не по моде.

Во-вторых, эти миссионеры постепенно, никого не пугая и не вызывая ничьих подозрений, приучат знать к простейшим правилам чистоплотности, а от знати эти правила усвоит народ, если только не помешают попы. Это будет подкоп под церковь. Вернее, самое начало подкопа. Затем — образование, затем — свобода, и церковь начнет разваливаться на куски. Я убежден, что господствующая церковь — это господствующее преступление, господствующая тюрьма для рабов, и, не колеблясь, готов бороться с ней любым оружием, лишь бы оно причинило ей вред. Ведь и в мои прежние годы, в тех грядущих веках, которые еще даже не начали шевелиться во чреве времен, были старые англичане, воображавшие, что они родились в свободной стране, — «свободной», с законом о корпорациях и законом, запрещающим лицам, не принадлежащим к господствующей церкви, занимать государственные должности, — этими бревнами, вколотенными в человеческую свободу, в попорченную совесть, чтобы подпереть Господствующий Анахронизм.

Я выучил своих миссионеров читать золоченые надписи на их досках; прекрасная была идея — вызолотить буквы; сам король не прочь был бы надеть на себя доску с объявлением, столько в ней было варварского великолепия! Миссионеры должны были читать свои объявления лордам и леди и объяснять им, что такое мыло; если же лорды и леди побоятся испробовать мыло, они должны были предложить им испробовать его на собаке. Затем миссионер обязан был собрать всю семью и показать действие мыла на себе самом; он не мог отступать ни перед какими трудностями, даже перед самыми неприятными опытами, лишь бы убедить дворянство, что мыло совершенно безвредно; если, несмотря ни на что, недоверие не рассеется, он должен был поймать отшельника, — все леса кишели ими; отшельники называли себя святыми, и все верили в их святость; они были несказанно набожны и творили чудеса, и все благоговели перед ними. Если отшельника вымыть при герцоге и отшельник выживет, а герцог все-таки не уверует в мыло, — такого герцога надо оставить в покое и уйти от него прочь.

Когда моим миссионерам удавалось победить какого-нибудь странствующего рыцаря, они мыли его, а затем брали с него клятву, что он добудет себе такую же доеку и будет распространять мыло и цивилизацию до конца своих дней. Таким образом число сподвижников на этом поприще все увеличивалось и потребление мыла упорно росло. Мой мыловаренный завод это скоро почувствовал. Сначала у меня работало только двое рабочих, но перед моим отъездом у меня было их уже пятнадцать, и они работали днем и ночью. Запах от завода был так силен, что король однажды чуть не упал в обморок; задыхаясь, он заявил, что не в силах больше терпеть, а сэр Ланселот — тот только ходил по крыше и ругался. Я уверял его, что на крыше запах сильнее всего, но он отвечал, что там по крайней мере можно дышать, и всякий раз прибавлял, что дворец неподходящее место для мыловаренного завода и что он задушил бы того негодяя, который осмелился бы открыть мыловаренный завод в его собственном доме. Он не переставал ругаться даже в присутствии дам, но люди, подобные ему, с этим не считаются. А когда ветер доносил запах с завода, все готовы были ругаться даже при детях.

Рыцаря-миссионера, попавшегося нам навстречу, звали ля Кот-Мэл-Тэл. Он сообщил нам, что в замке живет фея Моргана, сестра короля Артура и жена короля Уриэнса, все королевство которого было величиной с округ Колумбия, — можно было стоять в самой его середине и швырять камешки в соседнее государство. «Королей» и «королевств» в Британии было столько же, сколько в Палестине при Иисусе Навине, и жителям приходилось спать, поджав колени к подбородку, потому что нельзя было вытянуть ноги, не имея заграничного паспорта.

Ля Кот был в большом унынии, так как в этом замке он потерпел самую досадную неудачу за все свое путешествие. Ему не удалось продать ни кусочка мыла, несмотря на то, что он выполнил все, что полагалось хорошему коммивояжеру, и даже вымыл отшельника; но отшельник умер. Это действительно была крупная неудача, ибо теперь скота отшельника зачислят в

мученики и он попадет в святцы римско-католической церкви. Так жаловался нам несчастный сэр ля Кот-Мэл-Тэл, горько сетуя на злую судьбу. Мое сердце обливалось за него кровью; мне хотелось утешить его и поддержать. И я сказал:

— Не печалься, благородный рыцарь, это еще не поражение. Ты да я — мы с тобой люди с мозгами, а у тех, у кого есть мозги, не бывает поражений, у них могут быть только победы. Вот посмотри, как мы превратим это кажущееся несчастье в рекламу; в рекламу нашему мылу; в рекламу, которая уничтожит даже воспоминание об этой незначительной неудаче; в рекламу, которая превратит поражение величиной с Вашингтонский холм в победу вышиной с Маттергорн. Мы напишем на твоей доске: *«Находится под покровительством святого мученика»*. Тебе это нравится?

— Еще бы! Прекрасная мысль!

— Да, каждый согласится, что лучше в одной строчке не скажешь, — прямо бьет в цель!

Все огорчения несчастного коммивояжера разом рассеялись. Он был отважный малый и в свое время одержал много побед на поле брани. Впрочем, прославился он главным образом путешествием вроде моего теперешнего, которое он совершил совместно с одной девой по имени Маледизанта, такой же разговорчивой, как и Сэнди, с той только разницей, что она была груба и сварлива, тогда как болтовня Сэнди была безобидна. Мне хорошо была известна его история, и я понял, что означало сочувствие, появившееся у него на лице, когда он прощался со мною. Он думал, что и мне не легко.

Двинувшись в путь, мы с Сэнди принялись обсуждать его историю, и она сказала, что ля Коту не везло с самого начала его поездки: в первый же день его сшиб с коня королевский шут; по обычаю, девушка должна покинуть побежденного и перейти к победителю, но Маледизанта отказалась расстаться с ля Котом и в дальнейшем ни за что не соглашалась отстать от него, несмотря на все его поражения.

— Но предположим, — сказал я, — победитель откажется принять такую добычу. Что тогда?

Она сказала, что такого вопроса возникнуть не может: победитель обязан принять добычу. Он не может отказаться, это будет не по правилам. Я на всякий случай запомнил ее слова. Если болтовня Сэнди станет непереносимой, я дам какому-нибудь рыцарю победить себя, — авось она перебежит к нему.

Со стен замка нас окликнула стража, и после обычных переговоров нам разрешили войти. Ничего хорошего об этом визите я рассказать не могу. Но и никакого разочарования я не испытал, так как репутация миссис феи Морганы мне была давно известна, и ничего приятного я не ожидал. Ее королевство трепетало перед ней, так как она всех заставила поверить, что она великая волшебница. Все желания ее и все ее поступки были преисполнены дьявольской злобы. Холодная злость переполняла ее. Вся жизнь ее была цепью страшных преступлений. Посмотреть на нее мне было любопытно, как на самого сатану. К моему удивлению, она оказалась красавицей; черные мысли не сделали отталкивающим выражение ее лица, годы не провели морщин по ее атласной коже и не коснулись ее цветущей свежести. Ее можно было принять за внучку старого Уриэнса, она казалась сестрой своего собственного сына.

Как только мы въехали в ворота замка, она повелела привести нас к себе. Мы увидели короля Уриэнса — старика с добрым лицом, не смевшего поднять глаз, и его сына, сэра Уэна ля Бланшмэн, с которым мне очень любопытно было встретиться: во-первых, потому, что, как гласит предание, он однажды зараз победил тридцать рыцарей, а во-вторых — потому, что он путешествовал вместе с сэром Гоуэном и сэром Мархаузом, о которых мне рассказывала Сэнди. Но, конечно, больше всего меня интересовала сама Моргана; сразу было видно, что она всем здесь заправляет. Она предложила нам сесть и с милой приветливостью начала нас расспрашивать. Господи! Голос ее был похож на птичье пенье, на флейту. Мне стало казаться, что женщину эту оклеветали, оболгали. Она щебетала, щебетала до тех пор, пока хорошенький юный паж, скользя плавно, как волна, и разодетый пестро, как радуга, не подал ей

что-то на золотом подносе; стараясь как можно изящнее опуститься перед ней на колени, он переусердствовал, потерял равновесие и легонько толкнул ее колено. Тогда она с таким спокойствием вонзила в него кинжал, словно он был крысой.

Бедный мальчик! Он рухнул на пол, болезненная судорога свела его затянутое в шелк тело, и он умер. Старый король невольно вскрикнул от жалости: «Ох!» Но Моргана кинула на него такой взгляд, что он сразу замолк и больше уже не смел и рта раскрыть. Сэр Уэн, по знаку матери, вышел в прихожую и позвал слуг, а тем временем королева продолжала сладостно щебетать.

Она безусловно была хорошая хозяйка: ведя разговор, она все время следила, как бы слуги, выносившие тело, не сделали какого-нибудь промаха; когда они принесли чистые полотенца, она велела унести их обратно и принести другие, а когда они вытерли пол и уже собирались уходить, она глазами указала им на крохотное красное пятнышко, которого они не заметили. Мне стало ясно, что ля Кот-Мэл-Тэлу не удалось повидать хозяйку этого дома. Немое свидетельство фактов часто говорит громче и более внятно, чем человеческий язык.

Голосок феи Морганы был музыкален по-прежнему. Удивительная женщина! А какой у нее взгляд! Слуги вздрагивали от ее взгляда, как вздрагивают робкие люди при блеске молнии. Я и сам чуть не затрясся. А несчастный старый Уриэнс все время сидел как на иголках; ужас не покидал его ни на мгновение; он вздрагивал даже раньше, чем она взглядывала на него.

В разговоре я нечаянно произнес несколько благожелательных слов о короле Артуре, забыв о том, как ненавидит эта женщина своего брата. Этого было достаточно. Она нахмурилась, как туча, позвала стражу и сказала:

— Бросьте этих мошенников в темницу!

Я похолодел, так как ее темницы славились по всей стране. Я растерялся, я не знал, что сказать, что сделать. Но Сэнди не растерялась. Когда воин протянул ко мне руку, вдруг спокойно и бесстрашно прозвенел ее тоненький голосок:

— Ты смерти, что ли, ищешь, безумец? Да ведь это Хозяин!

Удивительно счастливая мысль! И такая простая. Однако мне она не пришла в голову: я от природы скромна — не всегда, но в некоторые минуты, а это случилось как раз в одну из таких минут.

Королева мгновенно изменилась. Лицо ее снова стало ясным, улыбающимся, приветливым, и все ее прелестные манеры вернулись к ней; однако ей не удалось скрыть, до какой степени она испугана. Она сказала:

— Послушай, какой вздор болтает твоя служанка! Как можно было не понять, что я сказала все это только в шутку. Благодаря моим чарам я предвидела твой приход, победитель Мерлина, благодаря моим чарам я узнала тебя, едва ты вошел. Я нарочно сыграла эту шутку, чтобы захватить тебя врасплох и заставить тебя показать свое искусство; я надеялась, что ты обрушишь на этих воинов волшебное пламя и сожжешь их на месте; я сама не могу совершить такого чуда, а мне так хотелось посмотреть на него, я ведь любопытна, как ребенок.

Воины были менее любопытны и поспешно удалились, как только им это позволили.

Глава XVII

КОРОЛЕВСКИЙ ПИР

Королева, видя, что я не сержусь и не обижаюсь, пришла, без сомнения, к выводу, что ей удалось меня обмануть. Страх ее рассеялся, и она принялась так настойчиво просить меня показать свое искусство и убить кого-нибудь, что я не знал, как от нее отвязаться. К счастью, нас всех позвали на молитву, и ей пришлось умолкнуть. Нужно признать, что дворянство, несмотря на свою склонность к мучительству и убийству, несмотря на свою жадность и развратность, было глубоко и восторженно религиозно. Ничто не могло отвлечь его от добросовестного выполнения всех обрядов, предпи-

сантных церковью. Не раз я сам видел, как дворянин, застигнув врага врасплох, останавливался помолиться, прежде чем перерезать ему горло; не раз я видел, как дворянин, напавший на врага из засады и убивший его, отправлялся к ближайшему придорожному распятию, приносил благодарность богу, даже не успев ограбить мертвеца. В сравнении с ним сам Бенвенуто Челлини казался святошей совсем неотесанным, — где ему было угнаться за таким утонченным благородством. Вся британская знать вместе с семьями ежедневно утром и вечером присутствовала при богослужении в своих домовых церквях, и, помимо того, даже самые захудалые из дворян еще пять-шесть раз в день собирались на общую семейную молитву. Это должно быть поставлено церкви в заслугу. Я не сторонник католической церкви, но этой заслуги ее отрицать не могу. И нередко я против воли спрашивал себя: «Что стало бы с этой страной, если бы не было церкви?»

После молитвы мы обедали в просторной пиршественной зале, освещенной сотнями плашек с салом, где все дышало той пышностью, щедростью и грубой роскошью, которая подобает королям. В почетном конце залы, на помосте, стоял стол короля, королевы и их сына, принца Уэна. А на полу стоял общий стол, тянувшийся через всю залу. За ним, выше солонки, восседали вельможи и взрослые члены их семейств, составлявших королевский двор, — всего шестьдесят один человек; ниже солонки сидели важнейшие королевские слуги со своими подчиненными; всего за столом сидело сто восемнадцать человек, а за их стульями стояло столько же одетых в ливреи лакеев, которые им прислуживали. Прекрасное зрелище! На хорах оркестр, состоявший из цимбал, рогов, арф и прочих ужасов, открыл пир первым вариантом того музыкального застольного визга, который в грядущих веках терзал всем уши, превратившись в знаменитую песенку: «Я в раю, я пою». Тогда песня эта была еще совсем новой, и оркестр не успел ее, видимо, как следует разучить. Не знаю, по этой ли причине, или по какой-нибудь другой, но королева приказала после обеда повесить композитора.

Когда музыка смолкла, священник, стоявший позади королевского стола, произнес по-латыни проповедь весьма почтенной длины. Затем батальоны лакеев сорвались со своих мест, побежали, заметались, стремительно разнося блюда, и мощная кормежка началась; никто ничего не говорил, все были заняты делом. Ряды челюстей открывались и закрывались одновременно, и звук жевания был похож на глухой гул подземных машин.

Это буйство продолжалось полтора часа, и количество истребленной за это время пищи невозможно себе вообразить. От главного блюда — огромного дикого кабаца, так величаво и важно возлежавшего посреди стола, не осталось ничего, кроме ребер в виде обручей для кринолина; и это — образец и символ той участи, которой подверглись все остальные кушанья.

Когда подали сладкое, началось пьянство, а с пьянством — разговоры. Вино и мед исчезали галлон за галлоном. Мужчины и женщины становились сначала довольными, потом счастливыми, затем неистово веселыми и шумными. Мужчины рассказывали такие анекдоты, что страшно было слушать, но никто не краснел; после каждого анекдота все так ржали, что сотрясались каменные стены замка. Дамы в свой черед рассказывали сказки, от которых, чего доброго, закрылась бы платком королева Маргарита Наваррская и даже великая Елизавета Английская; но здесь никто платком не закрывался, все только смеялись — просто выли от смеха. Почти во всех рассказах главными героями были священники, но это ничуть не смущало присутствовавшего здесь капеллана, — он смеялся вместе со всеми; мало того, по просьбе собравшихся он заорал песню, которая была ничуть не пристойней всех песен, пропетых за этот вечер.

К полуночи все устали, надорвались от смеха, все были пьяны. Одни плакали, другие лезли целоваться, одни ссорились, другие лежали под столом, как мертвые. Из дам хуже всего вела себя хорошенькая молоденькая герцогиня, для которой этот вечер был кануном свадьбы. Да, тут было на что посмотреть! В таком виде она могла бы стать моделью для портрета молоденькой

дочери регента Орлеанского на том знаменитом обеде, откуда ее унесли в кровать, пьяную, сквернословящую и беспомощную, в незабвенные далекие дни Ancien Régime.

Внезапно, как раз в ту минуту, когда священник поднял руки, а все еще не потерявшие сознание набожно склонились, ожидая, чтобы он благословил их на ночь, в глубине зала, под входной аркой, появилась старая, сгорбленная, седая дама, опиравшаяся на костыль. Она подняла свой костыль, направила его на королеву и крикнула:

— Божий гнев и божье проклятие да падут на тебя, безжалостная, за то, что ты убила моего невинного внука и разбила мое сердце — сердце старой женщины, у которой не было во всем мире ни опоры, ни утешения, ни радости, кроме этого мальчика!

Все в страхе перекрестились, ибо люди тех времен ужасно боялись проклятий, но королева со смертельной злобой в глазах величественно поднялась и бросила через плечо безжалостное приказание:

— Взять ее! На костер!

Воины послушно двинулись к старухе. Стыдно было смотреть на такую жестокость. Но что можно было сделать? Сэнди взглянула на меня. Я понял, что ее снова осенило вдохновение, и сказал:

— Делай, как знаешь.

Она сразу встала и повернулась к королеве. Указав на меня, она проговорила:

— Ваше величество, он не позволяет. Отмените свое приказание, а не то он разрушит замок и развеет его по воздуху, как зыбкое сновидение!

Черт возьми, какое безумное обязательство должен я принять на себя! Что, если королева...

Но мои опасения сразу рассеялись, ибо королева растерянно и без всякого сопротивления дала знак воинам, что приказание отменено, и опустилась на стул. Она разом протрезвела. Протрезвели и многие другие. Все повскакали с мест и, позабыв об этикете, толпой кинулись к дверям, опрокидывая стулья, разбивая посуду, толкаясь, давя друг друга, лишь бы успеть уйти, прежде чем я передумаю и все же развею дворец по

бесконечным небесным пространствам. Какие суеверные люди! Трудно себе даже представить, до чего они были суеверны.

Несчастливая королева так испугалась и так присмирела, что без моего разрешения не решилась повесить даже композитора. Мне стало жаль ее, и всякий пожалел бы ее на моем месте, так как она действительно страдала; я решил пойти на уступки и не доводить дело до крайности. Поразмыслив, я приказал позвать музыкантов и велел им снова сыграть «Я в раю, я пою»; они сыграли. Я убедился, что королева права, и дал ей разрешение повесить весь оркестр. Эта маленькая поблajка подействовала на королеву самым благотворным образом. Государственный деятель ничего не выиграет, если будет проявлять твердость и непреклонность решительно во всех случаях, ибо это оскорбляет гордость его подчиненных и тем расшатывает его собственное могущество. Маленькие уступки то там, то здесь, где они не вредят делу, — самая мудрая политика.

Теперь, когда королева опять была спокойна и даже счастлива, вино снова ударило ей в голову, и она принялась за прежнее. Я хочу сказать, что вино развязало ей язык, и он опять зазвенел, как серебряный колокольчик. Да, говорить она была мастерица! Мне неудобно было напомнить ей, что уже поздно, что я устал и хочу спать. Я жалел, что не ушел спать раньше, когда это было возможно. А теперь нужно было терпеть, ничего другого не оставалось. И среди глубокой призрачной тишины спящего замка язычок ее звенел и звенел до тех пор, пока снизу, издалека, не донесся до нас приглушенный крик, полный такой муки, что я содрогнулся. Королева смолкла, и глаза ее радостно сверкнули; она по-птичьи склонила набок свою хорошенькую головку и прислушалась. И опять среди глубокой тишины до нас донесся тот же звук.

— Что это? — спросил я.

— Вот упорная душа! Как он долго терпит! Уже много часов.

— Что терпит?

— Пытку. Пойдем — ты увидишь веселое зрелище. Если он и теперь не покается, ты посмотришь, как его будут рвать на куски.

Что за очаровательное исчадие ада. Она была спокойна и безмятежна, а у меня все жилы в ногах ныли — так я сочувствовал этому страдальцу. В сопровождении вооруженных воинов, которые несли пылающие факелы, мы шли по гулким коридорам, по сырým каменным лестницам, где пахло плесенью и веками тюремной тьмы. Это был тягостный, жуткий и долгий путь, несколько не ставший короче и приятнее от болтовни колдуньи, рассказывавшей о несчастном и его преступлении. По утверждению одного доносчика, пожелавшего остаться неизвестным, он убил оленя в заповедных королевских лесах. Я сказал:

— Донос неизвестного человека еще не доказательство, ваше величество. Правильнее было бы свести на очной ставке обвиняемого с обвинителем.

— Я не подумала об этом, дело такое пустяковое. А если бы даже и подумала, все равно не могла бы устроить очной ставки, так как обвинитель явился к леснику ночью, в маске, рассказал ему все и скрылся, и лесник не знает, кто он такой.

— Значит, этот неизвестный — единственный человек, который видел, как убили оленя?

— Ах, господи! *Никто* не видел, как убили оленя. Но тот неизвестный видел этого упрямяца возле того места, где лежал олень, и, полный верноподданнического усердия, донес о нем леснику.

— Значит, неизвестный тоже был недалеко от мертвого оленя? А что, если он сам его убил? Его верноподданническое усердие, да еще в маске, весьма подозрительно. Но ради чего вы, ваше величество, решили предать арестованного пытке? Что в ней толку?

— Он не хотел покаяться. А если он не покается, его душа пойдет в ад. За преступление, которое он совершил, закон карает смертью; и уж конечно я послежу, чтобы он не избежал кары! Но я погублю свою собственную душу, если дам ему умереть без раскаяния и отпущения грехов. Нет, я не такая дура, чтобы угодить из-за него в ад!

— А вдруг, ваше величество, ему не в чем каяться?

— Это мы сейчас узнаем. Если я его замучаю до смерти, а он все-таки не покается, потому что ему не в чем каяться, — тем лучше. Не попаду же я в ад из-за нераскаявшегося человека, которому не в чем было каяться.

В то время все так рассуждали. Спорить с ней было бесполезно. Того, что вбили в голову с детства, нельзя вышибить никакими доводами; все доводы разбиваются, как волны о скалу. А ей вбили в голову то, что и всем. Самые светлые умы страны не разглядели бы, в чем слабая сторона ее рассуждений.

Войдя в камеру пыток, мы увидели зрелище, которое до сих пор у меня стоит перед глазами; я хотел бы его отогнать, но не могу. Растянутый на дыбе, лежал гигант лет тридцати с небольшим; его запястья и щиколотки были привязаны веревками к крюкам. Ни кровинки не было в его искаженном мукой лице; капли пота выступили на лбу. Над ним склонился священник; рядом со священником стоял палач; палача охраняли воины; пылали факелы, вставленные в стены; в углу сидела, скорчившись, молодая женщина с искаженным лицом и безумным, затравленным взором, а у нее на коленях спал младенец. Как только мы шагнули через порог, палач слегка повернул колесо; несчастный и женщина вскрикнули одновременно; но я крикнул на палача, и он сразу ослабил веревки, даже не взглянув, кто отдал приказ. Я не мог позволить, чтобы этот ужас продолжался; я не мог его вынести, я умер бы на месте. Я попросил королеву выйти из камеры и дать мне возможность поговорить с заключенным наедине; когда она начала спорить, я вполголоса сказал ей, что не желаю ссориться с ней в присутствии слуг, но воля моя должна быть исполнена, так как я представитель короля Артура и повелеваю его именем. Она поняла, что должна уступить. Я попросил ее назвать меня этим людям и затем удалиться. Это было ей неприятно, но она проглотила пилюлю и сделала даже больше, чем я ожидал. Я хотел лишь опереться на ее власть, она же сказала:

— Делайте все, что вам прикажет этот лорд. Он — Хозяин.

Это слово действовало как заклинание — тюремные крысы склонились передо мной. Воины королевы построились и, неся факелы, вышли вслед за нею; их мерный шаг, удаляясь, гулко отдавался в подземных коридорах. Я велел снять заключенного с дыбы и положить на койку. Ему дали вина, к ранам его приложили целебные зелья. Женщина подползла ближе и смотрела на него жадно, нежно, но испуганно, — она боялась, что ее прогонят; она протянула руку, чтобы украдкой коснуться его лба, но, когда я нечаянно повернулся к ней, в ужасе отскочила. Жаль было смотреть на нее.

— Господи, — сказал я, — да погладь его, девочка! Делай, что хочешь, не обращай на меня внимания.

В глазах у нее вспыхнула благодарность, как у животного, которое приласкали. Она положила ребенка, прижалась щекой к щеке мужа, пальцами перебирала его волосы, и счастливые слезы текли по ее щекам. Он очнулся и нежно смотрел на нее, — приласкать ее у него не было силы. Я решил, что пора прогнать из камеры посторонних; я велел выйти всем, кроме жены заключенного. Затем я сказал:

— Ну, друг мой, расскажи мне, как ты сам смотришь на то, в чем тебя обвиняют; как смотрят другие, я уже знаю.

Мужчина отрицательно покачал головой. Но женщина, видимо, обрадовалась — так по крайней мере мне показалось — моему предложению. Я продолжал:

— Ты знаешь меня?

— Да. В королевстве Артура тебя знают все.

— Если тебе на меня не нагнали, ты не должен бояться со мной говорить.

Женщина поспешно перебила меня:

— Ах, мой благородный лорд, убеди его! Ты можешь его убедить, если захочешь. Он перенес такие муки! И все ради меня, ради *меня*! А я не в силах вынести его мучений. Как хотела бы я, чтобы он умер скорой, легкой смертью! Но мук твоих, мой Хьюго, я вытерпеть не могу!

Она зарыдала и кинулась к моим ногам, умоляя

меня. О чем умоляя? О смерти мужа? Я не вполне понимал, что происходит. Но Хьюго перебил ее:

— Молчи! Ты сама не ведаешь, о чем просишь. Неужели я ради легкой смерти обреку на голод тех, кого люблю! Я думал, ты меня знаешь лучше.

— Ничего не понимаю, — сказал я. — Не могу разгадать ваших загадок. Ты...

— Ах, дорогой мой лорд, убеди его! Подумай, как мучают меня его страдания. Он молчит, он не хочет сознаться! А я так обрадовалась бы, если бы он умер скорой смертью...

— О чем ты болтаешь? Он выйдет отсюда свободным человеком. Он не умрет.

Бледное лицо мужчины засияло, а женщина в неуправляемом порыве радости кинулась ко мне, крича:

— Он спасен! Ибо сам король Артур говорит устами своего слуги, а слово короля Артура — золото!

— Значит, ты в конце концов поверил, что на меня можно положиться. Отчего ж ты сомневался во мне прежде?

— Кто ж в тебе сомневался? Не я и не она.

— Почему же ты не хотел мне ничего сказать?

— Ты ничего мне не обещал, а то я рассказал бы тебе сразу же.

— Понимаю, понимаю... И все-таки не совсем понимаю. Ты терпел пытки и не сознавался; это доказывает, что тебе не в чем сознаваться...

— Мне, милорд? Почему же? Ведь оленя-то убил я!

— Ты! О боже, какое запутанное дело!..

— Драгоценный лорд, я на коленях умоляла его сознаться, но...

— Ты умоляла сознаться! Дело становится еще запутаннее. Зачем же ты его умоляла сознаться?

— Чтобы добиться для него скорой смерти и избавить его от жестоких мук.

— Да... в этом есть смысл. Но ведь он не хотел скорой смерти.

— Он? Конечно хотел.

— Почему же он тогда не сознавался?

— Ах, сладчайший сэръ, как же я мог оставить жену и ребенка без хлеба и крова!

— О, теперь я все понял! Вот золотое сердце! Жестокый закон отнимает имущество осужденного, разоряя его вдову и сирот. Можно замучить тебя до смерти, но, если ты не сознаешься, нельзя обокрасть твою жену и твоего ребенка. Ты был стоек, как настоящий мужчина; а ты, настоящая жена и настоящая женщина, готова была купить его избавление от мук ценою собственной голодной смерти... Да, женщины способны на самопожертвование. Я вас обоих возьму в свою колонию; вам там понравится; это Фабрика, где я превращаю незрячие и тупые автоматы в *людей*.

Глава XVIII

В ТЕМНИЦАХ КОРОЛЕВЫ

Я все устроил: заставил отпустить этого человека домой. Мне очень хотелось вздернуть на дыбу палача: не за то, что он был хороший, усердно мучивший чиновник, — ибо не мог же я поставить ему в вину, что он добросовестно выполнял свои обязанности, — а за то, что он беспричинно бил и всячески обижал жену узника. Мне рассказали про это попы, горячо требуя наказания палача. Попы — неприятнейшая порода, но иногда они выказывали себя с хорошей стороны. Я имею в виду некоторые случаи, доказывающие, что не все попы были мошенниками и себялюбцами и что многие из них, особенно те, которые сами жили одной жизнью с народом, искренне, бесхитростно и набожно старались облегчить страдания и горести людей. Это очень меня огорчало, но я не мог ничего изменить и потому мало над этим задумывался; я не имею обыкновения размышлять о вещах, которые не в силах изменить. Мне это не очень нравилось, потому что привязывало народ к господствующей церкви. Что говорить, без религии пока не обойдешься, но мне больше нравится, когда церковь разделена на сорок независимых враждующих сект, как было в Соединенных Штатах в мое время. Концентрация власти в политической

организации всегда нехороша, а господствующая церковь — организация политическая: она создана ради политических целей; она выпестована и раскормлена ради них; она враг свободы, а то добро, которое она делает, она делала бы еще лучше, если бы была разделена на много сект. Это, разумеется, не обязательно, не надо к этому относиться как к священному писанию, но таково мое мнение, а я всего лишь человек, всего один человек, и мое мнение стоит не больше, чем мнение папы, но и не меньше.

Вздернуть палача на дыбу я не хотел, но не мог оставить без внимания справедливую жалобу попов. Он заслужил наказание, и я, сняв его с должности палача, назначил его на должность капельмейстера во вновь организуемый оркестр. Он умолял меня о пощаде, он уверял, что не умеет играть, — отговорка вообще уважительная, но в данном случае ничего не значащая: во всей стране не было музыканта, который умел бы играть.

Королева наутро просто вышла из себя, узнав, что она не получит ни жизни Хьюго, ни его имущества. Но я объяснил, что ей придется терпеливо нести этот крест, так как, хотя закон и обычай дают ей право на жизнь и имущество этого человека, я усмотрел в деле смягчающие обстоятельства и помиловал его именем короля Артура. Олень опустошил поля этого человека, и он убил его в запальчивости, а не ради выгоды; потом он отнес его в королевский лес, надеясь, что благодаря этому отыскать виновного не удастся. Но втолковать ей, будь она проклята, что запальчивость является смягчающим вину обстоятельством при убийстве и дичи и человека, я не мог, а потому замолчал и предоставил ей сердиться, сколько она хочет. Объясняя, я, между прочим, сказал ей, что порыв гнева, охвативший ее, когда она убила пажу, является обстоятельством, несколько смягчающим преступление.

— Преступление! — воскликнула она. — О чем ты говоришь? Преступление, бог ты мой! Ведь я собираюсь заплатить за это!

Убеждать ее было бесполезно. Взглядов, привитых с детства, не выбьешь ничем; воспитание — это все.

Мы говорим о характере. Глупости: никаких характеров не существует; то, что мы называем характером, — попросту наследственность и воспитание. У нас нет собственных мыслей, собственных мнений. Наши мысли и мнения передаются нам, складываются под влиянием воспитания. Все, что есть у нас собственного и что, следовательно, является нашей заслугой или нашей виной, может поместиться на кончике иголки, все же остальное нам передал длинный ряд предков, начиная с медузы, или кузнечика, или обезьяны, от которых после биллионов лет столь утомительного, поучительного и невыгодного развития произошла наша теперешняя порода. Я же со своей стороны в этом трудном и нерадостном паломничестве между двумя вечностями стремлюсь только к тому, чтобы прожить жизнь чисто, возвышенно, безупречно и сохранить ту микроскопическую частицу, которая, собственно, и составляет все мое подлинное я; остальное может отправляться хоть в преисподнюю, мне безразлично.

Нет, будь она проклята, эта королева. Ума у нее в голове было достаточно, но воспитание превратило ее в ослицу, — конечно, лишь с точки зрения людей, родившихся много столетий спустя. Убийство пажа — не преступление, а осуществление ее права; и она спокойно отстаивала свое право, не сознавая его несправедливости. Она была воспитана в неколебимом и не требующем проверки убеждении, что закон, разрешающий ей убивать своих подданных, когда она пожелает, правилен и справедлив.

Ну что ж, даже сатане нужно отдать должное. Она, в сущности, заслуживала похвалы; но похвалить ее я не мог, слова застревали у меня в горле. Убить мальчика она имела право и вовсе не была обязана платить за это убийство. Закон, требовавший уплаты за убийство, касался других, но не ее. Она вполне сознавала, что поступает великодушно и благородно, платя за этого мальчика, и что я из справедливости должен был похвалить ее за такой поступок; но я не мог, у меня язык не поворачивался. Мне все представлялась несчастная старая дама с разбитым сердцем и хорошенький мальчик в шелковом наряде, залитом его чистой

кровью. Разве можно оплатить его смерть? Кому она будет платить? И, зная, что эта женщина, при ее воспитании, заслуживает похвалы и даже восхищения, я, воспитанный по-другому, не мог ее похвалить. Пересплотив себя, я сказал ей, что ее похвалят другие, — на большее я не был способен:

— Ваше величество, ваш народ будет боготворить вас за это.

То, что я сказал ей, было правдой, но в глубине души я мечтал дожить до того дня, когда мне удастся повесить ее за этот благородный поступок. Очень уж плохи были многие законы, слишком уж плохи. Господин имел право убить своего раба без всякой причины — в раздражении, в злости или просто ради развлечения; и человек, носящий корону, тоже имел право убить своего раба, то есть любого человека. Дворянин имел право убить простолюдина, но должен был заплатить за убийство деньгами или хлебом. Дворянин имел по закону право убить другого дворянина совершенно бесплатно, но мог ожидать мести. *Всякий*, кроме простолюдина и раба, имел право убить *кого-нибудь*; простолюдин и раб такой привилегией не пользовались. Если они убивали кого-нибудь, это так и считалось — убийством, а закон запрещал убийства. Если убитый был человек более знатный, чем убийца, с убийцей и его семьей жестоко расправлялись. Если простолюдин наносил дворянину хотя бы совершенно безвредную для жизни царапину, ему платили за это полной мерой: его привязывали к лошадям и разрывали на части, и целые толпы сбегались посмотреть на это зрелище, чтобы повеселиться и приятно провести время; некоторые развлечения этого изысканного общества были столь же преступны и столь же непечатны, как и те, о которых напечатал милейший Казанова в своей главе, посвященной четвертованию одного из могущественных недругов Людовика XV.

Я уже достаточно нагляделся на этот ужасный замок, и мне хотелось покинуть его; но я не мог уехать, не выполнив одного замысла, о котором совесть не давала мне позабыть. Если бы мне пришлось заново создавать человека, я не вложил бы в него совесть. Со-

весть доставляет человеку столько неприятностей; и хотя в ней много хорошего, она в конце концов не окупается; лучше бы уж поменьше хорошего, да побольше удобного. Впрочем, это мое личное мнение, а я всего лишь один человек; люди, не испытывавшие того, что испытал я, могут думать иначе. Они имеют полное право придерживаться своей собственной точки зрения. Я настаиваю только вот на чем: в течение многих лет наблюдая за своей совестью, я убедился, что она доставляет мне множество беспокойств и мучений. Вероятно, вначале я ценил это, потому что мы ценим все, чем обладаем; но теперь я вижу, как глупо ценить беспокойства, причиняемые совестью. Абсурдность всего этого вопроса станет особенно ясна, когда мы посмотрим на него с другой стороны; если бы во мне была наковальня, неужели я ценил бы ее? Конечно нет. А ведь по правде сказать, с точки зрения удобства совершенно безразлично, что таскать в себе — совесть или наковальню. Я замечал это тысячи раз. К тому же, если вам неведомо, что такое наковальня, вы можете выжечь ее какими-нибудь кислотами; но не существует никаких способов избавиться от совести, пока она сама не заглохнет, — мне, во всяком случае, такие способы не известны.

Словом, я задумал сделать до отъезда одно дело, весьма, впрочем, неприятное. И все же мысль о нем мучила меня все утро. Я, конечно, мог бы поговорить об этом деле со старым королем, но толку бы все равно не добился, — король был потухшим вулканом; в свое время вулкан этот действовал, но пламя его уже давно погасло, и от него осталась только величаяя грудa пепла; нет, король был добродушен, ласков, способен меня понять, но бесполезен. Он здесь не значил ничего, этот так называемый король; вся власть находилась в руках королевы. Она была настоящим Везувием. Из любезности она могла зажарить для вас стаю воробьев, но тут же воспользоваться этим предлогом, вызвать настоящее извержение огненной лавы и похоронить целый город. Впрочем, бывает, что вы ждете самого худшего, а на деле все оказывается вовсе не так уж плохо.

Я набрался храбрости и обратился к ее величеству. Я сказал, что недавно произвел общий осмотр темниц в Камелоте и окрестных замках и, если она разрешит, охотно посмотрел бы и ее коллекцию узников. Она заупрямилась; впрочем, этого я и ожидал. А потом согласилась. Этого я ожидал тоже, но не думал, что она согласится так скоро. И почувствовал облегчение. Она кликнула воинов с факелами, и мы отправились вниз, в темницу. Темница находилась под замком и состояла из множества крохотных камер, выдолбленных прямо в скале. В некоторые вовсе не проникал свет. В одной из них мы обнаружили женщину в лохмотьях, которая сидела на земле, не произнося ни слова и не отвечая на наши вопросы; только раз или два она взглянула на нас сквозь паутину падавших ей на лицо спутанных волос, словно хотела разглядеть, кто это вместе со светом и шумом ворвался в ее унылые смутные сны, которые стали ее жизнью; затем она опять склонила лицо, сложив на коленях руки с грязными пальцами, и больше не двигалась. Этой женщине, похожей на мешок костей, с виду было лет около сорока; но только с виду: она просидела в темнице девять лет, и ей было всего восемнадцать, когда ее посадили сюда. Она была простолюдинка, и ее отправил в темницу сэр Брез-Санс-Питэ, соседний лорд; ее отец был вассалом этого лорда; лорд посадил ее сюда за то, что она в ночь своей свадьбы отказала ему в том, что впоследствии получило название права сеньора, и, мстя за насилие насильем, пролила полрюмки его почти священной крови. На помощь невесте прибежал ее жених, думая, что жизни ее угрожает опасность, и вытолкнул в гостиную, прямо в толпу перепуганных, дрожащих гостей, удивленного таким странным обращением и глубоко обиженного лорда. У лорда его собственная темница была набита битком, и он попросил королеву приютить обоих его преступников. С тех пор они так и сидели в этой темнице; их швырнули сюда через час после того, как они совершили преступление, и больше они уже ни разу не видались. Девять лет они провели в непроницаемой тьме, замурованные в скале, в пятидесяти футах друг от друга; в течение девяти лет их раз-

деляла только стена, но они ничего не знали друг о друге. В первые годы они только и спрашивали, с мольбами и со слезами, которые могли бы тронуть даже камни: «Жив ли он?» — «Жива ли она?» Но сердца менее чувствительны, нежели камни, и ответа они не получали; со временем они перестали спрашивать — и об этом, и обо всем остальном.

Выслушав их повесть, я пожелал посмотреть жениха. Ему было тридцать четыре года, но на вид — шестьдесят. Он сидел на квадратном камне, склонив голову, положив локти на колени; длинные волосы закрывали его лицо; он что-то бормотал про себя. Он поднял голову и медленно обвел нас взглядом, равнодушным и унылым, болезненно щурясь от света факелов, затем опять опустил голову, забормотал и больше не обращал на нас никакого внимания. Но были немые свидетели, достаточно красноречиво говорившие о том, что он испытал. На его запястьях и лодыжках виднелись рубцы, старые, почти сгладившиеся, а к камню, на котором он сидел, была прикреплена цепь с наручниками и кандалами; но наручники и кандалы валялись на земле, покрытые толстым слоем ржавчины. Кандалы становятся ненужными, когда узник падает духом.

Мне не удалось заставить этого человека очнуться; и я велел отвести его к ней, к его невесте, которая когда-то была для него воплощением всей земной красоты — розами, росой, жемчугами, одетыми в плоть, — дивным и искусным созданием природы: с глазами, каких нет ни у кого, с голосом, какого нет ни у кого, со свежестью, с гибким изяществом, с прелестью, свойственной, как ему казалось, лишь созданиям мечты. При виде ее снова закипит его застоявшаяся кровь, при виде ее...

Но мне пришлось в этом разочароваться. Они сели рядом на землю и посмотрели друг другу в лицо с каким-то смутным удивлением, с еле приметным животным любопытством; затем забыли друг о друге, опустили глаза, и было видно, что мысли их опять блуждают в далекой стране видений и теней, о которой мы ничего не знаем,

Я велел их выпустить и отправить к друзьям. Королеве это не очень понравилось. Лично она в этом деле заинтересована не была, но ей казалось, что это неучтиво по отношению к сэру Брезу-Санс-Питэ. Я, однако, уверил ее, что, если он начнет волноваться, я найду способы его успокоить.

Из этих крысиных нор я выпустил на свободу сорок семь узников и только одного оставил в заключении. Это был лорд, убивший другого лорда, дальнего родственника королевы. Тот, другой лорд, сам хотел убить этого лорда и заманивал его в засаду, но этот лорд одолел того и перерезал ему горло. Я оставил его в темнице вовсе не за это убийство, а за то, что он по злобе засыпал общественный колодец в одной из своих нищих деревушек. Королева собиралась его повесить за то, что он убил ее родственника, но я ей не позволил: не преступление убить того, кто нападает на вас с целью убийства. Однако я охотно разрешил ей повесить его за то, что он засыпал колодец, и она этим удовлетворилась, придя к заключению, что это лучше, чем ничего.

Боже, за какие ничтожные провинности попало в темницу большинство из этих сорока семи мужчин и женщин! Некоторые вообще ни в чем не были виноваты, а оказались в темнице просто потому, что рассердили кого-нибудь, и порой даже не королеву, а кого-нибудь из ее друзей. Тот узник, который попал сюда последним, сидел здесь за несколько неосторожных слов. Он сказал, что все люди одинаковы и отличаются друг от друга только по платью. Он сказал, что если весь народ раздеть донага и показать его чужезатранцу, тот не отличит короля от лекаря и герцога от лакея. По-видимому, идиотское воспитание еще не успело превратить в кашу мозги этого человека. Я выпустил его из темницы и отправил на Фабрику.

Некоторые камеры были вырублены в скале, нависшей над пропастью; в каждой из таких камер была узенькая, как стрела, щелка, сквозь которую к узнику проникал благословенный солнечный луч. Одному из узников, заключенных в таких камерах, пришлось особенно тяжело. Из своего темного ласточкиного гнезда

на высокой скале он сквозь щель мог видеть свой собственный дом там внизу, в долине; и двадцать два года он смотрел на него с болью в сердце, с тоской. Ночью он видел, как в окнах зажигались огни, днем — как входили и выходили люди; кто именно, он на таком расстоянии разглядеть не мог, но знал — то его жена и дети. Не раз за эти годы он видел в доме праздники, и старался радоваться, и спрашивал себя: уж не свадьба ли это? Видел он и похороны; они истерзали его сердце. Он отлично различал гроб, но не мог определить его величины и не знал, кто умер — жена или ребенок. Он видел, как погребальное шествие с попами и плакальщиками торжественно двигалось в путь, унося с собой тайну, которую он не в силах разгадать. Он оставил дома пятерых детей и жену; за девятнадцать лет он пять раз видел похороны, и они всякий раз были так пышны, что он знал: хоронят не слугу. Следовательно, он уже потерял пять своих сокровищ; одно еще оставалось — бесконечно, невыразимо драгоценное, — но которое? Жена? Или ребенок?

Этот вопрос мучил его ночью и днем, когда он спал и когда он бодрствовал. Ну что ж, жизнь его была не пуста, а тонкий луч света в темнице хорошо предохраняет тело и разум от разрушения. Здоровье его оказалось в порядке. Когда он поведал мне свою печальную повесть, я испытал то, что испытали бы и вы, если у вас есть хоть немного любопытства: я не меньше, чем он сам, сгорал от желания узнать, кто из его семьи остался жив. Я отвез его домой; я был свидетелем изумления его родных, тайфунов и циклонов неистовой радости и целой Ниагары счастливых слез. И — боже! — жена его, когда-то совсем молодая, оказалась пятидесятилетней седеющей матроной, а дети выросли и сами обзавелись семьями, и никто из всей его семьи не умер! Подумать только, до чего дошла королева в своей дьявольской изобретательности: особенно ненавидя этого узника, она нарочно подстроила все те похороны, чтобы истерзать его сердце; и всего гениальней была ее последняя выдумка — оставить одного из членов семьи непохороненным и измучить его старую несчастную душу догадками.

Если бы не я, он так и умер бы в темноте. Фея Моргана ненавидела его всем сердцем и никогда бы его не помиловала. Между тем преступление свое он совершил по легкомыслию, а не по злему умыслу. Он сказал, что у нее рыжие волосы. Так оно, конечно, и было, но говорить об этом не стоило. Когда рыжие люди занимают высокое положение в обществе, волосы их надо называть каштановыми.

О пятерых из этих сорока семи узников уже не было известно ни того, когда они посажены, ни того, какое преступление они совершили, ни того, как их зовут. Это были женщина и четверо мужчин — согбенные, морщинистые старцы с потухшим разумом. Они и сами давным-давно забыли все эти мелочи; ничего определенного они сказать о себе не могли, а только строили смутные догадки, всякий раз иные. К темнице приставлены были попы, которые ежедневно молились вместе с узниками; попы внушали им, что они очутились здесь по воле божией, что бог, в своем неизреченной мудрости, лучше знает их подлинные нужды, и учили их, что смирение, терпение и покорность угнетателям в людях низкого происхождения угодны богу. Пока те пятеро сидели в темнице, попы сменялись несколько раз, и сохранились лишь смутные предания о прошлом этих жалких людских обломков. Да и предания могли сообщить только о сроках заключения, но не о преступлениях и именах. С помощью этих преданий удалось установить, что ни один из пятерых не видел дневного света по крайней мере тридцать пять лет; но сколько времени он не видел дневного света до этих тридцати пяти лет, установить было невозможно. Король и королева знали об этих несчастных лишь то, что получили их по наследству вместе с тронном от прежней фирмы. Однако по наследству перешли только люди, а не сведения о них, и потому наследники не придавали им никакой цены и не проявляли к ним никакого любопытства. Я спросил королеву:

— Так почему же вы не отпустили их на свободу?

Этот вопрос поставил ее в тупик. В самом деле — почему? Просто это ей не приходило в голову. Так, сама того не ведая, она предугадала историю будущих

узников замка Иф. Я понимал, что с ее точки зрения эти унаследованные узники^х были просто имуществом. А когда нам достается по наследству имущество, мы не бросаем его, даже если оно для нас не имеет никакой цены.

Стоило поглядеть на шествие этих летучих мышей, когда я вывел их на волю, на яркое вечернее солнце, завязав им глаза, чтобы они не ослепли от света. Скелеты, привидения, вороны пугала — вот кем стали эти законнейшие дети монархии милостью божией и господствующей церкви. Я рассеянно пробормотал:

— Вот бы их сфотографировать!

Вам, конечно, встречались люди, которые никогда не сознаются, что им неизвестно значение какого-нибудь звучного слова. И чем они невежественнее, тем больше они стараются показать, что их ничем не удивишь. Королева была как раз из таких и постоянно совершала глупейшие промахи. Услышав мои слова, она помедлила; затем ее лицо внезапно просияло, и она объявила, что сама сделает это для меня.

Я подумал: «Она? Что она смыслит в фотографии?» Но долго размышлять мне не пришлось. Она уже шла к освобожденным с топором в руках!

Ну и забавная женщина была эта фея Моргана! Много перевидал я женщин на своем веку, самых разных, но она была совсем особенная. И как характерен для нее этот случай. Она понимала в фотографии не больше, чем лошадь; но, не понимая, решила, что поступит правильно, отрубив старикам головы топором.

Глава XIX

СТРАНСТВУЮЩЕЕ РЫЦАРСТВО КАК РЕМЕСЛО

На следующий день, ранним сияющим утром, мы с Сэнди снова двинулись в путь. Так хорошо было дышать полной грудью, набирая в легкие целые бочонки чистого, освеженного росой, пахнущего лесом воздуха после двух дней и двух ночей, проведенных в нестерпи-

мой воннi старого совиного гнeзда, гдe мы духовно и телесно задыхались! Я, конечно, говорю только о себе, — Сэнди с детства привыкла к великосветской жизни и чувствовала себя в этом замке превосходно.

Бедная девушка, языку ее там пришлось отдохнуть, и я предугадывал, что все последствия этого отдыха обрушатся на меня. Я оказался прав; но она столько раз выручала меня и поддерживала в замке своей безмерной глупостью, которая была полезнее любой мудрости, что я решил позволить ей пустить в ход свою мельницу, — она этого заслужила. Я даже не вздрогнул, когда она начала:

— ...А теперь вернемся к сэру Мархаузу, который отправился на юг с дево́й тридцати зим от роду...

— Ты думаешь, эта повесть поможет тебе напасть на след тех ковбоев, Сэнди?

— Конечно, благородный милорд.

— Тогда продолжай. Я постараюсь тебя не перебивать. Начни сначала; смело ступай всеми копытами, я набью свою трубку и буду внимательно слушать.

— ...А теперь вернемся к сэру Мархаузу, который отправился на юг с дево́й тридцати зим от роду. Они въехали в дремучий лес, и в лесу их настигла ночь; по дну глубокого оврага они добрались до замка герцога Южных Болот и попросили пустить их переночевать. Наутро герцог послал за сэром Мархаузом и предложил ему приготовиться. Сэр Мархауз встал, надел латы, выслушал обедню, позавтракал и во дворе замка, где должна была произойти битва, сел на коня. Герцог, закованный в латы, уже ждал его на коне, и вместе с ним ждали шестеро его сынов с копьями в руках; и они съехались; герцог и два его сына обломали свои копья о сэра Мархауза, но сэр Мархауз держал свое копьe острием кверху и не тронул ни одного из них. И тогда кинулись на него попарно остальные четыре сына, и сначала первая пара обломала свои копья, а потом и вторая. Но сэр Мархауз не тронул их. Он поскакал к герцогу, ударил его своим копьем, и тот рухнул вместе с конем на землю. Потом сэр Мархауз поверг на землю шестерых его сынов. Тогда сэр Мархауз слез с коня и потребовал, чтобы герцог подчинился.

нился ему, а иначе он убьет его. Тем временем некоторые из сынов герцога очнулись и снова хотели напасть на сэра Мархауза. Тогда сэр Мархауз сказал герцогу: «Укроти своих сынов, а не то я убью вас всех». Герцог, видя, что жизни его угрожает неминуемая опасность, повелел своим сынам покориться сэру Мархаузу. Они все упали на колени и протянули рыцарю рукояти своих мечей, и рыцарь принял их мечи. Они помогли встать своему отцу, затем сообща дали сэру Мархаузу обет никогда не поднимать оружия против короля Артура, а в ближайший троицын день явиться к его двору и предать себя на его милость... Вот как было дело, благородный сэр Хозяин. Вы, конечно, уже догадались, что герцог и шестеро его сынов — те самые рыцари, которых вы несколько дней назад тоже победили и тоже отправили ко двору Артура!

— Не может быть, Сэнди, что ты!

— Если я лгу, пусть эта ложь падет на мою голову.

— Вот так история!.. Ну кто бы мог подумать? Целый герцог и шестеро герцогенят! Что ж, Сэнди, улов недурен. Ремесло странствующего рыцаря бессмысленное и очень утомительное, но теперь я начинаю понимать, что при удаче оно довольно доходно. Не думай, что я сам хочу приняться за это ремесло: я не примусь. Ни одно прочное и честное предприятие не может быть основано на спекуляции. Что останется от удачи странствующего рыцаря, если отбросить все глупости и взять только трезвые факты? Удача рыцаря — все равно что удача торговца свининой... Ты, конечно, разбогатеешь... разбогатеешь внезапно... на день, на неделю, может быть, а потом кто-нибудь другой завалит рынок свининой, и вся твоя торговля пошла прахом. Разве не так, Сэнди?

— Мой разум не поспевает за вашей речью, и самые простые слова кажутся мне такими длинными и запутанными...

— Нечего вилять, Сэнди. Как я сказал, так и есть. Я знаю, что это так. Скажу даже больше: если как следует разобраться, странствующее рыцарство хуже свиноторговли, ибо в случае неудачи свинина все-таки останется и кто-нибудь ее съест; а какое имущество

останется от странствующих рыцарей, если их постигнет неудача? Груда изрубленных тел и два воза железного лома. Разве это можно назвать имуществом? Нет — по мне, свиньи куда лучше! Прав я или не прав?

— Ах, должно быть, голова моя пострадала от всех пережитых нами за последнее время событий и приключений, и не только моя голова, и не только ваша голова, но обе наши головы, должно быть...

— Нет, голова твоя ни при чем, Сэнди. Голова твоя в порядке, но в делах ты не смыслишь ничего, вот в чем беда. Ты берешься спорить о делах и всякий раз попадаешь впросак. Но бросим этот разговор. Улов у нас хороший, — с таким уловом не стыдно будет показаться при дворе Артура. Кстати о ковбоях — какая удивительная тут страна: здешние женщины и мужчины совсем не стареют. Взять, например, фею Моргану — на вид она молода, как курочка из Вассара! Или этот старый герцог Южных Болот, он до сих пор машет то мечом, то копьём — и это в его-то годы, и при таком огромном семействе! Если я не ошибаюсь, сэр Гоуэн убил семерых его сыновей, и тем не менее у него осталось еще шестеро для сэра Мархауза и для меня. Или, например, та дева шестидесяти зим от роду, которая все еще разъезжает по свету, несмотря на свой преклонный возраст, овеянный холодом могилы... А тебе сколько лет, Сэнди?

Она впервые не ответила мне на вопрос. Вероятно, мельница ее стала на ремонт.

Глава XX

ЗАМОК ЛЮДОЕДА

За три часа, с шести утра до девяти, мы проехали десять миль; это было немало для лошади, везущей тройную ношу — мужчину, женщину и железные доспехи; затем мы долго отдыхали под деревьями у прозрачного ручья.

Внезапно мы увидели рыцаря, который медленно приближался к нам. Приближаясь, он горько сетовал на злую долю. Прислушавшись, я понял, что он ругается последними словами. Тем не менее я обрадовался ему, потому что на груди у него висела доска, на которой сияющими золотыми буквами было написано:

***Употребляйте Петерсонову
профилактическую
зубную щетку!***

Последняя новинка!

Я обрадовался ему, так как понял, что это один из моих рыцарей. Он оказался сэром Мэдоком де ля Монтэном, высоким здоровяком, который прославился тем, что однажды чуть было не сбросил с коня сэра Ланселота. Каждому новому знакомому он непременно под каким-нибудь предлогом рассказывал об этом великом событии. Но в его жизни было и другое событие, почти столь же великое, — он от него не отрекался, хотя и не рассказывал о нем, если его не спрашивали; суть этого второго события заключалась в том, что ему только оттого не удалось сбросить сэра Ланселота с коня, что сэр Ланселот, не дождавшись, сбросил с коня его самого. Этот простодушный увалень не видел большой разницы между этими двумя событиями. Мне он нравился, и я дорожил им, потому что он относился к своей работе добросовестно. Было приятно поглядеть на его широкие плечи, на его львиную голову, украшенную перьями, на его большой щит со странным гербом — изображение руки в железной перчатке, держащей зубную щетку, и девиз: «Требуите Нойодонт». Нойодонтом называлась зубная паста, пущенная мною в продажу.

Он сказал мне, что очень устал, — и действительно вид у него был изнуренный, но слезть с коня он не хотел. Он объяснил, что гонится за человеком, распространяющим политуру для печек. Вспомнив о нем, он

снова принялся отчаянно ругаться. Распространение печной политуры было поручено сэру Оссэзу Сюрлюзскому, храброму рыцарю, известному тем, что однажды на турнире он сразился с самим сэром Гахерисом, — впрочем, безуспешно. Он был весельчак и насмешник и ни к чему на свете не относился серьезно. Это его свойство и побудило меня поручить ему пропаганду печной политуры. Дело в том, что железных печек у нас еще не существовало, и потому о печной политуре нельзя было говорить серьезно. От такого агента требовалось только одно — осторожно и постепенно подготавливать публику к предстоящей великой перемене, чтобы к тому времени, когда на сцене появится железная печь, публика уже понимала необходимость содержать ее опрятно.

Сэр Мэдок был расстроен и ругался неистово. Он вполне сознавал, что эти ругательства доведут его душу до ада, но не мог удержаться; он не хотел слезть с коня, не хотел отдохнуть, не хотел ничего слушать, пока не найдет сэра Оссэза и не посчитается с ним. Из бессвязных его речей я понял, что на рассвете он случайно встретил сэра Оссэза, и тот сказал ему, что, если он поедет напрямик через горы и доли, через поля и болота, он нагонит путешественников, которые, несомненно, раскупят и всю его зубную пасту и все зубные щетки. Сэр Мэдок, со свойственным ему усердием, тотчас же отправился по указанному направлению и после трех часов мучительной скачки нагнал свою добычу. И что же? Это были пять престарелых узников, накануне выпущенных мною из тюрьмы. У них, у бедняг, последние зубы выпали двадцать лет назад, даже корней не осталось!

— Я его сотру в порошок, — сказал сэр Мэдок. — Я его отполирую, как печку. Если бы мне поперек дороги стал рыцарь и почище этого Оссэза, так и тот бы не снес головы. Только бы мне поймать его! Я дал великую клятву отомстить ему, и я отомщу!

После этих слов и многих других он потряс своим копьём и поскакал дальше. А перед вечером, в маленькой бедной деревушке, мы сами повстречали одного из тех старцев. Он грелся в лучах любви родных

и друзей, которых не видел пятьдесят лет; к нему ласкались его потомки, которых он не видел никогда; но для него и те и другие были равно чужими, потому что память его потухла и разум умер. Казалось невероятным, что человек в состоянии прожить полстолетия в темной норе, словно крыса; но его старуха жена и уцелевшие сверстники подтвердили нам, что так оно и было. Они помнили, как он, сильный, здоровый мужчина, поцеловал свою дочку, передал ее на руки матери и удалился во тьму забвения. Обитатели замка не знали, сколько лет просидел в темнице этот человек за какую-то давно забытую вину. Но старуха жена знала; знала и старуха дочь, уже окруженная женатыми сыновьями и замужними дочерьми; она жадно вглядывалась в отца, который всю ее жизнь был для нее всего лишь именем, мыслью, бестелесным образом, преданием — и вдруг возник перед нею живым человеком.

Любопытно, не правда ли? Но я отметил в своих записках это происшествие по другой причине — еще более, на мой взгляд, любопытной. Даже такое страшное дело не вызвало в этих людях ни малейшей вспышки гнева против своих притеснителей. И сами они, и их предки так долго терпели бесконечные жестокости и обиды, что удивить их можно было разве только добротой. Да, любопытно было видеть, до какой глубины падения рабство довело народ. Эти люди вполне приспособились к смирению, терпению, к немой покорности перед всем, что выпадало в жизни на их долю. Даже воображение в них было убито. А когда в человеке убито воображение, это значит, что он дошел до самого дна и дальше ему идти уже некуда.

Я пожалел, что поехал этой дорогой. Впечатления были не из приятных для государственного деятеля, мечтающего произвести революцию мирным путем. Ибо эти впечатления подтверждали неоспоримую истину, что, сколько бы ни болтали благодушествующие философы, стараясь доказать обратное, еще ни один народ не купил себе свободы приятными рассуждениями и моральными доводами, и все успешные революции начинались с насилия; это исторический за-

кон, который обойти невозможно. Если история чему-нибудь учит, так именно этому закону. Следовательно, этот народ должен завоевать власть террором и гильотиной, а я для этого человек неподходящий.

Два дня спустя, около полудня, Сэнди начала обнаруживать признаки волнения и лихорадочного ожидания. Она сказала, что мы приближаемся к замку людоеда. Я был удивлен, и, признаться, удивлен неприятно. Цель нашего путешествия мало-помалу выпала из моего сознания, и теперь, когда мне о ней внезапно напомнили, я был потрясен ее необычайностью и близостью. Сэнди с каждой минутой волновалась все больше; я тоже, ибо волнение заразительно. Сердце у меня забилося. С сердцем ведь не поспоришь — оно может забиться и от таких причин, которые разумом презираешь. Когда же Сэнди, попросив меня остановиться, соскользнула с коня и, согнувшись почти до земли, крадучись двинулась к кустам, которые росли на краю обрыва, сердцебиение стало еще сильнее. Оно не прекратилось и тогда, когда Сэнди, спрятавшись в кустах, внимательно вглядывалась в простор через долину, и тогда, когда я подползал к ней на коленях. Глаза ее горели; ткнув пальцем вдаль, она, задыхаясь, прошептала:

— Замок! Замок! Смотрите! Вот он!

Какое приятное разочарование!

Я сказал:

— Замок? Да ведь это свиной хлев. Свиной хлев, обнесенный плетнем.

Сэнди взглянула на меня удивленно и грустно. Лицо ее нахмурилось; она задумалась и молчала.

— Прежде он не был заколдован, — сказала она наконец, словно размышляя вслух. — Какое странное чудо, какое ужасное чудо — одни видят его превращенным чарами в нечто низменное и постыдное, а другие видят его прежним — неизменным, могучим и прекрасным, видят глубокий ров, окружающий его, видят флаги на башнях, тонущие в голубизне небес. Защити нас, господь! Сердце мое замирает при мысли, что я скоро опять увижу прелестных пленниц и что милые лица их омрачены еще более глубокой скорбью, чем

прежде. Мы прибыли слишком поздно и потому достойны хулы.

Я понял, что я должен сказать. Замок заколдован для меня, но не для нее. Спорить с ней, убеждать ее — пустая трата времени; мне остается только согласиться. И я сказал:

— Это часто бывает: одна и та же вещь для одного заколдована, а для другого нет. Ты, конечно, слыхала о подобных случаях, Сэнди, хотя и не встречалась с ними. Но нам горевать нечего. Напротив, так даже лучше. Если бы эти дамы казались свиньями всем, в том числе и самим себе, нужно было бы их расколдовать; а для того чтобы их расколдовать, нужно знать, каким именно способом они были заколдованы. Снятие чар — дело опасное, ибо, не имея правильного ключа к тем чарам, которыми они были заколдованы, можно по ошибке обратить свиней в собак, собак в кошек, кошек в крыс и так далее, пока весь ваш материал не сойдет на нет, или, вернее, пока он не превратится в газ без цвета и запаха, что, в сущности, одно и то же. Но, по счастью, они заколдованы для меня одного, и потому расколдовывать их нет надобности. Эти дамы остались дамами для тебя, для себя и для всех остальных; а от моего заблуждения они не пострадают, ибо я, видя свинью, но зная, что свинья эта в действительности дама, буду обращаться с ней как с дамой.

— Благодарю вас, сладчайший милорд, вы говорите как ангел. Я знала, что вы освободите их, ибо вы отважный и могучий рыцарь, с которым не может сравниться никто из живущих на земле.

— Я не способен оставить принцессу в хлеву, Сэнди. Но скажи мне, кто эти трое, которые кажутся моему ослепленному взору нищими пастухами?..

— Это людоеды. Значит, их облик изменен тоже? Удивительно! Теперь я начинаю бояться: как будете вы рассчитывать свои удары, когда пять локтей из девяти, составляющих их рост, для вас невидимы? Ах, будьте осторожны, благородный сэр; подвиг, который вам предстоит, опаснее, чем я предполагала.

— Не беспокойся, Сэнди. С меня довольно знать, какая именно доля людоеда невидима, и я без труда

догадаюсь, где находятся его важнейшие органы. Не бойся, я живо справлюсь с этими прохвостами. Жди меня здесь.

Она опустилась на колени; лицо ее было смертельно бледно, но сердце полно отваги и надежды; оставив ее, я подъехал к свиному хлеву и вступил в переговоры с пастухами. Они с благодарностью продали мне всех своих свиней оптом; я заплатил им шестнадцать пенни — значительно выше рыночной цены. Я явился очень кстати, так как на завтра они ждали к себе в гости церковь, лорда и сборщиков податей, которые оставили бы пастухов без свиней, а Сэнди без принцесс. Но теперь подати они могли уплатить деньгами и у них еще кое-что оставалось. У одного из этих пастухов было десять человек детей; он рассказал, что, когда в прошлом году пришел поп и взял самую жирную свинью из десяти, жена его кинулась к попу, протянув ему ребенка и крича:

— Зверь бесчувственный, возьми и ребенка, если ты лишил меня возможности кормить его.

Удивительное совпадение! Такой же самый случай произошел и в мое время в Уэльсе, где властвует та же самая древняя господствующая церковь. Многие думают, что она изменила свою сущность, но в действительности она изменила только свою внешность.

Я отослал пастухов, распахнул двери хлева и погнал Сэнди. И она пришла; не пришла, а прибежала, принеслась, словно степной пожар. И когда я увидел, как она кидается от одной свиньи к другой, как слезы радости текут по ее щекам, как она прижимает свиней к сердцу, как целует их, как ласкает их, как называет их звучными аристократическими именами, мне стало стыдно за нее и человечество.

Нам предстояло гнать этих свиней домой — десять миль; и какие это были упрямые и непослушные дамы. Они не хотели идти ни по дороге, ни по тропинке; они разбегались во все стороны, залезали на скалы, на холмы, забирались в такие места, откуда их невозможно было достать. А бить их я не имел права, потому что Сэнди требовала, чтобы я обращался с ними так, как подобает обращаться с высокими особами. Даже са-

мую несносную, самую старую хавронью из всех приходилось называть «миледи» и «ваше высочество». Тяжело и неприятно бегать в латах за свиньями то туда, то сюда. Особенно много хлопот доставила мне одна маленькая графиня с железным кольцом, продетым сквозь пяточок, и почти без щетины на спине; она была непослушна, как дьявол. Она заставила меня гоняться за собой целый час по самым непроходимым местам; и когда я догнал ее, мы оказались там, откуда началась погоня, не продвинувшись вперед ни на шаг. Я схватил ее наконец за хвост и поволок, не обращая внимания на визг. Но Сэнди пришла в ужас и заявила, что в высшей степени неделикатно волочить графиню за шлейф.

Уже стемнело, когда мы пригнали свиней в какое-то поместье, — не всех, но большинство. Не хватало принцессы Неровенс де Морганор и двух ее фрейлин — мисс Анджели Бохун и девы Элен Куртмэн; первая из этих двух была молоденькая черная свинка с белым пятном на лбу, а вторая — бурая, слегка прихрамывающая на переднюю правую ногу: обе меня совершенно замучили, столько я гонялся за ними. Недоставало также нескольких простых баронесс, и, признаться, их отсутствие несколько меня не огорчило; но нет — всю эту колбасную начинку нужно было найти; за ними послали слуг с факелами, приказав им обшарить леса и горы.

Разумеется, все стадо поместили в доме. Господи, никогда я ничего подобного не видал! Никогда я ничего подобного не слышал! Никогда я ничего подобного не нюхал! Словно взбесился газовый счетчик.

Глава XXI

ПАЛОМНИКИ

Наконец я добрался до постели! Я чувствовал себя несказанно утомленным; как приятно, как сладостно было вытянуться, расправить затекшие мышцы! Но этим все и ограничилось, — о том, чтоб уснуть, не

могло быть и речи. Аристократки визжали и хрюкали во всех коридорах и залах, как сборище чертей, и мешали мне спать. Когда я не сплю, я, естественно, размышляю; и размышлял я главным образом о странном заблуждении Сэнди. Она, конечно, была вполне здорова; однако вела она себя, с моей точки зрения, как сумасшедшая. Вот оно, могущество воспитания, внушения, обучения! Человека можно заставить поверить во все что угодно. Я ставил себя на место Сэнди и убеждался, что она вовсе не сумасшедшая. Стань Сэнди на мое место, и она без труда поняла бы, как легко показаться сумасшедшим в глазах человека, которого учили и воспитывали иначе. Если бы я сказал Сэнди, что я видел повозку, которая без всякого колдовства неслась со скоростью пятьдесят миль в час, что я видел человека, который, не будучи чародеем, садился в корзинку и летел за облака, что я без помощи волшебства разговаривал с человеком, который находился от меня на расстоянии многих сотен миль, — она сразу пришла бы к непоколебимому убеждению, что я сумасшедший. Все вокруг нее верили в колдовство, никто в существовании колдовства не сомневался; жители королевства Артура так же не сомневались в возможности превратить замок в хлев, а его обитателей в свиней, как жители Коннектикута не сомневаются в возможности говорить по телефону, — и в обоих случаях сомнение было бы неопровержимым доказательством сумасшествия. Да, я вынужден был признать, что Сэнди здорова. А чтобы и Сэнди меня считала здоровым, я должен держать свои сведения о действующих без помощи чар паровозах, воздушных шарах и телефонах про себя. Я, например, верил, что земля не плоская, что стоит она не на столбах и что над ней нет балдахина, защищающего ее от вод, которыми заполнено все пространство над небом. Но так как во всем королевстве я был единственным человеком, придерживающимся таких нечестивых и, преступных взглядов, я понимал, что мне следует о них помалкивать, если я не желаю, чтобы на меня показывали пальцами, как на помешанного.

Утром Сэнди собрала свиней в столовой и угостила их завтраком, причем сама им прислуживала с тем глубоким почтением, которое уроженцы ее острова, древние и современные, всегда питают к людям знатного происхождения, независимо от их умственных и нравственных качеств. Меня тоже усадили бы вместе со свиньями, если бы мое происхождение соответствовало тому высокому положению, которое я занимал; но, как человек безродный, я вынужден был есть отдельно от них и, по правде сказать, не жаловался. Мы с Сэнди завтракали за особым столом. Хозяев не было дома. Я сказал:

— Большая тут семья, Сэнди, или маленькая? И где она?

— Семья?

— Да.

— Какая семья, мой добрейший лорд?

— Которая здесь живет; твоя семья.

— Должна признаться, я вас не понимаю. У меня нет никакой семьи.

— Никакой семьи? А разве это не твой дом, Сэнди?

— Как он может быть моим? У меня нет никакого дома.

— Так чей же это дом?

— Я охотно ответила бы вам, если бы знала.

— Как, ты не знаешь хозяев этого дома? Кто же нас пригласил сюда?

— Никто нас не приглашал. Мы сами пришли, вот и все.

— Послушай, девушка, ведь это же верх наглости. Мы нахально влезли в чужой дом, набили его доверху единственной аристократией, которая хоть что-нибудь стоит, а потом оказалось, что мы даже не знаем имени хозяина. Как ты осмелилась совершить такое из ряда вон выходящее самоуправство? Я был убежден, что это твой дом. Что скажет хозяин?

— Что скажет хозяин? А что он может сказать? Он нас поблагодарит.

— Поблагодарит? За что?

На лице у Сэнди было полнейшее недоумение.

— Ваши странные речи смущают меня. Неужели вы думаете, что хозяину этого дома еще когда-нибудь выпадет честь принимать у себя столь важных гостей, как те, которые благодаря нам удостоили его своим посещением?

— Нет, пожалуй, такая честь ему никогда уже больше не выпадет. Я даже готов биться об заклад, что подобным посещением он удостоен впервые.

— Так пусть он будет нам благодарен, пусть проявит свою благодарность речами и должным смирением. Если он поступит иначе, он просто пес, потомок и предок псов.

Однако я чувствовал себя неловко и опасался попасть в еще более неловкое положение. Пожалуй, всего благоразумнее забрать наших свиней и убраться. И я сказал:

— Мы зря тратим время, Сэнди. Пора собрать наших аристократок и двинуться в путь.

— Куда, благородный сэр и Хозяин?

— Как куда? Надо отвезти их домой.

— Вы только послушайте, что он говорит! Да они родились в разных концах земли! Каждая из них должна быть доставлена в ее собственный дом; но неужели вы думаете, что мы в состоянии совершить все эти путешествия за короткую жизнь, которой положил такой близкий предел тот, кто создал жизнь и смерть, создав Адама, согрешившего, вняв увещаниям своей подруги, введенной в соблазн величайшим врагом человека, змеиным князем Сатаной, от века влекомым к этому злему делу непреодолимою злобой и завистью, свившими гнездо в его сердце из-за несбывшихся честолюбивых притязаний, которые исказили и загрязнили облик этого духа, некогда столь чистого и столь непорочного, что и ему было позволено витать вместе с лучезарными сонмами своих собратий в славе тех самых небес, где витают только достойные и...

— Черт побери!

— Милорд!

— Ты же знаешь, что у нас нет времени на такие длинные рассуждения. Мы успели бы всех развезти по домам за то время, которое ты тратишь, доказывая,

что мы их развезти не успеем. Нужно не болтать, а дело делать. Попридержи свой язык, останови мельницу, сейчас на болтовню у нас времени нет. Поменьше слов, побольше дела. Кто развезет этих аристократок по домам?

— Их друзья. Они приедут за ними со всех концов земли.

Весть эта была неожиданна, как гром среди ясного дня; весть эта была сладостна, как сладостна для узника весть о помиловании. Сэнди, конечно, останется здесь, чтобы сдать с рук на руки своих принцесс.

— Так вот что, Сэнди. Порученное нам дело мы успешно довели до благополучного конца, и я должен ехать к королю с докладом; и если когда-нибудь еще...

— Я готова; я поеду с вами.

Помилование было отменено.

— Как? Ты поедешь со мной? Зачем?

— Неужели я способна изменить своему рыцарю? Такая измена обесчестила бы меня. Я не могу расстаться с вами до тех пор, пока в рыцарском поединке на поле брани вас не одолеет какой-нибудь другой рыцарь и не отобьет меня по праву. Но я была бы достойна осуждения, если бы допустила хоть в мыслях, что это может случиться.

«Я избран ею на долгий срок, — подумал я и вздохнул. — Ну что ж, постараюсь извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу». И я сказал:

— Хорошо, в таком случае едем сейчас же.

Она рыдала, прощаясь со своей свининой; а я сдал аристократок на руки слугам. Я попросил их взять тряпки и вытереть полы в тех помещениях, где жили и прогуливались эти знатные дамы, но слуги решили, что вытирать полы не стоит, так как это было бы нарушением обычаев и вызвало бы много толков. Нарушение обычаев — значит, конечно: эта нация способна на любое преступление, кроме такого. Слуги заявили, что они поступят по обычаю, существующему с незапамятных времен и освященному давностью: они посыплют полы всех комнат и зал свежим тростником, скрыв под ним следы пребывания аристократических гостей. Получалось нечто вроде сатиры на природу; метод был науч-

ный, геологический — увековеченье истории семьи путем напластования; впоследствии археолог, раскапывая эти пласты, будет иметь возможность определить по остаткам каждого периода, как изменялось питание семьи в течение сотен лет.

Как только мы двинулись в путь, мы наткнулись на шествие паломников. Нам было с ними не по дороге, но мы присоединились к ним, так как во мне с каждым часом крепло убеждение, что, если я хочу управлять этой страной мудро, я должен хорошенько изучать ее, и не с чужих слов, а путем внимательного личного наблюдения.

Это сборище паломников очень напоминало то, которое описал Чосер; здесь были все профессии и все одеяния тогдашней Англии. Здесь были молодые мужчины и старые, молодые женщины и старые, люди веселые и люди печальные. Они ехали верхом на мулах и на лошадях, но ни единого дамского седла я не заметил — оно появилось в Англии лишь девятьсот лет спустя.

Это была добродушная, дружелюбная, общительная толпа; набожная, счастливая, веселая, склонная к бессознательной грубости и невинным непристойностям. Рассказы, которые эти люди считали веселыми, без конца переходили из уст в уста и смущали слушателей не больше, чем такие же рассказы смущали лучшее английское общество двенадцать столетий спустя. Они выкидывали веселые шутки, достойные английского остроумия первой четверти девятнадцатого века, вызывая всеобщий восторг; порой чье-нибудь крылатое словцо облетало из конца в конец все шествие, и путь его можно было проследить по взрывам хохота, раздававшимся то там, то сям, а также по стыдливому румянцу, вспыхивавшему на мордах мулов.

Сэнди было известно, куда направляются паломники, и она сразу сообщила об этом мне. Она сказала:

— Они идут в Долину Святости получить благословение отшельников, испытать чудотворной воды и очиститься от грехов.

— Где находится этот водный курорт?

— В двух днях пути отсюда, у пределов страны, которая зовется королевством У-Чорта-На-Рогах.

— Расскажи мне об этом курорте. Он, наверно, очень знаменит?

— О, еще бы! Знаменитее всех! В старые времена там поселились настоятель и кучка монахов. Говорят, святее их не было никого на свете; они изучали священное писание и ни с кем не разговаривали, даже друг с другом, и ели только траву, и спали на жесткой земле, и много молились, и никогда не умывались, и не меняли одежды до тех пор, пока она сама от ветхости не сваливалась с их плеч. Слава об их святом подвижничестве распространилась по всему свету, и стали к ним ходить богатые и бедные, и все чтили их.

— Продолжай.

— Одна беда — у них не было воды. И настоятель стал молить бога даровать им воду, и бог, по молитве его, совершил чудо, и из земли хлынул поток чистой воды. Но тут слабым духом монахов стал искушать дьявол, и они пристали к своему настоятелю, прося и умоляя его построить купальню; настоятель под конец устал с ними спорить, сказал: «Пусть будет по-вашему», — и исполнил их просьбу. Сейчас вы узнаете, что значит нарушить чистоту, угодную господу, и погнаться за чистотой, угодной свету. Монахи вошли в купальню и вышли оттуда чистыми и белыми, как снег, но, увы, в то же мгновение господь явил знамение свое и покарал их! Оскорбленные воды господнего источника перестали бить из земли. Источник иссяк.

— Это еще милостиво, Сэнди, если вспомнить, как относятся в здешней стране к такому преступлению.

— Возможно, но ведь они согрешили впервые; до этого греха они вели безупречную жизнь, жили, как ангелы. Молитвы, плач, истязания плоти — ничто не могло заставить источник бить снова. Даже крестные ходы, даже курение ладана, даже свечи перед образом святой девы — ничего не помогало, и вся страна дивилась божьей каре.

— Как странно, что даже в этой отрасли промышленности бывают финансовые кризисы, во время кото-

рых цена акций падает до нуля и все останавливается. Продолжай, Сэнди.

— Миновал один год и один день; и настоятель, смирившись, разрушил купальню. И сразу же гнев господень утих, и воды снова обильно хлынули из земли и текут по сей день.

— Значит, с тех пор никто уже ни разу в них не мылся?

— Тот, кто попробовал бы в них вымыться, был бы немедленно растерзан.

— И обитель с тех пор процветает?

— С того самого дня. Слава о чуде разнеслась повсюду, из края в край. Монахи стали стекаться туда со всех концов земли; они шли стаями, как рыбы; и монастырь строил здание за зданием, рос и ширился, пока не принял всех пришедших в свои объятия. Приходили и монахини; они основали отдельную обитель на другом краю долины, они строили здание за зданием, и наконец вырос обширный женский монастырь. Монахи и монахини жили дружно; объединив свои труды, они совместно воздвигли превосходный приют для подкинутых младенцев как раз на полпути между двумя монастырями.

— Ты хотела рассказать об отшельниках, Сэнди.

— Отшельники стекались туда со всех краев земли. Отшельник процветает там, где бывает много паломников. В Долине Святости отшельники самые различные. Если кому-нибудь нужен отшельник совсем небывалый, какие встречаются только в далеких странах, пусть он пошарит в ямах, пещерах и болотах Долины Святости — там он найдет то, что ему надо.

Я поехал рядом с круглолицым веселым толстяком, надеясь разговориться с ним и узнать от него какие-нибудь подробности. Но едва я с ним познакомился, как он, к моему ужасу, принялся весьма неумело, но с необыкновенным оживлением рассказывать мне тот самый старый анекдот, который мне рассказал сэр Дайнадэн в день, когда сэр Саграмор поссорился со мной и вызвал меня на поединок. Я извинился и отъехал назад, в самый хвост шествия. Мне было грустно, мне хотелось уйти из этой жизни, полной тревог, из

этой юдоли слез, положить конец этому беспокойному краткому существованию, омраченному тучами и бурями, утомительной борьбой и постоянными поражениями; и все же я страшился смерти — при мысли о том, как длинна вечность и сколько уже ушло в псе людей, знавших этот анекдот.

Вскоре после полудня мы нагнали другое шествие паломников; но там ни среди старых, ни среди молодых не слышно было ни шуток, ни смеха, не видно было ни забавных выходов, ни веселых дурачеств. А между тем там были и старые и молодые: седые старики и старухи, здоровые мужчины и женщины средних лет, молодожены, мальчики и девочки, и три грудных младенца. Даже дети не улыбались; все эти люди, — а их было около пятидесяти, — шли понурих головы, и на лицах их лежала печать безнадежности — след долгих, тяжких испытаний и давнего знакомства с отчаяньем. Это были рабы. Их руки и ноги были прикованы цепями к кожаным поясам; кроме того, все, за исключением детей, были еще скованы общей цепью, которая шла от ошейника к ошейнику, вынуждая несчастных идти вереницей на расстоянии шести футов один от другого. Они шли пешком и прошли триста миль за восемнадцать дней, питаясь скверно и скудно. По ночам они спали не снимая цепей, сбившись в кучу, как свиньи. Их жалкие лохмотья нельзя было даже назвать одеждой. Кожа на их лодыжках была содрана кандалами, и в воспаленных ранах копошились черви. Босые ноги были изодраны в кровь, все до единого они хропали. В начале пути этих несчастных была целая сотня, но половину из них уже распродали по дороге. Работорговец, гнавший их, ехал сбоку верхом, держа в руке плеть с коротенькой ручкой и длинным тяжелым ремнем, конец которого был разделен на множество узловатых ремешков. Этой плетью он хлестал по плечам, заставляя выпрямляться тех, кто шатался от усталости и боли. Он не разговаривал, — плеть выражала его волю сильнее слов. Ни один из этих несчастных не поднял даже глаз, когда мы поравнялись с ними; казалось, они даже не заметили нашего присутствия. Они шли молча, но всякий раз, когда сорок три чело-

века одновременно поднимали ноги, цепь, тянувшаяся из одного конца вереницы в другой, мрачно и страшно звенела. Облако пыли висело над ними.

Пыль лежала толстым слоем на всех лицах. Такой слой пыли мы видим иногда на мебели в нежилых домах и пальцем пишем по нему свои праздные мысли. Я вспомнил об этом, заметив на пыльных лицах молодых матерей, младенцы которых были близки к смерти и свободе, письма, начертанные их сердцами, — такие заметные письма, такие разборчивые! — следы слез. Одна из этих молодых матерей была сама совсем еще девочка, и у меня заныло сердце, когда и на ее лице я прочел эти письма, ибо ее слезы были слезы ребенка, который не должен знать никаких забот, который должен наслаждаться утром жизни: и, конечно...

Она споткнулась, измученная усталостью, и на нее сразу же обрушилась плеть, сорвав лоскут кожи с ее обнаженного плеча. Я содрогнулся так, словно ударили не ее, а меня. Торговец остановил всех рабов и соскочил с лошади. Он шумел и ругался, крича, что эта негодная девчонка измучила его своей ленью, и так как сегодня последний день она находится под его опекой, он хочет свести с ней счеты. Она упала на колени, протянула к нему руки и, рыдая, в страхе умоляла его, но он не обратил на это внимания. Он вырвал у нее из рук ребенка и приказал рабам-мужчинам, ближайшим соседям по цепи, повалить ее на землю, обнажить и держать, а сам стал над нею и исполосовал ей плетью всю спину; женщина жалобно плакала и билась. Один из мужчин, державших ее, отвернул лицо, и за это проявление жалости был обруган и избит.

Паломники стояли, смотрели и обсуждали со знанием дела, хорошо ли торговец владеет плетью. Всю жизнь видя вокруг себя рабство, они так очерствели, что не были способны взглянуть на это истязание с какой-нибудь иной точки зрения. Вот до какого омертвления лучших человеческих чувств доводит рабство, ибо паломники были люди добросердечные и ни за что не позволили бы этому человеку так обращаться с лошадью.

Мне хотелось остановить истязание и освободить рабов, но делать этого не следовало. Не следовало слишком часто вмешиваться в чужие дела, чтобы не прослыть человеком, нарушающим законы и попирающим права граждан. Я дал себе слово, что, если буду жив и если не потеряю власть, я казню рабство. Я буду палачом рабства, — но надо стремиться к тому, чтобы стать его палачом волею народа.

Возле дороги стояла кузница; землевладелец, уже купивший эту молодую женщину в нескольких милях отсюда, поджидал здесь колонну рабов, чтобы снять с нее кандалы. Ее расковали; покупатель поссорился с продавцом из-за того, кто должен заплатить кузнецу. Едва с женщины сняли кандалы, она, рыдая, кинулась в объятия того раба, который отвернулся, когда ее били. Он прижал ее к своей груди, осушил ее заплаканное лицо и лицо младенца поцелуями и оросил своими слезами. Я начал догадываться. Я стал расспрашивать. Да, я не ошибся: это муж и жена. Их разъединили силой; женщину повели прочь, и она рвалась, билась и кричала, как помешанная, до тех пор, пока поворот дороги не скрыл ее из виду; но и потом еще долго до нас издали доносились ее рыдания. А как держал себя муж и отец, который никогда больше не увидит своей жены и своего ребенка? У меня не хватило сил смотреть на него, и я отвернулся; но я знал, что зрелище это никогда не изгладится из моей памяти; оно и сейчас стоит у меня перед глазами; и всякий раз, когда я вспоминаю его, сердце мое надрывается.

Мы провели ночь в деревенской гостинице; на следующее утро, выйдя на крыльцо, я в сиянии зари увидел скачущего всадника и узнал в нем одного из своих рыцарей — сэра Озану ле Кёр-Арди. Он был специалистом по мужской галантерее, в частности занимался распространением цилиндров. Он весь был закован в сталь, и доспехи у него были по тем временам превосходные, — и только на голове вместо шлема он носил лоснящийся цилиндр — забавнейшее сочетание на свете. Мой тайный замысел был именно таков: ослабить рыцарство, сделав его смешным и нелепым. На

седле сэра Озаны висели кожаные шляпные коробки, и каждый раз, побеждая какого-нибудь странствующего рыцаря, он приказывал ему поступить ко мне на службу и напяливал ему на голову цилиндр. Я оделся и побежал навстречу сэру Озанае, чтобы приветствовать его и узнать у него новости.

— Как торговля? — спросил я.

— Осталось только четыре коробки; а когда я выезжал из Камелота, их у меня было шестнадцать.

— Вы совершили славные подвиги, сэр Озана. Где вы сейчас странствовали?

— Я только что из Долины Святости, сэр.

— Я сам еду туда. Ну, как монахи? Есть там что-нибудь новенькое?

— Ох, и не спрашивайте!.. Эй, мальчишка, прими коня, накорми его хорошенько, если тебе дорога твоя башка; веди его в конюшню и делай, что тебе велено... Сэр, я привез печальные вести... А, здесь паломники! Слушайте меня, добрые люди! Вести мои повергнут вас в печаль, ибо вы не найдете того, что ищете, и поиски ваши будут тщетны, — пусть я умру, если лгу. Случилось то, чего не случалось уже двести лет; но несчастье, двести лет назад волею всевышнего справедливо постигшее святую долину, было вызвано явными и всем понятными причинами, а теперь...

— Чудодейственный источник иссяк! — вырвался крик из двадцати глоток разом.

— Вы сами сказали, добрые люди, то, что я собирался вам сказать.

— Кто-нибудь опять выкупался?

— Некоторые так и думают, но большинство этому не верит. Полагают, что совершен какой-нибудь иной грех, но какой — никто не ведает.

— А как монахи переносят это бедствие?

— Словами не передашь. Источник сух вот уже девять дней. Они молятся, они причитают, надев рубаища и посыпав пеплом главы, они устраивают крестные ходы, не отдыхая ни днем, ни ночью; монахи, монахини и подкидыши уже так устали, что лишились голосов, и, не имея возможности молиться вслух, раз-

вешивают молитвы, начертанные на пергаменте. Наконец они послали за вами, сэр Хозяин, чтобы испытать вашу магию и ваше колдовство; а на случай, если вы не согласитесь прибыть, отправили посла за Мерлином, и Мерлин прибыл туда уже три дня назад и заявил, что он вернет воду, даже если для этого придется перевернуть всю землю и повергнуть все царства земные; и он усердно колдует и сзывает себе на помощь все силы ада, однако до сих пор влаги не появилось даже столько, сколько появляется на медном зеркале, если подышать на него, а между тем не счесть бочек пота, которые проливает он от зари до зари, усердствуя в своих трудах; и если вы...

Нам подали завтрак. После завтрака я показал сэру Озане слова, которые написал внутри его цилиндра: «Химический департамент, лабораторный отдел, секция Рххр. Вышлите два самых крупных, два № 3 и шесть № 4 вместе со всеми необходимыми деталями, а также двух моих опытных помощников».

И сказал:

— Теперь, отважный рыцарь, скачите во весь дух в Камелот, покажите эту надпись Кларенсу и скажите ему, чтобы он как можно скорее прислал все, о чем здесь написано, в Долину Святости.

— Будет исполнено, сэр Хозяин, — сказал он и умчался.

Глава XXII

СВЯЩЕННЫЙ ИСТОЧНИК

Паломники были люди. Если бы они не были людьми, они поступили бы иначе. Они совершили долгий трудный путь, и теперь, когда путь этот был уже почти окончен и они вдруг узнали, что главное, ради чего они ехали, перестало существовать, они поступили не так, как на их месте поступили бы лошади, или кошки, или черви, — те, вероятно, повернули бы назад и занялись бы чем-нибудь более выгодным, — нет, прежде они жаждали увидеть чудотворный источник,

а теперь они в сорок раз сильнее жаждали увидеть то место, где этот источник когда-то был. Поведение людей необъяснимо.

Мы двигались быстро. Часа за два до захода солнца мы уже стояли на высоких холмах, окружающих Долину Святости, и видели все ее достопримечательности. Я говорю о самых главных — о трех огромных зданиях. Здания эти, стоявшие одиноко, казались в этой беспредельной пустыне хрупкими, как игрушки. Такое зрелище всегда печально, — тишина и неподвижность напоминают нам о смерти. Хотя тишину нарушал звук, доносимый издалека порывами ветра, но от этого звука становилось еще печальнее: то был отдаленный похоронный звон, такой слабый, что мы не могли понять, слышим ли мы его на самом деле, или он нам только чудится.

Еще засветло мы добрались до мужского монастыря; мужчин приютили в нем, а женщин отправили дальше, в женский монастырь. Колокола были теперь совсем близко, и их торжественное гудение врывалось в уши как весть о Страшном суде. Отчаянье владело сердцами иноков и было ясно написано на их изнуренных лицах. Они шныряли вокруг нас, то появляясь, то исчезая, в черных рясах, в мягких туфлях, с восковыми лицами, бесшумные и причудливые, как образы страшного сна.

Старый настоятель встретил меня с трогательною радостью. Слезы брызнули у него из глаз, но он сдержал себя. Он сказал:

— Не медли, сын мой, приступай к своему спасительному труду. Если нам в самый короткий срок не удастся вернуть воду, мы погибли и все созданное благородными трудами за двести лет будет разрушено. Только смотри, чары твои должны быть святыми чарами, ибо церковь не потерпит дьявольских чар, даже если эти чары пойдут ей на пользу.

— К моим чарам, отец, дьявол не имеет никакого отношения. Ни к каким дьявольским чарам я прибегать не стану, я буду пользоваться только теми веществами, которые созданы божьей рукой. Но уверены ли вы, что Мерлин поступает столь же благочестиво?

— Да, мой сын, он обещал мне не прибегать к помощи нечистой силы и подтвердил свое обещание клятвою.

— Ну что ж, тогда пусть он и продолжает работать.

— Но, надеюсь, ты не будешь сидеть сложа руки, ты поможешь ему?

— Не годится смешивать столь различные методы, отец; и кроме того, это было бы нарушением профессиональной этики. Два человека, занимающиеся одним ремеслом, не должны подставлять ножку друг другу. Дела хватит на каждого, а кто из нас лучше, выяснится когда-нибудь само собой. Вы подрядили Мерлина; ни один другой чародей не станет вмешиваться в его работу, пока он сам от нее не откажется.

— Но я прогоню его. Дело великой важности, и я имею законное право прогнать его. А если даже и не имею такого права, так кто осмелится предписывать законы церкви? Церковь сама предписывает законы всему; все, что нужно для церкви, должно быть исполнено, а если кто-нибудь этим обижен, пусть обижается. Я прогоню его, приступай к работе немедленно.

— Нет, так нельзя, отец. Разумеется, ты прав: тот, кто всех сильнее, может делать что хочет, и никто не посмеет ему перечить, но мы, несчастные чародеи, находимся в особом положении. Мерлин — отличный чародей на малые дела и пользуется недурной репутацией в провинции. Он старается, он делает все, что в его силах, и было бы неприлично отнимать у него работу, пока он сам от нее не откажется.

Лицо настоятеля просияло.

— Ну, этого добиться нетрудно. Мы найдем способ заставить его отказаться.

— Нет, нет, отец, это не пройдет. Если вы отстранили его насильно, он заколдует источник, и вам не удастся расколдовать его, пока я не проникну в тайну его чар. А это может занять целый месяц. У меня у самого есть такое небольшое колдовство, которое я называю телефон, и Мерлину пришлось бы потратить по крайней мере сто лет, чтобы проникнуть в его тайну. Да, он может задержать меня на целый месяц.

Неужели вы согласны рисковать целым месяцем в такую засуху?

— Целый месяц! При одной мысли об этом я весь дрожу. Пусть будет по-твоему, сын мой. Но в сердце моем тяжелое разочарование. Оставь меня наедине с моей мукой, терзающей меня вот уже девять долгих дней, во время которых я не знал, что такое покой, ибо даже тогда, когда мое простертое тело как будто наслаждалось покоем, его не было в глубине моей души.

Конечно, Мерлин поступил бы благоразумнее, если бы пренебрег приличиями и бросил это дело, так как ему все равно никогда не удалось бы пустить воду, ибо он был подлинный чародей своего времени, а это означает, что все крупные чудеса, которые его прославили, он всегда ухитрялся творить в такие мгновения, когда его никто не видел. Не мог он пустить воду при всей этой толпе. Глазеющая толпа в те времена так же мешала творить чудеса чародею, как в мое время мешает она творить чудеса спириту: всегда в ней найдется скептик, который включит свет в самую критическую минуту и все испортит. Но я вовсе не хотел, чтобы Мерлин уступил дело мне, прежде чем я сам буду в состоянии за него взяться; я же не мог за него взяться до тех пор, пока не привезут из Камелота нужные мне вещи, а это займет два-три дня.

Мое присутствие вернуло монахам надежду и так их ободрило, что вечером они как следует поужинали — впервые за девять дней. Когда желудки их наполнились, они воспрянули духом, а когда вкруговую пошла чаша с медом, они и совсем развеселились. Подвыпившие святые отцы не хотели расходиться, и мы просидели за столом всю ночь. Было очень весело. Рассказывали добрые старые истории сомнительного свойства, от которых у иноков слезы текли по щекам, рты широко раскрывались, зияя, и сотрясались круглые животы; пели сомнительные песни, ревели их хором так громко, что заглушали звон колоколов.

В конце концов я и сам решился кое-что рассказать и успех имел огромный. Не сразу, конечно, так как до жителей тех островов смешное никогда не до-

ходит сразу; но когда я в пятый раз повторил свой рассказ, стена дала трещину; когда я повторил его в восьмой раз, начала осыпаться; после двенадцатого повторения — раскололась на куски; после пятнадцатого — рассыпалась в пыль, и я, взяв швабру, вымел ее. Я говорю, разумеется, в переносном смысле. Эти островитяне вначале тугие плательщики и очень скупو оплачивают ваши труды, но под конец они платят столь щедро, что по сравнению с их платой всякая другая покажется нищей и скупой.

На другой день, чуть свет, я был у источника. Я уже застал там Мерлина, который колдовал с усердием бобра, но не добился даже сырости. Настроение у него было весьма скверное; и всякий раз, когда я намекал ему, что, пожалуй, для человека неопытного подряд, который он взял на себя, слишком тяжел, он давал волю своему языку и начинал выражаться, как епископ, — как французский епископ эпохи Регентства.

Дело обстояло приблизительно так, как я и ожидал, «Источник» оказался самым обыкновенным колодезем, вырытым самым обыкновенным способом и облицованным самым обыкновенным камнем. Никакого чуда в нем не было. Даже во лжи, прославившей его, не было никакого чуда; я и сам мог бы без всякого труда изобрести такую ложь. Колодец находился в темном помещении, в самой середине часовни, построенной из нетесаного камня; стены этой каморки были увешаны благочестивыми картинами, перед которыми и рекламы страховых обществ могли бы гордиться совершенством, — картинами, изображавшими чудесные исцеления, совершенные водами источника, когда никто этого не видел. Никто, кроме ангелов; ангелы всегда вылезают на палубу, когда совершается чудо, — вероятно, для того, чтобы попасть на картину. А они любят это не меньше, чем пожарные; можете проверить по картинам старых мастеров.

Часовню, в которой находился колодец, тускло освещали лампы. Когда была вода, монахи ее доставали с помощью ворота и ведра на цепи и переливали в желоба, по которым она стекала в каменные резервуары, помещавшиеся снаружи; и в часовню, где

находился колодец, никто не имел права входить, кроме монахов. Однако я вошел в нее — с любезного разрешения моего собрата по ремеслу и подчиненного. Сам он туда не входил. В работе он прибегал только к заклинаниям; к разуму он не прибегал никогда. Если бы он вошел в эту комнату и, вместо того чтобы напрягать свои поврежденные мозги, оглядел ее собственными глазами, он нашел бы способ исправить колодец естественными средствами, а потом мог бы выдать это за чудо, как обычно делается; но нет, он был старый дурень, он был из тех колдунов, которые сами верят в свое колдовство, а колдун, одержимый таким суеверием, никогда не добьется успеха.

Я подозревал, что колодец дал течь, что несколько камней возле дна обрушилось и образовалось отверстие, через которое уходит вода. Я измерил цепь: длина ее равнялась девяноста восьми футам. Затем я вызвал двух монахов, запер дверь на замок, взял свечу и заставил их спустить меня в колодец на ведре. Когда цепь размотали до конца, я при свете свечи убедился в правильности своих предположений: значительная часть стены вывалилась, образовав большую трещину.

Я почти жалел, что мои догадки подтверждались. так как я имел в виду кое-что другое, более выгодное для чуда. Мне вспомнилось, что в Америке, много веков спустя, когда нефтяной фонтан переставал бить, его снова вызывали к жизни, взрывая землю динамитом. Если бы оказалось, что колодец просто высох без видимых причин, я мог бы благородно удивить всех, заставив какого-нибудь не особенно ценного человека бросить в него динамитную бомбу. У меня была даже мысль использовать для этого Мерлина. Однако теперь я убедился, что бомбу бросать не придется. Обстоятельства не всегда складываются так, как мы хотим. Деловой человек не должен поддаваться разочарованию, он должен сообразить, как бы ему получить свое. Так я и поступил. Я сказал себе, что торопиться мне некуда, что я могу и подождать; дойдет черед и до бомбы. В свое время и дошел.

Когда меня подняли, я прогнал монахов и опустил в колодец рыболовную лесу; глубина колодца оказа-

лась равной ста пятидесяти футам, а вода держалась в нем сейчас на уровне сорока одного фута. Я позвал монаха и спросил:

— Какова глубина колодца?

— Не знаю, сэр, мне никто об этом не говорил.

— На каком уровне обычно стояла в нем вода?

— В течение всех этих двухсот лет вода стояла в нем недалеко от края; так говорит предание, унаследованное нами от наших предшественников.

Слова этого монаха подтвердили свидетели, более заслуживающие доверия: только двадцать или тридцать футов цепи носили следы употребления, а вся остальная цепь была заржавлена и, видимо, никогда не опускалась в колодец. Каким образом в прошлый раз вода сначала исчезла, а потом появилась вновь? Несомненно, какой-то практичный человек спустился в колодец и заделал течь, а потом пришел к настоятелю и заявил, что, если разрушат купальню, вода вернется. А теперь снова образовалась течь, и эти простаки молились бы, и устраивали бы крестные ходы, и звонили бы в колокола, пока сами не высохли бы и ветер не развеял бы их на все четыре стороны, — и никому из них не пришло бы в голову спустить в колодец рыболовную лесу или самому спуститься туда и исследовать, в чем, собственно, дело. Преодолеть укоренившиеся навыки мышления труднее всего на свете. Они передаются от поколения к поколению, как черты лица; и если у человека той эпохи появилась какая-нибудь мысль, которой не было у его предков, начинали подозревать, что он незаконнорожденный. Я сказал монаху:

— Трудное чудо — вернуть воду в сухой колодец, но мы попробуем его сотворить, если моего брата Мерлина постигнет неудача. Брат Мерлин очень способный чародей, но его специальность — салонные фокусы, и здесь он может не добиться успеха; да, по всей вероятности, успеха он не добьется. Но в этом нет ничего постыдного, ибо человек, способный творить *такие* чудеса, может открыть отель.

— Отель? Я как будто не слыхал...

— Об отелях? Это то, что вы зовете постоянным двором. Человек, который может сотворить такое чудо, управится и с постоянным двором; это чудо мне по силам, я его сотворю; но не скрою от вас, что, для того чтобы сотворить это чудо, мне придется напрячь все свои чародейские способности до крайней степени.

— Уж кому-кому, а нашей монастырской братии это известно, ибо предание гласит, что в тот раз восстановление источника оказалось настолько трудным, что потребовало целый год. Как бы то ни было, мы будем молиться богу и просить у него для вас успеха.

С деловой точки зрения удачная это была мысль — распространить слух, будто сотворить такое чудо очень трудно. Иногда самые незначительные вещи приобретают огромное значение благодаря рекламе. Этот монах был потрясен трудностью того, что мне предстояло совершить; он потрясет этим других. Через два дня сострадание ко мне станет всеобщим.

В полдень, возвращаясь домой, я встретил Сэнди. Она только что была у отшельников. Я сказал:

— Я хочу сам их осмотреть. Сегодня среда. У них бывают утренние спектакли?

— Извините, сэр, о чем вы говорите?

— Утренние спектакли. У них открыто днем?

— У кого?

— У отшельников, конечно.

— Открыто?

— Ну да, открыто? Что же тут непонятного? Или они закрывают в полдень?

— Закрывают?

— Закрывают. Ну да, закрывают. Что тут непонятного? Никогда не видал я такой тупицы: что ни скажи, ничего не понимает. Спрашиваю тебя самыми простыми словами: когда они закрывают лавочку? Когда они кончают игру? Когда они гасят свет?

— Закрывают лавочку, кончают...

— Ну, все равно, хватит! Ты мне надоела. Ты не понимаешь самых простых вещей.

— Я была бы рада вам угодить, сэр, и я скорблю и горюю оттого, что мне не удастся угодить вам, но я всего только простая дева, и меня ничему не учили,

не окрестили меня с колыбели в глубоких водах познания, окропивших того, кто приобщился к самому благородному из таинств, того, на кого с благоговением взирают очи смиренных смертных, сознающих, что их невежество — лишь прообраз иных несовершенств, скорбя о которых, люди облачаются во власяницу и посыпают пеплом горестей свои головы; и когда в мрак, окутывающий разум такого невежды, проникают такие золотые слова, исполненные высокой тайны, как, например: закрыть лавочку, кончать игру, гасить свет, только милосердие божие спасает невежду от того, чтобы не лопнуть от зависти к тому, чей разум способен вместить, а язык способен произнести столь величавые, благозвучные и чудесные речения, и путаница, возникающая в смиренном уме невежды, и неумение постигнуть божественное значение этих чудес истекают не из тщеславия — оно искренне и правдиво, и вы должны понять, что оно — самая сущность благоговейного преклонения, никогда не проходящего и вполне вам известного, если вы изучили склад души моей и моего разума и поняли, что я не *не хочу*, а *не могу*, а раз не могу, то ничего не могу поделать, если бы и хотела, и не в нашей власти превратить *хочу в могу*; и потому я прошу вас, мой добрый господин и драгоценный лорд, быть снисходительным к моей вине и простить мне ее по доброте вашей и по вашему милосердию.

Я не в состоянии был понять все, что она говорила, но общий смысл я уловил и почувствовал себя пристыженным. Неблагородно было обрушивать технические выражения девятнадцатого века на невежественную дочь шестого и потом бранить ее за то, что она не понимает; она изо всех сил старалась понять смысл моих речей, и не ее вина, если это ей не удалось; и я извинился. Мы вместе пошли по извилистым тропкам к норам, в которых жили отшельники, мирно беседуя между собой и чувствуя, что стали еще большими друзьями, чем были прежде.

Во мне постепенно возникало таинственное и полное трепета уважение к этой девушке; всякий раз, когда она пускала в ход свой поезд и он мчался через беспредельные материки, волоча за собой одну из ее

фраз, мне казалось, что я стою перед страшным ликом самой праматери германских языков. Порой, когда она принималась изливать на меня такую фразу, я, полный невольного благоговения, снимал шлем и стоял с непокрытой головой; и если бы слова ее были водой, я несомненно утонул бы. Она поступала совершенно как немцы: когда ей хотелось что-нибудь сказать, все равно что — ответить ли на вопрос, произнести ли проповедь, изложить ли энциклопедию или историю войн, — она непременно должна была всадить все целиком в одну-единственную фразу или умереть. Так поступает и всякий немецкий писатель: если уж он нырнет во фразу, так вы не увидите его до тех пор, пока он не вынырнет на другой стороне своего Атлантического океана с глаголом во рту.

До самого вечера мы таскались от отшельника к отшельнику. Это был в высшей степени странный зверинец. Казалось, отшельники соперничали друг с другом главным образом в том, кто превзойдет остальных нечистоплотностью и разведет вокруг себя больше насекомых. Все их повадки свидетельствовали о необычайном самодовольстве. Один анахорет, например, гордился тем, что лежит голый в грязи и разрешает насекомым кусать себя; другой тем, что стоит весь день у скалы, на виду у восхищенных паломников, и молится; третий тем, что, раздевшись догола, ползает на четвереньках; четвертый тем, что много лет подряд таскает на себе восемьдесят фунтов железа; пятый тем, что никогда не ложится спать, как все люди, а спит стоя, среди терновника, и храпит, когда паломники собираются вокруг и глазект на него. Одна женщина, прикрывавшая свою наготу только седыми волосами, стала черной от головы до пят благодаря сорокасемилетнему благочестивому воздержанию от воды. Вокруг каждого из этих странных людей в почтительном изумлении стояли паломники и завидовали благодати, которую те стяжали себе на небесах своими набожными подвигами.

Мало-помалу добрались мы до самого великого из отшельников. Он был необычайно знаменит; слава его гремела по всему христианскому миру; именитые и

знатные люди съезжались с отдаленнейших краев земного шара, чтобы поклониться ему. Он выбрал себе место в самой широкой части долины, и все пространство вокруг него всегда было заполнено толпой.

Он стоял на столбе в шестьдесят футов вышиной, с широкой площадкой на верхушке. Он был занят тем, чем занимался каждый день в течение вот уже двадцати лет подряд: то стремительно нагибался к своим ногам, то разгибался. Так он молился. Я подсчитал с часами в руке: за 24 минуты 46 секунд он отбил 1244 поклона. Жаль было, что такая энергия пропадает зря. Движение, которое он совершал, для механики настоящий клад, — все равно как если бы нажимали педаль. Я отметил это в своей записной книжке, предполагая в будущем приспособить к нему систему мягких ремней и заставить его вертеть колесо швейной машины. Впоследствии я осуществил этот план, и отшельник превосходно работал целых пять лет; за этот срок он сшил восемнадцать тысяч рубаш из домотканого холста — по десяти штук в день. Я заставлял его работать и по воскресеньям; в воскресенье он отбивал не меньше поклонов, чем в будни, и было бессмысленно расходовать столько энергии впустую. Эти рубашки обходились мне даром, если не считать ничтожных затрат на материал; материал оплачивал я сам, так как было бы несправедливо возложить этот расход на отшельника; наши рубашки продавались паломникам по полтора доллара за штуку, а на полтора доллара в королевстве Артура можно было купить пятьдесят коров или чистокровного коня. Рубашки эти считались лучшим предохранительным средством от всякого греха, и мои рыцари так усердно рекламировали их с помощью красок и трафарета, что скоро во всей Англии не осталось ни одной скалы, ни одного камня, ни одной стены, где не было бы надписи, видной за милю:

ПОКУПАЙТЕ РУБАШКИ ТОЛЬКО СВ. СТОЛПНИКА

Их носит вся знать.

Патент заявлен.

Это предприятие принесло столько денег, что я не знал, куда их девать. Когда оно разрослось, мы стали изготавливать рубашки для королей, изящные сорочки для герцогинь и прочих знатных дам — с оборочками на носовой части, со сборками на корме, с вышивкой у спасательных кругов, с подбором по левому борту. Да, прелестные вещицы.

Но как раз в это время я стал замечать, что мой двигатель приобрел обыкновение стоять на одной ноге, — с другой, очевидно, случилось что-то неладное; я сократил производство и вышел из дела, которое купил сэр Борс де Ганис в компании со своими друзьями; а через год и совсем пришлось закрыть это предприятие, так как святой подвижник удалился на покой. Он заслужил его. Могу утверждать это с полной ответственностью.

Но когда я его увидел впервые, он вел себя так, что описать его поведение здесь невозможно. Если угодно, прочтите о нем в Житии святых¹.

Глава XXIII

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА

В субботу, около полудня, я отправился к колодцу — посмотреть, что там делается. Мерлин все еще жег благовонные курения, размахивал руками и усердно бормотал какую-то чушь, но, видимо, уже пал духом, так как, разумеется, ему не удалось добиться ни капли влаги. Наконец я сказал:

— Ну, как дела, компаньон?

— Взирай, я сейчас обращусь к помощи могущественнейших чар, ведомых только мудрейшим знато-

¹ Все подробности о жизни отшельников, приведенные в этой главе, заимствованы нами из книги Лекки, но сильно смягчены. Наша книга — не историческое сочинение, а повесть, и откровенные подробности, изложенные историком, по большей части столь пахучи, что в повесть их поместить нельзя. (Прим. автора.)

кам тайных наук Востока; если и эти чары не помогут, значит ничто уже не в силах помочь. Храни молчание, пока я не кончу.

Он напустил столько дыму, что все потемнело вокруг, и отшельники испытали немало неприятностей, так как ветер дул в их сторону и дым, густой, волнистый, полез прямо к ним в норы. Он говорил так много, что из его речей можно было бы составить целые томы, он извивался всем телом и яростно рассекал воздух руками. Через двадцать минут он упал на землю, задыхаясь и изнемогая. Тут явились и настоятель, и сотни монахов с монахинями, и паломники, и бесчисленные подкидыши, привлеченные чудодейственным дымом и чрезвычайно взволнованные. Настоятель озабоченно спросил, удалось ли чего-нибудь добиться. Мерлин сказал:

— Если бы сил смертного могло хватить на то, чтобы развеять чары, сковывающие эти воды, источник был бы уже расколдован. Однако он не расколдован; следовательно, произошло то, чего я больше всего опасался: моя неудача доказывает, что источник околдован могущественнейшим духом, хорошо известным магам Востока, имя которого так страшно, что всякий, кто произнесет его, умрет. Нет и не будет такого смертного, который способен проникнуть в тайну этих чар, а не проникнув в их тайну, разрушить их невозможно. Воды никогда уже больше здесь не потекут, добрейший отец мой. Я сделал все, что может сделать человек. Позволь мне удалиться.

Конечно, настоятель пришел в отчаянье. Расстроенный, он сказал мне:

— Ты слышал его? Правду он говорит?

— Отчасти правду.

— Значит, правду, но не совсем! Что же в его словах правда?

— Правда то, что этот колодец действительно околдован духом с восточным именем.

— Господи помилуй! Мы погибли!

— Быть может.

— Но не наверняка? Ты хочешь сказать, что не наверняка?

— Да, не наверняка.

— Следовательно, ты хочешь сказать, что он, утверждая, будто никто не в силах развеять эти чары...

— Говорит то, что может оказаться и неправдой. Существуют условия, при которых попытка развеять эти чары имеет некоторые, очень ничтожные, шансы на успех.

— Условия...

— О, в этих условиях нет ничего трудного. Вот в чем они заключаются: колодец и пространство на полмили кругом нужно передать в полную мою власть с сегодняшнего заката до тех пор, пока я не сниму заклятье, и никто не должен заходить сюда без моего разрешения.

— Это все?

— Да.

— И ты не боишься попробовать?

— О, ничуть! Разумеется, меня может постигнуть неудача. Ну а вдруг я добьюсь успеха? Отчего не сделать попытку? Я готов попытаться. Согласны на мои условия?

— Мы согласны на любые условия. Я сейчас прикажу выполнять все твои требования.

— Подождите, — сказал Мерлин и злобно ухмыльнулся. — Известно ли вам, что тот, кто хочет развеять эти чары, должен знать имя того духа?

— Да, я знаю его имя.

— Но известно ли вам также, что мало знать это имя, надо еще уметь произнести его? Ха-ха! Знаете ли вы об этом?

— Да, знаю!

— Знаете? Но разве вы безумец? Разве вы согласны произнести его имя и умереть?

— Назвать его имя? Конечно согласен. Я произнесу его имя, даже если оно валлийское.

— В таком случае, вы уже покойник; так я и сообщу Артуру.

— Отлично. Берите свое барахло и убирайтесь. Ступайте домой, Джон У. Мерлин, и принимайтесь за предсказания погоды. Здесь вам больше делать нечего.

Я попал не в бровь, а в глаз и заставил его поморщиться, ибо он был самый скверный предсказатель погоды во всем королевстве. Когда он отдавал приказ вывесить на побережье штормовые сигналы, начинался мертвый штиль, который длился целую неделю, а когда он предсказывал хорошую погоду, дождь лил ручьями. Тем не менее я оставил его в бюро предсказаний погоды, — я хотел подорвать его репутацию. Мой намек разозлил его, и он, вместо того чтобы отправиться домой и доложить о моей смерти, заявил, что собирается остаться здесь и насладиться зрелищем моей гибели.

Мои специалисты прибыли вечером, страшно измученные, так как в пути они почти не отдыхали. С ними были выючные мулы, на которых они привезли все, что мне могло пригодиться: инструменты, насос, свинцовую трубу, бенгальский огонь, связки больших ракет, римские свечи, электрическую батарею — все необходимое для самого пышного чуда. Они поужинали, немного поспали, и около полуночи мы втроем отправились к колодцу, вокруг которого была такая мертвая тишина, такая пустота, какой я даже не требовал.

Мы завладели колодцем и его окрестностями. Мои ребята умели делать все — от облицовки стен камнем до сооружения точных приборов. За час до восхода солнца течь была заделана и уровень воды начал подниматься. Тогда мы сложили весь наш фейерверк в часовне, заперли ее на замок и отправились спать.

Еще обедня не кончилась, а мы уже снова были у колодца, ибо работы предстояло еще много, а я хотел сотворить свое чудо непременно до полуночи, исходя из следующего делового соображения: чудо, сотворенное на пользу церкви в воскресенье, ценится в шесть раз дороже такого же чуда, сотворенного в будни. За девять часов вода поднялась до своего обычного уровня; иными словами, она стояла в двадцати трех футах от края колодца. Мы погрузили в воду маленький железный насос — один из первых, изготовленных на моей фабрике возле столицы; мы пробуравили каменный резервуар, стоявший возле наружной

стены часовни, в которой помещался колодец, и встали в отверстие обрезок свинцовой трубы — как раз такой длины, что конец его достигал дверей часовни и мог выбросить за порог струю воды, хорошо видную всей той толпе, которая должна была, по моим расчетам, заполнить не меньше двухсот пятидесяти акров вокруг часовни.

Мы вышибли дно у пустой бочки, отнесли ее на плоскую крышу часовни, прибили к крыше, потом насыпали в бочку ровный слой пороха в дюйм толщиной и понатыкали в порох ракет всех сортов, какие у нас только были, — а было их у нас немало. Мы воткнули в порох провод, соединенный с карманной электрической батареей, затем сложили весь наш запас бенгальского огня на четырех углах крыши — в одном углу синий, в другом зеленый, в третьем красный, в четвертом фиолетовый — и тоже соединили каждый угол с батареей.

В двухстах ярдах от часовни мы из брусьев и досок построили платформу. Мы убрали эту платформу взятыми напрокат яркими коврами и водрузили на ее верхушку трон самого настоятеля. Когда чудо предназначается для народа невежественного, следует особое внимание обращать на мелочи; каждая мелочь должна поражать публику; не меньшее внимание следует уделить тому, чтобы вашим почетнейшим посетителям были предоставлены все удобства; если эти условия соблюдены, вы можете смело приступать к делу. Я знаю цену мелочам и удобствам, ибо я знаю природу человека. Пышностью чуда не испортишь. Пышность требует много хлопот, много труда, порой много денег, но в конце концов она всегда окупится. Итак, мы протянули провода под землей от часовни до платформы, а под платформой спрятали батарею. Вокруг платформы мы отгородили веревкой пространство площадью в сто квадратных футов, чтобы держать толпу подальше, и на этом кончили работу. Мой план был таков: впуск публики с 10.30; представление — ровно в 11.25. Я не прочь был бы брать плату за вход, но, разумеется, это было неудобно. Я приказал моим ребятам явиться в часовню не позже десяти, когда еще ни-

кого не будет, чтобы вовремя пустить в дело насос. И мы отправились ужинать.

Весть о несчастье с источником к этому времени распространилась далеко, и за последние три дня народ валом валил в долину. Вся нижняя часть долины была занята огромным лагерем. Сбор у нас будет великолепный, об этом беспокоиться нечего. Едва начало смеркаться, глашатаи обошли всю долину, оповещая всех о предстоящей попытке вернуть воду, и ожидание стало еще лихорадочнее. Глашатаи объявили, что ровно в 10.30 настоятель со своими приближенными совершит торжественный выход из монастыря и займет свое место на платформе и что до тех пор никто не смеет переступить черту, объявленную мною под запретом; когда настоятель усядется, колокола перестанут звонить — и это будет знак, что все желающие могут подойти.

Я уже стоял на платформе, готовый к приему гостей. И вот наконец показалась торжественная процессия, во главе которой шел настоятель. Я увидел их только тогда, когда они подошли к веревке, так как ночь была черная, беззвездная, а зажечь факелы я не позволил. Вместе с настоятелем явился Мерлин и уселся на платформе в первом ряду; как видите, он на этот раз сдержал свое слово. Я не мог разглядеть толп, стоявших за веревкой, но я знал, что они уже там. Едва смолкли колокола, эти толпы ворвались огромной черной волной и разлились по всему свободному пространству; они продолжали прибывать еще в течение получаса; потом застыли, замерли; можно было пройти несколько миль по мостовой из человеческих голов.

Я заставил подождать минут двадцать — для того чтобы усилить эффект; всегда полезно немного помучить публику ожиданием. Наконец среди всеобщего безмолвия хор мужских голосов запел прекрасный латинский гимн, сначала тихо, потом все громче, и торжественная мелодия величаво звучала в ночи. Это был самый удачный из всех изобретенных мною эффектов. Когда гимн смолк, я поднялся на платформе во весь рост, широко распростер руки и, закинув голову,

стоял неподвижно минуты две, — этим способом всегда можно достигнуть полнейшей тишины. Затем медленно произнес страшное слово, при звуке которого все содрогнулись, а многие женщины попадали в обморок:

— *Константинополитанишердудельзакспфайфен-
махерсгезельшаффт!*

Когда из моих уст со стоном вырвался последний слог этого слова, я коснулся одного из моих электрических проводов, и потонувшие во мраке толпы озарил мертвенно-синий свет. Как это было эффектно! Многие закричали, женщины кинулись в разные стороны, подкидыши падали в обморок целыми взводами. Настоятель и монахи торопливо крестились и, потрясенные, бормотали молитвы. Мерлин держал себя в руках, но изумление пробрало его до самых мозолей, он никогда еще ничего похожего не видывал. Пора было приниматься за новые эффекты. Я поднял руки и, словно в предсмертных муках, простонал:

— *Нигилистендинамиттеатеркестхенспренгунгс-
аттентэтсферзунген!*

И включил красный свет. Вы бы послушали, как застонал и завыл этот людской Атлантический океан, когда алое адское пламя присоединилось к голубому! Через шестьдесят секунд я крикнул:

— *Трансваальтруппентропентранспорттранпельтир-
трайбертрауунгстрэнентрагеди!*

И зажег зеленый свет. Прождав на этот раз всего сорок секунд, я широко распростер руки и громовым голосом выкрикнул все разрушительные слоги вот этого слова слов:

— *Меккамузельманенмассенменшенмердерморен-
муттермармормонументенмахер!*

И вспыхнуло лиловое сияние. Все четыре огня горели разом — красный, синий, зеленый, лиловый! — четыре неистовых вулкана струили вверх широкие клубы ослепительного дыма, озаряя радужным светом, ярким, как свет полудня, всю долину до самых отдаленных ее концов. Вдали, на фоне неба, виден был столпник, застывший на своем столбе, — впервые за двадцать лет он перестал кланяться как болванчик. Я знал, что ребята мои уже возле насоса и ждут только знака. И я сказал настоятелю:

— Час настал, отец. Сейчас я назову страшное имя и прикажу чарам рассеяться. Будьте готовы. Ухватитесь за что-нибудь руками.

Затем я крикнул народу:

— Слушайте! Через минуту чары будут рассеяны, — или никогда ни один смертный не рассеет их. Если рассеять чары мне удастся, вы сразу об этом узнаете, ибо святая вода хлынет из дверей часовни.

Я подождал несколько мгновений, чтобы дать возможность слышавшим пересказать мои слова тем, кто, стоя в задних рядах, не мог расслышать их, и затем, приосанясь, нелепо размахивая руками, воскликнул:

— Повелеваю падшему духу, поселившемуся в священном источнике, извергнуть в небеса все адские огни, которые еще таятся в нем, рассеять свои чары, умчаться отсюда в преисподнюю и лежать там связанным тысячу лет. Его собственным грозным именем заклинаяю:

Бдеджджилигкк.

Я включил провод, ведущий к бочке с ракетами, и целый фонтан ослепительных огненных стрел с пронзительным свистом взлетел к зениту, рассыпаясь в небе ливнем алмазов! Вопль ужаса пронесся над толпой, но сразу же его заглушили неистовые крики радости — ибо из дверей часовни, у всех на виду, в сиянии таинственных огней, хлынула освобожденная вода! Старый настоятель не мог произнести ни слова, слезы

душили его. Он молча обнял меня и чуть не задушил в объятиях. Его объятия были красноречивее всяких слов. И гораздо опаснее вдобавок, ибо в этой стране не было ни одного доктора, который стоил бы хоть ломаный грош.

Посмотрели бы вы, как толпы людей кидались к воде и целовали ее; целовали ее, и ласкали, словно живую, и называли ее нежными прозвищами, как друга, который долго пропадал без вести, считался погибшим и вдруг вернулся домой. Да, на это было приятно смотреть; я стал лучшего мнения об этих людях, чем был прежде.

Мерлина я отправил домой на носилках. Когда я произнес страшное имя духа, Мерлин лишился чувств и с тех пор так и не мог окончательно прийти в себя. Никогда прежде не слышал он этого имени, — как и я, — но сразу узнал, что оно настоящее; какое бы дурацкое имя я ни придумал, он признал бы его настоящим. Впоследствии он говорил, что даже родная мать этого духа не могла бы произнести его имя лучше, чем я. Он никак не мог понять, каким образом я остался жив, а я не открывал ему этой тайны. Такие тайны разбалтывают только молодые чародеи. Мерлин потратил три месяца, стараясь с помощью колдовства разгадать трюк, дающий возможность произнести это имя и остаться в живых. Но ничего у него не вышло.

Когда я направился в часовню, толпа почтительно снимала шапки и широко расступалась передо мной, словно я был каким-то высшим существом, — впрочем, я действительно был существом высшим и сам признавал это. Я отобрал несколько монахов, посвятил их в тайну насоса и велел им качать воду, так как множество людей, несомненно, захочет провести возле воды всю ночь и нужно, чтобы ее хватило на всех. Монахам и самый насос показался чудом; они не могли надивиться на него и восхищались тем, как он превосходно работает.

То была великая ночь, необычайная ночь. Эта ночь принесла мне славу. Переполненный гордостью, я долго не мог заснуть,

Мое влияние в Долине Святости было теперь безгранично. И мне хотелось использовать его для какого-нибудь полезного дела. Эта мысль пришла мне в голову на следующее утро, когда к монастырю подъехал один из моих рыцарей, распространявших мыло. История утверждает, что двести лет назад здешние монахи были настолько доступны мирским соблазнам, что пожелали вымыться. Быть может, в них и доньше сохранилось немного этого печестия. Я спросил одного из братьев:

— Не хочется ли вам выкупаться?

Он содрогнулся при мысли о том, какая опасность грозит источнику, но ответил взволнованно:

— Зачем вопрошать об этом бедное тело, с детских лет не знавшее благодатного освежения? Боже, как я хочу выкупаться! Но это невозможно, благородный сэр, не искушай меня: это запрещено.

И он вздохнул так скорбно, что я твердо решил дать ему возможность смыть хоть верхний слой своего земельного надела, даже если после этого влияние мое рухнет, а монастырь обанкротится. Я пошел к настоятелю и попросил его разрешить этому брату выкупаться. Настоятель при этих словах побледнел, — я не хочу сказать, будто я видел, как он побледнел, ибо для того чтобы увидеть, мне пришлось бы снять с его лица слой грязи толщиной в книжный переплет, а я вовсе не собирался этим заниматься, — но я знаю, что он побледнел и задрожал. И проговорил:

— Ах, сын мой, я все отдам тебе с благодарностью, требуй, чего хочешь, но только не этого. Неужели ты хочешь, чтобы священный источник снова иссяк?

— Нет, отец, я не дам ему иссякнуть. Я имел тайное откровение и теперь знаю, что в тот раз источник иссяк вовсе не потому, что монахи построили купальню. — Старик с любопытством насторожился. — Господь открыл мне, что купальня была неповинна в этом несчастье, ниспосланном совсем за другой грех!

— Речи твои дерзки... но... но, если они правдивы, мне отрадно слышать их.

— Они правдивы, не сомневайтесь. Позвольте мне заново построить купальню, отец. Позвольте мне восстановить ее, и воды источника будут течь вечно.

— Ты обещаешь это? Ты обещаешь? Только скажи, обещаешь ли ты это?

— Да, я обещаю.

— Тогда я первый войду в купальню и искупаюсь в ней. Ступай принимайся за дело. Не медли, не медли, ступай.

Я со своими ребятами сразу же приступил к работе. Развалины купальни и поныне стояли на прежнем месте, ниже монастыря, ни один ее камень не пропал. В течение всех этих лет никто не осмеливался даже приблизиться к ней; ее избегали с набожным страхом, словно над ней тяготело проклятие. За два дня мы все починили и даже воду в нее провели, — получился обширный пруд с чистой, прозрачной водой, в котором можно было плавать. Вода была проточная. Она втекала и вытекала по древним трубам. Старый настоятель сдержал свое слово и первый влез в воду. Он влез в воду черный, дрожащий, и вся его черная братия в тревоге и страхе смотрела на него; а вылез он белый, радостный. Еще одна победа, еще один триумф.

Вся наша работа в Долине Святости прошла успешно, и я был вполне удовлетворен ею. Я уже собирался уезжать, но тут меня постигла неудача. Я сильно простудился, и у меня разыгрался мой застарелый ревматизм. Как всегда бывает, ревматизм нашел во мне самое слабое место и поразил именно его. Это было то место, которое пострадало от объятий настоятеля, когда он выражал мне свою благодарность.

Я поднялся наконец с постели, но от меня осталась одна тень. Однако все были так добры и внимательны ко мне, так старались меня развеселить, что я стал быстро поправляться.

Сэнди очень утомилась, ухаживая за мною, и я решил отправиться в путь один, оставив ее отдыхать в женском монастыре. Мне пришлось в голову переодеться свободным поселянином и побродить пешком по стране

недельку-другую. Это дало бы мне возможность есть и спать вместе с низшим и беднейшим классом свободного населения страны. У меня не было иного способа познакомиться с его повседневной жизнью и с тем, как влияют на нее законы. Если бы я бродил между простолюдинами в дворянской одежде, они стали бы стесняться, чуждаться меня, скрывать от меня свои подлинные радости и горести, и все наблюдения мои оказались бы внешними и поверхностными.

Однажды утром я, чтобы размять ноги и подготовить себя к предстоящему путешествию, отправился в долгую прогулку, забрался на горный кряж, окаймлявший долину с севера, и подошел к искусственной пещере, которую мне давно показывали снизу; то была пещера одного отшельника, прославившегося суровостью и нечистоплотностью. Я знал, что отшельнику этому недавно предложили видный пост в Сахаре, где благодаря львам и комарам жизнь отшельников особенно трудна и заманчива, и что он уехал в Африку, а потому я решил войти и убедиться лично, действительно ли в этой берлоге так воняет, как мне рассказывали.

Каково же было мое удивление, когда оказалось, что пещера вычищена и подметена. Меня ждал здесь и другой сюрприз: во тьме пещеры зазвенел звонок, и я услышал голос:

— Алло, центральная! Это Камелот? Радуйся! Как не верить в чудеса, как не верить в то, что они окружают нас со всех сторон и проявляют себя там, где мы их не ожидаем, когда вот тут, рядом со мною, стоит во плоти его могущество, Хозяин, и ты сейчас собственными ушами услышишь его голос!

Какой решительный переворот! Что за нагромождение чудовищных несообразностей! Что за фантастическое сочетание непримиримых противоречий: в обители лжечудотворца поселилось подлинное чудо, берлога средневекового отшельника превратилась в телефонную станцию!

Телефонист вышел на свет, и я узнал в нем одного из своих юных помощников. Я спросил:

— Когда здесь устроили телефонную станцию, Ульфус?

— Вчера в полночь, благородный сэр Хозяин. Мы заметили в долине множество огней и решили устроить здесь телефонную станцию, ибо столько огней бывает лишь в очень больших городах.

— Вы поступили правильно. Хотя здесь и нет большого города, тем не менее это вполне подходящее место для телефонной станции. Вам известно, где вы находитесь?

— Я еще не успел навести справки, ибо, когда товарищи мои ушли на работу, оставив меня здесь дежурить, я прилег отдохнуть, решив сначала выспаться, а уж потом навести справки и доложить в Камелот название этой местности.

— Знай же, что это Долина Святости.

Не клюнуло! Я думал, он так и подпрыгнет при этом названии, а он и бровью не повел. Только сказал:

— Я так и доложу.

— Позволь, да ведь вся округа гремит славой чудес, сотворенных здесь за последние дни! Неужели ты не слыхал о них?

— Ведь мы передвигаемся по ночам и не вступаем в разговоры с посторонними. Мы знаем только то, что нам сообщают по телефону из Камелота.

— Но ведь в Камелоте все известно. Разве тебе не рассказывали о великом чуде восстановления святого источника?

— Конечно рассказывали. Но ведь та долина совсем иначе называется, чем эта. Большее несходство трудно себе даже...

— Как же тебе называли ту долину?

— Долиной Гадости.

— Теперь все понятно. Да будь он проклят, этот телефон. Он вечно путает похожие по звуку слова, совершенно искажая смысл. Ну, да все равно, теперь тебе известно название долины. Вызови Камелот.

Он вызвал Камелот, и Кларенс подошел к телефону. Как приятно было слышать голос моего мальчика! Словно я вернулся домой. Обменявшись с ним ласко-

рыми приветствиями и рассказав ему о своей недавней болезни, я спросил:

— Что нового?

— Король и королева, в сопровождении многих придворных, сейчас отправляются в вашу долину благочестиво поклониться восстановленному вами источнику, очиститься от греха и посмотреть то место, откуда адский дух извергал в облака настоящее адское пламя. Если вы хорошенько вслушаетесь, вы услышите, как я, поддакивая, хихикаю про себя, ибо я сам выбирал это пламя на нашем складе и сам посылал его к вам по вашему приказу.

— Разве король знает дорогу сюда?

— Король? Нет, не знает. И никто не знает. Но наши ребята, помогавшие вам творить чудо, поедут с ними как проводники и будут указывать места привалов и ночлегов.

— Когда же они будут здесь?

— Послезавтра, во время вечерни.

— А еще какие новости?

— Король начал создавать постоянную армию, как вы ему советовали. Один полк уже совсем готов, и все офицеры назначены.

— Какая досада! Я хотел сам назначить офицеров. Во всем королевстве есть только одна группа людей, которые годятся в офицеры для регулярной армии.

— Да. Но должен вас удивить: ни один человек из нашей Военной академии не попал в полк.

— Что ты говоришь? Ты не шутишь?

— Я говорю правду.

— Ты встревожил меня. Кто же назначен? И как выясняли пригодность или непригодность того или иного кандидата? Устроили, вероятно, конкурсный экзамен?

— Об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что все офицеры знатного происхождения и — как это вы называете — бараньи головы.

— Тут что-нибудь не так, Кларенс.

— Успокойтесь: два кандидата в лейтенанты сопровождают короля, оба молодые аристократы, — и если вы дождетесь их, они сами вам ответят на все вопросы.

— Это важная новость. Во всяком случае, хоть одного из своих курсантов я непременно включу в офицерский состав. Пошли тотчас же в академию конного гонца с моим приказом: пусть загонит, если надо, хоть десяток лошадей, он должен быть там сегодня же до заката солнца и...

— В этом нет надобности. Я установил с академией телефонную связь. Позвольте мне соединить вас.

Как приятно было это слышать. В атмосфере телефонов, в атмосфере постоянной связи с отдаленнейшими районами мне дышалось легко и свободно. Только теперь я понял, каким ползучим, унылым, бездушным ужасом была для меня эта страна в течение всех этих лет, как задыхался я в ней, пока мало-помалу не привык к духоте.

Я отдал приказ начальнику академии лично. Я заодно попросил его прислать мне немного бумаги, самопишущее перо и несколько коробков безопасных спичек. Мне надоело обходиться без этих скромных удобств. Теперь мне удастся ими пользоваться, так как я не собираюсь больше надевать лат и у меня снова будут карманы.

Вернувшись в монастырь, я застал там занятое зрелище. Настоятель и монахи, собравшись в большом зале, с ребяческим любопытством и младенческой доверчивостью следили за фокусами нового чародея, только что прибывшего. Одежда на нем была фантастическая, такая же нелепая и пестрая, как одежда индейских знахарей. Он вертелся, бормотал, размахивал руками, чертил таинственные знаки по воздуху и по полу — словом, вел себя как все фокусники. Он был очень знаменит во всей Азии, — так он сам утверждал, и этого было вполне достаточно. Такие утверждения стоят золота, их всюду принимают за чистую монету, и они всюду находят сбыт.

Как легко и дешево досталась этому человеку слава великого чародея! Его специальностью было рассказывать, что в данную минуту делает любой обитатель земного шара, а также, что он делал в прошлом и что он станет делать в будущем. Он спросил, не желает ли кто-нибудь узнать, что сейчас делает император Во-

стока? Блеск глаз, восхищенные потирания рук были красноречивее любого ответа. Еще бы! Разумеется, вся эта благочестивая толпа мечтала узнать, что делает этот монарх. Обманщик забормотал и затем торжественно возвестил:

— Высочайший и могущественнейший император Востока сейчас кладет деньги на ладонь святого нищенствующего монаха — одну монету, две, три монеты, и все серебряные.

Толпа восторженно загудела:

— Изумительно! Удивительно! Сколько пришлось учиться, сколько пришлось работать, чтобы приобрести столь необычайную силу.

Не желают ли они узнать, что сейчас делает повелитель Индии? Да, желают. Он сказал им, что делает повелитель Индии. Затем он сообщил им, чем занят султан Египта и что собирается предпринять король Дальних Морей. И так далее, и так далее... И с каждым новым чудом изумление перед точностью его знаний все возрастало. Порой его пытались сбить трудным вопросом, — но нет, сбить его было невозможно, на каждый вопрос он отвечал без колебания и промедления, с полной уверенностью. Я видел, что если так будет продолжаться, я потеряю свое превосходство, — этому детине достанется все, а я останусь за флагом. Я должен сунуть палку ему в колесо, и притом как можно скорее. И я сказал:

— Мне очень хотелось бы узнать, что сейчас делает один человек.

— Спрашивайте, не бойтесь. Я дам вам ответ.

— Это, пожалуй, будет трудно... Быть может, даже невозможно...

— Для моего искусства нет ничего невозможного. Чем труднее вопрос, тем охотнее я на него отвечаю.

Как видите, я старался привлечь любопытство. И мне это удалось. Кругом насторожились, вытянули шеи, затаили дыхание. Любопытство привлечено, теперь нужно его разжечь.

— Если вы не ошибетесь, если вы ответите правильно, я дам вам двести серебряных пенни.

— Эти деньги уже все равно что мои... Я скажу вам все, что вы желаете узнать.

— В таком случае ответьте мне, что я сейчас делаю правой рукой?

— Ах!

Все были изумлены необычайно. Во всей этой толпе никому не пришел бы в голову простейший трюк — спросить о человеке, который находится не за десять тысяч миль отсюда. Чародей смутился. Очевидно, такого вопроса ему никогда еще никто не задавал. Он не знал, как ему вывернуться. Он был сбит с толку. Он не мог выговорить ни слова.

— Чего ж вы ждете? — сказал я. — Если вы в состоянии сразу, без всякой подготовки, определить, что делает человек на другом конце света, неужели вы не можете ответить, что делает человек, находящийся в трех ярдах от вас? Люди, стоящие позади меня, видят, что я делаю своей правой рукой, и подтвердят, если вы ответите правильно.

Он продолжал молчать.

— Хорошо, я объясню вам, почему вы молчите: потому что вы не знаете. Это вы-то, чародей! Друзья, этот бродяга — просто обманщик и лгун.

Монахи огорчились и перепугались. Они никогда не видели людей, осмеливающихся бранить чародеев, и они опасались за последствия. Наступила мертвая тишина; тяжелые предчувствия зародились в суеверных умах. Чародей тем временем успел овладеть собой и улыбнулся спокойно и небрежно. И все сразу почувствовали облегчение, ибо, раз он улыбается, значит гибель им не угрожает. Он сказал:

— Речь этого человека так дерзка, что у меня отнялся язык от негодования. Да будет ведомо всем, кому это еще неизвестно, что волшебники моего ранга могут иметь дело только с королями, принцами, императорами, только с людьми, родившимися в золоте и пурпуре. Если бы вы меня спросили, что делает великий король Артур, я бы вам ответил, а деяния его подданных для меня безразличны.

— О, значит я неправильно вас понял. Мне послышалось, будто вы сказали: спрашивайте про любого

человека; и я думал, что любой человек и есть любой человек, всякий человек.

— Ну, да... любой человек благородного происхождения, а самое лучшее — королевского происхождения.

— Мне кажется, так оно и есть, — вмешался настоятель, очевидно полагая, что теперь как раз удобно уладить спор и предупредить беду. — Вряд ли такой удивительный дар мог быть создан для того, чтобы наблюдать за деяниями людей, не родившихся на вершинах величия. Наш король Артур...

— Хотите знать, что он делает? — перебил его чародей.

— О, конечно, пожалуйста, будем с вами благодарны.

Все опять были полны внимания и любопытства — неисправимые идиоты! Они с глубоким волнением следили за движениями чародея и взглянули на меня с таким видом, словно говорили: «Ну, что ты теперь скажешь?», когда он произнес:

— Король утомился на охоте и вот уже два часа лежит у себя во дворце, погруженный в сон без сновидений.

— Да благословит его господь, — сказал настоятель и перекрестился. — Пусть этот сон укрепит его тело и душу.

— Так бы оно и было, если бы король спал, — сказал я. — Но король не спит, король скачет верхом.

Снова все взволновались: столкнулись два авторитета. Никто не знал, кому из нас верить, ведь я еще не вполне потерял свою славу. Чародей посмотрел на меня с презрением и сказал:

— Я на своем веку повидал немало удивительных ясновидцев, и пророков, и чародеев, но ни один из них не умел проникать в сущность вещей без заклинаний.

— Вы всю жизнь прожили в лесном захолустье и многое прозевали. Вся здешняя добрейшая братия знает, что я и сам иногда прибегаю к заклинаниям, но не ради таких пустяков.

Когда дело доходит до насмешек, со мной справиться нелегко. Чародею пришлось попотеть. Настоятель

спросил его, что делают королева и придворные, и получил ответ:

— Все они спят, так как утомились не меньше короля.

— Еще одна ложь! — сказал я. — Одни придворные веселятся, а другие вместе с королевой скачут верхом. А теперь понатужьтесь и ответьте нам, куда направляются король и королева?

— Как я уже сказал, сейчас они спят; но завтра они и вправду будут скакать, ибо собираются съездить на берег моря.

— А где они будут послезавтра во время вечерни?

— Далеко к северу от Камелота, на полпути к морю.

— Еще одна ложь, и огромная — в полтора ста миль. Их путешествие придет к концу, и они будут здесь, в этой долине.

Вот это получилось здорово! Настоятель и монахи пришли в восторг, а чародей рухнул. Я добил его, сказав:

— Если король не приедет, я готов прокатиться верхом на шесте; но если он приедет, я прокачу вас.

На другой день я побывал на телефонной станции и установил, что король проехал уже через два города, лежавшие у него на пути. На следующий день я опять разговаривал по телефону и, таким образом, все время был в курсе дела. Но, разумеется, никому об этом не говорил. На третий день из донесений выяснилось, что, если его никто не задержит, он прибудет к четырем часам пополудни. Однако в монастыре, видимо, вовсе не готовились к встрече короля; сказать по правде, я удивился. Этому могло быть только одно объяснение: тот чародей подкапывается под меня. Так оно и оказалось. Я расспросил одного своего приятеля монаха, и тот сказал мне, что действительно чародей опять чего-то наколдовал и установил, что при дворе решено не предпринимать никакой поездки и остаться дома. Посудите сами, многого ли стоит слава в этой стране! На глазах у этих людей я сотворил чудо, превосходящее великолепием все чудеса, известные в истории, и притом единственное чудо, имеющее хоть некоторую

подлинную ценность, — а они тем не менее готовы были в любую минуту изменить мне ради проходимца, который не мог предъявить ни одного доказательства своего могущества, кроме собственного непроверенного утверждения.

Как бы то ни было, дурная политика — позволить королю прибыть в монастырь неожиданно, без всякой торжественности и пышности; поэтому я устроил процессию из паломников и в два часа дня отправил ее на встречу королю, включив в нее несколько отшельников, которых выкурил предварительно из нор. Больше никто короля не встречал. Настоятель онемел от ярости и унижения, когда я вывел его на балкон и показал ему, как глава государства въезжает в монастырь, как его не встречает ни один монах, даже самый захудалый, как пустыни и мертвы монастырские дворы, как безмолвствуют даже колокола, не веселя монарха своим звоном. Он только взглянул и помчался со всех ног. Через минуту колокола неистово гремели, а из монастырских зданий выбегали монахи и монахини, строясь в крестный ход; вместе с этим крестным ходом из монастыря выехал и тот чародей; по распоряжению настоятеля он ехал верхом на шесте, его слава рухнула в грязь, а моя снова взлетела к небесам. Да, даже и в такой стране можно поддерживать честь своей торговой марки, но для этого надо все время трудиться, все время быть настороже и не сидеть сложа руки.

Глава XXV

КОНКУРСНЫЙ ЭКЗАМЕН

Когда король, развлекаясь, разъезжал по стране или отправлялся в гости к какому-нибудь далеко живущему вельможе, которого собирался разорить своим посещением, его сопровождала целая орда крупных чиновников. Таков был обычай того времени. И на этот раз вместе с королем в Долину прибыла комиссия, которой поручена была проверка знаний кандидатов на

офицерские должности в армии, ибо работать здесь она могла с таким же успехом, как и дома. И хотя поездка эта была предпринята королем ради увеселений, он и сам продолжал заниматься делами. Он боролся со злом, как всегда. Каждое утро на рассвете он садился в воротах и творил суд, ибо он был верховным судьей в своем королевстве.

Со своими судейскими обязанностями он справлялся блестяще. Он был мудрый и человеколюбивый судья и, видимо, из всех сил старался решать дела справедливо — в меру своего разумения. А эта оговорка много значит. Его решения нередко носили на себе печать предрассудков, привитых ему воспитанием. Если спор шел между дворянином и человеком простого звания, он невольно, сам того не подозревая, сочувствовал дворянину. Да иначе и быть не могло. Всеми миру известно, что рабство притупляет нравственное чувство рабовладельцев, а ведь аристократия — не что иное, как союз рабовладельцев, только под другим названием. Это звучит неприятно, но тем не менее не должно никого оскорблять — даже и самого аристократа, если только факт сам по себе не кажется ему оскорбительным, — ибо я всего лишь констатирую факт. Ведь в рабстве нас отталкивает его *сущность*, а не его название. Достаточно послушать, как говорит аристократ о низших классах, чтобы почувствовать в его речах тон настоящего рабовладельца, лишь незначительно смягченный; а за рабовладельческим тоном скрывается рабовладельческий дух и притупленные рабовладельчеством чувства. В обоих случаях причина одна и та же: старая укрепившаяся привычка угнетателя считать себя существом высшей породы. Приговоры короля были часто несправедливы, но виной этому было лишь его воспитание, его естественные и неизменные симпатии. Он не годился в судьи, как в голодные годы мать не годится на то, чтобы раздавать молоко голодающим детям: ее собственные дети получали бы больше, чем чужие.

Однажды королю пришлось разбирать весьма любопытное дело. Молоденькая девушка, сирота, пмевшая большое поместье, вышла замуж за молодого человека,

не имевшего ничего. Поместье девушки находилось в феодальной зависимости от церкви. Епископ местной епархии, высокомерный отпрыск знатного рода, потребовал конфискации принадлежащего девушке поместья на том основании, что она обвенчалась тайно и тем самым лишила церковь одного из присвоенных ей, как сеньору, прав — так называемого «права сеньора». За отказ или уклонение от подчинения этому праву закон карал конфискацией имущества. Девушка строила свою защиту на том, что представителем власти сеньора в данном случае был епископ, что указанное право не может быть передано другому лицу, но должно быть осуществлено либо самим сеньором, либо никем, а между тем другой закон, еще более древнего происхождения и установленный самой церковью, строжайше воспрещал епископу пользоваться таким правом. Да, дело было запутанное.

Оно напомнило мне прочитанный в юности рассказ о хитроумной выдумке, с помощью которой лондонские олдермены собирали деньги на постройку Мэншен-Хауза. Всякое лицо, не причащавшееся по англиканскому обряду, не имело права выставять свою кандидатуру на должность лондонского шерифа. Следовательно, иноверцы, даже будучи избранными, принуждены были отказываться от исполнения обязанностей шерифа. Олдермены — несомненно, переодетые янки — изобрели такую хитрую уловку: провели закон, налагающий штраф в четыреста фунтов на всякого, кто отказывается выставить свою кандидатуру в шерифы, и в шестьсот фунтов — на всякого, кто, будучи избран шерифом, отказывается исполнять его обязанности. Потом они принялись за работу и избрали в шерифы, одного за другим, множество иноверцев, взимая с каждого положенный штраф, — до тех пор, пока общая сумма штрафов не достигла пятнадцати тысяч фунтов; и вот поныне высится величественный Мэншен-Хауз, чтобы напоминать краснеющим гражданам о давнопрошедшем и прискорбном дне, когда банда янки проникла в Лондон и принялась разыгрывать те шутки, благодаря которым их нация пользуется теперь среди

всех честных людей мира такой исключительно скверной славой.

Мне казалось, что права девушка; но епископ по-своему был тоже прав. Я не мог сообразить, как выберется король из этого тупика. Но он выбрался. Вот как он рассудил:

— Ничего трудного здесь нет, в этом деле мог бы разобраться и ребенок. Если бы невеста, как повелевал ей долг, своевременно заявила епископу, своему феодальному господину, повелителю и защитнику, о своем предстоящем замужестве, она не потерпела бы никакого ущерба, ибо названный епископ мог бы получить разрешение от аббата, делающее его временно способным осуществить названное свое право, и все ей принадлежащее осталось бы при ней. Виновная в невыполнении своего первого долга, она тем самым виновна во всем; ибо тот, кто, цепляясь за веревку, перерезает ее выше того места, за которое держится, непременно упадет; и как бы он ни уверял, что остальная часть веревки крепка, это не спасет его от гибели. Дело этой женщины в корне несправедливое. Суд присуждает передать все ее имущество до последнего фартинга вышеупомянутому лорду-епископу и возложить на нее судебные издержки. Следующий!

Так трагически кончился прекрасный медовый месяц. Бедные молодожены! Недолго они блаженствовали, наслаждаясь богатством. Они были хорошо одеты, они были украшены всеми драгоценностями, дозволенными законами о роскоши, установленными для людей их звания; и она, в своих пышных одеждах, плакавшая у него на плече, и он, пытавшийся ее утешить словами надежды, положенными на музыку отчаянья, — оба они ушли из суда в широкий мир бездомные, бесприютные, голодные; последний нищий, сидевший у дороги, не был так нищ, как они.

Что ж, король распутал это трудное дело, разумеется, к полному удовлетворению церкви и аристократии. Можно приводить сколько угодно изящных и правдоподобных доводов в защиту монархии, но факт остается фактом, что там, где каждый житель государства имеет право голоса, нет зверских законов. Народ

короля Артура был, разумеется, мало пригоден для создания республики — слишком долго он жил под прижимающим игом монархии, но даже у этого народа хватило бы ума отменить закон, только что примененный королем, если бы это зависело от свободного и всеобщего голосования. Существует одно такое сочетание слов, совершенно бессмысленное, которое от частого употребления как будто получило значение и смысл: я имею в виду слова «способный к самоуправлению», применяемые то к одному, то к другому народу; при этом подразумевается, что где-то есть, или был, или может быть народ, неспособный к самоуправлению, — народ, который не способен управлять собою так, как им управляют или могли бы управлять специалисты, сами себя признавшие достойными власти. Лучшие умы всех наций во все века выходили из народа, из народной толщи, а вовсе не из привилегированных классов; следовательно, независимо от того, высок ли, или низок общий уровень данного народа, дарования его таятся среди безвестных бедняков, — а их так много, что не будет такого дня, когда в недрах народных не найдется людей, способных помочь ему управлять собой. А из этого следует, что даже самая лучшая, самая свободная и просвещенная монархия не может дать народу того, чего он достиг бы, если бы сам управлял собой; и тем более это относится к монархиям не свободным и не просвещенным.

Я совсем не ожидал, что король Артур так поспешит с устройством армии. Я не мог предположить, что он займется этим делом в мое отсутствие, и потому не подготовил требований, которые нужно предъявлять каждому желающему занять офицерскую должность; я только сказал мимоходом, что кандидатов нужно подвергнуть суровому и строгому экзамену; а про себя решил потребовать от них таких военных знаний, какими могут обладать только слушатели моей Военной академии. Напрасно не выработал я программу испытаний до своего отъезда: мысль о создании постоянной армии так захватила короля, что он не в силах был ждать и, не откладывая, сам принялся за дело и

составил такую программу испытаний, какую сумел составить.

Мне не терпелось познакомиться с ней и доказать, насколько она хуже той, которую я сам собирался предъявить экзаменационной комиссии. Я осторожно намекнул об этом королю и сразу разжег его любопытство. Едва комиссия собралась, явился и я вслед за королем, а вслед за нами явились кандидаты. Один из этих кандидатов был молодой блестящий слушатель моей Военной академии, прибывший в сопровождении двух профессоров.

Увидев комиссию, я не знал, плакать ли мне, или смеяться. В ней председательствовал главный герольдмейстер! Двое членов были начальниками отделений в его департаменте; и все трое, разумеется, были попами, — все чиновники, умевшие читать и писать, были попами.

Из учтивости ко мне моего кандидата вызвали первым, и глава комиссии с официальной торжественностью стал задавать ему вопросы:

— Имя?

— Мализ.

— Чей сын?

— Уэбстера.

— Уэбстер... Уэбстер... Гм... Что-то не припомню такой фамилии. Звание?

— Ткач.

— Ткач! Господи, спаси нас!

Король был потрясен до глубины души, один член комиссии упал в обморок, другой, казалось, вот-вот упадет.

Председатель опомнился и, негодуя, сказал:

— Довольно. Вон отсюда!

Но я воззвал к королю. Я умолял его допустить моего кандидата к экзаменам. Король соглашался, но комиссия, состоявшая из столь знатных особ, просила короля избавить ее от унижения экзаменовать сына ткача. Я знал, что экзаменовать его они все равно не могут, так как сами ничего не знают, а потому присоединился к их просьбам, и король возложил эту обязанность на моих профессоров. У меня заранее была

приготовлена черная доска, я велел ее внести, и представление началось. Приятно было слушать, как бойко мой юноша излагал военную науку, как подробно рассказывал он о битвах и осадах, о снабжении и переброске войск, о минах и контрминах, о тактике и стратегии отдельных частей и крупных соединений, о сигнальной службе, о пехоте, кавалерии, артиллерии, об осадных орудиях, полевых орудиях, о винтовках, о ружьях крупного и мелкого калибра, о револьверах, — а эти болваны слушали и не понимали ни одного слова; приятно было смотреть, как он вычерчивает мелом на доске математические головоломки, которые поставили бы в тупик и ангелов, как легко и просто рассказывает он о затмениях, о кометах, о солнцестояниях, о созвездиях, о полуденном времени, о полуденном времени, об обеденном времени, обо всем, что только есть над облаками и под облаками годного для того, чтобы известить и замучить врага и заставить его пожалеть, что ему вздумалось напасть на вас; и когда он наконец кончил и, отдав честь по-военному, отошел в сторону, я с гордостью обнял его, а остальные были потрясены, уничтожены и смотрели на него как пьяные. Я решил, что дело в шляпе и большинством голосов пройдем мы.

Образование — великая вещь! Когда этот самый юноша явился в мою Военную академию, он был так невежествен, что на мой вопрос: «Как должен поступить старший офицер, если во время боя под ним убьют лошадь?» — наивно ответил: «Встать и почиститься». Следующим вызвали одного из молодых дворян. Я решил сам задавать ему вопросы. Я спросил:

— Умеете ли вы, ваше сиятельство, читать?

Он весь вспыхнул от негодования и гневно выпалил:

— Вы принимаете меня за псаломщика? Кровь, текущая в моих жилах, не потерпит...

— Отвечайте на вопрос!

Он подавил свой гнев и ответил:

— Нет.

— А писать вы умеете?

Он опять собирался обидеться, но я сказал:

— Прошу отвечать только на вопросы и не говорить ничего лишнего. Вы здесь не для того, чтобы хвастать своею кровью и своим происхождением, этого вам здесь не позволят. Умеете вы писать?

— Нет.

— А таблицу умножения знаете?

— Не понимаю, о чем вы спрашиваете.

— Сколько будет девятью шесть?

— Это тайна, которая сокрыта от меня, ибо еще ни разу в моей жизни не было у меня нужды познать ее, и, не имея надобности познать ее, я ее не познал!

— Если А уступил В бочонок луку ценою по два пенса за бушель в обмен на овцу ценою в четыре пенса и собаку ценою в одно пенни, а С убил собаку, прежде чем она была доставлена покупателю, ибо она укусила его, приняв за Д, какую сумму В должен А? и кто обязан оплатить стоимость собаки — С или Д? и кому должны достаться эти деньги? и если деньги эти должны достаться А, то должен ли он удовольствоваться одним пенни, составляющим стоимость собаки, или имеет право потребовать дополнительного возмещения за тот доход, который могла бы принести ему собака, став его собственностью?

— Поистине, премудрое и неисповедимое божественное провидение, таинственно управляющее миром, никогда не стало бы предлагать человеку подобных вопросов, единственная цель которых — сбить с толку и помутить сознание. А потому я прошу вас предоставить собаке, луку и этим людям со странными языческими именами выпутываться из своих удивительных и жалости достойных затруднений самим, без моей помощи, ибо, если бы я попытался им помочь, я только еще больше запутал бы все дело и, возможно, не пережил бы и сам того отчаянья, в которое они были бы повергнуты.

— Что вам известно о законах притяжения и тяготения?

— Если такие законы существуют, значит его величество король издал их, когда я в начале года лежал больной и ничего не мог о них услышать.

— Что вы знаете о науке оптике?

— Я знаю о губернаторах провинций, о сенешалях замков, о шерифах графств, знаю о многих других должностях и почетных званиях помельче, но о том, кого вы величаете Оптикой, я никогда прежде не слышал; вероятно, эта должность новая.

— Да, в этой стране.

Подумайте только — такой моллюск с полной самонадеянностью предъявляет права на получение офицерского чина! Его способностей хватило бы разве только на то, чтобы выучиться стучать на пишущей машинке, да и тут ему будет мешать склонность к нововведениям в области грамматики и пунктуации. И все-таки странно, почему при такой неспособности к любому сколько-нибудь сложному делу он действительно не взялся за переписку на машинке. Впрочем, если он пока еще не стал переписчиком, это не значит, что он не станет им в будущем. Помучив его еще немного, я сдал его на руки профессорам, которые вернули его наизнанку, стараясь выяснить, осведомлены ли он в военных науках, и, разумеется, обнаружили полнейшую пустоту. Он знал кое-что о военном ремесле своей эпохи — о рысканье по зарослям в поисках людоедов, о побоищах на турнирах и тому подобной ерунде, — но во всем остальном он был невежествен и бесполезен. Затем мы вызвали другого знатного юношу, и оказалось, что он не уступает первому ни в невежестве, ни в бездарности. Я передал обоим председателю комиссии, в полной уверенности, что песенка их спета. И комиссия проэкзаменовала их заново.

— Имя, будьте любезны.

— Пертиполь, сын сэра Пертиполя, барона Солод.

— Дед?

— Также сэр Пертиполь, барон Солод.

— Прадед?

— То же имя и тот же титул.

— Прапрадед?

— Его у нас не было, почтенный сэр, наш род не столь древен.

— Это не важно. Все-таки целых четыре поколения; основное условие выполнено.

— А что это за условие? — спросил я,

— Условие, согласно которому каждый кандидат должен доказать наличие четырех поколений знатных предков.

— Значит, тот, за спиной которого не стоят четыре поколения знатных предков, не может стать армейским лейтенантом?

— Ниоим образом, ни лейтенантом, ни любым другим офицером.

— О, что вы! Это изумительно. Да какой же толк в подобном требовании?

— Какой толк? Смелый вопрос, благородный сэр и Хозяин: предлагать такие вопросы, значит оспаривать премудрость нашей святой матери-церкви.

— Это почему?

— Потому что подобным же правилом церковь руководствуется при провозглашении святых. По церковному закону, к лику святых может быть причислен лишь тот, кто умер столь давно, что после его смерти сменились четыре поколения.

— Понимаю, понимаю . да, да, и здесь то же самое. Удивительно! В одном случае четыре поколения предков человека прожили, как мертвые, — превращенные в мумии невежеством и грязью, — и это дает ему право командовать живыми людьми, беря в свои бессильные руки управление их счастьем и горем; а в другом случае человек лежит мертвый под землей, черви едят его в течение смены четырех поколений, и это дает ему право командовать небесным воинством. И его величество король одобряет этот странный закон?

Король сказал:

— По правде говоря, я не вижу в нем ничего странного. Все почетные и доходные должности принадлежат, в силу естественного права, лицам благородной крови; офицерские должности в армии точно так же являются их собственностью и достались бы им по праву и без этого закона. Закон только ставит преграду? Он отстраняет тех, чья знатность недавнего происхождения, ибо если офицерские должности займут люди безродные, никто не станет к этим должностям относиться с уважением, а люди знатные отвернутся

от них и брезгливо откажутся их занимать. Я был бы достоин осуждения, если бы допустил такое несчастье. Вы — дело другое, ваша власть заемная, не приращенная, но если бы это сделал король, он был бы не понят, признан безумным и всеми осужден.

— Я сдаюсь! Продолжайте, сэр председатель коллегии герольдии.

Председатель продолжал:

— Каким славным подвигом в честь трона и государя основатель вашего великого рода возвысился до священного звания британского дворянина?

— Он построил пивоварню.

— Государь, комиссия находит, что кандидат этот удовлетворяет всем требованиям и вполне достоин стать офицером, но окончательное решение откладывает до опроса его соперника.

Соперник вышел вперед и сразу доказал, что у него тоже четыре поколения знатных предков. Так чья же военная квалификация выше? Да, не легко было развязать этот узел.

Он отошел в сторону, и председатель обратился к сэру Пертиполю:

— К какому сословию принадлежала супруга основателя вашего рода?

— Она была из семьи очень зажиточных землевладельцев, но не дворян; она была очаровательна, чиста, милосердна и жизнь свою прожила так безупречно, что ее по праву можно поставить рядом с самыми знатными дамами в стране.

— Довольно, отойдите.

Председатель снова вызвал второго дворянина и спросил:

— К какому сословию или званию принадлежала ваша прабабушка, супруга человека, возведенного в дворянское достоинство и основавшего ваш великий род?

— Она была королевской любовницей и достигла этого блистательного положения без всякой посторонней помощи, исключительно благодаря своим личным качествам, поднявшись из сточной канавы, где была рождена.

— Ах, вот это истинное дворянство: кровь королей течет в ваших жилах. Чин лейтенанта за вами, благородный лорд. Не презирайте его; это первый скромный шаг, который приведет вас к почестям, более достойным вашего высокого происхождения.

Я был низвергнут в бездонную пропасть унижения. Я рассчитывал на легкий ослепительный триумф — и вот чем все кончилось!

Мне было стыдно смотреть в глаза моему несчастному, посрамленному ученику. Я сказал ему, чтобы он ехал домой и терпеливо ждал, ибо это еще не конец.

Я получил у короля частную аудиенцию и сделал ему новое предложение. Я признал, что он был совершенно прав, назначая в этот полк только дворян, что мудрее поступить невозможно. Недурно было бы назначить туда офицерами еще человек пятьсот дворян или даже произвести в офицеры этого полка всех знатных людей королевства и всех их родственников; не беда, если в полку окажется в пять раз больше офицеров, чем солдат; пусть это будет блестящий полк, полк, возбуждающий всеобщую зависть, собственный полк его величества, пусть он сражается, как ему хочется и где ему угодно, пусть во время войны он приходит или уходит по своей собственной воле, никому не подчиняясь, совершенно независимый. Все дворяне будут с величайшей охотой служить в этом полку, и все они будут довольны и счастливы. А остальные части нашей постоянной армии мы можем создать из более заурядных материалов, и офицерами назначим туда людей безродных, не считаясь ни с чем, кроме настоящего знания военного дела; этот полк соблюдал бы строжайшую дисциплину, не пользовался бы никакими аристократическими вольностями и постоянно был бы занят учениями и упражнениями; и собственный полк его величества, утомясь или попросту пожелав для перемены поохотиться на каких-нибудь великанов, мог бы заняться этим без всякого опасения, зная, что дело остается в надежных руках и будет идти как всегда. Король был очарован моей выдумкой.

При виде его восторга у меня явилась еще одна ценная мысль. Мне показалось, что на этот раз удастся

разрешить одну старую и очень трудную задачу. Видите ли, дело в том, что все члены королевского дома Пендрагонов отличались долговечностью и плодovitостью. Когда у кого-нибудь из них рождался ребенок, — а случалось это очень часто, — вся нация безумно радовалась на словах и глубоко горевала в душе. Радость была сомнительная, но горе совершенно искреннее — ибо рождение нового члена королевского дома влекло новый сбор в королевский фонд. Список членов королевского дома был очень длинен; постоянно возрастая, он ложился тяжким бременем на государственное казначейство и создавал угрозу самому существованию королевской власти. Однако Артур никак не мог этому поверить и не хотел даже слушать, когда я предлагал разные проекты замены королевских фондов. Если бы мне удалось убедить его хоть изредка помогать своим дальним родственникам из своего кармана, это произвело бы отличное впечатление на народ; но нет, он об этом и слышать не хотел. В уважении, которое питал он к королевскому фонду, было что-то почти религиозное; он смотрел на него как на свою священную добычу и неизменно сразу приходил в ярость, когда кто-нибудь нападал на это почтенное учреждение. Когда я осторожно намекал ему, что в Англии нет ни одной другой уважаемой семьи, которая согласилась бы унижить себя, протягивая шляпу за подаванием, — вот до чего я договаривался, — он всегда обрывал меня с первых же слов и довольно резко.

Но тут мне показалось, что наконец-то я добьюсь своего. Этот блестящий полк я решил составить из одних офицеров — ни одного простого солдата. Половина полка будет состоять из дворян, которые получают все чины вплоть до генерал-майора включительно; служить они будут даром и сами оплачивать все расходы; и, конечно, они будут очастливлены этим, узнав, что вторая половина полка состоит исключительно из принцев крови. Эти принцы крови получают все чины от генерал-лейтенанта до фельдмаршала включительно, будут получать большое жалованье, будут одеваться и кормиться на казенный счет.

Кроме того — в этом и заключалось самое главное — будет постановлено, что те из принцев, которые согласятся служить в этом полку, получают оглушительно пышный, страх нагоняющий титул (я сам собирался его придумать), и этим титулом будут иметь право именоваться только они одни. Перед всеми принцами крови встанет выбор; либо вступить в полк, получить пышнейший титул и отказаться от королевского фонда, либо сохранить за собой фонд, но зато не вступать в полк и остаться без титула. Но вот что было лучше всего: в полк можно было записывать по заявлению родителей даже еще не родившихся, но *готовых к рождению* принцев крови, и они, едва появившись на свет, получали хорошее жалованье и высокое звание.

Я не сомневался, что все принцы вступят в полк; следовательно, все уже существующие фонды будут отменены; а всех новорожденных запишут в полк заранее, в этом я тоже не сомневался. Еще два месяца, и смешная нелепость — королевский фонд, — перестав существовать, займет место среди курьезов прошлого.

Глава XXVI

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА

Когда я сказал королю, что намерен отправиться странствовать, переодевшись свободным простолудинном, чтобы поближе познакомиться с жизнью простого народа, он мгновенно загорелся новизной этого плана и объявил, что отправится странствовать вместе со мной, что ничто на свете его не удержит. Он сейчас все бросит и пойдет, — так ему нравится этот план. Он хотел отправиться немедленно, но я убедил его, что так нельзя. Он уже назначил время, когда будет исцелять от золотухи, а в таких вещах обманывать нехорошо, тем более что речь шла о задержке всего на одну ночь. Кроме того, я полагал, что он должен предупредить королеву о своем предстоящем отъезде. Когда я сказал это, он стал мрачен и печален. Я пожалел, что за-

говорил о королеве, особенно после того, как он грустно ответил:

— Ты забываешь, что Ланселот остается здесь. А когда Ланселот здесь, она не замечает ни приездов короля, ни отъездов.

Разумеется, я сразу же заговорил о другом. Спору нет, Гиневра красавица, но особа довольно легкомысленная. Я никогда не вмешиваюсь в то, что меня не касается, но мне не нравилось ее поведение, и я не стесняюсь об этом заявить. Сколько раз она меня спрашивала: «Сэр Хозяин, не видали ли вы сэра Ланселота?» А если ей и случалось когда-нибудь спрашивать о короле, меня, должно быть, не было поблизости.

Обстановку для исцеления от золотухи создали вполне подходящую — все было аккуратно и внушительно. Король сидел на троне под балдахином; вокруг него построилось духовенство в полном облачении. На виду у всех важно стоял Маринэл, отшельник из породы лекарей-шарлатанов, и представлял королю больных. На полу, вплоть до самых дверей, сидели и лежали больные, озаренные ярким светом. Все это было как на сцене и казалось нарочно подстроенным, хотя в действительности никто ничего не подстраивал. Присутствовало восемь сотен больных. Работа шла медленно; она не представляла для меня большого интереса, потому что я и прежде видел уже подобные церемонии. Мне все это скоро надоело, но приличие заставляло меня терпеть до конца. Излечение основывалось на том, что в подобных толпах всегда много таких людей, которые только воображают, что они больны, и таких, которые притворяются больными, чтобы сподобиться бессмертной чести королевского прикосновения или чтобы получить монету, вручаемую королем при этом прикосновении. Монета была золотая и стоила примерно треть доллара. Если вы примете в расчет, как много можно было купить на эти деньги в те времена и в той стране и какая обычная болезнь золотуха у всех, кто еще не лежит в могиле, вы поймете, как дорого обходились казне эти ежегодные исцеления и как казна обирала налогоплательщиков, чтобы покрыть этот расход. И потому я про себя решил исцелить

казну от золотухи. За неделю до отъезда из Камелота на поиски приключений я удержал в казначействе шесть седьмых из ассигнований на исцеление, а оставшуюся седьмую велел потратить на чеканку пятицентовых никелевых монет, которые передал в руки старшего клерка Золотушного департамента, чтобы вместо каждой золотой монеты он выдавал никелевую. Никеля у нас было не так много, но я надеялся, что его хватит. Как правило, я не одобряю подделки монет. Но в данном случае, по-моему, стесняться было нечего, потому что речь шла, как-никак, о подарке. Когда даришь вино, можешь его немного разбавить; я всегда так и поступаю. Старинные золотые и серебряные монеты, обращавшиеся в стране, были в большинстве неизвестного происхождения; попадались между ними и римские; все они были неправильной формы и не круглее, чем луна неделю спустя после полнолуния; они были выбиты, а не отлиты, и так стерлись от употребления, что надписи на них, похожие на простые царапины, стали неудобочитаемы. Я и подумал: четкие, яркие, новенькие никелевые монетки с очень схожим изображением короля на одной стороне и таким же изображением Гиневры на другой да еще с какой-нибудь благочестивой надписью способны исцелять от золотухи не хуже полновесных червонцев и даже больше понравятся золотушным; и я оказался прав. На этой партии больных мы впервые поставили наш опыт, и он удался на славу. Экономия получилась значительная. Вот вам цифры. Из 800 пациентов король удостоил прикосновением более 700; по прежней расценке это обошлось бы государству в 240 долларов; по новой расценке мы выплатили около 35, сэкономив на одной операции более 200 долларов. Чтобы понять все значение этого переворота, примите во внимание другие цифры. Годовой расход национального правительства равен среднему трехдневному заработку всего населения страны, считая каждого жителя за взрослого мужчину. Возьмем нацию численностью в 60 000 000 с ежедневным средним заработком одного жителя в 2 доллара; трехдневный общий заработок будет равен 360 000 000, — и это та сумма, которой можно оплатить

расходы правительства за год. В мое время у меня на родине деньги эти государство собирало с помощью пошлин, а граждане воображали, что платят их иностранцы, ввозящие товары, и мысль эта была для них утешительна; на самом же деле их уплачивал сам американский народ, и сумма эта была с такой точностью разделена между американцами поровну, что и владелец ста миллионов и грудной ребенок черноработного платили в год одно и то же — 6 долларов. Большого равенства, я полагаю, и быть не может. Ну а здесь Ирландия и Шотландия были данниками Артура, и общее население Британских островов приближалось к 1 000 000. Ремесленник зарабатывал 3 цента в день на своих харчах. Следовательно, расходы национального правительства равнялись 90 000 долларов в год, или 250 долларов в день. Итак, заменив никелем золото в день исцеления от золотухи, я не только никого не обидел, не только никого не разочаровал, но, наоборот, доставил удовольствие всем заинтересованным лицам и сохранил казне четыре пятых всех государственных расходов на этот день, что в Америке в мое время составило бы 800 000 долларов. Совершая эту подмену, я руководствовался мудростью, почерпнутою из очень отдаленного источника: мудростью моего детства, — ибо подлинный государственный деятель не должен пренебрегать мудростью, как бы низменно ни было ее происхождение; в детстве я всегда сберегал монетки, которые мне велели бросать для дикарей в кружки миссионеров, и бросал вместо них пуговицы. Для невежественного дикаря все равно что монеты, что пуговицы, а для меня монеты были лучше пуговиц; таким образом, все оставались довольны и никто не испытывал ущерба.

Маринэл первый принимал пациентов. Он проверял каждого кандидата; если кандидат не выдерживал проверки, его прогоняли; если же выдерживал, его приводили к королю. Священник произносил слова: «Да возложит он руки на страждущего и да исцелит его». Тем временем король под чтение молитвы касался язв; этим и ограничивался курс лечения; король надевал пациенту никелевую монету на шею и отпускал его.

Как по-вашему, исцеляло это или нет? Безусловно исцеляло. Любой обман может исцелить, если пациент твердо верит в него. Возле Астолата была часовня, выстроенная на том месте, где однажды святая дева явилась девочке, которая пасла гусей; девочка сама об этом рассказала; в часовне повесили картину, изображавшую это событие, — такую картину, что больному человеку, казалось бы, опасно к ней приблизиться; однако, напротив, тысячи увечных и больных приходили ежегодно молиться перед этой картиной и уходили исцеленными; и даже здоровые смотрели на нее и не умирали. Конечно, когда мне рассказали об этом, я не поверил, но, увидев все это собственными глазами, я сдался. Я сам видел исцеления; и то были настоящие исцеления, а не сомнительные. Я видел, как калеки, которых я в течение многих лет встречал возле Камелота на костылях, приходили, молились перед картиной, потом бросали свои костыли и уходили не хромя. Лучшее доказательство — груды костылей, которые валяются возле этой часовни.

В одних местах целители воздействовали непосредственно на воображение больного, исцеляли его, не произнося ни слова. В других специалисты собирали пациентов в комнату, и молились за них, и зывали к их вере, и исцеляли. Если вам попадетсЯ король, который не может излечить золотуху, будьте уверены, что самое ценное суеверие, поддерживающее его трон, — вера в божественное происхождение его власти, — утрачено. В годы моей юности монархи Англии перестали лечить золотуху своим прикосновением — и напрасно: они добились бы излечения в сорока пяти случаях из пятидесяти.

Уже три часа подряд гнусавил священник и добрый король возлагал свои персты на язвы, а толпа больных не уменьшалась, и мне все это нестерпимо надоело. Я сидел у раскрытого окошка, неподалеку от королевского балдахина. Уже пятисотый больной подходил к королю, выставляя свои отвратительные язвы, и в пятисотый раз звучали слова: «Да возложит он руки на страждущего», как вдруг за окном прозвенел звонкий, словно дудочка, детский голос, восхитивший

мою душу и сразу перенесший меня на тринадцать веков вперед:

— Камелотская «Еженедельная Осанна» и «Литературный Вулкан»! Последний выпуск! Только два цента! Полный отчет о великом чуде в Долине Святости!

Это был величайший из королей — мальчишка-газетчик. Но во всем этом многолюдном собрании я был единственный, кто знал, что значит его величавое пришествие, и понимал, что сделает с миром этот могущественный волшебник.

Я кинул за окно монетку и получил газету; газетчик, Адам всех газетчиков, скрылся за углом, чтобы принести мне сдачу; он до сих пор не вернулся из-за угла. Необычайно приятно было снова увидеть газету, но, признаться, я был потрясен, когда взор мой скользнул по заголовкам первой страницы. Я так долго жил в заразной атмосфере почтительности, уважения, низкопоклонства, что холодная дрожь прошла по моей спине, когда я прочел:

ВЕЛИКИЕ СОБЫТИЯ В ДОЛИНЕ СВЯТОСТИ

ВОДОМЕТ ЗАСОРИЛСЯ

Старый Мерлин пускает в ход все свое искусство, но ничего не выходит!

Зато Хозяин одним махом добивается всего!

Чудотворный источник забил среди ужасающих взрывов адского пламени, и дыма, и грома!

Весь курятник всполошился! Невообразимый восторг!

И так далее, и так далее. Пожалуй, слишком трескуче. Когда-то такие заголовки мне нравились и я не видел в них ничего дурного, но теперь они резали мне глаза. Это был славный арканзасский журнализм, но ведь здесь не Арканзас. Мало того, намек предпоследней строчки был рассчитан на то, чтобы оскорбить отшельников, а это могло лишить нас их объявлений. Вообще весь тон газеты был слишком легкомысленный и задорный. Очевидно, я, сам того не замечая, сильно

изменился. Меня неприятно поражали мелкие дерзости, которые в первый период моей жизни показались бы мне только изящными оборотами речи. Не понравились мне и такие заметки, которых в газете было множество:

МЕСТНЫЙ ДЫМ И ПЕПЕЛ

На прошлой неделе за болотом, к югу от свинарни сэра Бальморала ла Мервейса, сэр Ланселот неожиданно повстречался со старым королем Агривансом Ирландским. Доводится до сведения вдовы.

Экспедиция № 3 отправится в начале будущего месяца на розыски сэра Саграмора Желанного. Ее возглавляет известный рыцарь Алых Лугов. Его сопровождает сэр Персант Индский, который хорошо знает дело, умен и любезен, а также сэр Паламид Сарацин, который тоже не промах. С такими ребятами можно быть уверенным, что получится дело, а не увеселительная прогулка.

Читатели «Осанны» с огорчением узнают, что красивый и популярный сэр Чароле Галльский который прожил у нас в городе четыре недели на постоялом дворе «Бык и Камбала» и покориł все сердца изысканностью манер и изяществом речи, на днях уезжает домой. Приезжай к нам опять, Чарли!

Похороны покойного сэра Даманса, сына герцога Корнваллийского, павшего в бою с великаном Узловатой Дубины

в прошлый вторник на краю Долины Очарований, распорядился услужливый и деловитый Мембл, краса гробовщиков, славящийся непревзойденным умением отдать последний долг. Испытай его.

Вся контора «Осанны» от редактора до последнего наборщика приносит сердечное спасибо Третьему Помощнику Камердинера Лорда Сенешаля Дворца за несколько блюдецек мороженого, столь превосходного качества, что у вкусивших глаза увлажнились от благодарности. Мы не остаемся в долгу. Когда начальство начнет подыскивать кандидата для повышения в чине, «Осанна» окажет нужную поддержку.

Демуазель Ирен Дьюлеп из Южного Астолата гостит у своего дяди, радушного хозяина Харчевни Скототорговцев, в Печеночном переулке, у нас в городе.

Бернер-младший, занимающийся починкой раздувальных мехов, снова дома и очень усовершенствовался в своем ремесле, поработав во время отпуска в окрестных кузницах. См. его объявление.

Разумеется, для начала это неплохо, и тем не менее я был несколько разочарован. «Придворная хроника» понравилась мне больше; ее простой, проникнутый по-

читительным достоинством тон освежил меня после всех этих неприличных фамильярностей. Но и она могла бы быть лучше. Я, конечно, хорошо знаю, что при всем старании в придворную хронику разнообразия не внесешь. Придворная жизнь так однообразна, что разбивает все попытки внести в нее краски. Лучший и единственный разумный способ — прикрыть повторение одного и того же разнообразием формы: раздевайте каждый раз ваш факт догола и одевайте его в новое облачение из слов. Это обманет глаз; факт покажется вам новым; у вас сложится представление, что при дворе жизнь кипит вовсю. Вы увлечетесь и с аппетитом проглотите всю колонку, не замечая, что ведро супа сварено из одного-единственного боба. Тот стиль, которым пользовался Кларенс, был хорош, был прост, был полон достоинства, был прям, был деловит, — и все же он, по-моему, не был лучшим из возможных:

ПРИДВОРНАЯ ХРОНИКА

В понедельник король катался в парке

» вторник	»
» среду	»
» четверг	»
» пятницу	»
» субботу	»
» воскресенье	»

Но в общем я был очень доволен этой газетой. В ней попадались кое-какие технические погрешности, но в целом она была бы достаточно хороша даже для арканзасских корректоров, а для эпохи короля Артура и подавно. Грамматика, правда, хромала, изложение мыслей тоже, но я не придавал этому значения. У меня у самого те же недостатки, а человек не должен критиковать других на той почве, на которой он сам не может стоять перпендикулярно.

Я так изголодался по литературе, что готов был проглотить сразу весь газетный лист, но мне удалось только откусить от него раза два, потому что меня осадил монахи и забросали вопросами: «Что это за странная штука? Для чего она? Это носовой платок? Попона? Кусок рубахи? Из чего она сделана? Какая

она тонкая, какая хрупкая и как шуршит. Прочная ли она, и не испортится ли от дождя? Это письмена на ней или только украшения?» Они подозревали, что это письмена, потому что те из них, которые умели читать по-латыни и немного по-гречески, узнали некоторые буквы, но все-таки не могли сообразить, в чем тут дело. Я старался отвечать им возможно проще:

— Это общедоступная газета; что это значит, я объясню вам в другой раз. Это не материя, это бумага; когда-нибудь я объясню вам, что такое бумага. Строчки на ней действительно служат для чтения; они не рукой написаны, а напечатаны; со временем я объясню вам, что значит печатать. Таких листков выпущена целая тысяча, все точь-в-точь как этот, так что не отличишь одного от другого.

Они все хором воскликнули с удивлением и восторгом:

— Тысяча! Какой огромный труд! Работа на год для многих людей!

— Нет, работа на день для взрослого и мальчишки.

Они перекрестились и пробормотали несколько молитв.

— О чудо, о диво! О тайные силы волшебства!

Я не стал их переубеждать. Я прочел вслух, негромко, так, что слышать могли только те, кто придвинули ко мне свои бритые головы, отрывок из описания чуда восстановления источника под аккомпанемент изумленных и благоговейных восклицаний:

— Ах! Как правдиво! Удивительно, удивительно! Все как раз так, как было, поразительная точность!

А можно им взять эту странную вещь в руки, пощупать ее, изучить? Они будут очень осторожны. Можно. Они взяли газету так бережно и благоговейно, словно это было нечто священное, упавшее с небес; осторожно щупали ее, гладили, зачарованными глазами разглядывали невиданные знаки. Эти склоненные головы, зачарованные взоры, — как я наслаждался! Ибо разве газета не была моим детищем, и разве все это немое изумление, и любопытство, и восторг не были красноречивой данью ее достоинствам? Я понял, что чув-

ствует мать, когда другие женщины — все равно, по-други или посторонние — берут ее новорожденное дитя и склоняются над ним в таком восторженном порыве, что на время весь остальной мир перестает для них существовать. Я знал теперь, что это за чувство, я понял, что никакое другое удовлетворенное тщеславие — короля, победителя или поэта — не может доставить такого блаженства, такой беспредельной полноты счастья.

До самого конца сеанса моя газета переходила от одной кучки к другой, путешествуя по всей огромной зале, и мой счастливый взор следил за ней, и я сидел не двигаясь, упоенный. Да, то было райское блаженство; я вкусил его, — больше, может быть, вкусить не доведется.

Глава XXVII

ЯНКИ И КОРОЛЬ ПУТЕШЕСТВУЮТ ИНКОГНИТО

Перед сном я отвел короля в свои покои, подстриг ему волосы и показал, как одеваются простые люди. Высшие классы стригли волосы над лбом и давали им свободно расти сзади и падать на плечи, в то время как простонародье стригло волосы и над лбом и на затылке; рабы же стриглись совсем и давали своим волосам расти как вздумается. Я надел королю на голову горшок и отрезал все торчавшие из-под него пряди. Я подстриг также его бороду и усы; я старался, чтобы стрижка получилась как можно менее художественной, и добился успеха. Получилось криво и косо — я изуродовал его как следует. А когда он надел неуклюжие сандалии и длинную рубаху из грубой коричневой холстины, которая ниспадала от шеи до лодыжек, этот изящнейший в королевстве мужчина превратился в заурядного и непривлекательного уродца. Мы были одеты и пострижены одинаково и могли сойти за мелких фермеров, или за управляющих фермами, или за пастухов, или за возчиков, или, если угодно, за деревенских ремесленников, ибо такую одежду, какая была на

пас, носили все бедняки, так как она прочна и дешева. Я не хочу сказать, что она действительно была дешева для очень бедного человека, я только имею в виду, что более дешевого материала для мужской одежды не было, — материал был домотканый, как вы понимаете.

Мы незаметно ускользнули за час до восхода солнца. Прежде чем начало припекать, мы прошли уже миль восемь — десять и очутились в малонаселенной местности. Мешок, который я тащил, оказался тяжелым; он был полон провизии — провизии для короля, который только постепенно мог привыкнуть есть без вреда крестьянскую пищу.

Я нашел удобное место возле дороги, усадил короля и дал ему немного еды. Затем сказал ему, что пойду поищу воду, и ушел. По правде сказать, мне просто хотелось побыть одному, посидеть и отдохнуть. В присутствии короля я всегда стоял, даже на заседаниях совета, кроме тех редких случаев, когда заседание тянулось несколько часов; если заседание затягивалось, мне разрешалось присесть на маленькую скамейку без спинки, похожую на перевернутый желоб и удобную, как зубная боль. Я не хотел нарушить этот обычай сразу, а собирался приучать короля постепенно. Все равно в присутствии посторонних нам теперь придется сидеть обоим, а то люди обратят внимание; но было бы неполитично с моей стороны разыгрывать с ним равного наедине, когда в этом нет необходимости.

Я нашел воду ярдах в трехстах и отдыхал уже минут двадцать, когда вдруг услышал голоса. «Волноваться нечего, — подумал я, — это крестьяне отправляются на работу; никто, кроме крестьян, не станет подниматься так рано». Но через минуту из-за поворота дороги выехали на конях хорошо одетые знатные люди в сопровождении мулов, нагруженных кладью, и слуг. Я вскочил и, как пуля, понесся через кусты. Я боялся, что эти люди подъедут к королю раньше, чем я добежу до него. Но отчаянье придает силы. Я весь устремился вперед, набрал воздуха и помчался. Я добежал. И как раз вовремя.

— Простите, государь, но теперь не до церемоний. Вставайте! Вставайте, едут какие-то знатные люди!

— Ну и что же? Пускай себе едут.

— Но, мой повелитель, нельзя, чтобы они увидели вас сидящим. Вставайте! И стойте в смиренной позе, пока они не проедут. Ведь вы крестьянин.

— Это правда. А я и забыл об этом. Я был погружен в обдумывание планов большой войны с Галлией. — Он поднялся, но неторопливо, не так, как поспешил бы подняться крестьянин в подобных обстоятельствах. — Ты так неожиданно балтел на меня и разогнал эту величавую мечту, которая...

— Внимание, государь! Внимание! Нагните голову! Ниже! Еще ниже! Опустите ее!

Он добросовестно старался, но достиг немногого. Смирения у него было столько же, сколько у пизанской падающей башни. Иначе, пожалуй, не сказать. Смиренная поза так плохо ему удалась, что лица всех всадников одно за другим изумленно хмурились, и нарядный слуга, последний в ряду, поднял свой бич, но я вовремя подскочил и принял удар на себя. Под взрыв грубого хохота я потихоньку убеждал короля не обращать на это внимания. Он пересилил себя, но с трудом; он, казалось, так бы и съел всех этих всадников.

Я сказал:

— Наши приключения оборвались бы в самом начале: безоружные, мы ничего не могли бы поделать с вооруженной бандой. Если мы хотим, чтобы наша затея удалась, мы должны не только быть похожими на крестьян, но и вести себя, как крестьяне.

— Это мудро, возразить тебе невозможно. Так вперед, сэр Хозяин! Я приму твой совет во внимание и постараюсь им руководствоваться, насколько возможно.

Он сдержал свое слово. Он старался, как мог, но у многих получалось лучше, чем у него. Если вы когда-нибудь видели резвого, неосторожного, предприимчивого ребенка, который в течение всего дня беспречно переходит от одной шалости к другой, и его озабоченную мать, которая не отходит от него ни на шаг, оберегая его то от опасности утонуть, то от опасности сломать шею, — вы видели короля и меня.

Если бы я мог предугадать, как пойдут наши дела дальше, я бы сказал: «Нет, если у кого есть охота

зарабатывать себе на хлеб, выдавая короля за мужика, тот пускай и берется за это дело, а я лучше буду возить зверинец — оно безопаснее». Первые три дня я даже не позволял ему заходить в дома. Мы принуждены были вначале держаться пустынных дорог и пользоваться такими постоянными дворами, где не слишком приглядываются к людям. Да, он очень старался, но что из того? Дело шло ничуть не лучше.

Он постоянно пугал меня всякими неожиданными выходками в самых неподходящих местах. Под вечер второго дня он, представьте себе, вдруг вытащил из-под полы кинжал!

— Господи, мой повелитель, где вы это достали?

— У контрабандиста на постоялом дворе, вчера вечером.

— Ради какого дьявола вы его купили?

— Мы избегли многих опасностей с помощью хитрости — твоей хитрости, — но мне подумалось, что не худо было бы иметь при себе и оружие. А вдруг твоя хитрость изменит тебе в трудную минуту.

— Но людям нашего звания запрещено носить оружие. Что скажет лорд или любой другой человек, обнаружив у крестьянина кинжал?

Счастье наше, что в это время никого вблизи не было. Я убедил его выбросить кинжал, а сделать это было не легче, чем убедить ребенка выбросить новую пеструю игрушку, которой он может убить себя. Мы молча шли рядом и размышляли. Наконец король сказал:

— Если тебе известно, что я задумал что-нибудь опасное, отчего ты не предупреждаешь меня заранее, чтобы я мог отказаться от своего намерения?

Этот вопрос озадачил меня. Я не знал, как ответить на него, и потому в конце концов дал самый естественный ответ:

— Но, государь, как я могу знать, что вы задумали?

Король остановился и взглянул на меня изумленно.

— А я думал, что ты более велик, чем Мерлин; и, правда, в колдовстве ты превзошел его, но пророчество важнее колдовства. Мерлин пророк.

Я понял, что совершил промах. Нужно было выворачиваться. После глубокого размышления я осторожно наметил план действий и сказал:

— Государь, вы меня не поняли. Я сейчас все объясню. Существуют два рода пророчеств. Существует дар предсказывать близкие события, и существует дар предсказывать то, что будет через века. Какой дар, по вашему, могущественнее?

— Конечно второй!

— Правильно. А обладает ли им Мерлин?

— Отчасти да. Он за двадцать лет вперед предсказал мое рождение и то, что я буду королем.

— А что будет дальше, он тоже предсказал?

— А он и не брался.

— Это, вероятно, его предел. Каждый пророк имеет свой предел. Предел некоторых великих пророков — сто лет.

— Таких, я думаю, немного.

— Существовало два еще более великих, чей предел был четыреста и шестьсот лет, и один, чей предел приближался к семистам двадцати.

— Господи, это поразительно!

— Но что они в сравнении со мной? Ничто!

— Да ну? Ты можешь глядеть вперед через такой океан времен, как...

— Семьсот лет? Повелитель, мой пророческий взор ясен, как взор орла, и я совершенно ясно прозреваю, что будет с этим миром через тринадцать с половиною веков.

О, если бы вы видели, как широко король раскрыл глаза! Они чуть не выскочили из орбит. Брат Мерлин был уничтожен. Этим людям никогда не приходится доказывать — они верят на слово. Никому из них и в голову не пришло бы усомниться в любом голом утверждении.

— Оба пророческих дара доступны мне, — продолжал я. — Я умею прорицать далекое и близкое, для этого мне нужно только переключиться. Но обычно я предсказываю отдаленное будущее, потому что предсказывать ближайшее будущее ниже моего достоинства. Это больше свойственно всяким Мерлинам — коротко-

хвостым пророкам, как называем их мы, собратья по профессии. Конечно, я иногда забавляюсь и малым пророчеством, но не часто. Вы, вероятно, помните, сколько было толков, когда вы прибыли в Долину Святости, о том, что я за двое или трое суток предсказал день и час вашего прибытия.

— Конечно, я это помню.

— Предсказать ваше прибытие мне было бы в сорок раз легче и я привел бы в тысячу раз больше подробностей, если бы оно должно было совершиться не через два-три дня, а через пять столетий.

— Как это странно и удивительно!

— Да, опытному специалисту всегда легче предсказывать за пятьсот лет, чем за пятьсот секунд.

— А ведь, казалось бы, рассуждая разумно, должно было бы быть как раз наоборот; казалось бы, в пятьсот раз легче предсказать близкое, чем далекое, ибо близкое так близко от нас, что и обыкновенный человек может его предвидеть. Надо признать, что пророческий дар противоречит вероятности, превращая самым причудливым образом трудное в легкое и легкое в трудное.

У него была умная голова. Скрыть этого не могла даже крестьянская шапка; хоть водолазный колокол наденьте на эту голову, все равно обнаружится, что это голова королевская, стоит ей только пошевелить мозгами.

Теперь у меня появилась новая забота. Король с такой жадностью хотел знать все, что случится за ближайшие тринадцать веков, словно он сам собирался прожить их. Я из кожи лез, стараясь угодить ему. Мне и прежде случалось поступать необдуманно, но никогда я еще не поступал глупее, чем теперь, вздумав выдавать себя за пророка. Впрочем, в этом были и свои хорошие стороны. Пророку не нужны мозги. В его повседневной жизни они, конечно, могут ему пригодиться, но в профессиональной он вполне может без них обойтись. Пророчество — самая спокойная профессия на свете. Когда на вас накатывает дух прорицания, вы берете свой рассудок, кладете его куда-нибудь в прохладное место, чтобы он не испортился, и принимаетесь рабо-

тать языком; язык работает вхолостую, без участия рассудка; в результате получается пророчество.

Каждый день нам попадались странствующие рыцари, и при виде их в короле вспыхивал воинственный дух. Он непременно забылся бы и сказал бы им что-нибудь неподобающее, несоответствующее его теперешнему положению, если бы я всякий раз не отводил его в сторону от дороги. Он стоял и смотрел на них во все глаза. Гордое пламя пылало в его взоре, ноздри его раздувались, как у боевого коня, и я видел, что ему смертельно хочется подраться с ними. Но на третий день около полудня я остановился, чтобы принять кое-какие меры предосторожности, о которых я подумал было еще два дня назад, когда меня ударили бичом. Я бы охотно без них обошелся, настолько они были мне неприятны, но тут случай напомнил мне об этом: беспечно шагая, я пророчествовал, язык мой работал, а мозг отдыхал, вдруг я споткнулся о корень и шлепнулся на землю. Я чуть было не потерял рассудок со страху, но потом осторожно поднялся и развязал свою сумку: в сумке лежала динамитная бомба, обернутая шерстью и уложенная в ящичек. В дороге это была вещь полезная; придет, быть может, время, когда я с ее помощью совершу чрезвычайно ценное чудо; но необходимость постоянно носить ее с собой меня нервировала, а отдать ее королю мне не хотелось. Нужно было либо выбросить ее, либо придумать какой-нибудь безопасный способ пользоваться ее обществом. Я вытащил ее из сумки и положил к себе в карман; и как раз в это мгновение заметил двух рыцарей. Король остановился гордо, как изваяние, и уставился на них, — он, разумеется, опять забыл свою роль; и прежде чем я предупредил его, чтобы он отскочил в сторону, он уже отскочил поневоле. Он думал, что они посторонятся. Посторонятся, чтобы не раздавить грязного мужика, шагающего пешком по дороге! Разве сам он когда-нибудь сворачивал с пути в таких случаях и разве крестьянин, завидя его, не спешил сам сойти прочь с дороги? Да и не только крестьянин, а и благородный рыцарь? Рыцари не обратили на короля никакого внимания: он должен был

сам быть поосторожней; и если бы он не отскочил, они раздавили бы его да вдобавок посмеялись бы над ним.

Король пришел в бешенство и, в королевском негодовании, стал осыпать их самой жестокой бранью. Рыцари уже успели немного отъехать. Они остановились, глубоко изумленные, и повернулись в своих седлах, как бы размышляя, стоит ли связываться с такой дрянью, как мы. Потом повернули коней и устремились на нас. Нельзя было терять ни мгновения. Я кинулся им навстречу и бросил им такое тринадцатизэтажное душераздирающее ругательство, в сравнении с которым брань короля казалась бедной и жалкой. Я вынес это ругательство из девятнадцатого столетия, там это дело хорошо было поставлено. С разбегу рыцари не могли сразу остановиться. Они были уже почти возле короля, но тут, обалдев от ярости, они вздыбили коней и, повернув, ринулись на меня. Я находился в ярдах семидесяти от них и стал карабкаться на большой валун возле дороги. В тридцати шагах от меня они разом выставили свои длинные пики и низко пригнули головы в шлемах, так что видны были только плюмажи из конских волос; и вся эта громада неслась ко мне! Когда между нами оставалось ярдов пятнадцать, я уверенной рукой швырнул бомбу, и она стукнулась о землю как раз под мордами коней.

Да, это было славное зрелище, славное и приятное! Словно взрыв парохода на Миссисипи. Потом целых четверть часа на нас сыпался дождь из микроскопических частиц рыцарей, металла и конины. Я говорю — на нас, так как король, отдышавшись, примчался ко мне. На том месте, где были рыцари, образовалась яма, которая, как я предвидел, задаст много труда окрестным жителям: я, конечно, имею в виду, что им трудно будет объяснить ее происхождение, а засыпать ее будет нетрудно, так как эта честь выпадет на долю избранного меньшинства — на крестьян местного сеньора, которым ничего не заплатят.

Королю я все объяснил сам. Я сказал ему, что яма вырыта динамитной бомбой, — объяснение это не могло ему повредить, потому что он ровно ничего из него не

понял. Он считал это новым великолепным чудом, новым сокрушительным ударом по Мерлину. Я счел за лучшее пояснить, что подобные чудеса очень редки и что совершать их можно только при благоприятном состоянии атмосферы, — иначе он при каждом удобном случае приставал бы ко мне, чтобы я повторил это чудо, а мне этого не хотелось, так как у меня больше не было бомб.

Глава XXVIII

ДРЕССИРОВКА КОРОЛЯ

Утром четвертого дня, на восходе солнца, прошагав уже целый час в предраассветной прохладе, я пришел к решению: короля необходимо выдрессировать! Так больше не может продолжаться, его нужно взять в руки и добросовестно вымуштровать, иначе нам нельзя будет войти ни в один жилой дом: даже кошки сразу поймут, что этот крестьянин ряженный. Я предложил ему остановиться и сказал:

— Государь, ваша одежда в полном порядке и не вызывает подозрений, но между вашей одеждой и вашим поведением — бросающийся в глаза разлад. Военная выправка, царственная осанка — нет, это никуда не годится. Вы держитесь слишком прямо, ваши взоры слишком надменны. Царственные заботы не горбят спины, не приучают клонить голову, не заставляют смотреть себе под ноги, не поселяют в сердце страх и сомнение, которые делают голову понурой, а поступь неуверенной. Низкорожденный человек вечно согбен под бременем горьких забот. И вам необходимо научиться этому; вы должны подделывать клейма бедности, несчастья, унижения, обид, которые обезчеловечивают человека и превращают его в преданного, покорного раба, радующего взор своего господина, — иначе младенцы отгадают, что вы ряженный, и наша затея рухнет в первой же хижине, куда мы зайдем. Прошу вас, попробуйте ходить вот так.

Король внимательно посмотрел на меня и попытался мне подражать.

— Недурно, совсем недурно. Подбородок немного ниже, пожалуйста... вот так, хорошо. Слишком надменный взор. Постарайтесь смотреть не на горизонт, а на землю, в десяти шагах от себя. Так лучше, так, хорошо. Нет, погодите, в вашей походке слишком много уверенности, решительности; нужно ступать неуклюжей. Будьте добры, посмотрите на меня: вот как надо ступать... У вас получается... в этом роде... Да, почти хорошо... Но чего-то все-таки не хватает, я сам не вполне понимаю — чего. Пожалуйста, пройдите ярдов тридцать, чтобы я мог посмотреть на вас со стороны... Голову вы держите правильно, плечи тоже, подбородок тоже, скорость шага как раз такая, как нужно, осанка, взор — все как следует. Однако все вместе — не то. Итог не сбалансирован. Пройдите еще, пожалуйста... Ага, я начинаю понимать. Нет в вас настоящей унылости, вот в чем загвоздка. Получилась любительщина, дилетантщина; все детали проработаны правильно, до волоска, казалось бы иллюзия должна быть полная, а иллюзии нет.

— Что же делать?

— Дайте мне подумать... Ничего мне не приходит на ум. По правде сказать, здесь помочь может только практика. Вот как раз подходящее место: корни и камни, есть на чем испортить себе походку. Никто нам тут не мешает — кругом поле и всего одна хижина, да и то так далеко, что оттуда не видно. Сойдите, пожалуйста, с дороги, государь, и мы посвятим этот день дрессировке. Подрессировав его немного, я сказал:

— А теперь вообразите себе, государь, что мы подходим к двери той хижины и нас встречает вся семья. Прошу вас, как вы обратитесь к главе дома?

Король бессознательно выпрямился, словно памятник, и с ледяной суровостью произнес:

— Мужик, принеси мне кресло. И подай мне чего-нибудь поесть.

— Ах, ваше величество, не так:

— Чем же не так?

— Эти люди не называют друг друга мужиками.

— Не называют?

— Их так называют только те, кто выше.

— Ну так я попробую еще раз. Я скажу — «крепостной».

— Нет, нет. Он, может быть, свободный человек.

— Ну хорошо, я назову его «добрый человек».

— Это подходит, ваше величество, но еще лучше было бы, если бы вы его назвали другом или братом.

— Братом! Такую грязь!

— Но ведь мы притворяемся, что мы такая же грязь, как и он.

— Ты прав. Я скажу ему: «Брат, подай мне кресло и угости чем можешь». Так хорошо?

— Не совсем, не вполне хорошо. Вы просите для себя одного, а не для нас обоих: пищу для одного, кресло для одного.

Король посмотрел на меня удивленно, — он был не очень сообразителен, голова его работала медленно. Он мог усвоить новую мысль, но не сразу, а по зернышкам.

— Разве тебе тоже нужно кресло? Разве ты сел бы?

— Если бы я не сел, этот человек заметил бы, что мы только притворяемся равными, и притворяемся очень плохо.

— Ты говоришь справедливо! Как удивительна истина, в каком бы неожиданном виде она ни предстала перед нами. Он обязан принести кресла и пищу для обоих и подавать рукомойник и салфетки одному с такой же почтительностью, как и другому.

— И все-таки остается еще одна деталь, которую нужно исправить. Он ничего не обязан приносить; мы войдем в хижину; там будет грязь и, вероятно, много противного, но мы войдем и сядем за стол вместе с его семьей, и будем есть, что подадут и как подадут, и держаться будем на равной ноге — если только хозяин не раб; а рукомойника и салфеток не будет вовсе, кто бы ни был хозяин — раб или свободный... Прошу вас, повелитель, пройдитесь еще раз. Так... это лучше... еще лучше; и все же не совсем хорошо. Ваши плечи не гнутся — они никогда не знали ноши, менее благородной, чем железная кольчуга.

— Дай мне твой мешок. Я хочу узнать, что значит

неблагородная ноша. Не вес ее сгибает плечи, а ее неблагородство; кольчуга тяжела, но благородна, и человек, носящий ее, остается прям... Нет, не спорь, не возражай. Дай мне мешок. Взяли его мне на спину.

Теперь, с мешком за плечами, король наконец совсем не был похож на короля. До конца упрямыми оказались только его плечи: они не гнулись, а если и гнулись, то совсем неестественно. Продолжая дрессировку, я направлял и исправлял его:

— Вообразите себе, что вы опутаны долгами, что вас мучат беспощадные кредиторы; вы безработный — ну, скажем, вы кузнец, и вас выгнали со службы; ваша жена больна, а дети ваши плачут, потому что им хочется есть...

И так далее, и так далее. Я заставлял его изображать людей, страдающих от самых разных несчастий и притеснений. Но, господи, для него это были всего только слова, и если бы я свистал, а не говорил, мой свист тронул бы его не больше. Слова не значат для вас ничего, если вы не выстрадали сами того, что слова эти пытаются выразить. Бывают мудрецы, которые любят с видом знатоков снисходительно потолковать о «рабочем классе» и успокаивают себя тем, что умственный труд куда тяжелее труда физического и по праву оплачивается много лучше. Они и вправду так думают, потому что испытали только умственный труд, а физического не знают. Но я испытал и умственный и физический; и за все деньги вселенной не согласился бы я тридцать дней подряд работать заступом; а любым умственным трудом, даже самым тяжелым, я охотно займусь почти даром — и буду доволен.

Умственный «труд» неправильно назван трудом; это удовольствие, наслаждение, и в нем самом его высшая награда. Самый низкооплачиваемый архитектор, инженер, генерал, писатель, скульптор, живописец, лектор, адвокат, депутат, актер, проповедник, работая, блаженствует, как в раю. А что сказать про музыканта, сидящего со смычком в руке посреди большого оркестра, в то время как льющиеся струи божественных звуков плещут вокруг него? Он, конечно, трудится, если вам угодно это называть трудом, но, по правде говоря, та-

кое название — издевательство над самим понятием труда. Закон труда крайне несправедлив, но уж таким он создан и изменить его невозможно: чем больше радости получает труженик трудясь, тем больше денег платят ему за труд. Подобному же закону подчинены и такие откровенно мошеннические установления, как наследственная знать и королевская власть.

Глава XXIX

ОСПА

Когда мы подошли к этой хижине, день уже клонился к вечеру. Никаких признаков жизни мы не обнаружили. Хлеб на поле был уже сжат, и притом сжат так чисто, что поле казалось голым. Заборы, сараи — все развалилось, все красноречиво говорило о бедности. Ни единой живой души поблизости. Безмолвие казалось жутким, как безмолвие смерти. Хижина была одноэтажная, соломенная крыша ее почернела от времени и висела лохмотьями.

Дверь была слегка приотворена. Мы к ней подкрались беззвучно, на носках и почти не дыша, повинаясь какому-то смутному предчувствию. Король постучал. Мы подождали. Нет ответа. Он постучал еще раз. Нет ответа. Я осторожно отворил дверь и заглянул внутрь. Что-то шевельнулось в темноте; женщина поднялась с пола и уставилась на меня, как во сне. Потом мы услышали ее голос.

— Пощадите! — взмолилась она. — Все уже взято, ничего не осталось.

— Я ничего не собираюсь брать, бедная женщина.

— Ты не священник?

— Нет.

— Ты не из усадьбы лорда?

— Нет, я прохожий.

— Так ради господ бога, карающего невинных нищетою и смертью, беги отсюда! Это место проклято богом и его церковью.

— Позволь мне войти и помочь тебе. Ты больна, ты в беде.

Глаза мои привыкли к сумраку и стали лучше видеть. Я видел ее запавшие глаза, устремленные на меня. Я видел, как она страшно худа.

— Говорю тебе, это место проклято церковью. Спасайся, беги, чтобы кто-нибудь не заметил тебя здесь случайно и не донес.

— Ты обо мне не беспокойся, церковное проклятье меня не тревожит. Позволь мне помочь тебе.

— Так пусть же все добрые духи,— если только они существуют,— благословят тебя за эти слова! Мне бы только немного воды. Но нет, забудь, что я сказала, и беги, ибо тот, кто не страшится церкви, должен страшиться той болезни, от которой мы умираем. Оставь нас отважный и добрый прохожий, и мы благословим тебя от всего сердца, если только могут благословлять те, на ком лежит проклятие.

Но, прежде чем она договорила, я схватил деревянную чашку и побежал к ручью. До ручья было десять ярдов. Когда я вернулся, король был уже в хижине и отворял ставни, чтобы впустить свет и воздух. В хижине стоял тяжкий, удушливый запах. Я поднес чашку к губам женщины. Она ухватилась за нее исхудалыми руками, похожими на птичьи когти. Как раз в это мгновение ставни распахнулись и свет ударил ей прямо в лицо. Оспа!

Я подскочил к королю и зашептал ему на ухо:

— Бегите, государь, бегите! Эта женщина умирает от той самой болезни, которая в позапрошлом году опустошила окрестности Камелота.

Он не двинулся с места.

— Клянусь, я останусь здесь и постараюсь помочь!

Я снова зашептал:

— Король, так нельзя, вы должны уйти.

— Ты стремишься к добру, и слова твои мудры. Но стыдно было бы королю дрожать от страха, стыдно было бы рыцарю отказать нуждающемуся в помощи. Успокойся, я не уйду отсюда. Это ты должен уйти. Церковное проклятие не может коснуться меня, но тебе запре-

щено быть здесь, и церковь наложит на тебя свою тяжелую руку, если ты нарушишь ее запрет.

Оставаясь в этом страшном доме, король мог заплатить жизнью, но спорить с ним было бесполезно. Если он считает, что задета его рыцарская честь, ничего не поделаешь: он останется, и помешать ему невозможно; я знал это по опыту. Я не настаивал. Женщина заговорила:

— Добрый человек, будь так милостив, подымись по этой лесенке, посмотри, что там творится, и скажи мне. Что бы ты ни увидел там, не бойся сказать мне, ибо бывает, что и матери можно сказать все, не опасаясь разбить ее сердце, так как оно давно разбито.

— Остайся здесь, — сказал король, — и накорми эту женщину. Я поднимусь наверх.

И положил мешок на лавку.

Я повернулся, но король был уже у лестницы.

Он помедлил немного и взглянул на мужчину, который лежал в полутьме и, казалось, не замечал нас.

— Это твой муж? — спросил король.

— Да.

— Он спит?

— Да, благодарение богу, он спит уже три часа. Сердце мое разрывается от благодарности за этот сон, который снизошел на него.

Я сказал:

— Мы будем осторожны. Мы не разбудим его.

— Нет, вы его не разбудите, он умер.

— Умер?

— О, какое счастье знать, что он умер! Никто больше не может ни обидеть, ни оскорбить его. Он теперь в раю и счастлив, а если он в аду, он все-таки доволен, потому что там он не встретит ни аббата, ни епископа. Мы выросли вместе; мы двадцать пять лет женаты и никогда не расставались за это время. Подумайте, как долго мы любили друг друга и как долго мы вместе мучились! Сегодня утром в бреду ему представлялось, что мы снова мальчик и девочка и снова гуляем по счастливым полям. Так, под невинный младенческий говор, шел он все дальше и дальше, пока не перешел незаметно в другие поля, о которых мы ничего не знаем, и

не скрылся от наших смертных взоров. Разлуки не было, потому что в бреду ему представлялось, будто я иду вместе с ним и будто моя рука у него в руке, — юная, мягкая рука, не эта птичья лапа. Умереть — и не заметить смерти, разлучиться — и не заметить разлуки, — может ли кончина быть более мирной? Это ему награда за тяжкую жизнь, которую он нес так безропотно.

В темном углу, где стояла лестница, раздался слабый шум. Это спускался король. Он нес что-то, прижимая к себе одной рукой, а другую придерживаясь за перекладины. Он вышел к свету; на груди его лежала худенькая девочка лет пятнадцати. Она была почти без сознания и тоже умирала от оспы. Это был высший предел героизма, его вершина. Это значило вызвать смерть на поединок, будучи безоружным, когда все против тебя, когда нет не только никаких надежд на награду, но даже нет глазеющей рукоплещущей толпы, одетой в шелк и золото. А между тем осанка короля была так же спокойна и мужественна, как и во время тех дешевых поединков, когда рыцарь встречается с рыцарем в равном бою, защищенный стальной кольчужой. Он был велик в эту минуту, возвышенно велик. К грубым статуям его предков у него во дворце будет присоединена еще одна, — я позабочусь об этом. И это не будет изображение короля в кольчуге, убивающего великана или дракона, — это будет изображение короля в крестьянской одежде, несущего смерть на руках, чтобы крестьянка могла в последний раз посмотреть на свое дитя и успокоиться.

Он положил дочь рядом с матерью, и та стала осыпать ее ласками и нежными словами; и в ответ в глазах девочки вспыхнул слабый свет, но и только. Мать нагнулась над ней, целуя ее, лаская ее, умоляя ее сказать хоть слово, но губы девочки шевелились беззвучно. Я достал из мешка флягу с вином, но женщина остановила меня, сказав:

— Нет, она не страдает; пусть лучше так. Вино может вернуть ее к жизни, а такой добрый человек, как ты, не захочет поступить с ней столь жестоко. Посуди сам, для чего ей жить? Ее братья в неволе, ее

отец умер, ее мать умирает, над ней тяготеет проклятие церкви, и никто не посмел бы поднять ее и приютить, даже если бы она лежала умирающая посреди дороги! Она погибла. Я даже не спрашиваю тебя, доброе сердце, жива ли ее сестра там, наверху; я и без того знаю, что, если бы она была жива, ты снова поднялся бы наверх и не оставил бы бедняжку там одну...

— Она покоится в мире, — тихим голосом прервал ее король.

— И я не хотела бы, чтоб было иначе. Как богат счастьем этот день! Ах, моя Эннис, ты уже скоро догонишь сестру, ты на верном пути, а эти люди — друзья, они милосердны, они не задержат тебя.

И она снова забормотала, нагнувшись над девочкой, глядя ее по волосам, по щекам, целуя и шепча ласковые слова, но глаза девочки уже остекленели. Я видел, как слезы хлынули из глаз короля и покатались по лицу. Женщина тоже заметила это и сказала:

— А, я знаю, что это значит: у тебя, бедняга, дома тоже есть жена, и вы с ней нередко голодными ложились спать, отдав последнюю корку детям; ты знаешь, что такое бедность, ты перенес немало обид от тех, кто знатнее тебя, ты знаком с тяжелой рукой церкви и короля.

Король вздрогнул от неожиданно попавших в цель слов, но сдержался, — он вошел в свою роль и, для человека, который вначале играл так плохо, справлялся с нею отлично. Я поспешил заговорить о другом: предложил женщине еды и вина, но она отказалась. Она не хотела отдалять своей смерти. Я принес сверху ее мертвое дитя и положил рядом с нею. Она этого не выдержала, и произошла новая раздирающая душу сцена. Я опять осторожно отвлек ее внимание и заставил рассказать нам свою историю.

— Вы ее хорошо знаете, сами натерпелись того же, ибо кто у нас в Британии, кроме знати, не перенес таких же страданий. Это старая, скучная повесть. Мы боролись, и боролись с успехом; с успехом — это значит, что мы могли жить и не умирать; чего же нам еще? До нынешнего года мы справлялись со всеми бедами, но в этом году беды обрушились на нас все сразу — и

одолели. Несколько лет назад лорд из усадьбы посадил на нашей ферме фруктовые деревья, на самом лучшем участке. Как это грешно и стыдно!..

— Он был в своем праве, — перебил ее король.

— Никто этого не отрицает; смысл закона таков: что принадлежит лорду, то его, а что принадлежит мне, то тоже его. Мы арендовали у него эту ферму, но землю он все-таки считал своей и делал на ней, что хотел. Недавно три его дерева оказались срубленными. Три наших взрослых сына испугались и сразу сообщили лорду о преступлении. Они там и остались, у его сиятельства в подземной темнице, — пусть гниют, пока не признаются. А им не в чем сознаваться, они ни в чем не повинны, — и, следовательно, приговор этот означает, что им придется сидеть там до смерти. Вы знаете, как это бывает. А теперь вот что случилось с нами: мужчине, женщине и двум девочкам пришлось убирать поле, которое вспахали и засеяли, кроме нас, еще трое взрослых мужчин, да еще отгонять днем и ночью голубей и разных зверей, которых не дай бог убить или обидеть. Пшеница лорда поспела в одно время с нашей; когда его колокол зазвонил и созвал нас убирать бесплатно жатву на его полях, он не согласился считать меня с дочками за трех моих заключенных сыновей, а только за двух; вышло, что одного не хватает, и мы за него ежедневно платили пеню. А тем временем наша собственная жатва пропадала, потому что некому было ее убирать; и священник и его сиятельство лорд наложили на нас пеню, потому что от нашего небрежения страдали и те доли жатвы, которые причитались им. В конце концов эти пени пожрали весь наш урожай, и у нас его забрали да заставили еще собрать и увезти его, ничего нам не платя, не кормя нас; и мы умирали с голоду. Но худшее случилось тогда, когда я от голода, от тоски по сыновьям, от вида лохмотьев, в которые были одеты мой муж и мои маленькие дочки, от горя и отчаянья потеряла рассудок и возроптала на церковь и ее дела. Это было десять дней назад. Я заболела вот этой болезнью, и когда поп пришел побранить меня за то, что я не смирилась перед карающей десницей божьей, я стала ругать церковь. Он донес на меня. Я не отреклась

от своих слов; и на мою голову, и на головы всех, кто был дорог мне, пало проклятие Рима. С тех пор нас все чуждаются, бегут от нас в ужасе. Никто не зашел в эту хижину узнать, живы ли мы, или нет. Муж и дочери заболели. Тогда я заставила себя встать и ухаживать за ними — ведь я жена и мать. Есть они не просили, да у нас и не было никакой еды. Но вода была, и я давала им пить. Как они жадно пили! Как они благословляли воду! Но вчера все кончилось; силы мне изменили. Вчера я в последний раз видела мужа и младшую дочь. Я лежала тут одна все эти часы, все эти века и слушала, слушала, слушала, не услышу ли звук, который...

Она быстро взглянула на свою старшую дочь, затем вскрикнула: «О милая!» — и ослабевшими руками протянула к себе коченеющее тело. Она услышала, как стучит костями смерть.

Глава XXX

ТРАГЕДИЯ УСАДЬБЫ

В полночь все кончилось, и мы сидели рядом с четырьмя трупами. Мы укрыли их теми тряпками, какие нам удалось найти, и ушли, затворив за собою дверь. Их дом должен был стать их могилой, ибо отлученных от церкви нельзя хоронить по христианскому обряду, в освященной земле. Они были как псы, как дикие звери, как прокаженные, и ни одна душа, надеющаяся на вечную жизнь, не согласилась бы пожертвовать своей надеждой, войдя в соприкосновение с этими осужденными и отверженными.

Мы не успели отойти, как вдруг я услышал звук шагов по песку. Мое сердце забилося. Нельзя, чтобы видели, как мы выходим из этого дома. Я оттащил короля за полу, мы понялись и спрятались за углом хижины.

— Теперь мы в безопасности, — сказал я, — но чуть не попались. Если бы ночь была светлее, этот

прохожий непременно увидел бы нас, он проходил так близко.

— Быть может, это вовсе не человек, а зверь?

— Возможно. Но человек это или зверь, а нам нужно постоять здесь и подождать, пока он уйдет.

— Тише! Он идет сюда.

Король был прав. Шаги приближались к нам, направляясь прямо к хижине. Очевидно, это зверь, и нам нечего бояться. Я уже собирался идти, но король положил руку на мое плечо. Наступила тишина, потом кто-то чуть слышно постучал в дверь хижины. Я вздрогнул. Стук повторился, и мы услышали осторожный голос:

— Мама! Отец! Мы вышли на волю и принесли вам вести! От них побледнеют ваши щеки, но развеселятся сердца. Нельзя терять ни мгновенья, нужно бежать! И... но отчего они не отвечают? Мама! Отец!

Я увлекал короля подальше от двери, шепча:

— Идем! Теперь мы можем выйти на дорогу.

Король медлил, не хотел уходить, но тут мы услышали, как дверь открылась, и поняли, что эти несчастные уже рядом со своими мертвецами.

— Идем, повелитель! Сейчас они зажгут свет, и то, что мы услышим, разобьет ваше сердце.

Он больше не колебался. Едва мы вышли на дорогу, я побежал, и король, забыв о своем сани, побежал тоже. Мне тяжело было думать о том, что сейчас происходит в хижине. Стараясь отогнать неприятные мысли, я заговорил о первом, что мне пришло на ум:

— Я болел той болезнью, от которой умерли эти люди, и мне нечего бояться, но если вы не болели ею...

Он перебил меня, сказав, что он в тревоге: его мучает совесть.

— Эти молодые люди, по их словам, вышли на волю. Но как? Вряд ли лорд сам освободил их.

— О нет! Не сомневаюсь, что они удрали!

— Вот это меня и тревожит; я опасаюсь, что они удрали, и твои слова подтверждают мои опасения.

— Я не стал бы это называть опасениями. Я подозреваю, что они удрали, но если это так, я ничуть не огорчен.

— Я тоже не огорчен... но...

— В чем же дело? Что может вас тревожить?

— Если они удрали, наш долг повелевает нам поймать их и доставить лорду, ибо нехорошо, если человек столь знатный потерпит тяжкую обиду от людей низкого звания.

Вот оно, опять! Он способен был видеть только одну сторону дела. Так он был воспитан, в его венах текла кровь предков, отравленная бессознательной жестокостью, передаваемая по наследству длинной цепью сердец, из которых каждое еще добавляло отравы. Посадить в тюрьму этих людей без всякого доказательства вины и уморить голодом их родителей — это не беда, так как они всего только крестьяне и покорны воле и прихотям своего лорда, какими бы страшными ни были эти прихоти. Но если они разобьют столь несправедливо наложенные на них оковы — это дерзость, которую не может терпеть ни один порядочный человек, сознающий свой долг по отношению к своей священной касте.

Целых полчаса старался я отвлечь его от этих мыслей, но безуспешно; наконец одно внешнее событие отвлекло его: поднявшись на вершину небольшого холма, мы увидели вдали красное зарево.

— Пожар, — сказал я.

Я вообще очень интересовался пожарами, так как начал вводить страховое дело, одновременно тренируя лошадей и строя машины, чтобы завести со временем пожарную команду. Попы восставали против моих проектов страхования от огня и несчастных случаев, утверждая, что это дерзостная попытка помешать проявлению божьей воли; когда же я доказывал, что я вовсе не пытаюсь идти против божьей воли, а лишь стремлюсь смягчить тяжкие последствия ее проявления, они утверждали, что смягчать суровость божьей кары — не меньшая дерзость. Они мешали мне, но тем не менее страхование от несчастных случаев у меня налаживалось. Как правило, рыцари были глупы и невежественны, и эти торговцы суевериями легко могли их убедить самыми убогими доводами; но даже рыцари оказывались иногда способными понять практическую сторону вопроса, — и потому в последнее время при

уборке после турниров в каждом шлеме непременно находили квитанцию моего общества страхования жизни от несчастных случаев.

Мы стояли в глубоком мраке и безмолвии, глядя на алевшее вдалеке зарево, и старались объяснить себе значение отдаленного рокота, то тихого, то более громкого. Иногда казалось, что он приближается, и мы уже надеялись отгадать его причину, но он вдруг затихал и удалялся, унося с собой свою тайну. Мы спустились с холма и пошли извилистой тропинкой в ту сторону, откуда доносился шум, и погрузились в непроглядный мрак, оказавшись между двумя стенами высоких деревьев. Так шли мы около полумпги вниз по скату, а рокот становился все слышнее, и все явственнее ощущали мы приближение грозы по внезапным порывам ветра, по слабым вспышкам молний, по угрюмому ворчанию отдаленных раскатов грома. Я шагал впереди и вдруг наткнулся на что-то мягкое и грузное, слегка поддавшееся под моею тяжестью; блеснула молния, и на расстоянии фута от моего лица я увидел перед собой искаженное лицо человека, висевшего на ветке дерева, — казалось, оно корчило рожки. Это было омерзительное зрелище. Раздался оглушительный грохот грома, и небеса прорвались: дождь хлынул, как во времена потопа. Тем не менее, разве мы не обязаны были перерезать веревку, на которой висел этот человек, чтобы узнать, не теплится ли в нем еще жизнь? Ослепительные молнии сверкали одна за другой, и было то светло, как в полдень, то темно, как в полночь. Повешенный был то отчетливо виден, то исчезал во мраке. Я сказал королю, что мы должны перерезать веревку. Но король возразил:

— Если он повесился сам, значит он желал, чтобы его имущество досталось его лорду; так пусть он висит. Если же его повесили, значит имели право его повесить, — и пусть он висит.

— Но...

— Никаких «но», оставь его висеть. Есть и еще причина. Когда опять сверкнет молния, погляди вперед.

В пятидесяти ярдах от нас болтались еще двое повешенных.

— В такую погоду нет смысла оказывать бесполезные любезности мертвецам. Они уже не в состоянии поблагодарить тебя. Идем. Мы тут зря теряем время.

Слова его были разумны, и мы пошли дальше. На протяжении мили мы при блеске молнии насчитали еще шесть повешенных. Это было пренеприятное путешествие. Рокот, который мы слышали раньше, превратился в рев: рев человеческих голосов. Мимо нас во мраке промчался убегающий человек. Толпа мужчин догоняла его. Они исчезли. Потом опять человек и погоня за ним, и опять, и опять. Внезапный поворот тропинки — и мы очутились перед пожаром. Горела большая помещичья усадьба, и от нее уже почти ничего не осталось. И всюду были люди убежавшие и люди, гнавшиеся за ними.

Я предостерег короля, что это не безопасное место для прохожих. Лучше держаться подальше от света и подождать. Мы отошли в сторону и спрятались на опушке леса. Отсюда мы видели мужчин и женщин, за которыми гналась толпа. Эта страшная работа продолжалась почти до рассвета. Затем пожар стал угасать, гроза миновала, крики бегущих смолкли, и снова воцарились темнота и безмолвие.

Мы осторожно двинулись вперед. Мы очень устали и очень хотели спать, но шли до тех пор, пока пожараще не осталось далеко позади. Мы попросили гостеприимства в хижине угольщика и отдали себя в руки судьбы. Жена угольщика уже встала, но он сам все еще спал на соломе, которой был покрыт глиняный пол. Женщина, казалось, встревожилась, но я объяснил ей, что мы путники, сбились с дороги и проблуждали в лесу всю ночь. Тогда она стала разговорчивой и спросила, слышали ли мы об ужасах, которые произошли в Аббласурской усадьбе.

Да, мы слышали о них, но сейчас мы хотим только спать. Король добавил:

— Продайте нам свой дом и уходите, так как мы можем вас заразить. Мы недавно были возле людей, которые умерли от Пятнистой Смерти.

Это было благородно с его стороны, но излишне. Почти у всех его подданных были рябые, как вафельница.

лица. Я давно уже заметил, что женщина и ее муж тоже были рябые. Она приняла нас радушно и без тени страха. Предложение короля потрясло ее; немалое событие — наткнуться на человека в крестьянской одежде, который готов купить дом, чтобы провести в нем одну ночь. Это внушило ей такое почтение к нам, что она изо всех сил старалась устроить нас поудобнее.

Мы проспали почти весь день и проснулись такими голодными, что крестьянская пища показалась королю очень вкусной, хотя ее было мало и разнообразием она не отличалась: лук, соль и черный овсяный хлеб. Хозяйка стала рассказывать нам о вчерашних событиях.

Часов в десять или одиннадцать вечера, когда все уже легли спать, усадьба загорелась. Соседи кинулись на помощь, и вся семья лорда была спасена, но сам он исчез. Это всех очень огорчило, и два стражника пожертвовали жизнью, разыскивая его драгоценную особу в горящем здании. Потом нашли его труп: он лежал в трехстах ярдах от усадьбы, связанный, с кляпом во рту и с множеством колотых ран.

Чье это дело? Подозрение пало на скромную семью по соседству, с которой барон не так давно обошелся особенно сурово; а с этой семьи перекинулось на родных и близких. Подозрения было достаточно: ливрейная челядь лорда возглавила крестовый поход против этих людей, и вся округа примкнула к нему. Муж нашей хозяйки тоже принимал участие в погоне и вернулся только на рассвете. Теперь он ушел, чтобы узнать, чем все кончилось. Пока мы беседовали, он возвратился. Его рассказ был страшен. Восемнадцать человек повешены или убиты; два стражника и тринадцать узников погибли в огне.

— А сколько узников находилось в подземелье?

— Тринадцать.

— И все они погибли?

— Да, все.

— Но ведь люди успели спасти семью лорда. Почему же они не спасли никого из узников?

Наш хозяин удивился и сказал:

— Кто же станет открывать казематы в такую минуту? Ведь заключенные разбежались бы.

— Ты хочешь сказать, что никто не открыл казематов?

— Никто даже не подошел к тюрьме. Замки были крепкие, и достаточно было поставить часового, чтобы изловить всякого, кто попытается удрать. Но ловить никого не пришлось, значит никто и не удрал.

— Нет, трое удрали, — сказал король, — и ты хорошо сделаешь, если объявишь об этом и направишь правосудие на их след, ибо это они убили барона и подожгли дом.

Я так и знал, что он этим кончит. Вначале угольщик и его жена были взволнованы таким известием и готовы были сейчас же бежать, чтобы рассказать соседям, но внезапно что-то новое мелькнуло в их глазах, и они стали нас расспрашивать. Я сам отвечал на их вопросы и внимательно наблюдал за их лицами. Я с удовольствием заметил, что, узнав, кто были трое бежавших, наши хозяева уже только делали вид, будто торопятся оповестить соседей. Король не заметил перемены, и я был рад этому.

Я заговорил о других подробностях событий минувшей ночи, и наши хозяева вздохнули с облегчением.

Самым печальным в этом деле была та готовность, с какой угнетенные набросились на своих же братьев, защищая общего угнетателя. Этот мужчина и эта женщина, по-видимому, считают, что в ссоре человека, принадлежащего к их собственному классу, с их лордом им естественнее и выгоднее стать на сторону своего господина и сражаться за него, даже не вникая в то, кто прав и кто виноват. Этот угольщик помогал вешать своих соседей, и помогал усердно, хотя отлично знал, что против этих людей нет никаких улик, а одни только смутные подозрения; и ни он, ни его жена не видели в том ничего ужасного.

Это было тяжело для человека, мечтавшего о республике. Мне вспомнилось время тринадцать веков спустя, когда «белые бедняки» нашего Юга, всегда презираемые и притесняемые рабовладельцами, бедствовавшие как раз потому, что вокруг них существовало рабство, малодушно поддерживали рабовладельцев во всех

политических движениях, стремившихся сохранить и продлить рабство, и наконец даже взяли ружья и проливали кровь свою за то, чтобы не погибло то самое учреждение, которое их принижало. В этом прискорбном историческом событии единственной искупающей чертой было то, что втайне «белые бедняки» ненавидели рабовладельцев и чувствовали, что покрыли себя позором. Это чувство никак внешне не проявило себя, но оно существовало и при благоприятных обстоятельствах могло проявиться; а это уже немало, так как доказывает, что в глубине души человек остается человеком, даже когда человечность его внешне ни в чем не проявляется.

Как выяснилось, наш угольщик был родным братом тех южных «белых бедняков» отдаленного будущего. Король наконец стал выказывать нетерпение и сказал:

— Если вы будете болтать здесь весь день, правосудие пострадает. Вы думаете, преступники так и будут сидеть в доме своего отца? Они улетят, они ждать не станут. Вы должны добиться, чтобы по их следу направили всадников.

Женщина слегка побледнела, а у ее мужа вид был растерянный и нерешительный.

Я сказал:

— Пойдем, друг, я провожу тебя и покажу тебе, в каком направлении они могли удрать. Если бы они обвинялись в уклонении от платежа податей или в каком-нибудь другом пустяке, я постарался бы их защитить, но убийство знатного человека и поджог его дома — дело другое.

Последнее было сказано для короля, чтобы успокоить его. По дороге угольщик взял себя в руки и зашагал увереннее, но особого усердия я в нем не заметил. Как бы невзначай, я спросил:

— Эти люди твои родственники?

Он так побледнел, что бледность стала заметна даже сквозь слой угольной пыли, покрывавшей его лицо, и остановился дрожа.

— О боже! Как ты об этом узнал?

— Я ничего не знаю. Я случайно догадался.

— Бедные мальчики, они пропали! А какие славные мальчики!

— Ты и вправду собираешься донести на них?

Он не знал, как отнестись к моему вопросу, и нерешительно ответил:

— Д-да.

— Значит, ты просто негодяй!

Он так обрадовался, словно я назвал его ангелом.

— Повтори свои добрые слова, брат! Ты действительно хочешь сказать, что не выдашь меня, если я не исполню свой долг?

— Долг? У тебя есть один долг — молчать и дать этим людям уйти подальше. Они совершили справедливое дело.

Он был доволен; доволен, хотя и встревожен. Он поглядел по сторонам и, убедившись, что мы одни, сказал вполголоса:

— Из какой страны ты пришел, брат, что говоришь такие опасные слова и не боишься?

— Эти слова несколько не опасны, когда я говорю их человеку одного со мною сословия. Ведь ты никому не скажешь, что слышал от меня эти слова?

— Я? Скорее меня разорвут на части дикие кони.

— Тогда дай мне сказать то, что я думаю. Я не боюсь повторить свои слова. Дьявольское дело совершили вы вчера, повесив невинных. Старый барон получил по заслугам. Будь моя воля, всех таких, как он, постигла бы та же участь.

Выражение страха и подавленности сошло с лица моего спутника; он оживился, в глазах его блеснула отвага.

— Если даже ты шпион и слова твои только ловушка, в них такая отрада, что, ради того чтобы слушать их снова и снова, я готов пойти на виселицу; такие речи — пир для голодного. Дай теперь мне сказать и донеси на меня, если ты доносчик. Я помогал вешать своих соседей потому, что я бы погиб, если бы не проявил усердия в защите моего господина; все остальные помогали по той же причине. Все рады сегодня, что он мертв, но все притворяются опечаленными и проливают

лживые слезы, чтобы обезопасить себя. Я все сказал, я все сказал! Никогда еще слова не оставляли у меня во рту такого приятного вкуса, и в этом моя награда. Веди меня теперь куда хочешь, хоть на эшафот, — я готов.

Вот видите. Человек всегда остается человеком. Века притеснений и гнета не могут лишить его человечности. Тот, кто полагает, что это ошибка, сам ошибается. Да, любой народ таит в себе достаточно сил, чтобы создать республику, даже такой угнетенный народ, как русский, и такой робкий и нерешительный, как немецкий; выведите его из состояния покоя, и он затопчет в грязь любой трон и любую знать. Мы еще увидим многое, будем же надеяться и верить. Сперва смягченная монархия, до конца жизни Артура. Потом разрушение трона и упразднение дворянства; дворянам придется заняться полезными ремеслами. Потом введение всеобщего избирательного права и передача власти навеки в руки мужчин и женщин, составляющих народ. Да, у меня пока еще нет причин отказываться от своей мечты.

Глава XXXI

МАРКО

Мы гуляли с угольщиком Марко, непринужденно болтая. Мы должны были потратить столько времени, сколько нужно для того, чтобы сходить в маленькую деревушку Аббласур, направить правосудие на след убийц и вернуться домой. Пока мы гуляли, я предавался развлечению, которое, с тех пор как я очутился в королевстве Артура, не утратило для меня новизны, — наблюдать, как случайные прохожие приветствуют друг друга при встрече. Бритому монаху, по жирным щекам которого струился пот, угольщик отвешивал почтительный низкий поклон; дворянину кланялся он раболепно; с мелкими фермерами и свободными ремесленниками был он сердечен и болтлив; а когда, почти склонившись, мимо проходил раб, угольщик

даже не видел его, — так высоко он задира́л свой нос. Право, иногда хочется повесить весь род человеческий, чтобы положить конец этой комедии.

Внезапно мы наткнулись на любопытное происшествие. Из леса выскочила нам навстречу кучка полуголых мальчишек и девчонок, перепуганных и кричащих. Старшему из них было не больше двенадцати или четырнадцати лет. Они умоляли о помощи, но были так взволнованы, что мы не могли понять, что случилось. Мы кинулись в лес, они бежали впереди, ведя нас, и скоро нам все стало ясно: они повесили своего товарища на веревке из березовой коры, а он бился, стараясь вырваться, и все туже затягивал петлю и чуть не задохся. Мы освободили его и привели в чувство. Еще одна черта человеческой природы — дети во всем подражают взрослым: они играли в толпу, и притом с таким успехом, что последствия могли быть гораздо серьезнее, чем они рассчитывали.

Мне не пришлось скучать во время этой прогулки. Не зря я потратил несколько часов. Я со многими познакомился и, как человек пришлый, мог спрашивать обо всем, что меня интересовало. Как государственного деятеля, меня, естественно, прежде всего интересовал вопрос заработной платы. И я узнал о заработной плате все, что можно было узнать за такой короткий срок. Человек неопытный и не любящий размышлять обычно склонен измерять благосостояние или нужду того или иного народа размером средней заработной платы: если заработная плата высока, значит народ процветает; если низка, значит народ бедствует. А между тем это неверно. Важна не та сумма, которую вы получаете, а то, что вы можете на нее приобрести; и только этим определяется, высока или низка ваша заработная плата в действительности. Я вспоминаю, как обстояло дело с заработной платой во время нашей великой гражданской войны в середине девятнадцатого века. На Севере плотник получал три доллара в день в золотом исчислении; на Юге он получал пятьдесят, которые ему выплачивали бумажонками Конфедерации, ценой один доллар за бушель. На Севере рабочая спецовка стоила три доллара — заработная плата одного

дня; на Юге она стоила семьдесят пять = заработная плата двух дней. В таком же соотношении находились цены и всех других предметов. Следовательно, заработная плата на Севере была вдвое выше, чем на Юге, потому что вдвое выше была ее покупательная способность.

Да, в деревушке я со многим познакомился. Меня очень порадовало, что здесь уже была в ходу наша новая монета — множество милльрейсов, множество миллей, множество центов, очень много никеля и много серебра — и у ремесленников и у крестьян; было и золото, но только, так сказать, в банке, то есть у ювелира. Я зашел к нему, пока угольщик Марко, сын Марко, торговался с лавочником из-за четверти фунта соли, и попросил разменять двадцатидолларовую золотую монету. Ее мне разменяли, попробовав ее предварительно на зуб, и позвенец ею о конторку, и испытал ее кислотой, и спросив меня, где я ее достал, и кто я такой, и откуда я иду, и куда я направляюсь, и когда я собираюсь туда прибыть, и задав мне еще сотни две вопросов. Ответив на них, я по собственной воле сообщил им еще множество сведений: я сказал им, что у меня есть собака, которую зовут Сторож, что моя первая жена была баптистка, а ее дедушка стоял за запрещение спиртных напитков, и что я знал человека, у которого было по два больших пальца на каждой руке и бородавка на внутренней стороне верхней губы и который умер в надежде на славное воскресение и т. д. и т. д. Наконец мой любопытный деревенский банкир почувствовал себя удовлетворенным и даже несколько приуныл; он, конечно, вынужден был относиться с уважением к столь богатому человеку, как я, и не посмел на меня рассердиться, но я заметил, что он сорвал свое раздражение на своих подчиненных, что вполне естественно. Да, они разменяли мне мою двадчатку, но мне показалось, что для банка это было не легко, как не легко было бы разменять двухтысячедолларовый кредитный билет в лавке какой-нибудь бедной деревушки девятнадцатого века. Хозяин лавки, конечно, разменял бы такой кредитный билет, но он удивился бы тому, что мелкий фермер носит при себе столько денег;

вот так, по-видимому, удивлен был и этот ювелир; он проводил меня до дверей и долго смотрел мне вслед с почтительным изумлением.

Наши монеты не только были уже повсюду в ходу, но даже к новым их названиям привыкли настолько, что стали забывать старые. Только и было слышно: эта вещь стоит столько-то долларов, или центов, или миллей, или мильрейсов. Это было очень приятно. Мы несомненно шли к прогрессу.

Я познакомился со многими ремесленниками, но самым интересным из них был кузнец Даули. Это был человек живой, большой говорун; он держал двух помощников и трех учеников и все-таки еле справлялся — так много было у него работы. Конечно, он богател со дня на день и пользовался общим уважением. Марко гордился дружбой с таким человеком. Он привел меня к нему якобы для того, чтобы показать мне мощное предприятие, которое приобретает у него столько угля, но в действительности для того, чтобы я увидел, на какой он короткой ноге с таким великим человеком. Мы с Даули сразу сошлись; у меня на оружейном заводе «Кольт» работало немало таких же славных молодцов; я пригласил его прийти в воскресенье к Марко пообедать с нами. У Марко даже дух захватило; и когда богач принял приглашение, он на радостях даже забыл подивиться такой снисходительности.

Марко ликовал — но недолго; он задумался и опечалился; а когда он услышал, как я сказал Даули, что собираюсь пригласить каменщика Диккона и колесника Смуга, угольная пыль у него на лице превратилась в мел и он совсем пал духом. Но я знал, что причина его огорчения — расходы. Он видел себя уже разоренным, он считал, что состоянию его пришел конец. И, направляясь приглашать других, я сказал:

— Позволь мне пригласить моих друзей, а расходы я беру на себя.

Лицо его прояснилось, и он пылко сказал:

— Но не все расходы, не все. Тебе одному они будут не под силу.

Я перебил его:

— Пойми меня хорошенько, старый друг. Я всего только управляющий фермой, это правда, но я вовсе не беден. Мне очень повезло в этом году, — ты удивился бы, если бы знал, сколько я заработал. Поверь, я могу оплатить дюжину таких обедов, не заботясь о расходах ни вот столько! — и я щелкнул пальцами. Я чувствовал, что с каждым словом расту в глазах Марко, и когда я выговорил последнюю фразу, я стал высок, как башня. — Так уж позволь мне сделать по-своему. Ты не истратишь ни цента на весь этот пир, это решено.

— Ты великодушен и добр...

— Нисколько. Ты великодушно раскрыл двери своего дома передо мной и перед Джонсом; Джонс сам сказал мне об этом; тебе он, конечно, этого не скажет, потому что Джонс неразговорчив и смущается в обществе, но сердце у него доброе, благородное, и он умеет ценить хорошее к себе отношение; да, ты и твоя жена приняли нас очень гостеприимно...

— Ах, брат, такое гостеприимство немногого стоит!

— Оно стоит многого; когда человек отдает лучшее, что у него есть, это всегда многого стоит. Большого дать не может и принц, потому что и принц может дать только лучшее, что у него есть. Теперь мы пойдем по лавкам и кое-что купим, и пусть мои расходы тебя не беспокоят. Я такой мот, какого свет не видал. Иногда за одну неделю я трачу... нет, не стоит и говорить, ты все равно не поверишь.

Так мы бродили по деревне из лавки в лавку, прицениваясь, болтая с лавочниками про вчерашние события; нам о них напоминали ежеминутно попадавшиеся на глаза плачущие и запуганные дети, дома которых были отобраны, а родители убиты или повешены. Одежда Марко и его жены была сшита из холста и сермяги и напоминала географическую карту, склеенную из отдельных кусочков; за пять-шесть лет от первоначальной ткани не осталось и куска шириной в ладонь. Мне хотелось подарить им новую одежду, чтобы они не ударили в грязь лицом перед гостями, но я не знал, как поделикатнее приступить к делу, пока мне не пришлось в голову подкрепить свою выдумку о признатель-

ности короля вещественными доказательствами. И я сказал:

— Тебе, Марко, придется позволить мне еще кое-что... из любезности к Джонсу... ведь не захочешь же ты его обидеть... Ему очень хотелось бы выразить тебе свою благодарность, но он такой застенчивый, что не умеет сделать это сам. Он попросил меня купить за его счет кое-какую мелочь для тебя и госпожи Филлис, но так, чтобы вы не знали, от кого эти подарки... Он человек щепетильный, и ему было бы неловко... Я, конечно, обещал ему держать все в секрете от вас, и ты, пожалуйста, не выдай меня. Он считает, что самое лучшее было бы купить вам новую одежду...

— О, это слишком! Не надо, брат, не надо. Подумай, сколько это будет стоить!..

— Да черт с ним, пусть стоит! Помолчи минутку, ты слишком много разговариваешь, ты никому слова не даешь сказать. Тебе нужно лечиться от болтливости, Марко, это не принято, и если ты не научишься сдерживаться, болтливость тебя совсем одолеет. Мы зайдем сюда и приценимся вот к этой материи... Не забудь только, что Джонс не должен догадаться, что тебе все известно. Ты и представить себе не можешь, как забавно он щепетилен и горд. Он фермер, зажиточный фермер, а я его управляющий; но что за воображение у этого человека! Иногда он забывается и болтает такое, что можно подумать, будто он соль земли; ты можешь слушать его сто лет и никогда не догадаешься, что он фермер, особенно если он заговорит о сельском хозяйстве. Он считает, что он лучший знаток сельского хозяйства на всем свете; но, между нами, он столько же понимает в сельском хозяйстве, сколько в управлении королевством. Однако, когда он говорит, нужно молчать и слушать разинув рот, с таким видом, будто ты никогда за всю свою жизнь столь мудрых речей не слышал и боишься пропустить хоть словечко. Вот это Джонсу понравится.

Марко захохотал, услышав о таком чуде, и был теперь хорошо подготовлен к любым неожиданностям. А я знал по опыту, что, странствуя с королем, который выдает себя за кого-то другого и поминутно забывает,

за кого именно, нужно быть как можно предусмотрительнее.

Наконец мы дошли до лучшей лавки в селении; в ней было всего понемногу — от молотков и мануфактуры до рыбы и поддельных драгоценностей. Я решил купить все, что мне было нужно, здесь и никуда больше не ходить. Прежде всего я избавился от Марко, отправив его пригласить каменщика и колесника, и тем расчистил себе поле деятельности. Ибо я никогда ничего не делаю тихо; если в деле нет театральности, я теряю к нему всякий интерес. Я беспечно кинул деньги на прилавок, чтобы заставить лавочника уважать меня, а затем написал список необходимых мне вещей и протянул его лавочнику, чтобы посмотреть, умеет ли он читать. Оказывается, он умел и был рад случаю показать это. Он сказал мне, что учился у священника и умеет и читать и писать. Пробежав список, он с удовольствием заметил, что итог выходит изрядный. Да так оно и было, особенно для такой мелкой лавочки. Я покупал не только провизию, но и многое другое. Все это я приказал доставить в тележке на дом к Марко, сыну Марко, в субботу вечером, а в воскресенье в обеденный час прислать мне счет. Он сказал, что я могу быть совершенно спокоен, так как точность и аккуратность — закон его фирмы. Он прибавил, что пришлет для Марко пару кошельков-пистолетов даром, — их теперь все употребляют. Он был высокого мнения об этом мудром изобретении. Я сказал:

— Наполните их до половины и припишите к счету.

Он согласился с удовольствием. Он наполнил их, и я захватил их с собой. Я не мог ему сказать, что кошельек-пистолет — мое собственное изобретение и что я официально приказал всем лавочникам в королевстве иметь их под рукой и продавать по казенной цене, то есть за пустяк, который шел лавочнику, а не казне. Мы поставляли их бесплатно.

Вернулись мы вечером, и король не заметил нашего прихода. Он рано погрузился в сны о грандиозном вторжении в Галлию со всей армией своего королевства, и вторая половина дня прошла для него незаметно.

ПОСРАМЛЕНИЕ ДАУЛИ

Когда в субботу на закате прибыл весь этот груз, мне нелегко было помешать Марко и его жене упасть в обморок. Они были уверены, что мы с Джонсом разорены, и проклинали себя за содействие нашему банкротству. Помимо провизии для обеда, которая тоже обошлась мне в довольно крупную сумму, я купил еще многое, что могло пригодиться нашим хозяевам в будущем: например, мешок пшеницы, — белый хлеб такое же редкое лакомство за столом у людей их класса, как сливочное мороженое за столом отшельника; затем большой обеденный стол; затем два фунта соли — тоже роскошь в глазах наших хозяев; затем посуду, табуретки, одежду, небольшой бочонок пива и так далее. Я попросил Марко и его жену никому не говорить обо всем этом великолепии, чтобы удивить гостей и пустить им пыль в глаза. Увидав новые одежды, эти простодушные супруги были рады, как дети; они не спали всю ночь, дожидаясь рассвета, чтобы надеть их, и облачились в них за час до восхода солнца. Тут их восторг дошел до таких пределов, что вознаградил меня за мой прерванный сон. Король спал, как всегда, словно мертвый. Марко с женой не могли поблагодарить его за одежду, так как я им это запретил, но пытались всячески показать ему, как они благодарны. Однако все впустую: он ничего не заметил.

Июньский день выдался на редкость ясный и теплый, на дворе был просто рай, в комнаты не хотелось заходить. Гости явились к полудню; мы собрались под большим деревом и скоро разговорились, как старые приятели. Даже король оттаял немного, хотя сначала ему нелегко было привыкнуть, что его называют просто Джонсом. Я просил его не забывать, что он фермер, но вместе с тем просил его не вдаваться в подробности, а довольствоваться простым утверждением этого факта. Ибо он был из тех людей, которые все испортят, если их не предупредишь, так как язык он имел гибкий, ум деятельный, а сведения обо всем самые туманные.

Даули был разодет, как павлин. Мне без труда удалось заставить его разговориться и рассказать свою историю; было приятно сидеть под деревом и слушать его болтовню. Он сам выковал свое счастье. А такие люди умеют порассказать. Они заслуживают уважения и настойчиво его требуют. Он рассказал, как он вступил в жизнь сиротой, без денег и без друзей; как он жил хуже, чем живут рабы у иного хозяина; как он работал ежедневно по шестнадцати, по восемнадцати часов и питался одним черным хлебом, да и то впроголодь; как его усердие привлекло наконец внимание доброго кузнеца, который чуть не свалил его с ног великодушным предложением взять его к себе в ученики на девять лет, на готовых харчах и одежде, и научить ремеслу, — или «секрету», как выразился Даули. Это было первое его возвышение, первая блистательная удача; и он до сих пор говорил о ней с восторгом и не переставал удивляться, что такое необычайное счастье могло выпасть на долю обыкновеннейшего человека. За все время своего ученичества он ни разу не получил новой одежды, но в тот день, когда ученичество кончилось, его хозяин подарил ему новое одеяние из сержа, в котором он чувствовал себя несказанно богатым и прекрасным.

— Я помню этот день! — восторженно воскликнул колесник.

— И я тоже! — вскричал каменщик. — Я тогда не поверил, что это твоя одежда. Честное слово, не поверил!

— Никто не верил! — крикнул Даули, и глаза его засверкали. — Я из себя выходил, убеждая соседей, что одежда эта не краденая. То был великий день, великий день; таких дней не забывают.

Да, его хозяин был прекрасный человек, дела его процветали так, что он дважды в год до отвала наедался мясом и белым хлебом — настоящим пшеничным хлебом; по правде говоря, он жил как лорд. Со временем Даули унаследовал его предприятие и женился на его дочери.

— А теперь посмотрите, как все изменилось, — сказал он внушительно. — Два раза в месяц я ем свежее

мясо. — Он помолчал, чтобы слушатели имели возможность понять все значение этих слов. — И восемь раз в месяц — солонину.

— Это правда, — подтвердил колесник, затаив дыхание.

— Я это сам видел, — почтительно подтвердил каменщик.

— А белый хлеб у меня на столе каждое воскресенье, круглый год, — торжественно добавил кузнец. — Скажите по совести, друзья, разве это не правда?

— Клянусь головой, правда! — вскричал каменщик.

— Я это подтверждаю, — сказал колесник.

— Скажите сами, какая у меня в доме мебель! — Дали широко раздвинул руки, как бы предоставляя каждому полную свободу слова. — Говорите все что хотите. Говорите так, словно меня здесь нет.

— У тебя пять табуреток, и притом прекрасной работы, хотя твоя семья состоит из трех человек, — сказал колесник с глубоким уважением.

— А для еды и питья у тебя шесть деревянных кубков, и шесть деревянных тарелок, и две оловянные, — торжественно сказал каменщик. — Я говорю это по чистой совести, зная, что буду отвечать перед богом на Страшном суде за каждое лживое слово.

— Ну, теперь ты знаешь, что я за человек, брат Джонс, — сказал кузнец с благородной и дружественной снисходительностью, — и, разумеется, думаешь, что такой человек требует к себе уважения и не станет являться с незнакомыми людьми, пока не узнает, кто они такие; но ты не беспокойся: знай, что я готов принять каждого как равного и друга, какое бы скромное ни занимал он положение в этом мире, лишь бы он был хороший человек. И в подтверждение моих слов вот тебе моя рука; я сам заявляю, что мы с тобой равны, совершенно равны, — и он улыбнулся всем самодовольной улыбкой бога, который совершил благородный и прекрасный поступок и отлично понимает это.

Король принял протянутую руку с плохо скрытым неудовольствием и сейчас же выпустил ее, как дама выпускает из рук скользкую рыбу; все это произвело отличное впечатление, ибо ошибочно было принято за

естественное смущение человека, ослепленного блеском величия.

Угольщица вынесла стол и поставила его под деревом. Это, видимо, изумило гостей, так как стол был новый и хорошо сделанный. Но изумление еще возросло, когда госпожа Филлис, стараясь принять самый равнодушный вид, но с сияющими тщеславием глазами, не спеша развернула ослепительно белую скатерть и покрыла ею стол. Скатерти не было даже у кузнеца, при всем великолепии его дома, и видно было, что он сильно задет. Зато Марко чувствовал себя как в раю; и это тоже было заметно. Филлис вынесла два прекрасных новых табурета и — о! — это произвело сенсацию; гости были потрясены. Потом она вынесла еще два, стараясь сохранить полное спокойствие. Новая сенсация, благоговейный шепот. Потом еще два; гордость так переполнила ее, что казалось, будто она движется по воздуху. Гости были потрясены, и каменщик пробормотал:

— Перед такой роскошью невольно благоговеешь.

Как только госпожа Филлис повернулась, чтобы идти обратно в дом, Марко, чувствуя, что надо ковать железо, пока горячо, сказал ей, стараясь говорить спокойно и сдержанно, хотя это не очень ему удавалось:

— Достаточно, остальные приносить не надо.

Остальные! Значит, это еще не все. Эффект был необычайный. Я и сам не мог бы добиться лучшего.

Затем пошли сюрпризы за сюрпризами, подогревшие общее изумление до ста пятидесяти градусов в тени, но парализовавшие внешние его проявления, которые свелись к охам и ахам и безмолвному возведению к небу рук и очей. Она принесла посуду, совершенно новенькую; новые деревянные чашки и прочие столовые принадлежности; пиво, рыбу, цыплят, гуся, яйца, жареную говядину, жареную баранину, ветчину, зажаренного поросенка и грудку белого пшеничного хлеба. Никто из них за всю жизнь не видел подобного великолепия. И пока они сидели, отупевшие от изумления, я как бы случайно взмахнул рукой, и пе-

редо мной, как из-под земли, возник сын лавочника и заявил, что он пришел за деньгами.

— Хорошо, — сказал я равнодушно. — Сколько там всего? Подведи итог.

Он стал вслух читать счет, и потрясенные гости слушали, и волны удовлетворения заливали мою душу, и волны то ужаса, то восторга заливали душу Марко:

2 фунта соли	200
8 дюжин пинт пива в деревянном бочонке . . .	800
3 бушеля пшеницы	2700
2 фунта рыбы	100
3 курицы	400
1 гусь	400
3 дюжины яиц	150
1 кусок жареной говядины	450
1 кусок жареной баранины	400
1 окорок ветчины	800
1 молочный поросенок	500
2 обеденных сервиза	6000
2 смены мужской одежды и белья	2800
1 юбка и 1 кофта шерстяная и женское белье . .	1600
8 деревянных чашек	800
Разная столовая утварь	10000
1 стол	3000
8 табуреток	4000
2 кошелька-пистолета, заряженных	3000

Он умолк. Наступила зловещая тишина. Никто не смел шевельнуться. Никто не смелдохнуть.

— Это все? — спросил я, и голос мой был совершенно спокоен.

— Все, прекрасный сэр, только некоторые мелочи я отнес в графу «разная утварь». Если угодно, я могу их выде...

— Это лишнее, — сказал я, сопровождая свои слова жестом полного безразличия. — Скажи общий итог, пожалуйста.

Приказчик прислонился к дереву, чтобы удержаться на ногах, и сказал:

— Тридцать девять тысяч сто пятьдесят миль-рейсов!

Колесник свалился со стула, остальные ухватились за стол, чтобы не упасть, и хором воскликнули:

— Господи, не покинь нас в день бедствия!

Приказчик поспешил сказать:

— Отец поручил передать вам, что совесть не позволяет ему требовать, чтобы вы уплатили все сразу, и он только просит вас...

Я обратил на его слова так мало внимания, словно это был ветер, с видом полнейшего равнодушия достал деньги и кинул на стол четыре доллара. Надо было видеть, как все уставились на эти монеты!

Приказчик был изумлен и очарован. Он попросил меня оставить в залог один доллар, пока он сходит в город за...

Я перебил:

— За девятью центами сдачи? Вздор! Сдачу возьми себе.

Это вызвало изумленный шепот:

— Он набит деньгами! Он швыряет деньги, словно грязь!

Кузнец был уничтожен.

Приказчик схватил деньги и убежал, пьяный от счастья. Я сказал Марко и его жене:

— Добрые люди, вот вам небольшой подарок, — и протянул им кошельки-пистолеты с таким видом, будто это сущий пустяк, хотя в каждом из них, как в копилке, находилось по пятнадцати центов; и пока эти бедняки рассыпались в благодарности, я повернулся к остальным и сказал так спокойно, словно спрашивал, который час: — Что ж, если вы готовы, обед, я думаю, тоже готов. Приступим.

Все это получилось действительно великолепно. Никогда еще не удавалось мне произвести больший эффект, выгоднее использовать имевшиеся под рукой материалы. Кузнец, тот был просто уничтожен. Не хотел бы я быть на месте этого человека! А он-то хвастал, что дважды в год объедается мясом, и ест свежую рыбу два раза в месяц, и каждое воскресенье ест солонину, имея семью из трех человек. Все это обходилось ему в год не дороже 69.26 (шестидесяти девяти центов, двух миллей и шести милрейсов). И вдруг является человек, который швыряет на стол четыре доллара зараз, да

еще с таким видом, будто ему скучно возиться со столь мелкими суммами. Да, Даули увял, съежился, свернулся, словно воздушный шарик, на который наступила корова.

Глава XXXIII

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ШЕСТОГО ВЕКА

Однако я взялся за него всерьез, и не прошла еще и первая треть обеда, как он снова был счастлив. Осчастливить его было нетрудно в стране рангов и каст. Видите ли, в стране, где есть ранги и касты, человек никогда не бывает вполне человеком, он всегда только часть человека. Стоит вам доказать ему, что вы выше его — чином, рангом, богатством, — и все кончено, он поникает перед вами. После этого вы не можете его даже оскорбить. Нет, я не то хотел сказать; конечно, оскорбить его вы можете, но с большим трудом, и если у вас мало свободного времени, лучше и не пытайтесь. Уважение кузнеца я уже приобрел, потому что он считал меня человеком необычайного богатства; если бы я к тому же мог похвастать каким-нибудь завалящим дворянством, он боготворил бы меня. И не только он, но и любой простолюдин, даже если бы по уму, достоинству и характеру он был величайшим человеком всех времен, а я полнейшим ничтожеством. Так это было, и так это останется, пока будет существовать Англия. Обладая даром пророчества, я прозревал грядущее и видел, как она воздвигает статуи и памятники своим ничтожнейшим Георгам и прочим манекенам королевской и дворянской крови и хоронит без почестей первых — после бога — творцов этого мира: Гутенберга, Уатта, Аркрайта, Уитни, Морзе, Стефенсона, Белла.

Между тем король как следует нагрузился, и, так как разговор шел не о битвах, победах и поединках, на него напала сонливость, и он ушел всхрапнуть. Миссис Марко убрала со стола, поставила возле нас бочонок с пивом и ушла, чтобы где-нибудь в уединении пообедать тем, что осталось после нас, а мы заговорили о том, что

ближе всего сердцам людей нашего склада, — о делах и заработках конечно. На первый взгляд казалось, что дела здесь идут прекрасно, в этом маленьком вассальном королевстве, где правил король Багдемагус, — прекрасно по сравнению с тем, как идут они в том краю, где правил я. Здесь процветала система протекционизма, в то время как мы мало-помалу двигались к свободной торговле и прошли уже в этом направлении около половины пути. Разговаривали только Даули и я, остальные жадно слушали. Даули, разгорячась и чувствуя преимущество на своей стороне, стал задавать мне вопросы, которые, по его мнению, должны были меня сокрушить и на которые действительно не легко было ответить:

— А какое жалованье, брат, получает в твоей стране управляющий, дворецкий, конюх, пастух, свинопас?

— Двадцать пять мильрейсов в день; иначе говоря, четверть цента.

Лицо кузнеца засияло от удовольствия. Он сказал:

— У нас они получают вдвое! А сколько зарабатывают ремесленники — плотник, каменщик, маляр, кузнец?

— В среднем пятьдесят мильрейсов; полцента в день.

— Хо-хо! У нас они зарабатывают сто! У нас хороший ремесленник всегда может заработать цент в день! Я не говорю о портных, но остальные всегда могут заработать цент в день, а в хорошие времена и больше — до ста десяти и даже до ста пятнадцати мильрейсов в день. Я сам в течение всей прошлой недели платил по сто пятнадцати. Да здравствует протекционизм, долой свободу торговли!

Его лицо сияло, как солнце. Но я не сдался. Я только взял свой молот для забивания свай и в течение пятнадцати минут вбивал кузнеца в землю, да так, что он весь туда ушел, даже макушка не торчала. Вот как я начал.

Я спросил:

— Сколько вы платите за фунт соли?

— Сто мильрейсов.

— Мы платим сорок. Сколько вы платите за баранину и говядину в те дни, когда едите мясо?

Намек попал в цель: кузнец покраснел.

— Цена меняется, но незначительно; скажем, семьдесят пять мильрейсов за фунт.

— Мы платим тридцать три. Сколько вы платите за яйца?

— Пятьдесят мильрейсов за дюжину.

— Мы платим двадцать. Сколько вы платите за пиво?

— Пинта стоит восемь с половиной мильрейсов.

— Мы платим четыре; двадцать пять бутылок на цент. Сколько вы платите за пшеницу?

— Бушель стоит девятьсот мильрейсов.

— Мы платим четыреста. Сколько у вас стоит мужская куртка из сермяги?

— Тринадцать центов.

— А у нас шесть. А платье для жены рабочего или ремесленника?

— Мы платим восемь центов четыре милля.

— Вот обрати внимание на разницу: вы платите за него восемь центов и четыре милля, а мы всего четыре цента.

Я решил, что пора нанести удар. Я сказал:

— Теперь погляди, дорогой друг, чего стоят ваши большие заработки, которыми ты хвастался минуту назад. — И я со спокойным удовлетворением обвел всех глазами, сознавая, что связал противника по рукам и ногам, да так, что он этого даже не заметил. — Вот что стало с вашими прославленными высокими заработками. Теперь ты видишь, что все они дутые.

Не знаю, поверите ли вы мне, но он только удивился, не больше! Он ничего не понял, не заметил, что ему расставили ловушку, что он сидит в западне. Я готов был убить его, так я рассердился. Глядя на меня затуманенным взором и тяжело ворочая мозгами, он возражал мне:

— Ничего я не вижу. Ведь доказано, что наши заработки вдвое выше ваших. Как же ты можешь утверждать, что они дутые, если я правильно произношу это

диговинное слово, которое господь привел мне услышать впервые?

Признаться, я был ошеломлен: отчасти его непредвиденной глупостью, отчасти тем, что все явно разделяли его убеждения, — если это можно назвать убеждениями. Моя точка зрения была предельно проста, предельно ясна; как сделать ее еще проще? Однако я должен попытаться.

— Неужели ты не понимаешь, Даули? У вас только *по названию* заработки выше, чем у нас, а не *на самом деле*.

— Послушайте, что он говорит! У нас заработная плата выше вдвое, — ты сам это признал.

— Да, да, не отрицаю. Но это ровно ничего не означает; число монет само по себе ничего означать не может. Сколько вы в состоянии купить на ваш заработок — вот что важно. Несмотря на то, что у вас хороший ремесленник зарабатывает около трех с половиной долларов в год, а у нас только около доллара и семидесяти пяти...

— Ага! Ты опять признал! Опять признал!

— Да, к черту, я же никогда и не отрицал! Я говорю о другом. У нас на *полдоллара* можно купить больше, чем на целый *доллар* у вас, — и, следовательно, если считаться со здравым смыслом, надо признать, что у нас заработная плата *выше*, чем у вас.

Он был ошарашен и сказал, отчаявшись:

— Честное слово, я не понимаю. Ты только что *признал*, что у нас заработки выше, и, не успев закрыть рта, взял свои слова обратно.

— Неужели, черт возьми, в твою голову нельзя вбить такую простую вещь? Давай я объясню тебе на примере. Мы платим четыре цента за женское шерстяное платье, вы за такое же платье платите восемь центов четыре милля, то есть на четыре милля больше, чем вдвое. А сколько у вас получает батрачка на ферме?

— Два милля в день.

— Хорошо; у нас она получает вдвое меньше: мы платим ей только одну десятую цента в день; и...

— Опять ты признал...

— Подожди! Все очень просто, на этот раз ты поймешь. Чтобы купить себе шерстяное платье, ваша женщина, получающая два милля в день, должна проработать сорок два дня — ровно семь недель, а наша зарабатывает шерстяное платье за сорок дней, то есть за семь недель без двух дней. Ваша женщина купила платье — и весь ее семинедельный заработок истрачен; наша купила платье — и у нее остался двухдневный заработок, чтобы купить что-нибудь еще. Ну, теперь ты понял?

Кажется, он слегка заколебался — вот все, чего я достиг; остальные заколебались тоже. Я ждал, чтобы дать им подумать. Наконец Даули заговорил, — и стало ясно, что он все еще не может избавиться от своих укоренившихся привычных заблуждений. Он нерешительно произнес:

— Однако... все-таки... не можешь же ты отрицать, что два милля в день больше, чем один.

Дурачье! Но сдаться я не мог. Авось я добьюсь другим путем.

— Предположим такой случай. Один из ваших подмастерьев покупает себе следующие товары:

один фунт соли;
одну дюжину яиц;
одну дюжину пинт пива;
один бушель пшеницы;
одну сермяжную рубаху;
пять фунтов говядины;
пять фунтов баранины.

Все это обойдется ему в тридцать два цента. Ему придется проработать тридцать два дня, чтобы заработать эти деньги, — пять недель и два дня. Пусть он придет к нам и проработает тридцать два дня на *половинной* заработной плате; он сможет купить все эти вещи за четырнадцать с половиной центов; они обойдутся ему в двадцать девять дней работы, и он сбережет почти полунедельный заработок. Высчитай, сколько это получится за год? Он будет сберегать почти недельный заработок каждые два месяца, а у вас он не сбережет ничего; за год у нас он сберег бы заработок пяти или шести недель, а у вас ничего. *Теперь*, я уверен, тебе ясно, что «высокие заработки» и «низкие заработки» —

только слова, которые ничего не значат, пока ты не знаешь, сколько на эти заработки можно купить!

Это был сокрушительный удар.

Но, увы, он не сокрушил ничего! Нет, я вынужден был сдаться! Эти люди ценили *высокие заработки*; им, казалось, было не важно, можно ли что-нибудь купить на эти высокие заработки, или нельзя. Они стояли за протекционизм, они молились на него, потому что заинтересованные круги дурачили их, уверяя, что протекционизм создает высокие заработки. Я доказал им, что за четверть столетия их заработки возросли всего только на тридцать процентов, в то время как цены поднялись на сто; а у нас, за более короткий срок, заработки возросли на сорок процентов, цены же упали. Но это нисколько их не убедило. Их странные взгляды не поддавались изменению.

Итак, я потерпел поражение. Незаслуженное поражение, но все же поражение. И подумать — при каких обстоятельствах! Крупнейший государственный деятель своего века, способнейший человек, самый образованный человек во всем мире, самая умная некоронованная голова за много столетий — побит в споре с невежественным деревенским кузнецом. Я заметил, что всем стало жалко меня, и так вспыхнул, что почувствовал, как усы мои запахли паленым. Поставьте себя на мое место, вообразите весь тот стыд, который испытывал я, и скажите: разве вы на моем месте не нанесли бы противнику недозволенный удар ниже пояса? Конечно нанесли бы; уж такова человеческая природа. И я нанес. Я не пытаюсь оправдываться, я только говорю, что я был взбешен и что всякий поступил бы так на моем месте.

Когда я решаю нанести удар, я вовсе не собираюсь ограничиться ласковым щелчком, — нет, я не таков: уж если я бью, я бью на совесть. И я не насккиваю вдруг, рискуя сорваться на полдороге, — нет, я отхожу в сторону и осторожно веду подготовку, так что противнику моему никогда и в голову не придет, что я собираюсь ударить его; потом — мгновение, и он уже лежит на обеих лопатках, сам не зная, как это с ним случилось. Так поступил я и с братом Даули. Я заговорил лениво

и непринужденно, как будто только для того, чтобы провести время, и величайший мудрец вселенной не догадался бы, к чему я клоню:

— Сколько любопытного, ребята, можно найти в законах и обычаях; да и в развитии человеческих взглядов тоже немало любопытного. Существуют писанные законы — их в конце концов упраздняют; существуют неписанные законы — они вечны. Возьмите, например, неписанный закон о заработной плате; он гласит, что заработная плата с каждым столетием повышается постепенно, но непрерывно. И заметьте, как правильно действует этот закон. Мы знаем, сколько платят за труд в разных местах, и выводим среднюю заработную плату на нынешний год. Мы знаем, сколько платили за труд сто лет назад и сколько платили двести лет назад; дальше в прошлое мы заглянуть не можем, но и этого достаточно, чтобы установить закон постепенного роста оплаты труда; и на основании этого закона, даже не имея под руками документов, можем приблизительно определить, сколько платили за труд триста, четыреста и пятьсот лет назад. Хорошо. И это все? Нет. Мы больше не станем глядеть в прошлое; вооруженные этим законом, мы попытаемся глядеть в будущее. Друзья мои, я могу сказать вам, какова будет заработная плата в будущем, через сотни и сотни лет.

— Что ты говоришь, добрый человек!

— За ближайшие семьсот лет заработки возрастут в шесть раз, и батрак на ферме будет получать по три цента в день, а ремесленник — по шесть.

— Хотел бы я умереть теперь и жить тогда! — перебил меня Смуг, колесник, жадно блестя глазами.

— И притом не на своих, а на хозяйских харчах, — впрочем, на хозяйских харчах, как известно, не разжиреешь. А еще два с половиною века спустя — прошу внимания! — ремесленник будет зарабатывать, — помните, это точный закон, а не выдумка, — ремесленник будет зарабатывать двадцать центов в день!

Раздался общий вздох изумления. Диккон, каменщик, пробормотал, воздев к небу глаза и руки:

— Трехнедельный заработок за один рабочий день!

— Богачи, ей-богу богачи! — повторял Марко, задыхаясь от возбуждения.

— Зарботки будут все расти, — мало-помалу, мало-помалу, как растет дерево; и еще через триста сорок лет на свете будет по крайней мере одна страна, в которой заработок ремесленника достигнет *двухсот центов в день*.

Они онемели! Они не дышали в течение целых двух минут. Наконец угольщик сказал:

— Вот бы дожить до этого времени!

— Это доход графа, — сказал Смуг.

— Ты говоришь — графа? — сказал Даули. — Ты мог бы сказать — герцога, и не соврал бы. Во всем королевстве Багдемагуса нет ни одного графа с таким доходом. Доход графа! Нет, это доход ангела!

— Да, вот как поднимется заработная плата. В те отдаленные времена человек в состоянии будет купить на заработок одной недели столько добра, сколько вам не купить и за пятьдесят недель работы! Будет немало и других удивительных вещей. Брат Даули, кто у вас устанавливает каждую весну, сколько полагается платить ремесленнику, батраку или слуге на весь текущий год?

— Иногда суды, иногда совет города, но чаще всего магистрат. В общем можно сказать, что размеры заработной платы устанавливает магистрат.

— И не просит никого из бедняков рабочих помочь ему определить эти размеры?

— Что за вздорная мысль! Разве ты не понимаешь, что тут заинтересован только хозяин, только человек, который платит деньги.

— Я думаю, что тот, кому платят, тоже немного заинтересован, и даже его жена, и даже его несчастные дети. Хозяева — люди знатные, богатые, процветающие. Меньшинство, не работая, определяет, сколько платить большинству, которое работает за всех. Потому что богачи объединились, организовали, так сказать, профессиональный союз, чтобы принудить своих меньших братьев получать столько, сколько им сочли нужным дать. А через тринадцать веков — так гласит неписанный закон — объединятся сами труженики, и богачи

станут скрежетать зубами, возмущаясь тиранией профессиональных союзов! Да, правда, вплоть до девятнадцатого века магистрат будет преспокойно устанавливать цены на труд, но затем трудящийся скажет, что с него довольно тех двух тысячелетий, во время которых этот вопрос решался столь односторонне, и возмутится, и начнет сам устанавливать размеры своего заработка. Да, большой счет предъявит он за все те издевательства и унижения, которых он натерпелся.

— Ты думаешь...

— Что он будет участвовать в определении размеров своего собственного заработка? Конечно. К тому времени он будет и силен и умен.

— Хорошие времена, нечего сказать, — фыркнул богач кузнец.

— И еще одна подробность. В те времена хозяин будет иметь возможность нанимать рабочих и на неделю, и на месяц, и даже на один день, если это ему удобнее.

— Что?

— Правда. Мало того, магистрат уже не будет иметь права заставить человека работать на одного и того же хозяина целый год подряд, хочет он того или не хочет.

— Разве в те времена не будет ни законов, ни здравого смысла?

— И законы и здравый смысл, Даули. В те времена человек будет принадлежать самому себе, а не магистрату и хозяину. И если заработок покажется ему мал, он может покинуть город и идти в другой, и никто не поставит его за это к позорному столбу.

— Проклятие такому веку! — крикнул Даули в сильнейшем негодовании. — Собачий век! Ни почтения к старшим, ни уважения к властям! Позорный столб...

— Погоди, брат, не защищай позорный столб. Я считаю, что позорный столб должен быть отменен.

— Вот странная мысль. Почему?

— Хорошо, я скажу тебе почему. Могут ли человека привязать к позорному столбу за крупное преступление?

— Нет.

— А справедливо ли приговорить человека за незначительное преступление к незначительному наказанию и затем убить его?

Никто не ответил. Это была моя первая победа. Впервые кузнец стал в тупик и не мог мне ответить. Все это заметили. Хорошее впечатление.

— Ты молчишь, брат? Ты только что собирался прославить позорный столб и пожалеть грядущие века, когда его не будет. Я считаю, что позорный столб должен быть отменен. Что обычно происходит, когда какого-нибудь бедняка привязывают к позорному столбу за какой-нибудь пустяк? Толпа потешается над ним, не так ли?

— Да.

— Толпа начинает с того, что швыряет в него комьями земли и хохочет, когда он, старясь увернуться от одного кома, попадает под удар другого.

— Да.

— А разве в него не швыряют дохлыми кошками?

— Швыряют.

— А теперь предположим, что в толпе находится несколько его личных врагов, обиженных им и затаивших обиду, предположим, что он нелюбим своими соседями за гордость, или за богатство, или еще за что-нибудь, — разве вместо кошек и комьев земли в него не посыплются внезапно камни и кирпичи?

— Несомненно.

— Обычно дело кончается тем, что его искалечат на всю жизнь, не так ли? Переломят челюсть, выбьют зубы, или перешибут ногу так, что она потом загноится и ее придется отрезать, или выбьют глаз, а то и оба глаза.

— Видит бог, что правда.

— А если его не любят, может случиться, что его и убьют.

— Может случиться. Никто не станет это отрицать.

— Я уверен, что вас всех любят, что никто из вас не нажил себе врагов ни гордостью, ни кичливостью, ни богатством, ничем иным и не вызвал зависти и ненависти у подонков своей деревни. Вы, по-вашему, ни-

чем не рисковали бы, если бы вам пришлось стать у позорного столба?

Даули замигал глазами. Я видел, что он побежден. Но на словах он ничем себя не выдал. Зато другие откровенно и убежденно заявили, что они достаточно насмотрелись на позорные столбы и ни за что не пошли бы на такой ужас, — лучше уж скорая смерть через повешенье.

— Пора переменить тему, ибо, по-моему, я ясно доказал, что позорные столбы должны быть отменены. Многие наши законы несправедливы. Например, если я совершил проступок, за который меня должны привязать к позорному столбу, а ты, зная об этом, не донес на меня, тебя самого привяжут к позорному столбу, если кто-нибудь на тебя донесет.

— И по заслугам, — сказал Даули, — ибо ты должен был донести. Так гласит закон.

Остальные поддержали его.

— Хорошо, пусть так, раз все против меня. Но кое-что все-таки несправедливо бесспорно. Предположим, магистрат установил, что заработок ремесленника равен одному центу в день. Закон гласит: если хозяин, хотя бы на один день, хотя бы под давлением деловой необходимости, повысит заработок своего рабочего, он сам должен быть поставлен у позорного столба; и тот, кто, зная об этом, не донесет, тоже должен быть оштрафован и прикован к столбу. Вот это кажется мне несправедливым, Даули, и очень опасным для всех нас, потому что ты сам недавно признался, что в течение целой недели платил по центу и пятнадцати миллей...

Вот это был удар! Я сразу сокрушил их всех. Я подкрался к улыбающемуся и довольному собой Даули так неслышно, так мягко, так вкрадчиво, что он ничего не заподозрил, пока сокрушительный удар не обрушился и не сбил его с ног.

Эффект получился великолепный! Никогда еще мне не случалось за такой короткий срок добиться столь великолепного эффекта.

Но через мгновение я увидел, что немного пересоллил. Я собирался нанести им удар, но не собирался убивать их. А они были близки к смерти. Они хорошо

знали, что такое позорный столб, и теперь, когда он заглянул им в лицо, когда они почувствовали себя отданными целиком на милость чужого, едва знакомого человека, которому стоит только донести на них, чтобы их постигла эта кара, они были еле живы от страха. Они побледнели, тряслись, онемевшие, жалкие. Да что там жалкие — полумертвые от ужаса. Все это вышло очень неприятно. Конечно, я полагал, что они будут просить меня держать язык за зубами, и мы пожмем руки, выпьем и посмеемся, и этим все кончится. Но нет; я был чужой человек, а они прожили всю жизнь под жестоким гнетом и приучились никому не доверять, видя, что люди не упускают случая воспользоваться их беспомощностью; они не ждали ни справедливости, ни доброты ни от кого, разве только от родных и близких. Просить меня быть добрым, быть справедливым, быть великодушным? Конечно, им очень этого хотелось бы, но они не решались.

Глава XXXIV

ЯНКИ И КОРОЛЬ ПРОДАНЫ В РАБСТВО

Что же теперь делать? Только не спешить. Нужно изобрести какой-нибудь обходный маневр, чтобы дать себе время подумать, а этим беднякам прийти в себя. Напротив меня сидел Марко, окаменевший в то мгновение, когда он пытался привести в действие свой кошелек-пистолет, и все еще бессознательно сжимавший в руке эту игрушку. Я взял пистолет из рук Марко и предложил раскрыть ему его тайну. Тайна! Какая может быть тайна в таком пустяке? Однако в тот век и в той стране даже здесь была тайна.

Удивительный народ, совершенно не умеющий обращаться с механизмами; да у них и не было никаких механизмов. Кошелек-пистолет представлял собой небольшую двойную трубку из толстого стекла; внутри была пружинка, при нажиме на которую происходил выстрел. Этот выстрел был совершенно безвреден, так

как дробинка падала к вам же в руку. Дробинки были разной величины — одни с горчичное зерно, другие значительно больше; они заменяли монеты. Дробинки величиной с горчичное зерно заменяли милрейсы, а те, что побольше, — милли. Пистолет служил кошельком, и очень удобным кошельком, — с его помощью вы могли расплачиваться в темноте, не боясь ошибиться; вы могли носить его за щекой или в жилетном кармане, если у вас был жилетный карман. Я изготовил их разных размеров; крупнейший вмещал в себя дробь на целый доллар. Замена монет дробью была очень выгодна для правительства: металл не стоит ничего, а подделки нечего было опасаться, так как я был единственный человек в королевстве, умевший отливать дробь. Выражение «настрелять денег» скоро пошло в ход и сохранилось даже до девятнадцатого века, хотя никто не подозревает теперь, откуда оно взялось.

К этому времени к нам присоединился и король. Сон освежил его, и он чувствовал себя отлично. Теперь меня легко было взволновать, я нервничал, так как чувствовал, что наша жизнь в опасности; и, подозрительно вглядываясь в глаза короля, я заметил, что он чем-то заряжен и собирается выкинуть какую-то штуку. Проклятие, неужели он не мог выбрать более подходящего времени!

Я не ошибся. Он сразу же с неумелой хитростью заговорил о сельском хозяйстве. Я весь покрылся холодным потом. Мне хотелось шепнуть ему на ухо: «Послушай, мы в ужасной опасности! Каждая минута дорога, пока мы не вернем себе доверия этих людей; не трать драгоценного времени». Но шепнуть ему было невозможно, гости решили бы, что мы сговариваемся. Оставалось сидеть и приятно улыбаться, глядя, как король, сидя на динамитной mine, рассуждает о проклятом луке. Вначале от сознания опасности у меня в голове был такой беспорядок, что я не мог даже вникнуть в смысл его слов, но когда в голове моей начал складываться план военных действий, до меня, словно издалека, стали доноситься залпы королевских батарей:

— ... по-моему, это не лучший способ, хотя мнения знатоков тут расходятся, и некоторые утверждают, что

лук — вредная для здоровья ягода, если его снимать с дерева незрелым...

Слушатели начали обнаруживать признаки жизни и переглядываться с удивлением и тревогой в глазах.

— ... в то время как другие утверждают, и не без основания, что это не так уж важно, ибо сливы и другие злаки выкапывают из земли в незрелом виде...

Слушатели были в смятении; да, в смятении и страхе.

— ... тем не менее они вполне съедобны, особенно если смягчить их природную терпкость, прибавив к ним успокоительного сока капусты...

Глаза наших гостей были полны дикого ужаса, и один из них пробормотал:

— Что он говорит! Господь замутил разум этого фермера!

Я предчувствовал беду и сидел как на гвоздях.

— ...далее, если принять во внимание всем известную истину, что молодые животные, так сказать свежие почки животного мира, всего вкусней и что когда козел созреет, его мех становится слишком жарким и портит мясо, каковой недостаток, в соединении с гнусным нравом и богопротивным поведением этого зверя...

Все повскакали с мест с яростным криком: «Один предатель, а другой сумасшедший! Смерть им! Смерть!» Они кинулись на нас. Какой восторг вспыхнул в глазах короля! Он ничего не смыслил в сельском хозяйстве, но драться он умел. Он долго постился и теперь жаждал битвы. Ударом в челюсть он сбил кузнеца с ног и повалил на спину. «Святой Георгий, помоги Британии!» — и он сбил с ног колесника. Каменщик был грузен, но я опрокинул его без труда. Все трое тотчас же вскочили на ноги и снова кинулись на нас; мы снова их повалили; они снова вскочили. Они падали и вскакивали с чисто британским упорством и мужеством, пока мы не превратили их в котлеты; они шатались от усталости; ослепленные гневом, они перестали отличать друзей от врагов и колотили друг друга. Они колотили друг друга, а мы отошли в сторону и смотрели, как они катаются по земле, и рвут волосы, и кусаются, словно бульдоги. Мы смотрели на них спо-

койно, так как они не в силах уже были сбегать за помощью, а место битвы было так удалено от дороги, что случайные прохожие не могли нас увидеть.

Занятый этим зрелищем, я случайно заметил, что Марко нет среди нас. Я оглянулся; его нигде не было видно. О, дело плохо! Я дернул короля за рукав, мы незаметно ускользнули и вбежали в хижину. Там никого — ни Марко, ни Филлис! Они, несомненно, побежали к дороге звать на помощь. Я сказал королю, что нам нужно удирать, а причину я объясню потом. Мы успели перебежать через открытое поле и нырнули в лес; только тогда я обернулся и увидел толпу разъяренных крестьян с Марко и его женой во главе. Они ужасно орали, но мы их не боялись: лес был дремучий, мы влезем на дерево, а там пускай они ищут нас, где хотят. Но тут мы услышали новый звук: собаки! Это совсем другое дело! Задача наша стала сложнее — нужно найти проточную воду.

Мы неслись во всю мочь; звуки стали удаляться и превратились в глухой шум. Мы добежали до ручья и прыгнули в воду. В воде мы прошли вниз по течению ярдов с триста. Нам загородил дорогу дуб, толстый сук которого висел над самой водой. Мы вскарабкались на этот сук и поползли по нему к стволу. Звуки погони опять стали громче — значит, толпа напала на наш след. Некоторое время звуки приближались очень быстро; потом они перестали приближаться. Без сомнения, собаки нашли то место, где мы вошли в ручей, и теперь мечутся по берегу, разыскивая наш след.

Когда мы прочно усьелись на дереве, скрытые листвой, король вполне успокоился, но я не совсем. Мне показалось, что мы могли бы перелезть по одной из веток на другое дерево, и я решил, что нужно попробовать. Мы попробовали, и с успехом, хотя король поскользнулся и чуть не упал. Мы удобно расселись, хорошо скрытые в листве, и теперь нам оставалось только прислушиваться к шуму погони.

Внезапно погоня стала приближаться, и приближаться стремительно и сразу по обоим берегам ручья. Громче, громче — и с ревом, гиком, лаем, топотом она пронеслась мимо, как циклон.

— Я боюсь, что по суку, висящему над водой, они догадаются, — сказал я, — и очень рад, что ошибся. Идем, повелитель, не будем терять времени. Мы сбили их с толку. Скоро стемнеет. Если мы еще раз перейдем через ручей и на каком-нибудь пастбище возьмем займы пару коней на несколько часов, мы будем в безопасности.

Мы начали спускаться и добрались уже до нижнего сука, как вдруг нам показалось, что шум погони снова приближается. Мы замерли, прислушиваясь.

— Да, — сказал я, — они ничего не нашли, им надоело, и они возвращаются домой. Влезем снова на наш насест и дадим им пройти мимо.

Мы опять полезли вверх. Король прислушался и сказал:

— Они все еще ищут. Нам лучше остаться здесь.

Он был прав. Он больше смыслил в охоте, чем я. Шум погони постепенно приближался и приближался. Король сказал:

— Они сообразили, что мы где-то вблизи, так как мы движемся пешком и не можем уйти далеко от воды.

— Да, государь, боюсь — ты прав, хотя я надеялся, что все обойдется.

Шум все приближался, и скоро авангард опять прошел мимо нас, по обоим берегам ручья. Чей-то голос крикнул с другого берега:

— Они люди умные и могли влезть на дерево вот по этой ветке, не коснувшись земли. Хорошо бы послать туда человека.

— Черт возьми, так мы и сделаем!

Я порадовался своей предусмотрительности. Мы хорошо сделали, перебравшись на соседнее дерево. Но разве вы не знаете, обо что разбивается любая предусмотрительность? О человеческую тупость. Первый фехтовальщик в мире может не бояться второго фехтовальщика в мире, — он должен бояться невежды, который никогда не держал шпаги в руках: невежда делает как раз не то, что следует сделать, невежда делает как раз то, чего не следует делать; и опытный фехтовальщик будет побежден. Ну мог ли я, при всех моих дарованиях, предвидеть, что этот близорукий,

косой глупый шут ошибется и полезет не на то дерево, на которое его послали? А он именно так и сделал. И дерево, выбранное им по ошибке, оказалось именно тем, на которое нужно было лезть, и он полез.

Положение было серьезное. Мы не шевелились и ждали, что будет дальше. Крестьянин с трудом карабкался все выше. Король привстал; он нацелился ногой и, как только голова пришельца приблизилась настолько, что до нее можно было достать, раздался глухой стук, и крестьянин упал на землю. Гневный вопль донесся снизу, толпа сбилась в кучу вокруг дерева. Мы были окружены, мы стали пленниками. К нам полез другой человек; ветка, служившая нам мостиком, была обнаружена, и какой-то доброволец полез на дуб, чтобы по ней добраться до нас. Король приказал мне охранять мост, подобно Горацию. Враги появлялись то с одной стороны, то с другой, но на головы их поочередно обрушивались удары, и они скатывались на землю. Король воспрянул духом, и радость его была безгранична. Он уверял, что мы отлично проведем ночь, потому что, придерживаясь подобной тактики, мы можем отстоять наше дерево от всей округи.

Нападающие и сами поняли это; они прекратили штурм и принялись обсуждать другие планы. Оружия у них не было, но камней сколько угодно, а камни могли пригодиться. Пожалуйста, мы не возражали. Один какой-нибудь камень долетит до нас, но и это маловероятно. Мы были хорошо защищены ветвями и листьями и невидимы снизу. Если они потратят на метание камней полчаса, к нам на помощь придет темнота. Мы были довольны. Мы могли улыбаться, даже хохотать.

Но мы не смеялись, и хорошо сделали, потому что смеяться нам пришлось бы недолго. Не прошло и четверти часа после начала бомбардировки, как мы ощутили какой-то странный запах. Достаточно было раза два втянуть в себя воздух, чтобы убедиться, что это запах дыма. Наша игра была проиграна! Мы этого не отрицали. Когда приглашение подкрепляется доброй порцией дыма, его нужно принять. Осаждающие навалили вокруг дерева груды сухого хвороста и, увидев, что

густое облако дыма окутало ствол и поползло вверх, огласили воздух радостными кликами. Задыхаясь, я сказал:

— Вперед, повелитель; подданные всегда идут позади.

Король проговорил:

— Следуй за мной вниз. Ты прислонишься к стволу с одной стороны, а я с другой. И примем бой. Пусть каждый из нас сражается как хочет и как умеет, лишь бы вокруг росла гряда мертвых тел.

Он спускался, бранясь и кашляя, я за ним. Я коснулся земли мгновением позже, чем он. Мы заняли заранее намеченные места и принялись отражать и наносить удары. Натиск был бешеный, подобный урагану. Внезапно несколько всадников ворвалось в толпу и чей-то голос прогремел:

— Остановитесь, или все вы будете убиты!

Как сладостны были эти слова! Говоривший обладал всеми несомненными признаками дворянина: пышной и дорогой одеждой, властным, суровым лицом, черты которого носили следы распутной жизни. Толпа униженно отхлынула, как собачья стая. Дворянин осмотрел нас критически, затем резким голосом спросил крестьян:

— Что вы делали с этими людьми?

— Они сумасшедшие, благородный сэр, они пришли неизвестно откуда и...

— Неизвестно откуда? Вы притворяетесь, что вы их не знаете?

— Благороднейший сэр, мы говорим правду. Они нездешние, и никто их здесь не знает; это самые свирепые и кровожадные сумасшедшие, которые когда-либо...

— Тише! Ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Они вовсе не сумасшедшие. Кто вы? Откуда вы? Объясните.

— Мы мирные странники, сэр, — сказал я, — и путешествуем по своим делам. Мы из далекой страны и никому тут не известны. Мы не сделали ничего плохого; однако если бы не твое отважное вмешательство и покровительство, эти люди убили бы нас. Ты прав, сэр, мы не сумасшедшие; мы не свирепы и не кровожадны.

Дворянин обернулся к своей челяди и сказал спокойно:

— Загоните этих псов в их конуры.

Толпа рассеялась мгновенно; за ней погнались всадники, хлеща бичами и давя копытами тех, которые бежали по дороге, не догадываясь свернуть в кусты. Крики замерли в отдалении, и всадники вскоре стали возвращаться. Тем временем дворянин продолжал допрашивать нас, но ничего не добился. Мы благодарили его за услугу, но продолжали повторять, что мы чужестранцы и друзей здесь не имеем. Когда свита вернулась, дворянин сказал одному из своих слуг:

— Приведи вьючных лошадей и посади на них этих незнакомцев.

— Слушаю, мой лорд.

Нас поместили в конце каравана, между слугами. Мы двигались быстро и вскоре, после того как стемнело, остановились на постоялом дворе у большой дороги, милях в десяти — двенадцати от места, где нас постигло столько неприятностей. Милорд немедленно удалился в отведенную ему комнату, заказав себе ужин, и мы больше его не видели. На рассвете мы позавтракали и приготовились ехать дальше.

Камердинер милорда подошел к нам с непринужденным изяществом и сказал:

— Вы говорили, что путь ваш лежит в ту же сторону, что и наш, поэтому господин мой граф Грип приказал нам предоставить вам этих коней и проводить вас до ближайшего города, который лежит отсюда в двадцати милях и называется Камбенетом, где вы будете в безопасности.

Нам оставалось только выразить свою благодарность и принять предложение. Мы поехали вшестером неторопливой, неумолимой рысью и по дороге из разговора с нашими спутниками узнали, что милорд Грип очень важный вельможа в своем краю и что владения его лежат на расстоянии дня пути от Камбенета. Мы двигались так лениво, что было уже позднее утро, когда мы въехали на рыночную площадь города. Мы слезли с коней, приказав еще раз поблагодарить милорда, и приблизились к толпе, собравшейся посреди

площади, посмотреть, что вызвало ее любопытство. Оказывается, это были остатки того каравана невольников, который мы встретили несколько дней назад!.. Значит, все это время они волокли свои цепи по пыльным дорогам. Несчастливого мужа не было уже между ними, как и многих других; зато прибавилось несколько новых лиц. Король был равнодушен к этому зрелищу и хотел уйти, но я был глубоко им взволнован и полон жалости. Я не мог глаз оторвать от этих убогих человеческих обломков. Они сидели кучками на земле, безмолвные, не жалуясь, с опущенными головами, бесконечно трогательные в своем унижении. И, как бы нарочно для контраста, в тридцати шагах, перед другой кучкой, напыщенный оратор произносил речь, превознося «наши великие британские вольности»!

Я вскипел. Я забыл, что я плебей, я помнил только, что я человек. Пусть будет что будет, но я влезу на эту трибуну и... Щелк! — нас с королем сковали вместе наручниками! Это сделали наши спутники, слуги графа; милорд Грип стоял тут же и смотрел на нас. Король пришел в бешенство и крикнул:

— Что означает эта шутка дурного тона?

Милорд холодно произнес, обращаясь к своему главному холою:

— Выставь этих рабов и продай их!

Рабов! В этом слове на этот раз был особый привкус, и какой страшный! Король поднял свои скованные руки и с бешеной силой занес их над головой милорда; но милорд успел увернуться от удара. Дюжина слуг этого мерзавца кинулась на нас, и через мгновение мы были уже беспомощны, со скрученными позади руками. Но мы так громко и горячо заявляли, что мы свободные люди, что привлекли к себе внимание свободолюбивого оратора и его патриотических слушателей, и они обступили нас. Оратор сказал:

— Если вы действительно свободные люди, вам нечего бояться. Богом данные британские вольности послужат вам щитом и охраной. (Аплодисменты.) Вы в этом сейчас убедитесь. Представьте доказательства.

— Какие доказательства?

— Доказательства, что вы свободные люди.

О, вдруг я вспомнил! Я пришел в себя; я не сказал ничего. Но король загремел, как буря:

— Ты не в своем уме! Пусть этот вор и подлец докажет, что мы не свободные люди.

Он знал свои законы, но знал, как обычно знает большинство: букву закона, а не закон в действии. Закон надо испытать на себе, чтобы понять его настоящее значение.

Все разочарованно покачали головами, многие отвернулись, потеряв к нам интерес. Оратор сказал — и на этот раз деловито, а не торжественно:

— Если вы не знаете законов своей страны, пора вам с ними познакомиться. Для нас вы люди чужие, вы не станете этого отрицать. Быть может, вы свободные люди, мы этого не отрицаем; но, быть может, вы рабы. Закон ясен: он не требует от рабовладельца доказательств, что вы рабы, он требует от вас доказательств, что вы не рабы.

Я сказал:

— Дорогой сэр, дай нам время послать в Астолат или дай нам время послать в Долину Святости...

— Успокойся, добрый человек, ты ставишь чрезмерные требования и не можешь надеяться, что они будут выполнены. Это заняло бы слишком много времени и доставило бы слишком много хлопот вашему господину...

— Господину, идиот! — заревел король. — У меня нет господина, я сам гос...

— Молчи, ради бога!

Я вовремя остановил короля. И без того достаточно бед обрушилось на нас; мало было бы проку, если бы эти люди пришли к убеждению, что мы помешанные.

О подробностях распространяться не стоит. Граф продал нас с публичного торга. Тот же самый проклятый закон существовал на нашем Юге в мое время, более тринадцати столетий спустя; и в силу этого закона сотни свободных людей, которые не имели доказательств, что они свободные люди, были проданы в рабство на всю свою жизнь, и тогда меня это не особенно волновало. Но когда я испытал на себе самом, что значит быть проданным с публичного торга, закон этот

внезапно показался мне гнусным. Что поделаешь, так уж мы созданы.

Да, нас продали с публичного торга, как свиней. В большом городе и на людном рынке за нас дали бы хорошую цену; но тут было страшное захолустье, и нас купили так дешево, что мне даже стыдно вспомнить об этом. Король Англии пошел за семь долларов, а его первый министр за девять; между тем за короля можно было дать двенадцать долларов, а за меня все пятнадцать. Но так бывает всегда: если рынок плох, какой бы хороший товар вы ни предлагали, вы очень мало на нем наживете; и я советую вам помнить об этом. Если бы у графа хватило ума, чтобы...

Впрочем, не мне огорчаться, что он так плохо ведет свои дела. Я показал вам, что он за человек, и черт с ним!

Работоторговец купил нас обоих и приковал нас к общей цепи, так что мы оказались в хвосте процессии. В полдень мы уже выходили из города, и мне казалось диким и странным, что король Англии и его первый министр, скованные по рукам и ногам, шагают в караване невольников, не вызывая никакого внимания к себе среди праздных зрителей, и проходят под окнами, у которых сидят прелестные и добрые женщины, не внушая им не только сочувствия, но даже любопытства. В конце концов это только доказывает, что в короле нет ничего божественного, что он ничем не отличается от любого бродяги, пока вы не знаете, что он король. Но скажи вам это, и, боже мой, у вас захватывает дух, когда вы на него смотрите. Да, все мы дураки. Дураки от рождения.

Глава XXXV

ПЕЧАЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Мир полон превратностей. Король впал в мрачное раздумье, и это было вполне естественно. Вы, конечно, думаете, что он размышлял о своем необычайном падении, о том, как он утратил свое высокое положение,

как из всемогущего превратился в униженного, из знатного в безвестного, о том, как из самого великого человека в мире стал самым ничтожным. Нет, клянусь, не это мучило его больше всего, а мучила его мысль о том, как дешево он был продан. Не думал король, что будет стоять всего только семь долларов! Узнав, какие мысли его мучат, я был так поражен, что едва поверил: мне это показалось неестественным. Но когда в голове у меня прояснилось и я снова мог правильно смотреть на вещи, я понял, что ошибся: это было вполне естественно. И в самом деле: король — понятие искусственное, и потому его ощущения как короля были не настоящими, а искусственными, словно у заводной куклы. Но человек он был настоящий, настоящими были и его человеческие ощущения, а обыкновенному, среднему человеку как-то неприятно и совестно, когда его ценят ниже, чем он себя оценивает, а король, конечно, несколько не был выше среднего человека.

Проклятие! Он так надоел мне, доказывая, что на настоящем рынке за него дали бы никак не меньше двадцати пяти долларов, — это было полнейшей нелепицей и ерундой, наглым самомнением. Да я сам столько не стоил! Однако вопрос это щекотливый, и я дипломатически решил не возражать. Пришлось пойти против совести и смело подтверждать, что именно двадцать пять долларов он и стоил бы. А сам я между тем был твердо убежден, что с сотворения мира до сего дня не было короля, который стоил бы и половины этой суммы, а в последующие тринадцать веков за него не дали бы и четверти. Да, он надоел мне. О чем бы он ни говорил — о погоде, об урожае, о политике, о собаках, кошках, нравственности, богословии, — я только вздыхал, зная, что всякий разговор он неизбежно сведет к этим злосчастным семи долларам. Стоило нам остановиться где-нибудь в людном месте, он бросал на меня красноречивый взгляд, ясно говоривший: здесь за меня дали бы настоящую цену. Когда его продавали за семь долларов, я, признаться, вначале даже позлорадствовал. А теперь он так надоел мне своим нытьем, что я был бы счастлив, если бы за него дали сто. Но

надежды на это не было, ибо нас каждый день осматривали всевозможные покупатели и большей частью так отзывались о короле:

— Этому болвану и вся цена-то два с половиной доллара, а чванливости у него на тридцать пять. Жаль, что чванство ничего не стоит!

В конце концов подобные замечания не довели до добра. Наш владелец был человек практичный и смекнул, что этот недостаток надо выбить из короля, если надеешься найти на него покупателя. И он принялся выбивать чванство из его священной особы. Я мог бы дать этому человеку дельный совет, но решил смолчать: полезешь с советами к торговцу невольниками и только повредишь делу. Сам я потратил немало труда, переделывая короля в простого крестьянина, а ведь тогда король был послушным и старательным учеником. Но силой заставить его изменить королевскую осанку на рабскую было почти невозможно. Не будем говорить о подробностях — можете сами себе их вообразить. Скажу только, что к концу недели бич, дубина и кулак сделали свое дело, и тело короля представляло печальное зрелище, над которым стоило поплакать. А дух его? О, духом он и не дрогнул! Даже этот олух работорговец вынужден был убедиться, что иной раз и раб остается человеком до самой смерти и что ему можно переломать кости, но нельзя сломить дух. В конце концов работорговец увидел, что все усилия напрасны, что король одержал верх над ним, и оставил его в покое. Дело в том, что король был больше, чем просто король, — он был человек, а из настоящего человека человеческие свойства не выбьешь.

С месяц нам жилось очень трудно: мы скитались по всяким местам и натерпелись всего. И кто во всей Англии больше всего интересовался вопросами рабства в это время? Его величество король. Да. Насколько раньше он был равнодушен к этому вопросу, настолько теперь этот вопрос волновал его. Никогда в жизни я не встречал большего ненавистника рабства. И я решил задать ему вопрос, который задал несколько лет тому назад и на который получил такой резкий ответ,

что больше не решался касаться его: не считает ли он нужным упразднить рабство?

Ответ его был так же резок, как и прежде, но прозвучал музыкой для меня, хотя богохульствовал король довольно неуклюже и бранное слово оказалось посередине фразы, а не в конце, где ему надлежало быть. Но другого я и не желал бы услышать.

Теперь и я стал подумывать о свободе. Раньше я о ней не думал, — не то, что не думал, — нет, я желал ее, но считал, что не стоит делать бесполезных попыток, и даже отговаривал короля. Но теперь — о, теперь все было по-иному! Любой ценой готов был я заплатить за свободу. Я разработал план действий, и сам пришел от него в восторг. Но для этого надо было запастись временем и терпением. Конечно, можно было придумать не менее верный и более быстрый способ, но нельзя было придумать более красочного и драматичного. И потому я решил не отказываться от своего плана, хотя он мог затянуть наше освобождение на месяцы.

Не обходилось и без приключений. Однажды нас застигла снежная буря в миле от селения, куда мы направлялись. В одно мгновение нас словно туманом окутало — так густ был снегопад. Не видно было ни зги, и мы вскоре заблудились. Работорговец, предвидя убытки, нещадно хлестал нас бичом, но это только ухудшало дело, так как бич его все дальше и дальше уводил нас от дороги, а тем самым от какой-либо помощи. В конце концов мы завязли в снегу и вынуждены были остановиться. Буран бушевал до полуночи, а потом стал утихать. К этому времени двое из слабейших мужчин и три женщины умерли. Остальные были чуть живы и едва могли двигаться. Наш хозяин был вне себя. Усиленно помогая себе кнутом, он заставлял нас подыматься, щипать и шлепать себя, чтобы восстановить кровообращение.

Вдруг послышались крики и вопли, и, рыдая, к нам подбежала женщина с двумя маленькими девочками. Она упала на колени, моля о защите. За ней гналась толпа с факелами, крича, что это ведьма, что она насылает падеж на коров и ей помогает сам дьявол в

образе кошки. Бедная женщина была так окровавлена, так избита камнями, что почти утратила человеческий облик. И теперь ее хотели сжечь.

И как, вы думаете, поступил наш хозяин? Когда мы столпились вокруг несчастной, чтобы защитить ее, он быстро смекнул, в чем дело. Он сказал, что выдаст ее только в том случае, если они тут же сожгут ее. Вы только представьте себе! И те согласились. Они привязали ее к столбу, обложили хворостом и подожгли. А она кричала и молила, прижимая к груди своих маленьких дочек. И наш жестокосердный хозяин, думающий только о выгоде, велел нам обступить костер и согреваться тем самым огнем, который унес жизнь несчастной невинной матери, покуда мы снова не ожили и не вернули себе утраченной рыночной стоимости. Вот какой у нас был хозяин! Я взял его на заметку.

Этот снежный буран стоил ему десяти невольников. И после этого в течение многих дней он обращался с нами еще свирепее, чем прежде, так был взбешен своей потерей.

Приключение следовало за приключением. Однажды мы наткнулись на шествие. И какое! Казалось, тут собрались подонки со всего королевства, да к тому же все эти оборванцы были вдребезги пьяны. Впереди ехала телега, на которой стоял гроб, а на нем сидела миловидная женщина лет восемнадцати, кормившая грудью ребенка. Она то и дело прижимала его к себе и вытирала с его личика слезы, капавшие из ее глаз. А глупое дитя только счастливо улыбалось, цепляясь за материнскую грудь пухлой, в ямочках, ручонкой, и несчастная мать гладила и ласкала его.

Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, приплясывая, с гиканьем бежали возле телеги, богохульствуя и сквернословя, распевая непристойные песни, — это было отвратительное зрелище, настоящий праздник демонов. Мы достигли уже стен и предместий Лондона. Наш хозяин раздобыл нам хорошее местечко возле самой виселицы. Священник уже ждал здесь, он помог женщине взобраться на помост, говоря ей всякие слова утешения, и велел помощнику шерифа достать для нее табурет. Потом сам стал на эшафот возле нее, не-

сколько мгновений глядел на плотную толпу у своих ног, на множество обращенных к нему лиц и начал рассказывать историю несчастной. И в голосе его звучала жалость, — как редко звучала жалость в этой дикой, невежественной стране! Я помню малейшую подробность в его рассказе, только не помню слов его и потому расскажу своими словами.

«Закон должен быть справедливым. Иногда он ошибается. Но ничего не поделаешь. Мы можем только покоряться, сокрушаться и молиться за душу тех, кого неправильно покарал закон, и желать, чтобы таких было поменьше. Закон осудил на смерть это бедное юное создание — и закон прав. Но другой закон вынудил ее либо совершить преступление, либо умереть с голода вместе со своим ребенком — и такой закон отвечает перед богом и за ее преступление, и за ее позорную смерть!

Совсем еще недавно это юное создание, это восемнадцатилетнее дитя было счастливейшей женой и матерью в Англии. На устах ее всегда звенела песня, — песня, язык счастливых и невинных сердец! Юный супруг ее был так же счастлив, как и она. Выполняя свой долг, зарабатывая кусок хлеба, он честно трудился с утра до ночи, был опорой и защитой семьи и вносил свою лепту в благосостояние нации. Но коварный закон в одно мгновение разрушил этот священный очаг. Молодого супруга поймали, заклеямили и усадили в море. Жена ничего об этом не знала. Она повсюду разыскивала его, трогая самые жестокие сердца своими мольбами, красноречиво говорившими об ее отчаянии. Тянулись недели, она разыскивала его, ждала, надеялась, но понемногу рассудок ее мешался от горя. Мало-помалу все ее небольшие сбережения были прожиты. Когда ей нечем стало платить за аренду, ее выгнали на улицу. Она просила милостыню, покуда у нее хватало сил. В конце концов у нее от голода пропало молоко, и тогда она украла кусок холста ценой в четверть цента, надеясь продать его и спасти свое дитя.

Но владелец холста поймал ее. Ее бросили в тюрьму и предали суду. Владелец под присягой подтвердил факт покражи. Ей дали защитника, и для смягчения

приговора была рассказана ее грустная история. Она тоже получила слово и рассказала, как украла холст, потому что рассудок ее с горя помутился, и когда голод овладел ею, она перестала понимать, хорошо или дурно поступает, сознавая только одно — что ужасно голодна. Вначале все были растроганы и склонны проявить милосердие, видя, что она так молода и одинока, так достойна сожаления, что единственный виновник, который толкнул ее на преступление, был закон, лишивший ее опоры. Тут возразил обвинитель, сказав, что хотя все это верно и весьма достойно сожаления, но за последнее время так участились мелкие кражи, что нехоти проявленное милосердие послужило бы угрозой собственности, — о боже, неужели для британского закона разоренный домашний очаг, осиротевшие дети, разбитые сердца совсем не имеют никакой ценности и разве не нужно их охранять? — и потому он вынужден требовать наказания.

Когда судья надел свою черную шапочку и произнес роковые слова, владелец украденного холста поднялся, дрожа, с трясущимися губами, с лицом, посеревшим, словно пепел, и воскликнул:

— О, бедное дитя, бедное дитя! Я не знал, что это грозит ей смертью! — и рухнул, как подрубленное дерево.

Когда его подняли, он лишился рассудка, и не успело зайти солнце, как он покончил с собой. Хороший человек, — человек, у которого было настоящее сердце! Прибавьте его смерть к тому, что здесь происходит, и пусть за это несут ответственность те, кому следует, — правители и жестокие законы Британии.

Настало время, дитя мое. Дай я помолюсь над тобой, — не за тебя, бедное, униженное и невинное сердце, а за тех, кто виновен в твоей гибели и смерти, им нужнее моя молитва».

После молитвы на ее юную шейку накинута петля, но им немало пришлось повозиться, чтобы завязать веревку, так как она все время прижимала ребенка к своей груди, к лицу, страстно целовала его и обливала слезами, все время не то рыдая, не то вскрикивая, а ребенок восторженно смеялся и дрыгал ножками,

думая, что с ним играют. Даже палач не мог этого вынести и отвернулся. Когда все было готово, священник ласково, но настойчиво взял ребенка из рук матери и стал поспешно спускаться с помоста. Она всплеснула руками и с воплем бешено рванулась к нему. Но веревка и помощник шерифа крепко держали ее. Тогда она упала на колени и, простирая руки, стала молить:

— Еще один поцелуй! О боже, еще один, еще один, это мольба умирающей!

Ей дали ребенка. Она чуть не задушила малютку. И когда ребенка снова отняли, она закричала:

— О мое дитя, мое ненаглядное дитя, оно умрет! У него нет ни дома, ни друзей, ни отца, ни матери!

— Все есть у него, — сказал добрый священник. — Я заменю ему всех, куда жив.

Видели бы вы ее лицо в это мгновение! Благодарность? Нельзя словами описать его выражения. Слова — все равно что нарисованное пламя. А во взоре ее было пламя живое. Она бросила пламенный взор и унесла его с собой в сокровищницу небес, где и надлежит быть всему неземному.

Глава XXXVI

ВСТРЕЧА ВО МРАКЕ

Лондон для раба был довольно любопытным городом. То есть не городом, а громадной деревней, полной соломы и грязи. Улицы были кривые, немощеные, грязные; население — вечно снующая толпа — и в лохмотьях, и в шелках, в колышущихся перьях и блестящих доспехах. В Лондоне у короля был дворец. Он издали заметил его, взглянул и слегка выругался — неопытно, по-ребячески, как ругались в шестом веке. Мы увидели знакомых рыцарей и вельмож, но нас, в синяках, лохмотьях и грязи, они не узнавали, — не узнали бы, если бы мы и окликнули их, не остановились бы, чтобы ответить нам, так как не имели права разговаривать с прикованными к цепи рабами.

В десяти ярдах от меня проехала Сэнди — возможно, разыскивая меня. Но окончательно убило меня то, что произошло на площади против нашего старого барака, — там заживо варили в масле фальшивомонетчика, и вдруг показался газетчик; и я не смел окликнуть его! Одно утешало меня: видимо, Кларенс жив и действует. Я твердо решил, что мы с ним скоро будем вместе, и эта мысль несказанно ободрила меня.

Очень ободрило меня и то, что я как-то заметил проволоку, натянутую между домами. Это, несомненно, был телеграф или телефон. Мне страстно захотелось получить кусочек такой проволоки. Она была необходима для осуществления моего плана бегства. План состоял в том, чтобы как-нибудь ночью освободить себя и короля, связать хозяина и, заткнув ему рот, переменить с ним одеждой, избить его до неузнаваемости, приковать к цепи рабов, стать владельцем невольников, отправиться в Камелот и...

Но вы поняли мой план. Вы видите, какой потрясающий драматический сюрприз готовил я двору. Все это было бы осуществимо, достать бы только кусочек железной проволоки, из которой можно сделать отмычку. Тогда я мог бы отпереть замки, которыми были скованы наши цепи. Но мне ужасно не везло — ни разу не попалось ни кусочка. И вдруг подвернулся удобный случай. Джентльмен, уже два раза приходивший торговать меня, но безуспешно, пришел опять. Я знал, что он не купит меня, так как мой хозяин с самого начала заломил за меня непомерную цену, вызывавшую негодование и насмешки, и упорно стоял на своем. Он хотел за меня двадцать два доллара и не уступал ни цента. Могучим сложением короля восхищались, но не покупали из-за его королевской осанки; такие рабы никому не нужны. Я был уверен, что не расстанусь с ним, так как за меня просили слишком дорого. Нет, я не рассчитывал, что мною завладеет джентльмен, о котором я упоминал, а интересовал он меня вот почему: у него было нечто, чем я решил завладеть, если он будет часто наведываться к нам, — длинная стальная булавка, которой он скалывал спереди свой суконный плащ. Таких булавок у него было три. Два раза у меня

все срывалось, так как он недостаточно близко подходил ко мне. Но раз мне повезло: я вытащил у него самую нижнюю, а он, заметив пропажу, наверно решил, что потерял эту булавку.

Я очень обрадовался, но радость моя была непродолжительна. Когда сделка, как всегда, опять не состоялась, хозяин внезапно сказал то, что на современном английском языке обозначало бы следующее:

— Я вам скажу, что я хочу сделать. Мне надоели эти два никуда не годных раба. Дайте мне двадцать два доллара за одного, и я вам дам другого в придачу.

У короля от негодования сперло дыхание. Он начал давиться и кашлять, а тем временем хозяин и джентльмен продолжали разговор:

— Если у меня будет время подумать...

— Завтра в этот час вы мне дадите ответ.

— Хорошо, завтра в это самое время я вам отвечу, — сказал джентльмен и удалился, за ним ушел и хозяин.

Я воспользовался этим, чтобы успокоить короля, и шепнул ему на ухо:

— Ваше величество будете отданы даром, но не так, как они думают. Этой ночью мы оба освободимся.

— О! Освободимся?

— С помощью вот этой штуки, которую я стащил, я ночью отопру оковы и сброшу их. Когда в половине десятого хозяин придет проверить нас на ночь, мы схватим его, заткнем ему рот, избьем его и рано утром уйдем из этого города владельцами каравана невольников.

Это все, что я сказал, но король был восхищен и доволен. Вечером мы терпеливо ждали, когда наши собратья-невольники заснут. Нельзя было полагаться на этих бедняг, да и вообще лучше про себя держать свои тайны. Они, конечно, возились не дольше, чем обычно, но мне казалось, что они бесконечно копаются. Мне казалось, что я никогда не дождусь обычного храпа. Время шло, и я стал нервничать, боясь, что не успею проделать всего. Но мои преждевременные попытки только затягивали дело: стоило в этой тьме дотронуться до оков, как они начинали греметь, кто-

нибуть просыпался, принимался ворочаться и будил остальных.

Но в конце концов мне удалось снять оковы, и я снова был свободным человеком. Я глубоко и облегченно вздохнул и потянулся к оковам короля. Увы, слишком поздно: к нам шел хозяин со свечой в одной руке, держа в другой тяжелую дубину. Я плотно прижался к спящим, стараясь по возможности скрыть, что я без оков, в то же время я зорко следил за каждым его движением, готовый вскочить и броситься на него, чуть он приблизится.

Но он не подошел. Он остановился и с минуту рассеянно глядел на темную массу невольников, видимо о чем-то размышляя. Потом задул свою свечу, задумчиво направился к выходу и, прежде чем я мог сообразить, как он намерен поступить, вышел и затворил за собой дверь.

— Живо! — сказал король. — Верни его!

Разумеется, это необходимо было сделать, и я мгновенно вскочил и бросился за ним. Но, бог мой, ведь в то время не было уличных фонарей, а ночь была темная. Все же в нескольких шагах от себя я разглядел какую-то фигуру. Я бросился на нее, и вот тут-то началась потеха! Мы боролись и колотили друг друга. Мгновенно собралась толпа. Зрители проявляли необычайный интерес к борьбе, добродушно и весело подбадривая нас. Внезапно позади завязалась другая бурная драка, и добрая половина наших зрителей кинулась сочувствовать туда. Фонари замелькали по всем направлениям — это стража спешила со всех сторон. Меня стукнули алебардой по спине, и я понял, что произошло: я был арестован. Мой противник тоже. Нас под стражей повели в тюрьму. Вот горе! Весь мой тонко задуманный план погиб. Я пытался вообразить себе, что будет, когда хозяин увидит, кто дрался с ним, и что будет, когда нас вместе посадят в тюрьму, в камеру к буянам и мелким жуликам, и что будет...

Внезапно мой противник повернулся ко мне лицом, пятнистый свет фонаря стражника упал на него, и — клянусь святым Георгием! — это был не хозяин,

УЖАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Уснуть? Невозможно. Как уснуть в этом шумном вертепе, битком набитом пьяницами, ссорящимися и горланящими бездельниками! И еще не мог я уснуть оттого, что мучительно хотел вырваться отсюда и подробно узнать, что произошло в далеком невольничьем бараке из-за моего ужасного промаха.

Ночь казалась бесконечной, но все же утро наступило. На суде я дал исчерпывающие показания. Я сказал, что я невольник знатного графа Грипа, который накануне с наступлением темноты прибыл в селение Тобард на том берегу реки и вынужден был там заночевать вследствие приступа какой-то странной болезни. Меня послали в город, чтобы поскорее привезти лучшего врача. Я старался изо всех сил и, конечно, мчался во всю мочь. Ночь была темная, и я налетел на этого дуралея, который схватил меня за глотку и принялся тузить, хотя я умолял его отпустить меня ради спасения жизни моего знатного господина.

Дуралей перебил меня, уверяя, что все это ложь, и стал объяснять, как я ни с того ни с сего бросился на него.

— Молчи, плут! — сказал судья. — Уведите его и дайте ему несколько палок, чтобы он в другой раз знал, как обращаться со слугой знатного господина.

Потом судья извинился передо мной и выразил надежду, что я доложу его сиятельству о том, что суд отнюдь не виновен в этом возмутительном происшествии. Я обещал все уладить и направился к выходу. И как раз вовремя: судья начал расспрашивать меня, почему я не рассказал все это при аресте. Я ответил, что сказал бы, если бы мог соображать в то время, но этот человек выколол рассудок из меня, и так далее, и так далее, и выскочил за дверь, все еще бормоча себе что-то под нос.

Я не стал дожидаться завтрака. Я ног под собой не чувял — и скоро был в невольничьем бараке. Пусто — все исчезли. Вирочем, за исключением хозяина. Он

лежал тут же, избитый до смерти, до неузнаваемости изуродованный.

И все вокруг носило следы жестокой битвы. На тележке возле дверей стоял грубо сколоченный гроб, и гробовщик с помощью полицейского пробивал себе дорогу сквозь толпу зевак, чтобы положить тело в гроб.

Я выбрал человека, достаточно скромного, чтобы снизойти до разговора с таким оборванцем, как я, и спросил, что тут произошло.

— Шестнадцать невольников ночью взбунтовались против своего хозяина, и вот видишь, чем все кончилось.

— Да. Но как это началось?

— Кроме рабов, здесь не было свидетелей. Они говорят, что самый ценный невольник освободился от своих оков и исчез таинственным образом — с помощью колдовства, надо думать, так как ключа у него не было, а замки оказались целы. Обнаружив потерю, хозяин от горя пришел в бешенство и стал колотить остальных своей тяжелой дубиной, а те, сопротивляясь, так исполосовали ему спину, что ему быстро пришел конец.

— Ужасно. И, конечно, плохо придется невольникам на суде.

— Да суд уже был.

— Уже был?

— Неделью, что ли, ему тянуться? Дело ведь простое. Достаточно и пяти минут, чтобы разобраться в таком деле.

— Не понимаю, как в такое короткое время можно было решить, кто виноват?

— Кто виноват? Да судьи особенно и не разбирались в этом. Осудили всех гуртом. Не знаешь, что ли, закона? Говорят, еще со времен римлян остался: если один из рабов убьет хозяина, все рабы должны умереть.

— Верно. Я позабыл. А когда их казнят?

— Через двадцать четыре часа. Хотя некоторые говорят, что подождут еще депька два: вдруг случайно найдут сбежавшего.

— Сбежавшего? — Мне стало не по себе. — А найдут ли его?

— Ну, ясно — найдут еще до наступления ночи. Его разыскивают повсюду. У городских ворот поставили стражу и невольников, которые узнают его, если он появится, и никого без осмотра не выпускают.

— А можно взглянуть, куда заперли остальных?

— Снаружи можно. А внутри — да ты сам не захочешь смотреть.

Я взял адрес тюрьмы и побрел. В глухом переулке, в первой попавшейся лавке старьевщика я приобрел грубую одежду моряка, а лицо повязал платком, сославшись на то, что у меня болят зубы. Повязка скрыла мои синяки. Я совсем преобразился. Я больше не походил на себя. Потом разыскал проволоку и пошел вдоль нее до того места, откуда она начиналась. Она выходила из крохотной комнатки над лавкой мясника — видимо, телеграфное дело не очень-то еще процветало. Юный служащий дремал над столом. Я запер дверь и положил громадный ключ себе за пазуху. Молодой человек встревожился и хотел позвать на помощь. Но я сказал:

— Побереги себя. Если ты раскроешь рот, ты — покойник. За работу! Живо! Вызови Камелот.

— Не верю! Как может такой человек, как ты, разбираться в...

— Вызови Камелот. Я человек отчаянный. Вызови Камелот или отойди прочь, и я сам вызову.

— Что? Ты?

— Заткнись! Вызови дворец.

Он вызвал дворец.

— Позови к аппарату Кларенса.

— Кларенса? Как его фамилия?

— Тебе нет дела, как его фамилия. Говорят тебе: позови Кларенса, и тебе ответят.

Он подчинился. Прошло пять минут... десять минут мучительного ожидания, нервного напряжения. Как долго! Затем стук, который я сразу узнал, как узнают знакомый человеческий голос, ибо Кларенс был мой ученик.

— А теперь проваливай! Они там могли узнать меня, и поэтому я хотел, чтобы вызов сделал ты, но теперь я и сам справлюсь.

Он пустил меня на свое место и насторожил уши, но напрасно: я воспользовался шифром. Я не стал тратить времени на обмен любезностями с Кларенсом, а начал дело напрямик:

— Король здесь и находится в опасности. Нас захватили и продали в рабство. Мы не можем доказать, кто мы такие; положение мое таково, что я не решаюсь даже попробовать. Телеграфируй в здешний дворец, чтобы там мне поверили.

Он сразу ответил:

— В лондонском дворце не знают о существовании телеграфа: лондонская линия проведена только что. Лучше не рисковать. Чего доброго, они вас повесят. Придумай что-нибудь другое.

Нас повесят! Он даже не подозревал, как он близок к истине. Я ничего не мог придумать. Наконец меня осенило, и я телеграфировал:

— Вышли пятьсот отборных рыцарей с Ланселотом во главе; вышли их немедленно. Пусть они вступят в город через юго-западные ворота и разыщут человека с белой повязкой на правой руке.

Ответ был краток:

— Они выступят через полчаса.

— Отлично, Кларенс; теперь скажи здешнему молодому человеку, что я твой друг и сорвиголова и чтобы он был скромн и не болтал о моем посещении.

Аппарат заговорил с молодым человеком, а я поспешил уйти. Я стал высчитывать. Через полчаса будет девять часов. Рыцари и кони в тяжелых доспехах не могут двигаться очень быстро. Если не будет снега или грязи, они могут делать миль по семи в час; раза два им придется менять коней, — следовательно, они явятся к шести или немного позже, будет еще совсем светло; они заметят белую повязку, которой я обвяжу свою правую руку, и я приму над ними командование. Мы окружим тюрьму и выпустим короля. Все это получится достаточно эффектно и живописно, хотя я

предпочел бы, чтобы они явились в полдень, — тогда вышло бы еще театральнее.

Я всегда предпочитаю лук с запасными тетивами, а потому решил зайти к кому-нибудь из моих прежних знакомых. Это, пожалуй, помогло бы нам выпутаться из беды и без рыцарей. Но нужно быть осторожным, потому что дело это рискованное. Необходимо раздобыть подходящую одежду и, раздобывая ее, не торопиться. В одной лавке я куплю одежду бедняка, в другой — одежду человека среднего достатка; я буду переходить из лавки в лавку, пока не разоденусь в шелк и бархат и не стану похожим на себя прежнего. Так я и решил поступить.

Но план мой сразу провалился! За первым же углом я наткнулся на одного из наших рабов, бродившего по городу в сопровождении стражника. Как назло, я кашлянул; он взглянул на меня, и кровь застыла в моих жилах. «Раб, вероятно, припомнил, что уже слышал этот кашель», — подумал я. Я вбежал в лавку, остановился у прилавка, разглядывая товары, прицениваясь и в то же время поминутно посматривая через плечо за дверь. Раб и стражник, разговаривая, остановились перед дверью. Я решил удрать через черный ход, если только в этой лавке есть черный ход, и спросил лавочницу, нельзя ли мне выйти во двор посмотреть, нет ли там беглого раба, который, говорят, прячется где-то здесь на задворках; я пояснил, что я переодетый стражник и что товарищ мой стоит за дверью с одним из рабов, убивших своего хозяина. Я попросил ее выйти сказать ему, чтобы он не ждал напрасно, а поспешил бы на другой конец переулка и схватил бы беглеца, когда я выгоню его отсюда.

Лавочнице не терпелось взглянуть на одного из убийц, уже ставших знаменитыми, и она сразу же побежала выполнять мое поручение. Я выскользнул из лавки по черному ходу, запер за собою дверь, положил ключ в карман и пошел, посмеиваясь, очень довольный.

И все снова испортил, сразу же совершив ошибку. И не одну ошибку, а две. Много было способов удрать от полицейского — так нет же, мне понадобилось выбрать из них самый театральный; любовь к театраль-

ности — главный мой недостаток. Расчет мой был основан на том, что полицейский, будучи человеком, поступит самым *естественным* образом; но бывает, что как раз тогда, когда вы не ожидаете, человек поступает вовсе не самым естественным образом. Самым естественным на месте этого полицейского было бы преследовать меня по пятам; попытаться выломать запертую дубовую дверь, отделяющую его от меня; пока он будет ее выламывать, я уйду далеко и с помощью ряда успешных переодеваний превращусь в такого роскошного господина, что ни одна ищейка Британии не усомнится в моей чистоте и невинности. Но вместо того чтобы поступить естественно, полицейский поверил каждому моему слову и выполнил мое приказание. И как раз когда я выходил из тупика, очень довольный своим умом, он вынырнул из-за угла и встретил меня наручниками. Если бы я знал, что это тупик... но это не оправдание. Дело сделано и осталось только подсчитать прибыли и убытки.

Конечно, я негодовал, я клялся, что только что сошел с корабля после долгого плавания, стараясь сбить с толку раба. Но безуспешно: он узнал меня. Тогда я стал упрекать его, зачем он выдал меня. Это не столько обидело, сколько изумило его. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и сказал:

— Неужели ты думал, что я позволю тебе избежать виселицы? Тебе, из-за которого нас всех вешают? Поди ты!

Они говорили «поди ты» в тех случаях, когда мы сказали бы «не смей меня». Станные у них были выражения!

По-своему он был прав, и я не стал спорить. Я не люблю спорить, когда спор бесполезен. И я сказал:

— Тебя вовсе не повесят. Никого из нас не повесят.

Они оба захохотали, и раб ответил:

— Тебя прежде не считали дураком. Так постарайся сохранить свою репутацию, тем более что стараться осталось недолго.

— Моя репутация останется при мне. Еще до завтрашнего утра все мы выйдем из тюрьмы и будем свободны.

Мудрый полицейский поковырял пальцем у себя в ухе, прочистил горло и сказал:

— Да, из тюрьмы вы выйдете и будете свободны, но не здесь, а в подземном царстве дьявола.

Я сдержал свой гнев и равнодушно проговорил:

— Значит, ты действительно полагаешь, что нас повесят через день или два?

— Так я полагал еще несколько минут назад, ибо так было решено и объявлено.

— А сейчас ты полагаешь по-иному, не правда ли?

— Сейчас по-иному. Тогда я только полагал, а сейчас *знаю*.

Я насмешливо сказал:

— О премудрый служитель закона, снизойди до нас и открой, что же ты *знаешь*?

— Что вас всех повесят сегодня в три часа дня. Ого, как тебя зашатало! Обопрись на меня!

Мне действительно нужно было на что-нибудь опереться. Мои рыцари не успеют. Они опоздают по крайней мере на три часа. Ничто на свете не спасет короля Англии! Ничто на свете не спасет меня, хотя я еще необходимее короля. Необходимее не себе, а народу, — единственному народу, готовому вот-вот воспринять цивилизацию. Мне было дурно. Я молчал, мне больше нечего было сказать. Я понял, что имел в виду полицейский: если пропавший раб будет найден, отсрочка казни будет отменена, и казнь совершится сегодня. Ну вот, пропавший раб найден.

Глава XXXVIII

СЭР ЛАНСЕЛОТ И РЫЦАРИ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

Около четырех часов пополудни. Действие происходит возле стен Лондона. Прохладный, сладостный, восхитительный день, полный солнечного сияния; в такой день хочется жить, а не умирать. Кругом огромная, бесконечная толпа; но у нас, у пятнадцати висельников, в этой толпе нет ни одного друга. Как

хотите, а мне было больно при этой мысли. Все эти люди — наши враги, и мы, сидящие на высоком помосте, — мишень для их насмешек и злобных выходок. Мы — праздничное развлечение, спектакль. Для дворян соорудили нечто вроде лож, и они уже толпились там вместе со своими дамами. Мы многих из них узнали.

Король доставил толпе неожиданное развлечение. Когда с нас сняли оковы, он вскочил, в своих фантастических отрепьях, с неузнаваемым от синяков лицом, и провозгласил, что он Артур, король Британии, и угрожал всем присутствующим, если хоть волос упадет с его священной головы, ужасными наказаниями за измену. Как он был изумлен, когда в ответ ему грянул хохот! Оскорбленный в своем достоинстве, он сразу замолк, хотя толпа просила его продолжать, дразнила его мяуканьем, свистом и криками:

— Пусть говорит! Король! Король! Твои смиренные подданные алчут и жаждут мудрых речей твоего ободранного величества.

Но они ничего не добились. Величавый, он неподвижно сидел под градом насмешек и оскорблений. По-своему он был действительно велик. Рассеянно я снял с лица своего белую повязку и перевязал ею свою правую руку. Увидев это, толпа принялась за меня.

— А этот моряк, конечно, его министр, — посмотрите, какая у него перевязь через плечо!

Я не мешал им издеваться, пока им самим не надоело, а затем сказал:

— Да, я его министр, я — Хозяин; и завтра вы услышите об этом из Камелота, где...

Я не мог продолжать — так они хохотали. Но внезапно все стихло: появились шерифы Лондона в официальных одеяниях со своими помощниками, — это означало, что казнь сейчас начнется. В тишине было объявлено, в чем заключалось наше преступление, прочитан смертный приговор, затем все обнажили головы, и священник пробормотал молитву.

Потом одному из рабов завязали глаза; палач на-кинул ему веревку на шею. Между нами и толпой ле-жала дорога, хорошая пустынная дорога, охраняемая полицией, — как приятно было бы увидеть на ней пять-сот моих всадников! Но нет, это несбыточно. Взор мой скользил по дороге вдаль — нигде никого.

Миг — и раб уже болтался на веревке, — болтался и барахтался, так как руки его и ноги не были свя-заны.

Снова палач набросил петлю, и второй раб зака-чался на веревке.

Через минуту в воздухе барахтался уже третий раб. Это было ужасно. Я отвернулся. Когда я опять повер-нул голову, короля уже рядом со мной не было. Ему завязывали глаза. Я был точно парализован, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, что-то сдавило мне горло, язык не ворочался во рту. Ему завязали глаза и подвели под петлю. А я все еще не мог стряхнуть с себя страшного оцепенения. Но когда я увидел, что ему надевают петлю на шею, все перевернулось во мне, и я кинулся к нему на помощь. И вдруг я мельком взглянул на дорогу. Боже! По дороге мчатся пятьсот вооруженных рыцарей — на велосипедах!

Никогда еще не видел я столь величавого зрелища. Господи, как развевались их перья, как сияло солнце на стальных спицах колес!

Я махнул рукой Ланселоту, — он узнал меня по белой повязке. Я сорвал с короля петлю и повязку и крикнул:

— На колени, мерзавцы, и приветствуйте короля! А кто откажется, тот будет ужинать сегодня в аду!

Я всегда выражаюсь высоким стилем, когда гото-влю эффект. А приятно все-таки было, когда Ланселот и его ребята взошли на помост и пошвыряли шерифов и их приспешников за борт. Приятно было видеть, как изумленная толпа рухнула на колени и просила по-щады у короля, над которым только что издевалась. А он стоял, величественный даже в лохмотьях, и я не-волью подумал, что царственная осанка — это все-таки что-нибудь да значит.

Я был безмерно доволен. Принимая во внимание все обстоятельства, такого блестящего эффекта мне никогда еще не удавалось достигнуть.

И вдруг ко мне подходит Кларенс, сам Кларенс! Он мне подмигивает и говорит как ни в чем не бывало:

— Недурной сюрприз, а? Я знал, что он тебе понравится. Я давно уже втихомолку обучал ребят езде на велосипедах и все поджидал случая показать их искусство.

Глава XXXIX

ПОЕДИНОК ЯИКИ С РЫЦАРИМИ

Я снова дома, в Камелоте. Дня два спустя за завтраком на столе возле своей тарелки я нахожу только что отпечатанный, еще влажный газетный лист. Начинаю прямо с объявлений, зная, что найду там что-нибудь, касающееся меня лично. Так и есть.

ПО УКАЗУ КОРОЛЯ

Доводится до всеобщего сведения, что великий лорд и прославленный рыцарь сэр Саграмор Желанный снисходит до поединка с королевским министром Хэнком Морганом, коего именуют Хозяином, в удовлетворение за ста-

ринную обиду; и поединок этот состоится близ Камелота, в десятом часу утра, на шестнадцатый день следующего месяца. Бой будет беспощадный, ввиду того, что названная обида была смертельной и примирения не допускающей.

Кларенс снабдил это извещение следующими редакционными комментариями:

Как уже известно читателю, просмотревшему столбец объявлений, нам предстоит в ближайшее время быть свидетелями выдающегося турнира. Имена артистов — ручательство, что скучно не будет. Касса открывается 13-го в пол-

день, входная плата 3 цента, место на скамейке 5 центов. Чистая прибыль поступает в больничный фонд. Будут присутствовать августейшие особы и важнейшие сановники. За исключением их, а также представителей прессы и ду-

ховенства, никто бесплатно пропущен не будет. Рекомендуем воздержаться от покупки билетов у спекулянтов, — такие билеты при входе будут недействительны. Все мы знаем и любим Хозяина, все мы знаем и любим сэра Саграмора; так придем же и поощрим обоих. Помните, что доход идет на цель благотворительную, и притом в пользу учреждения, просиращего руку помощи равно ко всем страждущим, независимо от национальности, происхождения, общественного положения и цвета кожи, — единственная в мире благотвори-

тельность, не имеющая ни политической, ни религиозной подкладки, но говорящая: «Здесь струится ручей, подходите к нему все жаждущие и пейте!» Так раскошеливайтесь! Не пожалеете — отлично проведете время. На месте продажа пирожков и камней, чтобы разбивать их; а также специального циркового лимонада — три капли лимонного сока на бочку воды.

Это первый турнир, к которому будет применен новый закон, разрешающий каждому из участников выбрать себе любой род оружия. Обратите на это внимание.

Вплоть до назначенного дня во всей Британии только и было разговору, что об этом поединке. Все остальные темы и интересы отступили на задний план. Не потому, что сам по себе турнир был таким уже важным делом, не потому, что сэр Саграмор нашел святой Грааль, — ибо ему найти его не удалось, — не потому, что второе (после короля) лицо в государстве участвовало в этом поединке, — нет, все это было делом обычным. Была особая причина, вызвавшая такое необычное внимание к предстоящему поединку. Весь народ знал, что это будет поединок не между двумя обыкновенными людьми, а между двумя могущественными волшебниками, поединок не мышц — но разума, не человеческой силы — но сверхчеловеческого искусства, последняя битва за первенство двух великих чародеев своего века. Каждый понимал, что самые пышные состязания самых прославленных рыцарей не могут стоять в одном ряду с подобным зрелищем: они всего лишь детская игра в сравнении с таинственной и страшной битвой богов. Да, весь мир знал, что это, в сущности, поединок между Мерлином и мной, между его волшебной силой и моей. Все знали, что Мерлин трудился дни и ночи, стараясь сообщить оружие и броне сэра Саграмора сверхъестественную силу напа-

дения и защиты, что по заказу Мерлина духи воздуха соткали облачное покрывало, сквозь которое противник мой будет видим всем, кроме меня. Тысяча рыцарей не могла бы справиться с сэром Саграмором, так вооруженным и находящимся под таким покровительством, никакие доселе известные чары не могли бы одолеть его. Все это были факты. В них нечего было сомневаться, никаких оснований для сомнения не существовало. Оставалось выяснить: существуют ли иные чары, неведомые Мерлину, которые способны сделать покрывало сэра Саграмора прозрачным для меня и его заколдованные доспехи уязвимыми для моего оружия? Этот вопрос мог решить только сам поединок. И весь мир ждал поединка.

Итак, мир полагал, что на карту здесь поставлено многое, и мир был прав. И все-таки на карту было поставлено больше, чем он полагал. Дело шло о дальнейшем существовании странствующего рыцарства. Я действительно был чемпионом, но не чемпионом вульгарного чернокнижия, — я был чемпионом сурового, несентиментального, здравого смысла и разума. Я шел на бой с твердым намерением — либо уничтожить странствующее рыцарство, либо пасть его жертвой.

Пространство для зрителей было отведено огромное, однако шестнадцатого уже в девять часов утра на нем не было ни одного свободного места. Грандиозные трибуны были украшены флагами, знаменами, роскошными драпировками и набиты вассальными королями, их придворными и британской аристократией; на первых местах красовались король с королевой, а вокруг них сверкало всеми цветами радуги море бархата и шелка, блеск которого можно было бы сравнить только с битвой между закатом в верховьях Миссисипи и северным сиянием. Целый лагерь разноцветных шатров, украшенных флагами, с часовым перед каждой дверью, державшим в руках сверкающий щит, тоже представлял великолепное зрелище. Здесь были все рыцари, обладавшие хоть каким-нибудь честолюбием, хоть какой-нибудь гордостью за свое сословие, ибо мое отношение к рыцарству как сословию не составляло тайны ни для кого, и защитники рыцарства не хотели упустить удоб-

ного случая. Если бы я победил сэра Саграмора, другие рыцари имели право один за другим вызывать меня на бой до тех пор, пока я был согласен сражаться.

На моем конце поля находилось всего два шатра — один для меня, другой — для моих слуг. В назначенный час король подал знак, и герольды возгласили имена бойцов и причины ссоры. Наступила тишина, затем раздался звук рога, возвещающий о начале турнира. Толпа затаила дыхание; на всех лицах было жадное любопытство.

Из своего шатра выехал великий сэр Саграмор, огромный, величественный и неподвижный, как железная башня; огромная пика его торчала также недвижно и прямо, сжатая могучей рукой; морда и грудь его огромного коня были закованы в сталь, а туловище покрыто пышной попоной, которая свисала почти до земли. О, величественное зрелище! Его приветствовали криками восхищения.

Затем выехал и я. Но криками меня не приветствовали. Сначала наступило молчание, красноречивое и полное изумления, потом грянул взрыв хохота и прокатился по всему этому человеческому морю, но тотчас же был оборван предостерегающим звуком рога. На мне был простой и удобный гимнастический костюм — телесного цвета трико и короткие пышные пuffed из спящего шелка; на голове моей не было никакого головного убора. Конь у меня был невелик, но быстрый, гибкий, с мышцами как пружины и стремительный, как борзая. Это был красавец с шелковистой шерстью и ничем не обремененный, кроме седла и уздечки.

Железная башня на разукрашенном огромном коне понемногу приближалась ко мне, выделявая тяжело-весные пируэты, и я двигался ей навстречу. Мы остановились; башня поклонилась мне, я ответил поклоном; потом мы поехали рядом к ложе, где восседали король и королева, чтобы преклониться перед ними.

Королева воскликнула:

— Как, сэр Хозяин, вы собираетесь сражаться голый — без пики, без шпаги, без...

Но король оборвал ее и вежливо дал ей понять, что это ее не касается. Опять затрубили в рог; мы разъ-

ехались, заняли места в разных концах ратного поля и приготовились. Тут выступил старый Мерлин и накинул на сэра Саграмора тонкое, как паутина, покрывало, и сэр Саграмор стал похож на тень отца Гамлета. Король подал знак, рог завыл, и сэр Саграмор, держа свою огромную пику наперевес, уже несясь прямо на меня с развевающимся сзади покрывалом. Я свистнул и как стрела помчался к нему навстречу, новорожившись и делая вид, будто я не вижу его и знаю о его приближении только по звуку. Хор поощрительных возгласов подбодрял моего противника, но и мне чей-то дружеский голос крикнул:

— Держись, тощий Джим!

Могу биться об заклад, что это кричал Кларенс; да и манера выражаться была его. Когда наконец грозной пики был в каких-нибудь полтора ярдах от моей груди, я отскочил на своем коне в сторону, и огромный рыцарь пролетел мимо, пронзив пикой пустоту. Меня наградили бурными аплодисментами. Мы разъехались и снова понеслись друг другу навстречу. Снова промах рыцаря и гром аплодисментов в мою честь. Потом в третий раз то же самое. Мне так хлопали, что сэр Саграмор потерял терпение и, изменив тактику, стал гоняться за мной. Этим он не достиг ничего: мы словно играли в пятнашки, причем все преимущества были на моей стороне; я всякий раз ускользал от него и даже однажды очутился у него за спиной и хлопнул его сзади по плечу. Наконец уже не он гонялся за мной, а я за ним; и, сколько он ни поворачивался, ему больше ни разу не удалось оказаться сзади меня; каждый его маневр кончался тем, что он был впереди, а я сзади. Он вынужден был бросить это занятие и отъехать на свой край ратного поля. Выйдя из себя, он забылся и крикнул мне обидное слово, которое положило конец моему терпению. Я спустил свое лассо с седельного рога и взял петлю в правую руку. Посмотрели бы вы, как он помчался ко мне! На этот раз он шутить был не намерен, глаза его налились кровью. Я спокойно сидел на коне, и петля моего лассо чертила широкие круги над моей головой; внезапно я поскакал ему навстречу; когда пространство

между нами сократилось до сорока футов, змеевидная спираль моего веревочного оружия взвилась в воздух, а мой хорошо натренированный конь остановился как вкопанный. Миг — и крепкая петля, обвив шею сэра Саграмора, сбросила его с седла! Клянусь раем и адом, вот это была сенсация!

Бесспорно, в этом мире наибольшим успехом пользуется то, что ново. Эти люди не знали ни ковбоев, ни их забав и от восторга повскакали с мест. Со всех сторон гремели крики:

— Бис! Бис!

Меня удивило, что им знакомо это слово, но я не имел времени разбираться в филологических тонкостях, ибо весь рыцарский улей уже жужжал и дела мне предстояло немало. Едва сэра Саграмора освободили от петли и отнесли в его шатер, я снова выехал на середину поля, крутя лассо над головой. Я знал, что мне предстоит новый бой, чуть только рыцари изберут преемника сэру Саграмору, а это нетрудно при таком множестве желающих. Действительно, преемник был избран сразу — сэр Эрви де Ревель.

Бзз! Он мчался ко мне, пылая, как дом, охваченный пожаром; я увернулся; он как молния пронесся мимо меня, уже с моей волосяной петлей на шее; через мгновение — пст! — его седло было пусто.

Мне снова закричали «бис!»; и еще, и еще, и еще. Когда я спёшил пятого, мои бронированные противники решили, что со мной шутки плохи, и собрались на совещание. Они решили, пренебрегая этикетом, выслать против меня самых прославленных и могучих. К изумлению всего их мирка, я вышиб из седла сначала сэра Ламорака де Галис, затем сэра Галахада. Как видите, им теперь осталось только одно — постараться побить меня своим старшим козырем, выслать против меня лучшего из лучших, могущественнейшего из могущественнейших — самого сэра Ланселота Великого!

Как по-вашему, мог я гордиться? Ну еще бы! Вот Артур — король Британии, вот Гиневра, вот целые груды мелких провинциальных королей и королишек; вот в лагере шатров прославленные рыцари многих

стран, и в их числе рыцари Круглого Стола, самые знаменитые во всем христианском мире! И вот само солнце этой блестящей плеяды мчится на меня, выставив вперед пику, и сорок тысяч глаз с обожанием смотрят на него; и я бестрепетно жду его приближения. В памяти моей мелькнул дорогой мне образ маленькой телефонистки с восточной окраины Хартфорда; как мне хотелось, чтобы она видела меня в эту минуту. Непобедимый налетел на меня, как ураган. Все зрители вскочили с мест... Роковая петля мелькнула в воздухе, и не успели они глазом мигнуть, как я уже волочил за собой, словно на буксире, лежащего на спине сэра Ланселота и посылал воздушные поцелуи в ответ на гром рукоплесканий и бурю машущих носовых платков.

«Победа полная, — говорил себе я, опьяненный славой, свертывая свой аркан и вешая его на седельный рог, — никто больше не дерзнет выступить против меня. Странствующему рыцарству конец!» Представьте же, как я изумился, — и не я один, — когда звук рога возвестил, что еще кто-то собирается со мной сразиться! Это было необъяснимо. Но тут я заметил Мерлина, который крадучись уходил от меня, и сразу же обнаружил исчезновение моего лассо! Старый шут, несомненно, украл его и спрятал под своей одеждой.

Рог протрубил вторично. Я глянул и увидел подъезжающего ко мне на коне сэра Саграмора, — пыль с него счистили и вуаль опять прицепили. Я подъехал к нему рысью и притворился, будто знаю о его присутствии только по стуку копыт. Он сказал:

— Слух у тебя чуткий, но и он не спасет тебя вот от этого, — и дотронулся до рукоятки своего огромного меча. — Что это такое, ты не видишь, потому что оно скрыто под волшебным покрывалом, это не длинная неуклюжая пика, а меч, и тебе от него не уйти.

Забрало его было поднято; в улыбке его была смерть. Да, от меча его мне не уйти. Теперь один из нас должен умереть. Если только ему удастся дотянуться до меня мечом, нетрудно будет назвать имя покойника. Мы поехали рядом и приветствовали короля с королевой. Король встревожился. Он сказал:

— Где твое странное оружие?

— Его украли, государь!

— А другого у тебя нет?

— Нет, государь, я захватил с собой только одно.

Тут вмешался Мерлин:

— Он захватил с собой только одно, потому что другого и не мог захватить. Другого не существует. Это единственное принадлежит королю демонов Моря. Этот человек обманщик и невежда; если бы он не был невеждой, он бы знал, что это оружие можно употребить только восемь раз, а затем оно исчезает на дне морском.

— Значит, он безоружен, — сказал король. — Сэр Саграмор, ты, конечно, разрешишь ему взять меч.

— Я одолжу ему свой, — сказал сэр Ланселот, вскочив. — Он самый доблестный рыцарь из всех живущих, и он получит мой меч.

Он хотел было вынуть свой меч из ножен, но сэр Саграмор возразил:

— Это неправильно. Он должен сражаться тем оружием, которое сам избрал; он имел право сам избрать себе оружие и воспользовался этим правом. Если он ошибся, пусть ошибка падет на его голову.

— Рыцарь! — вскричал король. — Ты ослеплен! Жажда мести помутила твой разум! Неужели ты убьешь безоружного?

— Если он осмелится это сделать, он даст ответ мне, — сказал сэр Ланселот.

— Я дам ответ всякому, кто пожелает, — крикнул сэр Саграмор запальчиво.

Мерлин снова вмешался, усмехаясь самой подлой своей усмешкой, злорадной и самодовольной.

— Хорошо сказано, верно сказано! И хватит разговоров, пусть милорд король даст знак к бою.

Королю пришлось уступить. Протрубил рог, и мы снова разъехались. Мы стояли в ста ярдах друг от друга, глядя друг другу в лицо, оцепеневшие и недвижимые, словно конные статуи. Тишина; прошла минута, казавшаяся вечностью; никто не спускал с нас глаз, никто не шевельнулся. Король медлил; казалось, у него не хватает духу подать знак. Но вот он махнул рукой,

и сразу звонко пропел рог. Длинный меч сэра Саграмора описал в воздухе сияющую дугу, и вот он, великолепный рыцарь, понесся на меня. Я не двинулся. Он приближался. Я не шевельнулся. Зрители были так взволнованы, что кричали мне:

— Беги, беги! Спасайся! Это смерть!

Я не сдвинулся и на дюйм, пока этот громовержец не подскакал ко мне на пятнадцать шагов; тогда я выхватил револьвер из кобуры; гром, молния — и револьвер исчез в кобуре, прежде чем кто-либо сообразил, что случилось.

Конь без всадника пронесся мимо, а на земле лежал сэр Саграмор, мертвый, как камень.

Люди, подбежавшие к нему, онемели, убедясь, что он умер, и притом, по-видимому, без всякой причины, потому что на теле его не было заметно никакой раны. Правда, в кольчуге его, на груди, была крохотная дырочка, но такому пустяку они не придали значения; так как при огнестрельной ране крови вытекает немного, то кровь осталась под одеждой и не протекла сквозь доспехи. Труп поволокли к королю, и вся знать разглядывала его. Естественно, все обалдели от изумления. Меня пригласили подъехать и объяснить чудо. Но я остался на месте, как статуя, и сказал:

— Если это приказ короля, я подъеду, но мой повелитель король знает, что я нахожусь там, где повелевают мне находиться законы о поединках, до тех пор, пока есть желающие сразиться со мною.

Я ждал. Желающих не было. Тогда я сказал:

— Если кто-нибудь из присутствующих сомневается в том, что бой был честный и победа заслуженная, я не жду от них вызова и сам вызываю их.

— Это доблестный вызов и достойный тебя, — сказал король. — Назови же имя того, с кем ты хочешь сразиться первым.

— Ни с кем в отдельности, я вызываю всех! Я стою здесь и вызываю на бой все рыцарство Англии — не поодиночке, а всех вместе.

— Что? — воскликнули разом два десятка рыцарей.

— Вы слышали вызов. Принимайте его — или я назову вас малодушными трусами, всех до единого.

Как вам понятно, это был блеф. В такие мгновения вполне разумно дерзнуть и поднять ставку в сто раз выше, чем позволяют вам ваши возможности: сорок девять шансов против пятидесяти, что никто не осмелится сделать ход и вы заберете все фишки. Но на этот раз номер не прошел! В одно мгновение пять сотен рыцарей вскочили в седла, и не успел я опомниться, как они уже стройными рядами, гремя оружием, неслись на меня. Я выхватил оба свои револьвера, взглядом измеряя расстояние и подсчитывая свои шансы.

Бац! — одно седло опустело. Бац! — другое тоже. Бац! бац! — и еще двое скатились на землю. Я знал, что жизнь моя висит на волоске: если и одиннадцатый выстрел не убедит их в моей непобедимости, двенадцатый противник убьет меня наверняка. И я почувствовал себя счастливым, когда после падения девятого всадника я заметил колебание в рядах врагов — признак приближающейся паники. Если бы я упустил это мгновение, все погибло бы. Но я не упустил его. Я поднял оба револьвера и прицелился. Мои противники остановились, потом повернули коней и бросились врассыпную.

Битва была выиграна. Странствующее рыцарство как учреждение погибло. Началось шествие цивилизации. Что я чувствовал? Ну, этого вы и представить себе не можете.

А брат Мерлин? Его ставка опять была бита. Всякий раз, когда волшебство чернокнижия сталкивалось с волшебством науки, чернокнижное волшебство терпело поражение.

Глава XL

ТРИ ГОДА СПУСТЯ

Переломив хребет странствующему рыцарству, я больше не считал нужным работать втайне. На другой же день я показал изумленному миру свои засекреченные школы, свои рудники, свою обширную систему

потаенных фабрик и мастерских. Иными словами, я выставил девятнадцатый век напоказ шестому.

Выгодное положение нужно использовать быстро. Рыцарство временно повержено в прах, но чтобы не дать ему опомниться, надо его окончательно парализовать, — иначе никак нельзя. Как вы видели, все мое поведение на ратном поле под конец было просто блефом; и они разгадают это, если я дам им возможность. Итак, я не должен дать им опомниться. И я не дал.

Я возобновил свой вызов, выгравировал его на меди, отпечатал и разослал повсюду, где был хоть один священник, который мог прочесть его народу; без конца печатал его в газете, в столбце объявлений.

Я не только возобновил его, но и расширил. Я заявил: назначьте день, и я с пятьюдесятью помощниками выйду на бой с рыцарями всего света и уничтожу их.

Теперь это не был блеф. Я собирался исполнить то, что говорил. Я мог исполнить то, что обещал. Смысл моего вызова был так ясен, что понять его мог всякий. Даже самые тупые из рыцарей поняли, что им остается только сдаться. И они сдались. В течение ближайших трех лет они ни разу не доставили мне беспокойства, достойного упоминания.

Вспомните, что прошло три года. И посмотрите, какой стала Англия. Счастливой, процветающей страной, чудесно изменившейся. Всюду школы и множество колледжей; несколько хороших газет. Появились даже писатели; среди них первое место занял сэр Дайнадэн-Шутник, выпустивший томик поседелых остроумцев, которые были мне известны в течение тринадцати веков. Если бы он хотя бы изъясился из него тот старый гнусный анекдот о проповеднике, я не сказал бы ничего; но этот анекдот я не мог перенести. Я истребил книгу и повесил автора.

Рабство было уничтожено; все люди были равны перед законом; налоги взыскивались со всех, независимо от сословия. Телеграф, телефон, фонограф, пишущая машинка, швейная машина, пар, электричество мало-помалу входили в моду. Два-три парохода плавали по Темзе, у нас было несколько паровых военных

судов, начиналось паровое торговое судоходство; я собирался послать экспедицию для открытия Америки.

Мы строили несколько железнодорожных линий, и линия Камелот — Лондон была уже окончена и вступила в эксплуатацию. У меня хватило ума поставить дело так, что все должности службы движения считались высокими и необычайно почетными. Мой план заключался в том, чтобы привлечь на эти должности рыцарство и дворянство, заставить их работать и тем самым уберечь их от баловства. План отлично удался, и за каждую должность шла борьба между кандидатами. Кондуктор экспресса, отходившего в 4.33, был герцог; не было ни одного кондуктора с титулом ниже графа. Все это были славные ребята, но у всех у них было два недостатка, на которые мне пришлось смотреть сквозь пальцы: они не хотели снять с себя доспехи и прикарманивали плату за проезд — то есть обкрадывали компанию.

В стране не осталось ни одного рыцаря, который не был бы занят каким-нибудь полезным делом. Они и теперь разъезжали по всей стране из конца в конец, но уже в качестве распространителей полезных знаний; благодаря своей страсти и привычке к странствиям они стали лучшими разносчиками цивилизации. Ездили они, как и прежде, в латах, с мечами, пиками и секирами, и когда им не удавалось убедить кого-нибудь испробовать швейную машину, или музыкальный ящик, или проволочную изгородь, или подписаться на журнал общества трезвости, они просто устранили строптивца и ехали дальше.

Я был очень счастлив. Дело постепенно шло к осуществлению моих тайных, давно намеченных планов. Таких планов у меня было два, и оба они были куда значительнее всех прежних. Один из них заключался в том, чтобы низвергнуть католическую церковь и на ее обломках построить протестантизм — не в виде государственной религии, а для желающих. Второй же заключался в том, чтобы добиться декрета, вводящего после смерти Артура всеобщее голосование для всех мужчин и женщин или, на худой конец, для всех мужчин, умных и глупых, и для всех матерей средних лет,

которые смыслят ведь все-таки не меньше, чем их сыновья двадцати одного года от роду. Артур мог прожить еще лет тридцать, — сейчас ему было столько же, сколько и мне, то есть сорок лет, — и я полагал, что за это время я без труда подготовлю наиболее деятельную часть населения к событию, впервые совершающемуся в мировой истории, — к решительной, полной, но бескровной революции. В результате получится республика. Мне совестно, однако я должен признаться: во мне шевелилось недостойное желание стать первым ее президентом. Что поделаешь, и мне человеческое не чуждо, я сам это понимаю.

Кларенс тоже мечтал о революции, но несколько иного характера. Он хотел республики без привилегированных сословий, но с наследственной королевской семьей во главе ее вместо выборного главы государства. Он полагал, что у народа, уже изведавшего радость чтить царствующий дом, не следует отнимать этого удовольствия, иначе он захиреет и пропадет с тоски. Я же утверждал, что короли опасны. Он говорил: «Тогда возведите на трон котов». По его мнению, королевская династия из котов и кошек окажется вполне на месте. Пользы от них будет не меньше, чем от любой другой династии, знать они будут столько же, у них будут те же добродетели, те же пороки, та же склонность к дракам с соседскими царствующими котами, то же смешное тщеславие, — а стоять они будут очень недорого. А «божьей милостью Мурлыка VII, Мурлыка XI, Мурлыка XIV» звучит ничуть не хуже имени любого другого коронованного кота в лосинах.

— Как правило, — сказал он на своем чистом современном английском языке, — коты гораздо нравственнее королей и окажут самое благотворное влияние на нравственность народа, всегда склонного подражать своим монархам. А так как народ уже приучен чтить королевский сан независимо от его носителя, он будет чтить и этих изящных безвредных котов, тем более что очень скоро все заметят, что кот-король никого не вешает, никого не обезглавливает, никого не сажает в темницу, не совершает никаких жестокостей и неспра-

зедливостей. Тогда его начнут почитать и любить еще больше, чем почитают и любят обыкновенных королей. Весь мир будет с завистью взирать на нашу гуманную и утонченную систему правления, царственные мясники внезапно начнут повсюду исчезать; освободившиеся вакансии будут замещаться котятками из нашего королевского дома; у нас будет кошачья фабрика, снабжающая троны всего мира; через сорок лет всей Европой будут править коты, и поставлять их будем мы. Настанет царство всеобщего мира, которому не будет конца... Мяу... ау... ау... мяу!.. ффр!.. мяу!..

Я думал, он говорит серьезно, и даже стал соглашаться с ним, пока он вдруг не замыкал; я чуть не выскочил из штанов от испуга. Но Кларенс не умел быть серьезным. Он даже не знал, что это значит. Он изобрел вполне разумное усовершенствование конституционной монархии, но сам был слишком легкомыслен, чтобы оценить это. Я хотел обругать его, но тут вбежала Сэнди, обезумевшая от испуга; рыдания мешали ей говорить. Я обнял ее, успокаивая, лаская и упрощая:

— Говори же, дорогая, говори! Что случилось?

Ее голова упала ко мне на грудь, и она еле слышно прошептала:

— Алло-Центральная!..

— Живо! — крикнул я Кларенсу. — Вызови по телефону королевского гомеопата!

Через минуту я уже стоял на коленях перед люлькой ребенка, а Сэнди рассылала слуг по всему дворцу. Я сразу понял, что случилось, — ложный круп! Я нагнулся и прошептал:

— Очнись, деточка! Алло-Центральная!

Она медленно открыла свои кроткие глазки и с трудом пролепетала:

— Папа.

Это меня утешило. Значит, она еще не умирает. Я послал за серным раствором и сам смастерил ингалятор, ибо, когда Сэнди или ребенок больны, я не сижу без дела, ожидая врача. Я умею ухаживать за ними, у меня большой опыт. Наша дочка большую часть своей жизни провела у меня на руках, и я умел ее

успокоить и осушить слезы у нее на ресницах, даже когда мать не знала, что с нею делать.

Сэр Ланселот в парадных доспехах проходил в это время через главную залу, направляясь в торговую палату; он был председателем торговой палаты, — должность эту он купил у сэра Галахада, ибо торговая палата состояла теперь из рыцарей Круглого Стола, а Круглый Стол служил для деловых заседаний. Место за этим столом стоило... вы никогда не поверите, если я назову вам цифру, поэтому нет смысла ее называть. Сэр Ланселот был биржевик, владел частью акций новой железнодорожной линии и как раз сегодня собирался играть на понижение. Но что из этого? Он оставался прежним Ланселотом. Заглянув мимоходом в раскрытую дверь и увидав, что его любимица больна, он сразу забыл все: пусть там идет игра на повышение, пусть там идет игра на понижение — ему все равно, он останется с маленькой Алло-Центральной, даже если бы это стоило ему всего состояния. И он остался. Он швырнул свой шлем в угол и через минуту уже кипятил на спиртовке воду. Тем временем Сэнди устроила над люлькой навес из одеяла: все было готово для ингаляции.

Сэр Ланселот пускал пар; мы с ним подбавили в кастрюльку негашеной извести, карболки и молочной кислоты, и целебный пар по трубке пошел под одеяло, в люльку. Мы стояли с ним по обе стороны люльки, как часовые. Сэнди успокоилась и была так нам благодарна, что набила две толстые папиросы тертой ивовой корой и позволила нам курить, заявив, что в люльку дым не проникает, а она любит, когда курят, так как из всех дам страны она первая увидела курильщика. Поистине умиротворительно было видеть сэра Ланселота, в благородных доспехах, сидящего возле детской постельки. Красивый он был мужчина и добрый человек и, конечно, мог бы сделать счастливыми жену и детей. Но Гиневра... впрочем, стоит ли скорбеть о том, чему нельзя помочь.

Мы дежурили с ним по очереди три дня и три ночи, пока не миновала опасность; тогда он взял

малютку на руки и поцеловал ее, и перья его плема склонились над ее золотой головкой; потом осторожно передал ее Сэнди и величаво проследовал через главную залу между двумя рядами восхищенных воинов и слуг. И ничто не подсказало мне, что я вижу его в последний раз! Боже, как тяжело жить на этом свете!

Доктора объявили, что девочку нужно увезти, если мы хотим вернуть ей здоровье и силу. Ей необходим морской воздух. Мы взяли военный корабль и свиту в двести пятьдесят человек и отправились в плавание. Через две недели мы пристали к французскому берегу, и доктора посоветовали нам там остановиться. Королек этой области предложил нам свое гостеприимство, которым мы охотно воспользовались. Жил он не очень удобно, но, перенеся кое-что с корабля, мы отлично устроились в его нелепом старом замке.

В конце месяца я послал корабль домой — за удовольствием и новостями. Через три или четыре дня он должен был вернуться. В числе других новостей я ждал известий о результатах еще одного из моих экспериментов. Мой план заключался в том, чтобы заменить турниры чем-нибудь, что могло бы занять моих рыцарей без вреда для окружающих, служить выходом для избытка их энергии и в то же время поддерживать лучшее, что в них было, — благородный дух соревнования. Я создал из них группу игроков, которых тренировал в тиши, и теперь приближался день их первого публичного выступления.

Мой эксперимент называется игрой в бейсбол. Чтобы сразу ввести в моду эту игру и поставить ее на недостижимую для критики высоту, я подбирал игроков в мои первые две девятки не по способностям, а по знатности. Каждый рыцарь, участвовавший в игре, был владетельной особой. Подобного народа вокруг Артура было всегда сколько угодно. Там нельзя было швырнуть камешек, чтобы не угодить в какого-нибудь короля. Разумеется, о том, чтобы эти господа сняли с себя доспехи, не могло быть и речи, они даже купались в доспехах. Уж и за то спасибо, что они согла-

силились внести некоторое различие в свои доспехи, чтобы можно было отличить одну команду от другой. Так, одна команда носила кольчуги в виде фуфаяек, а другая — латы из моей новой, бессемеровской стали. Их упражнения на поле были фантастичны до крайности. Они никогда не убегали от мяча, а поджидали его на месте, и мяч отскакивал от бессемеровской стали на полтора-два ярда. А когда игрок с разбегу кидался наземь и полз на брюхе за мячом, было похоже, будто броненосец входит в порт. Вначале я назначил судьями лиц незнатного происхождения, но от этого пришлось отказаться. Угодить моим командам было не легче, чем любой другой бейсбольной команде. Первое решение судьи обычно оказывалось и последним. Его разрубали пополам, и друзья относили труп на носилках. Когда заметили, что ни один судья не переживает игру, судейская должность стала непопулярной. И я был вынужден назначать в судьи людей, чье звание и высокое положение в государстве служили бы защитой.

Вот состав команд:

БЕССЕМЕРЫ

Король Артур
 Король Лот Лоттианский
 Король Северной Галлии
 Король Марсил
 Король Малой Британии
 Король Лабор
 Король Пеллам Листендрийский
 Король Багдемагус
 Король Толлем ля Фэнт

ФУФАЕЧНИКИ

Император Люций
 Король Логрис
 Король Марголт Ирландский
 Король Морганор
 Король Марк Корнваллийский
 Король Мелиодас Лионский
 Король Понтр Гарлотский
 Король Огера
 Султан Сирийский

Судья — Кларенс

На первом публичном состязании должно было, по моему расчету, присутствовать пятьдесят тысяч человек; стоило проехать весь свет, чтобы поглядеть на такую потеху. Все нам благоприятствовало; стояла чудесная теплая весна, и природа уже облачилась в свой новый наряд.

Но внимание мое было внезапно отвлечено от предстоящего состязания: нашей девочке внезапно стало хуже, положение ее было серьезное, и мы от нее не отходили. Нам не хотелось, чтобы за ней ухаживали посторонние, и мы вдвоем с Сэнди дежурили у ее постельки день и ночь. Ах, Сэнди, какое у нее было прекрасное сердце, как добра она была, как искренна и проста! Она была безупречной женой и матерью; а ведь я женился на ней только потому, что, по рыцарским правилам, она была моей собственностью до тех пор, пока кто-нибудь не выиграет ее у меня на поле брани. Она изъездила всю Британию ради меня; нашла меня на лондонском эшафоте и сразу же заняла свое место рядом со мной, будто это было ее неотъемлемым правом. Я был уроженец Новой Англии, и, по моим понятиям, наша неразлучность рано или поздно могла скомпрометировать ее. Она этого не понимала, но я, чтобы прекратить всякие споры, поспешил обвенчаться с нею.

Я тогда не знал, что получил сокровище, а между тем она была сокровищем. Через год я уже обожал ее; она была самым близким и милым моим товарищем. Толкуют о прелестях дружбы между лицами одного и того же пола. Но такая дружба вздор в сравнении с дружбой мужа и жены, живущих общими стремлениями, общими идеалами. Первая дружба — земная, вторая — небесная.

Вначале я еще долгое время во сне переносился через тринадцать столетий, и неудовлетворенный дух мой бесплодно взывал к исчезнувшему миру, не получая ответа. Много раз Сэнди слыхала слова, которые я бормотал по ночам во сне. И со свойственным ей великодушием решив, что я твержу имя женщины, которая когда-то была мне дорога, назвала этим именем наше первое дитя. Я был тронут до слез и все же чуть не грохнулся на землю, когда она, с улыбкой глядя

мне в глаза, в ожидании заслуженной награды, поднесла мне такой сюрприз:

— Имя той, кто была тебе дорога, сохранится, и станет свято для нас, и будет звучать музыкой в наших ушах. Теперь поцелуй меня, так как ты знаешь, какое имя дала я нашей дочке.

Но я не отгадал. Я никак не мог догадаться, но признаться в этом было бы жестоко: мне не хотелось испортить ее милую игру; поэтому я не выдал себя и сказал:

— Да, любимая, я знаю, и как это мило с твоей стороны! Но я хочу, чтобы твои губы, — они ведь и мои, правда? — первые произнесли его. Вот тогда оно прозвучит для меня музыкой.

Польщенная, она пробормотала:

— Алло-Центральная!

Я не рассмеялся, — я благодарен богу, что я не рассмеялся, — но это стоило мне таких страшных усилий, что в течение нескольких недель у меня все кости звенели на ходу. Так она никогда и не поняла своей ошибки. Услыхав однажды те же слова в разговоре по телефону, она удивилась и рассердилась, но я сказал ей, что телефонистки действуют по моему приказу: милое имя моей утраченной подруги и ее маленькой тезки будет отныне служить любезным телефонным приветствием. Это не было правдой, но это было то, что нужно.

Две с половиной недели дежурили мы возле колыбельки и, оторванные от всего мира, не знали, что творится на свете. Наконец пришла награда: девочку мы спасли. Были ли мы благодарны? Это не то слово. Вообще не существует слова, способного выразить, что мы чувствовали. Это вы знаете сами, если вам пришлось сопровождать ваше дитя в его странствии по Долине Теней и потом видеть, как оно возвращается к жизни и улыбается всеозаряющей улыбкой.

Мы снова вернулись в мир! И, взглянув друг другу в глаза, внезапно были поражены одною и тою же мыслью: прошло более двух недель, а корабль еще не вернулся.

Я созвал свою свиту. По лицам слуг я сразу заметил, что они давно уже беспокоятся. Взяв с собой

несколько человек, я проскакал пять миль и взобрался на вершину горы, с которой видна была морская даль. Где же мой торговый флот, еще недавно оживлявший и украшавший это море своими белыми крылами? Ни одного корабля! Ни паруса, ни дымка — от края до края мертвая пустыня вместо кипучей и шумной жизни.

Я сразу вернулся, никому не сказав ни слова. Но Сэнди я рассказал все. Мы не могли придумать никакого объяснения этой страшной перемене. Вторжение? Землетрясение? Чума? Вся нация перестала существовать? Но догадки были бесполезны. Я должен ехать, и сейчас же. Я взял займы у короля его «флот» — единственное крохотное суденышко величиной с паровой катер, и собрался в дорогу.

Разлука, о, как она была тяжела! Когда я, прощаясь, целовал дочку, она впервые после болезни заговорила, и мы чуть с ума не сошли от радости. Детский лепет, коверкающий слова, — какая музыка может сравниться с ним! И как грустишь, когда эта музыка смолкает, сменяется правильным произношением, зная, что больше она уже никогда не коснется твоего осиротелого слуха. И как отрадно было увезти с собой столь сладостное воспоминание!

На другое утро я был уже у английских берегов. В Дувре в гавани стояли корабли, но со спущенными парусами и без всяких признаков жизни. Было воскресенье, но в Кентербери на улицах — никого. И удивительней всего, что нигде не видно было ни одного священника, не зазвонил ни один колокол. Тоскливая тишина смерти царила всюду. Я ничего не мог понять. Наконец в конце города мне попалась похоронная процессия — гроб провожали только родственники и друзья покойного, священника с ними не было; похороны без колокольного звона, без чтения священного писания, без свечей. Рядом была церковь, но, плача, они прошли мимо и не вошли в нее. Я взглянул на колокольню и увидел, что колокол завешен черным, а язык его подвязан. И я обо всем догадался! Теперь я понял, какое бедствие постигло Англию. Вторжение? Вторжение — вздор по сравнению с этой бедой. Имя ей — *Отлучение.*

Я никого ни о чем не спрашивал; мне и так все было ясно: церковь нанесла удар! Теперь остается только изменить свою внешность и проехать незамеченным. Мой слуга уступил мне свою одежду, я переоделся в лесу и поехал дальше один; так было безопаснее.

Нерадостное путешествие. Глубокая тишина всюду. Даже в Лондоне. Движения никакого; люди не разговаривают, не смеются, не толпятся — они понуро бредут поодиночке, с тоской и страхом в сердце. На Тауэре свежие боевые рубцы. Да, произошли немало-важные события.

В Камелот я, конечно, собирался ехать поездом. Поезд! Вокзал был пуст, как пещера. Я отправился в путь пешком. Я шел два дня, словно по пустыне, мертвой и унылой. Понедельник и вторник ничем не отличались от воскресенья. В Камелот я прибыл глубокой ночью. Город, когда-то сиявший электричеством, словно солнце, был теперь погружен во мрак и стал даже чернее окружающего его мрака, темным сгустком лежал он в черноте ночи. Мне почудилось в этом нечто символическое — знак, что церковь одолела меня и погасила все светочи цивилизации, зажженные мною. На темных улицах было пусто. С тяжелым сердцем продолжал я путь. Темная громада замка чернела на вершине холма, ни одного огонька в окнах. Подъемный мост был спущен, огромные ворота открыты настежь; никто меня не окликнул, ни одного звука, кроме стука моих шагов, зловеще раздававшегося в огромных пустых дворах.

Глава XLII

ВОЙНА!

Кларенс один сидел в своих покоях, погруженный в меланхолию. Вместо электрической лампы перед ним горела древняя светильня, шторы на окнах были спущены, и комнату наполнял полумрак. Он вскочил и кинулся ко мне.

— Я готов заплатить биллион мильрейсов за счастье видеть тебя живым!

Он узнал меня сразу, несмотря на то, что я был переодет. Это, естественно, напугало меня.

— Расскажи мне, как произошло все это? — сказал я. — Что случилось?

— Если бы не королева Гиневра, беда не свалилась бы на нас так скоро, ио в конце концов мы все равно не избегли бы беды. Беда эта вообще была неотвратима, но, к несчастью, случилось так, что начало ей положила королева.

— И сэр Ланселот?

— Вот именно.

— Расскажи подробности.

— Тебе хорошо известно, что за последние годы на отношения между королевой и сэром Ланселотом во всем королевстве не смотрел косо только один человек...

— Да, король Артур.

— И только одно сердце ничего не подозревало...

— Да, сердце короля; сердце, которое не способно было заподозрить предательство со стороны друга.

— И король, вероятно, дожил бы до конца дней в счастливом неведении, если бы не одно из твоих нововведений — биржа. Когда ты уехал, железная дорога между Лондоном, Кентербери и Дувром была почти готова, а железнодорожные акции созрели для биржевой игры. Можно было рискнуть, и все знали об этом. Акции раскупались охотно. Так что же сделал сэр Ланселот?..

— Я знаю, что он сделал: он спокойно продал почти весь свой пакет акций, а когда благодаря этому цены на акции пали, он по дешевке купил вдвое больше акций, чем продал, и разорил всех.

— Правильно. Держатели акций посмеивались, продавая ему акции за пятнадцать и за шестнадцать, в то время как цена им была десять. Но смеяться им пришлось недолго. Через несколько дней они охотно заплатили бы Непобедимому за каждую акцию по двести восемьдесят три!

— Боже!

— Он ободрал их как липки! И они это заслужили; и все королевство этому радовалось. Но в числе разоренных оказались сэр Агравэн и сэр Мордред, племянники короля. Конец первого действия. Действие второе, сцена первая; замок Карлайл, куда двор прибыл на несколько дней поохотиться. Действующие лица: королевские племянники Мордред и Агравэн предлагают открыть глаза Артуру на отношения Гиневры и сэра Ланселота. Сэр Гоуэн, сэр Гарет и сэр Гахерис заявляют, что они не хотят быть причастными к такой подлости. Начинается спор, и очень громкий. И тут входит король. Мордред и Агравэн обрушивают на него весь свой ужасный рассказ. Немая сцена. По приказу короля сэру Ланселоту подставляют ловушку, и сэр Ланселот попадает в нее. Это дорого обошлось доносчикам — Мордреду, Агравэну и двенадцати другим рыцарям помельче, — потому что сэр Ланселот убил их всех, кроме Мордреда; но, конечно, это не могло улучшить отношений между Ланселотом и королем, и не улучшило.

— О боже, результат этого мог быть только один: война! Рыцари всего королевства разделились на две партии — на партию короля и партию сэра Ланселота.

— Так оно и случилось. Король послал королеву на костер, чтобы очистить ее огнем. Ланселот со своими рыцарями спас ее и, спасая, убил многих твоих и моих старых друзей, самых лучших друзей: погибли сэр Белиас ле Оргюлю, сэр Сегваридес, сэр Гриффлет ле Фис де Дье, сэр Брандайлс, сэр Эгловэл...

— О, ты надрываешь мне сердце!

— погоди, я еще не кончил... сэр Тор, сэр Готер, сэр Джиллимер...

— Лучший игрок в моей бейсбольной команде! Как он бил правой!

— Три брата сэра Рейнолда, сэр Дамус, сэр Приам, сэр Кэй-Странник...

— Тоже великолепный игрок, не раз ловивший мяч зубами. Довольно, с меня хватит.

— Сэр Драйент, сэр Ламбегус, сэр Хермайнд, сэр Пертолон, сэр Перимонес и... кто бы ты думал еще?

— Скорей! Не мучь меня!

— Сэр Гахерис и сэр Гарет — оба!

— Невероятно! Они обожали Ланселота.

— Это вышло случайно. Они были просто зрителями: пришли безоружные поглядеть, как будут наказывать королеву. Сэр Ланселот рубил в слепом бешенстве всех, кто попадался ему на пути, и зарубил сэра Гахериса и сэра Гарета, даже не заметив, кто они такие. Вот моментальный фотографический снимок этого побоища; он продается в каждом газетном ларьке. Видишь: сэр Ланселот стоит возле королевы, подняв меч, а рядом умирает сэр Гарет. Даже сквозь дым можно разглядеть муку на лице королевы. Потрясающий снимок!

— Потрясающий. Необходимо его сохранить. Это исторический документ, ему цены нет! Продолжай.

— Затем началась самая настоящая война. Ланселот отступил в свой замок Твердыня Счастья и собрал вокруг себя всех примкнувших к нему рыцарей. Король с большим войском двинулся к замку, и они сражались много дней, завалив все окрестности трупами и обломками железа. Потом церковь помирила Артура с Ланселотом и королевой — со всеми, кроме сэра Гоуэна. Сэр Гоуэн оплакивал своих убитых братьев сэра Гарета и сэра Гахериса и ни за что не хотел мириться. Он предупредил Ланселота, что идет на него войной и чтобы тот приготовился. Ланселот со своими сторонниками отплыл в свое герцогство Гийень, а Гоуэн последовал за ним с армией и уговорил Артура плыть туда же. Артур оставил управление королевством в руках сэра Мордред до твоего возвращения...

— Ох! Узнаю короля и его обычную мудрость.

— Да. Сэр Мордред сразу же вздумал сделаться королем. Прежде всего он решил жениться на Гиневре, но она удрала и спряталась в лондонском Тауэре. Мордред напал на Тауэр; архиепископ Кентерберийский отлучил его от церкви. Король вернулся; Мордред сражался с ним в Дувре, и в Кентербери, и в Бархэмской долине. Потом начались переговоры о мире. Условия: Мордред получает Корнваллис и Кент

до конца жизни Артура, а потом к нему переходит все королевство.

— Здорово! Моя мечта о республике так и останется мечтой.

— Да. Обе армии стояли под Солисбери. Гоуэн, — голова Гоуэна покоится в Дуврском замке, где он пал в бою, — Гоуэн явился Артуру во сне, — ну, не сам Гоуэн, а его дух, — и посоветовал ему в течение месяца не вступать в бой, чего бы ни стоила такая задержка. Но случайность ускорила решительное столкновение. Артур приказал: если во время переговоров с Мордредом о мире хоть один рыцарь обнажит меч, сразу же трубить в трубы и кидаться на неприятеля, ибо Мордреду он не доверял. Мордред отдал такой же приказ своей армии. Внезапно одного рыцаря укусила в пятку змея; рыцарь забыл о приказе и зарубил змею своим мечом. Через полминуты обе враждебные армии кинулись друг на друга. Они сражались весь день. Наконец король... Знаешь, после твоего отъезда мы ввели у себя в газете кое-что новенькое...

— В самом деле? Что же именно?

— Корреспонденции с фронта.

— Отлично.

— Да, наша газета шла чудесно, потому что, пока длилась война, отлучение на нас не распространялось. Мои военные корреспонденты сидели в обеих армиях. Я прочту тебе, как один из моих ребят описал конец этой битвы!

...Тогда король поглядел по сторонам и увидел, что все его добрые рыцари пали, кроме двух: сэра Лукана де Бутлера и его брата сэра Бедивера; но и они были тяжело ранены. «Господи Иисусе, — сказал король, — где все мои благородные рыцари? Увы, зачем я дождался до этого грустного дня! И мой конец уже близок. Если бы только господь помог мне узнать, где этот предатель сэр

Мордред, заваривший всю эту кашу!» И король Артур увидел сэра Мордреда, который стоял среди груды мертвых тел, опершись на меч. «Дай мне свое копьё, — сказал Артур сэру Лукану, — ибо я выследил предателя, зачинщика всех наших бед». — «Государь, пощади его, — сказал сэр Лукан, — ибо он несчастен. Вспомни свой сон, государь, вспомни, что сказал тебе

ночью дух сэра Гоуэна, вспомни, от чего предостерегал тебя всеблагий господь. Ради господа, государь, оставь его в покое. Ибо, благодарение богу, ты победил: нас осталось трое в живых, а с сэром Мордредом нет никого. Если ты не тронешь его, сей злополучный день минует». — «Мне все равно — жить или умереть», — сказал Артур. — Он сейчас один, и он не уйдет от меня, ибо лучшего случая мне не дожидаться». — «Да хранит тебя господь», — сказал сэр Бедивер. Король взял его копьё в обе руки и побежал к сэру Мордреду, крича: «Пре-

датель, твой смертный час настал!» Сэр Мордред, услышав сэра Артура, кинулся к нему с мечом в руке. И король Артур пронзил сэра Мордреда ниже щита насквозь, и наконец коньё вышел наружу. Сэр Мордред, видя, что рана его смертельна, сам нанизал себя на копьё короля Артура до рукоятки. Держа меч обеими руками, он обрушил его на голову Артура с такой силой, что разрубил и шлем и череп; свершив это, сэр Мордред мертвым рухнул на землю. И благородный Артур упал без чувств, и долго его не могли привести в себя...

— Отличный образец военной корреспонденции, Кларенс! Ты стал первоклассным журналистом. Король выздоровел? Поправился?

— Увы, нет. Он умер.

Я был ошеломлен; мне всегда казалось, что этого человека невозможно убить.

— А королева, Кларенс?

— Она монахиня в Олмсбери.

— Какие перемены! И за такой короткий срок. Непостижимо. Что же делать?

— Я скажу тебе, что делать.

— Ну?

— Поставить наши жизни на карту и держаться пизо всех сил!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Теперь власть в руках церкви. Ты подвергся отлучению, заодно с Мордредом; это отлучение не снимут до тех пор, пока ты жив. Уже собираются кланы. Церковь созывает всех рыцарей, оставшихся в живых; и как только узнают, что ты вернулся, у нас будет достаточно хлопот.

— Вздор! С нашим смертоносным боевым материалом, с нашим хорошо обученным войском...

— Оставь! У нас есть не более шестидесяти человек, на которых можно положиться,

— Что?! А наши школы, наши колледжи, наши мастерские, наши...

— Когда явятся рыцари, все эти учреждения перейдут на сторону врага. Неужели ты воображаешь, что тебе удалось избавить этих людей от предрассудков?

— По правде сказать, я так думал.

— Так больше не воображай. Они повиновались тебе до отлучения; после отлучения они отшатнулись от тебя. Сердца дали трещину. Пойми это. Когда вражеские армии придут сюда, тебе все изменят.

— Дурные вести. Мы пропали. Они обратят против нас все то, чему мы научили их.

— Нет, это им не удастся.

— Почему?

— Потому что я с верными мне людьми уже принял предупредительные меры. Я потом расскажу тебе об этом. Ты хитер, но церковь еще хитрее. Это церковь отправила тебя в плаванье — с помощью докторов, находившихся у нее на службе.

— Кларенс!

— Я говорю правду. Я знаю это наверно. Каждый офицер и каждый матрос вашего корабля был подкуплен церковью.

— Ну, полно!

— Не спорь! Я не сразу об этом узнал, но я узнал об этом достоверно. Приказывал ли ты капитану своего корабля передать мне устно, что, когда он вернется к тебе с припасами, ты уедешь из Кадикса...

— Из Кадикса? Я никогда не был в Кадиксе!

— ...ты уедешь из Кадикса и отправишься в плаванье в дальние моря для поправления здоровья своей семьи. Ты велел передать мне эти слова?

— Конечно нет. Ведь я мог бы написать.

— Разумеется! Я забеспокоился и стал подозревать. Когда капитан отплывал, я отправил вместе с ним на корабль шпиона. С тех пор я ничего не слышал ни о корабле, ни о шпионе. Я решил подождать вестей от тебя две недели и затем послать за тобой судно в Кадикс. Но сделать этого мне не пришлось.

— Почему?

— Наш флот внезапно и таинственно исчез! Столь же внезапно и столь же таинственно перестали работать железные дороги, телеграф и телефон; служащие разбежались, столбы были срублены, церковь наложила запрет на электрическое освещение! Нужно было как-то действовать, и немедленно. За жизнь твою я не опасался — никто во всем королевстве, кроме Мерлина, не решился бы дотронуться до такого волшебника, как ты, не имея за спиной десятитысячного войска. Значит, мне нужно было заняться приготовлениями к твоему приезду. За себя я тоже не боялся — никто не посмеет тронуть твоего любимца. И вот что я сделал. Из различных наших мастерских я выбрал людей, — вернее, мальчиков, — на верность которых при любых обстоятельствах я мог положиться, тайно собрал их и дал им указания. Их пятьдесят два; ни одного моложе четырнадцати лет и ни одного старше семнадцати.

— Почему ты избрал только мальчиков?

— Потому что остальные родились и выросли в атмосфере предрассудков. Предрассудки у них в крови и в костях. Мы воображали, что мы переделали их образованием; они сами так полагали; отлучение пробудило их, как удар грома! Они поняли себя, и я по-нял их. Мальчики дело другое. Те, которые воспитывались нами в течение семи или десяти лет, не знакомы со страхом перед церковью, и именно из их среды я отобрал пятьдесят два своих молодца. Затем я украдкой посетил старую Мерлинову пещеру — не ту, что поменьше, а большую...

— Да, ту, где мы поставили нашу первую электрическую машину, когда я замыслил чудо?

— Вот именно. А так как чудо тогда не понадобилось, мы теперь можем использовать эту машину для других целей. В пещеру я доставил провиант на случай осады.

— Отличная идея, первоклассная идея!

— Я и сам так думаю. И поручил сторожить эту пещеру четверым моим мальчикам — внутри, конечно, не на виду. Им приказано никого не трогать, но если кто вздумает войти в пещеру — пусть только попробует!

Затем я пошел в горы, открыл и перерезал тайные провода, соединяющие твою спальню с проводами, ведущими к динамитным минам, заложенным под всеми нашими фабриками, заводами, складами и мастерскими, а ночью с помощью моих мальчиков соединил эти провода с пещерой, и теперь никто, кроме тебя и меня, не знает, куда и откуда они ведут. Вся проводка, конечно, подземная, и закончили мы ее в несколько часов. Не выходя из нашей крепости, мы можем теперь в любой миг взорвать всю нашу цивилизацию.

— Это правильный ход, естественный ход, — мало ли чего может потребовать от нас военная необходимость. О, как все переменялось! Мы ждали, что нам когда-нибудь придется выдержать осаду во дворце, но не... Впрочем, продолжай.

— Затем мы соорудили проволочное ограждение.

— Проволочное ограждение?

— Да. Ты сам подсказал это мне года два или три назад.

— А, помню — когда церковь впервые попробовала помериться с нами силами и затем решила отложить это до более удобного случая. Как же ты устроил это ограждение?

— Взял двенадцать крепких проводов — голых, без изоляции, идущих от большого динамо в пещере, — динамо имеет два полюса, положительный и отрицательный...

— Правильно.

— Вывел провода из пещеры и, почти на уровне земли, соорудил изгородь вокруг плоского участка в сто ярдов в диаметре; изгородь эта состоит из двенадцати отдельных изгородей, в десяти футах одна от другой, — иначе говоря, двенадцать концентрических кругов, — и концы всех проводов снова сходятся в пещере.

— Правильно. Продолжай.

— Изгороди укреплены на тяжелых дубовых столбах, отстоящих один от другого всего на три фута и врытых в землю на пять футов глубины.

— Хорошо и прочно.

— Да. Провода не имеют заземления вне пещеры. Сии отходят от положительного полюса динамо; с землей они соприкасаются через отрицательный полюс; провода возвращаются в пещеру, и каждый из них заземлен отдельно.

— Нет, нет, так не годится!

— Почему?

— Слишком большой расход энергии, энергия пропадает зря. Заземление для всей системы должно быть только одно — через отрицательный полюс. Концы проводов должны быть введены обратно в пещеру и укреплены по отдельности без всякого заземления. Посмотри, какая получится экономия. Кавалерия идет в атаку на наше проволочное ограждение; ты не тратишь энергии, ты не тратишь денег, потому что у тебя всего одно заземление до тех пор, пока лошади не коснутся проволоки; но чуть они коснутся проволоки, произойдет замыкание с отрицательным полюсом через землю, и лошади падут мертвыми. Энергия расходуется только в то мгновение, когда она необходима; твоя молния при тебе и готова к действию, как заряженное ружье; но она не стоит тебе ни цента, пока ее не выпустишь. Нужно только одно заземление...

— Конечно! Не знаю, как я это упустил из виду. Это не только дешевле, но и действеннее, так как, даже если провода оборвутся или запутаются, вреда не будет.

— Особенно если у нас в пещере будет автоматический выключатель испортившихся проводов. Продолжай. Артиллерия?

— Есть и артиллерия. В центре внутреннего круга на обширной платформе высотой в шесть футов я установил батарею из тринадцати орудий с большим запасом снарядов.

— Хорошо. Батарея командует над окрестностями, и когда рыцари церкви явятся, они будут встречены музыкой. А утес, что навис над пещерой?

— Там тоже устроено проволочное ограждение и поставлены орудия. Будь спокоен, камнями им швырять в нас не придется.

— А динамитные мины со стеклянными цилиндрами?

— И мины припасены. Я там насадил прелестный садик. Он расположен вокруг проволочного ограждения поясом в сто футов шириной. Мины лежат на земле и присыпаны сверху песочком. На вид этот садик кажется совсем невинным, а пусть кто-нибудь войдет в него, и ты увидишь, что будет.

— Ты испытал мины?

— Собирался испытать, но...

— Но что? Это огромное упущение, не попытаться...

— Испытать? Знаю; они в порядке: я для пробы заложил несколько штук на проезжей дороге — и их испытали.

— Это меняет дело. Кто же их испытал?

— Церковная комиссия.

— Очень мило с ее стороны.

— Да. Она явилась требовать от нас повиновения. Видишь ли, она вовсе не собиралась производить испытание мин: это произошло случайно.

— Комиссия доложила о результате испытания?

— Еще бы! Доклад был слышен за целую милю.

— Единодушный доклад?

— Принятый всеми голосами. Я выставил на дороге кое-какие знаки в предупреждение будущим комиссиям, но больше нас не беспокоили.

— Кларенс, ты превосходно поработал.

— Что ж, времени было достаточно. Торопиться некуда.

Мы сидели, молчали и думали. Я сказал:

— Да, все готово; все предусмотрено, ни одна мелочь не забыта. Я знаю, что теперь делать.

— Я тоже; сидеть и ждать.

— Нет, сэр! Встать и нанести удар!

— Ты так думаешь?

— Именно так! Я не сторонник обороны, я сторонник нападения. Во всяком случае, когда силы почти равные. О да, мы нанесем удар! Этого требуют правила нашей игры.

— Ты почти наверняка прав. Когда же начнется спектакль?

— Сейчас. Мы провозгласим республику.

— Вот это значит ускорить развязку!

— Ого! Да еще какими темпами! Завтра утром уже вся Англия превратится в осиное гнездо, если только церковь не смолчит, — а она не смолчит. Пиши, я буду диктовать:

ПРОКЛАМАЦИЯ

Да будет известно всем! Так как король умер, не оставив наследника, долг мой повелевает мне не выпускать из рук кормило власти, которое мне вручено, до тех пор, пока не будет создано правительство. Монархия прекратила свое существование. Следовательно, вся политическая власть возвращается к своему первоисточнику, к народу. Вместе с монархией умерли и все присущие ей учреждения; больше нет ни дворян, ни привилегированных классов, ни государственной церкви; отныне все люди равны; каждый может свободно избрать себе религию. *Сим провозглашается республика*, как естественное состояние нации, когда перестали существовать все другие виды власти. Долг британского народа — избрать голосованием своих представителей и поручить им образовать правительство.

Я подписал: «Хозяин», поставил дату и обозначил место: «Мерлинова пещера».

Кларенс сказал:

— Это, значит, известить их, где мы находимся: приходите и берите нас.

— Так и надо. Мы нанесли удар этой прокламацией, — теперь их черед. Позаботься, чтобы это было отпечатано и расклеено. А затем, если у тебя найдутся два велосипеда, едем в Мерлинову пещеру.

— Через десять минут все будет готово. Какая буря поднимется завтра, когда эта бумажка начнет свою работу!.. А славный все-таки этот дворец; увидим ли мы его когда-нибудь снова? Но не стоит думать об этом.

БИТВА В ПЕСЧАНОМ ПОЯСЕ

В Мерлиновой пещере — Кларенс, я и пятьдесят два здоровых, бодрых, неглупых, хорошо воспитанных, неиспорченных британских мальчика. Чуть свет я разослал приказ по фабрикам и мастерским прекратить работу и всему живому убраться подальше, ввиду того, что все наши сооружения будут взорваны тайными минами, и нельзя сказать заранее, когда именно. Люди знали меня и привыкли доверять моим словам. Я не сомневался, что они вылетят пулей, даже не причесавшись, и мог выбрать для взрыва любой момент, который найду подходящим. Их никакими силами не заставишь вернуться, пока над ними будет висеть опасность взрыва.

Мы ждали целую неделю. Я не скучал, так как все время писал. За три дня я придал моему дневнику повествовательную форму; теперь мне осталось дописать только главу или две, чтобы довести повествование до настоящего времени. Конец недели я употребил на писание писем жене. У меня был обычай во время всякой разлуки писать Сэнди каждый день. С этим обычаем я не расставался и теперь — из любви к нему и к ней, так как отправить письма у меня не было никакой возможности. Писание писем заполняло время и было похоже на разговор; я словно беседовал с ней, словно говорил ей: «Сэнди, если бы ты и Алло-Центральная были здесь, в пещере, вместо ваших фотографий, как бы славно мы провели время!» Я представлял себе, как воркует моя дочурка мне в ответ, засовывая кулачки в ротик, лежа на спинке на коленях у матери, а та смеется и щекочет ее пальцем под подбородком, чтобы она рассмеялась, и в то же время перебрасывается со мной словами, и так далее, и так далее, — я мог часами сидеть в пещере с пером в руке и грезить наяву. Мне казалось, что мы снова вместе.

Каждую ночь я, конечно, рассылал шпионов, чтобы знать обо всем. И с каждым разом донесения их становились все тревожнее. Армии собирались, собира-

лись; по всем дорогам и тропам Англии ехали рыцари; и попы ехали рядом с ними и вдохновляли этих своеобразных крестоносцев на священную войну. Все дворянство, крупное и мелкопоместное, встало на защиту церкви. Дело шло так, как мы и ожидали. Ничего, мы выполем всю эту сорную траву; тогда народу ничего не останется, как только выступить на защиту республики и...

Ах, какой же я был осел! К концу недели я стал понимать, что народные массы только в течение одного дня подбрасывали свои шапки в честь республики, на большее их не хватило! Стоило церкви и дворянству только нахмуриться, и они сразу превратились в овец! И сейчас же овцы стали стекаться в загоны — то есть в военные лагеря — и предлагать свои дешевые жизни и свою дорогую шерсть на борьбу «за правое дело». Даже те, кто недавно еще были рабами, тоже стояли «за правое дело», прославляли его, молились об его успехе, чувствительно умилялись, говоря о нем, как все прочие простолюдины. Какая глупость! Не люди, а навоз!

Теперь всюду орали: «Смерть республике!» — и ни одного голоса против. Вся Англия шла против нас. Признаюсь, этого я не предвидел.

Я внимательно изучал пятьдесят двух моих мальчиков; я изучал их лица, их походку, их бессознательные движения, — ибо все это язык, созданный для того, чтобы разоблачать наши тайны, сделать явным то, что мы особенно стараемся скрыть. Я знал, что в каждом из них сидит неотвязная мысль: *«Вся Англия против нас!»*, и чем дальше, тем неотвратимее приковывает к себе внимание, тем ярче рисуется воображением, и даже во сне они не могут освободиться от голоса, который твердит им: *«Вся Англия, вся Англия идет на вас!»* Я знал, чем все это кончится; я знал, что в конце концов напряжение станет настолько непереносимым, что прорвется наружу, и готовился в нужную минуту дать ответ — хорошо обдуманый и успокаивающий.

Я не ошибся. Момент настал. Они заговорили. Бедные ребята, жалко было на них смотреть, такими они стали бледными, измученными, встревоженными. Вначале их представитель не находил слов, не мог

совладать с голосом, но затем он справился с волнением. Вот что он сказал на хорошем современном английском языке, которому его обучили в моей школе:

— Мы старались забыть, что мы английские мальчики! Мы старались поставить разум выше чувства, долг выше любви; наш рассудок подчинился нам, но сердца подчиниться отказались. Пока против нас было только дворянство, только двадцать пять или тридцать тысяч рыцарей, уцелевших после последних войн, мы оставались единодушны и нас ничто не тревожило; каждый из этих пятидесяти двух мальчиков, которые стоят перед тобою, говорил: «Они сами того хотели — так им и надо». Но обстоятельства изменились — *вся Англия идет на нас!* О сэр, подумай, размысли: этот народ — наш народ, мы плоть от плоти его, кость от кости, мы любим его, — не требуй от нас, чтобы мы выступили против своего народа!

Вот видите, что значит предугадывать события и приготовиться к ним. Если бы я не приготовился этот мальчик захватил бы меня врасплох и я не мог бы возразить ему ни слова. Но я приготовился. Я сказал:

— Мои мальчики, сердца ваши не обманули вас, вы рассудили и поступили правильно. Вы английские мальчики, и вы останетесь английскими мальчиками, не запятнав этого имени. Не мучайте себя больше сомнениями, успокойтесь. Рассудите: *вся Англия идет на нас*, но кто идет впереди? Кто, по обычным правилам войны, идет в первых рядах? Отвечайте.

— Конные отряды закованных в латы рыцарей.

— Правильно. Их тридцать тысяч. Они покрывают необозримое пространство. Поймите: кроме них, никто не войдет в Песчаный Пояс. Только с ними мы и справимся. А массы граждан, шествующие в арьергарде, мгновенно отступят, — у каждого из них найдется неотложное дело. Все рыцари — дворяне, и только им придется плясать под нашу музыку. Ручаюсь вам, мы будем сражаться лишь с этими тридцатью тысячами рыцарей. Теперь говорите, и мы поступим по вашему решению. Следует ли нам уклониться от боя, отступить с поля битвы?

— Нет!!!

Возглас этот был единодушен и шел от всего сердца.

— Или, может быть, вы боитесь этих тридцати тысяч рыцарей?

Шутка была встречена громким смехом, тревога мальчиков рассеялась, и они весело разошлись по своим постам. Славные были мальчики! И хорошенькие, как девушки!

Теперь я был готов к встрече с неприятелем. Пусть приходит — он нас не захватит врасплох.

Великий день наконец наступил. На рассвете часовой, стоявший у пещеры, явился доложить, что на горизонте движется черная масса и что оттуда доносятся слабые звуки, — по его мнению, звуки военной музыки. Завтрак был уже готов; мы сели и подкрепились.

После завтрака я сказал мальчикам небольшую речь и послал орудийный расчет с Кларенсом во главе на батарею.

Взошло солнце и озарило простор, и мы увидели необозримую рать, приближающуюся к нам медленно и упорно, как морская волна. Чем ближе она подходила, тем грознее она казалась. Да, это шла вся Англия! Вскоре мы могли уже различить бесчисленные знамена; целое море лат и кольчуг ослепительно сияло на солнце. Это была красивая картина! Ничего красивее я не видывал.

Наконец стали видны и подробности. Все передние ряды на много акров вглубь состояли из всадников, из украшенных перьями рыцарей в латах. Внезапно затрубили трубы; всадники помчались галопом, — ох, какое это было зрелище! Я затаил дыхание; ближе, ближе... полоска зеленой травы за желтым Песчаным Поясом становилась все уже... еще уже, еще... превратилась в совсем узенькую ленту перед конями... и исчезла под их копытами. Боже! Все передние ряды с громоподобным грохотом взлетели в небо, превратившись в крутящийся ураган обломков; землю заволокло дымом, который скрыл от наших взоров то, что осталось от великой армии.

Настало время выполнить второй пункт моего военного плана. Я нажал кнопку, и вся Англия содрогнулась до глубочайших недр своих!

При этом взрыве вся наша благородная цивилизация взлетела в воздух и исчезла с лица земли. Жалко, но необходимо. Мы не могли позволить врагам обратить наше оружие против нас.

Затем наступили самые скучные четверть часа в моей жизни. Мы ждали в тишине, окруженные проводочными заграждениями, окруженные поясом густого дыма. Мы не могли ничего увидеть сквозь этот дым. Но наконец дым начал лениво расползаться; прошло еще четверть часа, земля очистилась, и нам удалось удовлетворить свое любопытство. Нигде не было видно ни одного живого существа! Оказалось, что теперь, после взрыва, мы были защищены лучше прежнего. Динамит вырыл вокруг нас ров в сто футов шириной, и земля, выброшенная из этого рва, образовала по обе его стороны валы высотой футов в двадцать пять. А количество погубленных жизней было неисчислимо. Подсчитать убитых было невозможно хотя бы потому, что они не существовали в виде отдельных трупов, а превратились в первоначальную протоплазму с примесью железа и пуговиц.

Не видно ни одного живого существа; но в задних рядах, вероятно, были раненые, которых унесли с поля брани под покровом дыма; среди уцелевших, несомненно, разовьются эпидемии, — так всегда бывает после подобных событий. Но уж подкреплений им ждать неоткуда; это была последняя ставка английского рыцарства; это было все, что осталось после прежних войн. Я чувствовал себя в полной безопасности, уверенный, что если у врага и остались какие-нибудь силы, то очень незначительные; во всяком случае — рыцарей не осталось. Поэтому я обратился к своей армии с поздравительной прокламацией следующего содержания:

Солдаты, бойцы за человеческую свободу и равенство! Ваш генерал поздравляет вас! Гордясь своей силой, напыщенный и дерзкий враг напал

на вас. Вы встретили его, как подобает. В коротком бою вы покрыли себя славой. Эта великая победа, ради которой мы не потеряли ни одного человека, не имеет равных в истории. До тех пор, пока наши планеты будут двигаться по своим орбитам, битва Песчаного Пояса не изгладится из памяти людей.

Хозяин.

Я сам прочел ее вслух, и ответные рукоплескания выразили мне благодарность. Я сказал:

— Война с английским народом окончена. Народ вышел из войны. Предстоящая нам кампания будет последней. Она будет краткой — самой краткой в истории. И самой губительной с точки зрения процентного отношения убитых и раненых к общему количеству сражающихся. С народом война окончена; отныне мы имеем дело только с рыцарями. Английских рыцарей можно убить, но нельзя победить. Мы знаем, что нам предстоит. Пока хоть один рыцарь жив, война не окончена. Мы должны убить их всех до единого. (Громкие и продолжительные аплодисменты.)

Я расставил пикеты на валах, созданных взрывом, — по два, по три мальчика, — чтобы они могли вовремя известить нас о появлении неприятеля.

Затем послал инженера и с ним сорок человек — рыкопать новое русло горному ручью, протекавшему к югу от наших укреплений, и направить его в нашу сторону, чтобы я мог воспользоваться им в случае необходимости. Сорок человек были разделены на две группы по двадцать, которые сменяли друг друга каждые два часа. За десять часов вся работа была окончена.

Стемнело, и я отозвал свои пикеты. Один из них обнаружил в северном направлении лагерь, но так далеко, что разглядеть его можно было только в подзорную трубу. Он донес также, что несколько рыцарей гнали быков в сторону наших укреплений, но сами не подходили близко. Этого я ожидал. Они испытывали нас; они хотели знать, собираемся ли мы снова выпустить на них красный ужас. Ночью они, пожалуй,

осмелеют. Мне казалось, что я знаю, что именно они попытаются предпринять, потому что именно это предпринял бы я на их месте, будь я столь невежествен, как они. Я рассказал об этом Кларенсу.

— Я думаю, ты прав, — сказал он. — Они, вероятно, сделают такую попытку.

— В таком случае, — сказал я, — они обречены на гибель.

— Безусловно.

— У них нет ни малейшей надежды.

— Ни малейшей.

— Это ужасно, Кларенс. Мне жаль их.

Я так расстроился, так измучился от этих мыслей, что места себе не находил. Наконец, чтобы успокоить свою совесть, я составил следующее послание к рыцарям:

*Достопочтенному предводителю
мятежного рыцарства Англии!*

Вы сражаетесь напрасно. Нам ведомы ваши силы, — если можно назвать их силами. Мы знаем, что вы можете выставить против нас не больше пяти тысяч рыцарей. Следовательно, у вас нет ни одного шанса на победу. Рассудите: мы хорошо вооружились, хорошо укрепились, нас пятьдесят четыре. Пятьдесят четыре человека? Нет, пятьдесят четыре ума, даровитейших в мире, — сила, которую не одолеть вашей бессмысленной мощи, как волнам морским не одолеть гранитных утесов Англии. Поразмыслите. Мы согласны подарить вам жизнь. Ради ваших жен и детей не отвергайте этот дар. В последний раз мы вам предлагаем: сложите оружие, сдайтесь Республике — и все будет прощено.

(Подпись:) *Хозяин.*

Я прочел это послание Кларенсу и сказал, что хочу отправить его неприятелю под защитой белого флага. Он разразился свойственным ему саркастическим смехом и сказал:

— Ты все еще не можешь понять, что такое дворянство. Давай сэкономим труд и время. Вообрази себе, что я предводитель этих рыцарей. Вот ты являешься с белым флагом, приближаешься ко мне и вручаешь свое послание, а я даю тебе ответ.

Мысль эта мне пришла в голову. Я выступил вперед, охраняемый воображаемыми вражескими солдатами, достал бумагу и прочел ее вслух. Вместо ответа Кларенс вырвал бумагу из моих рук, надменно сморщил губы и презрительно произнес:

— Разрубите этого скота на части и отправьте его в корзину назад к тому низкородному холопу, который его прислал. Иного ответа у меня нет!

Как ничтожна теория по сравнению с фактом! А таков был факт. Результат был бы именно такой. Я разорвал бумагу и отбросил свою неуместную чувствительность.

Итак, к делу. Я проверил электрическую сигнализацию между пещерой и батареей и убедился, что она в порядке; я проверил электросвязь между пещерой и проволочными ограждениями — с ее помощью я мог пустить ток по любой из двенадцати линий. Новое русло ручья я отдал под надзор троим моим лучшим мальчикам, которые должны были, сменяясь каждые два часа, ждать сигнала — три выстрела из револьвера, один за другим, — чтобы исполнить мой приказ. Остальные часовые были отпущены на ночь, и в ограде не осталось ни души; я приказал, чтобы в пещере соблюдали тишину; даже электрический свет я ослабил так, что он едва мерцал.

Затем я выключил ток из всех проволочных ограждений и пробрался между ними к валу, окаймлявшему с нашей стороны широкий ров, образовавшийся от взрыва. Я влез на вал, залег на его рыхлом склоне и стал вглядываться вдаль. Но рассмотреть ничего не мог — было слишком темно. Ни одного звука. Тишина, как в могиле. Конечно, обычные шумы ночи доносились до меня: трепетанье птичьих крыльев, жужжанье насекомых, далекий лай собак, мычанье коровы, — но они лишь усиливали тишину, а не нарушали ее, и наполняли ее печалью.

Скоро я перестал вглядываться, так как все равно не мог ничего рассмотреть, и напрягал лишь слух — не уловлю ли где подозрительного звука, ибо был уверен, что стоит только запастись терпением, и я не буду обманут в своих ожиданиях. Однако ждать пришлось долго. Наконец до меня донесся едва уловимый звон металла. Я насторожил уши, затаил дыхание, ибо это был как раз тот звук, которого я ждал. Звук усиливался, приближался с севера. Внезапно я услышал его на одном уровне с собой — на противоположном валу, в ста футах от себя. Затем на вершине вала появились темные точки. Человеческие головы? Трудно сказать, может быть, там и нет ничего, нельзя доверять глазам, когда воображение так напряжено. Впрочем, загадка скоро разрешилась. Лязг металла слышался уже из глубины рва. Для меня стало ясно: ров занимает вооруженный отряд. Да, они готовят для нас небольшой сюрприз. Мы должны ждать нападения на рассвете, а может быть и раньше.

Я вернулся назад за проволоку; того, что я видел, было достаточно. Добравшись до платформы, я дал сигнал, чтобы пустили ток в два средних ряда проволочного ограждения. Затем я вернулся в пещеру; там все было в порядке, все спали, кроме дежурных. Я разбудил Кларенса, сказал ему, что большой ров полон воинов и что, по-моему, рыцари идут на нас всей ордой. Чуть забрезжит заря, тысячи воинов, спрятанных во рву, полезут на приступ, а за ними сразу бросится и вся остальная армия.

Кларенс сказал:

— Они, наверно, вышлют, пользуясь темнотой, разведчиков. Почему бы не выключить ток из внешнего ряда проволочного ограждения? Пусть попытают счастья.

— Это уже сделано, Кларенс. Неужели ты считаешь меня негостеприимным.

— Нет, у тебя доброе сердце. Я хочу пойти...

— Встретить гостей? Пойдем вместе.

Мы залегли вдвоем между двумя внутренними рядами проволочных ограждений. Вначале мы ничего

те могли разглядеть, но постепенно наши глаза приспособились к темноте и стали различать столбы пролочного заграждения. Мы разговаривали шепотом, и вдруг Кларенс спросил:

— Что это?

— Где? Что?

— Вон там.

— Где там?

— А вон за тобой... что-то темное... возле второго ряда заграждения.

Я смотрел, и он смотрел. Я сказал:

— Это человек, Кларенс?

— Нет, не думаю. Хотя, кажется, человек! Стоит, прислонясь к изгороди.

— Пойдем поближе и проверим.

Мы поползли вперед на четвереньках. Да, это человек — рослый мужчина в доспехах, стоящий прямо и обеими руками держащийся за проволоку, — и, конечно, от него пахло горелым мясом. Бедняга, он был мертв, как дверная ручка, и так и не узнал, что его убило. Он стоял неподвижно, как статуя, и только перья на его племе слегка пошевеливали ночной ветерок. Мы глянули ему в лицо через отверстие в его забрале, но знакомый ли он, или незнакомый — определить не могли.

Еще какой-то приближающийся звук, и мы легли на землю. Мы смутно видели второго рыцаря; он шел градучись, ощупью. Заметив мертвого товарища, он вздрогнул. Постоял минуту, удивляясь, почему тот не шевелится, и спросил тихонько:

— О чем ты задумался, добрый сэръ Мар... — и опустил руку на плечо трупа. И с легким стоном упал — и умер, убитый мертвецом, убитый мертвым другом. В этом было что-то жуткое.

В течение получаса эти ранние птички появлялись одна за другой с промежутками в пять минут. У них не было никакого оружия, кроме мечей; выставленными вперед мечами нащупывали они себе дорогу между незаряженными проводами. Время от времени мы видели голубую искру — и уже знали, что произошло:

рыцарь коснулся мечом заряженного провода и упал мертвым. Молчание, и снова грохот рухнувших доспехов; и так без конца; жутко было внимать этому во мраке.

Мы решили совершить прогулку между внутренними рядами проволочных заграждений. Мы шли во весь рост, — так удобнее: если нас заметят, нас, вероятнее всего, примут за друзей, а не за врагов; мечом нас не достать, а пик нападающие с собой не захватили. Забавная это была прогулка. Всюду мертвецы, лежащие за вторым рядом заграждения, смутно видимые во мраке; мы насчитали пятнадцать этих вызывающих жалость статуй — мертвых рыцарей, стоящих, держась рукою за проволоку. Наш ток был так силен, что убивал раньше, чем жертва успевала вскрикнуть.

Потом мы слышали заглушенный топот и сразу поняли, что это значит. Это был тот сюрприз, который мы ждали. Я шепнул Кларенсу, чтобы он разбудил нашу армию и приказал ей ждать в пещере дальнейших распоряжений. Он скоро вернулся, и мы долго стояли за проволочным заграждением, наблюдая, как беззвучная молния истребляет нападающих. Подробности различать было трудно, но мы видели, как росла темная масса трупов. Наш лагерь был окружен толстой стеной мертвецов, валом, бруствером из мертвых тел. Самым страшным во всем этом была беззвучность; ни крика, ни стога: собираясь напасть на нас неожиданно, эти люди старались двигаться бесшумно; и едва передние ряды настолько близко подходили к своей цели, что могли бы с громким криком кинуться на приступ, как роковая проволока убивала их.

Я пустил ток через третий ряд проволочных заграждений и почти одновременно через четвертый и пятый — так быстро промежутки между ними заполнялись нападающими. Я решил, что настало время для главного удара; я решил, что вся армия попала в нашу ловушку. Во всяком случае, пора посмотреть. Я нажал кнопку, и над нашим рвом вспыхнуло пятьдесят электрических солнц.

Боже, что за зрелище! Мы были окружены тремя стенами мертвецов! А промежутки между остальными заграждениями были полны живыми, осторожно двигавшимися вперед среди проволок. Ошеломленная внезапно брызнувшим ослепительным светом, толпа нападающих замерла, как бы окаменела от удивления; это мгновение неподвижности нужно было использовать, и я не упустил случая. Вы понимаете, через минуту они опомнились бы и с боевым кличем кинулись бы на приступ, и мои проволоки лопнули бы под их натиском; но я воспользовался мгновением их замешательства: я успел пустить ток во все заграждения разом, и вся орда была убита на месте. Теперь стон был слышен! Это был предсмертный стон одиннадцати тысяч человек. Грозной жалобой прозвучал он в ночи.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что остальная часть армии — быть может, тысяч десять — уже перебралась через ров и устремилась вперед, на приступ. Значит, они в наших руках все! И спасения им ждать неоткуда. Пора начать последний акт трагедии. Я трижды выстрелил из револьвера, что означало:

— Пустить воду!

Раздался грохот взрыва, перемычка, сдерживавшая воду, рухнула, и горный поток ворвался в ров, образовав реку в сто футов шириной и двадцать пять глубиной.

— К орудиям! Огонь!

Тринадцать орудий несли смерть обреченным десяти тысячам. Они замешкались, они постояли минуту под шквалом огня и устремились назад, как мякина, гонимая ветром. Четвертая часть их погибла, не успев добежать до вершины вала; три четверти кинулись в ров — и утонули.

Через десять коротких минут после того, как мы открыли огонь, вооруженное сопротивление неприятеля было сломлено, кампания окончена; мы, пятьдесят четыре человека, стали владыками Англии. Двадцать пять тысяч мертвецов лежали вокруг нас.

Но как изменчиво счастье! Совсем скоро — скажем, через час — по моей вине случилось... но у меня не хватает духа писать дальше. Кончаю здесь.

ПОСТСКРИПТУМ КЛАРЕНСА

Я, Кларенс, должен описать это вместо него. Он предложил мне пойти вместе с ним посмотреть, нельзя ли оказать какую-нибудь помощь раненым. Мне это не понравилось. Я сказал, что, если их много, мы ничем не можем им помочь, а ходить между ними неблагоприятно. Но его редко удавалось отвести от раз принятого решения, и мы выключили из наших заграждений электрический ток, взяли с собой охрану, перелезли через стену мертвых тел и начали бродить по полю брани. Первый раненый, обратившийся к нам за помощью, сидел, прислонясь спиной к труп товарища. Когда Хозяин нагнулся и заговорил с ним, раненый узнал его и нанес ему удар кинжалом. Этого рыцаря звали сэр Мелиагронс, как я прочел внутри его шлема. Больше ему уж не придется звать на помощь.

Мы отнесли Хозяина в пещеру и перевязали его рану, которая оказалась не очень серьезной. В уходе за ним нам помогал Мерлин, хотя мы этого и не знали. Он переоделся старухой и явился к нам в виде добродушной крестьянки. Загорелый и чисто выбритый, он пришел через несколько дней после того, как Хозяин был ранен, и предложил свои услуги в качестве стряпухи. Мнимая старуха сказала нам, что все ее родные ушли в новые лагеря, которые создает неприятель, а ее оставили одну, и она умирает с голоду. Хозяин в это время уже выздоравливал и развлекался тем, что заканчивал свою летопись.

Мы обрадовались этой женщине, потому что у нас не хватало рук. Мы находились в западне, — в западне, которую сами себе расставили. Если мы останемся здесь, мертвецы убьют нас; если мы покинем наши укрепления, мы перестанем быть неуязвимыми. Мы победили — и мы были побеждены. Хозяин понимал это; мы все понимали это. Если бы можно было отправиться в один из тех новых лагерей и начать переговоры с неприятелем... Но Хозяин не мог идти, и я не мог идти, ибо я раньше всех заболел, отравленный тле-

творным дыханием тысяч разлагающихся трупов. Вслед за мной заболели другие. Завтра...

Завтра. Пришла беда. Конец. Проснувшись в полночь, я увидел, что та ведьма выделяет какие-то забавные пассы над головой Хозяина, и спросил ее, что это значит. Все спали, кроме тех, кто дежурил возле динамо; ни звука. Старуха прервала свои таинственные дурачества и на цыпочках двинулась к двери. Я крикнул:

— Стой! Что это ты делала?

Она остановилась и голосом, полным удовлетворения, сказала:

— Вы были победителями — вы побеждены! Все вы умрете, ты тоже. Вы умрете в этой пещере — все до одного, кроме *него*. Он теперь спит и будет спать тринадцать веков. Я — Мерлин!

Им вдруг овладел приступ такого дурацкого смеха, что он не мог удержаться на ногах, зашатался, как пьяный, и ухватился рукой за один из наших проводов. Рот его открыт и сейчас; он до сих пор смеется. Он будет смеяться до тех пор, пока его тело не превратится в пыль.

Хозяин не движется — спит, как камень. Если он не проснется сегодня, нам будет ясно, что это за сон, и мы положим тело его в самый дальний угол пещеры, чтобы никто не мог найти его и надругаться над ним. А мы, остальные, условились, что если хоть одному из нас удастся уйти отсюда живым, он опишет все случившееся здесь и добросовестно положит рукопись рядом с Хозяином, нашим добрым, любимым предводителем, — жив он или мертв — все равно, она принадлежит ему,

Конец рукописи

Уже рассвело, когда я отложил рукопись. Дождь почти перестал, мир был сер и печален, буря, утихая, вздыхала и всхлипывала. Я подошел к комнате незнакомца и прислушался возле ее двери, слегка приоткрытой. Я услышал его голос и постучал в дверь. Мне никто не ответил, но я снова услышал его голос. Я заглянул в комнату. Он лежал на спине в постели и говорил прерывисто, но с вдохновением, разметав руки, которые то сжимал, то разжимал, как больной в бреду. Я тихонько подошел к нему и наклонился над ним. Он продолжал бормотать. Я заговорил, чтобы привлечь его внимание. Радостью и благодарностью озарились его тусклые глаза, землистое лицо порозовело:

— О Сэнди, ты пришла наконец!.. Как я тосковал по тебе! Сядь рядом со мной... не покидай меня... никогда больше не покидай меня, Сэнди, никогда, никогда... Где твоя рука? Дай мне руку, вот так, дорогая, все теперь хорошо, я снова счастлив... Мы счастливы снова, правда, Сэнди? Ты такая неясная, ты расплываешься, как туман, как облако, но ты здесь, и это такое блаженство... я держу тебя за руку, не отнимай у меня свою руку, я недолго буду держать ее, я скоро... А где наша крошка?.. Алло-Центральная!.. Она не отвечает. Спит, может быть? Принеси ее, когда она проснется, и дай мне потрогать ее ручки, ее личико, ее волосы и попрощаться с нею... Сэнди! Да, ты здесь. Я на минуту заблудился и думал, что ты ушла... Давно я болен? Наверно,

давно; наверно, целые месяцы. А какие сны мне снятся! Станные и страшные сны, Сэнди! Сны, более похожие на действительность, чем сама действительность, — бред конечно, но такой отчетливый! Мне снилось, что король умер, мне снилось, что была революция; в фантастическом бреде мне чудилось, будто Кларенс, я и горсточка моих курсантов сражаемся против всех рыцарей Англии! Но даже не это было самым странным. Мне снилось, будто я человек из другого века, из грядущего века, и это казалось мне действительностью! Ну да, будто я был внезапно перенесен из того века в наш, а потом опять в тот век, и очутился вдруг, одинокий и всем чужой, в незнакомой мне Англии, и будто между мной и тобой лежит пропасть в тринадцать веков! Между мной и моим домом, моими друзьями! Между мной и всем, что дорого мне, всем, ради чего стоит жить! Ужасно... Ужаснее, чем ты можешь себе представить, Сэнди. Ах, посиди со мной, Сэнди, не оставляй меня ни на минуту, не давай мне опять потерять рассудок. Смерть — вздор, пусть она приходит, лишь бы не было только тех снов, те сны для меня пытка... Я не в силах их больше терпеть... Сэнди!..

Еще некоторое время он несвязно бормотал, потом затих: смерть, видимо, приближалась. Внезапно пальцы его стали шарить по одеялу, и я понял, что наступает конец. Когда горло его сжала предсмертная судорога, он слегка приподнялся и, казалось, прислушался, затем сказал:

— Труба?.. Это король! Спускайте мост! Людей на стены замка!.. Потушите...

Он готовил свой последний «эффе́кт», но так и не довел его до конца.

КОММЕНТАРИИ

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» И «ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»

Повести Твена «Приключения Гекльберри Финна» и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» относятся к расцвету его творчества.

Первоначальный замысел «Приключений Гекльберри Финна» возник у Твена сразу после завершения «Приключений Тома Сойера». В письме к своему другу писателю Гоуэлсу от 5 июля 1875 года, сообщая об окончании повести о Томе Сойере, он добавляет: «Придет время, я возьму мальчугана 12 лет и проведу его по жизни (это будет рассказ от первого лица). Только не Тома Сойера, он не годится». В следующем, 1876 году Твен приступил к работе над «Приключениями Гекльберри Финна»; однако, написав несколько более четверти книги, отложил рукопись в сторону и вернулся к ней вплотную лишь в 1883 году. В конце 1884 года «Приключения Гекльберри Финна» вышли в Англии и в начале 1885 года — в США.

Продолжительные паузы в работе над книгой обычны в писательской практике Твена, но этот шестилетний перерыв в работе над «Гекльберри Финном» сыграл, по-видимому, решающую роль в кристаллизации окончательного замысла повести. Первые главы «Приключений Гекльберри Финна», написанные в 1876 году, служат как бы продолжением «Приключений Тома Сойера». Замена центрального героя существенно меняет группировку материала в повести и его освещение. Тем не менее в этих главах «Гекльберри Финна» еще не чувствуется намерения автора далеко отойти от трактовки со-

циального материала и от художественной манеры, характерных для первой повести.

Конец 70-х и начало 80-х годов XIX века были важным рубежом в американской общественной жизни. Сделка северных капиталистов с имущими классами южных штатов резко ограничила демократические достижения Гражданской войны и свела на нет формально провозглашенное политическое равноправие негров. Американский город и американская деревня все сильнее испытывали гнет капитала. Позицию Твена в эти годы еще нельзя назвать антикапиталистической, но в нем неуклонно крепнет критическое отношение к буржуазному порядку.

В 1882 году, собирая материал для второй части своей книги «Жизнь на Миссисипи», Твен предпринял путешествие вниз по реке Миссисипи, посетил снова памятные места своей юности и родной городок Ганнибал («Санкт-Петербург» в книгах о Томе и Геке). Это путешествие, вскоре после которого Твен вернулся к работе над «Приключениями Гекльберри Финна», имело для писателя двойное значение. Во-первых, жизнь, знакомая Твену по воспоминаниям юности, предстала перед ним в свете социальных перемен, происшедших в ней за три десятилетия, и романтизирующая дымка, сквозь которую он смотрел на свое детство, в значительной мере рассеялась. Во-вторых, пестрые и дробные впечатления молодых лет на Миссисипи стали вырисовываться перед его взором зрелого художника как «эпос реки Миссисипи», — исполненная серьезного социального значения и безвозвратно уходящая в прошлое страница американской истории. Можно проследить конкретное взаимодействие «Жизни на Миссисипи», над которой в это время работал Твен, и ждавшей своей очереди рукописи о Геке Финне. Целая глава из «Приключений Гекльберри Финна», посвященная нравам плотовщиков старого времени, была перенесена Твеном, со специальной авторской оговоркой, в «Жизнь на Миссисипи». В то же время в «Жизни на Миссисипи» содержатся в зачаточной форме некоторые важные сюжетные мотивы «Приключений Гека Финна». Так, например, рассказ о родовой вражде Дарнеллов и Уотсонов в XXVI главе первой части «Жизни на Миссисипи» развернут в одной из ярчайших глав «Гекльберри Финна», посвященной кровавой расправе Гранджерфордов и Шепердсонов.

На титуле первого издания «Приключений Гекльберри Финна» было указано: «Время действия — сорок или пятьдесят

лет тому назад». В книге изображена американская жизнь 40-х годов XIX века, еще не расшатанная в своих основах глубокими противоречиями, которые привели страну через два десятилетия к Гражданской войне. Однако «Приключения Гекльберри Финна» лишены лучезарности «Приключений Тома Сойера», и душевная чистота героев оттенена сумрачными картинами повседневной жизни общества, в котором они живут. Резкие антитезы повести, противопоставление неимущих и бескорыстных Гека и негра Джима насильникам, стяжателям и бесчестным проходимцам, с которыми они сталкиваются в своих странствиях, а равно и противопоставление опозитизированной великой реки грязным городкам на ее побережье характеризуют становление новых критических взглядов Твена на американскую жизнь как в ее прошлом, так и в ее настоящем.

Проблема рабовладения, занимающая в повести столь значительное место в связи с тем, что Гек укрывает беглого раба, не ставится Твеном в политическом плане. Однако социально-психологическая сторона проблемы освещена им с большой глубиной. Негр Джим, едва ощутив волю, немедленно замышляет насильственное похищение своей семьи у плантатора. Гек, наделенный автором цепко укоренившимися предрассудками рабовладельческого общества, рассматривает свою помощь беглому рабу как социальное и моральное грехопадение, но, движимый чувством справедливости и дружбы к Джиму, готов скорее «гореть в аду», нежели отказаться от помощи невольнику.

В итоге маленький плот, на котором плывут по Миссиссиппи беспризорный мальчуган и беглый негр-невольник, становится как бы средоточием подлинно человеческих отношений посреди окружающей жестокости, фальши и обмана.

Автобиографический материал играет в «Гекльберри Финне» существенную роль, хоть и меньшую, чем в «Томе Сойере». В основе изображенных в повести взаимоотношений Гека и Джима лежит реальный факт из детских воспоминаний Твена. Бенсон Блэнкеншип, старший брат Тома Блэнкеншипа (прототип Гека Финна), нищий рыбак из Ганнибала, долгое время укрывал беглого негра-раба, не соблазняясь объявленными за его поимку наградами и не страшась мести рабовладельцев. К детским воспоминаниям Твена восходит и столь значительный эпизод повести, как убийство Боггса в XXI главе. (В рукописи своей «Автобиографии» после описания

убийства пьяного Смарра богатым коммерсантом Оусли на главной улице Ганнибала Твен приписывает на полях: «Смогри «Приключения Гекльберри Финна».) В то же время такие содержательные и характерные картины американской жизни, как родовая вражда Гранджерфордов и Шепердсонов в XVII и XVIII главах повести, молитвенное собрание в XX, похождения «короля» и «герцога» в арканзасских городках, сцены буржуазно-мещанского быта и мошенническая афера вокруг наследства кожевника Уилкса в XXV—XXIX главах, — не автобиографичны и являются результатом художественного обобщения обширного и разнообразного социального материала.

Твен планировал еще более широкое введение в повесть описательно-бытовых мотивов, связанных со странствиями Гека, что видно из опубликованных в 1940 году его черновых записей к «Приключениям Гекльберри Финна». В одной из таких заметок сказано: «Он (Гек. — А. С.) услышит беседу арканзасских женщин, покуривающих свои трубки за вязанием, сплевывающих сквозь зубы, их нескончаемые излияния о сестрице такой-то и братце таком-то, о том, что случилось с таким-то и таким-то, о том, как звали первую жену такого-то. Очень религиозны. Ездят в церковь за 10—15 миль и привязывают лошадей к стволу дерева. В разговоре упоминают европейских монархов и путают их, по невежеству, с царями из библии».

На XXXI главе повести Твен прерывает свою социальную панораму и завершает книгу главами, посвященными придуманной Томом Сойером игре — «побегу» из неволи уже свободного, хоть и не знающего еще о своем освобождении, Джима. Эти заключительные главы, при всех своих бытоописательных и юмористических достоинствах, возвращают читателя к традиции «Приключений Тома Сойера» и являются в этом смысле художественным отступлением автора от нового содержания, вложенного им в «Приключения Гекльберри Финна».

«Приключения Гекльберри Финна» — вершина творчества Твена. Положительные герои книги — Гек и негр Джим — по глубине и верности художественной характеристики принадлежат к лучшим его созданиям. Сатира и юмор насыщены социальным и психологическим содержанием. В изображении национальной жизни и природы, в народности художественного языка книга Твена была выдающимся достижением американской литературы и во многом предопределила реалистические тенден-

ции ее дальнейшего развития. Известны слова Эрнста Хемингуэя: «Вся новейшая американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн».

Немедленно по выходе из печати «Приключения Гекльберри Финна» подверглись преследованиям в США со стороны консервативно-ханжеской буржуазной общественности. И в настоящее время, когда повесть Твена признана классическим произведением американской литературы, нападки на нее в США не прекращаются.

Вышедшая в 1889 году историко-фантастическая повесть Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» также является знаменательным шагом в его творчестве и идейно-политическом развитии. Рождение замысла повести относится к осени 1884 года, когда Твен сделал следующую запись в своем дневнике: «Когда мы с Кейблом (Джордж Кейбл, известный американский писатель и друг Твена. — А. С.) разъезжали с публичными чтениями, он где-то достал «Смерть Артура» и дал мне почитать. Я принялся мысленно строить план книги». Читая «Смерть Артура», собрание средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола в изложении английского писателя XV века Томаса Мэлори, Твен решил, отталкиваясь от сюжета артуровских легенд и пародируя их, атаковать европейскую феодальную традицию и ее пережитки: наследственную монархию, сословное деление общества, государственную церковь. Попутно Твен решил нанести удар по идеализации и стилизации средневековых романов (в частности артуровского рыцарского цикла) в творчестве Теннисона, префаэлитов и других неоромантиков 1880-х годов. Характер сатирического замысла Твена во многом определяется фантастическим элементом повести. Твен переносит американского рабочего-механика, своего современника, в Англию VI века, ко двору короля Артура и «сталкивает лбами» феодализм и новейшую буржуазную демократию американского образца. Сперва Янки принимает решение реформировать королевство Артура в духе государственных институтов буржуазной демократии и новейшего научного знания. Когда ему это не удастся, он пытается произвести революционный антифеодальный и антимонархический переворот, но терпит неудачу.

Критика феодальной традиции занимает в художественных произведениях и в публицистике Твена видное место и может считаться одной из важнейших тем его творчества. Однако,

если в своих ранних произведениях Твен использует эту критику для прославления американской буржуазной демократии и для противопоставления ее Европе, то в «Янки из Коннектикута» это противопоставление не имеет уже того наивного и прямолинейного характера, как, например, в «Простаках за границей».

Вторая половина 80-х годов в США ознаменовалась глубоким экономическим кризисом и бурным подъемом рабочего движения. Твен не мог пройти мимо столь важных событий в жизни своей страны. На президентских выборах 1884 года Твен порвал с республиканской партией, запятнавшей себя продажностью и угодничеством перед капиталистами, а в 1886 году, в ответ на развернувшуюся в США травлю передового рабочего движения, выступил с речью «Новая династия» (увидевшей свет лишь в 1957 году), в которой объявил себя сторонником трудящихся масс и высказал уверенность, что пролетариату суждено создать новый, справедливый общественный порядок. Хотя Твен остается чужд идеям социализма и неясно представляет себе, как должна развиваться политическая борьба рабочего класса, он приходит к обобщенной постановке вопроса — о несправедливости всякого социального порядка и государственного строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, и обосновывает право поработавшего народа на насильственное ниспровержение гнета эксплуататоров. Эта позиция Твена отражена и в «Янки из Коннектикута». Герой Твена восстает против паразитизма господствующих классов в королевстве Артура, против жестокого надругательства над правами народа, против бесчеловечной эксплуатации бедняков, против духовной диктатуры клерикалов. Чтобы покончить с бедствиями феодализма, он хочет ввести буржуазно-демократический порядок. Однако, отстаивая буржуазно-демократические принципы и поясняя их людям VI века, Янки вынужден приводить примеры, показывающие, что буржуазная демократия имеет серьезные пороки. Читатель узнает, что в США XIX века существуют нужда, безработица, социальное неравенство. Беседа Янки с деревенскими ремесленниками (в главе «Политическая экономия шестого века») на тему о номинальной и реальной заработной плате и о профессиональной организации рабочего класса вскоре по выходе книги Твена в свет получила популярность в среде американских и английских рабочих и, как свидетельствуют историки

рабочего движения, не раз читалась на рабочих собраниях. Следует отметить, что некоторые важные мотивы этой главы, а равно и другие публицистические отступления, разбросанные в повести, прямо перекликаются с названной выше речью Твена в защиту американского пролетариата. Твен делится с читателем своими заветными мыслями, продиктованными политической современностью, и в этом смысле его историко-фантастическая повесть может быть названа актуальной и злободневной.

Историзм Твена в «Янки из Коннектикута» условен. Твен сохраняет основных персонажей, действующих в легендах артуровского цикла, — короля Артура, королеву Гиневру, волшебников Моргану и Мерлина, рыцарей Ланселота, Галахада и др., — однако рисуемые им картины по большей части имеют в виду критику феодализма вообще. В предисловии к повести Твен защищает свое право на такую трактовку исторического материала, заявляя, что если какой-нибудь закон или обычай, им описанный, и относится к позднему времени, то можно быть уверенным, что «в те отдаленные времена его заменял другой закон или обычай еще худший».

Сюжет повести — столкновение американца XIX столетия с феодальной цивилизацией — дает Твену множество поводов для остроумной критики «романтики средневековья» и служит неиссякаемым источником остропародийных и комических ситуаций. Однако далеко не во всех случаях, когда Твен противопоставляет высмеиваемым им средневеково-рыцарским обычаям обычаям современной Америки, ему удается одержать полную художественную победу. Твен во многом еще связан буржуазно-утилитаристским взглядом на жизнь и искусство и, заставляя рыцарей короля Артура выступать в роли коммивояжеров и играть на бирже, он не всегда замечает, что эти «почтенные» буржуазные занятия не могут быть ни в моральном, ни в эстетическом плане противопоставлены как идеал нравам и обычаям ушедших исторических эпох и что биржевой маклер не менее подлежит осмеянию, чем странствующий рыцарь.

А. СТАРЦЕВ

Глава I

Стр. 10. ...*про Моисея в тростниках*... — Согласно библейской легенде, мать пророка Моисея положила своего младенца в просмоленную корзинку и спрятала в тростниках на берегу Нила, потому что фараон приказал уничтожить всех новорожденных мужского пола в еврейском племени. Дочь фараона нашла Моисея и воспитала его.

Глава VI

Стр. 34. *Ни дать ни взять Адам — сплошная глина*. — Согласно библии, бог создал первого человека из глины (древнееврейское слово «адама» значит земля, «адам» — человек).

Глава VIII

Стр. 52. *Аболиционист* — борец за отмену рабства негров. ...*продать меня в Орлеан*... — Имеется в виду американский город Новый Орлеан (штат Луизиана), в устье реки Миссисипи; в первой половине XIX в. — крупный порт рабовладельческого Юга, один из центров вывоза хлопка и в особенности торговли рабами.

Стр. 56. *Валаамов осел*. — Намек на библейский сюжет о Валаамовой ослице: бессловесная тварь вдруг заговорила человеческим голосом, чтобы удержать своего хозяина, волхва Валаама, от нечестивого поступка.

Глава XIII

Стр. 82. *Битенг* — двойная металлическая или деревянная тумба на баке судна, на которую крепят якорную цепь или буксирный трос.

Глава XV

Стр. 89. *Каир* — город в США (штат Иллинойс), на реке Миссисипи.

Глава XVII

Стр. 110. *«Путь паломника»* — религиозно-моралистическое произведение английского писателя Джона Бэньяна (1628—1688), в котором путь героя к нравственному совершенству изображен в виде аллегорического путешествия.

«Речи» Генри Клея. — Американский политический деятель Генри Клей (1777—1852) славился как оратор. В 1857 г. были изданы его *«Речи и статьи»*.

Глава XVIII

Стр. 115. *Майский шест.* — Разукрашенный лентами и цветами шест, вокруг которого, по древней традиции, в Англии устраивались народные гуляния.

Глава XIX

Стр. 133. *...без вести пропавшего дофина Людовика Семнадцатого...* — Сын казненного во время французской буржуазной революции (1793) короля Людовика XVI, наследный принц Шарль (Людовик XVII) (1785—1795) не царствовал; он был арестован якобинцами и умер от болезни в тюрьме. После реставрации Бурбонов (1815) были предприняты бесплодные попытки разыскать его труп в общей могиле, где он был похоронен. Отсюда легенда о «без вести пропавшем дофине» и появление самозванцев.

Карл Великий (ок. 742—814) — франкский император династии Каролингов.

Глава XX

Стр. 138. *Давид Гаррик Младший.* — Давид Гаррик (1717—1779) — выдающийся английский актер, один из основоположников реализма в европейском театре. Играл в 35 пьесах Шекспира.

Глава XXI

Стр. 146. *Быть или не быть? Вот в чем загвоздка.* — Искривленный стих из «Гамлета». Далее следует бессмысленный набор стихов, взятых из различных произведений Шекспира.

Стр. 148. *Эдмунд Кин Старший.* — Эдмунд Кин (1787—1833) — величайший английский актер романтической школы, создавший свои лучшие роли в трагедиях Шекспира.

Глава XXIII

Стр. 164. *...тех, про кого я читал в истории.* — Том путает исторические факты: американская война за независимость началась при английском короле Георге III; последний король Англии, носивший имя Генрих, правил в XVI в.; герцог Веллингтон — реакционный политический деятель и полководец, сражавшийся при Ватерлоо против Наполеона (1815), никакого отношения к королю Генриху иметь не мог; в бочке с вином (мальвазией) был утоплен в 1478 г. брат английского короля Эдуарда IV, герцог Кларенс; по преданию, обвиненный в заговоре против короля, он сам выбрал себе такую казнь.

Глава XXVI

Стр. 182. *...Вильгельма Четвертого?* — Король Вильгельм IV умер в 1837 г.

Стр. 184. *Четвертое июля* — американский национальный праздник, День независимости. 4 июля 1776 г. второй конгресс в Филадельфии принял Декларацию независимости, в которой провозглашалось образование самостоятельного государства — Соединенных Штатов Америки.

Стр. 187. *Капет* — официальное имя французского короля Людовика XVI после его низложения, во время революции; как и прочим дворянам, ему было предложено отказаться от титулов и называться по фамилии.

Глава XXXIII

Стр. 241. *Да хоть бы вы до мафусаиловых лет дожили...* — По библии, Мафусаил — долговечнейший из людей — прожил 969 лет.

Стр. 251. *Ни о бароне Трэнке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини?* — Барон Трэнк Фредерик (1726—1794) — немецкий авантюрист; пережил множество приключений, несколько раз подвергался аресту и совершал дерзкие побег, описанные в его «Автобиографии». Казанова Джованни-Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор «Мемуаров». В «Истории моего побега» рассказал о своем столкновении с инквизицией и побеге из венецианской тюрьмы. Бенвенуто Челлини (1500—1571) — крупнейший флорентийский скульптор и золотых дел мастер эпохи Возрождения; прожил жизнь, полную приключений, обвинялся в убийстве и отравлении, несколько лет был монахом и т. д. Автор увлекательных «Мемуаров».

Стр. 256. *Замок д'Иф.* — Замок-крепость д'Иф был выстроен в начале XVI в. французским королем Франциском I на островке в Средиземном море, в трех километрах от порта Марсель. Вплоть до конца XVIII в. служил государственной тюрьмой, где томились десятилетиями государственные заключенные.

Глава XXXVII

Стр. 268. *Вильгельм Завоеватель* — норманнский герцог, который в 1066 г. высадился на остров Британию и завоевал его; к колонизации Америки он, естественно, никакого отношения не имел.

«Мейфлауэр» (Майский цветок) — судно, которое в 1620 г. привезло к берегам Америки сто поселенцев, основавших первую колонию «Новая Англия».

Глава XXXVIII

Стр. 269. *Возьми хоть леди Джейн Грэй, ...или Гилфорда Дадли, или хоть старика Нортумберленда.* — Леди Джейн Грэй (1537—1554) — родственница английского короля Эдуарда VI; в результате происков своего тестя герцога Нортумберленда была в 1553 г. (после смерти короля) возведена на престол. Сестра короля Мария Тюдор собрала войско, разбила Нортумберленда и, захватив власть, казнила его. Юная Джейн Грэй

отреклась от престола и вскоре была обезглавлена в Тауэре, так же как ее муж лорд Гилфорд Дадли.

Стр. 275. *Пиччола* — стебелек, цветочек (итал.).

Глава XLI

Стр. 291. ...этот негр совсем полоумный, чистый *Навуходоносор*... — Навуходоносор — упоминаемый в библии вавилонский царь, который разрушил «град божий» Иерусалим вместе с находившимся там храмом; поэтому его имя вызывало наивный ужас и отвращение у верующих.

Я Н К И ИЗ КОННЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА

Предисловие и глава I

Стр. 310. *Мадам Помпадур* — Жанна-Антуанетта Пуассон маркиза Помпадур (1721—1764), фаворитка французского короля Людовика XV. *Леди Кастлмен* — урожденная Барбара Вилльерс, фаворитка английского короля Карла II (1630—1685). Обе пользовались большим политическим влиянием и вмешивались в государственные дела.

Варвикский замок выстроен в XI в., при короле Вильгельме Завоевателе, и расположен в живописном месте недалеко от Лондона.

Стр. 311. ...времен короля Артура и Круглого Стола. — В рыцарских романах XII—XIII вв. большое место занимают переработанные в духе феодальной идеологии кельтские народные сказания о баснословном короле Артуре, вожде бриттов в V—VI вв., который защищал от англосаксов еще не захваченные ими земли Англии. В рыцарских романах король Артур изображен могущественным властелином всей Британии и половины Европы, при его дворе собирается цвет рыцарства и царит культ благородной отваги и любви. Ради личной славы либо ради дамы сердца король и его рыцари совершают фантастические подвиги, которые и составляют

сюжет «романов Круглого Стола», названных так потому, что король Артур велел якобы соорудить круглый стол для придворных пиршеств, за которым все рыцари чувствуют себя равными.

Кромвель Оливер (1599—1658) — один из крупнейших деятелей английской буржуазной революции середины XVII в. Будучи фактическим руководителем парламентской «новой армии», он разбил войска короля Карла I и после установления республики был избран в ее исполнительный совет. Выступая с позиций крупной буржуазии, Кромвель подавлял демократическое движение левеллеров («уравнителей»), жестоко расправился с национально-освободительным движением в Ирландии и Шотландии и к 1653 г., опираясь на буржуазную армию, стал фактическим диктатором Англии под именем лорда-протектора.

Стр. 312. *Томас Мэлори* — английский рыцарь XV в., автор книги «Смерть Артура» (1485), представляющей собою компиляцию и перевод на английский язык главнейших французских рыцарских романов Круглого Стола. Помещенный в книге Твена рассказ о том, «Как сэр Ланселот убил двух великанов и освободил замок», представляет точное воспроизведение главы из книги Мэлори.

Сэр Ланселот Озерный — один из центральных персонажей рыцарских романов артуровского цикла. Прозван Озерным потому, что, по преданию, воспитывался феей на дне озера. Ему приписывалось множество подвигов, совершенных в честь дамы его сердца, королевы Гиневры (супруги короля Артура).

Стр. 313. *Сэр Кэй* — сенешаль, то есть управитель дворца короля Артура; комический персонаж, встречающийся во многих романах Круглого Стола; хвастун и неудачник, строящий козни другим рыцарям и неизменно оказывающийся посрамленным.

Стр. 314. *Штат Коннектикут* во времена Твена был одним из наиболее промышленно-развитых районов США, а *Хартфорд* (где писатель жил с 70-х гг.), главный город штата, — промышленным центром.

Стр. 316. *Бриджпорт* — приморский городок в штате Коннектикут, недалеко от Хартфорда.

Камелот — по романам Круглого Стола, одна из резиденций короля Артура.

Палимпсест — так называются древние рукописи на пергаменте, первоначальный текст которых был стерт и заменен новым, с целью экономии дорогостоящего материала для письма (пергамент изготовлялся из свиной кожи).

Глава II

Стр. 321. ...*солнечное затмение... произошло 21 июня 528 года.* — В 528 г. действительно происходило солнечное затмение (четыре раза за один год), но не в тот день, который указан в романе.

Глава III

Стр. 327. *Арканзас* — один из южных штатов США, где с рабовладельческих времен процветали дикие нравы, произвол и кулачная расправа.

Стр. 328. *Мерлин, могущественный чародей и великий лжец.* — Волшебник Мерлин, чародей, мудрец и пророк, участвует почти во всех романах Круглого Стола.

Глава IV

Стр. 332. *Команчи* — одно из кочевых охотничьих племен североамериканских индейцев, ставшее жертвой территориальной экспансии США.

...я читал *«Томас Джонса»* и *«Родерика Рэндом»*... — «История Томаса Джонса, найденныша» — реалистический роман одного из крупнейших писателей английского буржуазного Просвещения XVIII в., Генри Фильдинга (1707—1754). «Приключения Родерика Рэндом» — роман писателя того же направления, Тобайаса Смоллета (1721—1771). В обоих романах дается широкая картина быта и нравов различных слоев английского общества XVIII в. и в неприглядном свете рисуются дворянство и буржуазия.

Ревекка, и Айвенго, и нежная леди Ровена... — Ревекка — дочь еврейского купца, Айвенго — английский рыцарь, и Ровена, знатная дама, — персонажи исторического романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819), действие которого происходит во второй половине XII в.

Глава V

Стр. 337. *Кортес* Фернандо (1485—1547) — испанский дворянин конкистадор (то есть предводитель добровольного военного отряда), завоеватель Мексики. В ходе завоевания испанцы закрепощали и истребляли туземное население — индейцев ацтеков.

Глава VII

Стр. 346. *Хэмптонкортские картоны* — серия рисунков на библейские темы великого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти (1483—1520), которые предназначались для воспроизведения на коврах, но так и не были вытканы. Картоны были куплены английским королем Карлом I и хранились в его дворце Хэмптонкорте (отсюда их название).

Стр. 349. *Бушель* — мера сыпучих тел, употребляющаяся в Англии и Америке; равна 36,346 литра.

Лондонский Тауэр — крепость в Лондоне; расположена на берегу Темзы и, по преданию, построена еще во времена древнего Рима; сначала была королевской резиденцией, впоследствии стала государственной тюрьмой.

Глава VIII

Стр. 352. ...ничего, кроме разве истории с *Иосифом*. — Имеется в виду эпизод из библии: Иосиф, проданный своими братьями в египетское рабство, мудро истолковал привидевшийся фараону сон о тучных и тощих коровах как предсказание длительного неурожая, посоветовал сберечь на этот случай хлеб и таким образом спас страну от бедствий. За это фараон сделал его первым министром.

Стр. 353. *Симон де Монфор* — граф Лестерский (1206—1265), возглавил борьбу части английских крупных феодалов в союзе с городами за ограничение королевской власти. Взял в плен короля Генриха III и его сына принца Эдуарда и на время стал диктатором Англии. Убит в сражении.

Гэвстон Пьер — сын гасконского дворянина, фаворит английского короля Эдуарда II (1284—1327); пользовался неограни-

ченным влиянием; был обезглавлен по настоянию придворной феодальной знати.

Мортимер Роджер (1287—1330) — граф, любовник жены короля Эдуарда II Изабеллы Французской; надеялся захватить английский престол и добился вместе с Изабеллой заключения короля в тюрьму, где тот был удушен.

Вильерс Джордж, впоследствии герцог Бэкингемский (1592—1628) — первый министр английского короля Якова I, фактически решал все государственные дела. Был убит одним из враждебных ему офицеров.

Глава IX

Стр. 362. *Артимес Уорд* — псевдоним американского писателя-юмориста Чарльза Феррера Брауна (1834—1867), с которым Твен был лично знаком.

Лактанций — Люций Цецилий Фирмиан, христианский писатель IV в., родом из Африки; автор многих богословских сочинений на латинском языке.

Стр. 363. ...он отправлялся на поиски святого Грааля... — В романы Круглого Стола вплетается мистическая христианская легенда о «святом Граале», то есть чаше с кровью Христа, якобы собранной при распятии одним из его учеников. В рыцарских романах XII в. на поиски этой чаши, как символа нравственного совершенства, отправляются рыцари Персиваль, Ланселот, Говэн и другие.

...это было нечто вроде наших поисков Северо-Западного прохода. — Имеются в виду многочисленные и бесплодные попытки итальянских и английских мореплавателей (начиная с конца XV в. и в течение трехсот лет) открыть морской путь в Китай и Индию мимо северных берегов Америки,

Глава XI

Стр. 370. *Лига* — мера длины, равняется трем географическим милям.

Стр. 373. *Хар...* — имеется в виду город Хартфорд.

Стр. 375. «*Проваливай, плешивый!*» — В библии рассказывается, как мальчишки дразнили «плешивым» пророка Елисея и за это сорок два из них были растерзаны медведями.

...во время президентства Бьюкенена. — Джемс Бьюкенен (1791—1868), президент США с 1857 по 1861 г.; накануне Гражданской войны был весьма непопулярен в народе, как ставленник земельных магнатов Юга и сторонник рабства негров.

Глава XIII

Стр. 387. Кэд Джек — ирландец, возглавивший восстание английского мелкого дворянства и крестьян против крупных феодалов и королевской администрации (1450). Повстанцы разбили королевские войска и вошли в Лондон, но купцы, испугавшись крестьянской армии Кэда, принудили его уйти в Саутуорк, где его отряды были рассеяны, а сам он умер от ран.

Уот Тайлер — вождь крупного крестьянского восстания в Англии (1381). Разбив королевские войска, крестьяне в течение трех дней были хозяевами Лондона. Они потребовали отмены крепостного права и сословных различий, передачи крестьянам монастырских земель и т. д. Во время переговоров с королем Уот Тайлер был вероломно убит. Восстание было жестоко подавлено.

Глава XV

Стр. 395. Том Сэйерс, Джон Хинэн, Джон Л. Сэлливан. — Том Сэйерс, английский боксер; Джон Хинэн, американский боксер, — участники сенсационного спортивного поединка, состоявшегося в Англии в 1860 г.; Джон Л. Сэлливан — американский боксер, пользовавшийся широкой популярностью в 1880-х гг.

Глава XVI

Стр. 401. Фея Моргана — сестра короля Артура, злая волшебница; персонаж, участвующий во многих романах Круглого Стола.

Стр. 402. Господствующий Анахронизм — то есть господствующая церковь, которую Твен клеймит как отжившее и вредное для общества учреждение.

Стр. 403. ...*все королевство которого было величиной с округ Колумбия*. — Округ Колумбия состоит, в сущности, из одного города — столицы США Вашингтона.

«Королей» и «королевств» в Британии было столько же, сколько в Палестине при Иисусе Навине. — Имеется в виду типичная для средневековья феодальная раздробленность Англии VI в. Иисус Навин, по библейской легенде, покорил 31 царство, расположенные на палестинской земле.

Стр. 404. *Маттергорн* — горная вершина в Альпах, на границе Италии и Швейцарии.

Глава XVII

Стр. 408. ...*открыл пир... вариантом... застольного визга... «Я в раю, я пою»*. — Твен приводит название популярной в 80-х гг. XIX в. американской песенки. Оркестр феи Морганы — сагира на американскую музыку времен Твепа.

Стр. 409. ...*закрылась бы платком королева Маргарита Наваррская и даже великая Елизавета Английская*. — Маргарита Валуа, королева Наварры (1492—1549), сестра французского короля Франциска I, была в центре кружка писателей французского Возрождения и сама была писательницей. Ей принадлежит «Гептамерон», сборник новелл в духе Боккаччо, отличающихся нескромностью содержания и языка, но ценных своим реализмом. Елизавета Английская (1533—1603) — королева, правление которой совпадает с наивысшим расцветом английского абсолютизма и началом бурного развития капитализма. При дворе Елизаветы господствовали вольные нравы, сама королева сквернословила и била своих придворных.

Стр. 410. *Ancien Régime* (франц.) — буквально: «старый порядок». После первой буржуазной революции во Франции этим выражением стали обозначать дореволюционную феодальную Францию и феодальное общество вообще.

Глава XXI

Стр. 441. *Это сборище паломников очень напоминало то, которое описал Чосер*. — Джеффри Чосер (1340—1400) — крупнейший писатель английского позднего средневековья. Лучшее

его произведение «Кентерберийские рассказы» — сборник стихотворных и прозаических новелл, которые якобы рассказывают друг другу паломники по дороге в Кентербери. Чосер дает ряд сочных реалистических портретов рассказчиков, принадлежащих к различным слоям общества XIV в., — рыцарей, монахов, купца, землевладельца, студента, ремесленников, слуг, крестьянина и т. д.

Глава XXII

Стр. 452. ...как французский епископ эпохи Регентства. — В годы малолетства французского короля Людовика XV страной управлял регент — герцог Филипп Орлеанский (1674—1723). Это был период упадка дворянской монархии, когда королевский двор, паразитические сословия — дворянство и духовенство дошли до крайнего цинизма и раснущенности. Отсюда выражение: «епископ эпохи Регентства» — как синоним безответственности.

Глава XXIII

Стр. 461. ...я произнесу его имя, даже если оно валлийское. — Валлийское (уэльское) имя — то есть имя кельтского происхождения. Кельтские наречия трудны для англичан.

Стр. 465. ...произнес страшное слово. — «Страшные слова» янки представляют шуточные комбинации из сложных немецких словофраз. Первое переводится приблизительно так: «Константинопольская компания по производству волюнок»; второе: «Гнусные попытки нигилистов взорвать динамитом театральную кассу»; третье: «Жалостная комедия свадьбы верблюжьего пастуха, состоящего на тропической транспортной службе Трансваальской армии»; четвертое: «Мастер, изготавливающий мраморные памятники мавританке, матери убийств, учинившей всеобщую резню в Мекке». Последнее «страшное слово» — бессмысленный набор звуков.

Глава XXV

Стр. 480. *Олдермен* — выборная должность в общинном городском самоуправлении в Англии.

Мэншен-Хауз — дворец лорд-мэра в Лондоне.

Стр. 490. ...члены королевского дома Пендрагонов. — По кельтским легендам, Пендрагон (то есть «Драконова голова») — прозвище короля Утера, отца Артура; впоследствии присвоено всему их королевскому роду.

Глава XXVI

Стр. 496. *Камелотская «Еженедельная Осанна» и «Литературный Вулкан»*. — Твен издевается над нелепо претенциозными названиями и убожеством содержания американской прессы.

Глава XXVII

Стр. 502. ...смирения... столько же, сколько у пизанской падающей башни. — Имеется в виду мраморная башня в итальянском городе Пиза, сооруженная в 1174—1350 гг. Башня накренилась вследствие оседания грунта, а затем была укреплена и оставлена в наклонном положении.

Глава XXXI

Стр. 533. *Кошельки-пистолеты* — кошельки в виде трубочки, из которой при нажатии пружины выскакивала монета, были в ходу в Америке во времена Твена.

Глава XXXII

Стр. 538. *Мильрейс* — португальская золотая монета, равная 1000 рейсам. Твен ошибочно считает, что мильрейс равен $\frac{1}{1000}$ рейса, а потому приводит ее в качестве мелкой монеты.

Глава XXXIII

Стр. 540. *Гутенберг* Иоганн (около 1400—1468) — изобретатель европейского способа книгопечатания подвижными буквами.

Уатт Джеймс (1736—1819) — шотландский механик, изобретатель универсальной паровой машины (1784), получившей широкое распространение.

Аркрайт Ричард (1732—1792) — английский предприниматель в области текстильной промышленности, присвоивший себе ряд чужих изобретений. Буржуазные историки приписывают Аркрайту изобретение прядильной машины (1767).

Уитни Эли (1765—1825) — изобрел хлопкоочистительную машину.

Морзе Сэмюэль (1791—1872) — один из первых изобретателей электрического телеграфа.

Стефенсон Джордж (1781—1848) — сконструировал в 1814 г. в Англии первый паровоз.

Белл Александр (1847—1922) — один из изобретателей телефона.

Глава XXXIV

Стр. 556. *Король приказал мне охранять мост, подобно Горацию.* — Гораций Коклес (то есть Одноглазый), легендарный герой древнего Рима. Во время войны с этрусками в 507 г. до н. э. он, по преданию, защищал мост через Тибр до тех пор, пока римляне не разобрали мост за его спиной, чтобы преградить врагам вход в Рим. За этот подвиг римляне воздвигли Горацию статую.

Глава XXXIX

Стр. 585. *...тень отца Гамлета.* — В трагедии Шекспира «Гамлет, принц датский» появляется призрак убитого короля, отца Гамлета, в боевых доспехах и погребальном саване.

Глава XL

Стр. 595. *...собирался играть на понижение.* — Игра на повышение и на понижение — биржевые спекуляции, состоящие в искусственном изменении курса (стоимости) акций и скупке их по низкой цене, с тем чтобы выгодно перепродать, когда цена начинает повышаться. Таким путем крупные американские дельцы наживали миллионные состояния, пуская по миру тысячи мелких держателей.

Стр. 597. *Бессемеровская сталь* получается путем продувки сжатого воздуха сквозь жидкий чугун. Названа по имени английского инженера Генри Бессемера (1813—1898).

Глава XLI

Стр. 598. *Отлучение* (или интердикт) — наказание, налагавшееся в средние века римскими папами и католическими епископами на отдельных лиц, области и даже государства. Интердикт обычно состоял в запрещении богослужения и обрядов, являлся орудием борьбы пап со светской властью.

Глава XLII

Стр. 606. *Кланы* — кельтские родовые общины, остатки которых сохранялись в горной Шотландии вплоть до середины XVIII в.

С. Р. БРАХМАН

Настоящий перевод «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» печатается по американскому изданию «Харпер энд брозерс» 1899 года.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА . . . 5

Перевод Н. Дарузес

ЯНКИ ИЗ КОННЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА

Перевод Николая Чуковского

<i>Предисловие</i>	307
------------------------------	-----

ПОВЕСТЬ О ПРОПАВШЕЙ СТРАНЕ

Глава I. Камелот	317
Глава II. Двор короля Артура	319
Глава III. Рыцари Круглого Стола	325
Глава IV. Сэр Дайнадэн-Шутник	330
Глава V. Вдохновение	333
Глава VI. Затмение	339
Глава VII. Башня Мерлина	345
Глава VIII. Хозяин	351
Глава IX. Турнир	357
Глава X. Первые ростки цивилизации	363
Глава XI. Янки в поисках приключений	368
Глава XII. Медленная пытка	376
Глава XIII. Свободные люди!	380
Глава XIV. «Защищайся, лорд!»	388
Глава XV. Рассказ Сэнди	392
Глава XVI. Фея Моргана	401
Глава XVII. Королевский пир	407
Глава XVIII. В темницах королевы	416
Глава XIX. Странствующее рыцарство как ремесло	426

<i>Глава XX.</i> Замок людоеда	429
<i>Глава XXI.</i> Паломники	436
<i>Глава XXII.</i> Священный источник	448
<i>Глава XXIII.</i> Восстановление источника	459
<i>Глава XXIV.</i> Маг — конкурент	468
<i>Глава XXV.</i> Конкурсный экзамен	478
<i>Глава XXVI.</i> Первая газета	491
<i>Глава XXVII.</i> Янки и король путешествуют инкогнито	500
<i>Глава XXVIII.</i> Дрессировка короля	508
<i>Глава XXIX.</i> Оспа	512
<i>Глава XXX.</i> Трагедия усадьбы	518
<i>Глава XXXI.</i> Марко	517
<i>Глава XXXII.</i> Посрамление Даули	534
<i>Глава XXXIII.</i> Политическая экономия шестого века	540
<i>Глава XXXIV.</i> Янки и король проданы в рабство	551
<i>Глава XXXV.</i> Печальное приключение	561
<i>Глава XXXVI.</i> Встреча во мраке	568
<i>Глава XXXVII.</i> Ужасное положение	572
<i>Глава XXXVIII.</i> Сэр Ланселот и рыцари приходят на помощь	578
<i>Глава XXXIX.</i> Поединок янки с рыцарями	581
<i>Глава XL.</i> Три года спустя	590
<i>Глава XLI.</i> Отлучение	598
<i>Глава XLII.</i> Война!	601
<i>Глава XLIII.</i> Битва в Песчаном Поясе	610
<i>Глава XLIV.</i> Постскриптум Кларенса	625
<i>Заключительный постскриптум автора</i>	627

«Приключения Гекльберри Финна» и «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». <i>А. И. Старцев</i>	631
---	-----

Комментарии <i>С. Р. Брахман</i>	638
--	-----

Марк Твен

Собрание сочинений, т. 6

Редактор *Н. Ветошкина*

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор *Л. Сутина*

Корректор *А. Иванова*

*

Сдано в набор 27/I 1960 г.

Подписано к печати 28/VI 1960 г.

Бумага 84 × 108¹/₃₂. 20,5 печ. л.

33,62 усл. печ. л. 31,59 уч.-изд. л.

Тираж 300 000. Зак. № 529.

Цена 10 р. 50 к.

С 1/I 1961 г. цена 1 р. 05 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.